



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### **Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

Slav 4337.212

HARVARD COLLEGE  
LIBRARY



FROM THE FUND OF  
CHARLES MINOT  
CLASS OF 1828









# ПЬЕСЫ.

Сочиненія А. П. Чехова. Т. VII.

1





Tchekhoff, (Anton Pavlovitch)

**АНТОНЪ ЧЕХОВЪ.**

Chekhov

Sochinenia // 7-8 //

# ПЬЕСЫ

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| I. Медвѣдь.          | VI. Чайка.      |
| II. Предложеніе.     | VII. Дядя Ваня. |
| III. Ивановъ.        | VIII. Свадьба.  |
| IV. Лебединая пѣсня. | IX. Юбилей.     |
| V. Трагикъ поневолю. | X. Три сестры.  |

ВСѢ ОЗНАЧЕННЫЯ ЗДѢСЬ ПЬЕСЫ  
БЕЗУСЛОВНО ДОЗВОЛЕНЫ ЦЕНЗУРОЮ КЪ ПРЕДСТАВЛЕНІЮ

(„Правительственный Вѣстникъ“, 8-го марта 1902 г., № 50).

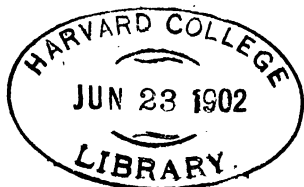
VII

ВТОРОЕ ДОПОЛНЕННОЕ ИЗДАНИЕ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.  
Изданіе А. Ф. МАРКСА.  
1902.

Slav 4337.2.2

~~Slav. 4354.5~~



*Moinet fund.*

    
Типографія А. Ф. Маркса, Измайл. пр., № 29.

# МЕДВѢДЬ.

Шутка въ одномъ дѣйствіи.

(Посвящена Н. Н. Соловцову.)

**ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:**

**Елена Ивановна Попова, вдовушка съ ямочками на щекахъ,  
помѣщица.**

**Григорій Степановичъ Смирновъ, нестарый помѣщикъ.**

**Лука, лакей Поповой, старикъ.**

---

Гостиная въ усадьбѣ Поповой.

---

I.

ПОПОВА (*съ глубокомъ траурѣ, не отрываетъ глазъ отъ фотографической карточки*) и ЛУКА.

Лука. Нехорошо, барыня... Губите вы себя только... Горничная и кухарка пошли по ягоды, всякое дыханіе радуетса, даже кошка, и та свое удовольствіе понимаетъ и по двору гуляетъ, пташекъ ловить, а вы цѣльный день сидите въ комнатѣ, словно въ монастырѣ, и никакого удовольствія. Да, право! Почитай, ужъ годъ прошелъ, какъ вы изъ дому не выходите!..

Попова. И не выйду никогда... Зачѣмъ? Жизнь моя уже кончена. Онъ лежитъ въ могилѣ, я погребла себя въ четырехъ стѣнахъ... Мы оба умерли.

Лука. Ну, вотъ! И не слушалъ бы, право. Николай Михайловичъ померли, такъ тому и быть, Божья воля, царство имъ небесное... Погоревали—и будетъ, надо и честь знать. Не весь же вѣкъ плакать и трауръ носить. У меня тоже въ свое время старуха померла... Что жъ? Погоревалъ, поплакалъ съ мѣсяцъ, и будетъ съ нея, а ежели цѣльный вѣкъ Лазаря пѣть, то и старуха того не стѣитъ (*ездыхаетъ*). Сосѣдей всѣхъ забыли... И сами не ѣздите, и при-

нимать не велите. Живемъ, извините, какъ пауки,—свѣта бѣлаго не видимъ. Ливрею мыши съѣли... Добро бы хорошихъ людей не было, а то вѣдь полонъ уѣздъ господь... Въ Рыбловѣ полкъ стоитъ, такъ офицеры—чистыя конфеты, не нагладишься! А въ лагеряхъ, что ни пятакъ, то балъ, и, почитай, каждый день военная оркестра музыку играетъ... Эхъ, барыня-матушка! Молодая, красивая, кровь съ молокомъ,—только бы и жить во свое удовольствие... Красота-то вѣдь не навѣки дадена! Пройдетъ годовъ десять, сами захотите павой пройтись да господамъ офицерамъ въ глаза пыль пустить, анъ поздно будетъ.

Попова (*рышительно*). Я прошу тебя никогда не говорить мнѣ объ этомъ! Ты знаешь, съ тѣхъ поръ, какъ умеръ Николай Михайловичъ, жизнь потеряла для меня всякую цѣну. Тебѣ кажется, что я жива, но это только кажется! Я дала себѣ клятву до самой могилы не снимать этого траура и не видѣть свѣта... Слышишь? Пусть тѣнь его видитъ, какъ я люблю его... Да, я знаю, для тебя не тайна, онъ часто бывалъ несправедливъ ко мнѣ, жестокъ и... и даже невѣренъ, но я буду вѣрна до могилы и докажу ему, какъ я умѣю любить. Тамъ, по ту сторону гроба, онъ увидитъ меня такую же, какою я была до его смерти...

Лука. Чѣмъ эти самыя слова, пошли бы лучше по саду погуляли, а то велѣли бы запрячь Тоби или Великана и къ сосѣдямъ въ гости...

Попова. Ахъ!.. (*плачетъ*).

Лука. Барыня!.. Матушка!.. Что вы? Христось съ вами!

Попова. Онъ такъ любилъ Тоби! Онъ всегда ѣздилъ на немъ къ Корчагинымъ и Власовымъ. Какъ онъ чудно правилъ! Сколько грации было въ его фигурѣ, когда онъ изо всей силы натягивалъ вожжи! Помнишь? Тоби, Тоби! Прикажи дать ему сегодня лишнюю осьмушку овса.

Лука. Слушаю!

(*Рыскій звонокъ*).

Попова (*вздраживаетъ*). Кто это? Скажи, что я никого не принимаю!

Лука. Слушаю-съ! (*уходитъ*).

II.

ПОПОВА (*одна*).

Попова (*глядя на фотографію*). Ты увидишь, Nicolas, какъ я умѣю любить и прощать... Любовь моя угаснетъ вмѣстѣ со мною, когда перестанетъ биться мое бѣдное сердце (*сметется, сквозь слезы*). И тебѣ не совѣстно? Я цацъка, вѣрная женка, заперла себя на замокъ и буду вѣрна тебѣ до могилы, а ты... и тебѣ не совѣстно, бутузъ? Измѣнялъ мнѣ, дѣлалъ сцены, по цѣлымъ недѣлямъ оставялъ меня одну...

III.

ПОПОВА и ЛУКА.

Лука (*входитъ, встревоженно*). Сударыня, тамъ кто-то спрашиваетъ васъ. Хотите видѣть...

Попова. Но вѣдь ты сказалъ, что я со дня смерти мужа никого не принимаю?

Лука. Сказалъ, но онъ и слушать не хочетъ, говорить, что очень нужное дѣло.

Попова. Я не при-ни-ма-ю!

Лука. Я ему говорилъ, но... лѣшій какой-то... ругается и прямо въ комнату претъ... ужъ въ столовой стоитъ...

Попова (*раздраженно*). Хорошо, проси... Какіе невѣжи!

(*Лука уходитъ*).

Попова. Какъ тяжелы эти люди! Что имъ нужно отъ меня? Къ чему имъ нарушать мой покой? (*вздыхаетъ*). Нѣтъ, видно ужъ и вправду придется уйти въ монастырь... (*задумывается*). Да, въ монастырь..

IV.

ПОПОВА, ЛУКА и СМИРНОВЪ.

Смирновъ (*входя, Лука*). Болванъ, любишь много разговаривать... Оселъ! (*увидѣвъ Попову, съ достоинствомъ*). Сударыня, честь имѣю представиться: отставной поручикъ артиллеріи, землевладѣлецъ Григорій Степановичъ Смирновъ! Вынужденъ беспокоить васъ по весьма важному дѣлу...

Попова (*не подавая руки*). Что вамъ угодно?

Смирновъ. Вашъ покойный супругъ, съ которымъ я имѣлъ честь быть знакомъ, остался мнѣ долженъ по двумъ векселямъ тысячу двѣсти рублей. Такъ какъ завтра мнѣ предстоитъ платежъ процентовъ въ земельный банкъ, то я просилъ бы васъ, сударыня, уплатить мнѣ деньги сегодня же.

Попова. Тысяча двѣсти... А за что мой мужъ остался вамъ долженъ?

Смирновъ. Онъ покупалъ у меня овесъ.

Попова (*вздыхая, Лука*). Такъ ты же, Лука, не забудь приказать, чтобы дали Тоби лишнюю осьмушку овса. (*Лука уходитъ. Смирнову*). Если Николай Михайловичъ остался вамъ долженъ, то, само собою разумѣется, я заплачу; но, извините пожалуйста, у меня сегодня нѣтъ свободныхъ денегъ. Послѣзавтра вернется изъ города мой приказчикъ, и я прикажу ему уплатить вамъ, что слѣдуетъ, а пока я не могу исполнить вашего желанія.. Къ тому же, сегодня исполнилось ровно семь мѣсяцевъ, какъ умеръ мой мужъ, и у меня теперь такое настроеніе, что я совершенно не расположена заниматься денежными дѣлами.

Смирновъ. А у меня теперь такое настроеніе, что, если я завтра не заплачу процентовъ, то долженъ буду вылетѣть въ трубу вверхъ ногами. У меня опишутъ имѣніе!

Попова. Послѣзавтра вы получите ваши деньги.

Смирновъ. Мнѣ нужны деньги не послѣзавтра, а сегодня.



Попова. Простите, сегодня я не могу заплатить вамъ.

Смирновъ. А я не могу ждать до послѣзавтра.

Попова. Чтѣ же дѣлать, если у меня сейчасъ нѣтъ!

Смирновъ. Стало-быть, не можете заплатить?

Попова. Не могу...

Смирновъ. Гм!.. Это ваше послѣднее слово?

Попова. Да, послѣднее.

Смирновъ. Послѣднее? Положительно?

Попова. Положительно.

Смирновъ. Покорнѣйше благодарю. Такъ и запишемъ (*пожимаетъ плечами*). А еще хотятъ, чтобы я былъ хладнокровенъ! Встрѣчается мнѣ сейчасъ по дорогѣ акцизный и спрашиваетъ: «отчего вы все сердитесь, Григорій Степановичъ?» Да помилуйте, какъ же мнѣ не сердиться? Нужны мнѣ до зарѣзу деньги... Выѣхалъ я еще вчера утромъ чуть-свѣтъ, объѣздилъ всѣхъ своихъ должниковъ, и хоть бы одинъ изъ нихъ заплатилъ свой долгъ! Измучился, какъ собака, ночевалъ чортъ знаетъ гдѣ,—въ жидовской корчмѣ около водочнаго боченка... Наконецъ, приѣзжаю сюда за 70 верстъ отъ дому, надѣюсь получить, а меня угощаютъ «настроениемъ!» Какъ же мнѣ не сердиться?

Попова. Я, кажется, ясно сказала: приказчикъ вернется изъ города, тогда и получите.

Смирновъ. Я приѣхалъ не къ приказчику, а къ вамъ! На кой лѣній, извините за выраженіе, сдался мнѣ вашъ приказчикъ!

Попова. Простите, милостивый государь, я не привыкла къ этимъ страннымъ выраженіямъ, къ такому тону. Я васъ больше не слушаю (*быстро уходитъ*).

## V.

### СМИРНОВЪ (*одинъ*).

Смирновъ. Скажите, пожалуйста! Настроение... Семь мѣ-  
сяцевъ тому назадъ мужъ умеръ! Да мнѣ-то нужно платить

проценты, или нѣтъ? Я васъ спрашиваю: нужно платить проценты, или нѣтъ? Ну, у васъ мужъ умеръ, настроеніе тамъ и всякіе фокусы... приказчикъ куда-то уѣхалъ, чортъ его возьми, а мнѣ что прикажете дѣлать? Улетѣть отъ своихъ кредиторовъ на воздушномъ шарѣ, что ли? Или разбѣжаться и трахнуть башкой о стѣну? Пріѣзжаю къ Груздеву—дома нѣтъ, Ярошевичъ спрятался, съ Курицынымъ поругался на-смерть и чуть-было его въ окно не вышвырнулъ, у Мазутова—холерина, у этой—настроеніе. Ни одна каналья не платитъ! А все оттого, что я слишкомъ ихъ избаловалъ, что я нюня, тряпка, баба! Слишкомъ я съ ними деликатенъ! Ну, погодите же! Узнаете вы меня! Я не позволю шутить съ собою, чортъ возьми! Останусь и буду торчать здѣсь, пока она не заплатитъ! Брр!.. Какъ я золъ сегодня, какъ я золъ! Отъ злости все поджилки трясутся и духъ захватило... Фуи, Боже мой, даже дурно дѣлается! (*кричитъ*). Человѣкъ!

VI.

СМИРНОВЪ и ЛУКА.

Лука (*входитъ*). Чего вамъ?

Смирновъ. Дай мнѣ квасу или воды!

(*Лука уходитъ*).

Смирновъ. Нѣтъ, какова логика! Человѣку нужны до зрѣзу деньги, въ пору вѣшаться, а она не платитъ, потому что, видите ли, не расположена заниматься денежными дѣлами!.. Настоящая женская, турнюрная логика! Потому-то вотъ я никогда не любилъ и не люблю говорить съ женщинами. Для меня легче сидѣть на бочкѣ съ порохомъ, чѣмъ говорить съ женщиной. Брр!.. Даже морозъ по кожѣ деретъ—до такой степени разозлилъ меня этотъ шлейфъ! Стоитъ мнѣ хотя бы издали увидѣть поэтическое созданіе, какъ у меня отъ злости въ икрахъ начинаются судороги. Просто хотъ караулъ кричи.

VII.

СМИРНОВЪ и ЛУКА.

Лука (*входитъ и подаетъ воду*). Барыня больны и не принимаютъ.

Смирновъ. Пошелъ!

(*Лука уходитъ*).

Смирновъ. Больны и не принимаютъ! Не нужно, не принимай... Я останусь и буду сидѣть здѣсь, пока не отдашь денегъ. Недѣлю будешь больна, и я недѣлю просижу здѣсь... Годъ будешь больна — и я годъ... Я свое возьму, матушка! Меня не тронешь трауромъ, да ямочками на щекахъ... Знаемъ мы эти ямочки! (*кричитъ въ окно*). Семень, распрягай! Мы не скоро уѣдемъ! Я здѣсь остаюсь! Скажешь тамъ на конюшнѣ, чтобы овса дали лошадямъ! Опять у тебя, скотина, лѣвая пристяжная запуталась въ вожжу! (*дразнитъ*). Ничаво... Я тебѣ задамъ—ничаво! (*отходитъ отъ окна*). Скверно... жара невыносимая, денегъ никто не платитъ, плохо ночь спалъ, а тутъ еще этотъ траурный шлейфъ съ настроеніемъ... Голова болить... Водки выпить, что ли? Пожалуй, выпью (*кричитъ*). Человѣкъ!

Лука (*входитъ*). Что вамъ?

Смирновъ. Дай рюмку водки!

(*Лука уходитъ*).

Смирновъ. Уфъ! (*садится и оглядываетъ себя*). Нечего сказать, хороша фигура! Весь въ пыли, сапоги грязные, не умытъ, не чесанъ, на жилеткѣ солома... Барынька, чего добраго, меня за разбойника приняла (*зѣваетъ*). Непожко невѣжливо являться въ гостиную въ такомъ видѣ, ну, да ничего... я тутъ не гость, а кредиторъ, для кредиторовъ же костюмъ не писанъ...

Лука (*входитъ и подаетъ водку*). Много вы позволяете себѣ, сударь...

Смирновъ (*сердито*). Что?

Лука. Я... я ничего... я собственно..

Смирновъ. Съ кѣмъ ты разговариваешь?! Молчать!

Лука (*въ сторону*). Навязался, лѣпшій, на нашу голову...  
Принесла нелегкая...

(*Лука уходитъ*).

Смирновъ. Ахъ, какъ я золь! Таеъ золь, что, кажется, весь свѣтъ стеръ бы въ порошокъ... Даже дурно дѣлается... (*кричитъ*). Человѣкъ!

### VIII.

#### ПОПОВА и СМІРНОВЪ.

Попова (*входитъ, опустивъ глаза*). Милостивый государь, въ своемъ уединеніи я давно уже отвыкла отъ человѣческаго голоса и не выношу крика. Прошу васъ убедительно, не нарушайте моего покоя!

Смирновъ. Заплатите мнѣ деньги, и я уѣду.

Попова. Я сказала вамъ русскимъ языкомъ: денегъ у меня свободныхъ теперь нѣтъ, погодите до послѣзавтра.

Смирновъ. Я тоже имѣлъ честь сказать вамъ русскимъ языкомъ: деньги нужны мнѣ не послѣзавтра, а сегодня. Если сегодня вы мнѣ не заплатите, то завтра я долженъ буду повѣситься.

Попова. Но что же мнѣ дѣлать, если у меня нѣтъ денегъ? Какъ странно!

Смирновъ. Таеъ вы сейчасъ не заплатите? Нѣтъ?

Попова. Не могу...

Смирновъ. Въ такомъ случаѣ я остаюсь здѣсь и буду сидѣть, пока не получу... (*садится*). Послѣзавтра заплатите? Отлично! Я до послѣзавтра просижу такимъ образомъ. Вотъ таеъ и буду сидѣть... (*вскакиваетъ*). Я васъ спрашиваю: мнѣ нужно заплатить завтра проценты, или нѣтъ?.. Или вы думаете, что я шучу?

Попова. Милостивый государь, прошу васъ не кричать! Здѣсь не конюшня!

Смирновъ. Я васъ не о конюшнѣ спрашиваю, а о томъ, — нужно мнѣ платить завтра проценты, или нѣтъ?

Попова. Вы не умѣете держать себя въ женскомъ обществѣ!

Смирновъ. Нѣтъ-съ, я умѣю держать себя въ женскомъ обществѣ!

Попова. Нѣтъ, не умѣете! Вы невоспитанный, грубый человѣкъ! Порядочные люди не говорятъ такъ съ женщинами!

Смирновъ. Ахъ, удивительное дѣло! Какъ же прикажете говорить съ вами? По-французски, что ли? (*злится и сюсюкаетъ*). Мадамъ, же вы при... какъ я счастливъ, что вы не платите мнѣ денегъ... Ахъ, пардонъ, что обезпокоилъ васъ! Такая сегодня прелестная погода! И этотъ трауръ такъ къ лицу вамъ! (*расшаркивается*).

Попова. Не умно и грубо.

Смирновъ (*дразнитъ*). Не умно и грубо! Я не умѣю держать себя въ женскомъ обществѣ! Сударыня, на своемъ вѣку я видѣлъ женщинъ гораздо больше, чѣмъ вы воровьевъ! Три раза я стрѣлялся на дуэли изъ-за женщинъ, двѣнадцать женщинъ я бросилъ, девять бросили меня! Да-съ! Было время, когда я ломалъ дурака, миндальничалъ, медоточилъ, разсыпался бисеромъ, шаркалъ ногами... Любилъ, страдалъ, вздыхалъ на луну, раскисалъ, таялъ, холодѣлъ... Любилъ страстно, бѣшено, на всякія манеры, чортъ меня возьми, трепалъ, какъ сорока, объ эмансипаціи, прожилъ на нѣжномъ чувствѣ половину состоянія, но теперь—слуга покорный! Теперь меня не проведете! Довольно! Очи черныя, очи страстныя, алыя губки, ямочки на щекахъ, луна, шепотъ, робкое дыханье—за все это, сударыня, я теперь и мѣднаго гроша не дамъ! Я не говорю о присутствующихъ, но всѣ женщины, отъ мала до велика, домаки, кривляки, сплетницы, ненавистницы, лунишки до мозга костей, суетны, мелочны, безжалостны, логика воз-

мутительная, а что касается вотъ этой штуки (*хлопаетъ себя по лбу*), то, извините за откровенность, воробей любому философу въ юбкѣ можетъ дать десять очковъ впередъ! Посмотришь на иное поэтическое созданье: кисея, ээиръ, полубогиня, миллионъ восторговъ, а заглянешь въ душу—обыкновеннѣйшій крокодилъ! (*Хватается за спинку стула, стулъ трещитъ и ломается*). Но возмутительнѣе всего, что этотъ крокодилъ почему-то воображаетъ, что его шедевръ, его привилегія и монополія—нѣжное чувство! Да чортъ побери совсѣмъ, повѣсьте меня вотъ на этомъ гвоздѣ вверхъ ногами,—развѣ женщина умѣетъ любить кого-нибудь, кромѣ болонокъ?.. Въ любви она умѣетъ только хныкать и распускать нюни! Гдѣ мужчина страдаетъ и жертвуетъ, тамъ вся ея любовь выражается только въ томъ, что она вертитъ шлейфомъ и старается покрѣпче схватить за носъ. Вы имѣете несчастье быть женщиной, стало-быть, по себѣ самой знаете женскую натуру. Скажите же мнѣ по совѣсти: видѣли ли вы на своемъ вѣку женщину, которая была бы искренна, вѣрна и постоянна? Не видѣли! Вѣрны и постоянны одни только старухи да уроды! Скорѣе вы встрѣтите рогатую кошку или бѣлаго вальдшнепа, чѣмъ постоянную женщину!

Попова. Позвольте, такъ кто же, по-вашему, вѣренъ и постояненъ въ любви? Не мужчина ли?

Смирновъ. Да-съ, мужчина!

Попова. Мужчина! (*злой смѣхъ*). Мужчина вѣренъ и постояненъ въ любви! Скажите, какая новость! (*горячо*). Да какое вы имѣете право говорить это? Мужчины вѣрны и постоянны! Коли на то пошло, такъ я вамъ скажу, что изъ всѣхъ мужчинъ, какихъ только я знала и знаю, самымъ лучшимъ былъ мой покойный мужъ... Я любила его страстно, всѣмъ своимъ существомъ, какъ можетъ любить только молодая, мыслящая женщина; я отдала ему свою молодость, счастье, жизнь, свое состояніе, дышала имъ, молилась на

него, какъ язычница, и... и—что же? Этотъ лучшій изъ мужчинъ самымъ безсовѣстнымъ образомъ обманывалъ меня на каждомъ шагѣ! Послѣ его смерти я нашла въ его столѣ полный ящикъ любовныхъ писемъ, а при жизни—ужасно вспомнить!—онъ оставлялъ меня одну по цѣлымъ недѣлямъ, на моихъ глазахъ ухаживалъ за другими женщинами и измѣнялъ мнѣ, сорилъ моими деньгами, шутилъ надъ моимъ чувствомъ... И, несмотря на все это, я любила его и была ему вѣрна... Мало того, онъ умеръ, а я все еще вѣрна ему и постоянна. Я навѣки погребла себя въ четырехъ стѣнахъ и до самой могилы не сниму этого траура...

**Смирновъ** (*презрительный смѣхъ*). Трауръ!.. Не понимаю, за кого вы меня принимаете? Точно я не знаю, для чего вы носите это черное домино и погребли себя въ четырехъ стѣнахъ! Еще бы! Это такъ таинственно, поэтично! Проѣдетъ мимо усадьбы какой-нибудь юнкеръ или куцый поэтъ, взглянетъ на окна и подумаетъ: «Здѣсь живетъ таинственная Тамара, которая изъ любви къ мужу погребла себя въ четырехъ стѣнахъ». Знаемъ мы эти фокусы!

**Попова** (*встѣжнувъ*). Что? Какъ вы смѣете говорить мнѣ все это?

**Смирновъ**. Вы погребли себя заживо, однако вотъ не позабыли напудриться!

**Попова**. Да какъ вы смѣете говорить со мною такимъ образомъ?

**Смирновъ**. Не кричите, пожалуйста, я вамъ не приказчикъ! Позвольте мнѣ называть вещи настоящими ихъ именами. Я не женщина и привыкъ высказывать свое мнѣніе прямо! Не извольте же кричать!

**Попова**. Не я кричу, а вы кричите! Извольте оставить меня въ покоѣ!

**Смирновъ**. Заплатите мнѣ деньги, и я уѣду.

**Попова**. Не дамъ я вамъ денегъ!

Смирновъ. Нѣтъ-съ, дадите!

Попова. Вотъ на зло же вамъ, ни копейки не получите! Можете оставить меня въ покоѣ!

Смирновъ. Я не имѣю удовольствія быть ни вашимъ супругомъ, ни женихомъ, а потому, пожалуйста, не дѣлайте мнѣ сценъ (*садится*). Я этого не люблю.

Попова (*задыхаясь отъ гнѣва*). Вы сѣли?

Смирновъ. Сѣлъ.

Попова. Прошу васъ уйти!

Смирновъ. Отдайте деньги... (*въ сторону*). Ахъ, какъ я золь! Какъ я золь!

Попова. Я не желаю разговаривать съ нахалами! Извольте убираться вонъ! (*пауза*). Вы не уйдете? Нѣтъ?

Смирновъ. Нѣтъ.

Попова. Нѣтъ?

Смирновъ. Нѣтъ!

Попова. Хорошо же! (*звонитъ*).

## IX.

### ТЪ ЖЕ и ЛУКА.

Попова. Лука, выведи этого господина!

Лука (*подходитъ къ Смирнову*). Сударь, извольте уходить, когда велятъ! Нечего тутъ...

Смирновъ (*вскакивая*). Молчать! Съ кѣмъ ты разговариваешь? Я изъ тебя салатъ сдѣлаю!

Лука (*хватается за сердце*). Батюшки!.. Угодники!.. (*надаётъ въ кресло*). Охъ, дурно, дурно! Духъ захватило!

Попова. Гдѣ же Даша? Даша! (*кричитъ*). Даша! Пелагея! Даша! (*звонитъ*).

Лука. Охъ! Всѣ по ягоды ушли... Никого дома нѣту! Дурно! Воды!

Попова. Извольте убираться вонъ!



Смирновъ. Не угодно ли вамъ быть повѣжливѣе?

Попова (*сжимая кулаки и топая ногами*). Вы мужикъ! Грубый медвѣдь! Бурбонъ! Монстръ!

Смирновъ. Какъ? Что вы сказали?

Попова. Я сказала, что вы медвѣдь, монстръ!

Смирновъ (*наступая*). Позвольте, какое же вы имѣете право оскорблять меня?

Попова. Да, оскорбляю... ну, такъ что же? Вы думаете, я васъ боюсь?

Смирновъ. А вы думаете, что, если вы поэтическое созданіе, то имѣете право оскорблять безнаказанно? Да? Къ барьеру!

Лука. Батюшки!.. Угодники!.. Воды!

Смирновъ. Стрѣляться!

Попова. Если у васъ здоровые кулаки и бычье горло, то, думаете, я боюсь васъ? А? Бурбонъ вы этакій!

Смирновъ. Къ барьеру! Я никому не позволю оскорблять себя и не посмотрю на то, что вы женщина, слабое созданіе!

Попова (*стараясь перекричать*). Медвѣдь! Медвѣдь! Медвѣдь!

Смирновъ. Пора, наконецъ, отрѣшиться отъ предразсудка, что только одни мужчины обязаны платить за оскорбленія! Равноправность, такъ равноправность, чортъ возьми! Къ барьеру!

Попова. Стрѣляться хотите? Извольте!

Смирновъ. Сію минуту!

Попова. Сію минуту! Послѣ мужа остались пистолеты... Я сейчасъ принесу ихъ сюда... (*торопливо идетъ и возвращается*). Съ какимъ наслажденіемъ я влѣплю пулю въ вашъ мѣдный лобъ! Чортъ васъ возьми! (*уходитъ*).

Смирновъ. Я подстрѣлю ее, какъ цыпленка! Я не мальчишка, не сантиментальный щенокъ, для меня не существуетъ слабыхъ созданій!

Лука. Батюшка родимый!.. (*становится на колъни*). Сдѣлай такую милость, пожалѣй меня, старика, уйди ты отсюда! Напужалъ до смерти, да еще стрѣляться собираешься!

Смирновъ (*не слушая его*). Стрѣляться, вотъ это и есть равноправность, эмансипація! Тутъ оба пола равны! Подстрѣлю ее изъ принципа! Но какова женщина? (*дразнитъ*). «Чортъ васъ возьми... влѣплю пулю въ мѣдный лобъ»... Какова? Раскраснѣлась, глаза блестятъ... Вызовъ приняла! Честное слово, первый разъ въ жизни такую вижу...

Лука. Батюшка, уйди! Заставь вѣчно Бога молить!

Смирновъ. Это—женщина! Вотъ это я понимаю! Настоящая женщина! Не кислятина, не размазня, а огонь, цорохъ, ракета! Даже убивать жалко!

Лука (*плачетъ*). Батюшка... родимый, уйди!

Смирновъ. Она мнѣ положительно нравится! Положительно! Хоть и ямочки на щекахъ, а нравится! Готовъ даже долгъ ей простить... и злость прошла... Удивительная женщина!

## Х.

### ТЪ ЖЕ и ПОПОВА.

Попова (*входитъ съ пистолетами*). Вотъ они пистолеты... Но, прежде чѣмъ будемъ драться, вы извольте показать мнѣ, какъ нужно стрѣлять... Я ни разу въ жизни не держала въ рукахъ пистолета.

Лука. Спаси, Господи, и помилуй... Пойду садовника и кучера поищу... Откуда эта напасть взялась на нашу голлову... (*уходитъ*).

Смирновъ (*осматривая пистолеты*). Видите ли, существуетъ нѣсколько сортовъ пистолетовъ... Есть специально дуальные пистолеты Мортимера, капсюльные. А это у васъ револьверы системы Смитъ и Вессонъ, тройного дѣйствія съ экстракторомъ, центрального боя... Прекрасные пистолеты!.. Цѣна такимъ минимумъ 90 рублей за пару... Держать

револьверъ нужно такъ... (*въ сторону*). Глаза, глаза! За- жигательная женщина!

Попова. Такъ?

Смирновъ. Да, такъ... Засимъ вы поднимаете курокъ... вотъ такъ прицѣливаетесь... Голову немножко назадъ! Вы- тяните руку, какъ слѣдуетъ... Вотъ такъ... Потомъ вотъ этимъ пальцемъ надавливаете эту штучку—и больше ни- чего... Только главное правило: не горячиться и прицѣли- ваться не спѣша... Стараться, чтобъ не дрогнула рука.

Попова. Хорошо... Въ комнатахъ стрѣляться неудобно, пойдете въ садъ.

Смирновъ. Пойдете. Только предупреждаю, что я вы- стрѣлю въ воздухъ.

Попова. Этого еще недоставало! Почему?

Смирновъ. Потому что... потому что... Это мое дѣло, по- чему!

Попова. Вы струсилы? Да? А-а-а-а! Нѣтъ, сударь, вы не вляйте! Извольте идти за мною! Я не успокоюсь, пока не пробью вашего лба... вотъ этого лба, который я такъ ненавижу! Струсилы?

Смирновъ. Да, струсилъ.

Попова. Лжете! Почему вы не хотите драться?

Смирновъ. Потому что... потому что вы... мнѣ нравитесь.

Попова (*злой смѣхъ*). Я ему нравлюсь! Онъ смѣетъ го- ворить, что я ему нравлюсь! (*указываетъ на дверь*). Мо- жете!

Смирновъ (*молча кладетъ револьверъ, беретъ фуражку и идетъ; около двери останавливается, полминуты оба молча глядятъ другъ на друга; затѣмъ онъ говоритъ, нерешит- ельно подходя къ Поповой*). Послушайте... Вы все еще сердитесь?.. Я тоже чертовски взбѣшенъ, но, понимаете ли... какъ бы этакъ выразиться... Дѣло въ томъ, что, видите ли, такого рода исторія, собственно говоря... (*кричитъ*). Ну, да, развѣ я виноватъ, что вы мнѣ нравитесь? (*хватается за*

*спинку стула, стулъ трещитъ и ломается*). Чортъ знаетъ, какая у васъ ломкая мебель! Вы мнѣ нравитесь! Понимаете? Я... я почти влюбленъ!

Попова. Отойдите отъ меня,—я васъ ненавижу!

Смирновъ. Боже, какая женщина! Никогда въ жизни не видалъ ничего подобнаго! Пропаль! Погибъ! Попаль въ мышеловку, какъ мышь!

Попова. Отойдите прочь, а то буду стрѣлять!

Смирновъ. Стрѣляйте! Вы не можете понять, какое счастье умереть подъ взглядами этихъ чудныхъ глазъ, умереть отъ револьвера, который держитъ эта маленькая бархатная ручка... Я съ ума сошелъ! Думайте и рѣшайте сейчасъ, потому что если я выйду отсюда, то ужъ мы больше никогда не увидимся! Рѣшайте... Я дворянинъ, порядочный человекъ, имѣю десять тысячъ годового дохода... попадаю пульей въ подброшенную копейку... имѣю отличныхъ лошадей... Хотите быть мою женой?

Попова (*возмущенная, потрясаетъ револьверомъ*). Стрѣляться! Къ барьеру!

Смирновъ. Сошелъ съ ума... Ничего не понимаю... (*кричитъ*). Человекъ, воды!

Попова (*кричитъ*). Къ барьеру!

Смирновъ. Сошелъ съ ума, влюбился какъ мальчишка, какъ дуракъ! (*хватаетъ ее за руку, она вскрикиваетъ отъ боли*). Я люблю васъ! (*становится на колѣни*). Люблю, какъ никогда не любилъ! Двѣнадцать женщинъ я бросилъ, девять бросили меня, но ни одну изъ нихъ я не любилъ такъ, какъ васъ... Разлимонился, разсиропился, раскисъ... стою на колѣняхъ, какъ дуракъ, и предлагаю руку... Стыдъ, срамъ! Пять лѣтъ не влюблялся, далъ себѣ зарокъ, и вдругъ втюрился, какъ оглобя въ чужой кузовъ! Руку предлагаю. Да или нѣтъ? Не хотите? Не нужно! (*встаетъ и быстро идетъ къ двери*).

Попова. Пойдите...

Смирновъ *(останавливается)*. Ну?

Попова. Ничего, уходите... Впрочемъ, постоитъ... Нѣтъ, уходите, уходите! Я васъ ненавижу! Или нѣтъ... Не уходите! Ахъ, если бы вы знали, какъ я зла, какъ я зла! *(бросаетъ на столъ револьверъ)*. Отекли пальцы отъ этой мерзости... *(рветъ отъ злости платокъ)*. Что же вы стоите? Убирайтесь!

Смирновъ. Прощайте.

Попова. Да, да, уходите!.. *(кричитъ)*. Куда же вы? Походите... Ступайте, впрочемъ. Ахъ, какъ я зла! Не подходите, не подходите!

Смирновъ *(подходя къ ней)*. Какъ я на себя золъ! Влюбился, какъ гимназистъ, стоялъ на колѣняхъ... Даже морозъ по кожѣ дереть... *(грубо)*. Я люблю васъ! Очень мнѣ нужно было влюбиться въ васъ! Завтра проценты платить, сѣнокосъ начался, а тутъ вы... *(беретъ ее за талию)*. Никогда этого не прощу себѣ...

Попова. Отойдите прочь! Прочь руки! Я васъ... ненавижу! Къ ба-барьеру! *(продолжительный поцѣлуй)*.

## XI.

ТЪ ЖЕ, ЛУКА съ топоромъ, САДОВНИКЪ съ граблями,  
КУЧЕРЪ съ вилами и РАБОЧІЕ съ дрекольемъ.

Лука *(увидѣвъ цѣлющуюся парочку)*. Батюшки! *(пауза)*.

Попова *(опустивъ глаза)*. Лука, скажешь тамъ, на конюшнѣ, чтобы сегодня Теби вовсе не давали овса.

*Занавѣсъ.*



# ПРЕДЛОЖЕНІЕ.

Шутка въ одномъ дѣйствіи.

**ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:**

**Степанъ Степановичъ Чубуковъ, помѣщикъ.**

**Наталья Степановна, его дочь, 25-ти лѣтъ.**

**Иванъ Васильевичъ Ломовъ, сосѣдъ Чубукова, здоровый, упитанный, но очень мнительный помѣщикъ.**

**Дѣйствіе происходитъ въ усадьбѣ Чубукова.**

---



Гостиная въ домѣ Чубукова.

I.

**ЧУБУКОВЪ и ЛОМОВЪ** (*входитъ во фракъ и бѣлыя перчатки*).

Чубуковъ (*идя къ нему навстрѣчу*). Голубушка, кого вижу! Иванъ Васильевичъ! Весьма радъ! (*пожимаетъ руку*). Вотъ именно сюрпризъ, мамочка... Какъ поживаете?

Ломовъ. Благодарю васъ. А вы какъ изволите поживать?

Чубуковъ. Живемъ помаленьку, ангелъ мой, вашими молитвами и прочее. Садитесь, покорнѣйше прошу... Вотъ именно, нехорошо сосѣдей забывать, мамочка моя. Голубушка, но что же вы это такъ официально? Во фракъ, въ перчатки и прочее. Развѣ куда ѣдете, драгоценный мой?

Ломовъ. Нѣтъ, я только къ вамъ, уважаемый Степанъ Степанычъ.

Чубуковъ. Такъ зачѣмъ же во фракъ, прелесть? Точно на Новый годъ съ визитомъ!

Ломовъ. Видите ли въ чемъ дѣло (*беретъ его подъ руку*). Я пріѣхалъ къ вамъ, уважаемый Степанъ Степанычъ, чтобы обезпечить васъ одною просьбою. Неоднократно я уже имѣлъ честь обращаться къ вамъ за помощью, и всегда вы, такъ сказать... но я, простите, волнуюсь. Я выпью воды, уважаемый Степанъ Степанычъ (*пьетъ воду*).

**Чубуковъ** (*въ сторону*). Денегъ пріѣхалъ просить! Не дамъ! (*ему*). Въ чемъ дѣло, красавецъ?

**Ломовъ**. Видите ли, Уважай Степанычъ... виноватъ, Степанъ Уважаемычъ... то-есть, я ужасно волнуюсь, какъ изволите видѣть... Однимъ словомъ, вы одинъ только можете помочь мнѣ, хотя, конечно, я ничемъ не заслужилъ и... и не имѣю права рассчитывать на вашу помощь...

**Чубуковъ**. Ахъ, да не размазываете, мамочка! Говорите сразу! Ну?

**Ломовъ**. Сейчасъ... Сію минуту. Дѣло въ томъ, что я пріѣхалъ просить руки у вашей дочери Натальи Степановны.

**Чубуковъ** (*радостно*). Мамуся! Иванъ Васильевичъ! Повторите еще разъ,—я не слышалъ!

**Ломовъ**. Я имѣю честь просить...

**Чубуковъ** (*перебывая*). Голубушка моя... Я такъ радъ и прочее... Вотъ именно и тому подобное (*обнимаетъ и целуетъ*). Давно желалъ. Это было моимъ всегдашнимъ желаніемъ (*пускаетъ слезу*). И всегда я любилъ васъ, ангелъ мой, какъ родного сына. Дай Богъ вамъ обоимъ совѣтъ и любовь и прочее, а я весьма желалъ... Что же я стою какъ болванъ? Опѣшилъ отъ радости, совсѣмъ опѣшилъ! Охъ, я отъ души... Пойду позову Наташу и тому подобное.

**Ломовъ** (*растроганный*). Уважаемый Степанъ Степанычъ, какъ вы полагаете, могу я рассчитывать на ея согласіе?

**Чубуковъ**. Такой, вотъ именно, красавецъ и... и вдругъ она не согласится! Влюблена, небось, какъ кошка и прочее... Сейчасъ! (*уходитъ*).

## II.

### ЛОМОВЪ (*одинъ*).

**Ломовъ**. Холодно... Я весь дрожу, какъ передъ экзаменомъ. Главное — нужно рѣшиться. Если же долго думать, колебаться, много разговаривать, да ждать идеала или на-

стоящей любви, то этакъ никогда не женишься... Брр!.. Холодно! Наталья Степановна отличная хозяйка, недурна, образована... чего жъ мнѣ еще нужно? Однако у меня ужъ начинается отъ волненія шумъ въ ушахъ (*пьетъ воду*). А не жениться мнѣ нельзя... Во-первыхъ, мнѣ уже 35 лѣтъ—возрастъ, такъ сказать, критическій. Во-вторыхъ, мнѣ нужна правильная, регулярная жизнь... У меня порокъ сердца, постоянныя сердцебиенія, я вспыльчивъ и всегда ужасно волнуясь... Сейчасъ вотъ у меня губы дрожать и на правомъ вѣкъ живчикъ прыгаетъ... Но самое ужасное у меня—это сонъ. Едва только лягу въ постель и только-что начну засыпать, какъ вдругъ въ лѣвомъ боку что-то — дергъ! и бьетъ прямо въ плечо и въ голову... Вскакиваю, какъ сумасшедшій, похожу немного и опять ложусь, но только-что начну засыпать, какъ у меня въ боку опять — дергъ! И этакъ разъ двадцать...

### III.

#### НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВНА И ЛОМОВЪ.

Наталья Степановна (*входитъ*). Ну, вотъ! Это вы, а папа говоритъ: поди, тамъ купецъ за товаромъ пришелъ. Здравствуйте, Иванъ Васильевичъ!

Ломовъ. Здравствуйте, уважаемая Наталья Степановна!

Наталья Степановна. Извините, я въ фартукъ и неглиже... Мы горошекъ чистимъ для сушки. Отчего вы у насъ такъ долго не были? Садитесь... (*салятся*). Хотите завтракать?

Ломовъ. Нѣтъ, благодарю васъ, я уже кушалъ.

Наталья Степановна. Курите... Вотъ спички... Погода великолѣпная, а вчера такой дождь былъ, что рабочіе весь день ничего не дѣлали. Вы сколько копенъ накосили? Я, представьте, сжадничала и скосила весь лугъ, а теперь сама не рада, боюсь, какъ бы мое сѣно не сгнило. Луч-

ше было бы подождать. Но что это? Вы, кажется, во фрак! Вот новость! На балъ ѣдете, что ли? Между прочимъ, вы похорошѣли... Впрочемъ, зачѣмъ вы такимъ франтомъ?

Ломовъ (*волнуясь*). Видите ли, уважаемая Наталья Степановна... Дѣло въ томъ, что я рѣшился просить васъ выслушать меня... Конечно, вы удивитесь и даже разсердитесь, но я... (*съ стороны*). Ужасно холодно!

Наталья Степановна. Въ чемъ дѣло? (*пауза*). Ну?

Ломовъ. Я постараюсь быть кратокъ. Вамъ, уважаемая Наталья Степановна, извѣстно, что я давно уже, съ самаго дѣтства, имѣю честь знать ваше семейство. Моя покойная тетюшка и ея супругъ, отъ которыхъ я, какъ вы изволите знать, получилъ въ наслѣдство землю, всегда относились съ глубокимъ уваженіемъ къ вашему батюшкѣ и къ покойной матушкѣ. Родъ Ломовыхъ и родъ Чубуковыхъ всегда находились въ самыхъ дружественныхъ и, можно даже сказать, родственныхъ отношеніяхъ. Къ тому же, какъ вы изволите знать, моя земля тѣсно соприкасается съ вашею. Если вы изволите припомнить, мои Воловьи Лужки граничатъ съ вашимъ березнякомъ.

Наталья Степановна. Виновата, я васъ перебыю. Вы говорите «мои Воловьи Лужки»... Да развѣ они ваши?

Ломовъ. Мои-съ...

Наталья Степановна. Ну, вотъ еще! Воловьи Лужки наши, а не ваши!

Ломовъ. Нѣтъ-съ, мои, уважаемая Наталья Степановна.

Наталья Степановна. Это для меня новость. Откуда же они ваши?

Ломовъ. Какъ откуда? Я говорю про тѣ Воловьи Лужки, что входятъ клиномъ между вашимъ березнякомъ и Горѣлымъ болотомъ.

Наталья Степановна. Ну, да, да... Они наши...

Ломовъ. Нѣтъ, вы ошибаетесь, уважаемая Наталья Степановна,—они мои.

**Наталья Степановна.** Опомнитесь, Иванъ Васильевичъ! Давно ли они стали вашими?

**Ломовъ.** Какъ давно? Насколько я себя помню, они всегда были нашими.

**Наталья Степановна.** Ну, это, положимъ, извините!

**Ломовъ.** Изъ бумагъ это видно, уважаемая Наталья Степановна. Воловьи Лужки были когда-то спорными, это — правда; но теперь всѣмъ извѣстно, что они мои. И спорить тутъ нечего. Извольте ли видѣть, бабушка моей тетушки отдала эти Лужки въ безсрочное и въ безвозмездное пользованіе крестьянамъ дѣдушки вашего батюшки за то, что они жгли для нея кирпичъ. Крестьяне дѣдушки вашего батюшки пользовались безвозмездно Лужками лѣтъ сорокъ и привыкли считать ихъ какъ бы своими, потому же, когда вышло положеніе...

**Наталья Степановна.** И совсѣмъ не такъ, какъ вы рассказываете! И мой дѣдушка, и прадѣдушка считали, что ихняя земля доходила до Горѣлова болота, — значить Воловьи Лужки были наши. Что жъ тутъ спорить? — не понимаю. Даже досадно!

**Ломовъ.** Я вамъ бумаги покажу, Наталья Степановна!

**Наталья Степановна.** Нѣтъ, вы просто шутите или дразните меня... Сюрпризъ какой! Владѣемъ землей чуть ли не триста лѣтъ, и вдругъ намъ заявляютъ, что земля не наша! Иванъ Васильевичъ, простите, но я даже ушамъ своимъ не вѣрю... Мнѣ не дѣроги эти Лужки. Тамъ всего пять десятинъ и стоить они какихъ-нибудь триста рублей, но меня возмущаетъ несправедливость. Говорите, что угодно, но несправедливости я терпѣть не могу.

**Ломовъ.** Выслушайте меня, умоляю васъ! Крестьяне дѣдушки вашего батюшки, какъ я уже имѣлъ честь сказать вамъ, жгли для бабушки моей тетушки кирпичъ. Тетушкина бабушка, желая сдѣлать имъ пріятное...

**Наталья Степановна.** Дѣдушка, бабушка, тетушка... ничего я тутъ не понимаю! Лужки наши, вотъ и все.

**Ломовъ.** Мои-съ!

**Наталья Степановна.** Наши! Хотя вы два дня доказывайте, хоть надѣньте пятнадцать фряковъ, а они наши, наши, наши!.. Вашего я не хочу и своего терять не желаю... Какъ вамъ угодно!

**Ломовъ.** Мнѣ, Наталья Степановна, Лужковъ не надо, но я изъ принципа. Если угодно, то, извольте, я вамъ подарю ихъ.

**Наталья Степановна.** Я сама могу подарить вамъ ихъ, они мои!.. Все это, по меньшей мѣрѣ, странно, Иванъ Васильевичъ! До сихъ поръ мы васъ считали хорошимъ сосѣдомъ, другомъ, въ прошломъ году давали вамъ свою молотилку, и черезъ это самимъ намъ пришлось домолачивать свой хлѣбъ въ ноябрѣ, а вы поступаете съ нами, какъ съ цыганами. Дарите мнѣ мою же землю. Извините, это не по-сосѣдски! По-моему, это даже дерзость, если хотите...

**Ломовъ.** По-вашему выходить, значить, что я узурпаторъ? Сударыня, никогда я чужихъ земель не захватывалъ и обвинять меня въ этомъ никому не позволю... (*быстро идетъ къ графину и пьетъ воду*). Воловьи Лужки мои!

**Наталья Степановна.** Неправда, наши!

**Ломовъ.** Мои!

**Наталья Степановна.** Неправда! Я вамъ докажу! Сегодня же пошлю своихъ косарей на эти Лужки!

**Ломовъ.** Что-съ?

**Наталья Степановна.** Сегодня же тамъ будутъ мои косари!

**Ломовъ.** А я ихъ въ шею!

**Наталья Степановна.** Не смѣте!

**Ломовъ** (*хватается за сердце*). Воловьи Лужки мои! По-нимаєте? Мои!

**Наталья Степановна.** Не кричите, пожалуйста! Можете

кричать и хрипѣть отъ злобы у себя дома, а тутъ прошу держать себя въ границахъ!

Ломовъ. Если бы, сударыня, не это страшное, мучительное сердцебіеніе, если бы жилы не стучали въ вискахъ, то я поговорилъ бы съ вами иначе! (*кричитъ*). Воловьи Лужки мои!

Наталья Степановна. Наши!

Ломовъ. Мои!

Наталья Степановна. Наши!

Ломовъ. Мои!

#### IV.

### ТВ ЖЕ и ЧУБУКОВЪ.

Чубуковъ (*входя*). Что такое? О чемъ кричите?

Наталья Степановна. Папа, объясни, пожалуйста, этому господину, кому принадлежать Воловьи Лужки: намъ или ему?

Чубуковъ (*ему*). Ципочка, Лужки наши!

Ломовъ. Да помилуйте, Степанъ Степанычъ, откуда они ваши? Будьте хоть вы разсудительнымъ человѣкомъ! Бабушка моей тетюшки отдала Лужки во временное, безвозмездное пользованіе крестьянамъ вашего дѣдушки. Крестьяне пользовались землей сорокъ лѣтъ и привыкли къ ней, какъ бы къ своей, когда же вышло положеніе...

Чубуковъ. Позвольте, драгоценный... Вы забываете, что именно крестьяне не платили вашей бабушкѣ и тому подобное, потому что Лужки тогда были спорными и прочее... А теперь всякая собака знаетъ, вотъ именно, что они наши. Вы, значитъ, плана не видѣли!

Ломовъ. А я вамъ докажу, что они мои!

Чубуковъ. Не докажете, любямецъ мой.

Ломовъ. Пѣтъ, докажу!

Чубуковъ. Мамочка, зачѣмъ же кричать такъ? Крикомъ,

вотъ именно, ничего не докажете. Я вашего не желаю и своего упускать не намѣренъ. Съ какой стати? Ужъ коли на то пошло, милаша моя, ежели вы намѣрены оспаривать Лужки и прочее, то я скорѣе подарю ихъ мужикамъ, чѣмъ вамъ. Такъ-то!

Ломовъ. Не понимаю! Какое же вы имѣете право дарить чужую собственность?

Чубуковъ. Позвольте ужъ мнѣ знать, имѣю я право, или нѣтъ. Вотъ именно, молодой человекъ, я не привыкъ, чтобы со мною разговаривали такимъ тономъ и прочее. Я, молодой человекъ, старше васъ вдвое и прошу васъ говорить со мною безъ ажитации и тому подобное.

Ломовъ. Нѣтъ, вы просто меня за дурака считаете и смѣтаетесь надо мною! Мою землю называете своею, да еще хотите, чтобы я былъ хладнокровенъ и говорилъ съ вами по-человѣчески! Такъ хорошіе сосѣди не поступаютъ, Степанъ Степанычъ! Вы не сосѣдъ, а узурпаторъ!

Чубуковъ. Что-съ? Что вы сказали?

Наталья Степановна. Папа, сейчасъ же пошли на Лужки косарей!

Чубуковъ (*Ломову*). Что вы сказали, милостивый государь?

Наталья Степановна. Воловы Лужки наши, и я не уступлю, не уступлю, не уступлю!

Ломовъ. Это мы увидимъ! Я вамъ судомъ докажу, что они мои!

Чубуковъ. Судомъ? Можете подавать въ судъ, милостивый государь, и тому подобное! Можете! Я васъ знаю, вы только, вотъ именно, и ждете случая, чтобы судиться и прочее... Кляузная натура! Весь вашъ родъ былъ сутяжный! Весь!

Ломовъ. Прошу не оскорблять моего рода! Въ роду Ломовыхъ всѣ были честные и не было ни одного, который находился бы подъ судомъ за растрату, какъ вашъ дя-дюшка!



Чубуковъ. А въ вашемъ Ломовскомъ роду всѣ были сумасшедшіе!

Наталья Степановна. Всѣ, всѣ, всѣ!

Чубуковъ. Дѣдъ вашъ пилъ запоемъ, а младшая тетушка, вотъ именно, Настасья Михайловна, бѣжала съ архитекторомъ и прочее...

Ломовъ. А ваша мать была кривобокая (*хватается за сердце*). Въ боку дернуло... Въ голову ударило... Батюшки!.. Воды!

Чубуковъ. А вашъ отецъ былъ картежникъ и обжора!

Наталья Степановна. А тетка — сплетница, какихъ мало!

Ломовъ. Лѣвая нога отнялась... А вы интриганъ... Охъ, сердце!.. И ни для кого не тайна, что вы передъ выборами под... Въ глазахъ искры... Гдѣ моя шляпа?

Наталья Степановна. Низко! Нечестно! Гадко!

Чубуковъ. А сами вы, вотъ именно, ехидный, двуличный и каверзный человекъ! Да-съ!

Ломовъ. Вотъ она шляпа... Сердце... Куда идти? Гдѣ дверь? Охъ!.. Умираю, кажется... Нога волочится... (*идетъ къ двери*).

Чубуковъ (*ему вслѣдъ*). И чтобъ ноги вашей больше не было у меня въ домѣ!

Наталья Степановна. Подавайте въ суды! Мы увидимъ!

(*Ломовъ уходитъ пошатываясь*).

V.

ЧУБУКОВЪ и НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВНА.

Чубуковъ. Къ чорту! (*ходитъ въ волнении*).

Наталья Степановна. Каковъ негодяй? Вотъ и вѣрь послѣ этого добрымъ сосѣдямъ!

Чубуковъ. Мерзавецъ! Чучело гороховое!

Наталья Степановна. Уродъ этакій! Присвоилъ себѣ чужую землю, да еще смѣетъ браниться.

Чубуковъ. И эта кикимора, эта, вотъ именно, куриная слѣпота осмѣливается еще дѣлать предложеніе и прочее! А? Предложеніе!

Наталья Степановна. Какое предложеніе?

Чубуковъ. Какъ же! Пріѣзжалъ за тѣмъ, чтобъ тебѣ предложеніе сдѣлать.

Наталья Степановна. Предложеніе? Мнѣ? Отчего же ты раньше мнѣ этого не сказалъ?

Чубуковъ. И во фракъ потому нарядился! Сосиска этакая! Сморчокъ!

Наталья Степановна. Мнѣ? Предложеніе? Ахъ! (*падаетъ въ кресло и стонетъ*). Вернуть его! Вернуть! Ахъ! Вернуть!

Чубуковъ. Кого вернуть?

Наталья Степановна. Скорѣй, скорѣй! Дурно! Вернуть! (*истерика*).

Чубуковъ. Что такое? Что тебѣ? (*хватаетъ себя за голову*) Несчастный я человекъ! Застрѣлюсь! Повѣшусь! Задушили!

Наталья Степановна. Умираю! Вернуть!

Чубуковъ. Тфу! Сейчасъ. Не реви! (*убѣгаетъ*).

---

Наталья Степановна (*одна, стонетъ*). Что мы надѣлали! Вернуть! Вернуть!

---

Чубуковъ (*убѣгаетъ*). Сейчасъ придетъ и прочее, чортъ его возьми! Уфъ! Говори сама съ нимъ, а я, вотъ именно, не желаю...

Наталья Степановна (*стонетъ*). Вернуть!

Чубуковъ (*кричитъ*). Идетъ онъ, тебѣ говорятъ. О, что за комиссія, Создатель, быть взрослой дочери отцомъ! Зарѣжусь! Обязательно зарѣжусь! Выругали человекъ, осрамили, выгнали, а все это ты... ты!

Наталья Степановна. Нѣтъ, ты!

Чубуковъ. Я же виноватъ, вотъ именно! (*въ дверяхъ показывается Ломовъ*). Ну, разговаривай сама съ нимъ! (*уходитъ*).

VI.

НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВНА и ЛОМОВЪ.

Ломовъ (*входитъ, изнеможенный*). Страшное сердцебіеніе... Пога онѣмѣла... въ боку дергаетъ...

Наталья Степановна. Простите, мы погорячились, Иванъ Васильевичъ... Я теперь припоминаю: Воловьѣ Лужки въ самомъ дѣлѣ ваши.

Ломовъ. Страшно сердце бьется... Мои Лужки... На обоихъ глазахъ живчики прыгаютъ...

Наталья Степановна. Ваши, ваши Лужки... Садитесь... (*салятся*). Мы были неправы...

Ломовъ. Я изъ принципа... Мнѣ не дорога земля, но дорогъ принципъ...

Наталья Степановна. Именно принципъ... Давайте, поговоримъ о чемъ-нибудь другомъ.

Ломовъ. Тѣмъ болѣе, что у меня есть доказательства. Бабушка моей тетушки отдала крестьянамъ дѣдушки вашего батюшки...

Наталья Степановна. Будетъ, будетъ объ этомъ... (*съ стороны*). Не знаю, съ чего начать... (*ему*). Скоро собираетесь на охоту?

Ломовъ. По тетеревамъ, уважаемая Наталья Степановна, думаю послѣ жнитва начать. Ахъ, вы слышали? Представьте, какое у меня несчастье! Мой Угадай, котораго вы изволите знать, захромалъ.

Наталья Степановна. Какая жалость! Отчего же?

Ломовъ. Не знаю... Должно-быть, вывихнулъ или другія

собаки покусали... (*вздыхаетъ*). Самая лучшая собака, но говоря ужъ о деньгахъ! Вѣдь я за него Миронову 125 рублей заплатилъ.

**Наталья Степановна.** Переплатили, Иванъ Васильевичъ!

**Ломовъ.** А, по-моему, это очень дешево. Собака чудесная.

**Наталья Степановна.** Папа далъ за своего Откатая 85 рублей, а вѣдь Откатай куда лучше вашего Угадая!

**Ломовъ.** Откатай лучше Угадая? Что вы! (*смѣется*). Откатай лучше Угадая!

**Наталья Степановна.** Конечно, лучше! Откатай, правда, молодъ, еще не опсовѣлъ, но по ладамъ и по розвязи лучше его нѣтъ даже у Волчанецкаго.

**Ломовъ.** Позвольте, Наталья Степановна, но вѣдь вы бываєте, что онъ подуздовать, а подуздоватая собака всегда непоимиста!

**Наталья Степановна.** Подуздовать? Въ первый разъ слышу!

**Ломовъ.** Увѣрю васъ, нижняя челюсть короче верхней.

**Наталья Степановна.** А вы мѣрили?

**Ломовъ.** Мѣрилъ. До угонки онъ годится, конечно, но если на-завладай, то едва ли...

**Наталья Степановна.** Во-первыхъ, нашъ Откатай породистый, густопсовый, онъ сынъ Запрягая и Стамезки, а у вашего муругопѣгаго не доберешься до породы... Потому старъ и уродливъ, какъ кляча...

**Ломовъ.** Старъ, да я за него пяти вашихъ Откатаевъ не возьму... Развѣ можно? Угадай—собака, а Откатай... даже и спорить смѣшно... Такихъ, какъ вашъ Откатай, у всякаго выжлятника—хоть прудъ пруди. Четвертная—красная цѣвна.

**Наталья Степановна.** Въ васъ, Иванъ Васильевичъ, сидитъ сегодня какой-то бѣсъ противорѣчія. То выдумали, что Лужки ваши, то Угадай лучше Откатая. Не люблю я, когда человѣкъ говоритъ не то, что думаетъ. Вѣдь вы

отлично знаете, что Откатай во сто разъ лучше вашего... этого глупаго Угадая. Зачѣмъ же говорить напротивъ?

Ломовъ. Я вижу, Наталья Степановна, вы считаете меня за слѣпого или за дурака. Да поймите, что вашъ Откатай подуздовать!

Наталья Степановна. Неправда.

Ломовъ. Подуздовать!

Наталья Степановна (*кричитъ*). Неправда!

Ломовъ. Что же вы кричите, сударыня?

Наталья Степановна. Зачѣмъ же вы говорите чушь? Вѣдь это возмутительно! Вашего Угадая подстрѣлить пора, а вы сравниваете его съ Откатаемъ!

Ломовъ. Извините, я не могу продолжать этого спора. У меня сердцебиеніе.

Наталья Степановна. Я замѣтила: тѣ охотники больше всѣхъ спорять, которые меньше всѣхъ понимаютъ.

Ломовъ. Сударыня, прошу васъ, замолчите... У меня лопается сердце... (*кричитъ*). Замолчите!

Наталья Степановна. Не замолчу, пока вы не сознаетесь, что Откатай во сто разъ лучше вашего Угадая!

Ломовъ. Во сто разъ хуже! Чтobъ онъ издохъ, вашъ Откатай! Виски... глазъ... плечо...

Наталья Степановна. А вашему дурацкому Угадаю нѣтъ надобности издыхать, потому что онъ и безъ того уже дохлый!

Ломовъ (*плачетъ*). Замолчите! У меня разрывъ сердца!!

Наталья Степановна. Не замолчу!

## VII.

### ТЪ ЖЕ и ЧУБУКОВЪ.

Чубуковъ (*входитъ*). Что еще?

Наталья Степановна. Папа, скажи искренно, по чистой совѣсти: какая собака лучше — нашъ Откатай или его Угадай?

**Ломовъ.** Степанъ Степановичъ, умоляю васъ, скажите вы только одно: подуздовать вашу Откатай или нѣтъ? Да или нѣтъ?

**Чубуковъ.** А хоть бы и такъ? Велика важность! Да зато во всемъ уѣздѣ лучше собаки нѣтъ и прочее.

**Ломовъ.** Но вѣдь мой Угадай лучше? По совѣсти!

**Чубуковъ.** Вы не волнуйтесь, драгоцѣнный... Позвольте... Вашъ Угадай, вотъ именно, имѣетъ свои хорошія качества... Онъ чистопсовый, на твердыхъ ногахъ, крутобедрыи и тому подобное. Но у этой собаки, если хотите знать, красавецъ мой, два существенныхъ недостатка: стара и съ короткимъ шипцомъ.

**Ломовъ.** Извините, у меня сердцебіеніе... Возьмемъ факты... Извольте припомнить, въ Маруськиныхъ зеленяхъ мой Угадай шелъ съ графскимъ Размахаемъ ухо въ ухо, а вашъ Откатай отсталъ на цѣлую версту.

**Чубуковъ.** Отсталъ, потому что графскій доѣзжачій ударилъ его арапникомъ.

**Ломовъ.** За дѣло. Всѣ собаки за лисицей бѣгутъ, а Откатай барана трепать сталъ!

**Чубуковъ.** Неправда-съ!.. Голубушка, я вспылчивъ я, вотъ именно, прошу васъ, прекратимъ этотъ споръ. Ударилъ потому, что всѣмъ завидно на чужую собаку глядѣть... Да-съ! Ненавистники всѣ! И вы, сударь, не безъ грѣха! Чуть, вотъ именно, замѣтите, что чья собака лучше вашего Угадая, сейчасъ же начинаете того, этого... самого... и тому подобное... Вѣдь я все помню!

**Ломовъ.** И я помню!

**Чубуковъ** (*дразнитъ*). И я помню... А что вы помните?

**Ломовъ.** Сердцебіеніе... Нога отнялась... Не могу.

**Наталья Степановна** (*дразнитъ*). Сердцебіеніе... Какой вы охотникъ? Вамъ въ кухнѣ на печи лежать да таракановъ давить, а не лисицъ травить! Сердцебіеніе...

**Чубуковъ.** Вправду, какой вы охотникъ? Съ вашими, вотъ

именно, сердцебиеніями дома сидѣть, а не на сѣдлѣ болтаться. Добро бы охотились, а то вѣдь ѣздите только за тѣмъ, чтобы спорить да чужимъ собакамъ мѣшать и прочее. Я вспыльчивъ, оставимъ этотъ разговоръ. Вы вовсе, вотъ именно, не охотникъ!

Ломовъ. А вы развѣ охотникъ? Вы ѣздите только за тѣмъ, чтобы къ графу подмазываться да интриговать... Сердце!.. Вы интриганъ!

Чубуковъ. Что-съ? Я интриганъ? (*кричитъ*). Замолчать!

Ломовъ. Интриганъ!

Чубуковъ. Мальчишка! Щенокъ!

Ломовъ. Старая крыса! Иезуитъ!

Чубуковъ. Замолчи, а то я подстрѣлю тебя изъ поганого ружья, какъ куропатку! Свистунъ!

Ломовъ. Всѣмъ извѣстно, что—охъ, сердце!—ваша покойная жена васъ била... Нога... виски... искры... Падаю, падаю!..

Чубуковъ. А ты у своей ключницы подъ башмакомъ!

Ломовъ. Вотъ, вотъ, вотъ... лопнуло сердце! Плечо оторвалось... Гдѣ мое плечо?.. Умираю (*падаетъ въ кресло*). Доктора! (*обморокъ*).

Чубуковъ. Мальчишка! Молокососъ! Свистунъ! Мнѣ дурно! (*пьетъ воду*). Дурно!

Наталья Степановна. Какой вы охотникъ? Вы и на лошади сидѣть не умѣете! (*отцу*). Папа! Что съ нимъ? Папа! Погляди, папа! (*взвизгиваетъ*). Иванъ Васильевичъ! Онъ умеръ!

Чубуковъ. Мнѣ дурно!.. Дыханье захватило!.. Воздуху!

Наталья Степановна. Онъ умеръ! (*треплетъ Ломова за рукавъ*). Иванъ Васильичъ! Иванъ Васильичъ! Что мы надѣлали? Онъ умеръ! (*падаетъ въ кресло*). Доктора, доктора! (*истерика*).

Чубуковъ. Охъ!.. Что такое? Что тебѣ?

Наталья Степановна (*стонетъ*). Онъ умеръ!.. умеръ!

Чубуковъ. Кто умеръ? (*поглядываетъ на Ломова*). Въ самомъ дѣлѣ померъ! Батюшки! Воды! Доктора! (*подноситъ ко рту*

*Ломовъ стаканъ*). Выпейте!.. Нѣтъ, не пьеть... Значить, умерь и тому подобное... Несчастнѣйшій я человекъ! Отчего я не пускаю себѣ пулю въ лобъ? Отчего я еще до сихъ поръ не зарѣзался? Чего я жду? Дайте мнѣ ножъ! Дайте мнѣ пистолеть! (*Ломовъ шевелится*). Оживаетъ, кажется... Выпейте воды!.. Вотъ такъ...

Ломовъ. Искры... туманъ... Гдѣ я?

Чубуковъ. Женитесь вы поскорѣй и—ну васъ къ лѣшему! Она согласна! (*соединяетъ руки Ломова и дочери*). Она согласна и тому подобное. Благословляю васъ и прочее. Только оставьте вы меня въ покоѣ!

Ломовъ. А? Что? (*поднимаясь*). Кого?

Чубуковъ. Она согласна! Ну? Поцѣлуйтесь н... и чортъ съ вами!

Наталья Степановна (*стонетъ*). Онъ живъ... Да, да, я согласна...

Чубуковъ. Цѣлуйтесь!

Ломовъ. А? кого? (*цѣлуется съ Натальей Степановной*). Очень пріятно... Позвольте, въ чемъ дѣло? Ахъ, да, понимаю... Сердце... искры... Я счастливъ, Наталья Степановна... (*цѣлуетъ руку*). Нога отнялась...

Наталья Степановна. Я... я тоже счастлива...

Чубуковъ. Точно гора съ плечъ... Уфъ!

Наталья Степановна. Но... все-таки, согласитесь хоть теперь: Угадай хуже Откатал.

Ломовъ. Лучше!

Наталья Степановна. Хуже!

Чубуковъ. Ну, начинается семейное счастье! Шампанскаго!

Ломовъ. Лучше!

Наталья Степановна. Хуже! Хуже! Хуже!

Чубуковъ (*стараясь перекричать*). Шампанскаго! Шампанскаго!

*Занавѣсъ.*



# ИВАНОВЪ.

Драма въ четырехъ дѣйствіяхъ.

## ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

**Ивановъ, Николай Алексѣевичъ**, непрѣмѣнный членъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствія.

**Анна Петровна**, его жена, урожденная Сарра Абрамсонъ.

**Шабельскій, Матвѣй Семеновичъ**, графъ, его дядя по матери.

**Лебедевъ, Павелъ Кириллычъ**, предсѣдатель земской управы.

**Зинаида Савишна**, его жена.

**Саша**, дочь Лебедевыхъ, 20-ти лѣтъ.

**Львовъ, Евгенийъ Константиновичъ**, молодой земскій врачъ.

**Бабакина, Марѳа Егоровна**, молодая вдова, помѣщица, дочь богатаго купца.

**Косыхъ, Дмитрій Никитичъ**, акцизный.

**Воркинъ, Михаилъ Михайловичъ**, дальній родственникъ Иванова и управляющій его имѣніемъ.

**Авдотья Назаровна**, старуха съ неопредѣленною профессіей.

**Егорушка**, нахлѣбникъ Лебедевыхъ.

**1-й гость.**

**2-й гость.**

**3-й гость.**

**4-й гость.**

**Петръ**, лакей Иванова.

**Гаврила**, лакей Лебедевыхъ.

Гости обоего пола, лакеи.

Дѣйствіе происходитъ въ одномъ изъ уѣздовъ средней полосы Россіи.

## ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Садъ въ имѣніи Иванова. Слѣва фасадъ дома съ террасой. Одно окно открыто. Передъ террасой широкая полукруглая площадка, отъ которой въ садъ, прямо и вправо, идутъ аллеи. На правой сторонѣ садовые диванчики и столики. На одномъ изъ послѣднихъ горитъ лампа. Вечеръ. При поднятіи занавѣса слышно, какъ въ домѣ разучиваютъ дуэтъ на роялѣ и виолончели.

### I.

#### ИВАНОВЪ и БОРКИНЪ.

Ивановъ сидитъ за столомъ и читаетъ книгу. Боркинъ въ большихъ сапогахъ съ ружьемъ показывается въ глубинѣ сада; онъ навеселѣ; увидѣвъ Иванова, на цыпочкахъ идетъ къ нему и, поровнявшись съ нимъ, прицѣливается въ его лицо.

Ивановъ (*увидѣвъ Боркина, вздрагиваетъ и вскакиваетъ*). Миша, Богъ знаетъ что... вы меня испугали... Я и такъ разстроенъ, а вы еще съ глупыми шутками... (*садится*). Испугалъ и радуется...

Боркинъ (*хохочетъ*). Ну, ну... виновать, виновать (*садится рядомъ*). Не буду больше, не буду... (*снимаетъ фуражку*). Жарко. Вѣрите ли, душа моя, въ какіе-нибудь три часа 17 верстъ отмахалъ... замучился... Пощупайте-ка, какъ у меня сердце бьется...

Ивановъ (*читая*). Хорошо, послѣ...

Боркинъ. Нѣтъ, вы сейчасъ пощупайте (*беретъ его руку*

*и прикладываетъ къ груди*). Слышите? Ту-ту-ту-ту-ту-ту Это, значить, у меня порокъ сердца. Каждую минуту могу скоропостижно умереть. Послушайте, вамъ будетъ жаль, если я умру?

Ивановъ. Я читаю... послѣ...

Боркинъ. Нѣтъ, серьезно, вамъ будетъ жаль, если я вдругъ умру? Николай Алексѣевичъ, вамъ будетъ жаль, если я умру?

Ивановъ. Не приставайте!

Боркинъ. Голубчикъ, скажите: будетъ жаль?

Ивановъ. Мнѣ жаль, что отъ васъ водкой пахнетъ. Это, Миша, противно.

Боркинъ (*смѣется*). Развѣ пахнетъ? Удивительное дѣло... Впрочемъ, тутъ нѣтъ ничего удивительнаго. Въ Пгѣсникахъ я встрѣтилъ слѣдователя, и мы, признаться, съ нимъ рюмокъ по восьми стукнули. Въ сущности говоря, пить очень вредно. Послушайте, вѣдь вредно? А? вредно?

Ивановъ. Это, наконецъ, невыносимо... Поймите, Миша, что это издѣвательство...

Боркинъ. Ну, ну... виновать, виновать!.. Богъ съ вами, сидите себѣ... (*встаетъ и идетъ*). Удивительный народъ, даже и поговорить нельзя (*возвращается*). Ахъ, да! Чуть было не забылъ... Пожалуйста 82 рубля!..

Ивановъ. Какіе 82 рубля?

Боркинъ. Завтра рабочимъ платить.

Ивановъ. У меня нѣтъ.

Боркинъ. Покорнѣйше благодарю! (*дразнитъ*). У меня нѣтъ... Да вѣдь нужно платить рабочимъ? Нужно?

Ивановъ. Не знаю. У меня сегодня ничего нѣтъ. Подождите до перваго числа, когда жалованье получу.

Боркинъ. Вотъ и извольте разговаривать съ такими субъектами!.. Рабочіе придутъ за деньгами не перваго числа, а завтра утромъ!..

Ивановъ. Тамъ что же мнѣ теперь дѣлать Ну, рѣжьте

меня, пишите... И что у васъ за отвратительная манера приставать ко мнѣ именно тогда, когда я читаю, пишу или...

Борнинь. Я васъ спрашиваю: рабочимъ нужно платить, или нѣтъ? Э, да что съ вами говорить!.. (*махнетъ рукой*). Помѣщики тоже, чортъ подери, землевладѣльцы... Рациональное хозяйство... Тысяча десятинъ земли—и ни гроша въ карманѣ... Винный погребъ есть, а штопора нѣтъ... Возьму вотъ и продамъ завтра тройку! Да-съ!.. Овесъ на корню продалъ, а завтра возьму и рожь продамъ (*шагаетъ по сценѣ*). Вы думаете, я стану церемониться? Да? Ну, нѣтъ-съ, ге на такого напали...

## II.

ТЪ ЖЕ, ШАБЕЛЬСКІЙ (*за сценой*) и АННА ПЕТРОВНА.

Голосъ Шабельскаго за окномъ: «Играть съ вами нѣтъ никакой возможности... Слуха у васъ меньше, чѣмъ у фаршированной щуки, а тушѣ возмутительное».

Анна Петровна (*показывается въ открытомъ окнѣ*). Кто здѣсь сейчасъ разговаривалъ? Это вы, Миша? Что вы такъ шагаете?

Борнинь. Съ вашимъ Nicolas—voilà еще не такъ запагаешь.

Анна Петровна. Послушайте, Миша, прикажите принести на крокетъ сѣна.

Борнинь (*махнетъ рукой*). Оставьте вы меня, пожалуйста...

Анна Петровна. Скажите, какой тонъ... Къ вамъ этотъ тонъ совсѣмъ не идетъ. Если хотите, чтобы васъ любили женщины, то никогда при нихъ не сердитесь и не солидничайте... (*мужу*) Николай, давайте на сѣнѣ кувыркатся!..

Ивановъ. Тебѣ, Анюта, вредно стоять у открытаго окна. Уйди, пожалуйста... (*кричитъ*). Дядя, закрой окно! (*окно закрывается*).

**Боркинъ.** Не забывайте еще, что черезъ два дня нужно проценты платить Лебедеву.

**Ивановъ.** Я помню. Сегодня я буду у Лебедева и попрошу его подождать... (*смотритъ на часы*).

**Боркинъ.** Вы когда туда поѣдете?

**Ивановъ.** Сейчасъ.

**Боркинъ** (*живо*). Пойдите, пойдите!.. вѣдь сегодня, кажется, день рожденія Шурочки... Те-те-те-те... А я забылъ... Вотъ память, а? (*прыгаетъ*). Поѣду, поѣду... (*поетъ*). Поѣду... Пойду выкупаюсь, пожую бумага, приму три капли нашатырнаго спирта и — хоть сначала начинай... Голубчикъ, Николай Алексѣвичъ, мамуся моя, ангелъ души моей, вы все нервничаете, ноете, постоянно въ мерлекхлюндн, а вѣдь мы вмѣстѣ чортъ знаетъ какихъ дѣловъ могли бы надѣлать! Для васъ я на все готовъ... Хотите я для васъ на Мареушѣ Бабакиной женюсь? Половина приданого ваша... То-есть не половина, а все берите, все!..

**Ивановъ.** Будетъ вамъ вздоръ молоть...

**Боркинъ.** Нѣтъ, серьезно! Хотите, я на Мареушѣ женюсь? Приданое пополамъ... Впрочемъ, зачѣмъ я это вамъ говорю? Развѣ вы поймете? (*дразнитъ*). «Будетъ вздоръ молоть». Хорошій вы человекъ, умный, но въ васъ не хватаетъ этой жилки, этого, понимаете ли, взмаха. Этакъ бы размахнуться, чтобы чертямъ тошно стало... Вы психопать, нюня, а будь вы нормальный человекъ, то черезъ годъ имѣли бы миллионъ. Напримѣръ, будь у меня сейчасъ 2,300 рублей, я бы черезъ двѣ недѣли имѣлъ 20 тысячъ. Не вѣрите? И это, по-вашему, вздоръ? Нѣтъ, не вздоръ... Вотъ дайте мнѣ 2,300 рублей, и я черезъ недѣлю доставлю вамъ 20 тысячъ. На томъ берегу Овсяновъ продаетъ полоску земли, какъ разъ противъ насъ, за 2,300 рублей. Если мы купимъ эту полоску, то оба берега будутъ наши. А если оба берега будутъ наши, то, понимаете ли, мы имѣемъ право запрудить рѣку. Вѣдь

такъ? Мы мельницу будемъ строить, и, какъ только мы объявимъ, что хотимъ запруду сдѣлать, какъ всё, которые живутъ внизъ по рѣкѣ, поднимутъ гвалтъ, а мы сейчасъ: коммень-зирь,—если хотите, чтобы плотины не было, заплатите. Понимаете? Заревская фабрика дастъ пять тысячъ, Корольковъ три тысячи, монастырь дастъ пять тысячъ...

Ивановъ. Все это, Миша, фокусы... Если не хотите со мною ссориться, то держите ихъ при себѣ.

Боркинъ (*садится за столъ*). Конечно!.. Я такъ и зналъ!.. И сами ничего не дѣлаете, и меня связываето...

### III.

#### ТЪ ЖЕ, ШABELЬСКИЙ и ЛЬВОВЪ.

Шабельскій (*выходя со Львовымъ изъ дома*). Доктора—тѣ же адвокаты, съ тою только разницей, что адвокаты только грабятъ, а доктора и грабятъ и убиваютъ... Я не говорю о присутствующихъ (*садится на диванчикъ*). Шарлатаны, эксплуататоры... Можетъ-быть, въ какой-нибудь Аркадіи попадаютъ исключенія изъ общаго правила, но... я въ свою жизнь пролѣчилъ тысячь двадцать и не встрѣтилъ ни одного доктора, который не казался бы мнѣ патентованнымъ мошенникомъ.

Боркинъ (*Иванову*). Да, сами ничего не дѣлаете и меня связываете. Оттого у насъ и денегъ нѣтъ...

Шабельскій. Повторяю, я не говорю о присутствующихъ... Можетъ-быть, есть исключенія, хотя, впрочемъ... (*звастъ*).

Ивановъ (*закрывая книгу*). Что, докторъ, скажете?

Львовъ (*оглядываясь на окно*). То же, что и утромъ говорилъ: ей немедленно нужно въ Крымъ ѣхать (*ходитъ по сценѣ*).

Шабельскій (*прыскаетъ*). Въ Крымъ!.. Отчего, Миша, мы

съ тобою не лѣчимъ? Это такъ просто... Стала перхать или кашлять отъ скуки какая-нибудь мадамъ Анго или Офелія, бери сейчасъ бумагу и прописывай по правиламъ науки: сначала молодой докторъ, потомъ поѣздка въ Крымъ, въ Крыму татаринъ...

Ивановъ (*графу*). Ахъ, не зуди ты, зуда! (*Львову*). Чтобы ѣхать въ Крымъ, нужны средства. Допустимъ, что я найду ихъ, но вѣдь она рѣшительно отказывается отъ этой поѣздки...

Львовъ. Да, отказывается (*пауза*).

Боркинъ. Послушайте, докторъ, развѣ Анна Петровна ужъ такъ серьезно больна, что необходимо въ Крымъ ѣхать?..

Львовъ (*оглядывается на окно*). Да, чахотка...

Боркинъ. Псс!.. не хорошо... Я самъ давно уже по лицу замѣчалъ, что она не протянетъ долго.

Львовъ. Но... говорите потише. въ домѣ слышно.. (*пауза*).

Боркинъ (*вздыхая*). Жизнь наша... Жизнь человѣческая подобна цвѣтку, пышно произрастающему въ полѣ: пришла козель, съѣлъ и—нѣтъ цвѣтка...

Шабельскій. Все вздоръ, вздоръ и вздорь!.. (*звѣетъ*). Вздоръ и плутни. (*Пауза*).

Боркинъ. А я, господа, тутъ все учу Николая Алексѣевича деньги наживать. Сообщилъ ему одну чудную идею, но мой норохъ, по обыкновенію, упалъ на влажную почву. Ему не втолкуешь... Посмотрите, на что онъ похожъ: меланхолія, силинь, тоска, хандра, грусть...

Шабельскій (*встаетъ и потягивается*). Для всѣхъ ты, геніальная башка, изобрѣтаешь и учишь всѣхъ, какъ жить, а меня хоть бы разъ поучилъ... Поучи-ка, умная голова, укажи выходъ...

Боркинъ (*встаетъ*). Пойду купаться... Прощайте, господа... (*графу*). У васъ двадцать выходовъ есть... На нашемъ мѣстѣ я черезъ недѣлю имѣлъ бы тысячь двадцать (*идетъ*).



Шабельскій (*идетъ за нимъ*). Какимъ это образомъ? Ну-ка, научи.

Боркинъ. Тутъ и учить нечему. Очень просто... (*возвращается*). Николай Алексѣевичъ, дайте мнѣ рубль!

(*Ивановъ молча даетъ ему деньги*).

Боркинъ. Merci! (*графу*). У васъ еще много козырей на рукахъ.

Шабельскій (*идя за нимъ*). Ну, какіе же?

Боркинъ. На вашемъ мѣстѣ и черезъ недѣлю имѣлъ бы тысячь тридцать, если не больше (*уходитъ съ графомъ*).

Ивановъ (*послѣ паузы*). Лишніе люди, лишніе слова, необходимость отвѣчать на глупые вопросы, — все это, докторъ, утомило меня до болѣзни. Я сталъ раздражителенъ, вспыльчивъ, рѣзокъ, мелоченъ до того, что не узнаю себя. По цѣлымъ днямъ у меня голова болитъ, бессонница, шумъ въ ушахъ... А дѣваться положительно некуда... Положительно...

Львовъ. Мнѣ, Николай Алексѣевичъ, нужно серьезно поговорить съ вами.

Ивановъ. Говорите.

Львовъ. Я объ Аннѣ Петровнѣ (*садится*). Она не соглашается ѣхать въ Крымъ, но съ вами она поѣхала бы.

Ивановъ (*подумавъ*). Чтобы ѣхать вдвоемъ, нужны средства. Къ тому же, мнѣ не дадутъ продолжительнаго отпуска. Въ этомъ году я уже бралъ разъ отпускъ...

Львовъ. Допустимъ, что это правда. Теперь далѣе. Самое главное лѣкарство отъ чахотки — это абсолютный покой, а ваша жена не знаетъ ни минуты покоя. Ее постоянно волнуютъ ваши отношенія къ ней. Простите, я взволнованъ и буду говорить прямо. Ваше поведеніе убиваетъ ее (*пауза*). Николай Алексѣевичъ, позвольте мнѣ думать о васъ лучше!..

Ивановъ. Все это правда, правда... Вѣроятно, я страшно виноватъ, но мысли мои перепутались, душа скована какою-то лѣнью, и я не въ силахъ понимать себя. Не по-

нимаю ни людей, ни себя... (*взглядывает на окно*). Насъ могутъ услышать, пойдѣте, пройдемся (*встаютъ*). Я, милый другъ, рассказалъ бы вамъ съ самаго начала, но исторія длинная и такая сложная, что до утра не расскажешь (*идутъ*). Анята замѣчательная, необыкновенная женщина... Ради меня она перемѣнила вѣру, бросила отца и мать, ушла отъ богатства, и, если бы я потребовалъ еще сотню жертвъ, она принесла бы ихъ, не моргнувъ глазомъ. Ну-съ, а я ничѣмъ не замѣчательнъ и ничѣмъ не жертвовалъ. Впрочемъ, это длинная исторія... Вся суть въ томъ, милый докторъ (*мнется*), что... короче говоря, женился я по страстной любви и клялся любить вѣчно, но... прошло пять лѣтъ, она все еще любитъ меня, а я... (*разводитъ руками*). Вы вотъ говорите мнѣ, что она скоро умретъ, а я не чувствую ни любви, ни жалости, а какую-то пустоту, утомленіе. Если со стороны поглядѣть на меня, то это, вѣроятно, ужасно; самъ же я не понимаю, что дѣлается съ моею душой... (*уходятъ по аллею*).

#### IV.

### ШАБЕЛЬСКІЙ, потомъ АННА ПЕТРОВНА.

Шабельскій (*входитъ и хохочетъ*). Честное слово, это не мошенникъ, а мыслитель, виртуозъ! Памятникъ ему нужно поставить. Въ себѣ одномъ совмѣщаетъ современный гной во всѣхъ видахъ: и адвоката, и доктора, и кукуевца, и кассира (*садится на нижнюю ступень террасы*). И вѣдь нигдѣ, кажется, курса не кончилъ, вотъ что удивительно... Стало-быть, какимъ былъ бы геніальнымъ подлецомъ, если бы еще усвоилъ культуру, гуманитарныя науки! «Вы, — говорить, — черезъ недѣлю можете имѣть 20 тысячъ. У васъ, — говорить, — еще на рукахъ козырный тузъ — вашъ графскій титулъ (*хохочетъ*). За васъ любая дѣвица пойдетъ съ приданымъ»...

(*Анна Петровна открываетъ окно и глядитъ внизъ*).

Шабельскій. «Хотите, — говорить, — посватую за васъ Марешу?» Qui est ce que c'est Мареша? Ахъ, это та, Балабалкина... Бабакалкина... эта, что на прачку похожа.

Анна Петровна. Это вы, графъ?

Шабельскій. Что такое?

(*Анна Петровна смѣется*).

Шабельскій (*еврейскимъ акцентомъ*). Зачиво вы смѣетесь?

Анна Петровна. Я вспомнила одну вашу фразу. Помните, вы говорили за обѣдомъ? Воръ прощенный, лошадь... Какъ это?

Шабельскій. Жидъ крещеный, воръ прощенный, конь лѣченый — одна цѣна.

Анна Петровна (*смѣется*). Вы даже простого каламбура не можете сказать безъ злости. Злой вы человекъ (*серьезно*). Не шутя, графъ, вы очень злы. Съ вами жить скучно и жутко. Всегда вы брюзжите, ворчите, всё у васъ подлещи и негодяи. Скажите мнѣ, графъ, откровенно: говорили вы когда-нибудь о комъ хорошо?

Шабельскій. Это что за экзамень?

Анна Петровна. Живемъ мы съ вами подъ одною крышей уже пять лѣтъ, и я ни разу не слышала, чтобы вы отзывались о людяхъ спокойно, безъ желчи и безъ смѣха. Что вамъ люди сдѣлали худого? И неужели вы думаете, что вы лучше всѣхъ?

Шабельскій. Вовсе я этого не думаю. Я такой же мерзавецъ и свинья въ ермолкѣ, какъ всѣ. Моветонъ и старый башмакъ. Я всегда себя браню. Кто я? Что я? Былъ богатъ, свободенъ, немного счастливъ, а теперь... нахлѣбникъ, приживалка, обезличенный шутъ. Я негодую, презираю, а мнѣ въ отвѣтъ смѣются; я смѣюсь, на меня печально киваютъ головой и говорятъ: спятилъ старикъ... А чаще всего меня не слышать и не замѣчаютъ...

Анна Петровна (*покойно*). Опять кричить...

**Шабельскій.** Кто кричить?

**Анна Петровна.** Сова. Каждый вечеръ кричитъ.

**Шабельскій.** Пусть кричитъ. Хуже того, что уже есть, по можетъ быть (*потмивается*). Эхъ, милѣйшая Сарра, выиграй я сто или двѣсти тысячъ, показалъ бы я вамъ, гдѣ раки зимуютъ!.. Только бы вы меня и видѣли. Ушелъ бы я изъ этой ямы, отъ даровыхъ хлѣбовъ, и ни ногой бы сюда до самаго страшнаго суда...

**Анна Петровна.** А что бы вы сдѣлали, если бы вы выиграли?

**Шабельскій** (*подумавъ*). Я прежде всего поѣхалъ бы въ Москву и цыганъ послушалъ. Потомъ... потомъ махнулъ бы въ Парижъ. Нанялъ бы себѣ тамъ квартиру, ходилъ бы въ русскую церковь...

**Анна Петровна.** А еще что?

**Шабельскій.** По цѣлымъ днямъ сидѣлъ бы на жениной могилѣ и думалъ. Такъ бы я и сидѣлъ на могилѣ, пока не околѣлъ. Жена въ Парижѣ похоронена... (*пауза*).

**Анна Петровна.** Ужасно скучно. Сыграть намъ дуэтъ еще, что ли?

**Шабельскій.** Хорошо, приготовьте ноты.

## V.

### ШАБЕЛЬСКІЙ, ИВАНОВЪ и ЛЬВОВЪ.

**Ивановъ** (*показывается на аллеѣ со Львовымъ*). Вы, милый другъ, кончили курсъ только въ прошломъ году, еще молоды и бодры, а мнѣ тридцать пять. Я имѣю право вамъ совѣтовать. Не женитесь вы ни на еврейкахъ, ни на психопаткахъ, ни на синихъ чулкахъ, а выбирайте себѣ что-нибудь заурядное, сѣренькое, безъ яркихъ красокъ, безъ лишнихъ звуковъ. Вообще всю жизнь стройте по шаблону. Чѣмъ сѣрѣе и монотоннѣе фонъ, тѣмъ лучше. Голубчикъ, не воюйте вы въ одиночку съ тысячами, не

сражайтесь съ мельницами, не бейтесь лбомъ о стѣны... Да хранить васъ Богъ отъ всевозможныхъ рациональныхъ хозяйствъ, необыкновенныхъ школъ, горячихъ рѣчей... Запритесь себѣ въ свою раковину и дѣлайте свое маленькое, Богомъ данное дѣло... Это теплое, честное и здоровье. А жизнь, которую я пережилъ, — какъ она утомительна! Ахъ, какъ утомительна!..- Сколько ошибокъ, несправедливостей, сколько нечѣпного (*увидѣвъ графа, раздраженно*). Всегда ты, дядя, передъ глазами вертись, не даешь поговорить наединѣ!

Шабельскій (*плачущимъ голосомъ*). А чортъ меня возьми гдѣ пріюта нѣтъ! (*вскакиваетъ и идетъ въ домъ*).

Ивановъ (*кричитъ ему вслѣдъ*). Ну, виновать, виновать! (*Львову*). За что я его обидѣлъ? Нѣтъ, я рѣшительно развѣтился. Надо будетъ съ собою что-нибудь сдѣлать. Надо...

Львовъ (*волнуясь*). Николай Алексѣевичъ, я выслушалъ васъ и... и, простите, буду говорить прямо, безъ обиняковъ. Въ вашемъ голосѣ, въ вашей интонаціи, не говоря ужъ о словахъ, столько бездушнаго эгоизма, столько холоднаго безсердечія... Близкій вамъ человѣкъ погибаетъ оттого, что онъ вамъ близокъ, дни его сочтены, а вы... вы можете не любить, ходить, давать совѣты, рисоваться... Не могу я вамъ высказать, нѣтъ у меня дара слова, но... но вы мнѣ глубоко не симпатичны!..

Ивановъ. Можетъ-быть, можетъ-быть... Вамъ со стороны виднѣе... Очень возможно, что вы меня понимаете... Вѣроятно, я очень, очень виновать... (*прислушивается*). Кажется, лошадей подали. Пойду одѣваться... (*идетъ къ дому и останавливается*). Вы, докторъ, не любите меня и не скрываете этого. Это дѣлаетъ честь вашему сердцу...

(*уходитъ въ домъ*).

Львовъ (*одинъ*). Проклятый характеръ... Опять упустилъ случай и не поговорилъ съ нимъ, какъ слѣдуетъ... Не могу

говорить съ нимъ хладнокровно! Едва раскрою ротъ и скажу одно слово, какъ у меня вотъ тутъ (*показываетъ на грудь*) начинаетъ душить, переворачиваться, и языкъ прилипаетъ къ горлу. Ненавижу этого Тартюфа, возвышеннаго мошеника, всею душой... Вотъ уѣзжаетъ... У несчастной жены все счастье въ томъ, чтобы онъ былъ воадъ нея, она дышитъ имъ, умоляетъ его провести съ нею хоть одинъ вечеръ, а онъ... онъ не можетъ... Ему, видите ли, дома душно и тѣсно. Если онъ хоть одинъ вечеръ проведетъ дома, то съ тоски пулю себѣ пустить въ лобъ. Бѣдный... ему нуженъ просторъ, чтобы затѣять какую-нибудь новую подлость... О, я знаю, зачѣмъ ты каждый вечеръ ѣдишь къ этимъ Лебедевымъ! Знаю!

## VI.

ЛЬВОВЪ, ИВАНОВЪ (*въ шляпѣ и пальто*), ШАБЕЛЬСКІЙ  
и АННА ПЕТРОВНА.

Шабельскій (*выходя съ Ивановымъ и съ Анной Петровной изъ дому*). Наконецъ, Nicolas, это безчеловѣчно!.. Самъ уѣзжаешь каждый вечеръ, а мы остаемся одни. Отъ скуки ложимся спать въ 8 часовъ. Это безобразіе, а не жизнь! И почему это тебѣ можно ѣздить, а намъ нельзя? Почему?

Анна Петровна. Графъ, оставьте его! Пусть ѣдетъ, пусть...

Ивановъ (*женѣ*). Ну, куда ты, больная, поѣдешь? Ты больна и тебѣ нельзя послѣ заката солнца быть на воздухѣ... Спроси вотъ доктора. Ты не дитя, Анюта, нужно разсуждать... (*графу*). А тебѣ зачѣмъ туда ѣхать?

Шабельскій. Хоть къ чорту въ пекло, хоть къ крокодилу въ зубы, только чтобъ не здѣсь оставаться. Мнѣ скучно! Я отупѣлъ отъ скуки! Я надоѣлъ всѣмъ. Ты оставляешь меня дома, чтобы ей не было одной скучно, а я ее загрызъ, заѣлъ!

Анна Петровна. Оставьте его, графъ, оставьте! Пусть ѣдетъ, если ему тамъ весело.

Ивановъ. Аня, къ чему этотъ тонъ? Ты знаешь, я не за весельемъ туда ѣду! Мнѣ нужно поговорить о векселѣ.

Анна Петровна. Не понимаю, зачѣмъ ты оправдываешься? Поѣзжай! Кто тебя держитъ?

Ивановъ. Господа, не будемте ѣсть другъ друга! Неужели это такъ необходимо!

Шабельскій (*плачущимъ голосомъ*). Nicolas, голубчикъ, ну, я прошу тебя, возьми меня съ собою! Я погляжу тамъ мошенниковъ и дураковъ, и, можетъ-быть, развлекусь. Вѣдь я съ самой Пасхи нигдѣ не былъ!

Ивановъ (*раздраженно*). Хорошо, поѣдемъ! Какъ вы мнѣ всѣ надоѣли!

Шабельскій. Да? Ну, мерсі, мерсі... (*весело беретъ его подъ руку и отводитъ въ сторону*). Твою соломенную шляпу можно надѣть?

Ивановъ. Можно, только поскорѣй, пожалуйста!

(*Графъ бѣжитъ въ домъ*).

Ивановъ. Какъ вы всѣ надоѣли мнѣ! Впрочемъ, Господи, что я говорю? Аня, я говорю съ тобою невозможнымъ тономъ. Никогда этого со мною раньше не было. Ну, прощай, Аня, я вернусь къ часу.

Анна Петровна. Коля, милый мой, останься дома!

Ивановъ (*волнуясь*). Голубушка моя, родная моя, несчастная, умоляю тебя, не мѣшай мнѣ уѣзжать по вечерамъ изъ дому. Это жестоко, несправедливо съ моей стороны, но позволяй мнѣ дѣлать эту несправедливость! Дома мнѣ мучительно - тяжело! Какъ только прячется солнце, душу мою начинаетъ давить тоска. Какая тоска! Не спрашивай, отчего это. Я самъ не знаю. Клянусь, не знаю! Здѣсь тоска, а поѣдешь къ Лебедевымъ, тамъ еще хуже; вернешься оттуда, а здѣсь опять тоска, и такъ всю ночь... Просто отчаяніе!..

Анна Петровна. Коля... а то остался бы! Будемъ, какъ прежде, разговаривать... Поужинаемъ вмѣстѣ, будемъ чи-

тать... Я и брюзга разучили для тебя много дуэтовъ..  
*(собираетъ его)*. Останься!.. *(пауза)*. Я тебя не понимаю.  
Это ужъ цѣлый годъ продолжается. Отчего ты измѣнился?

Ивановъ. Не знаю, не знаю...

Анна Петровна. А почему ты не хочешь, чтобы я уѣзжала  
вмѣстѣ съ тобою по вечерамъ?

Ивановъ. Если тебѣ нужно, то, пожалуй, скажу. Немного  
жестокое это говорить, но лучше сказать... Когда меня му-  
чаетъ тоска, я... я начинаю тебя не любить. Я и отъ тебя  
бѣгу въ это время. Однимъ словомъ, мнѣ нужно уѣзжать  
пзъ дому.

Анна Петровна. Тоска? понимаю, понимаю... Знаешь чтѣ,  
Коля? Ты попробуй, какъ прежде, пѣть, смѣяться, сердиться...  
Останься, будемъ смѣяться, пить наливку, и твою тоску  
разгонимъ въ одну минуту. Хочешь, я буду пѣть? Или  
пойдемъ, сядемъ у тебя въ кабинетѣ, въ потемкахъ, какъ  
прежде, и ты мнѣ про свою тоску расскажешь... У тебя  
такіе страдальческіе глаза! Я буду глядѣть въ нихъ и пла-  
кать, и намъ обоимъ станетъ легче... *(смыется и плачетъ)*.  
Или, Коля, какъ? Цвѣты повторяются каждую весну, а  
радости — нѣтъ? Да? Ну, поѣзжай, поѣзжай...

Ивановъ. Ты помолись за меня Богу, Аня! *(идетъ, оста-  
навливается и думаетъ)*. Нѣтъ, не могу! *(уходитъ)*.

Анна Петровна. Поѣзжай... *(садится у стола)*.

Львовъ *(ходитъ по сценѣ)*. Анна Петровна, возьмите  
себѣ за правило: какъ только бьетъ шесть часовъ, вы  
должны идти въ комнаты и не выходить до самаго утра.  
Вечерняя сырость вредна вамъ.

Анна Петровна. Слушаю-сь.

Львовъ. Что «слушаю-сь»? Я говорю серьезно.

Анна Петровна. А я не хочу быть серьезною *(кашляетъ)*.

Львовъ. Вотъ видите, — вы уже кашляете...



VII.

ЛЬВОВЪ, АННА ПЕТРОВНА и ШABELЬСКІЙ.

Шабельскій (*съ шляпъ и пальто выходитъ изъ дому*). А гдѣ Николай? Лошадей подали? (*быстро идетъ и цѣлуетъ руку Анны Петровны*). Покойной ночи, прелесть! (*примасничаетъ*). Гевальтъ! Жвинните, пожалуста! (*быстро уходитъ*).

Львовъ. Шуты!

(*Пауза; слышны далекіе звуки гармоники*).

Анна Петровна. Какая скука!.. Вонъ кучера и кухарки задаютъ себѣ балъ, а я.. я — какъ брошенная... Евгений Константиновичъ, гдѣ вы тамъ шагаете? Идите сюда сидѣте!..

Львовъ. Не могу я сидѣть (*пауза*).

Анна Петровна. На кухнѣ «чижика» играютъ (*поетъ*). «Чижикъ, чижикъ, гдѣ ты былъ? Подъ горою водку пилъ» (*пауза*). Докторъ, у васъ есть отецъ и мать?

Львовъ. Отецъ умеръ, а мать есть.

Анна Петровна. Вы скучаете по матери?

Львовъ. Мнѣ некогда скучать.

Анна Петровна (*смыется*). Цвѣты повторяются каждую весну, а радости — нѣтъ. Кто мнѣ сказалъ эту фразу? Дай Богъ память... Кажется, самъ Николай сказалъ (*прислушивается*). Опять сова кричить!

Львовъ. Ну, и пусть кричать.

Анна Петровна. Я, докторъ, начинаю думать, что судьба меня обсчитала. Множество людей, которые, можетъ-быть, и не лучше меня, бываютъ счастливы и ничего не платятъ за свое счастье. Я же за все платила, рѣшительно за все!.. И какъ дорого! За что брать съ меня такіе ужасные проценты?.. Душа моя, вы всѣ осторожны со мною, деликатничаете, бонтесь сказать правду, но думаете, я не знаю, какая у меня болѣзнь? Отлично знаю. Впрочемъ, скучно

объ этомъ говорить... (*еврейскимъ акцентомъ*). Жвините, пожалуста! Вы умѣете рассказывать смѣшные анекдоты?

Львовъ. Не умѣю.

Анна Петровна. А Николай умѣетъ. И начинаю я также удивляться несправедливости людей: почему за любовь не отвѣчаютъ любовью и за правду платятъ ложью? Скажите: до какихъ поръ будутъ ненавидѣть меня отецъ и мать? Они живутъ за 50 верстъ отсюда, а я день и ночь, даже во снѣ, чувствую ихъ ненависть. А какъ прикажете понимать тоску Николая? Онъ говоритъ, что не любитъ меня только по вечерамъ, когда его гнететъ тоска. Это я понимаю и допускаю, но представьте, что онъ разлюбилъ меня совершенно! Конечно, это невозможно, ну—а вдругъ? Нѣтъ, нѣтъ, объ этомъ и думать даже не надо (*поетъ*). «Чижикъ, чижикъ, гдѣ ты былъ?»... (*вздрагиваетъ*). Какія у меня страшныя мысли!.. Вы, докторъ, не семейный и не можете понять многого...

Львовъ. Вы удивляетесь... (*садится рядомъ*). Нѣтъ, я... я удивляюсь, удивляюсь вамъ! Ну, объясните, растолкуйте мнѣ, какъ это вы, умная, честная, почти святая, позволили такъ нагло обмануть себя и затащить васъ въ это совинное гнѣздо? Зачѣмъ вы здѣсь? Что общаго у васъ съ этимъ холоднымъ, бездушнымъ... но оставимъ вашего мужа!—что у васъ общаго съ этою пустою, пошлою средой? О, Господи, Боже мой!.. Этотъ вѣчно брюзжащій, заржавленный, сумасшедшій графъ, этотъ пройдоха, мошенникъ изъ мошенниковъ, Миша, со своею гнусною физиономіей... Объясните же мнѣ, къ чему вы здѣсь? Какъ вы сюда попали?..

Анна Петровна (*смѣется*). Вотъ точно такъ же и онъ когда-то говорилъ... Точь-въ-точь... Но у него глаза больше, и, бывало, какъ онъ начнетъ говорить о чемъ-нибудь горячо, такъ они какъ угли... Говорите, говорите!..

Львовъ (*встаетъ и машетъ рукой*). Что мнѣ говорить? Идите въ комнаты...

Анна Петровна. Вы говорите, что Николай то да сё, пятое, десятое. Откуда вы его знаете? Развѣ за полгода можно узнать человѣка? Это, докторъ, замѣчательный человѣкъ, и я жалѣю, что вы не знали его года два-три тому назадъ. Онъ теперь хандрить, молчить, ничего не дѣлаетъ, но прежде... Какая прелесть!.. Я полюбила его съ перваго взгляда (*смѣется*). Взглянула, а меня мышеловка хлопъ! Онъ сказалъ: пойдёмъ... Я отрѣзала отъ себя все, какъ, знаете, отрѣзають гнилые листья ножницами, и пошла... (*пауза*). А теперь не то... Теперь онъ ѣдетъ къ Лебедевымъ, чтобы развлечься съ другими женщинами, а я... сижу въ саду и слушаю, какъ сова кричить... (*стукъ сторожа*). Докторъ, а братьевъ у васъ нѣтъ?

Львовъ. Нѣтъ.

(*Анна Петровна рыдаетъ*).

Львовъ. Ну, что еще? Что вамъ?

Анна Петровна (*встаетъ*). Я не могу, докторъ, я поѣду туда...

Львовъ. Куда это?

Анна Петровна. Туда, гдѣ онъ... Я поѣду... Прикажите заложить лошадей (*бѣжитъ въ домъ*).

Львовъ. Нѣтъ, я рѣшительно отказываюсь лѣчить при такъ условіяхъ! Мало того, что ни копейки не платять, но еще душу выворачивають вверхъ дномъ!.. Нѣтъ, я отказываюсь! Довольно!.. (*идетъ въ домъ*).

*Занавѣсъ.*

---

## ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

Залъ въ домѣ Лебедевыхъ; прямо выходъ въ садъ; направо и налѣво двери. Старинная, дорогая мебель. Люстра, канделябры и картины— все это въ чехлахъ.

### I.

**ЗИНАИДА САВИШНА, КОСЫХЪ, АВДОТЯ НАЗАРОВНА, ЕГОРУШКА, ГАВРИЛА, ГОРНИЧНАЯ, СТАРУХИ-ГОСТЬИ, БАРЫШНИ и БАБАКИНА.**

Зинаида Савишна сидитъ на диванѣ. По обѣ стороны ея на креслахъ старухи-гостьи; на стульяхъ молодежь. Въ глубинѣ, около выхода въ садъ, играютъ въ карты; между играющими: Косыхъ, Авдотья Назаровна и Егорушка. Гаврила стоитъ у правой двери; горничная разноситъ на подносѣ лакомства. Изъ сада въ правую дверь и обратно въ продолженіе всего дѣйствія циркулируютъ гости. Бабакина выходитъ изъ правой двери и направляется къ Зинаидѣ Савишнѣ.

**Зинаида Савишна** (*радостно*). Душечка, Марѳа Егоровна...

**Бабакина**. Здравствуйте, Зинаида Савишна! Честь имѣю васъ поздравить съ новорожденною... (*цѣлуются*). Дай Богъ, чтобъ...

**Зинаида Савишна**. Благодарю васъ, душечка, я такъ рада... Ну, какъ ваше здоровье?..

**Бабакина**. Очень вами благодарна (*садится рядомъ на диванъ*). Здравствуйте, молодые люди!..

(*Гости встаютъ и кланяются*).

**1-й гость** (*смѣется*). Молодые люди... а вы развѣ старая?

**Бабакина** (*вздыхая*). Гдѣ ужъ намъ въ молодья лѣзть...

**1-й гость** (*почтительно смѣясь*). Помилуйте, что вы... Одно только званіе, что вдова, а вы любой дѣвницѣ можете десять очковъ впередъ дать.

(*Гаврила подноситъ Бабакиной чай*).

**Зинаида Савишна** (*Гаврилъ*). Что же ты такъ подаешь? Принесъ бы какого-нибудь варенья. Кружовешного, что ли...

Бабакина. Не безпокойтесь, очень вами благодарна.

*(пауза).*

1-й гость. Вы, Марья Егоровна, через Мушкино ѣхали?..

Бабакина. Нѣтъ, на Займище. Тутъ дорога лучше.

1-й гость. Такъ-съ.

Косыхъ. Два пики.

Егорушка. Пасъ.

Авдотья Назаровна. Пасъ.

2-й гость. Пасъ.

Бабакина. Выигрышные билеты, душечка Зинаида Савишна, опять пошли шибко въ гору. Видано ли дѣло: первый заемъ стоить ужъ 270, а второй безъ малаго 250... Никогда этого не было...

Зинаида Савишна *(вздыхаетъ)*. Хорошо, у кого ихъ много...

Бабакина. Не скажите, душечка; хоть они и въ большой цѣнѣ, а держать въ нихъ капиталъ невыгодно. Одна страховка сживетъ со свѣта.

Зинаида Савишна. Такъ-то такъ, а все-таки, моя милая, надѣешься... *(вздыхаетъ)*. Богъ милостивъ...

3-й гость. Съ моей точки зрѣнія, mesdames, я такъ разсуждаю, что въ настоящее время имѣть капиталъ очень невыгодно. Процентныя бумаги даютъ весьма немного дивиденда, а пускать деньги въ оборотъ чрезвычайно опасно. Я такъ понимаю, mesdames, что человекъ, который въ настоящее время имѣетъ капиталъ, находится болѣе въ критическомъ положеніи, чѣмъ тотъ, mesdames, который...

Бабакина *(вздыхаетъ)*. Это вѣрно!

*(1-й гость зѣваетъ).*

Бабакина. А развѣ можно при дамахъ зѣвать?

1-й гость. Pardon, mesdames, это я нечаянно.

*(Зинаида Савишна встаетъ и уходитъ въ правую дверь; продолжительное молчаніе).*

Егорушка. Два бубны.

Авдотья Назаровна. Пасъ.

2-й гость. Пасъ.

Косыхъ. Пасъ.

Бабакина *(въ сторону)*. Господи, какая скука, помереть можно!

## II.

### ТЪ ЖЕ, ЗИНАИДА САВИШНА и ЛЕБЕДЕВЪ.

Зинаида Савишна *(выходя изъ правой двери съ Лебедевымъ, тихо)*. Что усълся тамъ? Примадонна какая! Сиди съ гостями! *(садится на прежнее мѣсто)*.

Лебедевъ *(зѣваетъ)*. Охъ, грѣхи наши тяжкіе! *(увидѣвъ Бабакину)*. Батюшки, мармеладъ сидитъ! Рахатъ-лукумъ!.. *(здоровается)*. Какъ ваше драгоцѣннѣйшее?..

Бабакина. Очень вами благодарна.

Лебедевъ. Ну, слава Богу!.. Слава Богу! *(садится въ кресло)*. Такъ, такъ... Гаврила!  
*(Гаврила подноситъ ему рюмку водки и стаканъ воды; онъ выпиваетъ водку и заливаетъ водой)*.

1-й гость. На доброе здоровье!..

Лебедевъ. Какое ужъ тутъ доброе здоровье!.. Околѣванца нѣтъ, и на томъ спасибо *(женѣ)*. Зюсюшка, а гдѣ же наша новорожденная?

Косыхъ *(плаксиво)*. Скажите мнѣ: ну, за что мы остались безъ взятки? *(вскакиваетъ)*. Ну, за что мы проиграли, чортъ меня подери совсѣмъ?

Авдотья Назаровна *(вскакиваетъ и сердито)*. А за то, что если ты, батюшка, не умѣешь играть, такъ не садись. Какое ты имѣешь полное право ходить въ чужую масть? Вотъ и остался у тебя маринованный тузь!.. *(оба бѣгутъ изъ-за стола впередъ)*.

Косыхъ *(плачущимъ голосомъ)*. Позвольте, господа... У меня на бубнахъ: тузь, король, дама, коронка самъ-восемь, тузь пикъ и одна, понимаете ли, одна маленькая червонка,

а она, чортъ знаетъ, не могла объявить маленькій шлемъ!.. Я сказалъ безъ козыря...

Авдотья Назаровна (*перебивая*). Это я сказала безъ козыря! Ты сказалъ: два безъ козыря...

Косыхъ. Это возмутительно!.. Позвольте... у васъ... у меня... у васъ... (*Лебедеву*). Да вы посудите, Павелъ Кириллычъ... У меня на бубнахъ: тузь, король, дама, коронка самъ-восемь...

Лебедевъ (*затыкаетъ уши*). Отстань, сдѣлай милость.. отстань...

Авдотья Назаровна (*кричитъ*). Это я сказала безъ козыря!

Косыхъ (*свиряно*). Будь я подлецъ и анаеема, если я сяду еще когда-нибудь играть съ этою севрюгой! (*быстро уходитъ въ садъ*).

(2-й гость уходитъ за нимъ, за столомъ остается Елюришка).

Авдотья Назаровна. Уфъ!.. Даже въ жаръ отъ него бросило... Севрюга!.. Самъ ты севрюга!..

Бабакина. Да и вы, бабушка, сердитая...

Авдотья Назаровна (*увидѣвъ Бабакину, всплескиваетъ руками*). Ясочка моя, красавица!.. Она здѣсь, а я, куриная слѣпота, и не вижу... Голубочка... (*цѣлуетъ ее въ плечо и адится рядомъ*). Вотъ радости! Дай же я на тебя погляжу, лебедь бѣлая! Тфу, тфу, тфу... чтобъ не сглазить!..

Лебедевъ. Ну, распѣлась... Жениха бы ей лучше подыскала...

Авдотья Назаровна. И найду! Въ гробъ, грѣшница, не лягу, а ее да Саничку замужъ выдамъ!.. Въ гробъ не лягу... (*вздохъ*). Только вотъ, гдѣ ихъ найдешь нынче, жениховъ-то? Вонъ они, наши женихи-то, сидятъ нахохлившись, словно пѣтухи мокрые!..

3-й гость. Весьма неудачное сравненіе. Съ моей точки зрѣнія, mesdames, если теперешніе молодые люди предпо-

читают холостую жизнь, то въ этомъ виноваты, такъ сказать, социальныя условія...

Лебедевъ. Ну, ну!.. не философствуй!.. не люблю!..

### III.

#### ТЪ ЖЕ и САША.

Саша (*входитъ и идетъ къ отцу*). Такая великолѣпная погода, а вы сидите здѣсь, господа, въ духотѣ.

Зинаида Савишна. Сашенька, развѣ ты не видишь, что у насъ Марѳа Егоровна?

Саша. Виновата (*идетъ къ Бабакиной и здоровается*).

Бабакина. Загордѣлась, Саничка, загордѣлась, хоть бы разокъ пріѣхала (*цѣлуется*). Поздравляю, душечка...

Саша. Благодарю (*садится рядомъ съ отцомъ*).

Лебедевъ. Да, Авдотья Назаровна, трудно теперь съ женихами. Не то, что жениха—путевыхъ шаферовъ достать негдѣ. Нынѣшняя молодежь, не въ обиду будь сказано, какая-то, Господь съ нею, кислая, переваренная... Ни поплясать, ни поговорить, ни выпить толкомъ...

Авдотья Назаровна. Ну, пить-то они всѣ мастера, только дай...

Лебедевъ. Не велика штука пить,—пить и лошадь умѣть... Нѣтъ, ты съ толкомъ выпей!.. Въ наше время, бывало, день-деньской съ лекціями бьешься, а какъ только насталъ вечеръ, идешь прямо куда-нибудь на огонь и до самой вари волчкомъ вертишься... И пляшешь, и барышень забавляешь, и эта штука (*щелкаетъ себя по шеп*). Бывало, и брешешь, и философствуешь, пока языкъ не отнимется... А нынѣшніе... (*махнетъ рукой*). Не понимаю... Ни Богу свѣчка, ни чорту кочерга. Во всемъ уѣздѣ есть только одинъ путевый малый, да и тотъ женатъ (*вздыхаетъ*) и, кажется, ужъ бѣситься сталъ...

Бабакина. Кто это?



Лебедевъ. Николаша Ивановъ.

Бабакина. Да, онъ хорошій мужчина (*дѣлаетъ гримасу*), только несчастный!..

Зинаида Савишна. Еще бы, душечка, быть ему счастливымъ! (*вздыхаетъ*). Какъ онъ, бѣдный, ошибся!.. Женился на своей жидовкѣ и такъ, бѣдный, рассчитывалъ, что отецъ и мать за нею золотыя горы дадутъ, а вышло совсѣмъ напротивъ... Съ того времени, какъ она перемѣнила вѣру, отецъ и мать знать ее не хотятъ, прокляли... Такъ ни копейки и не получилъ. Теперь кается, да ужъ поздно...

Саша. Мама, это неправда.

Бабакина (*горячо*). Шурочка, какъ же неправда? Вѣдь это всѣ знаютъ. Ежели бы не было интереса, то зачѣмъ бы ему на еврейкѣ жениться? Развѣ русскихъ мало? Ошибся, душечка, ошибся... (*живо*). Господи, да и достается же теперь ей отъ него! Просто смѣхъ одинъ. Придетъ откуда-нибудь домой и сейчасъ къ ней: «твой отецъ и мать меня надули! Пошла вонъ изъ моего дома!» А куда ей идти? Отецъ и мать не примутъ; пошла бы въ горничныя, да работать не приучена... Ужъ онъ мудруеть-мудруеть надъ нею, пока графъ не вступится. Не будь графа, давно бы ее со свѣта сжилъ...

Авдотья Назаровна. А то, бываетъ, запретъ ее въ погребъ и—«ѣшь, такая-сякая, чеснокъ»... Ёсть-ёсть, покуда изъ души переть не начнетъ (*смѣхъ*).

Саша. Папа, вѣдь это ложь!

Лебедевъ. Ну, такъ что же? Пусть себѣ мелютъ на здорьеве... (*кричитъ*). Гаврила!..

(*Гаврила подаетъ ему водку и воду*).

Зинаида Савишна. Оттого вотъ и разорился, бѣдный. Дѣла, душечка, совсѣмъ упали... Если бы Боркинъ не глядѣлъ за хозяйствомъ, такъ ему бы съ жидовкой ёсть нечего было (*вздыхаетъ*). А какъ мы-то, душечка, изъ-за него пострадали!.. Такъ пострадали, что одинъ только Богъ видитъ!

Вѣрите ли, милая, ужъ три года, какъ онъ намъ девять тысячъ долженъ!

Бабакина (съ ужасомъ). Девять тысячъ!..

Зинаида Савишна. Да... это мой милый Пашенька распорядился дать ему. Не разбираетъ, кому можно дать, кому нельзя. Про капиталъ я уже не говорю,—Богъ съ нимъ, но лишь бы проценты исправно платилъ!..

Саша (горячо). Мама, объ этомъ вы говорили уже тысячу разъ!

Зинаида Савишна. Тебѣ-то что? Что ты заступаешься?

Саша (встаетъ). Но какъ у васъ хватаетъ духа говорить все это про человѣка, который не сдѣлалъ вамъ никакого зла? Ну, что онъ вамъ сдѣлалъ?

3-й гость. Александра Павловна, позвольте мнѣ сказать два слова! Я уважаю Николая Алексѣича и всегда считалъ за честь, но, говоря *entre nous*, онъ мнѣ кажется авантюристомъ.

Саша. И поздравляю, если вамъ такъ кажется.

3-й гость. Въ доказательство приведу вамъ слѣдующій фактъ, который передавалъ мнѣ его атташѣ или, такъ сказать, чичироне Боркинъ. Два года тому назадъ, во время скотской эпизоотіи, онъ накупилъ скота, застраховалъ его...

Зинаида Савишна. Да, да, да! Я помню этотъ случай. Мнѣ тоже говорили.

3-й гость. Застраховалъ его, можете имѣть въ виду, потомъ заразилъ чумой и взялъ страховую премію.

Саша. Ахъ, да вздоръ все это! Вздоръ! Никто не покупалъ и не заражалъ скота! Это самъ Боркинъ сочинилъ такой проектъ и вездѣ хвастался имъ. Когда Ивановъ узналъ объ этомъ, то Боркинъ потомъ у него двѣ недѣли прощенія просилъ. Виноватъ же Ивановъ только, что у него слабый характеръ и не хватаетъ духа прогнать отъ себя этого Боркина, и виноватъ, что онъ слишкомъ вѣ-

рять людям! Все, что у него было, растащили, расхитили; около его великодушныхъ затѣй наживался всякій, кто только хотѣлъ.

Лебедевъ. Шура-горячка! Будеть тебѣ!

Саша. Затѣмъ же они говорятъ вздоръ? Ахъ, да все это скучно и скучно! Ивановъ, Ивановъ, Ивановъ—и больше нѣтъ другихъ разговоровъ (*идетъ къ двери и возвращается*). Удивляюсь! (*молодымъ людямъ*). Положительно удивляюсь вашему терпѣнію, господа! Неужели вамъ не скучно такъ сидѣть? Вѣдь воздухъ застылъ отъ тоски! Говорите же что-нибудь, забавляйте барышень, шевелитесь! Ну, если у васъ нѣтъ другихъ сюжетовъ, кромѣ Иванова, то смѣйтесь, пойте, пляшите, что ли...

Лебедевъ (*смѣется*). Пробери-ка, пробери ихъ хорошенько!

Саша. Ну, послушайте, сдѣлайте мнѣ такое одолженіе! Если не хотите плясать, смѣяться, пѣть, если все это скучно, то, прошу васъ, умоляю, хоть разъ въ жизни, для курьеза, чтобы удивить или насмѣшить, соберите силы и всѣ разомъ придумайте что-нибудь остроумное, блестящее, скажите даже хоть дерзость или пошлость, но чтобы было смѣшно и ново! Или всѣ разомъ совершите что-нибудь маленькое, чуть замѣтное, но хоть немножко похожее на подвигъ, чтобы барышни хоть разъ въ жизни, глядя на васъ, могли бы сказать: «Ахъ!» Послушайте, вѣдь вы желаете нравиться, но почему же вы не стараетесь нравиться? Ахъ, господа! Всѣ вы не то, не то, не то!.. На васъ глядя, мухи мрутъ и лампы начинаютъ коптѣть. Не то, не то!.. Тысячу разъ я вамъ говорила и всегда буду говорить, что всѣ вы не то, не то, не то!..

#### IV.

### ТЪ ЖЕ, ИВАНОВЪ и ШABELЬСКІЙ.

Шабельскій (*входя съ Ивановымъ изъ правой двери*). Кто это здѣсь декламируетъ? Вы, Шурочка? (*хохочетъ и пожи-*

масть ей руку). Поздравляю, ангель мой, дай вамъ Богъ попозже умереть и не рождаться во второй разъ...

Зинаида Савишна (*радостно*). Николай Алексѣевичъ, графъ!..

Лебедевъ. Ва! Кого вижу... графъ! (*идеть навстрѣчу*).

Шабельскій (*увидавъ Зинаиду Савишину и Бабакину, протягиваетъ въ сторону ихъ руки*). Два банка на одномъ диванѣ!.. Глядѣть любо! (*здоровается; Зинаидѣ Савишинѣ*). Здравствуйте, Зюзюшка! (*Бабакиной*). Здравствуйте, помпичикъ!..

Зинаида Савишна. Я такъ рада. Вы, графъ, у насъ такой рѣдкій гость! (*кричитъ*). Гаврила, чаю! Садитесь, пожалуйста! (*встаетъ, уходитъ въ правую дверь и тотчасъ же возвращается; видъ крайне озабоченный. Саша садится на прежнее мѣсто. Ивановъ молча здоровается со всѣми*).

Лебедевъ (*Шабельскому*). Откуда ты взялся? Какія это силы тебя принесли? Вотъ сюрпризъ! (*цѣлуетъ его*). Графъ, вѣдь ты разбойникъ! Такъ не дѣлають порядочные люди! (*ведетъ его за руку къ рамѣ*). Отчего ты у насъ не бываешь? Сердить, что ли?

Шабельскій. На чемъ же я могу къ тебѣ ѣздить? Верхомъ на палкѣ? Своихъ лошадей у меня нѣтъ, а Николай не беретъ съ собою, велитъ съ Саррой сидѣть, чтобъ та не скучала. Присылай за мною своихъ лошадей, тогда и буду ѣздить...

Лебедевъ (*машетъ рукой*). Ну, да!.. Зюзюшка скорѣе треснетъ, чѣмъ дастъ лошадей. Голубчикъ ты мой, милый, вѣдь ты для меня дороже и роднѣе всѣхъ! Изъ всего старья уцѣлѣли я да ты! Люблю въ тебѣ я прежнія страданія и молодость погибшую мою... Шутки шутками, а я вотъ почти плачу (*цѣлуетъ графа*).

Шабельскій. Пусти, пусти! Отъ тебя, какъ изъ виннаго погреба...

Лебедевъ. Душа моя, ты не можешь себѣ представить, какъ мнѣ скучно безъ моихъ друзей! Въшаться готовъ съ тоски... (*тихо*). Зюсюшка со своею ссудною кассой разогнала всѣхъ порядочныхъ людей, и остались, какъ видишь, одни только зулусы... эти Дудкины, Будкины... Ну, кушай чай... (*Гаврила подноситъ графу чай*).

Зинаида Савишна (*озабоченно Гаврилу*). Ну, какъ же ты подаешь? Принесъ бы какого-нибудь варенья... Кружовеннаго, что ли...

Шабельскій (*хохочетъ; Иванову*). Что, не говорилъ я тебѣ? (*Лебедеву*). Я съ нимъ пари дорогою держалъ, что, какъ прѣдемъ, Зюсюшка сейчасъ же начнетъ угощать насъ кружовеннымъ вареньемъ...

Зинаида Савишна. Вы, графъ, все такой же насмѣшникъ... (*садится*).

Лебедевъ. Двадцать бочекъ его наварили, такъ куда же его дѣвать?

Шабельскій (*сядясъ около стола*). Вы копите, Зюсюшка? Ну, что ужъ милліончикъ есть, а?

Зинаида Савишна (*со вздохомъ*). Да, со стороны поглядѣть, такъ богаче насъ и людей нѣтъ, а откуда быть деньгамъ? Одинъ разговоръ только...

Шабельскій. Ну, да, да!.. знаемъ!.. Знаемъ, какъ вы плохо въ шапки играете... (*Лебедеву*). Паша, скажи по совѣсти: скопили милліонъ?

Лебедевъ. Не знаю. Это у Зюсюшки спроси...

Шабельскій (*Бабакиной*). И у жирненькаго помпончика скоро будетъ милліончикъ! Хорошѣетъ и полнѣетъ не по днямъ, а по часамъ! Что значить деньжищъ много...

Бабакина. Очень вами благодарна, ваше сіятельство, а только я не люблю насмѣшекъ.

Шабельскій. Милый мой банкъ, да развѣ это насмѣшки? Это просто вопль души, отъ избытка чувствъ глаголятъ уста... Васъ и Зюсюшку я люблю безконечно... (*весело*).

Восторгы!.. Упоеніе!.. Васъ обѣихъ не могу видѣть равнодушно...

Зинаида Савишна. Вы все такой же, какъ и были (*Егорушка*). Егорушка, потуши свѣчи! Зачѣмъ имъ горѣть попусту, если не играетъ? (*Егорушка вздрагиваетъ; тушитъ свѣчи и садится; Иванову*). Николай Алексѣевичъ, какъ здоровье вашей супруги?

Ивановъ. Плохо. Сегодня докторъ положительно сказалъ, что у нея чахотка...

Зинаида Савишна. Неужели? Какая жалость!.. (*вздохъ*). А мы всё ее такъ любимъ...

Шабельскій. Вздоръ, вздоръ и вздоръ!.. Никакой чахотки нѣтъ, докторское шарлатанство, фокусъ. Хочется эскулапу шляться, вотъ и выдумалъ чахотку. Благо мужъ не ревнивъ (*Ивановъ дѣлаетъ нетерпливое движеніе*). Что касается самой Сарры, то я не вѣрю ни одному ея слову, ни одному движенію. Въ своей жизни я никогда не вѣрилъ ни докторамъ, ни адвокатамъ, ни женщинамъ. Вздоръ, вздоръ, шарлатанство и фокусы!

Лебедевъ (*Шабельскому*). Удивительный ты субъектъ, Матвѣй!.. Напустилъ на себя какую-то мизантропію и носится съ нею, какъ дуракъ съ писаною торбой. Человѣкъ какъ человѣкъ, а заговоришь, такъ точно у тебя типунъ на языкъ или сплошной катарръ...

Шабельскій. Что же мнѣ цѣловаться съ мошенниками и подлецами, что ли?

Лебедевъ. Гдѣ же ты видишь мошенниковъ и подлецовъ?

Шабельскій. Я, конечно, не говорю о присутствующихъ, но...

Лебедевъ. Вотъ тебѣ и но... Все это напускное.

Шабельскій. Напускное... Хорошо, что у тебя никакого міровоззрѣнія нѣтъ.

Лебедевъ. Какое мое міровоззрѣніе? Сижу и каждую минуту околѣванца жду. Вотъ мое міровоззрѣніе. Намъ,

братъ, не время съ тобою о міровоззрѣніяхъ думать. Такъ-то... (*кричитъ*). Гаврила!

Шабельскій. Ты ужъ и такъ нагаврился... Погляди, какъ носъ насандалили!

Лебедевъ (*тѣтъ*). Ничего, душа моя... не вѣнчаться мнѣ вхать.

Зинаида Савишна. Давно уже у насъ докторъ Львовъ не былъ. Совсѣмъ забылъ.

Саша. Моя антипатія. Ходячая честность. Воды не попросить, папирсы не закурить безъ того, чтобы не показать своей необыкновенной честности. Ходить или говорить, а у самого на лбу написано: я честный человекъ! Скучно съ нимъ.

Шабельскій. Узкій, прямолинейный гѣকারъ! (*дразнитъ*). «Дорогу честному труду!» Ореть на каждомъ шагу, какъ попугай, и думаетъ, что въ самомъ дѣлѣ второй Добролюбовъ. Кто не ореть, тотъ подлець. Взгляды удивительные по своей глубинѣ. Если мужикъ зажиточный и живетъ по-человѣчески, то, значить, подлець и кулакъ. Я хожу въ бархатномъ пиджакѣ и одѣваетъ меня лакей — я подлець и крѣпостникъ. Такъ честенъ, такъ честенъ, что всего распираетъ отъ честности. Мѣста себѣ не находитъ. Я даже боюсь его... Ей-ей!.. Того и гляди, что изъ чувства долга по рылу хватить или подлеца пустить.

Ивановъ. Онъ меня ужасно утомилъ, но все-таки мнѣ симпатиченъ; въ немъ много искренности.

Шабельскій. Хороша искренность! Подходить вчера ко мнѣ вечеромъ и ни съ того, ни съ сего: «Вы, графъ, мнѣ глубоко несимпатичны!» Покорнѣйше благодарю! И все это не просто, а съ тенденціей: и голосъ дрожить, и глаза горять, и поджилки трясутся... Чортъ бы побралъ эту деревянную искренность! Ну, я противенъ ему, гадокъ, это естественно... я и самъ сознаю, но къ чему говорить это въ лицо? Я дрянной человекъ, но вѣдь у меня, какъ бы

то ни было, сѣдые волосы... Бездарная, безжалостная честность!

Лебедевъ. Ну, ну, ну!.. Самъ, небось, былъ молодымъ и понимаешь.

Шабельскій. Да, я былъ молодъ и глупъ, въ свое время разыгрывалъ Чацкаго, обличалъ мерзавцевъ и мошенниковъ, но никогда въ жизни я воровъ не называлъ въ лицо ворами и въ домъ повѣшеннаго не говорилъ о веревкѣ. Я былъ воспитанъ. А вашъ, этотъ тупой лѣкаръ, почувствовалъ бы себя на высотѣ своей задачи и на седьмомъ небѣ, если бы судьба дала ему случай, во имя принципа и общечеловѣческихъ идеаловъ, хватить меня публично по рылу и подъ микитки.

Лебедевъ. Молодые люди всѣ съ норовомъ. У меня дядя гегеліанецъ былъ... такъ тотъ, бывало, соберетъ къ себѣ гостей полонъ домъ, выпьетъ, станетъ вотъ этакъ на стулѣ и начинаетъ: «Вы невѣжды! Вы мрачная сила! Заря новой жизни!» Та-та, та-та, та-та... Ужъ онъ отчитываетъ-отчитываетъ...

Саша. А гости что же?

Лебедевъ. А ничего... Слушаютъ да пьютъ-себѣ. Разъ, впрочемъ, я его на дуэль вызвалъ... дядю-то родного. Изъ-за Бэкона вышло. Помню, сидѣлъ я, дай Богъ память, вотъ такъ, какъ Матвѣй, а дядя съ покойнымъ Герасимомъ Нилычемъ стояли вотъ тутъ, примѣрно, гдѣ Николаша... Ну-съ, Герасимъ Нилычъ и задаетъ, братецъ ты мой, вопросъ...  
(*входитъ Боркинъ*).

V.

ТЪ ЖЕ и БОРКИНЪ (*одѣтый франтомъ, со свѣрткомъ въ рукахъ, подпрыгивая и напѣвая, входитъ изъ правой двери. Гулъ одобренія*).

Барышни. Михайл Михайловичъ!..

Лебедевъ. Мишель Мишеличъ! Слыхомъ-слыхать...



Шабельскій. Душа общества!

Боркинъ. А вотъ и я! (*подбываетъ къ Сашѣ*). Благородная синьорина, беру на себя смѣлость поздравить вселенную съ рожденіемъ такого чуднаго цвѣтка, какъ вы... Какъ дань своего восторга, осмѣливаюсь преподнести (*подаетъ свертокъ*) фейерверки и бенгальскіе огни собственного издѣлія. Да прояснятъ они ночь такъ же, какъ вы просвѣтляете потемки темнаго царства (*театрально раскланивается*).

Саша. Благодарю васъ...

Лебедевъ (*хохочетъ, Иванову*). Отчего ты не прогонишь эту Іуду?

Боркинъ (*Лебедеву*). Павлу Кириллычу! (*Иванову*). Патрону... (*поетъ*). Nicolas voilà, го-ги-го! (*обходитъ встѣхъ*). Почтеннѣйшей Зинаидѣ Савишнѣ... Божественной Марѣ Егоровнѣ... Древнѣйшей Авдотѣ Назаровнѣ... Сіятельнѣйшему графу...

Шабельскій (*хохочетъ*). Душа общества... Едва вошелъ, какъ атмосфера стала жиже. Вы замѣчаете?

Боркинъ. Уфъ, утомился... Кажется, со всѣми здоровался. Ну, что новенькаго, господа? Нѣтъ ли чего-нибудь такого особеннаго, въ носъ пшибающаго? (*живо Зинаидѣ Савишнѣ*). Ахъ, послушайте, мамаша... Ъду сейчасъ къ вамъ... (*Гавриль*). Дай-ка мнѣ, Гаврюша, чаю, только безъ кружовеннаго варенья! (*Зинаидѣ Савишнѣ*). Ъду сейчасъ къ вамъ, а на рѣкѣ у васъ мужики съ лозняка кору деруть. Отчего вы лозняка на откупъ не отдадите?

Лебедевъ (*Иванову*). Отчего ты не прогонишь этого Іуду?

Зинаида Савишна (*испуганно*). А вѣдь это правда, мнѣ и на умъ не приходило!..

Боркинъ (*дѣлаетъ ручную гимнастику*). Не могу безъ движеній... Мамаша, что бы такое особенное выкинуть? Марѣ Егоровна, я въ ударѣ... Я экзальтированъ! (*поетъ*). «Я вновь предъ тобою...»

**Зинаида Савишна.** Устройте что-нибудь, а то всё соскучились.

**Боркинъ.** Господа, что же вы это въ самомъ дѣлѣ носы повѣсили? Сидятъ, точно присяжные засѣдатели!.. Давайте, изобразимъ что-нибудь. Чтò хотите? Фанты, веревочку, горѣлки, танцы, фейерверки?..

**Барышни** (*хлопаютъ въ ладоши*). Фейерверки, фейерверки! (*бѣгутъ въ садъ*).

**Саша** (*Иванову*). Что вы сегодня такой скучный?..

**Ивановъ.** Голова болить, Шурочка, да и скучно...

**Саша.** Пойдемте въ гостиную (*идутъ въ правую дверь; уходятъ въ садъ всѣ, кромѣ Зинаиды Савишны и Лебедева*).

**Зинаида Савишна.** Вотъ это я понимаю — молодой чело вѣкъ: и минуты не побылъ, а ужъ всѣхъ развеселилъ (*при- тушиваетъ большую лампу*). Пока они всѣ въ саду, нечего свѣчамъ даромъ горѣть (*тушитъ свѣчи*).

**Лебедевъ** (*идя за нею*). Зюзюшка, надо бы дать гостямъ закусить чего-нибудь...

**Зинаида Савишна.** Ишь свѣчей сколько... недаромъ люди судятъ, что мы богатые (*тушитъ*).

**Лебедевъ** (*идя за нею*). Зюзюшка, дала бы чего-нибудь поѣсть людямъ... Люди молодые, небось проголодались, бѣд- ные... Зюзюшка...

**Зинаида Савишна.** Графъ не допилъ своего стакана. Да- ромъ только сахаръ пропалъ (*идетъ въ лѣвую дверь*).

**Лебедевъ.** Тфу!.. (*уходитъ въ садъ*).

## VI.

### ИВАНОВЪ и САША.

**Саша** (*входя съ Ивановымъ изъ правой двери*). Всѣ ушли въ садъ.

**Ивановъ.** Такія-то дѣла, Шурочка. Прежде я много ра- боталъ и много думалъ, но никогда не утомлялся; теперь

же ничего не дѣлаю и ни о чемъ не думаю, а усталъ тѣломъ и душой. День и ночь болитъ моя совѣсть, я чувствую, что глубоко виновать, но въ чемъ собственно моя вина, не понимаю. А тутъ еще болѣзнь жены, безденежье, вѣчная грызня, сплетни, лишніе разговоры, глупый Боркинъ.. Мой домъ мнѣ опротивѣлъ и жить въ немъ для меня хуже пытки. Скажу вамъ откровенно, Шурочка, для меня стало невыносимо даже общество жены, которая меня любить. Вы — мой старый пріятель, и вы не будете сердиться за мою искренность. Пріѣхаль я вотъ къ вамъ развлечься, но мнѣ скучно и у васъ, и опять меня тянетъ домой. Простите, я сейчасъ потихоньку уѣду.

**Саша.** Николай Алексѣевичъ, я понимаю васъ. Ваше несчастіе въ томъ, что вы одиноки. Нужно, чтобы около васъ былъ человѣкъ, котораго бы вы любили и который васъ понималъ бы. Одна только любовь можетъ обновить васъ.

**Ивановъ.** Ну, вотъ еще, Шурочка! Недостаетъ, чтобы я, старый, мокрый пѣтухъ, затянулъ новый романъ! Храни меня Богъ отъ такого несчастія! Нѣтъ, моя умница, не въ романъ дѣло. Говорю, какъ предъ Богомъ, я снесу все: и тоску, и психопатію, и разоренье, и потерю жены, и свою раннюю старость, и одиночество, но не снесу, не выдержу я своей насмѣшки надъ самимъ собою. Я умираю отъ стыда при мысли, что я, здоровый, сильный человѣкъ, обратился не то въ Гамлета, не то въ Манфреда, не то въ лишніе люди... самъ чортъ не разберетъ! Есть жалкіе люди, которымъ льстить, когда ихъ называютъ Гамлетами или лишними, но для меня это — позоръ! Это возмущаетъ мою гордость, стыдъ гнететъ меня, и я страдаю...

**Саша** (*шутя, сквозь слезы*). Николай Алексѣевичъ, бѣжимте въ Америку.

**Ивановъ.** Мнѣ до этого порога лѣнь дойти, а вы въ Америку... (*идутъ къ выходу въ садъ*). Въ самомъ дѣлѣ, Шура, вамъ здѣсь трудно живется! Какъ погляжу я на людей,

которые васъ окружають, мнѣ становится страшно: за кого вы тутъ замужъ пойдете? Одна только надежда, что какой-нибудь провѣзжій поручикъ или студентъ украдетъ васъ и увезетъ...

## VII.

**ЗИНАИДА САВИШНА** (*выходитъ изъ твоей двери съ банкой варенья*).

Ивановъ. Виновать, Шурочка, я догоню васъ...

(*Саша уходитъ въ садъ*).

Ивановъ. Зинаида Савишна, я къ вамъ съ просьбой...

Зинаида Савишна. Что вамъ, Николай Алексѣевичъ?

Ивановъ (*мнется*). Дѣло, видите ли, въ томъ, что послѣ завтра срокъ моему векселю. Вы премного обязали бы меня, если бы дали отсрочку, или позволили приписать проценты къ капиталу. У меня теперь совсѣмъ нѣтъ денегъ...

Зинаида Савишна (*иступанно*). Николай Алексѣевичъ, да какъ это можно? Что же это за порядокъ? Нѣтъ, и не выдумывайте вы, Бога ради, не мучьте меня несчастную...

Ивановъ. Виновать, виновать... (*уходитъ въ садъ*).

Зинаида Савишна. Фуй, батюшки, какъ онъ меня встревожилъ!.. Я вся дрожу... вся дрожу... (*уходитъ въ правую дверь*).

## VIII.

Косыхъ (*входитъ изъ твоей двери и идетъ черезъ сцену*). У меня на бубнахъ: тузъ, король, дама, коронка самъ-восемь, тузъ пикъ и одна... одна маленькая червонка, а она, чортъ ее возьми совсѣмъ, не могла объявить маленькаго шлема! (*уходитъ въ правую дверь*).

## IX.

**АВДОТЯ НАЗАРОВНА и 1-й ГОСТЬ.**

Авдотья Назаровна (*выходя съ 1-мъ гостемъ изъ сада*). Вотъ такъ бы я ее и растерзала, сквалыгу... такъ бы и

растерзала! Шутка ли, съ пяти часовъ сижу, а она хоть бы ржавую селедкой попотчивала!.. Ну, домъ!.. Ну, хозяйство!..

1-й гость. Такая скучища, что просто разбѣжался бы и головой объ стѣну! Ну, люди, Господи помилуй!.. Со скуки да съ голоду волкомъ завоешь и людей грызть начнешь...

Авдотья Назаровна. Такъ бы я ее и растерзала, грѣшница.

1-й гость. Выпью, старая, и — домой! И невѣсть мнѣ твоихъ не надо. Какая тутъ, къ нечистому, любовь, ежели съ самаго обѣда ни рюмки?

Авдотья Назаровна. Пойдемъ, поищемъ, что ли...

1-й гость. Тсс!.. Потихоньку! Шнапсъ, кажется, въ столовой, въ буфетѣ стоитъ. Мы Егорушку за бока... Тсс!.. *(уходятъ въ лѣвую дверь).*

## Х.

АННА ПЕТРОВНА и ЛЬВОВЪ *(выходятъ изъ правой двери).*

Анна Петровна. Ничего, намъ рады будутъ. Никого нѣтъ. Должно-быть, въ саду.

Львовъ. Ну, зачѣмъ, спрашивается, вы привезли меня сюда, къ этимъ коршунамъ? Не мѣсто тутъ для насъ съ вами! Честные люди не должны знать этой атмосферы!

Анна Петровна. Послушайте, господинъ честный человѣкъ! Нелюбезно провожать даму и всю дорогу говорить съ нею только о своей честности! Можетъ-быть, это и честно, но, по меньшей мѣрѣ, скучно. Никогда съ женщинами не говорите о своихъ добродѣтеляхъ. Пусть онѣ сами поймутъ. Мой Николай, когда былъ такимъ, какъ вы, въ женскомъ обществѣ только пѣлъ пѣсни и рассказывалъ небылицы, а между тѣмъ каждая знала, что онъ за человѣкъ.

Львовъ. Ахъ, не говорите мнѣ про вашего Николая, я его отлично понимаю!

Анна Петровна. Вы хорошій человѣкъ, но ничего не по-

нимаете. Пойдемте въ садъ. Онъ никогда не выражался такъ: «Я честенъ! Мнѣ душно въ этой атмосферѣ! Коршуну! Совиное гнѣздо! Крокодилы!» Звѣринецъ онъ оставялъ въ покоѣ, а когда, бывало, возмущался, то я отъ него только и слышала: «Ахъ, какъ я былъ несправедливъ сегодня!» или: «Анюта, жаль мнѣ этого человѣка!» Вотъ какъ, а вы... (*уходятъ*).

## XI.

### АВДОТЯ НАЗАРОВНА и 1-й ГОСТЬ.

1-й гость (*выходя изъ лѣвой двери*). Въ столовой нѣтъ, такъ, стало-быть, гдѣ-нибудь въ кладовой. Надо бы Егорушку пощупать. Пойдемъ черезъ гостиную.

Авдотья Назаровна. Такъ бы я ее и растерзала!.. (*уходятъ въ правую дверь*).

## XII.

БАБАКИНА, БОРКИНЪ и ШАБЕЛЬСКІЙ (*Бабакина и Боркинъ со смѣхомъ выбѣгаютъ изъ сада; за ними, смѣясь и потирая руки, семенитъ Шабельскій*).

Бабакина. Какая скука! (*хохочетъ*). Какая скука! Всѣ ходять и сидятъ, какъ будто аршинъ проглотили! Отъ скуки всѣ косточки застыли (*прыгаетъ*). Надо размяться!.. (*Боркинъ хватается ее за талию и цѣлуетъ въ щеку*).

Шабельскій (*хохочетъ и щелкаетъ пальцами*). Чортъ возьми! (*крякаетъ*). Нѣкоторымъ образомъ...

Бабакина. Пустите, пустите руки, безстыдникъ, а то графъ Богъ знаетъ что подумаетъ! Отстаньте!..

Боркинъ. Ангель души моей, карбункулъ моего сердца!.. (*цѣлуетъ*). Дайте взаймы 2,300 рублей!..

Бабакина. Нѣ-нѣ-нѣтъ... Какъ хотите, а насчетъ денегъ—

очень вами благодарна... Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ!.. Ахъ, да пустите руки!..

**Шабельскій** (*семенитъ около*). Помпончикъ... Имѣеть свою пріятность...

**Боркинъ** (*серьезно*). Но, довольно. Давайте говорить о дѣлѣ. Будемъ разсуждать прямо, по коммерчески. Отвѣчайте мнѣ прямо, безъ subtilностей и безъ всякихъ фокусовъ: да или нѣтъ? Слушайте! (*указываетъ на графа*). Вотъ ему нужны деньги, минимумъ три тысячи годового дохода. Вамъ нуженъ мужъ. Хотите быть графиней?

**Шабельскій** (*хохочетъ*). Удивительный циникъ!

**Боркинъ**. Хотите быть графиней? Да или нѣтъ?

**Бабанина** (*взволнованная*). Выдумываете, Миша, право... И эти дѣла не дѣлаются такъ, съ бухты-барахты... Если графу угодно, онъ самъ можетъ и... и я не знаю, какъ это вдругъ, сразу...

**Боркинъ**. Ну, ну, будетъ тѣнь наводить! Дѣло коммерческое... Да или нѣтъ?

**Шабельскій** (*смѣясь и потирая руки*). Въ самомъ дѣлѣ, а? Чортъ возьми, развѣ устроить себѣ эту гнусность? а? Помпончикъ... (*цѣлуетъ Бабакину въ щеку*). Прелесты!.. Огурчикъ!..

**Бабанина**. Пойдите, пойдите, вы меня совсѣмъ встревожили... Уйдите, уйдите!.. Нѣтъ, не уходите!..

**Боркинъ**. Скорѣй! Да или нѣтъ? Намъ некогда...

**Бабанина**. Знаете что, графъ? Вы пріѣзжайте ко мнѣ въ гости дня на три... У меня весело, не такъ, какъ здѣсь... Пріѣзжайте завтра... (*Боркину*). Нѣтъ, вы это шутите?

**Боркинъ** (*сердито*). Да кто же станетъ шутить въ серьезныхъ дѣлахъ?

**Бабанина**. Пойдите, пойдите... Ахъ, мнѣ дурно! Мнѣ дурно! Графиня... Мнѣ дурно!.. Я падаю...

(*Боркинъ и графъ со смѣхомъ берутъ ее подъ руки и, цѣлуя въ щеки, уводятъ въ правую дверь*).

XIII.

ИВАНОВЪ, САША, *потомъ* АННА ПЕТРОВНА (*Ивановъ и Саша бѣгаютъ изъ сада*).

Ивановъ (*въ отчаяніи хватая себя за голову*). Не можетъ быть! Не надо, не надо, Шурочка!.. Ахъ, не надо!..

Саша (*съ увлеченіемъ*). Люблю я васъ безумно... Безъ васъ нѣтъ смысла моей жизни, нѣтъ счастья и радости! Для меня вы все...

Ивановъ. Къ чему, къ чему! Боже мой, я ничего не понимаю... Шурочка, не надо!..

Саша. Въ дѣтствѣ моемъ вы были для меня единственною радостью; я любила васъ и вашу душу, какъ себя, а теперь... я васъ люблю, Николай Алексѣевичъ... Съ вами не то что на край свѣта, а куда хотите, хоть въ могилу, только ради Бога скорѣе, иначе я задохнусь...

Ивановъ (*закатывается счастливымъ смѣхомъ*). Это что же такое? Это, значить, начинать жизнь сначала? Шурочка, да?.. Счастье мое! (*привлекаетъ ее къ себѣ*). Моя молодость, моя свѣжесть...

(*Анна Петровна входитъ изъ сада и, увидѣвъ мужа и Сашу, останавливается, какъ вкопанная*).

Ивановъ. Значить, жить? Да? Снова за дѣло?  
(*Поцѣлуй. Послѣ поцѣлуя Ивановъ и Саша оглядываются и видятъ Анну Петровну*).

Ивановъ (*въ ужасѣ*). Сарра!

*Занавѣсъ.*



## ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

Кабинетъ Иванова. Письменный столъ, на которомъ въ безпорядкѣ лежатъ бумаги, книги, казенные пакеты, бездѣлушки, револьверы; возлѣ бумагъ лампа, графинъ съ водкой, тарелка съ селедкой, куски хлѣба и огурцы. На стѣнахъ ландкарты, картины, ружья, пистолеты, серпы, нагайки и проч. — Полдень.

### I.

#### ШАБЕЛЬСКІЙ, ЛЕБЕДЕВЪ, БОРКИНЪ и ПЕТРЪ.

(Шабельскій и Лебедевъ сидятъ по сторонамъ письменнаго стола. Боркинъ среди сцены верхоми на стулѣ. Петръ стоитъ у двери).

**Лебедевъ.** У Франціи политика ясная и опредѣленная... Французы знаютъ, чего хотятъ. Имъ нужно лущить колбасниковъ и больше ничего, а у Германіи, братъ, совсѣмъ не та музыка. У Германіи кромѣ Франціи еще много сучковъ въ глазу...

**Шабельскій.** Вздоръ!.. По-моему, нѣмцы трусы и французы трусы... Показываютъ только другъ другу кукиши въ карманѣ. Повѣрь, кукишами дѣло и ограничится. Дратся не будутъ.

**Боркинъ.** А, по-моему, зачѣмъ драться? Къ чему всѣ эти вооруженія, конгрессы, расходы? Я что бы сдѣлалъ? Собралъ бы со всего государства собакъ, привилъ бы имъ пастѣровскій ядъ въ хорошей дозѣ и пустилъ бы въ неприятельскую страну. Всѣ враги перебѣсились бы у меня черезъ мѣсяць.

**Лебедевъ (смѣется).** Голова, посмотришь, маленькая, а великихъ идей въ ней тьма-тьмуцкая, какъ рыбъ въ океанѣ.

**Шабельскій.** Виртуозъ!

**Лебедевъ.** Богъ съ тобою, смѣшишь ты, Мишель Мише-

лнч! (*переставъ смѣяться*). Что жъ, господа, Жомини да Жомини, а объ водкѣ ни полслова. Repetatur! (*наливаетъ три рюмки*). Будемте здоровы... (*пьютъ и закусываютъ*). Селедочка, матушка, всѣмъ закускамъ закуска.

**Шабельскій.** Ну, нѣтъ, огурецъ лучше... Ученые съ сотворенія міра думаютъ и ничего умнѣе соленого огурца не придумали (*Петру*). Петръ, поди-ка еще принеси огурцовъ, да вели на кухнѣ изжарить четыре пирожка съ лукомъ. Чтобъ горячіе были.

(*Петръ уходитъ*).

**Лебедевъ.** Водку тоже хорошо икрой закусывать. Только какъ? Съ умомъ надо... Взять икры паюсной четверку, двѣ луковочки зеленого лучку, прованскаго масла, смѣшать все это и, знаешь, этакъ... поверхъ всего лимончикомъ... Смерть! Отъ одного аромата угоришь.

**Борнинъ.** Послѣ водки хорошо тоже закусывать жареными пискарями. Только ихъ надо умѣть жарить. Нужно почистить, потомъ обвалить въ толченыхъ сухаряхъ и жарить дѣсуха, чтобы на зубахъ хрустѣли... хру-хру-хру...

**Шабельскій.** Вчера у Бабакиной была хорошая закуска— бѣлые грибы.

**Лебедевъ.** А еще бы...

**Шабельскій.** Только какъ-то особенно приготовлены. Знаешь, съ лукомъ, съ лавровымъ листомъ, со всякими спеціями. Какъ открыли кастрюлю, а изъ нея паръ, запахъ... просто восторгъ!

**Лебедевъ.** А что жъ? Repetatur, господа! (*выпиваютъ*). Будемте здоровы... (*смотритъ на часы*). Должно-быть, не дождусь я Николаши. Пора мнѣ ѣхать. У Бабакиной, ты говоришь, грибы подавали, а у насъ еще не видать грибовъ. Скажи на милость, за какимъ это лѣшимъ ты зачистилъ къ Мареуткѣ?

**Шабельскій** (*киваетъ на Боркина*). Да вотъ, женить меня на ней хочеть...

Лебедевъ. Женить?.. Тебѣ сколько лѣтъ?

Шабельскій. Шестьдесятъ два года.

Лебедевъ. Самая пора жениться. А Мареутка какъ разъ тебѣ пара.

Боркинъ. Тутъ не въ Мареуткѣ дѣло, а въ Мареуткиныхъ стерлингахъ.

Лебедевъ. Чего захотѣлъ: Мареуткиныхъ стерлинговъ... А гусинаго чаю не хочешь?

Боркинъ. А вотъ какъ женится человѣкъ, да набьетъ себѣ ампоше, тогда и увидите гусиный чай. Облизнетесь...

Шабельскій. А вѣдь онъ серьезно. Этотъ геній увѣренъ, что я его послушаюсь и женюсь...

Боркинъ. А то какъ же? А вы развѣ уже не увѣрены?

Шабельскій. Да ты съ ума сошелъ... Когда я былъ увѣренъ? Псс...

Боркинъ. Благодарю васъ... Очень вамъ благодаренъ! Такъ это, значить, вы меня подвести хотите? То женюсь, то не женюсь... самъ чортъ не разберетъ, а я ужъ честное слово далъ! Такъ вы не женитесь?

Шабельскій (*пожимаетъ плечами*). Онъ серьезно... Удивительный человѣкъ!

Боркинъ (*возмущаясь*). Въ такомъ случаѣ, зачѣмъ же было баламутить честную женщину? Она помѣшалась на графствѣ, не спитъ, не ѣстъ... Развѣ этимъ шутятъ?.. Развѣ это честно?

Шабельскій (*щелкаетъ пальцами*). А что, въ самомъ дѣлѣ, не устроить ли себѣ эту гнусность? А? На зло! Возьму и устрою. Честное слово... Вотъ будетъ потѣха!

(*Входитъ Львовъ*).

## II.

Лебедевъ. Эскулапін, наше нижайшее... (*подаетъ Львову руку и поетъ*). «Докторъ, батюшка, спасите, смерти до смерти боюсь...»

**Львовъ.** Николай Алексѣевичъ еще не приходилъ?

**Лебедевъ.** Да нѣтъ, я самъ его жду больше часа.

*(Львовъ нетерпливо шагаетъ по сценѣ).*

**Лебедевъ.** Милый, ну, какъ здоровье Анны Петровны?

**Львовъ.** Плохо.

**Лебедевъ** *(вздохъ)*. Можно пойти засвидѣтельствовать почтеніе?

**Львовъ.** Нѣтъ, пожалуйста, не ходите. Опа, кажется, спать... *(пауза)*.

**Лебедевъ.** Симпатичная, славная... *(вздыхаетъ)*. Въ Шуручкинъ день рожденія, когда она у пась въ обморокъ упала, поглядѣлъ я на ея лицо, и тогда еще понялъ, что ужъ ей, бѣдной, недолго жить. Не понимаю, отчего съ нею тогда дурно сдѣлалось? Прибѣгаю, гляжу: она блѣдная на полу лежитъ, около нея Николаша на колѣняхъ, тоже блѣдный, Шуручка вся въ слезахъ. Я и Шуручка послѣ этого случая недѣлю какъ шальные ходили.

**Шабельскій** *(Львову)*. Скажите мнѣ, почтеннѣйшій жрецъ пауки, какой ученый открылъ, что при грудныхъ болѣзняхъ дамамъ бывають полезны частыя посѣщенія молодого врача? Это великое открытіе! Великое! Куда оно относится: къ аллопатіи или гомеопатіи?

*(Львовъ хочетъ ответить, но дѣлаетъ презрительное движеніе и уходитъ).*

**Шабельскій.** Какой уничтожающій взглядъ...

**Лебедевъ.** А тебя дергаетъ нелегкая за языкъ! За что ты его обидѣлъ?

**Шабельскій** *(раздраженно)*. А зачѣмъ онъ вретъ? Чухотка, нѣтъ надежды, умреть... Вретъ онъ! Я этого терпѣть не могу!

**Лебедевъ.** Почему же ты думаешь, что онъ вретъ?

**Шабельскій** *(встаетъ и ходитъ)*. Я не могу допустить мысли, чтобы живой человѣкъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, умеръ. Оставимъ этотъ разговоръ!

III.

Косыхъ (*вбѣгаетъ затыкавшись*). Дома Николай Алексѣевичъ? Здравствуйте! (*быстро пожимаетъ вѣзмъ руки*). Дома? Борнинъ. Его нѣтъ.

Косыхъ (*садится и векакиваетъ*). Въ такомъ случаѣ, прощайте! (*выпиваетъ рюмку водки и быстро закусываетъ*). Поѣду дальше... Дѣла... Замучился... Еле на ногахъ стою...

Лебедевъ. Откуда вѣтеръ принесъ?

Косыхъ. Отъ Барабанова. Всю ночь провинтили и только-что кончили... Проигрался въ-пухъ... Этотъ Барабановъ играетъ какъ сапожникъ! (*плачущимъ голосомъ*). Вы послушайте: все время несу я черву... (*обращается къ Боркину, который прыгаетъ отъ него*). Онъ ходитъ бубну, я опять черву, онъ бубну... Ну, и безъ взятки (*Лебедеву*). Играемъ четыре трефы. У меня тузь, дама-шость на рукахъ, тузь, десятка-третей пикъ...

Лебедевъ (*затыкаетъ уши*). Уволь, уволь, ради Христа, уволь!

Косыхъ (*графу*). Понимаете: тузь, дама-шость на трефахъ, тузь, десятка-третей пикъ...

Шабельскій (*отстраняетъ его руками*). Уходите, не желаю я слушать!

Косыхъ. И вдругъ несчастье: туза пикъ по первой бьютъ...

Шабельскій (*хватаетъ со стола револьверъ*). Отойдите, стрѣлять буду!..

Косыхъ (*машетъ рукой*). Чортъ знаетъ... Неужели даже поговорить не съ кѣмъ? Живешь какъ въ Австраліи: ни общихъ интересовъ, ни солидарности... Каждый живетъ врозь... Однако, надо ѣхать... пора (*хватаетъ фуражку*). Время дорого... (*подаетъ Лебедеву руку*). Пасъ!..

(*Смѣхъ*).

(*Косыхъ уходитъ и въ дверяхъ сталкивается съ Авдотьей Назаровной*).

IV.

Авдотья Назаровна (*вскрикиваетъ*). Чтобъ тебѣ пусто было, съ ногъ сшибь!

Всѣ. А-а-а!.. вездѣсущая!..

Авдотья Назаровна. Вотъ они гдѣ, а я по всему дому ищу. Здравствуйте, ясные соколы, хлѣбъ да соль... (*здоровается*).

Лебедевъ. Зачѣмъ пришла?

Авдотья Назаровна. За дѣломъ, батюшка! (*графу*). Дѣло васъ касающее, ваше сіятельство (*кланяется*). Велѣли кланяться и о здоровьѣ спросить... И велѣла она, куколочка моя, сказать, что ежели вы нынче къ вечеру не приѣдете, то она глазочки свои проплачетъ. Такъ, говорить, милая, отзови его въ сторопочку и шепни на ушко по секрету. А зачѣмъ по секрету? Тутъ все люди свои. И такое дѣло, не куръ крадемъ, а по закону да по любви, по междоусобному согласію. Никогда, грѣшница, не пью, а черезъ такой случай выпью!

Лебедевъ. И я выпью (*наливаетъ*). А тебѣ, старая скворешня, и сносу нѣтъ. Лѣтъ тридцать я тебя старухой знаю...

Авдотья Назаровна. И счетъ годамъ потеряла... Двухъ мужей похоронила, пошла бы еще за третьяго да никто не хочетъ безъ приданого брать. Дѣтей душъ восемь было... (*беретъ рюмку*). Ну, дай Богъ, дѣло хорошее мы начали, дай Богъ его и кончить! Они будутъ жить да поживать, а мы глядѣть на нихъ да радоваться. Совѣтъ имъ и любовь... (*пьетъ*). Строгая водка!

Шабельскій (*хохоча, Лебедеву*). Но чтѣ, понимаешь, курьезнѣе всего, такъ это то, что они думаютъ серьезно, будто я... Удивительно! (*встаетъ*). А то въ самомъ дѣлѣ, Паша, не устроить ли себѣ эту гнусность? На зло... Этакъ, молъ, на, старая собака, ѣшь! Паша, а?

Лебедевъ. Пустое ты городишь, графъ. Наше, братъ, дѣло съ тобою объ околѣванцѣ думать, а Марѳутки да стерлядки давно мимо проѣхали... Прошла наша пора.

Шабельскій. Нѣтъ, я устрою! Честное слово устрою!

*(Входятъ Ивановъ и Львовъ).*

V.

Львовъ. Я прошу васъ удѣлить мнѣ только пять минутъ.

Лебедевъ. Николаша! *(идетъ навстрѣчу къ Иванову и цѣлуетъ его)*. Здравствуй, дружище... Я тебя ужъ цѣлый часъ ожидаюсь.

Авдотья Назаровна *(кланяется)*. Здравствуйте, батюшка!

Ивановъ *(съ горечью)*. Господа, опять въ моемъ кабинетѣ кабакъ завели!.. Тысячу разъ просилъ я всѣхъ и каждого не дѣлать этого... *(подходитъ къ столу)*. Ну, вотъ, бумагу водкой облили... крошки... огурцы... Вѣдь противно!

Лебедевъ. Виноватъ, Николаша, виноватъ... Прости. Мнѣ съ тобою, дружище, поговорить надо о весьма важномъ дѣлѣ...

Боркинъ. И мнѣ тоже.

Львовъ. Николай Алексѣвичъ, можно съ вами поговорить?

Ивановъ *(указываетъ на Лебедева)*. Вотъ и ему я нуженъ. Подождите, вы постѣ... *(Лебедеву)*. Чего тебѣ?

Лебедевъ. Господа, я желаю говорить конфиденціально. Прошу...

*(Графъ уходитъ съ Авдотьей Назаровной, за ними Боркинъ, потомъ Львовъ).*

Ивановъ. Паша, самъ ты можешь пить, сколько тебѣ угодно, это твоя болѣзнь, но прошу не спаивать дядю. Раньше онъ у меня никогда не пилъ. Ему вредно.

Лебедевъ *(испуганно)*. Голубчикъ, я не зналъ... Я даже вниманія не обратилъ...

Ивановъ. Не дай Богъ, умереть этотъ старый ребенокъ, не вамъ будетъ худо, а мнѣ... Чтò тебѣ пужно?.. *(пауза)*.

Лебедевъ. Видишь ли, любезный другъ... Не знаю, какъ начать, чтобы это вышло не такъ безсовѣстно... Николаша, совѣстно мнѣ, краснѣю, языкъ заплетается, но, голубчикъ, войди въ мое положеніе, пойми, что я человекъ подпевольный, негръ, тряпка... Извини ты меня...

Ивановъ. Что такое?

Лебедевъ. Жена послала... Сдѣлай милость, будь другомъ, заплати ты ей проценты! Вѣришь ли, загрызла, заѣздила, замучила! Отвяжись ты отъ нея, ради Создателя!..

Ивановъ. Паша, ты знаешь, у меня теперь нѣтъ денегъ.

Лебедевъ. Знаю, знаю, но что же мнѣ дѣлать? Ждать она не хочетъ. Если протестуетъ вексель, то какъ я и Шурочка будемъ тебѣ въ глаза глядѣть?

Ивановъ. Мнѣ самому совѣстно, Паша, радъ сквозь землю провалиться, но... но гдѣ взять? Научи: гдѣ? Остается одно: ждать осени, когда я хлѣбъ продамъ.

Лебедевъ (*кричитъ*). Не хочетъ она ждать! (*пауза*).

Ивановъ. Твое положеніе неприятное, щекотливое, а мое еще хуже (*ходитъ и думаетъ*). И ничего не придумаешь... Продать нечего...

Лебедевъ. Съѣздишь бы къ Мильбаху, попросишь, вѣдь онъ тебѣ шестнадцать тысячъ долженъ.

(*Ивановъ безнадежно машетъ рукой*).

Лебедевъ. Вотъ что, Николаша... Я знаю, ты станешь браниться, но... уважь стараго пьяницу! По-дружески... Гляди на меня, какъ на друга... Студенты мы съ тобою, либералы... Общность идей и интересовъ... Въ московскомъ университетѣ оба учились... Alma mater... (*вынимаетъ бумажникъ*). У меня вотъ есть завітныя, про нихъ ни одна душа въ домѣ не знаетъ. Возьми займы... (*вынимаетъ деньги и кладетъ на столъ*). Брось самолюбіе, а взгляни по-дружески... Я бы отъ тебя взялъ, честное слово... (*пауза*). Вотъ онъ на столѣ: тысяча сто. Ты съѣзди къ ней сегодня и отдай собственноручно. Нѣ-те, мошь, Зинаида



Савишина, подавитесь! Только, смотри, и виду не подавай, что у меня занялъ, храни тебя Богъ! А то достанется мнѣ на орѣхи отъ кружовеннаго варенья! (*всматривается въ лицо Иванова*). Ну, ну, не надо! (*быстро беретъ со стола деньги и прячетъ въ карманъ*). Не надо! Я пошутить... Извини, ради Христа! (*пауза*). Мутить на душѣ?

(*Ивановъ машетъ рукой*).

Лебедевъ. Да, дѣла... (*вздыхаетъ*). Настало для тебя время скорби и печали. Человѣкъ, братецъ ты мой, все равно, что самоваръ. Не все онъ стоитъ въ холодѣ на полкѣ, но, бываетъ, и угольки въ него кладутъ: пш... пш! Ни къ чорту это сравненіе не годится, ну, да вѣдь умнѣе не придумаешь... (*вздыхаетъ*). Несчастія закаляютъ душу. Мнѣ тебя не жалко, Николаша, ты выскочишь изъ бѣды, перемелется—мука будетъ, но обидно, братъ, и досадно мнѣ на людей... Скажи на милость, откуда эти сплетни берутся! Столько, братъ, про тебя по уѣзду сплетенъ ходить, что, того и гляди, къ тебѣ товарищъ прокурора приѣдетъ... Ты и убійца, и кровошійца, и грабитель...

Ивановъ. Это все пустики, вотъ у меня голова болитъ.

Лебедевъ. Все оттого, что много думаешь.

Ивановъ. Ничего я не думаю.

Лебедевъ. А ты, Николаша, начихай на все, да поѣзжай къ намъ. Шурочка тебя любитъ, понимаетъ и цѣнитъ. Она, Николаша, честный, хорошій человѣкъ. Не въ мать и не въ отца, а, должно-быть, въ проѣзжаго молодца... Гляжу, братъ, иной разъ и не вѣрю, что у меня, у телстоносаго пьяницы, такое сокровище. Поѣзжай, потолкуй съ нею объ умномъ и—развлечешься. Это вѣрный, искренній человѣкъ... (*пауза*).

Ивановъ. Паша, голубчикъ, оставь меня одного...

Лебедевъ. Понимаю, понимаю... (*торопливо смотритъ на часы*). Я понимаю (*цѣлуетъ Иванова*). Прощай. Мнѣ еще на освященіе школы ѣхать (*идетъ къ двери и оста-*

*навмивается*). Умная... Вчера стали мы съ Шурочкой насчетъ сплетень говорить (*смѣется*). А она афоризмомъ выпалила: «Папочка, свѣтляки, говорить, свѣтять ночью только для того, чтобы ихъ легче могли увидѣть и съѣсть ночныя птицы, а хорошіе люди существуютъ для того, чтобы было что ѣсть клеветѣ и сплетнѣ». Каково? Геній! Жоржъ-Зандъ!..

**Ивановъ.** Паша! (*останавливаетъ его*). Чтò со мною?

**Лебедевъ.** Я самъ тебя хотѣлъ спросить объ этомъ, да, признаться, стѣснялся. Не знаю, братъ! Съ одной стороны мнѣ казалось, что тебя одолѣли несчастія разныя, съ другой же стороны, знаю, что ты не таковскій, чтобы того... Бѣдой тебя не побѣдишь. Что-то, Николаша, другое, а чтò—не понимаю!

**Ивановъ.** Я самъ не понимаю. Мнѣ кажется, или... впрочемъ, нѣтъ! (*пауза*). Видишь ли, что я хотѣлъ сказать. У меня былъ рабочій Семень, котораго ты помнишь. Разъ, во время молотбы, онъ захотѣлъ похвастать передъ дѣвками своею силой, взвалилъ себѣ на спину два мѣшка ржи и надорвался. Умеръ скоро. Мнѣ кажется, что я тоже надорвался. Гимназія, университетъ, потомъ хозяйство, школы, проекты... Вѣрвалъ я не такъ, какъ всѣ, женился не такъ, какъ всѣ, горячился, рисковалъ, деньги свои, самъ знаешь, бросалъ направо и налево, былъ счастливъ и страдалъ, какъ никто во всемъ уѣздѣ. Все это, Папа, мои мѣшки... Взвалилъ себѣ на спину ношу, а спина-то и треснула. Въ двадцать лѣтъ мы всѣ уже герои, за все беремся, все можемъ, и къ тридцати уже утомляемся, никуда не годимся. Чѣмъ, чѣмъ ты объяснишь такую утомляемость? Впрочемъ, быть-можетъ, это не то... Не то, не то!.. Иди, Паша, съ Богомъ, я надоѣлъ тебѣ.

**Лебедевъ** (*живо*). Знаешь что? Тебя, братъ, среда заѣла!

**Ивановъ.** Глупо, Папа, и старо. Иди!

Лебедевъ. Дѣйствительно, глупо. Теперь и самъ вижу, что глупо. Иду, иду!.. (*уходитъ*).

## VI.

Ивановъ (*одинъ*). Нехорошій, жалкій и ничтожный я человекъ. Надо быть тоже жалкимъ, истасканнымъ, испытаннымъ, какъ Паша, чтобы еще любить меня и уважать. Какъ я себя презираю, Боже мой! Какъ глубоко ненавижу я свой голосъ, свои шаги, свои руки, эту одежду, свои мысли. Ну, не смѣшно ли, не обидно ли? Еще года нѣтъ, какъ былъ здоровъ и силенъ, былъ бодръ, неутомимъ, горячъ, работалъ этими самыми руками, говорилъ такъ, что трогалъ до слезъ даже невѣждъ, умѣлъ плакать, когда видѣлъ горе, возмущался, когда встрѣчалъ зло. Я зналъ, что такое вдохновеніе, зналъ прелесть и поэзію тихихъ ночей, когда отъ зари до зари сидишь за рабочимъ столомъ или тѣшишь свой умъ мечтами. Я вѣровалъ, въ будущее глядѣлъ, какъ въ глаза родной матери... А теперь, о, Боже мой! утомился, не вѣрю, въ бездѣльи провожу дни и ночи. Не слушаются ни мозгъ, ни руки, ни ноги. Имѣніе идетъ прахомъ, лѣса трещать подъ топоромъ (*плачетъ*). Земля моя глядитъ на меня, какъ сирота. Ничего я не жду, ничего не жаль, душа дрожитъ отъ страха передъ завтрашнимъ днемъ... А исторія съ Саррой? Клялся въ вѣчной любви, пророчилъ счастье, открывалъ передъ ея глазами будущее, какое ей не снилось даже во снѣ. Она повѣрила. Во всѣ пять лѣтъ я видѣлъ только, какъ она угасала подъ тяжестью своихъ жертвъ, какъ изнемогала въ борьбѣ съ совѣстью, но, видитъ Богъ, ни косога взгляда на меня, ни слова упрека!.. И что же? Я разлюбилъ ее... Какъ? Почему? За что? Не понимаю. Вотъ она страдаетъ, дни ея сочтены, а я, какъ послѣдній трусъ, бѣгу отъ ея блѣднаго лица, впалой груди, умоляющихъ глазъ... Стыдно,

стыдно! (*пауза*). Сашу, дѣвочку, трогаютъ мои несчастія. Она мнѣ, почти старику, объясняется въ любви, а я пьянѣю, забываю про все на свѣтѣ, обвороженный какъ музыкой, и кричу: «Новая жизнь! счастье!» А на другой день вѣрю въ эту жизнь и въ счастье такъ же мало, какъ въ домового... Что же со мною? Въ какую пропасть толкаю я себя? Откуда во мнѣ эта слабость? Что стало съ моими нервами? Стоить только больной женѣ уколоть мое самолюбіе, или не угодить прислуга, или ружье дать осѣчку, какъ я становлюсь грубъ, золь и не похожъ на себя... (*пауза*). Не понимаю, не понимаю, не понимаю! Просто, хоть пулю въ лобъ!..

Львовъ (*входитъ*). Мнѣ нужно съ вами объясниться, Николай Алексѣвичъ!

Ивановъ. Если мы, докторъ, будемъ каждый день объясняться, то на это силъ никакихъ не хватитъ.

Львовъ. Вамъ угодно меня выслушать?

Ивановъ. Выслушиваю я васъ каждый день и до сихъ поръ никакъ не могу понять: что собственно вамъ отъ меня угодно?

Львовъ. Говорю я ясно и опредѣленно и не можетъ меня понять только тотъ, у кого нѣтъ сердца..

Ивановъ. Что у меня жена при смерти—я знаю; что я непоправимо виноватъ передъ нею—я тоже знаю; что вы честный, прямой человекъ — тоже знаю! Что же вамъ нужно еще?

Львовъ. Меня возмущаетъ человѣческая жестокость... Умираетъ женщина. У нея есть отецъ и мать, которыхъ она любить и хотѣла бы видѣть передъ смертью; тѣ знаютъ отлично, что она скоро умретъ и что все еще любить ихъ, но, проклятая жестокость, они точно хотятъ удивить своимъ религиознымъ закаломъ: все еще проклинаютъ ее! Вы человекъ, которому она пожертвовала всѣмъ — и роднымъ гнѣздомъ, и покоемъ совѣсти, вы откровеннѣйшимъ обра-

вомъ и съ самыми откровенными цѣлями каждый день катаетесь къ этимъ Лебедевымъ!

**Ивановъ.** Ахъ, я тамъ уже двѣ недѣли не былъ...

**Львовъ** (*не слушая его*). Съ такими людьми, какъ вы, падо говорить прямо, безъ обиняковъ, и, если вамъ не угодно слушать меня, то не слушайте! Я привыкъ называть вещи настоящимъ ихъ именемъ... Вамъ нужна эта смерть для новыхъ подвиговъ; пусть такъ, но неужели вы не могли бы подождать? Если бы вы дали ей умереть естественнымъ порядкомъ, не долбили бы ее своимъ откровеннымъ цинизмомъ, то неужели бы отъ васъ ушла Лебедева со своимъ приданымъ? Не теперь, такъ черезъ годъ, черезъ два, вы, чудный Тартюфъ, успѣли бы вскружить голову дѣвочкѣ и завладѣть ея приданымъ такъ же, какъ и теперь... Къ чему же вы торопитесь? Почему вамъ нужно, чтобы ваша жена умерла теперь, а не черезъ мѣсяць, черезъ годъ?..

**Ивановъ.** Мученіе... Докторъ, вы слишкомъ плохой врачъ, если предполагаете, что человѣкъ можетъ сдерживать себя до безконечности. Мнѣ страшныхъ усилій стоить не отвѣчать вамъ на ваши оскорбленія.

**Львовъ.** Полноте, кого вы хотите одурачить? Сбросьте маску.

**Ивановъ.** Умный человѣкъ, подумайте: по-вашему, нѣтъ ничего легче, какъ понять меня! Да? Я женился на Анѣ, чтобы получить большое приданое... Приданого мнѣ не дали, я промахнулся и теперь сживаю ее со свѣта, чтобы жениться на другой и взять приданое... Да? Какъ просто и несложно... Человѣкъ такая простая и немудреная машина... Нѣтъ, докторъ, въ каждомъ изъ насъ слишкомъ много колесъ, винтовъ и клапановъ, чтобы мы могли судить другъ о другѣ по первому впечатлѣнію или по двумъ-тремъ внѣшнимъ признакамъ. Я не понимаю васъ, вы меня не понимаете, и сами мы себя не понимаемъ. Можно быть

прекраснымъ врачомъ — п въ то же время совсѣмъ не знать людей. Не будьте же самоувѣренны и согласитесь съ этимъ.

Львовъ. Да неужели же вы думаете, что вы такъ непрозрачны и у меня такъ мало мозга, что я не могу отличить подлости отъ честности?

Ивановъ. Очевидно, мы съ вами никогда не споемся... Въ послѣдній разъ я спрашиваю и отвѣчайте, пожалуйста, безъ предисловій: чтò собственно вамъ нужно отъ меня? Чего вы добиваетесь? (*раздраженно*). И съ кѣмъ я имѣю честь говорить: съ моимъ прокуроромъ, или съ врачомъ моей жены?

Львовъ. Я врачъ п, какъ врачъ, требую, чтобы вы измѣнили ваше поведеніе... Оно убиваетъ Анну Петровну!

Ивановъ. Но чтò же мнѣ дѣлать? Чтò? Если вы меня понимаете лучше, чѣмъ я самъ себя понимаю, то говорите опредѣленно: чтò мнѣ дѣлать?

Львовъ. По крайней мѣрѣ, дѣйствовать не такъ откровенно.

Ивановъ. А, Боже мой! Неужели вы себя понимаете? (*тѣтъ воду*). Оставьте меня. Я тысячу разъ виноватъ, отвѣчу передъ Богомъ, а васъ никто не уполномочивалъ ежедневно пытатъ меня...

Львовъ. А кто васъ уполномочивалъ оскорблять во мнѣ мою правду? Вы измучили и отравили мою душу. Пока я не попалъ въ этотъ уѣздъ, я допускалъ существованіе людей глупыхъ, сумасшедшихъ, увлекающихся, но никогда я не вѣрилъ, что есть люди преступные осмысленно, сознательно направляющіе свою волю въ сторону зла... Я уважалъ и любилъ людей, но, когда увидѣлъ васъ...

Ивановъ. Я уже слышалъ объ этомъ!

Львовъ. Слышали? (*увидѣвъ входящую Сашу; она въ amazонкѣ*). Теперь ужъ, надѣюсь, мы отлично понимаемъ другъ друга! (*пожимаетъ плечами и уходитъ*).

VII.

Ивановъ (*испузанно*). Шура, это ты?

Саша. Да я. Здравствуй. Не ожидалъ? Отчего ты такъ долго не былъ у насъ?

Ивановъ. Шура, ради Бога, это неосторожно! Твой прїѣздъ можетъ страшно подѣйствовать на жену.

Саша. Она меня не увидитъ. Я прошла чернымъ ходомъ. Сейчасъ уѣду. Я безпокоюсь: ты здоровъ? Отчего не прїѣжалъ такъ долго?

Ивановъ. Жена и безъ того ужъ оскорблена, почти умираетъ, а ты прїѣзжаешь сюда. Шура, Шура, это легкомысленно и безчеловѣчно!

Саша. Что же мнѣ было дѣлать? Ты двѣ недѣли не былъ у насъ, не отвѣчалъ на письма. Я измучилась. Мнѣ казалось, что ты тутъ невыносимо страдаешь, боленъ, умеръ. Ни одной ночи я не спала покойно. Сейчасъ уѣду... По крайней мѣрѣ, скажи: ты здоровъ?

Ивановъ. Нѣтъ, замучилъ я себя, люди мучаютъ меня безъ конца... Просто силъ моихъ нѣтъ! А тутъ еще ты! Какъ это нездорово, какъ ненормально! Шура, какъ я виновать, какъ виновать!..

Саша. Какъ ты любишь говорить страшныя и жалкія слова! Виновать ты? Да? Виновать? Ну, такъ говори же: въ чемъ?

Ивановъ. Не знаю, не знаю...

Саша. Это не отвѣтъ. Каждый грѣшникъ долженъ знать, въ чемъ онъ грѣшенъ. Фальшивыя бумажки дѣлалъ, что ли?

Ивановъ. Не остроумно!

Саша. Виновать, что разлюбилъ жену? Можетъ-быть, но человекъ не хозяинъ своимъ чувствамъ, ты не хотѣлъ разлюбить. Виновать ты, что она видѣла, какъ я объяснялась тебѣ въ любви? Нѣтъ, ты не хотѣлъ, чтобы она видѣла...

Ивановъ (*перевивая*). Итакъ далѣе, итакъ далѣе... Полюбилъ, разлюбилъ, не хозяинъ своимъ чувствамъ — все это общія мѣста, избитыя фразы, которыми не поможешь...

Саша. Утомительно съ тобою говорить (*смотритъ на картину*). Какъ хорошо собака нарисована! Это съ натуры?

Ивановъ. Съ натуры. И весь этотъ нашъ романъ — общее, избитое мѣсто: онъ палъ духомъ и утерять почву. Явилась она, бодрая духомъ, сильная, и подала ему руку помощи. Это красиво и похоже на правду только въ романахъ, а въ жизни...

Саша. И въ жизни то же самое.

Ивановъ. Вижу, тонко ты понимаешь жизнь! Мое нытье внушаетъ тебѣ благоговѣйный страхъ, ты воображаешь, что обрѣла во мнѣ второго Гамлета, а, по-моему, эта моя психопатія, со всѣми ея аксессуарами, можетъ служить хорошимъ матеріаломъ только для смѣха и больше ничего! Надо бы хохотать до упаду надъ моимъ кривляньемъ, а ты — караулъ! Спасать, совершать подвигъ! Ахъ, какъ я золь сегодня на себя! Чувствую, что сегодняшнее мое напряженіе разрѣшится чѣмъ-нибудь... Или я сломаю что-нибудь, или...

Саша. Вотъ, вотъ, это именно и нужно. Сломай что-нибудь, разбей или закричи. Ты на меня сердить, я сдѣлала глупость, что рѣшилась прѣхать сюда. Ну, такъ возмутись, закричи на меня, затомай ногами. Ну? Начинай сердиться... (*пауза*). Ну?

Ивановъ. Смѣшная.

Саша. Отлично! Мы, кажется, улыбаемся! Будьте добры, соблаговолите еще разъ улыбнуться!

Ивановъ (*смететъ*). Я замѣтилъ: когда ты начинаешь спасать меня и учить уму-разуму, то у тебя дѣлается лицо наивное-пренаивное, а зрачки большіе, точно ты на комету смотришь. Постой, у тебя плечо въ пыли (*смахи-*



аетъ съ ея плеча пыль). Наивный мужчина—это дуракъ. Вы же, женщины, умудряетесь наивничать такъ, что это у васъ выходить и мило, и здорово, и тепло, и не такъ глупо, какъ кажется. Только что у васъ у всѣхъ за манера? Пока мужчина здоровъ, силенъ и веселъ, вы не обращаете на него никакого вниманія, но какъ только онъ покатишь внизъ по наклонной плоскости и сталъ Лазаря пѣть, вы вѣшаетесь ему на шею. Развѣ быть женой сильнаго и храбраго челсвѣка хуже, чѣмъ быть сидѣлкой у какого-нибудь слезоточиваго неудачника?

Саша. Хуже!

Ивановъ. Почему же? (*хохочетъ*) Не знаетъ объ этомъ Дарвинъ, а то бы онъ задалъ вамъ на орѣхи! Вы портите человѣческую породу. По вашей милости на свѣтъ скоро будутъ рождаться одни только пытики и психопаты.

Саша. Мужчины многого не понимаютъ. Всякой дѣвушкѣ скорѣе понравится неудачникъ, чѣмъ счастливецъ, потому что каждую соблазняетъ любовь дѣятельная... Понимаешь? Дѣятельная. Мужчины заняты дѣломъ и потому у нихъ любовь на третьемъ планѣ. Поговорить съ женой, погулять съ нею по саду, пріятно провести время, на ея могилкѣ поплакать—вотъ и все. А у насъ любовь—это жизнь. Я люблю тебя, это значитъ, что я мечтаю, какъ я излѣчу тебя отъ тоски, какъ пойду съ тобою на край свѣта... Ты на гору и я на гору; ты въ яму и я въ яму. Для меня, напримѣръ, было бы большимъ счастьемъ всю ночь бумаги твои переписывать, или всю ночь сторожить, чтобы тебя не разбудилъ кто-нибудь, или идти съ тобою пѣшкомъ верстъ сто. Помню, года три назадъ, ты разъ, во время молотбы, пришелъ къ намъ весь въ пыли, загорѣлый, измученный и попросилъ пить. Принесла я тебѣ стаканъ, а ты ужъ лежишь на диванѣ и спишь, какъ убитый. Спалъ ты у насъ полсутки, а я все время стояла за дверью и сторожила, чтобы кто не вошелъ. И такъ мнѣ было хорошо!

Чѣмъ больше труда, тѣмъ любовь лучше, то-есть она, понимаешь ли, сильнѣй чувствуется.

Ивановъ. Дѣятельная любовь... Гм... Порча это, дѣвическая философія, или, можетъ, такъ оно и должно-быть... (*пожимаетъ плечами*). Чортъ его знаетъ! (*весело*). Шура, честное слово, я порядочный человѣкъ!.. Ты посуди: я всегда любилъ философствовать, но никогда въ жизни я не говорилъ; «наши женщины испорчены», или: «женщина вступила на ложную дорогу». Я былъ только благодаренъ и больше ничего! Больше ничего! Дѣвочка моя, хорошая, какая ты забавная! А я-то, какой смѣшной болванъ! Православный народъ смущаю, по цѣлымъ днямъ Лазаря пою (*смется*). Бу-у! бу-у! (*быстро отходитъ*). Но уходи, Саша! Мы забылись...

Саша. Да, пора уходить. Прощай! Боюсь, какъ бы твой честный докторъ изъ чувства долга не донесъ Аннѣ Петровнѣ, что я здѣсь. Слушай меня: ступай сейчасъ къ женѣ и сиди, сиди, сиди... Годъ понадобится сидѣть—годъ сиди. Десять лѣтъ—сиди десять лѣтъ. Исполняй свой долгъ. И горюй, и прощенія у нея проси, и плачь, — все это такъ и надо. А, главное, не забывай дѣла.

Ивановъ. Опять у меня такое чувство, какъ будто я мухомору объѣлся. Опять!

Саша. Ну, храни тебя Создатель! Обо мнѣ можешь всѣмъ не думать! Недѣли черезъ двѣ черкнешь строчку— и на томъ спасибо. А я тебѣ буду писать...

(*Боркинъ выглядываетъ въ дверь*).

### VIII.

Боркинъ. Николай Алексѣевичъ, можно? (*увидѣвъ Сашу*). Виновать, я и не вижу... (*входитъ*). Бонжуръ! (*раскланивается*).

Саша (*смуценно*). Здравствуйте...

Боркинъ. Вы пополнѣли, похорошѣли.

Саша (*Иванову*). Такъ я ухожу, Николай Алексѣевичъ... Я ухожу (*уходитъ*).

Боркинъ. Чудное видѣніе! Шель за прозой, а наткнулся па поэзію... (*поетъ*). «Явилась ты, какъ пташка къ свѣту»... (*Ивановъ взволнованно ходитъ по сценѣ*).

Боркинъ (*садится*). А въ ней, Nicolas, есть что-то такое, этакое, чего нѣтъ въ другихъ. Не правда ли? Что-то особенное... фантазмагорическое... (*вздыхаетъ*). Въ сущности самая богатая невѣста во всемъ уѣздѣ, но маменька такая рѣдка, что никто не захочетъ связываться. Послѣ ея смерти все останется Шурочкѣ, а до смерти дать тысячь десять, пюйку и утюгъ, да еще велить въ ножки поклониться (*роется въ карманахъ*). Покурить де-дось-махорось. Не хотите ли? (*протягиваетъ портсигаръ*). Хорошія... Курить можно.

Ивановъ (*подходитъ къ Боркину, задыхаясь отъ гнѣва*). Сію же минуту, чтобъ ноги вашей не было у меня въ домѣ! Сію же минуту!

(*Боркинъ приподнимается и ромаетъ сигару*).

Ивановъ. Вонъ сію же минуту!

Боркинъ. Nicolas, что это значить? За что вы сердитесь?

Ивановъ. За что? А откуда у васъ эти сигары? И вы думаете, что я не знаю, куда и зачѣмъ вы каждый день возите старика?

Боркинъ (*пожимаетъ плечами*). Да вамъ-то что за надобность?

Ивановъ. Негодяй вы этакій! Ваши подлые проекты, которыми вы сыплете по всему уѣзду, сдѣлали меня въ глазахъ людей безчестнымъ человѣкомъ! У насъ нѣтъ ничего общаго, и я прошу васъ сію же минуту оставить мой домъ! (*быстро ходитъ*).

Боркинъ. Я знаю, все это вы говорите въ раздраженіи, а потому не сержусь на васъ. Оскорбляйте сколько хотите... (*поднимаетъ сигару*). А меланхолію пора бросить. Вы не гимназистъ...

Ивановъ. Я вамъ что сказалъ? (*дрожь*). Вы играете мною?  
(*выходитъ Анна Петровна*).

IX.

Боркинъ. Ну, вотъ, Анна Петровна пришла.. Я уйду  
(*уходитъ*).

(*Ивановъ останавливается возлѣ стола и стоитъ, покинувъ голову*).

Анна Петровна (*послѣ паузы*). Зачѣмъ она сейчасъ сюда прѣвѣжала? (*пауза*). Я тебя спрашиваю: зачѣмъ она сюда прѣвѣжала?

Ивановъ. Не спрашивай, Анюта... (*пауза*). Я глубоко виновать. Придумывай какое хочешь наказаніе, я все снесу, но... не спрашивай... Говорить я не въ силахъ.

Анна Петровна (*сердито*). Зачѣмъ она здѣсь была? (*пауза*). А, такъ вотъ ты какой! Теперь я тебя понимаю. Наконецъ-то я вижу, что ты за человекъ. Безчестный, низкій... Помнишь, ты пришелъ и солгалъ мнѣ, что ты меня любишь... Я повѣрила и оставила отца, мать, вѣру и пошла за тобою... Ты лгалъ мнѣ о правдѣ, о добротѣ, о своихъ честныхъ планахъ, я вѣрила каждому слову...

Ивановъ. Анюта, я никогда не лгалъ тебѣ...

Анна Петровна. Жила я съ тобою пять лѣтъ, томилась и болѣла, но любила тебя и не оставляла ни на одну минуту... Ты былъ моимъ кумиромъ... И что же? Все это время ты обманывалъ меня самымъ наглýmъ образомъ...

Ивановъ. Анюта, не говори неправды. Я ошибался, да, но не солгалъ ни разу въ жизни... Въ этомъ ты не смѣешь попрекнуть меня...

Анна Петровна. Теперь все понятно... Женился ты на мнѣ и думалъ, что отецъ и мать простятъ меня, дадутъ мнѣ денегъ... Ты это думалъ...

Ивановъ. О, Боже мой! Анюта, испытывать такъ терпѣніе... (*плачетъ*).

Анна Петровна. Молчи! Когда увидѣлъ, что денегъ нѣтъ, повелъ новую игру... Теперь я все помню и понимаю (*плачетъ*). Ты никогда не любилъ меня и не былъ мнѣ вѣренъ... Никогда!..

Ивановъ. Сарра, это ложь!.. Говори, что хочешь, но не оскорбляй меня ложью...

Анна Петровна. Безчестный, низкій человекъ... Ты долженъ Лебедеву, и теперь, чтобы увильнуть отъ долга, хочешь вскружить голову его дочери, обмануть ее такъ же, какъ меня. Развѣ не правда?

Ивановъ (*задыхался*). Замолчи, ради Бога! Я за себя не ручаюсь... Меня душитъ гнѣвъ и я... я могу оскорбить тебя...

Анна Петровна. Всегда ты нагло обманывалъ, и не меня одну... Всѣ безчестные поступки сваливалъ ты на Боркина, но теперь я знаю—чи они...

Ивановъ. Сарра, замолчи, уйди, а то у меня съ языка сорвется слово! Меня такъ и подмываетъ сказать тебѣ что-нибудь ужасное, оскорбительное... (*кричитъ*). Замолчи, жидовка!..

Анна Петровна. Не замолчу... Слишкомъ долго ты обманывалъ меня, чтобы я могла молчать...

Ивановъ. Такъ ты не замолчишь? (*борется съ собою*). Ради Бога...

Анна Петровна. Теперь иди и обманывай Лебедеву...

Ивановъ. Такъ знай же, что ты... скоро умрешь... Мнѣ докторъ сказалъ, что ты скоро умрешь...

Анна Петровна (*садится, упавшимъ голосомъ*). Когда онъ сказалъ? (*пауза*).

Ивановъ (*хватая себя за голову*). Какъ я виноватъ! Боже, какъ я виноватъ! (*рыдаетъ*).

*Занавѣсъ.*

---

Между третьимъ и четвертымъ дѣйствіями проходитъ около года.

---

## ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

### I.

Одна изъ гостиныхъ въ домѣ Лебедева. Впереди арка, отдѣляющая гостиную отъ зала, направо и налѣво—двери. Старинная бронза, фамильные портреты. Праздничное убранство. Піанино, на немъ скрипка, возлѣ стоитъ виолончель. — Въ продолженіе всего дѣйствія по залу ходять гости, одѣтые по бальному.

Львовъ (*входитъ, смотритъ на часы*). Пятый часъ. Должно быть, сейчасъ начнется благословеніе... Благословятъ и повезутъ вѣнчать. Вотъ оно торжество добродѣтели и правды! Сарру не удалось ограбить, замучилъ ее и въ гробъ уложилъ, теперь нашелъ другую. Будетъ и передъ этою лицемѣрить, пока не ограбить ее и, ограбивши, не уложить туда же, гдѣ лежитъ бѣдная Сарра. Старая, кулачечкая исторія... (*пауза*). На седьмомъ небѣ отъ счастья, прекрасно проживетъ до глубокой старости, а умретъ со спокойною совѣстью. Нѣтъ, я выведу тебя на чистую воду! Когда я сорву съ тебя проклятую маску и когда всѣ узнаютъ, что ты за птица, ты полетишь у меня съ седьмого неба внизъ головой въ такую яму, изъ которой не вытащить тебя сама нечистая сила! Я честный человекъ, мое дѣло вступить и открыть глаза слѣпымъ. Исполню свой долгъ и завтра же вонъ изъ этого проклятаго уѣзда! (*задумывается*). Но что сдѣлать? Объясняться съ Лебедевыми—напрасный трудъ. Вызвать на дуэль? Затѣять скандалъ? Боже мой, я волнуюсь, какъ мальчишка, и совсѣмъ потерялъ способность соображать. Что дѣлать? Дуэль?

### II.

Косыхъ (*входитъ, радостно Львову*). Вчера объявилъ маленькій шлемъ на трефахъ, а взялъ большой. Только опять этотъ Барабановъ мнѣ всю музыку испортилъ! Играемъ. Я

говору безъ козырей. Онъ пасъ. Два трефы. Онъ пасъ. Я два бубны... три трефы... и представьте, можете себѣ представить: я объявляю шлемъ, а онъ не показываетъ туза. Покажи онъ, мерзавецъ, туза, я объявилъ бы большой шлемъ на безкозыряхъ...

Львовъ. Простите, я въ карты не играю и потому не сумѣю раздѣлить вашего восторга. Скоро благословеніе?

Косыхъ. Должно, скоро. Зюзюшку въ чувство приводятъ. Бѣдугой реветъ, приданого жалко.

Львовъ. А не дочери?

Косыхъ. Приданого. Да и обидно. Жѣнится, значить, долга не заплатитъ. Зятевы векселя не протестуешь.

### III.

Бабакина (*разодѣтая, важно проходитъ черезъ сцену мимо Львова и Косыхъ; послѣдній прыскаетъ въ кулакъ; она оледявляется*). Глупо!

(*Косыхъ касается пальцемъ ея талии и хохочетъ*).

Бабакина. Мужикъ! (*уходитъ*).

Косыхъ (*хохочетъ*). Совсѣмъ спятила баба! Пока въ сятельство не лѣзла — была баба, какъ баба, а теперь приступу нѣтъ (*дразнитъ*). Мужикъ!

Львовъ (*волнуясь*). Слушайте, скажите мнѣ искренно: какого вы мнѣнія объ Ивановѣ?

Косыхъ. Ничего не стѣитъ. Играетъ, какъ сапожникъ. Въ прошломъ году, въ посту, былъ такой случай. Садимся мы играть: я, графъ, Боркинъ и онъ. Я сдаю...

Львовъ (*перебивая*). Хорошій онъ человекъ?

Косыхъ. Онъ-то? Жохъ-мужчина! Пройда, сквозь огонь и воду прошелъ. Онъ и графъ — пятакъ пара. Нюхомъ чуютъ, гдѣ что плохо лежитъ. На жидовкѣ нарвался, съѣлъ грибокъ, а теперь къ Зюзюшкинымъ сундукамъ подбирается. Объ закладъ бьюсь, будь я трижды анаема, если черезъ годъ онъ Зюзюшку по міру не пуститъ. Онъ — Зюзюшку, а

графъ—Бабакину. Заберутъ денежки и будутъ жить-поживать, да добра наживать. Докторъ, что это вы сегодня такой блѣдный? На васъ лица нѣтъ.

Львовъ. Ничего, это такъ. Вчера лишнее выпилъ.

IV.

Лебедевъ (*входя съ Сашей*). Здѣсь поговоримъ (*Львову и Косыхъ*). Ступайте, зулусы, въ залу къ барышнямъ. Намъ по секрету поговорить нужно.

Косыхъ (*проходя мимо Саши, восторженно щелкаетъ пальцами*). Картина! Козырная дама!

Лебедевъ. Проходи, пещерный человекъ, проходи!  
(*Львовъ и Косыхъ уходятъ*).

Лебедевъ. Садись, Шурочка, вотъ такъ... (*садится и оглядывается*). Слушай внимательно и съ должнымъ благоговѣніемъ. Дѣло вотъ въ чемъ: твоя мать приказала мнѣ передать тебѣ слѣдующее... Понимаешь? Я не отъ себя буду говорить, а мать приказала.

Саша. Папа, покороче!

Лебедевъ. Тебѣ въ приданое назначается пятнадцать тысячъ рублей серебромъ. Вотъ... Смотри, чтобъ потомъ разговоровъ не было! Пстой, молчи! Это только цвѣтки, а будутъ еще ягодки. Приданого тебѣ назначено пятнадцать тысячъ, но, принимая во вниманіе, что Николай Алексѣвичъ долженъ твоей матери 9 тысячъ, изъ твоего приданого дѣлается вычитаніе... Ну-съ, а потомъ, кромѣ того...

Саша. Для чего ты мнѣ это говоришь?

Лебедевъ. Мать приказала!

Саша. Оставьте меня въ покоѣ! Если бы ты хотя немного уважалъ меня и себя, то не позволялъ бы себѣ говорить со мною такимъ образомъ. Не нужно мнѣ вашего приданого! Я не просила и не прошу!

Лебедевъ. За что же ты на меня набросилась? У Гоголя



двѣ крысы сначала понюхали, а потомъ ужь ушли, а ты, эмансипе, не понюхавши, набросилась.

Саша. Оставьте вы меня въ покоѣ, не оскорбляйте моего слуха вашими грошовыми расчетами.

Лебедевъ (*встѣливъ*). Тфу! Всѣ вы то сдѣлаете, что я себя ножомъ пырну или человѣка зарѣжу! Та день-деньской ревма реветъ, зудить, пилить, копейки считаетъ, а эта, умная, гуманная, чортъ подери, эмансипированная, не можетъ понять родного отца! Я оскорбляю слухъ! Да вѣдь прежде, чѣмъ прійти сюда оскорблять твой слухъ, меня тамъ (*указываетъ на дверь*) на куски рѣзали, четвертовали. Не можетъ она понять! Голову вскружили и съ толку сбили... ну, васъ! (*идетъ къ двери и останавливается*). Не нравится мнѣ, все мнѣ въ васъ не нравится!

Саша. Что тебѣ не нравится?

Лебедевъ. Все мнѣ не нравится! Все!

Саша. Что все?

Лебедевъ. Такъ вотъ я разсядусь передъ тобою и стану разсказывать. Ничего мнѣ не нравится, а на свадьбу твою я и смотрѣть не хочу! (*подходитъ къ Сашѣ и ласково*). Ты меня извини, Шурочка, можетъ-быть, твоя свадьба умная, честная, возвышенная, съ принципами, но что-то въ ней не то, не то! Не походить она на другія свадьбы. Ты — молодая, свѣжая, чистая, какъ стеклышко, красивая, а онъ — вдовецъ, истрепался, обносился. И не понимаю я его, Богъ съ нимъ (*цѣлуетъ дочь*). Шурочка, прости, но что-то не совсѣмъ чисто. Ужь очень много люди говорятъ. Какъ-то такъ у него эта Сарра умерла, потомъ какъ-то вдругъ почему-то на тебѣ жениться захотѣлъ... (*живо*). Впрочемъ, я баба, баба. Обабился, какъ старый кринолинъ. Не слушай меня. Никого, себя только слушай.

Саша. Папа, я и сама чувствую, что не то... Не то, не то, не то. Если бы ты зналъ, какъ мнѣ тяжело! Невыносимо! Мнѣ неловко и страшно сознаваться въ этомъ. Папа,

голубчикъ, ты меня подбодри, ради Бога... научи, что дѣлать.

Лебедевъ. Что такое? Что?

Саша. Такъ страшно, какъ никогда не было! (*оглядывается*). Мнѣ кажется, что я его не понимаю и никогда не пойму. За все время, пока я его не вѣста, онъ ни разу не улыбнулся, ни разу не взглянулъ мнѣ прямо въ глаза. Вѣчно жалобы, раскаяніе въ чемъ-то, намеки на какую-то вину, дрожь... Я утомилась. Бываютъ даже минуты, когда мнѣ кажется, что я... я его люблю не такъ сильно, какъ нужно. А когда онъ прѣзжаетъ къ намъ или говорить со мною, мнѣ становится скучно. Что это все значить, папочка? Страшно!

Лебедевъ. Голубушка моя, дитя мое единственное, послушай стараго отца. Откажи ему!

Саша (*испуганно*). Что ты, что ты!

Лебедевъ. Право, Шурочка. Скандалъ будетъ, весь уѣздъ языками затрезвонить, но вѣдь лучше пережить скандалъ, чѣмъ губить себя на всю жизнь.

Саша. Не говори, не говори, папа! И слушать не хочу. Надо бороться съ мрачными мыслями. Онъ хорошій, несчастный, непонятый человекъ; я буду его любить, пойму, поставлю его на ноги. Я исполню свою задачу. Рѣшено!

Лебедевъ. Не задача это, а психопатія.

Саша. Довольно. Я покаялась тебѣ, въ чемъ не хотѣла сознаться даже самой себѣ. Никому не говори. Забудемъ.

Лебедевъ. Ничего я не понимаю. Или я отупѣлъ отъ старости, или всѣ вы очень ужъ умны стали, а только я, хоть зарѣжьте, ничего не понимаю.

## V.

Шабельскій (*входя*). Чортъ бы побралъ всѣхъ и меня въ томъ числѣ! Возмутительно!

Лебедевъ. Тебѣ что?

**Шабельскій.** Нѣтъ, серьезно, нужно во что бы то ни стало устроить себѣ какую-нибудь гнусность, подлость, чтобъ не только мнѣ, но и всѣмъ противно стало. И я устрою. Честное слово! Я ужъ сказалъ Боркину, чтобы онъ объявилъ меня сегодня женихомъ (*сжѣтсѣ*). Всѣ подлы, и я буду подлъ.

**Лебедевъ.** Надоѣлъ ты мнѣ! Слушай, Матвѣй, договорись ты до того, что тебя, извини за выраженіе, въ желтый домъ свезутъ.

**Шабельскій.** А чѣмъ желтый домъ хуже любого бѣлаго или краснаго дома? Сдѣлай милость, хоть сейчасъ меня туда вези. Сдѣлай милость. Всѣ подленькіе, маленькіе, ничтожные, бездарные, самъ я гадокъ себѣ, не вѣрю ни одному своему слову...

**Лебедевъ.** Знаешь что, братъ? Возьми въ ротъ паклю, зажги и дыши на людей. Или еще лучше: возьми свою шапку и поѣзжай домой. Тутъ свадьба, всѣ веселятся, а ты кра-кра, какъ ворона. Да, право...

*(Шабельскій склоняется къ піанино и рыдаетъ).*

**Лебедевъ.** Батюшки!.. Матвѣй!.. графъ!.. Что съ тобою? Матюша, родной мой... ангелъ мой... Я обидѣлъ тебя? Ну, прости меня, старую собаку... Прости пьяницу... Воды выпей...

**Шабельскій.** Не нужно (*поднимаетъ голову*).

**Лебедевъ.** Чего ты плачешь?

**Шабельскій.** Ничего, такъ...

**Лебедевъ.** Нѣтъ, Матюша, не лги... отчего? Что за причина?

**Шабельскій.** Взглянулъ я сейчасъ на эту віолончель и... и жидовочку вспомнилъ...

**Лебедевъ.** Эва, когда начелъ вспоминать! Царство ей небесное, вѣчный покой, а вспоминать не время...

**Шабельскій.** Мы съ нею дуэты играли... Чудная, превосходная женщина!

*(Саша рыдаетъ).*

Лебедевъ. Ты еще что? Будетъ тебѣ! Господи, ревутъ оба, а я... я... Хоть уйдите отсюда, гости увидятъ!

Шабельскій. Паша, когда солнце свѣтитъ, то и на кладбищѣ весело. Когда есть надежда, то и въ старости хорошо. А у меня ни одной надежды, ни одной!

Лебедевъ. Да, дѣйствительно тебѣ плоховато... Ни дѣтей у тебя, ни денегъ, ни занятій... Ну, да что дѣлать! (*Сидитъ*). А ты-то чего?

Шабельскій. Паша, дай мнѣ денегъ. На томъ свѣтѣ мы поквитаемся. Я съѣзжу въ Парижъ, погляжу на могилу жены. Въ своей жизни я много давалъ, роздалъ половину своего состоянія, а потому имѣю право просить. Къ тому же прошу я у друга...

Лебедевъ (*растерянно*). Голубчикъ, у меня ни копейки! Впрочемъ, хорошо, хорошо! То-есть я не общаю, а понимаешь ли... отлично, отлично! (*въ сторону*). Замучили!

## VI.

Бабакина (*входитъ*). Гдѣ же мой кавалеръ? Графъ, какъ вы смѣете оставлять меня одну? У, противный! (*бьетъ графа вперомъ по руку*).

Шабельскій (*брезливо*). Оставьте меня въ покоѣ! Я васъ ненавижу!

Бабакина (*оторопѣло*). Что?.. А?..

Шабельскій. Отойдите прочь!

Бабакина (*падаетъ въ кресло*). Ахъ! (*плачетъ*).

Зинаида Савишна (*входитъ, плача*). Тамъ кто-то пріѣхалъ... Кажется, жениховъ шаферъ. Благословлять время... (*рыдаетъ*).

Саша (*умоляюще*). Мама!

Лебедевъ. Ну, всё заревѣли! Квартетъ! Да будетъ вамъ сырость разводите! Матвѣй!.. Марѳа Егоровна!.. Вѣдь такъ и я... я заплачу... (*плачетъ*). Господи!

Зинаида Савишна. Если тебѣ мать не нужна, если безъ

послушанія... то сдѣлаю тебѣ такое удовольствіе, благо-  
словлю...

*(Входитъ Ивановъ; онъ во фракъ и перчаткахъ).*

## VII.

Лебедевъ. Этого еще не доставало! Что такое?

Саша. Зачѣмъ ты?

Ивановъ. Виновать, господа, позвольте мнѣ поговорить съ  
Сашей наединѣ.

Лебедевъ. Это не порядокъ, чтобъ до вѣнца къ невѣстѣ  
пріѣзжать! Тебѣ пора ѣхать въ церковь!

Ивановъ. Паша, я прошу..

*(Лебедевъ пожимаетъ плечами; онъ, Зинаида Савишина,  
графъ и Бабакина уходятъ).*

## VIII.

Саша *(сурово)*. Что тебѣ нужно?

Ивановъ. Меня душитъ злоба, но я могу говорить хлад-  
нокровно. Слушай. Сейчасъ я одѣвался къ вѣнцу, взгля-  
нулъ на себя въ зеркало, а у меня на вискахъ... сѣдины.  
Шура, не надо! Пока еще не поздно, нужно прекратить  
эту бессмысленную комедію... Ты молода, чиста, у тебя  
впереди жизнь, а я...

Саша. Все это не ново, слышала я уже тысячу разъ и  
мнѣ надоѣло! Поѣзжай въ церковь, не задерживай людей.

Ивановъ. Я сейчасъ уѣду домой, а ты объяви своимъ,  
что свадьбы не будетъ. Объясни имъ какъ-нибудь. Пора  
взяться за умъ. Поигралъ я Гамлета, а ты возвышенную  
дѣвицу—и будетъ съ насъ.

Саша *(встлкнувъ)*. Это что за тонъ? Я не слушаю.

Ивановъ. А я говорю и буду говорить.

Саша. Ты зачѣмъ пріѣхалъ? Твое нытье переходитъ въ  
издѣвательство.

Ивановъ. Нѣтъ, ужъ я не ною! Издѣвательство? Да, я

издѣваюсь. И если бы можно было издѣваться надъ самимъ собою въ тысячу разъ сильнѣе и заставить хохотать весь свѣтъ, то я бы это сдѣлалъ! Взглянуть я на себя въ зеркало—и въ моей совѣсти точно ядро лопнуло! Я надсмѣялся надъ собою и отъ стыда едва не сошелъ съ ума (*смѣется*). Меланхолія! Благородная тоска! Безотчетная скорбь! Недостаетъ еще, чтобы я стихи писады. Нытъ, пѣтъ Лазаря, нагонять тоску на людей, сознавать, что энергія жизни утрачена навсегда, что я заржавѣлъ, отжилъ свое, что я поддался слабодушію и по уши увязъ въ этой гнусной меланхоліи,—сознавать это, когда солнце ярко свѣтитъ, когда даже муравей тащить свою ношу и доволенъ собою,—нѣтъ, слуга покорный! Видѣть, какъ одни считаютъ тебя за шарлатана, другіе сожальють, третьи протягиваютъ руку помощи, четвертые, — что все хуже, — съ благоговѣніемъ прислушиваются къ твоимъ вздохамъ, глядятъ на тебя, какъ на второго Магомета, и ждуть, что вотъ-вотъ ты объявишь имъ новую религію... Нѣтъ, слава Богу, у меня еще есть гордость и совѣсть! Ёхаль я сюда, смѣялся надъ собою и мнѣ казалось, что надо мною смѣются птицы, смѣются деревья...

**Саша.** Это не злость, а сумасшествіе!

**Ивановъ.** Ты думаешь? Нѣтъ, я не сумасшедшій. Теперь я вижу вещи въ настоящемъ свѣтѣ, и моя мысль такъ же чиста, какъ твоя совѣсть. Мы любимъ другъ друга, но свадьбѣ нашей не быть! Я самъ могу бѣситься и киснуть сколько мнѣ угодно, но я не имѣю права губить другихъ! Своимъ нытьемъ я отравилъ женѣ послѣдній годъ ея жизни. Пока ты моя невѣста, ты разучилась смѣяться и постарѣла на пять лѣтъ. Твой отецъ, для котораго было все ясно въ жизни, по моей милости пересталъ понимать людей. Ёду ли я на съѣздъ, въ гости, на охоту, куда ни пойду, всюду вношу съ собою скуку, уныніе, недовольство. Постой, не перебивай! Я рѣзокъ, свирѣпъ, но, прости

злоба душить меня и иначе говорить я не могу. Никогда я не лгалъ, не клеветалъ на жизнь, но, ставши брюзгой, я, противъ воли, самъ того не замѣчая, клевету на нее, рошцу на судьбу, жалуясь, и всякій, слушаая меня, заражается отвращеніемъ къ жизни и тоже начинаетъ клеветать. А какой тонъ! Точно я дѣлаю одолженіе природѣ, что живу. Да чортъ меня возьми!

**Саша.** Постой... Изъ того, что ты сейчасъ сказалъ, слѣдуетъ, что нытье тебѣ надоѣло, и что пора начать новую жизнь!.. И отлично!..

**Ивановъ.** Ничего я отличнаго не вижу. И какая тамъ новая жизнь? Я погибъ безвозвратно! Пора намъ обоимъ понять это. Новая жизнь!

**Саша.** Николай, опомнись! Откуда видно, что ты погибъ? Что за цинизмъ такой? Нѣтъ, не хочу ни говорить, ни слушать... Побѣжай въ церковь!

**Ивановъ.** Погибъ!

**Саша.** Не кричи такъ, гости услышатъ!

**Ивановъ.** Если не глупый, образованный и здоровый человѣкъ безъ всякой видимой причины сталъ пѣть Лазаря и покатилъ внизъ по наклонной плоскости, то онъ катитъ уже безъ удержа, и нѣтъ ему спасенія! Ну, гдѣ мое спасеніе? Въ чемъ? Пить я не могу—голова болитъ отъ вина; плохихъ стиховъ писать—не умѣю, молиться на свою душевную лѣнь и видѣть въ ней нѣчто превыспреннее—не могу. Лѣнь и есть лѣнь, слабость есть слабость,—другихъ названій у меня нѣтъ. Погибъ, погибъ—и разговоровъ быть не можетъ! (*оглядывается*). Намъ могутъ помѣшать. Слушай. Если ты меня любишь, то помоги мнѣ. Сію же минуту, немедленно откажись отъ меня! Скорѣе...

**Саша.** Ахъ, Николай, если бы ты зналъ, какъ ты меня утомилъ! Какъ измучилъ ты мою душу! Добрый, умный человѣкъ, посуди: ну, можно ли задавать такія задачи? Что

ни день, то задача, одна труднѣе другой... Хотѣла я дѣятельной любви, но вѣдь это мученическая любовь!

Ивановъ. А когда ты станешь моею женою, задачи будутъ еще сложнѣй. Откажись же! Пойми: въ тебѣ говорить не любовь, а упрямство честной природы. Ты задалась цѣлью во что бы те ни стало воскресить во мнѣ человѣка, спасти, тебѣ льстило, что ты совершаешь подвигъ... Теперь ты готова отступить назадъ, но тебѣ мѣшаетъ ложное чувство. Пойми!

Саша. Какая у тебя странная, дикая логика! Ну, могу ли я отъ тебя отказаться? Какъ я откажусь? У тебя ни матери, ни сестры, ни друзей... Ты разоренъ, имѣніе твое растащили, на тебя кругомъ клеветуютъ...

Ивановъ. Глупо я сдѣлалъ, что сюда пріѣхалъ. Мнѣ нужно было бы поступить такъ, какъ я хотѣлъ...

*(Входитъ Лебедевъ).*

## IX.

Саша *(блжсетъ на вступочу отцу)*. Папа, ради Бога, прибѣжалъ онъ сюда, какъ бѣшеный, и мучаетъ меня! Требуется, чтобы я отказалась отъ него, не хочетъ губить меня. Скажи ему, что я не хочу его великодушія! Я знаю, что дѣлаю.

Лебедевъ. Ничего не понимаю... Какое великодушіе?

Ивановъ. Свадьбы не будетъ!

Саша. Будетъ! Папа, скажи ему, что свадьба будетъ!

Лебедевъ. Постой, постой!.. Почему же ты не хочешь, чтобы была свадьба?

Ивановъ. Я объяснилъ ей почему, но она не хочетъ понимать.

Лебедевъ. Нѣтъ, ты не ей, а мнѣ объясни, да такъ объясни, чтобы я понялъ! Ахъ, Николай Алексѣевичъ! Богъ тебѣ судья! Столько ты напустилъ туману въ нашу жизнь,



что я точно въ кунсткамерѣ живу: гляжу п ничего не понимаю... Просто наказаніе... Ну, что мнѣ прикажешь, старику, съ тобою дѣлать? На дуэль тебя вызвать, что ли?

**Ивановъ.** Никакой дуэли не нужно. Нужно имѣть только голову на плечахъ и понимать русскій языкъ.

**Саша** (*ходить въ волненіи по сценѣ*). Это ужасно, ужасно! Просто какъ ребенокъ!

**Лебедевъ.** Остается только руками развести и больше ничего. Послушай, Николай! По-твоему, все это у тебя умно, тонко, по всѣмъ правиламъ психологіи, а, по-моему, это скандалъ и несчастіе. Выслушай меня, старика, въ послѣдній разъ! Вотъ что я тебѣ скажу: успокой свой умъ! Гляди на вещи просто, какъ всѣ глядятъ! На этомъ свѣтѣ все просто. Потолокъ бѣлый, сапоги черные, сахаръ сладкій. Ты Сашу любишь, она тебя любить. Коли любишь—оставайся, не любишь—уйди, въ претензіи не будемъ. Вѣдь это такъ просто! Оба вы здоровые, умные, нравственные, и сыты, слава Богу, и одѣты... Что жъ тебѣ еще нужно? Денегъ нѣтъ? Велика важность! Не въ деньгахъ счастье... Конечно, я понимаю... имѣніе у тебя заложено, процентовъ нечѣмъ платить, но я—отецъ, я понимаю... Мать, какъ хочетъ, Богъ съ ней; не даетъ денегъ—не нужно. Шурка говоритъ, что не нуждается въ приданомъ. Принципы, Шопенгауэръ... Все это чепуха... Есть у меня въ банкѣ завѣтныя 10 тысячъ (*охлаждается*). Про нихъ въ домѣ ни одна собака не знаетъ... Бабушкины... Это вамъ обоимъ... Берите, только уговоръ лучше денегъ: Матвѣю дайте тысячи двѣ...

(*Въ залъ собираются гости*).

**Ивановъ.** Паша, разговоры ни къ чему. Я поступаю такъ, какъ велитъ мнѣ моя совѣсть.

**Саша.** И я поступаю такъ, какъ велитъ мнѣ моя совѣсть. Можешь говорить, что угодно, я тебя не отпущу. Пойду позову маму (*уходитъ*).

Х.

Лебедевъ. Ничего не понимаю...

Ивановъ. Слушай, бѣдняга... Объяснять тебѣ, кто я—честенъ или подлъ, здоровъ или психопатъ, я не стану. Тебѣ не втолкуешь. Былъ я молодымъ, горячимъ, искреннимъ, неглупымъ; любилъ, ненавидѣлъ и вѣрилъ не такъ, какъ всѣ, работалъ и надѣлся за десятерыхъ, сражался съ мельницами, бился лбомъ объ стѣны; не соразмѣривъ своихъ силъ, не разсуждая, не зная жизни, я взвалилъ на себя ношу, отъ которой сразу захрустѣла спина и потянулись жилы; я спѣшилъ расходовать себя на одну только молодость, пьянѣлъ, возбуждался, работалъ; не зналъ мѣры. И скажи: можно ли было иначе? Вѣдь насъ мало, а работы много, много! Боже, какъ много! И вотъ, какъ жестоко мститъ мнѣ жизнь, съ которою я боролся! Надорвался я! Въ 30 лѣтъ уже похмелье, я старъ, я уже надѣлъ халатъ. Съ тяжелою головой, съ лѣнливою душой, утомленный, надорванный, надломленный, безъ вѣры, безъ любви, безъ цѣли, какъ тѣнь, слоняюсь я среди людей и не знаю: кто я, зачѣмъ живу, чего хочу? И мнѣ уже кажется, что любовь—вздоръ, ласки приторны, что въ трудѣ нѣтъ смысла, что пѣсня и горячія рѣчи пошлы и стары. И всюду я вношу съ собою тоску, холодную скуку, недовольство, отвращеніе къ жизни... Погибъ безвозвратно! Передъ тобою стоитъ человекъ, въ 35 лѣтъ уже утомленный, разочарованный, раздавленный своими ничтожными подвигами; онъ сгораетъ со стыда, надѣвается надъ своею слабостью... О, какъ возмущается во мнѣ гордость, какое душитъ меня бѣшенство! (*пошатываясь*). Эка, какъ я уходилъ себя! Даже шатаюсь... Ослабѣлъ я. Гдѣ Матвѣй? Пусть онъ сvezетъ меня домой.

Голоса въ залѣ. Жениховъ шаферъ пріѣхалъ!

XI.

Шабельскій (*входя*). Въ чужомъ, поношенномъ фракъ... безъ перчатокъ... и сколько за это насмѣшливыхъ взглядовъ, глухихъ острогъ, пошлыхъ улыбокъ... Отвратительные людишки!

Боркинъ (*быстро входитъ съ букетомъ; онъ во фракъ, съ шаферскимъ цветкомъ*). Уфъ! Гдѣ же онъ? (*Иванову*). Васъ въ церкви давно ждутъ, а вы тутъ философію разводите. Вотъ комикъ! Ей-Богу, комикъ! Вѣдь вамъ надо не съ невѣстой вѣхать, а отдѣльно со мною, за невѣстой же я приѣду изъ церкви. Неужели вы даже этого не понимаете? Положительно, комикъ!

Львовъ (*входитъ, Иванову*). А, вы здѣсь? (*громко*). Николай Алексѣевичъ Ивановъ, объявляю во всеуслышаніе, что вы подлець!

Ивановъ (*холодно*). Покорнѣйше благодарю.

(*Общее замѣшательство*).

Боркинъ (*Львову*). Милостивый государь, это низко! Я вызываю васъ на дуэль!

Львовъ. Господинъ Боркинъ, я считаю для себя униженнымъ не только драться, но даже говорить съ вами! А г. Ивановъ можетъ получить удовлетвореніе, когда ему угодно.

Шабельскій. Милостивый государь, я дерусь съ вами!

Саша (*Львову*). За что? За что вы его оскорбили? Господа, позвольте, пусть онъ мнѣ скажетъ: за что?

Львовъ. Александра Павловна, я оскорблялъ не голословно. Я пришелъ сюда, какъ честный человѣкъ, чтобы раскрыть вамъ глаза, и прошу васъ выслушать меня.

Саша. Что вы можете сказать? Что вы честный человѣкъ? Это весь свѣтъ знаетъ! Вы лучше скажите мнѣ по чистой совѣсти: понимаете вы себя или нѣтъ! Вошли вы сейчасъ сюда, какъ честный человѣкъ, и нанесли ему

страшное оскорбленіе, которое едва не убило меня; раньше, когда вы преслѣдовали его, какъ тѣнь, и мѣшали ему жить, вы были увѣрены, что исполняете свой долгъ, что вы честный человѣкъ. Вы вмѣшивались въ его частную жизнь, зло-словили и судили его; гдѣ только можно было забрасывали меня и всѣхъ знакомыхъ анонимными письмами, — и все время вы думали, что вы честный человѣкъ. Думая, что это честно, вы, докторъ, не щадили даже его больной жены и не давали ей покоя своими подозрѣніями. И какое бы насиліе, какую жестокою подлость вы ни сдѣлали, вамъ все бы казалось, что вы необыкновенно честный и передовой человѣкъ!

Ивановъ (*смѣясь*). Не свадьба, а парламентъ! Bravo, bravo!..

Саша (*Львову*). Вотъ теперь и подумайте: понимаете вы себя, или нѣтъ? Тупые, безсердечные люди! (*беретъ Иванова за руку*). Пойдемъ отсюда, Николай! Отецъ, пойдемъ!

Ивановъ. Куда тамъ пойдемъ? Постой, я сейчасъ все это кончу! Проснулась во мнѣ молодость, заговорилъ прежній Ивановъ! (*вынимаетъ револьверъ*).

Саша (*вскрикиваетъ*). Я знаю, что онъ хочетъ сдѣлать! Николай, Бога ради!

Ивановъ. Долго катилъ внизъ по наклону, теперь стой! Пора и честь знать! Отойдите! Спасибо, Саша!

Саша (*кричитъ*). Николай, Бога ради! Удержите!

Ивановъ. Оставьте меня! (*отбѣгаетъ въ сторону и застрѣливается*).

*Занавѣсъ.*

# ЛЕБЕДИНАЯ ПѢСНЯ.

(КАЛХАСЪ).

Драматическій этюдъ въ одномъ дѣйстви.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

**Василій Васильчъ Свѣтловидовъ**, комикъ, старикъ, 68-ми лѣтъ,  
**Никита Иванычъ**, суфлеръ, старикъ.

---

Дѣйствіе происходитъ на сценѣ провинціального театра, ночью, послѣ спектакля. Пустая сцена провинціального театра средней руки. Направо рядъ некрашенныхъ, грубо сколоченныхъ дверей, ведущихъ въ уборныя; лѣвый планъ и глубина сцены завалены хламомъ. Посреди сцены опрокинутый табуретъ.—Ночь. Темно.

---

I.

**СВѢТЛОВИДОВЪ** (*въ костюмъ Калхаса, со свѣчой въ рукѣ, выходитъ изъ уборной и хохочетъ*).

Свѣтловидовъ. Вотъ такъ фунтъ! Вотъ такъ штука. Въ уборной уснулъ! Спектакль давно уже кончился, всѣ изъ театра ушли, а я преспокойнѣйшимъ манеромъ храповицкаго задаю. Ахъ, старый хрѣнь, старый хрѣнь! Старая ты собака! Такъ, значить, налимонился, что сидя уснулъ! Умница! Хвалю, мамочка (*кричитъ*). Егорка! Егорка, чортъ! Петрушка! Заснули, черти, въ ротъ вамъ дышло, сто чертей и одна вѣдьма! Егорка! (*поднимаетъ табуретъ, садится на него и ставитъ свѣчу на полъ*). Ничего не слышно... Только эхо и отвѣчаетъ... Егорка и Петрушка получили съ меня сегодня за усердіе по трешницѣ,—ихъ теперь и съ собаками не сыщешь... Ушли и, должно-быть, подлецы, театръ заперли... (*крутитъ головой*). Пьянь! Уфъ! Сколько я сегодня ради бенефиса влилъ въ себя этого винища и пивища, Боже мой! Во всемъ тѣлѣ перегаръ стоитъ, а во

рту двенадцать языковъ почувють... Противно... (*пауза*). Глупо... напился старый дуралей и самъ не знаетъ, съ какой радости... Уфъ, Боже мой!.. И поясницу ломить, и башка трещить, и знобить всего, а на душѣ холодно и темно, какъ въ погребѣ. Если здоровья не жаль, то хоть бы старость-то свою пощадила, шутъ Ивапычъ... (*пауза*). Старость... Какъ ни финти, какъ ни храбрись и ни ломай дурака, а ужъ жизнь прожита... шестьдесятъ восемь лѣтъ уже тю-тю, мое почтеніе! Не воротишь... Все ужъ выпито изъ бутылки и осталось чуть-чуть на доньшкѣ... Осталась одна гуща... Такъ-то... Такія-то дѣла, Васюша... Хочешь—не хочешь, а роль мертвеца пора уже репетировать. Смерть-матушка не за горами... (*глядитъ впередъ себя*). Однако служилъ я на сценѣ 45 лѣтъ, а театръ вижу ночью, кажется, только въ первый разъ... Да, въ первый разъ... А вѣдь курьезно, волкъ его заѣшь... (*подходитъ къ рампѣ*). Ничего не видать... Ну, суфлерскую будку немножко видно... вотъ эту литерную ложу, пюпитръ... а все остальное—тьма! Черная бездонная яма, точно могила, въ которой прячется сама смерть... Брр!.. холодно! Изъ залы дуетъ, какъ изъ каминной трубы... Вотъ гдѣ самое настоящее мѣсто духовъ вызывать! Жутко, чортъ подери... По спинѣ мурашки забѣгали... (*кричитъ*). Егорка! Петрушка! Гдѣ вы, черти? Господи, что жъ это я нечистаго поминаю? Ахъ, Боже мой, брось ты эти слова, брось ты пить, вѣдь ужъ старъ, помпирать пора... Въ 68 лѣтъ люди къ заутрени ходятъ, къ смерти готовятся, а ты... О, Господи! Нечистыя слова, пьяная рожа, этотъ шутовской костюмъ... Просто не глядѣлъ бы! Пойду скорѣе одѣваться... Жутко! Вѣдь этакъ, ежели всю ночь здѣсь просидѣть, то со страху помереть можно... (*Идетъ къ своей уборной; въ это время изъ самой крайней уборной въ глубинѣ сцены показывается Никита Иванычъ въ бѣломъ халатѣ*).



II.

Свѣтловидовъ (*увидѣвъ Никиту Иваныча, вскрикиваетъ отъ ужаса и пятится назадъ*). Кто ты? Зачѣмъ? Кого ты? (*топочетъ ногами*). Кто ты?

Никита Иванычъ. Это я-съ!

Свѣтловидовъ. Кто ты?

Никита Иванычъ (*медленно приближаясь къ нему*). Это я-съ... Суфлеръ, Никита Иванычъ... Василь Васильичъ, это я-съ!..

Свѣтловидовъ (*опускается въ изнеможеніи на табуретъ, тяжело дышитъ и дрожитъ встѣмъ тѣломъ*). Боже мой! Кто это? Это ты... ты, Никитушка? За... зачѣмъ ты здѣсь?

Никита Иванычъ. Я здѣсь ночую въ уборныхъ-съ. Только вы, сдѣлайте милость, не сказывайте Алексѣю Фомичу-съ... Больше ночевать негдѣ, вѣрѣте Богу-съ...

Свѣтловидовъ. Ты, Никитушка... Боже мой, Боже мой! Вызывали шестнадцать разъ, поднесли три вѣнка и много вещей... всѣ въ восторгѣ были, но ни одна душа не разбудила пьянаго старика и не сvezла его домой... Я старикъ, Никитушка... Мнѣ 68 лѣтъ... Боленъ! Томится слабый духъ мой... (*припадаетъ къ рукѣ суфлера и плачетъ*). Не уходи, Никитушка... Старъ, немощенъ, помирать надо... Страшно, страшно!..

Никита Иванычъ (*нѣжно и почтительно*). Вамъ, Василь Васильичъ, домой пора-съ!

Свѣтловидовъ. Не пойду! Нѣтъ у меня дома,—нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ!

Никита Иванычъ. Господи! Ужъ забыли, гдѣ и живете!

Свѣтловидовъ. Не хочу туда, не хочу! Тамъ я одинъ... никого у меня нѣтъ, Никитушка, ни родныхъ, ни старухи, ни дѣтокъ... Одинъ, какъ вѣтеръ въ полѣ... Помру, и некому будетъ помянуть... Страшно мнѣ одному... Некому меня согрѣть, обласкать, пьянаго въ постель уложить... Чей

я? Кому я нужен? Кто меня любить? Никто меня не любить, Никитушка!

Никита Иваныч (*сквозь слезы*). Публика васъ любить, Василь Васильичъ!

Свѣтловидовъ. Публика ушла, спать и забыла про своего шута! Нѣтъ, никому я не нуженъ, никто меня не любить... Ни жены у меня, ни дѣтей...

Никита Иванычъ. Эва, о чемъ горюете...

Свѣтловидовъ. Вѣдь я человѣкъ, вѣдь я живой, у меня въ жилахъ кровь течетъ, а не вода. Я дворянинъ, Никитушка, хорошаго рода... Пока въ эту яму не попалъ, на военной служилъ, въ артиллеріи... Какой я молодецъ былъ, красавецъ, какой честный, смѣлый, горячій! Боже, куда же это все дѣвалось? Никитушка, а потомъ какимъ я актеромъ былъ, а? (*поднявшись, опирается на руку суфлера*). Куда все это дѣвалось, гдѣ оно то время? Боже мой! Поглядѣлъ нынче въ эту яму—и все вспомнилъ, все! Яма-то эта съѣла у меня 45 лѣтъ жизни, и какой жизни, Никитушка! Гляжу въ яму сейчасъ и вижу все до послѣдней черточки, какъ твое лицо. Восторги молодости, вѣра, пылъ, любовь женщинъ! Женщины, Никитушка!

Никита Иванычъ. Вамъ, Василь Васильичъ, спать пора-сь.

Свѣтловидовъ. Когда былъ молодымъ актеромъ, когда только-что начиналъ въ самый пылъ входить, помню—полюбила одна меня за мою игру... Изящна, стройна, какъ тополь, молода, невинна, чиста и пламенна, какъ лѣтняя заря! Подъ взглядомъ ея голубыхъ глазъ, при ея чудной улыбкѣ, не могла бы устоять никакая ночь. Морскія волны разбиваются о камни, но о волны ея кудрей разбивались утесы, льдины, снѣговыя глыбы! Помню, стою я передъ нею, какъ сейчасъ передъ тобою... Прекрасна была въ этотъ разъ, какъ никогда, глядѣла на меня такъ, что не забыть мнѣ этого взгляда даже въ могилѣ... Ласка, бархатъ, глубина, блескъ молодости! Упоенный, счастливый, падаю

передъ нею на колѣни, прошу счастья... (*продолжаетъ упавшимъ голосомъ*). А она... она говоритъ: оставьте сцену! Ос-та-вь-те сце-ну!.. Понимаешь? Она могла любить актера, но быть его женой — никогда! Помню, въ тотъ день игралъ я... Роль была подлая, шутовская... Я игралъ и чувствовалъ, какъ открываются мои глаза... Понялъ я тогда, что никакого святого искусства нѣтъ, что все бредъ и обманъ, что я — рабъ, игрушка чужой праздности, шутъ, фигляръ! Понялъ я тогда публику! Съ тѣхъ поръ не вѣрилъ я ни аплодисментамъ, ни вѣнкамъ, ни восторгамъ... Да, Никитушка! Онъ аплодируетъ мнѣ, покупаетъ за цѣлковый мою фотографію, но я чуждъ ему, я для него — грязь, почти коготка!.. Ради тщеславія, онъ ищетъ знакомства со мною, но не унизитъ себя до того, чтобы отдать мнѣ въ жены свою сестру, дочь... Не вѣрю я ему! (*опускается на табуретъ*). Не вѣрю!

**Никита Иванычъ.** На васъ лица нѣтъ, Василь Васильичъ! Даже меня въ страхъ вогнали... Пойдемте домой, будьте великодушны!

**Свѣтловидовъ.** Прозрѣлъ я тогда... и дорого мнѣ стоило это прозрѣніе, Никитушка! Сталъ я послѣ той исторіи... послѣ дѣвицы этой... сталъ я безъ толку шататься, жить зря, не глядя впередъ... Разыгрывалъ шутовъ, зубоскаловъ, паясничалъ, развращалъ умы, а вѣдь какой художникъ былъ, какой талантъ! Зарылъ я талантъ, опошлялъ, и изломалъ свой языкъ, потерялъ образъ и подобіе... Сожрала, поглотила меня эта черная яма! Не чувствовалъ раньше, но сегодня... когда проснулся, поглядѣлъ назадъ, а за мною 68 лѣтъ. Только сейчасъ увидѣлъ старость! Спѣта пѣсня! (*рыдаетъ*). Спѣта пѣсня!

**Никита Иванычъ.** Василь Васильичъ! Батюшка мой, голубчикъ... Ну, успокойтесь... Господи! (*кричитъ*). Петрушка! Егорка!

**Свѣтловидовъ.** А вѣдь какой талантъ, какаѣ сила! Пред-

ставить ты себѣ не можешь, какая дикція, сколько чувства и граціи, сколько струнь... (*бьетъ себя по груди*) въ этой груди! Задохнуться можно!.. Старикъ, ты послушай... постой, дай перевести духъ... Вотъ хоть изъ «Годунова»:

Тѣнь Грознаго меня усыновила,  
Димитріемъ изъ гроба нарекла,  
Вокругъ меня народы возмутила  
И въ жертву мнѣ Бориса обрекла.  
Царевичъ я. Довольно. Стыдно мнѣ  
Предъ гордою полячкой унижаться!

А, плохо? (*живо*). Постой, вотъ изъ «Короля Лира»... Понимаешь, черное небо, дождь, громъ — ррр!... молнія — жжж!.. полосуетъ все небо, а тутъ:

Злись, вѣтеръ! Дуй, пока не лопнуть щеки!  
Вы, хляби водъ, стремитесь ураганомъ,  
Залейте башни, флюгера на башняхъ!  
Вы, сѣрные и быстрые огни,  
Предвѣстники громовыхъ тяжкихъ стрѣлъ,  
Дубовъ крушители, летите прямо  
На голову мою сѣдую! Громъ небесный,  
Все потрясающій, разбей природу всю,  
Расплюсни разомъ толстый шаръ земли  
И разбросай по вѣтру сѣмена,  
Родящія людей неблагодарныхъ!

(*Нетерпливо*). Скорѣе слова шута! (*топочетъ ногами*).  
Подавай скорѣе слова шута! Некогда мнѣ!

Никита Иванычъ (*играя шута*). «Что, куманекъ? Подъ кровлей-то сидѣть получше, я думаю, чѣмъ подъ дождемъ шататься? Право, дяденька, помирился бы ты лучше съ дочерьми. Въ такую ночь и умнику, и дураку — обоимъ плохо!»

Свѣтловидовъ. Ревн всѣмъ животомъ!

Дуй, лей, греми и жги!

Чего щадить меня? Огонь и вѣтеръ,

И громъ и дождь—не дочери мои!  
Въ жестокости я васъ не укоряю:  
Я царства вамъ не отдавалъ при жизни,  
Дѣтьми моими васъ не называлъ.

Сила! Талантъ! Художникъ! Еще что-нибудь... еще что-нибудь этакое... стариной тряхнуть... Хватимъ (*закатывается счастливымъ смѣхомъ*) изъ «Гамлета»! Ну, я начинаю... Что бы такое? А, вотъ что... (*играя Гамлета*). «Ахъ, вотъ и флейтчики! Подай мнѣ твою флейту! (*Никитъ Иванычу*). Мнѣ кажется, будто вы слишкомъ гоняетесь за мною».

Никита Иванычъ. «Повѣрьте, принцъ, что всему причиною любовь моя къ вамъ и усердіе къ королю».

Свѣтловидовъ. «Я что-то не совсѣмъ это понимаю. Сыграй мнѣ что-нибудь!»

Никита Иванычъ. «Не могу, принцъ».

Свѣтловидовъ. «Сдѣлай одолженіе!»

Никита Иванычъ. «Право, не могу, принцъ!»

Свѣтловидовъ. «Ради Бога, сыграй!»

Никита Иванычъ. «Да я совсѣмъ не умѣю играть на флейтѣ».

Свѣтловидовъ. «А это такъ же легко, какъ лгать. Возьми флейту такъ, губы приложи сюда, пальцы туда—и играетъ!»

Никита Иванычъ. «Я вовсе не учился».

Свѣтловидовъ. «Теперь суди самъ: за кого ты меня принимаешь? Ты хочешь играть на душѣ моей, а вотъ не умѣешь сыграть даже чего-нибудь на этой дудкѣ. Развѣ я хуже, простѣе, нежели эта флейта? Считаю меня, чѣмъ тебѣ угодно: ты можешь мучить меня, но не играть мною!» (*хохочетъ и аплодируетъ*). Bravo! Бисъ! Bravo! Какая тутъ къ чорту старость! Никакой старости нѣтъ, все вздоръ, чепуха! Сила изъ всѣхъ жилъ бьетъ фонтаномъ,—это мо-

лодость, свѣжесть, жизнь! Гдѣ талантъ, Никитушка, тамъ нѣтъ старости! Опалѣлъ, Никитушка? Очумѣлъ? Погоди-дай и мнѣ прійти въ чувство... О, Господи, Боже мой! А вотъ послушай, какая нѣжность и тонкость, какая музыка! Тсс... Тише!

Тиха украинская ночь.  
Прозрачно небо, звѣзды блещутъ.  
Своей дремоты превозмочь  
Не хочетъ воздухъ. Чуть трепещутъ  
Сребристыхъ тополей листы...

(*Слышенъ стукъ отворяемыхъ дверей*). Что это?

Никита Иванычъ. Это, должно быть, Петрушка и Егорка пришли... Талантъ, Василь Васильичъ! Талантъ!

Свѣтловидовъ (*кричитъ, оборачиваясь въ сторону стука*). Сюда мои соколы! (*Никитѣ Иванычу*). Пойдемъ одѣваться... Никакой нѣтъ старости, все это вздоръ, галиматья... (*весело хохочетъ*). Что же ты плачешь? Дура моя хорошая, что ты нюни распустилъ? Э, не хорошо! Вотъ это ужъ и не хорошо! Ну, ну, старикъ, будетъ такъ глядѣть! Зачѣмъ такъ глядѣть? Ну, ну... (*обнимаетъ его сквозь слезы*). Не нужно плакать... Гдѣ искусство, гдѣ талантъ, тамъ нѣтъ ни старости, ни одиночества, ни болѣзней, и сама смерть въ половину... (*плачетъ*). Нѣтъ, Никитушка, спѣта ужъ наша пѣсня... Какой я талантъ? Выжатый лимонъ, сосулька, ржавый гвоздь, а ты—старая театральная крыса, суфлеръ... Пойдемъ! (*идутъ*). Какой я талантъ? Въ серьезныхъ пьесахъ гожусь только въ свиту Фортинбраса... да и для этого уже старъ... Да... Помнишь это мѣсто изъ «Отелло», Никитушка?

Прости покой, прости мое довольство!  
Простите вы, пернатая войска  
И гордыя сраженія, въ которыхъ  
Считается за доблесть честолюбіе, —  
Все, все прости! Прости мой ржущій конь,  
И звукъ трубы, и грохотъ барабана,

И флейты свистъ, и царственное знамя,  
Всѣ почести, вся слава, все величье  
И бурныя тревоги славныхъ войнъ!

Никита Иванычъ. Талантъ! Талантъ!

Свѣтловидовъ. Или вотъ еще:

Вонъ изъ Москвы! Сюда я больше не ѣздокъ.  
Бѣгу, не оглянусь, пойду искать по свѣту,  
Гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ!  
Карету мнѣ, карету!

*(Уходитъ съ Никитой Иванычемъ).*

*Занавѣсъ медленно опускается.*





# ТРАГИКЪ ПО НЕВОЛѢ.

(ИЗЪ ДАЧНОЙ ЖИЗНИ.)

Шутка въ одномъ дѣйстви

**ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:**

**Иванъ Ивановичъ Толкачевъ, отецъ семейства.**

**Алексій Алексѣевичъ Мурашкинъ, его другъ.**

**Дѣйствіе происходитъ въ Петербургѣ, въ квартирѣ Мурашкина.**

---

Кабинетъ Мурашкина. Мягкая мебель.—Мурашкинъ сидитъ за письменнымъ столомъ. Входитъ Толкачовъ, держа въ рукахъ стеклянный шаръ для лампы, игрушечный велосипедъ, три коробки со шляпками, большой узелъ съ платьемъ, кулекъ съ пивомъ и много маленькихъ узелковъ. Онъ безсмысленно поводитъ глазами и въ изнеможеніи опускается на софу.

---

Мурашкинъ. Здравствуй, Иванъ Ивановичъ! Какъ я радъ! Откуда ты?

Толкачовъ (*тяжело дыша*). Голубчикъ, милый мой... У меня къ тебѣ просьба... Умоляю... одолжи до завтрашняго дня револьвера. Будь другомъ!

Мурашкинъ. На что тебѣ револьверъ?

Толкачовъ. Нужно... Охъ, батюшки!.. Дай-ка воды... Скорѣй воды!.. Нужно... Ночью придется ѣхать темнымъ лѣсомъ, такъ вотъ я... на всякій случай. Одолжи, сдѣлай милость!

Мурашкинъ. Ой, врешь, Иванъ Ивановичъ! Какой тамъ у лѣшаго темный лѣсъ? Вѣроятно, задумалъ что-нибудь? По лицу вижу, что задумалъ недоброе! Да что съ тобою? Тебѣ дурно?

Толкачовъ. Постой, дай отдышаться... Охъ, матушки. За-мучился, какъ собака. Во всемъ тѣлѣ и въ башкѣ такое ощущеніе, какъ будто изъ меня шашлыкъ сдѣлали. Не могу больше терпѣть. Будь другомъ, ничего не спрашивай, не вдавайся въ подробности... дай револьверъ! Умоляю!

Мурашкинъ. Ну, полно! Иванъ Ивановичъ, что за малодушіе? Отецъ семейства, статскій совѣтникъ! Стыдись!

Толкачовъ. Какой я отецъ семейства? Я мученикъ! Я вьючная скотина, негръ, рабъ, подлець, который все еще чего-то ждетъ и не отправляетъ себя на тотъ свѣтъ! Я тряпка, болванъ, идиотъ! Зачѣмъ я живу? Для чего? (*вскакиваетъ*). Ну, ты скажи мнѣ, для чего я живу? Къ чему этотъ непрерывный рядъ нравственныхъ и физическихъ страданій? Я понимаю быть мученикомъ идеи, да! но быть мученикомъ чортъ знаетъ чего, дамскихъ юбокъ да дамповыхъ шаровъ, нѣтъ! — слуга покорный! Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Довольно съ меня! Довольно!

Мурашкинъ. Ты не кричи, сосѣдямъ слышно!

Толкачовъ. Пусть и сосѣди слышать, для меня все равно! Не дашь ты револьвера, такъ другой дасть, а ужъ мнѣ не быть въ живыхъ! Рѣшенъ!

Мурашкинъ. Постой, ты мнѣ пуговицу оторвалъ. Говори хладнокровно. Я все-таки не понимаю, чѣмъ же плоха твоя жизнь?

Толкачовъ. Чѣмъ? Ты спрашиваешь: чѣмъ? Изволь, я расскажу тебѣ! Изволь! Выскажусь передъ тобою и, можеть-быть, на душѣ у меня полегчаетъ. Сядемъ. Ну, слушай... Охъ, матушки, одышка!.. Возьмемъ для примѣра хоть сегодняшній день. Возьмемъ. Какъ ты знаешь, отъ десяти часовъ до четырехъ приходится трубить въ канцеляріи. Жарища, духота, мухи и несвѣтѣйшій, братецъ ты мой, хаосъ. Секретарь отпускъ взялъ, Храповъ жениться поѣхалъ, канцелярская мелюзга помѣшалась на дачахъ, амурахъ да любительскихъ спектакляхъ. Всѣ заспаные, уморенные, испытые, такъ что не добьешься никакого толка... Должность секретаря исправляетъ субъектъ, глухой на лѣвое ухо и влюбленный; просители обалдѣлые, все куда-то спѣшать и торопятся, сердятся, грозятъ, — такой кавардакъ со стихіями, что хоть караулъ кричи. Путаница и дымъ кор-

мысломъ. А работа аспидская: одно и то же, одно и то же, справка, отношеніе, справка, отношеніе, — однообразно, какъ зыбь морская. Просто, понимаешь ли, глаза вонь изъ-подъ лба лѣзутъ. Дай-ка воды... Выходишь изъ присутствія разбитый, измочаленный, тутъ бы обѣдать идти и спать завалиться, анъ нѣтъ!—помни, что ты дачникъ, то-есть рабъ, дрянъ, мочалка, сосулька, и изволь, какъ курицынь сынъ, сейчасъ же бѣжать исполнять порученія. На нашихъ дачахъ установился милый\*обычай: если дачникъ ѣдетъ въ городъ, то, не говоря ужъ о его супругѣ, всякая дачная мразь имѣетъ власть и право навязать ему тѣмъ порученій. Супруга требуетъ, чтобы я заѣхалъ къ модисткѣ и выбранилъ ее за то, что лифъ вышелъ широкъ, а въ плечахъ узко; Соничкѣ нужно перебѣнить башмаки, свояченицѣ пунцоваго шелку по образчику на 20 коп. и три аршина тесьмы... Да вотъ, постой, я тебѣ сейчасъ прочту *(вынимаетъ изъ кармана записочку и читаетъ)*. Шаръ для лампы; 1 фунтъ ветчинной колбасы; гвоздики и корицы на 5 коп.; кастороваго масла для Миши; 10 фунтовъ сахарнаго песку; взять изъ дому мѣдный тазъ и ступку для сахара; карболовой кислоты, персидскаго порошку, пудры на 10 коп.; 20 бутылокъ пива; уксусной эссенціи и корсетъ для m-ше Шансо № 82... уфъ! и взять дома Мишино осеннее пальто и калоши. Это приказъ супруги и семейства. Теперь порученія милыхъ знакомыхъ и сосѣдей, чортъ бы ихъ взялъ. У Власиныхъ завтра именинникъ Володя, ему нужно велосипедъ купить; подполковница Вихрина въ интересномъ положеніи. и по этому случаю я обязанъ ежедневно заѣзжать къ акушеркѣ и приглашать ее пріѣхать. И такъ далѣе, и такъ далѣе. Пять записокъ у меня въ карманѣ и весь платокъ въ узелкахъ. Этакъ, батенька, въ промежуткѣ между службой и повѣдомъ бѣгаешь по городу, какъ собака, высунувъ языкъ,—бѣгаешь, бѣгаешь и жизнь проклянешь. Изъ магазина въ аптеку, изъ аптеки къ мо-

дисткѣ, отъ модистки въ колбасную, а тамъ опять въ аптеку. Тутъ спотыкнешься, тамъ деньги потеряешь, въ третьемъ мѣстѣ заплатитъ забудешь и за тобою гонятся со скандаломъ, въ четвертомъ мѣстѣ дамѣ на шлейфъ наступишь... тфу! Отъ такого моціона осатанѣешь и такъ тебя разломаетъ, что потомъ всю ночь кости трещать и крокодилы снятся. Ну-съ, порученія исполнены, все куплено, теперь какъ прикажешь упаковать всю эту музыку? Какъ ты, напримѣръ, уложишь вмѣстѣ тяжелую мѣдную ступку и толкачъ съ ламповымъ шаромъ, или карболку съ чаемъ? Какъ ты скомбинируешь во едино пивныя бутылки и этотъ велосипедъ? Египетская работа, задача для ума, ребусъ! Какъ тамъ ни ломай голову, какъ ни хитри, а, въ концѣ-концовъ, все-таки что-нибудь расколотишь и разсыплешь, а на вокзалѣ и въ вагонѣ будешь стоять, растопыривши руки, раскорячившись и поддерживая подбородкомъ какой-нибудь узелъ, весь въ кулъкахъ, въ картонкахъ и въ прочей дряни. А тронется поѣздъ, публика начнетъ швырять во всѣ стороны твой багажъ: своими вещами ты чужія мѣста занялъ. Кричать, зовутъ кондуктора, грозятъ высадить, а я-то что подѣлаю? Стою и глазами только лупаю, какъ побитый осель. Теперь слушай дальше. Приѣзжаю я къ себѣ на дачу. Тутъ бы выпить хорошенько отъ трудовъ праведныхъ, поѣсть да храповицкаго — не правда ли?—но не тутъ-то было. Моя супружница ужъ давно стережетъ. Едва ты похлебалъ супу, какъ она цапъ-царапъ рабъ: Божьяго и — не угодно ли вамъ пожаловать куда-нибудь на любительскій спектакль или танцевальный кругъ? Протестовать не моги. Ты — мужъ, а слово «мужъ» въ переводѣ на дачный языкъ значитъ безсловесное животное, на которомъ можно ѣздить и возить клади сколько угодно, не боясь вмѣшательства общества покровительства животныхъ. Идешь и тарачишь глаза на «Скандалъ въ благородномъ семействѣ» или на какую-нибудь «Мотю», аплодируешь по

приказанію супруги и чахнешь, чахнешь, чахнешь и каждую минуту ждешь, что вотъ-вотъ тебя хватить кондратій. А на кругу гляди на танцы и подыскивай для супруги кавалеровъ, а если недостаетъ кавалера, то и самъ изволь танцовать кадрили. Вернешься послѣ полуночи изъ театра или съ бала, а ужъ ты не человѣкъ, а дохлятина, хоть брось. Но вотъ, наконецъ, ты достигъ цѣли: разоблачился и легъ въ постель. Отлично, закрывай глаза и спи... Все такъ хорошо, поэтично и тепло, понимаешь ли, и ребята за стѣной не визжать, и супруги нѣтъ, и совѣсть чиста — лучше и не надо. Засыпаешь ты — и вдругъ... и вдругъ слышишь: дзз!.. Комары! (*вскакиваетъ*). Комары, будь они трижды анаемы прокляты, комары! (*потрясаетъ кулаками*). Комары! Это казнь египетская, инквизиція! Дзз!.. Дзюзюкаетъ такъ жалобно, печально, точно прощенія просить, но такъ тебя подлець укуситъ, что потомъ цѣлый часъ чешешься. Ты и куришь, и бьешь ихъ, и съ головой укрываешься — нѣтъ спасенія! Въ концѣ-концовъ, плюнешь и отдашь себя на растерзаніе: жрите проклятые! Не успѣешь привыкнуть къ комарамъ, какъ новая казнь египетская: въ залѣ супруга начинаетъ со своими тенорами романсы разучивать. Днемъ спать, а по ночамъ къ любительскимъ концертамъ готовятся. О, Боже мой! Тенора — это такое мученіе, что никакіе комары не сравнятся (*поетъ*). «Не говори, что молодость стубила...» «Я вновь предъ тобою стою очарованъ...» О по-одные! Всю душу мою вытянули! Чтобъ ихъ хоть немножко заглушить, я на такой фокусъ пускаюсь: стучу себѣ пальцемъ по виску около уха. Этакъ стучу часовъ до четырехъ, пока не разойдутся. Охъ, дай-ка, братъ, еще воды... Не могу... Ну-съ, этакъ, не поспавши, встанешь въ шесть часовъ и — маршъ на станцію къ поѣзду. Бѣжишь, боишься опоздать, а тутъ грязь, туманъ, холодъ, брр! А пріѣдешь въ городъ, заводи шарманку сначала. Такъ-то, братъ. Жизнь, доложу я тебѣ, преподлая, и врагу

такой жизни не пожелаю. Понимаешь—заболѣлъ! Одышка, изжога, вѣчно чего-то боюсь, желудокъ не варить, въ глазахъ мутно... Вѣришь ли, психопатомъ сталъ... (*оглядывается*). Только это между нами... Хочу сходить къ Четотту или къ Мержеевскому. Находить на меня, братецъ, какая-то чертовщина. Этакъ въ минуты досады и обалдѣнія, когда комары кусаютъ или тенора поютъ, вдругъ въ глазахъ помутится, вдругъ вскочишь, бѣгаешь, какъ угорѣлый, по всему дому и кричишь: «Крови жажду! Крови!» И въ самомъ дѣлѣ, въ это время хочется кого-нибудь ножомъ пырнуть или по головѣ стуломъ трахнуть. Вотъ оно, до чего дачная жизнь доводитъ! И никто не жалѣетъ, не сочувствуетъ, а какъ будто это такъ и надо. Даже смѣются. Но вѣдь, пойми, я животное, я жить хочу! Тутъ не водевиль, а трагедія! Послушай, если не даешь револьвера, то хоть посочувствуй!

Мурашкинъ. Я сочувствую.

Толчачовъ. Вижу, какъ вы сочувствуете... Прощай. Поѣду за кильками, за колбасой... зубного порошку еще надо, а потомъ на вокзалъ.

Мурашкинъ. Ты гдѣ на дачѣ живешь?

Толчачовъ. На Дохлой рѣчкѣ.

Мурашкинъ (*радостно*). Неужели? Послушай, ты не знаешь ли тамъ дачницу Ольгу Павловну Финбергъ?

Толчачовъ. Знаю. Знакомъ даже.

Мурашкинъ. Да что ты? Вѣдь вотъ какой случай! Какъ это кстати, какъ это мило съ твоей стороны...

Толчачовъ. Что такое?

Мурашкинъ. Голубчикъ, милый, не можешь ли исполнить одну маленькую просьбу? Будь другомъ! Ну, дай честное слово, что исполнишь!

Толчачовъ. Что такое?

Мурашкинъ. Не въ службу, а въ дружбу! Умоляю, голубчикъ. Во-первыхъ, поклонись Ольгѣ Павловнѣ и скажи,



что я живъ и здоровъ, цѣлую ей ручку. Во-вторыхъ, свези ей одну вещичку. Она поручила мнѣ купить для нея ручную швейную машину, а доставить ей некому... Свези, милый! И, кстати, заодно вотъ эту клѣтку съ канарейкой... только осторожнѣй, а то дверца сломается... Что ты на меня такъ глядишь?

Толкачовъ. Швейная машинка... канарейка съ клѣткой... чижики, зяблики...

Мурашкинъ. Иванъ Ивановичъ, да что съ тобой? Отчего ты побагровѣлъ?

Толкачовъ (*топая ногами*). Давай сюда машинку! Гдѣ клѣтка? Садись самъ верхомъ! Ёшь человекъ! Терзай! Добивай его! (*сжимая кулаки*). Крови жажду! Крови! Крови!

Мурашкинъ. Ты съ ума сошелъ!

Толкачовъ (*наступая на него*). Крови жажду! Крови!

Мурашкинъ (*съ ужасъ*). Онъ съ ума сошелъ! (*кричитъ*)  
Петрушка! Марья! Гдѣ вы? Люди, спасите!

Толкачовъ (*зояаясь за нимъ по комнатѣ*). Крови жажду!  
Крови!

*Занавѣсъ.*



# ЧАЙКА.

Комедія въ четырехъ дѣйствіяхъ.

## ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

- Ирина Николаевна Аркадина**, по мужу Треплева, актриса.  
**Константинъ Гавриловичъ Треплевъ**, ея сынъ, молодой человѣкъ.  
**Петръ Николаевичъ Соринъ**, ея братъ.  
**Нина Михайловна Зарѣчная**, молодая дѣвушка, дочь богатаго помѣщика.  
**Плѣя Аванасъевичъ Шамраевъ**, поручикъ въ отставкѣ, управляющій у Сорина.  
**Полина Андреевна**, его жена.  
**Маша**, его дочь.  
**Борисъ Алексѣевичъ Тригоринъ**, балетристъ.  
**Евгеній Сергѣевичъ Дорнъ**, врачъ.  
**Семенъ Семеновичъ Медвѣденко**, учитель.  
**Яковъ**, работникъ.  
**Поваръ**.  
**Горничная**.

Дѣйствіе происходитъ въ усадьбѣ Сорина. — Между третьимъ и четвертымъ дѣйствіемъ проходитъ два года.

---

## ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Часть парка въ имѣніи Сорина. Широкая аллея, ведущая по направленію отъ зрителей въ глубину парка къ озеру, загорожена эстрадой, наскоро сколоченной для домашняго спектакля. такъ что озеро совсѣмъ не видно. Налѣво и направо у эстрады кустарникъ. Нѣсколько стульевъ, столикъ.

---

Только-что зашло солнце. На эстрадѣ за опущеннымъ занавѣсомъ ЯКОВЪ и другіе работники; слышится кашель и стукъ. МАША и МЕДВѢДЕНКО идутъ слѣва, возвращаясь съ прогулки.

Медвѣденко. Отчего вы всегда ходите въ черномъ?

Маша. Это трауръ по моей жизни. Я несчастна.

Медвѣденко. Отчего? (*съ раздумьемъ*). Не понимаю... Вы здоровы, отецъ у васъ хотя и небогатый, но съ достаткомъ. Мнѣ живется гораздо тяжелѣе, чѣмъ вамъ. Я получаю всего 23 рубля въ мѣсяцъ, да еще вычитаютъ съ меня въ эмеритурѣ, а все же я не ношу траура (*садятся*).

Маша. Дѣло не въ деньгахъ. И бѣднякъ можетъ быть счастливъ.

Медвѣденко. Это въ теоріи, а на практикѣ выходитъ такъ: я, да мать, да двѣ сестры и братишка, а жалованья всего 23 рубля. Вѣдь ѣсть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вотъ тутъ и вертись.

Маша (*оглядываясь на эстраду*). Скоро начнется спектакль.

Медвѣденко. Да. Играть будетъ Зарѣчная, а пьеса сочиненія Константина Гавриловича. Они влюблены другъ въ друга и сегодня ихъ души сольются въ стремленіи дать одинъ и тотъ же художественный образъ. А у моей души и у вашей нѣтъ общихъ точекъ соприкосновенія. Я люблю васъ, не могу отъ тоски сидѣть дома, каждый день хожу пѣшкомъ шесть верстъ сюда да шесть обратно и встрѣчаю одинъ лишь индифферентизмъ съ вашей стороны. Это понятно. Я безъ средствъ, семья у меня большая... Какая охота идти за человѣка, которому самому ѣсть нечего?

Маша. Пустяки (*нюхаетъ табакъ*). Ваша любовь трогаетъ меня, но я не могу отвѣчать взаимностью, вотъ и все (*протыкиваетъ ему табакерку*). Одолжайтесь.

Медвѣденко. Не хочется (*пауза*).

Маша. Душно, должно-быть, ночью будетъ гроза. Вы все философствуете или говорите о деньгахъ. По-вашему, нѣтъ большаго несчастья, какъ бѣдность, а, по-моему, въ тысячу разъ легче ходить въ лохмотьяхъ и побираться, чѣмъ... Впрочемъ, вамъ не понять этого...

(*Входятъ справа Соринъ и Треплевъ*).

Соринъ (*опираясь на трость*). Мнѣ, братъ, въ деревнѣ какъ-то не того, и, понятная вещь, никогда я тутъ не привыкну. Вчера легъ въ десять и сегодня утромъ проснулся въ девять съ такимъ чувствомъ, какъ будто отъ долгаго сна у меня мозгъ прилипъ къ черепу и все такое (*смѣется*). А послѣ обѣда нечаянно опять уснулъ, и теперь я весь разбитъ, испытываю кошмаръ, въ концѣ-концовъ...

Треплевъ. Правда, тебѣ нужно жить въ городѣ (*увидѣвъ Машу и Медвѣденка*). Господа, когда начнется, васъ позовутъ, а теперь нельзя здѣсь. Уходите, пожалуйста.

Соринъ (*Машѣ*). Марья Ильинична, будьте такъ добры, попросите вашего папашу, чтобы онъ распорядился отвязать собаку, а то она воетъ. Сестра опять всю ночь не спала.

**Маша.** Говорите съ моимъ отцомъ сами, а я не стану. Увольте, пожалуйста (*Медвѣденку*). Пойдемте!

**Медвѣденко** (*Треплеву*). Такъ вы передъ началомъ пришлите сказать (*оба уходятъ*).

**Соринъ.** Значить, опять всю ночь будетъ выть собака. Вотъ исторія, никогда въ деревнѣ я не жилъ, какъ хотѣлъ. Бывало, возьмешь отпускъ на 28 дней и приѣдешь сюда, чтобы отдохнуть и все, но тутъ тебя такъ доймаютъ всякимъ вздоромъ, что ужъ съ перваго дня хочется вонъ (*смыется*). Всегда я уѣзжалъ отсюда съ удовольствіемъ... Ну, а теперь я въ отставкѣ, дѣваться некуда, въ концѣ-концовъ. Хочешь—не хочешь, живи...

**Яковъ** (*Треплеву*). Мы, Константинъ Гаврилычъ, купаться пойдемъ.

**Треплевъ.** Хорошо, только черезъ десять минутъ будьте на мѣстахъ (*смотритъ на часы*). Скоро начнется.

**Яковъ.** Слушаю (*уходитъ*).

**Треплевъ** (*окидывая взглядомъ эстраду*). Вотъ тебѣ и театръ. Занавѣсъ, потомъ первая кулиса, потомъ вторая и дальше пустое пространство. Декорацій никакихъ. Открывается видъ прямо на озеро и на горизонтъ. Поднимаемъ занавѣсъ ровно въ половинѣ девятаго, когда взойдетъ луна.

**Соринъ.** Великолѣпно.

**Треплевъ.** Если Зарѣчная опоздаетъ, то, конечно, пропадетъ весь эффектъ. Пора бы ужъ ей быть. Отецъ и мачеха стерегутъ ее и вырваться ей изъ дому такъ же трудно, какъ изъ тюрьмы (*поправляетъ дядь галстукъ*). Голова и борода у тебя взлохмачены. Надо бы постричься, что ли...

**Соринъ** (*расчесывая бороду*). Трагедія моей жизни. У меня и въ молодости была такая наружность, будто я запоемъ пилъ и все. Меня никогда не любили женщины (*садясь*). Отчего сестра не въ духѣ?

**Треплевъ.** Отчего? Скучаетъ (*садясь рядомъ*). Ревнуешь.

Она уже и противъ меня, и противъ спектакля, и противъ моей пьесы, потому что не она играетъ, а Зарѣчная. Она не знаетъ моей пьесы, но уже ненавидитъ ее.

**Соринъ** (*сметется*). Выдумаешь, право...

**Треплевъ**. Ей уже досадно, что вотъ на этой маленькой сценѣ будетъ имѣть успѣхъ Зарѣчная, а не она (*посмотрѣвъ на часы*). Психологическій курьезъ—моя мать. Безспорно талантлива, умна, способна рыдать надъ книжкой, отхватить тебѣ всего Некрасова наизусть, за больными ухаживаетъ, какъ ангелъ; но попробуй похвалить при ней Дузе! Ого-го! Нужно хвалить только ее одну, нужно писать о ней, кричать, восторгаться ея необыкновенною игрой въ «*La dame aux camélias*» или въ «*Чадъ жизни*», но такъ какъ здѣсь, въ деревнѣ, нѣтъ этого дурмана, то вотъ она скучаетъ и злится, и всѣ мы — ея враги, всѣ мы виноваты. Затѣмъ, она суевѣрна, боится трехъ свѣчей, тринадцатаго числа. Она скупа. У нея въ Одессѣ въ банкѣ семьдесятъ тысячъ — это я знаю навѣрное. А попроси у нея займы, она станетъ плакать.

**Соринъ**. Ты вообразилъ, что твоя пьеса не нравится матери, и уже волнуешься и все. Успокойся, мать тебя обожаетъ.

**Треплевъ** (*обрывая у цвѣтка лепестки*). Любить—не любить, любить—не любить, любить—не любить (*сметется*). Видишь, моя мать меня не любитъ. Еще бы! Ей хочется жить, любить, носить свѣтлыя кофточки, а мнѣ уже двадцать пять лѣтъ, и я постоянно напоминаю ей, что она уже не молода. Когда меня нѣтъ, ей только тридцать два года, при мнѣ же сорокъ три, и за это она меня ненавидитъ. Она знаетъ также, что я не признаю театра. Она любитъ театръ, ей кажется, что она служить человечеству, святому искусству, а, по-моему, современный театръ—это рутина, предразсудокъ. Когда поднимается занавѣсъ и при вечернемъ освѣщеніи, въ комнатѣ съ тремя стѣнами, эти



великіе таланты, жрецы святого искусства изображаютъ, какъ люди ѣдятъ, пьютъ, любятъ, ходятъ, носятъ свои пиджаки; когда изъ пошлыхъ картинъ и фразъ стараются выудить мораль, — мораль маленькую, удобопонятную, полезную въ домашнемъ обиходѣ; когда въ тысячѣ вариаций мнѣ подносятъ все одно и то же, одно и то же, одно и то же, — то я бѣгу и бѣгу, какъ Мопассанъ бѣжалъ отъ Эйфелевой башни, которая давила ему мозгъ своею пошлостью.

**Соринъ.** Безъ театра нельзя.

**Треплевъ.** Нужны новыя формы. Новыя формы нужны, а если ихъ нѣтъ, то лучше ничего не нужно (*смотритъ на часы*). Я люблю мать, сильно люблю; но она ведетъ безтолковую жизнь, вѣчно носится съ этимъ беллетристомъ, имя ея постоянно треплютъ въ газетахъ — и это меня утомляетъ. Иногда же просто во мнѣ говоритъ эгоизмъ обыкновеннаго смертнаго; бываетъ жаль, что у меня мать известная актриса, и, кажется, будь это обыкновенная женщина, то я былъ бы счастливѣе. Дядя, что можетъ быть отчаяннѣе и глупѣе положенія: бывало, у нея сидятъ въ гостяхъ сплошь все знаменитости, артисты и писатели, и между ними только одинъ я — ничто, и меня терпятъ только потому, что я ея сынъ. Кто я? Что я? Вышелъ изъ третьяго курса университета по обстоятельствамъ, какъ говорится, отъ редакціи независящимъ, никакихъ талантовъ, денегъ ни гроша, а по паспорту я — кievскій мѣщанинъ. Мой отецъ вѣдь кievскій мѣщанинъ, хотя тоже былъ известнымъ актеромъ. Такъ вотъ, когда, бывало, въ ея гостиной всѣ эти артисты и писатели обращали на меня свое милостивое вниманіе, то мнѣ казалось, что своими взглядами они измѣряли мое ничтожество, — я угадывалъ ихъ мысли и страдалъ отъ униженія...

**Соринъ.** Кстати скажи, пожалуйста, что за человекъ этотъ беллетристъ? Не поймешь его. Все молчить.

**Треплевъ.** Человекъ умный, простой, немножко, знаешь

меланхоличный. Очень порядочный. Сорокъ лѣтъ будетъ ему еще не скоро, но онъ уже знаменитъ и сытъ по горло... Что касается его писаній, то... какъ тебѣ сказать? Мило, талантливо... но... послѣ Толстого или Зола не захочешь читать Тригорина.

Соринъ. А я, братъ, люблю литераторовъ. Когда-то я страстно хотѣлъ двухъ вещей: хотѣлъ жениться и хотѣлъ стать литераторомъ, но не удалось ни то, ни другое. Да. И маленькимъ литераторомъ приятно быть, въ концѣ-концовъ.

Треплевъ (*прислушивается*). Я слышу шаги... (*обнимаетъ дядю*). Я безъ нея жить не могу... Даже звукъ ея шаговъ прекрасенъ... Я счастливъ безумно (*быстро идетъ навстрѣчу Нинѣ Зарѣчной, которая входитъ*). Волшебница, мечта моя...

Нина (*взволнованно*). Я не опоздала... Конечно, я не опоздала...

Треплевъ (*цѣлуетъ ея руки*). Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ...

Нина. Весь день я безпокоилась, мнѣ было такъ страшно! Я боялась, что отецъ не пуститъ меня... Но онъ сейчасъ уѣхалъ съ мачехой. Красное небо, уже начинается восходить луна, и я гнала лошадь, гнала (*смыется*). Но я рада (*крѣпко жметъ руку Сорина*).

Соринъ (*смыется*). Глазки, кажется, заплаканы... Ге-ге! Не хорошо!

Нина. Это такъ... Видите, какъ мнѣ тяжело дышать. Черезъ полчаса я уѣду, надо спѣшить. Нельзя, нельзя, Бога ради не удерживайте. Отецъ не знаетъ, что я здѣсь.

Треплевъ. Въ самомъ дѣлѣ, уже пора начинать. Надо идти звать всѣхъ.

Соринъ. Я схожу и все. Сю минуту (*идетъ вправо и поетъ*). «Во Францію два гренадера»... (*оглядывается*). Разъ также вотъ я заплѣлъ, а одинъ товарищъ прокурора и говорить мнѣ: «А у васъ, ваше превосходительство, го-

лось сильный»... Потомъ подумалъ и прибавилъ: «Но.. противный» (*сметется и уходитъ*).

Нина. Отецъ и его жена не пускаютъ меня сюда. Говорятъ, что здѣсь богема... боятся, какъ бы я не пошла въ актрисы... А меня тянетъ сюда къ озеру, какъ чайку...  
Мое сердце полно вами (*оглядывается*).

Треплевъ. Мы одни.

Нина. Кажется, кто-то тамъ..

Треплевъ. Никого (*поцѣлуй*).

Нина. Это какое дерево?

Треплевъ. Вязъ.

Нина. Отчего оно такое темное?

Треплевъ. Уже вечеръ, темнѣютъ всѣ предметы. Не уѣжайте рано, умоляю васъ.

Нина. Нельзя.

Треплевъ. А если я поѣду къ вамъ, Нина? Я всю ночь буду стоять въ саду и смотрѣть на ваше окно.

Нина. Нельзя, васъ замѣтитъ сторожъ. Трезоръ еще не привыкъ къ вамъ и будетъ лаять.

Треплевъ. Я люблю васъ.

Нина. Тсс...

Треплевъ (*услышавъ шаги*). Кто тамъ? Вы, Яковъ?

Яковъ (*за эстрадой*). Точно такъ.

Треплевъ. Становитесь по мѣстамъ. Пора. Луна восходить?

Яковъ. Точно такъ.

Треплевъ. Сѣра есть? Сѣра есть? Когда покажутся красные глаза, нужно, чтобы пахло сѣрой (*Нинт*). Идите, тамъ все приготовлено. Вы волнуетесь?..

Нина. Да, очень. Ваша мама — ничего, ея я не боюсь, но у васъ Тригоринъ... Играть при немъ мнѣ страшно и стыдно... Извѣстный писатель... Онъ молодежь?

Треплевъ. Да.

Нина. Какіе у него чудесные рассказы!

Треплевъ (*холодно*). Не знаю, не читаль.

Нина. Въ вашей пьесѣ трудно играть. Въ ней нѣтъ живыхъ лицъ.

Треплевъ. Живыя лица! Надо изображать жизнь не такою, какъ она есть, и не такою, какъ должна быть, а такою, какъ она представляется въ мечтахъ.

Нина. Въ вашей пьесѣ мало дѣйствія, одна только читка. И въ пьесѣ, по-моему, непременно должна быть любовь... (*оба уходятъ за эстраду*).

(*Входятъ Полина Андреевна и Дорнъ*).

Полина Андреевна. Становится сыро. Вернитесь, надѣньте калоши.

Дорнъ. Мнѣ жарко.

Полина Андреевна. Вы не бережете себя. Это упрямство. Вы — докторъ и отлично знаете, что вамъ вреденъ сырой воздухъ, но вамъ хочется, чтобы я страдала; вы нарочно просидѣли вчера весь вечеръ на террасѣ...

Дорнъ (*напиваетъ*). «Не говори, что молодость сгубила».

Полина Андреевна. Вы были такъ увлечены разговоромъ съ Ириной Николаевной... вы не замѣчали холода. Признайтесь, она вамъ нравится...

Дорнъ. Мнѣ 55 лѣтъ.

Полина Андреевна. Пустяки, для мужчины это не старость. Вы прекрасно сохранились и еще нравитесь женщинамъ.

Дорнъ. Такъ что же вамъ угодно?

Полина Андреевна. Передъ актрисой вы всѣ готовы пасть ницъ. Всѣ!

Дорнъ (*напиваетъ*). «Я вновь предъ тобою»... Если въ обществѣ любятъ артистовъ и относятся къ нимъ иначе, чѣмъ, наприимѣръ, къ купцамъ, то это въ порядкѣ вещей. Это — идеализмъ.

Полина Андреевна. Женщины всегда влюблялись въ васъ и вѣшалась на шею. Это тоже идеализмъ?

Дорнъ (*пожавъ плечами*). Что жъ? Въ отношеніяхъ женщинъ ко мнѣ было много хорошаго. Во мнѣ любили главнымъ образомъ превосходнаго врача. Лѣтъ 10—15 назадъ, вы помните, во всей губерніи я былъ единственнымъ порядочнымъ акушеромъ. Затѣмъ всегда я былъ честнымъ человѣкомъ.

Полина Андреевна (*хватаетъ его за руку*). Дорогой мой! Дорнъ. Тише. Идутъ.

(*Входятъ Аркадина подъ руку съ Сориннымъ, Григоринъ, Шамраевъ, Медвѣденко и Маши*).

Шамраевъ. Въ 1873 году въ Полтавѣ на ярмаркѣ она играла изумительно. Одинъ восторгъ! Чудно играла! Не изволите ли также знать, гдѣ теперь комикъ Чадинъ, Павелъ Семенычъ? Въ Расплюевѣ былъ неподражаемъ, лучше Садовскаго, клянусь вамъ, многоуважаемая. Гдѣ онъ теперь?

Аркадина. Вы все спрашиваете про какихъ-то допотопныхъ. Откуда я знаю! (*садится*).

Шамраевъ (*вздыхаетъ*). Пашка Чадинъ! Такихъ ужъ нѣтъ теперь. Пала сцена, Ирина Николаевна! Прежде были могучіе дубы, а теперь мы видимъ одни только пни.

Дорнъ. Блестящихъ дарованій теперь мало, это правда, но средній актеръ сталъ гораздо выше.

Шамраевъ. Не могу съ вами согласиться. Впрочемъ, это дѣло вкуса. De gustibus aut bene, aut nihil.

(*Треплевъ выходитъ изъ-за эстрады*).

Аркадина (*сыну*). Мой милый сынъ, когда же начало?

Треплевъ. Черезъ минуту. Прошу терпѣнія.

Аркадина (*читаетъ изъ Гамлета*). «Мой сынъ! Ты очи обратилъ мнѣ внутрь души, и я увидѣла ее въ такихъ кровавыхъ, въ такихъ смертельныхъ язвахъ—нѣтъ спасенья!»

Треплевъ (*изъ Гамлета*). «И для чего жъ ты поддалась пороку, любви искала въ безднѣ преступленья?»

(*За эстрадой играютъ въ рожокъ*).

Треплевъ. Господа, начало! Прошу вниманія! *(пауза)*. Я начинаю *(стучитъ палочкой и говоритъ громко)*. О вы, почтенныя, старыя тѣни, которыя носитесь въ ночную пору надъ этимъ озеромъ, усыпите насъ и пусть намъ приснится то, что будетъ черезъ двѣсти тысячъ лѣтъ!

Соринъ. Черезъ двѣсти тысячъ лѣтъ ничего не будетъ.

Треплевъ. Такъ вотъ пусть изобразятъ намъ это ничего.

Аркадина. Пусть. Мы спимъ.

*(Поднимается занавѣсъ; открывается видъ на озеро; луна надъ горизонтомъ, отраженіе ея въ воду; на большомъ камнѣ сидитъ Нина Зарьчяная, вся въ бѣломъ).*

Нина. Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливыя рыбы, обитавшія въ водѣ, морскія звѣзды и тѣ, которыхъ нельзя было видѣть глазомъ,—словомъ, всѣ жизни, всѣ жизни, всѣ жизни, свершивъ печальный кругъ, угасли... Уже тысячи вѣковъ, какъ земля не носитъ на себѣ ни одного живого существа, и эта бѣдная луна напрасно зажигаетъ свой фонарь. На лугу уже не просыпаются съ крикомъ журавли и майскихъ жуковъ не бываетъ слышно въ липовыхъ рощахъ. Холодно, холодно, холодно. Пусто, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно. *(Пауза)*. Тѣла живыхъ существъ исчезли въ прахъ и вѣчная матерія обратила ихъ въ камни, въ воду, въ облака, а души ихъ всѣхъ слились въ одну. Общая мировая душа—это я... я... Во мнѣ душа и Александра Великаго, и Цезаря, и Шекспира, и Наполеона, и послѣдней пивки. Во мнѣ сознанія людей слились съ инстинктами животныхъ, и я помню все, все, все, и каждую жизнь въ себѣ самой я переживаю вновь *(показываются болотныя огни)*.

Аркадина *(тихо)*. Это что-то декадентское.

Треплевъ *(умоляюще и съ упрекомъ)*. Мама!

Нина. Я одинока. Разъ въ сто лѣтъ я открываю уста, чтобы говорить, и мой голосъ звучитъ въ этой пустотѣ

уныло, и никто не слышит... И вы, блѣдные огни, не слышите меня... Подъ утро васъ рождаетъ гнилое болото, и вы блуждаете до зари, но безъ мысли, безъ воли, безъ трепетанія жизни. Боясь, чтобы въ васъ не возникла жизнь, отецъ вѣчной матеріи, дьяволъ, каждое мгновеніе въ васъ, какъ въ камняхъ и въ водѣ, производитъ обмѣнъ атомовъ, и вы мѣняетесь непрерывно. Во вселенной остается постояннымъ и неизмѣннымъ одинъ лишь духъ (*пауза*). Какъ плѣвникъ, брошенный въ пустой глубокой колодець, я не знаю, гдѣ я и что меня ждетъ. Отъ меня не скрыто лишь, что въ упорной, жестокой борьбѣ съ дьяволомъ, началомъ матеріальныхъ силъ, мнѣ суждено побѣдить, и послѣ того матерія и духъ сольются въ гармоніи прекрасной и наступитъ царство міровой воли. Но это будетъ лишь, когда мало-по-малу, черезъ длинный, длинный рядъ тысячелѣтій, и луна, и свѣтлый Сиріусъ, и земля обратятся въ пыль... А до тѣхъ поръ ужасъ, ужасъ... (*пауза; на фонѣ озера показываются дѣвять красныхъ точки*). Вотъ приближается мой могучій противникъ, дьяволъ. Я вижу его страшные, багровые глаза...

Ариадина. Сѣрой пахнетъ. Это такъ нужно?

Треплевъ. Да.

Ариадина (*смѣется*). Да, это эффектъ.

Треплевъ. Мама!

Нина. Онъ скучаетъ безъ человѣка...

Полина Андреевна (*Дорну*). Вы сняли шляпу. Надѣньте, а то простудитесь.

Ариадина. Это докторъ снялъ шляпу передъ дьяволомъ, отцомъ вѣчной матеріи.

Треплевъ (*встѣливъ, громко*). Пьеса кончена! Довольно! Занавѣсъ!

Ариадина. Что же ты сердисься?

Треплевъ. Довольно! Занавѣсъ! Подавай занавѣсъ! (*топнувъ ногой*). Занавѣсъ! (*занавѣсъ опускается*). Виновать!

Я выпустилъ изъ вида, что писать пьесы и играть на сценѣ могутъ только немногіе избранные. Я нарушилъ мою пополю! Мнѣ... я... *(хочетъ еще что-то сказать, но машетъ рукой и уходитъ влѣво)*.

Аркадина. Что съ нимъ?

Соринъ. Ирина, нельзя такъ, матушка, обращаться съ молодымъ самолюбіемъ.

Аркадина. Что же я ему сказала?

Соринъ. Ты его обидѣла.

Аркадина. Онъ самъ предупреждалъ, что это шутка, и я относилась къ его пьесѣ, какъ къ шуткѣ.

Соринъ. Все-таки...

Аркадина. Теперь оказывается, что онъ написалъ великое произведеніе! Скажите, пожалуйста! Стало-быть, устроилъ онъ этотъ спектакль и надушилъ сѣрой — не для шутки, а для демонстраціи... Ему хотѣлось поучить насъ, какъ надо писать и что нужно играть. Наконецъ, это становится скучно. Эти постоянныя вылазки противъ меня и шпильки, воля ваша, надоѣдаютъ хоть кому! Капризный, самолюбивый мальчишъ.

Соринъ. Онъ хотѣлъ доставить тебѣ удовольствіе.

Аркадина. Да? Однакоже вотъ онъ не выбралъ какой-нибудь обыкновенной пьесы, а заставилъ насъ прослушать этотъ декадентскій бредъ. Ради шутки я готова слушать и бредъ, но вѣдь тутъ претензіи на новыя формы, на новую эру въ искусствѣ. А, по-моему, никакихъ тутъ новыхъ формъ нѣтъ, а просто дурной характеръ.

Тригоринъ. Каждый пишетъ такъ, какъ хочетъ и какъ можетъ.

Аркадина. Пусть онъ пишетъ, какъ хочетъ и какъ можетъ, только пусть оставитъ меня въ покоѣ.

Дорнъ. Юпитеръ, ты сердисься...

Аркадина. Я не Юпитеръ, а женщина *(закуриваетъ)*. Я не сержусь, мнѣ только досадно, что молодой человекъ такъ скучно проводить время. Я не хотѣла его обидѣть.



Медвѣденко. Никто не имѣеть основанія отдѣлять духъ отъ матеріи, такъ какъ, быть-можетъ, самый духъ есть совокупность матеріальныхъ атомовъ (*живо, Тригорину*). А вотъ, знаете ли, описать бы въ пьесѣ и потомъ сыграть на сценѣ, какъ живетъ нашъ братъ—учитель. Трудно, трудно живется!

Аркадина. Это справедливо, но не будемъ говорить ни о пьесахъ, ни объ атомахъ. Вечеръ такой славный! Слышите, господа, поютъ? (*прислушивается*). Какъ хорошо!

Полина Андреевна. Это на томъ берегу. (*Пауза*).

Аркадина (*Тригорину*). Сядьте возлѣ меня. Лѣтъ 10—15 назадъ, здѣсь, на озерѣ, музыка и пѣніе слышались непрерывно почти каждую ночь. Тутъ на берегу шесть помѣщичьихъ усадебъ. Помню, смѣхъ, шумъ, стрѣльба, и все романы, романы... Жеппе premier'омъ и кумиромъ всѣхъ этихъ шести усадебъ былъ тогда вотъ, рекомендую (*киваетъ на Дорна*), докторъ Евгенийъ Сергѣичъ. И теперь онъ очарователенъ, но тогда былъ неотразимъ. Однако меня начинаетъ мучить совѣсть. За что я обидѣла моего бѣднаго мальчика? Я не покойна (*громко*). Костя! Сынь! Костя!

Маша. Я пойду поищу его.

Аркадина. Пожалуйста, милая.

Маша (*идетъ влево*). Ау! Константинъ Гавриловичъ!.. Ау! (*уходитъ*).

Нина (*выходя изъ-за эстрады*). Очевидно, продолженія не будетъ, мнѣ можно выйти. Здравствуйте! (*цѣлуется съ Аркадиной и Полиной Андреевной*).

Соринъ. Bravo! bravo!

Аркадина. Bravo! bravo! Мы любовались. Съ такою наружностью, съ такимъ чуднымъ голосомъ нельзя, грѣшно сидѣть въ деревнѣ. У васъ долженъ быть талантъ. Слышите? Вы обязаны поступить на сцену!

Нина. О, это моя мечта! (*вздыхнувъ*). Но она никогда не осуществится.

Аркадина. Кто знает? Вотъ позвольте вамъ представить: Тригоринъ, Борисъ Алексѣевичъ.

Нина. Ахъ, я такъ рада... (*сконфузившись*). Я всегда васъ читаю...

Аркадина (*усаживая ее возль*). Не конфузьтесь, милая. Онъ знаменитость, но у него простая душа. Видите, онъ самъ сконфузился.

Дорнъ. Полагаю, теперь можно поднять занавѣсъ, а то жутко.

Шамраевъ (*громко*). Яковъ, подними-ка, братецъ, занавѣсъ! (*занавѣсъ поднимается*).

Нина (*Тригорину*). Не правда ли, странная пьеса?

Тригоринъ. Я ничего не понялъ. Впрочемъ, смотрѣлъ я съ удовольствіемъ. Вы такъ искренно играли. И декорация была прекрасная (*пауза*). Должно быть, въ этомъ озерѣ много рыбы.

Нина. Да.

Тригоринъ. Я люблю удить рыбу. Для меня нѣтъ больше наслажденія, какъ сидѣть подь вечеръ на берегу и смотрѣть на поплавокъ.

Нина. Но, я думаю, кто испыталъ наслажденіе творчества, для того уже всѣ другія наслажденія не существуютъ.

Аркадина (*смѣясь*). Не говорите такъ. Когда ему говорятъ хорошія слова, то онъ проваливается.

Шамраевъ. Помню, въ Москвѣ въ оперномъ театрѣ однажды знаменитый Сильва взялъ нижнее до. А въ это время, какъ нарочно, сидѣлъ на галереѣ басъ изъ нашихъ синодальныхъ пѣвчихъ, и вдругъ, можете себѣ представить наше крайнее изумленіе, мы слышимъ съ галереи: «Браво, Сильва!» цѣлою октавой ниже... Вотъ этакъ (*низкимъ баскомъ*). Браво, Сильва... Театръ такъ и замеръ (*пауза*).

Дорнъ. Тихій ангелъ пролетѣлъ.

Нина. А мнѣ пора. Прощайте.

Аркадина. Куда? Куда такъ рано? Мы васъ не пустимъ.

Нина. Меня ждетъ папа.

Аркадина. Какой онъ, право... (*цѣлуются*). Ну, что дѣлать. Жаль, жаль васъ отпускать.

Нина. Если бы вы знали, какъ мнѣ тяжело уѣзжать!

Аркадина. Васъ бы проводилъ кто-нибудь, моя крошка.

Нина (*испуганно*). О, нѣтъ, нѣтъ!

Соринъ (*ей, умоляюще*). Оставайтесь!

Нина. Не могу, Петръ Николаевичъ.

Соринъ. Оставайтесь на одинъ часъ и все. Ну, что, право...

Нина (*подумавъ, сквозь слезы*). Нельзя! (*пожимаетъ руку и быстро уходитъ*).

Аркадина. Несчастная дѣвушка въ сущности. Говорятъ, ся покойная мать завѣщала мужу все свое громадное состояніе, все до копейки, и теперь эта дѣвочка осталась ни съ чѣмъ, такъ какъ отецъ ея уже завѣщаль все своей второй женѣ. Это возмутительно.

Дорнъ. Да, ея папенька порядочная-таки скотина, надо отдать ему полную справедливость.

Соринъ (*потирая озябшія руки*). Пойдемте-ка, господа, и мы, а то становится сыро. У меня ноги болятъ.

Аркадина. Онъ у тебя, какъ деревянный, едва ходить. Ну, пойдемъ, старикъ злосчастный (*беретъ его подъ руку*).

Шамраевъ (*подавая руку женѣ*). Мадамъ?

Соринъ. Я слышу опять воетъ собака (*Шамраеву*). Будьте добры, Илья Аванасьевичъ, прикажите отвязать ее.

Шамраевъ. Нельзя, Петръ Николаевичъ, боюсь, какъ бы воры въ амбаръ не забрались. Тамъ у меня просо (*идущему рядомъ Медвѣденку*). Да, на цѣлую октаву ниже: «Браво, Сильва!» А вѣдь не пѣвецъ, простой синодальный пѣвчій.

Медвѣденко. А сколько жалованья получаетъ синодальный пѣвчій? (*всѣ уходятъ, кромѣ Дорна*).

Дорнъ (*одинъ*). Не знаю. быть-можетъ, я ничего не по-

нимаю или сошелъ съ ума, но пьеса мнѣ понравилась. Въ ней что-то есть. Когда эта дѣвочка говорила объ одиночествѣ и потомъ, когда показались красные глаза дьявола, у меня от волненія дрожали руки. Свѣжо, наивно... Вотъ, кажется, онъ идетъ. Мнѣ хочется наговорить ему побольше пріятнаго.

Треплевъ (*входитъ*). Уже нѣтъ никого.

Дорнъ. Я здѣсь.

Треплевъ. Меня по всему парку ищетъ Машенька. Несносное созданіе.

Дорнъ. Константинъ Гавриловичъ, мнѣ ваша пьеса чрезвычайно понравилась. Странная она какаѣ-то, и конца я не слышала, и все-таки впечатлѣніе сильное. Вы талантливый человѣкъ, вамъ надо продолжать.

(*Треплевъ крѣпко жметъ ему руку и обнимаетъ порывисто*).

Дорнъ. Фуй, какой нервный. Слезы на глазахъ... Я что хочу сказать? Вы взяли сюжетъ изъ области отвлеченныхъ идей. Такъ и слѣдовало, потому что художественное произведеніе непременно должно выражать какую-нибудь большую мысль. Только то прекрасно, что серьезно. Какъ вы блѣдны!

Треплевъ. Такъ вы говорите—продолжать?

Дорнъ. Да... Но изображайте только важное и вѣчное. Вы знаете, я прожилъ свою жизнь разнообразно и со вкусомъ, я доволенъ, но если бы мнѣ пришлось испытать подъемъ духа, какой бываетъ у художниковъ во время творчества, то, мнѣ кажется, я презиралъ бы свою матеріальную оболочку и все, что этой оболочкѣ свойственно, и уносился бы отъ земли подальше въ высоту.

Треплевъ. Виновать, гдѣ Зарѣчная?

Дорнъ. И вотъ еще что. Въ произведеніи должна быть ясная, опредѣленная мысль. Вы должны знать, для чего пишете, иначе, если пойдете по этой живописной дорогѣ

безъ определенной цѣли, то вы заблудитесь и вашъ талантъ погубить васъ.

Треплевъ (*нетерпѣливо*). Гдѣ Зарѣчная?

Дорнъ. Она уѣхала домой.

Треплевъ (*въ отчаяніи*). Что же мнѣ дѣлать? Я хочу, ее видѣть... Мнѣ необходимо ее видѣть... Я поѣду...

(*Маша входитъ*).

Дорнъ (*Треплеву*). Успокойтесь, мой другъ.

Треплевъ. Но все-таки я поѣду. Я долженъ поѣхать.

Маша. Идите, Константинъ Гавриловичъ, въ домъ. Васъ ждетъ ваша мама. Она непокойна.

Треплевъ. Скажите ей, что я уѣхалъ. И прошу васъ всѣхъ, оставьте меня въ покоѣ! Оставьте! Не ходите за мной!

Дорнъ. Но, но, но, милый... нельзя такъ... Не хорошо.

Треплевъ (*сквозь слезы*). Прощайте, докторъ. Благодарю... (*уходитъ*).

Дорнъ (*вздохнувъ*). Молодость, молодость!

Маша. Когда нечего больше сказать, то говорятъ: молодость, молодость... (*жуетъ табакъ*).

Дорнъ (*беретъ у нея табакерку и швыряетъ въ кусты*). Это гадко! (*пауза*). Въ домѣ, кажется, играютъ. Надо идти.

Маша. Погодите.

Дорнъ. Что?

Маша. Я еще разъ хочу вамъ сказать. Мнѣ хочется поговорить... (*волнуясь*). Я не люблю своего отца... но къ вамъ лежитъ мое сердце. Почему-то я всею душой чувствую, что вы мнѣ близки... Помогите же мнѣ. Помогите, а то я сдѣлаю глупость, я насмѣюсь надъ своею жизнью, испорчу ее... Не могу дольше...

Дорнъ. Что? Въ чемъ помочь?

Маша. Я страдаю. Никто, никто не знаетъ моихъ страданій! (*кладетъ ему голову на грудь; тихо*). Я люблю Константина.

Дорнъ. Какъ всё нервы! Какъ всё нервы! И сколько любви... О, колдовское озеро! (*нѣжно*). Но что же я могу сдѣлать, дитя мое? Что? Что?

*Занавѣсъ.*

## ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

Площадка для крокета. Въ глубинѣ направо домъ съ большою террасой, налѣво видно озеро, въ которомъ, отражаясь, сверкаетъ солнце. Цвѣтники. Полдень. Жарко. Съ боку площадки, въ тѣни старой липы, сидятъ на скамьѣ Аркадина, Дорнъ и Маша. У Дорна на колѣняхъ раскрытая книга.

Аркадина (*Машѣ*). Вотъ встанемте (*обѣ встаютъ*). Станемъ рядомъ. Вамъ двадцать два года, а мнѣ почти вдвое. Евгений Сергѣичъ, кто изъ насъ моложавѣе?

Дорнъ. Вы, конечно.

Аркадина. Вотъ-съ... А почему? Потому что я работаю, я чувствую, я постоянно въ суетѣ, а вы сидите все на одномъ мѣстѣ, не живете... И у меня правило: не заглядывать въ будущее. Я никогда не думаю ни о старости, ни о смерти. Чему быть, того не миновать.

Маша. А у меня такое чувство, какъ будто я родилась уже давно-давно; жизнь свою я тащу вълокомъ, какъ безконечный шлейфъ... И часто не бываетъ никакой охоты жить (*садится*). Конечно, это все пустяки. Надо встряхнуться, сбросить съ себя все это.

Дорнъ (*напѣваетъ тихо*). «Разскажите вы ей, цвѣты моп»...

Аркадина. Затѣмъ, я корректна, какъ англичанинъ. Я, милая, держу себя въ струнѣ, какъ говорится, и всегда одѣта и причесана *comme il faut*. Чтобы я позволила себѣ выйти изъ дому, хотя бы вотъ въ садъ, въ блузѣ или не-

причесанной? Никогда. Оттого я и сохранилась, что никогда не была фефёлой, не распускала себя, как нёкторыя... (*подбоченясь, прохаживается по площадкѣ*). Вотъ вамъ, — какъ цыпочка. Хоть пятнадцатилѣтнюю дѣвочку играть.

Дорнъ. Ну-съ, тѣмъ не менѣе все-таки я продолжаю (*беретъ книгу*). Мы остановились на лабазникѣ и крысахъ...

Аркадина. И крысахъ. Читайте (*садится*). Впрочемъ, дайте мнѣ, я буду читать. Моя очередь (*беретъ книгу и ищетъ въ ней глазами*). И крысахъ... Вотъ оно... (*читаетъ*). «И, разумѣется, для свѣтскихъ людей баловать романистовъ и привлекать ихъ къ себѣ такъ же опасно, какъ лабазнику воспитывать крысъ въ своихъ амбарахъ. А между тѣмъ ихъ любятъ. И такъ, когда женщина избрала писателя, котораго она желаетъ заполонить, она осаждаётъ его посредствомъ комплиментовъ, любезностей и угождений»... Ну, это у французовъ, можетъ-быть, но у насъ ничего подобнаго, никакихъ программъ. У насъ женщина обыкновенно, прежде чѣмъ заполонить писателя, сама уже влюблена по уши, сдѣлайте милость. Недалеко ходить, взять хоть меня и Тригорина...

(*Идетъ Соринъ, опираясь на трость, и рядомъ съ нимъ Нина; Медвѣденко катитъ за ними пустое кресло*).

Соринъ (*тономъ, какимъ ласкаютъ дѣтей*). Да? У насъ радость? Мы сегодня веселы, въ концѣ концовъ? (*сестръ*). У насъ радость! Отецъ и мачеха уѣхали въ Тверь, и мы теперь свободны на цѣлыхъ три дня.

Нина (*садится рядомъ съ Аркадиной и обнимаетъ ее*). Я счастлива! Я теперь принадлежу вамъ.

Соринъ (*садится въ свое кресло*). Она сегодня красивенькая.

Аркадина. Нарядная, интересная... За это вы умница (*цѣлуетъ Нину*). Но не нужно очень хвалить, а то слазимъ. Гдѣ Борпсъ Алексѣвичъ?

Нина. Онъ въ купальнѣ рыбу удить.

Аркадина. Какъ ему не надобсть! (*хочетъ продолжать читать*).

Нина. Это вы что?

Аркадина. Мопассанъ «На водѣ», милочка (*читаетъ нѣсколько строкъ про себя*). Ну, дальше неинтересно и невѣрно (*закрываетъ книгу*). Непокойна у меня душа. Скажите, что съ моимъ сыномъ? Отчего онъ такъ скученъ и оовъ? Онъ цѣлые дни проводитъ на озерѣ, и я его почти лѣтъ не вижу.

Аша. У него не хорошо на душѣ (*Нинѣ, робко*). Прошу ась, прочтите изъ его пьесы!

Нина (*пожавъ плечами*). Вы хотите? Это такъ неинтересно!

Аша (*сдерживая восторгъ*). Когда онъ самъ читаетъ что-нибудь, то глаза у него горять и лицо становится блѣднымъ. У него прекрасный, печальный голосъ; а манеры, какъ у поэта.

(*Слышно, какъ хрипитъ Соринъ*).

Дорнъ. Спокойной ночи!

Аркадина. Петруша!

Соринъ. А?

Аркадина. Ты спишь?

Соринъ. Нисколько.

(*Пауза*).

Аркадина. Ты не лѣчишься, а это не хорошо, братъ.

Соринъ. Я радъ бы лѣчиться, да вотъ докторъ не хочетъ.

Дорнъ. Лѣчиться въ шестьдесятъ лѣтъ!

Соринъ. И въ шестьдесятъ лѣтъ жить хочется.

Дорнъ (*досадливо*). Э! Ну, принимайте валеріановыя капли.

Аркадина. Мнѣ кажется, ему хорошо бы поѣхать куда-нибудь на воды.



Дорнъ. Что жъ? Можно поѣхать. Можно и не поѣхать.

Ариади́на. Вотъ и пойми.

Дорнъ. И понимать нечего. Все ясно.

(Пауза).

Медвѣденко. Петру Николаевичу слѣдовало бы бросить курить.

Соринъ. Пустяки.

Дорнъ. Нѣтъ, не пустяки. Вино и табакъ обезличиваютъ. Послѣ сигары или рюмки водки, вы уже не Петръ Николаевичъ, а Петръ Николаевичъ плюсъ еще кто-то; у васъ расплывается ваше я, и вы уже относитесь къ самому себѣ, какъ къ третьему лицу—онъ.

Соринъ (слѣтается). Вамъ хорошо разсуждать. Вы пожили на своемъ вѣку, а я? Я прослужилъ по судебному вѣдомству 28 лѣтъ, но еще не жилъ, ничего не испыталъ, въ концѣ-концовъ. и, понятная вещь, жить мнѣ очень хочется. Вы сыты, и равнодушны, и потому имѣете наклонность къ философіи, я же хочу жить и потому пью за обѣдомъ хересъ и курю сигары и все. Вотъ и все.

Дорнъ. Надо относиться къ жизни серьезно, а лѣчиться въ шестьдесятъ лѣтъ, жалѣть, что въ молодости мало наслаждался, это, извините, легкомысліе.

Маша (встаетъ). Завтракать пора, должно быть. (Идетъ лѣнивою, вялою походкой). Ногу отсидѣла... (уходитъ).

Дорнъ. Пойдетъ и передъ завтракомъ двѣ рюмочки пропустить.

Соринъ. Личнаго счастья нѣтъ у бѣдняжки.

Дорнъ. Пустое, ваше превосходительство.

Соринъ. Вы разсуждаете, какъ сытый человѣкъ.

Ариади́на. Ахъ, что можетъ быть скучнѣе этой вотъ милой деревенской скуки! Жарко, тихо, никто ничего не дѣлаетъ, всѣ философствуютъ... Хорошо съ вами, друзья, пріятно васъ слушать, но... сидѣть у себя въ номерѣ и учить роль—куда лучше!

Нина (*восторженно*). Хорошо! Я понимаю васъ.

Соринъ. Конечно, въ городѣ лучше. Сидишь въ своемъ кабинетѣ, лакей никого не впускаетъ безъ доклада, телефонъ... на улицѣ извозчики и все...

Дорнъ (*напѣваетъ*). «Расскажите вы ей, цвѣты мои»...  
(*Входитъ Шамраевъ, за нимъ Полина Андреевна*).

Шамраевъ. Вотъ и наши. Добрый день! (*цѣлуетъ руку у Аркадиной, потомъ у Нины*). Весьма радъ видѣть васъ въ добромъ здоровьѣ (*Аркадиной*). Жена говоритъ, что вы собираетесь сегодня ѣхать съ нею вмѣстѣ въ городъ. Это правда?

Аркадина. Да, мы собираемся.

Шамраевъ. Гм... Это великолѣпно, но на чемъ же вы поѣдете, многоуважаемая? Сегодня у насъ возятъ рожь, всѣ работники заняты. А на какихъ лошадяхъ, позвольте васъ спросить?

Аркадина. На какихъ? Почему я знаю—на какихъ!

Соринъ. У насъ же выѣздныя есть.

Шамраевъ (*волнуясь*). Выѣздныя? А гдѣ я возьму хомуты? Гдѣ я возьму хомуты? Это удивительно! Это непостижимо! Высокоуважаемая! Извините, я благоговѣю передъ вашимъ талантомъ, готовъ отдать за васъ десять лѣтъ жизни, но лошадей я вамъ не могу дать!

Аркадина. Но если я должна ѣхать? Странное дѣло!

Шамраевъ. Многоуважаемая! Вы не знаете, что значить хозяйство!

Аркадина (*вспыливъ*). Это старая исторія! Въ такомъ случаѣ я сегодня же уѣзжаю въ Москву. Прикажете нанять для меня лошадей въ деревнѣ, а то я уйду на станцію пѣшкомъ!

Шамраевъ (*вспыливъ*). Въ такомъ случаѣ я отказываюсь отъ мѣста! Ищите себѣ другого управляющаго! (*уходитъ*).

Аркадина. Каждое лѣто такъ, каждое лѣто меня здѣсь оскорбляютъ! Нога моя здѣсь больше не будетъ! (*уходитъ*)

*алъво, гдѣ предполагается купальня; черезъ минуту видно, какъ она проходитъ въ домъ; за нею идетъ Тригоринъ съ удочками и съ ведромъ).*

**Соринъ** (*всплилъ*). Это нахальство! Это чортъ знаетъ что такое! Мнѣ это надоѣло, въ концѣ-концовъ. Сейчасъ же подать сюда всѣхъ лошадей!

**Нина** (*Полина Андреевна*). Отказать Иринѣ Николаевнѣ, знаменитой артисткѣ! Развѣ всякое желаніе ея, даже капризъ, не важнѣе вашего хозяйства? Просто невѣроятно!

**Полина Андреевна** (*въ отчаяніи*). Что я могу? Войдите въ мое положеніе: что я могу?

**Соринъ** (*Нинѣ*). Пойдемте къ сестрѣ... Мы всѣ будемъ умолять ее, чтобы она не уѣзжала. Не правда ли? (*глядя по направленію, куда ушелъ Шамраевъ*). Невыносимый человѣкъ! Деспотъ!

**Нина** (*жышая ему встать*). Сидите, сидите... Мы васъ доведемъ... (*Она и Медвѣденко катятъ кресло*). О, какъ это ужасно!..

**Соринъ**. Да, да, это ужасно... Но онъ не уйдетъ, я сейчасъ поговорю съ нимъ (*уходятъ; остаются только Дорнъ и Полина Андреевна*).

**Дорнъ**. Люди скучны. Въ сущности слѣдовало бы вашего мужа отсюда просто въ шею, а вѣдь все кончится тѣмъ, что эта старая баба Петръ Николаевичъ и его сестра попросятъ у него извиненія. Вотъ увидите!

**Полина Андреевна**. Онъ и выѣздныхъ лошадей послалъ въ поле. И каждый день такія недоразумѣнія. Если бы вы знали, какъ это волнуетъ меня! Я заболѣваю; видите, я дрожу... Я не выношу его грубости (*умоляюще*). Евгеній, дорогой, ненаглядный, возьмите меня къ себѣ... Время наше уходитъ, мы уже не молоды, и хоть бы въ концѣ жизни намъ не прятаться, не лгать... (*пауза*).

**Дорнъ**. Мнѣ 55 лѣтъ, уже поздно мѣнять свою жизнь.

**Полина Андреевна**. Я знаю, вы отказываете мнѣ, потому

что, кромѣ меня, есть женщины, которыя вамъ близки. Взять всѣхъ къ себѣ невозможно. Я понимаю. Простите, я надоѣла вамъ.

*(Нина показывается около дома; она рветъ цветы).*

Дорнъ. Нѣтъ, ничего.

Полина Андреевна. Я страдаю отъ ревности. Конечно, вы докторъ, вамъ нельзя избѣгать женщинъ. Я понимаю...

Дорнъ *(Нина, которая подходитъ)*. Какъ тамъ?

Нина. Ирина Николаевна плачетъ, а у Петра Николаевича астма.

Дорнъ *(встаетъ)*. Пойти дать обоимъ валеріановыхъ капель...

Нина *(подаетъ ему цветы)*. Извольте!

Дорнъ. Merci bien *(идетъ къ дому)*.

Полина Андреевна *(идя съ нимъ)*. Какіе миленькіе цвѣты! *(около дома, глухимъ голосомъ)*. Дайте мнѣ эти цвѣты! Дайте мнѣ эти цвѣты! *(получивъ цветы, рветъ ихъ и бросаетъ въ сторону; оба идутъ въ домъ)*.

Нина *(одна)*. Какъ странно видѣть, что извѣстная артистка плачетъ; да еще по такому пустому поводу! И не странно ли, знаменитый писатель, любимецъ публики, о немъ пишутъ во всѣхъ газетахъ, портреты его продаются, его переводятъ на иностранныя языки, а онъ цѣлый день ловить рыбу и радуется, что поймалъ двухъ головлей. Я думала, что извѣстные люди горды, неприступны, что они презираютъ толпу, и своею славой, блескомъ своего имени какъ бы мстятъ ей за то, что она выше всего ставитъ знатность происхожденія и богатство. Но они вотъ плачутъ, удятъ рыбу, играютъ въ карты, смѣются и сердятся, какъ всѣ...

Треплевъ *(входитъ безъ шляпы, съ ружьемъ и съ убитою чайкой)*. Вы однѣ здѣсь?

Нина. Одна.

*(Треплевъ кладетъ у ея ногъ чайку).*

Нина. Что это значитъ?

Треплевъ. Я имѣлъ подлость. убить сегодня эту чайку. Кладу у вашихъ ногъ.

Нина. Что съ вами? *(поднимаетъ чайку и глядитъ на нее)*.

Треплевъ *(послѣ паузы)*. Скоро такимъ же образомъ я убью самого себя.

Нина. Я васъ не узнаю.

Треплевъ. Да, послѣ того, какъ я пересталъ узнавать васъ. Вы измѣнились ко мнѣ, вашъ взглядъ холоденъ, мое присутствіе стѣсняетъ васъ.

Нина. Въ послѣднее время вы стали раздражительны, выражаетесь все непонятно, какими-то символами. И вотъ эта чайка тоже, повидимому, символъ, но, простите, я не понимаю... *(кладетъ чайку на скамью)*. Я слишкомъ проста, чтобы понимать васъ.

Треплевъ. Это началось съ того вечера, когда такъ глупо провалилась моя пьеса. Женщины не прощаютъ неуспѣха. Я все сжегъ, все до послѣдняго клочка. Если бы вы знали, какъ я несчастливъ! Ваше охлажденіе страшно, невѣроятно, точно я проснулся и вижу вотъ, будто это озеро вдругъ высохло, или утекло въ землю. Вы только-что сказали, что вы слишкомъ просты, чтобы понимать меня. О, что тутъ понимать?! Пьеса не понравилась, вы презираете мое вдохновеніе, уже считаете меня зауряднымъ, ничтожнымъ, какихъ много... *(топнувъ ногой)*. Какъ это я хорошо понимаю, какъ понимаю! У меня въ мозгу точно гвоздь, будь онъ проклятъ вмѣстѣ съ моимъ самолюбіемъ, которое сосетъ мою кровь, сосетъ, какъ змѣя... *(увидѣвъ Тригорина, который идетъ, читая книжку)*. Вотъ идетъ истинный талантъ; ступаетъ, какъ Гамлетъ, и тоже съ книжкой *(дразнитъ)*. «Слова, слова, слова»... Это солнце еще не подошло къ вамъ, а вы уже улыбаетесь, взглядъ вашъ растаялъ въ его лучахъ. Не стану мѣшать вамъ *(уходитъ быстро)*.

Тригоринъ (*записывая въ книжку*). Нюхаетъ табакъ п пьеть водку... Всегда въ черномъ. Ее любить учитель...

Нина. Здравствуйте, Борисъ Алексѣвичъ!

Тригоринъ. Здравствуйте. Обстоятельства неожиданно сложились такъ, что, кажется, мы сегодня увѣщаемъ. Мы съ вами едва ли еще увидимся когда-нибудь. А жаль. Мнѣ приходится не часто встрѣчать молодыхъ дѣвушекъ, молодыхъ и интересныхъ, я уже забылъ и не могу себя ясно представить, какъ чувствуютъ себя въ 18—19 лѣтъ, и поэтому у меня въ повѣстяхъ и разказахъ молодая дѣвушка обыкновенно фальшивы. Я бы вотъ хотѣлъ хоть одинъ часъ побыть на вашемъ мѣстѣ, чтобы узнать, какъ вы думаете, и вообще что вы за штука.

Нина. А я хотѣла бы побывать на вашемъ мѣстѣ.

Тригоринъ. Зачѣмъ?

Нина. Чтобы узнать, какъ чувствуетъ себя извѣстный талантливый писатель. Какъ чувствуется извѣстность? Какъ вы ощущаете то, что вы извѣстны?

Тригоринъ. Какъ? Должно быть, никакъ. Объ этомъ я никогда не думалъ (*подумавъ*). Что-нибудь изъ двухъ: или вы преувеличиваете мою извѣстность, или же вообще она никакъ не ощущается.

Нина. А если читаете про себя въ газетахъ?

Тригоринъ. Когда хвалить, приятно, а когда бранять, то потомъ два дня чувствуешь себя не въ духѣ.

Нина. Чудный міръ! Какъ я завидую вамъ, если бы вы знали! Жребій людей различенъ. Одни едва влачатъ свое скучное, незамѣтное существованіе, всѣ похожіе другъ на друга, всѣ несчастные; другимъ же, какъ напримѣръ, вамъ, — вы одинъ изъ милліона, — выпала на долю жизнь интересная, свѣтлая, полная значенія... Вы счастливы...

Тригоринъ. Я? (*пожимая плечами*). Гм... Вы вотъ говорите объ извѣстности, о счастьѣ, о какой-то свѣтлой, интересной жизни, а для меня всѣ эти хорошія слова, про-

стите, все равно, что мармеладъ, котораго я никогда не ѣмъ. Вы очень молоды и очень добры.

Нина. Ваша жизнь прекрасна!

Тригоринъ. Что же въ ней особенно хорошаго? (*смотря на часы*). Я долженъ сейчасъ идти и писать. Извините, мнѣ некогда... (*сметая*). Вы, какъ говорится, наступили на мою самую любимую мозоль, и вотъ я начинаю волноваться и немного сердиться. Впрочемъ, давайте говорить. Будемъ говорить о моей прекрасной, свѣтлой жизни... Ну-съ, съ чего начнемъ? (*подумавъ немного*) Бываютъ насильственные представленія, когда человекъ день и ночь думаетъ, напримѣръ, все о лунѣ, и у меня есть своя такая луна. День и ночь одолеваетъ меня одна неотвязчивая мысль: я долженъ писать, я долженъ писать, я долженъ... Едва кончилъ повѣсть, какъ уже почему-то долженъ писать другую, потомъ третью, послѣ третьей четвертую... Пишу непрерывно, какъ на перекладныхъ, и иначе не могу. Что же тутъ прекраснаго и свѣтлаго, я васъ спрашиваю? О, что за дикая жизнь! Вотъ я съ вами, я волнуюсь, а между тѣмъ каждое мгновеніе помню, что меня ждетъ неоконченная повѣсть. Вижу вотъ облако, похожее на рояль. Думаю: надо будетъ упомянуть гдѣ-нибудь въ рассказѣ, что плыло облако, похожее на рояль. Пахнетъ геліотропомъ. Скорѣ мотаю па-усъ: приторный запахъ, вдовій цвѣтъ, упомянуть при описаніи лѣтняго вечера. Ловлю себя и васъ на каждой фразѣ, на каждомъ словѣ и спѣшу скорѣ запретить всѣ эти фразы и слова въ свою литературную кладовую: авось пригодится! Когда кончаю работу, бѣгу въ театръ или удить рыбу; тутъ бы и отдохнуть, забыться, анъ— цѣтъ, въ головѣ уже ворочается тяжелое чугунное ядро— новый сюжетъ, и уже тянетъ къ столу, и надо спѣшить опять писать и писать. И такъ всегда, всегда, и нѣтъ мнѣ покоя отъ самого себя, и я чувствую, что съѣдаю собственную жизнь, что для меда, который я отдаю кому-то въ

пространство, я обираю пыль съ лучшихъ своихъ цвѣтовъ, рву самыя цвѣты и топчу ихъ корни. Развѣ я не сумасшедшій? Развѣ мои близкіе и знакомые держатъ себя со мною, какъ со здоровымъ? «Что пописываете? Чѣмъ насъ подарите?» Одно и то же, одно и то же, и мнѣ кажется, что это вниманіе знакомыхъ, похвалы, восхищеніе,—все это обманъ, меня обманываютъ, какъ больного, и я иногда боюсь, что, вотъ-вотъ, подкрадутся ко мнѣ сзади, схватятъ и повезутъ, какъ Поприщина, въ сумасшедшій домъ. А въ тѣ годы, въ молодыя, лучшія годы, когда я начиналъ, мое писательство было однимъ сплошнымъ мученіемъ. Маленькій писатель, особенно когда ему не везетъ, кажется себѣ неуклюжимъ, неловкимъ, лишнимъ, нервы у него напряжены, издерганы; не удержишь бродить онъ около людей, причастныхъ къ литературѣ и къ искусству, непризнанный, никѣмъ не замѣчаемый, боясь прямо и смѣло глядѣть въ глаза, точно страстный игрокъ, у котораго нѣтъ денегъ. Я не видѣлъ своего читателя, но почему-то въ моемъ воображеніи онъ представлялся мнѣ недружелюбнымъ, недобрчивымъ. Я боялся публики, она была страшна мнѣ, и когда мнѣ приходилось ставить свою новую пьесу, то мнѣ казалось всякій разъ, что брюнеты враждебно настроены, а блондины холодно равнодушны. О, какъ это ужасно! Какое это было мученіе!

Нина. Позвольте, но развѣ вдохновеніе и самый процессъ творчества не даютъ вамъ высокихъ, счастливыхъ минутъ?

Тригоринъ. Да. Когда пишу, пріятно. И корректуру читать пріятно, но... едва вышло изъ печати, какъ я не выношу, и вижу уже, что оно не то, ошибка, что его не слѣдовало бы писать вовсе, и мнѣ досадно, на душѣ дрявно... (смѣясь). А публика читаетъ: «Да, мило, талантливо... Мило, но далеко до Толстого», или: «Прекрасная вещь, но «Отцы и дѣти» Тургенева лучше». И такъ до гробовой



доски все будетъ только мило и талантливо, мило и талантливо—больше ничего, а какъ умру, знакомые, проходя мимо могилы, будутъ говорить: «Здѣсь лежитъ Тригоринъ. Хорошій былъ писатель, но онъ писалъ хуже Тургенева».

Нина. Простите, я отказываюсь понимать васъ. Вы просто избалованы успѣхомъ.

Тригоринъ. Какимъ успѣхомъ? Я никогда не нравился себѣ. Я не люблю себя, какъ писателя. Хуже всего, что я въ какомъ-то чаду и часто не понимаю, что я пишу... Я люблю вотъ эту воду, деревья, небо, я чувствую природу, она возбуждаетъ во мнѣ страсть, непреодолимое желаніе писать. Но вѣдь я не пейзажию только, я вѣдь еще гражданинъ, я люблю родину, народъ, я чувствую, что если я писатель, то я обязанъ говорить о народѣ, объ его страданіяхъ, объ его будущемъ, говорить о наукѣ, о правахъ человѣка и проч. и проч., и я говорю обо всемъ, тороплюсь, меня со всѣхъ сторонъ подгоняють, сердятся, я мечусь изъ стороны въ сторону, какъ лисица, затравленная псами, вижу, что жизнь и наука все уходятъ впередъ и впередъ, а я все отстаю и отстаю, какъ мужикъ, опоздавшій на поѣздъ, и, въ концѣ-концовъ чувствую, что я умѣю писать только пейзажъ, а во всемъ остальномъ я фальшивъ и фальшивъ до мозга костей.

Нина. Вы заработались и у васъ нѣтъ времени и охоты сознать свое значеніе. Пусть вы недовольны собою, но для другихъ вы велики и прекрасны! Если бы я была такимъ писателемъ, какъ вы, то я отдала бы толпѣ всю свою жизнь, но сознавала бы, что счастье ея только въ томъ, чтобы возвышаться до меня, и она возила бы меня на колесницѣ.

Тригоринъ. Ну, на колесницѣ... Агамемнонъ я, что ли? *(оба улынулись)*.

Нина. За такое счастье, какъ быть писательницей или артисткой, я перенесла бы нелюбовь близкихъ, нужду, раз-

очарованіе, я жила бы подъ крышей и ѣла бы только ржаной хлѣбъ, страдала бы отъ недовольства собою, отъ сознанія своихъ несовершенствъ, но за то бы ужъ я потребовала славы... настоящей, шумной славы... (*закрываетъ лицо руками*). Голова кружится... Уфъ!..

Голось Аркадиной (*изъ дому*). Борисъ Алексѣевичъ!

Тригоринъ. Меня зовутъ... Должно-быть, укладываться. А не хочется уѣзжать (*оглядывается на озеро*). Ишь вѣдь какая благодать!.. Хорошо!

Нина. Видите на томъ берегу домъ и садъ?

Тригоринъ. Да.

Нина. Это усадьба моей покойной матери. Я тамъ родилась. Я всю жизнь провела около этого озера и знаю на немъ каждый островокъ.

Тригоринъ. Хорошо у васъ тутъ! (*увидѣвъ чайку*). А это что?

Нина. Чайка. Константинъ Гаврилычъ убилъ.

Тригоринъ. Красивая птица. Право, не хочется уѣзжать. Вотъ уговорите-ка Ирину Николаевну, чтобы она осталась (*записываетъ въ книжку*).

Нина. Что это вы пишете?

Тригоринъ. Такъ записываю... Сюжетъ мелькнулъ... (*пряча книжку*). Сюжетъ для небольшого разсказа: на берегу озера съ дѣтства живетъ молодая дѣвушка, такая, какъ вы; любить озеро, какъ чайка, и счастлива, и свободна, какъ чайка. Но случайно пришелъ человекъ, увидѣлъ и отъ печего дѣлать погубилъ ее, какъ вотъ эту чайку.

(Пауза).

(*Въ окнѣ показывается Аркадина*).

Аркадина. Борисъ Алексѣевичъ, гдѣ вы?

Тригоринъ. Сейчасъ! (*идетъ и оглядывается на Нину; у окна, Аркадиной*). Что?

Аркадина. Мы остаемся.

(*Тригоринъ уходитъ въ домъ*).

Нина. *(подходитъ къ рамѣ; послѣ нѣкотораго раздумья).*  
Сонъ!

*Занавѣсъ.*

## ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

Столовая въ домѣ Сорина. Направо и налѣво двери. Буфетъ. Шкапъ съ лѣкарствами. Посреди комнаты столъ. Чемоданъ и картонки; замѣтны приготовленія къ отъѣзду. Тригоринъ завтракаетъ, Маша стоитъ у стола.

Маша. Все это я рассказываю вамъ, какъ писателю. Можете воспользоваться. Я вамъ по совѣсти: если бы онъ ранилъ себя серьезно, то я не стала бы жить ни одной минуты. А все же я храбрая. Вотъ взяла и рѣшила: вырву эту любовь изъ своего сердца, съ корнемъ вырву.

Тригоринъ. Какимъ же образомъ?

Маша. Замужъ выхожу. За Медвѣдепка.

Тригоринъ. Это за учителя?

Маша. Да.

Тригоринъ. Не понимаю, какая надобность.

Маша. Любить безнадежно, цѣлые годы все ждать чего-то... А какъ выйду замужъ, будетъ уже не до любви, новыя заботы заглушатъ все старое. И все-таки, знаете ли, пере-мѣна. Не повторить ли намъ?

Тригоринъ. А не много ли будетъ?

Маша. Ну, вотъ! *(наливаетъ по рюмкѣ).* Вы не смотрите на меня такъ. Женщины пьютъ чаще, чѣмъ вы думаете. Меньшинство пьетъ открыто, какъ я, а большинство тайно. Да. И все водку или коньякъ *(чокается).* Желаю вамъ! Вы человекъ простой, жадко съ вами разставаться *(пьютъ).*

Тригоринъ. Мнѣ самому не хочется уѣзжать.

Маша. А вы попросите, чтобы она осталась.

Тригоринъ. Нѣтъ, теперь не останется. Сынъ ведетъ себя крайне безтактно. То стрѣлялся, а теперь, говорятъ, собирается меня на дуэль вызвать. А чего ради? Дуется, фыркаетъ, проповѣдуетъ новыя формы... Но вѣдь всѣмъ хватить мѣста, и новымъ и старымъ,—зачѣмъ толкаться?

Маша. Ну, и ревность. Впрочемъ, это не мое дѣло.

*(Пауза. Яковъ проходитъ слева направо съ чемоданомъ; выходитъ Нина и останавливается у окна).*

Маша. Мой учитель не очень-то уменъ, но добрый человекъ и бѣднякъ, и меня сильно любитъ. Его жалко. И его мать старушку жалко. Ну-съ, позвольте пожелать вамъ всего хорошаго. Не поминайте лихомъ *(крепко пожимаетъ руку)*. Очень вамъ благодарна за ваше доброе расположение. Пришлите же мнѣ валли книжки, непременно съ автографомъ. Только не пишите «многоуважаемой», а просто такъ: «Марья, родства не помнящей, неизвѣстно для чего живущей на этомъ свѣтѣ». Прощайте! *(уходитъ)*.

Нина *(протягивая въ сторону Тригорина руку, сжатую съ кулакъ)*. Чѣтъ или нечѣтъ?

Тригоринъ. Чѣтъ.

Нина *(вздыхнув)*. Нѣтъ. У меня въ рукѣ только одна горошина. Я загадала: идти мнѣ въ актрисы или нѣтъ? Хоть бы посовѣтовалъ кто.

Тригоринъ. Тутъ совѣтовать нельзя *(пауза)*.

Нина. Мы расстаемся и... пожалуй, болѣе уже не увидимся. Я прошу васъ принять отъ меня на память вотъ этотъ маленькій медальонъ. Я приказала вырѣзать ваши инициалы... а съ этой стороны названіе вашей книжки: «Дни и ночи».

Тригоринъ. Какъ граціозно! *(цѣлуетъ медальонъ)*. Преклестный подарок!

Нина. Иногда вспоминайте обо мнѣ.

Тригоринъ. Я буду вспоминать. Я буду вспоминать васъ, какою вы были въ тотъ ясный день — помните? — недѣлю назадъ, когда вы были въ свѣтломъ платьѣ... мы разговаривали... еще тогда на скамьѣ лежала бѣлая чайка.

Нина (*задумчиво*). Да, чайка... (*пауза*). Больше намъ говорить нельзя, сюда идутъ... Передъ отъѣздомъ дайте мнѣ двѣ минуты, умоляю васъ... (*уходитъ влево; одновременно входятъ справа Аркадина, Соринъ во фракъ со звездой, потомъ Яковъ, озабоченный укладкой*).

Аркадина. Оставайся-ка, старикъ, дома. Тебѣ ли съ твоимъ ревматизмомъ развѣзжать по гостямъ? (*Тригорину*). Это кто сейчасъ выпелъ? Нина?

Тригоринъ. Да.

Аркадина. Pardon, мы помѣшали... (*садится*). Кажется, все уложила. Замучилась.

Тригоринъ (*читаетъ на медальонѣ*). «Дни и ночи», страница 121, строки 11 и 12.

Яковъ (*убирая со стола*). Удочки тоже прикажете уложить?

Тригоринъ. Да, онѣ мнѣ еще понадобятся. А книги отдай кому-нибудь.

Яковъ. Слушаю.

Тригоринъ (*про себя*). Страница 121, строки 11 и 12. Что же въ этихъ строкахъ? (*Аркадиной*). Тутъ въ домѣ есть мои книжки?

Аркадина. У брата въ кабинетѣ, въ угловомъ шкапу.

Тригоринъ. Страница 121... (*уходитъ*).

Аркадина. Право, Петруша, остался бы дома...

Соринъ. Вы уѣзжаете, безъ васъ мнѣ будетъ тяжело дома.

Аркадина. А въ городѣ что же?

Соринъ. Особеннаго ничего, но все же (*сметая*). Будетъ закладка земскаго дома и все такое.. Хочется хоть на часъ-другой воспрянуть отъ этой пискариной жизни, а то очень ужъ я залежался, точно старый мундштукъ. Я при-

казаль подавать лошадей къ часу, въ одно время и выѣдемъ.

Ариадина (*посль паузы*). Ну, живи тутъ, не скучай, не простуживайся. Наблюдай за сыномъ. Береги его. Наставляй. (*пауза*). Вотъ уѣду, такъ и не буду знать, отчего стрѣлялся Константинъ. Мнѣ кажется, главной причиной была ревность, и чѣмъ скорѣе я увезу отсюда Тригорина, тѣмъ лучше.

Соринъ. Какъ тебѣ сказать? Были и другія причины. Понятная вещь, человѣкъ молодой, умный, живетъ въ деревнѣ, въ глуши, безъ денегъ, безъ положенія, безъ будущаго. Никакихъ занятій. Стыдится и боится своей праздности. Я его чрезвычайно люблю и онъ ко мнѣ привязанъ, но все же, въ концѣ концовъ, ему кажется, что онъ лишній въ домѣ, что онъ тутъ нахлѣбникъ, приживаль. Понятная вещь, самолюбіе...

Ариадина. Горе мнѣ съ нимъ! (*въ раздумь*). Поступить бы ему на службу, что ли...

Соринъ (*насмѣтывается, потомъ нерешительно*). Мнѣ кажется, было бы самое лучшее, если бы ты... дала ему немного денегъ. Прежде всего ему нужно одѣться по-человѣчески и все. Посмотри, одинъ и тотъ же сюртучишко онъ таскаетъ три года, ходитъ безъ пальто... (*смѣется*). Да и погулять малому не мѣшало бы... Поѣхать за границу, что ли... Это вѣдь не дорого стодить.

Ариадина. Все-таки... Пожалуй, на костюмъ я еще могу, но чтобъ за границу... Нѣтъ, въ настоящее время и на костюмъ не могу (*рѣшительно*). Нѣтъ у меня денегъ!

(*Соринъ смѣется*).

Ариадина. Нѣтъ!

Соринъ (*насмѣтывается*). Такъ-съ. Прости, милая, не сердись. Я тебѣ вѣрю... Ты великодушная, благородная женщина.

Ариадина (*сквозь слезы*). Иѣтъ у меня денегъ!

Соринъ. Будь у меня деньги, понятная вещь, я бы самъ далъ ему, но у меня ничего нѣтъ, ни пяточка *(смѣется)*. Всю мою пенсію у меня забираетъ управляющій и тратитъ на земледѣліе, скотоводство, пчеловодство, и деньги мои пропадаютъ даромъ. Пчелы дохнутъ, коровы дохнутъ, лошадей мнѣ никогда не даютъ...

Аркадина. Да, у меня есть деньги, но вѣдь я артистка; одни туалеты разорили совсѣмъ.

Соринъ. Ты добрая, милая... Я тебя уважаю... Да... Но опять со мною что-то того... *(пошатывается)*. Голова кружится *(держится за столъ)*. Мнѣ дурно и все.

Аркадина *(испуганно)*. Петруша! *(стараясь поддержать его)*. Петруша, дорогой мой... *(кричитъ)*. Помогите мнѣ! Помогите!..

*(Входятъ Треплевъ съ повязкой на голову, Медвѣденко)*.

Аркадина. Ему дурно!

Соринъ. Ничего, ничего... *(улыбается и пьетъ воду)*. Уже прошло... и все...

Треплевъ *(матери)*. Не пугайся, мама, это не опасно. Съ дядей теперь это часто бываетъ *(дядя)*. Тебѣ, дядя, надо полежать.

Соринъ. Немножко, да... А все-таки въ городъ я поѣду... Полежу и поѣду... понятная вещь... *(идетъ, опираясь на трость)*.

Медвѣденко *(ведетъ его подъ руку)*. Есть загадка: утромъ на четырехъ, въ полдень на двухъ, вечеромъ на трехъ...

Соринъ *(смѣется)*. Именно. А ночью на спинѣ. Благодарю васъ, я самъ могу идти...

Медвѣденко. Ну, вотъ, церемонія!.. *(онъ и Соринъ уходятъ)*.

Аркадина. Какъ онъ меня напугалъ!

Треплевъ. Ему нездорово жить въ деревнѣ. Тоскуеть. Вотъ если бы ты, мама, вдругъ расщедрилась и дала ему

взаимы тысячи полторы-два, то онъ могъ бы прожить въ городѣ цѣлый годъ.

Аркадина. У меня нѣтъ денегъ. Я актриса, а не банкирша.

(Пауза).

Треплевъ. Мама, перемѣни мнѣ повязку. Ты это хорошо дѣлаешь.

Аркадина (*достаетъ изъ аптечнаго шкапа йодоформъ и ящикъ съ перевязочнымъ матеріаломъ*). А докторъ опоздалъ.

Треплевъ. Общались бытъ къ десяти, а уже полдень.

Аркадина. Садись (*снимаетъ у него съ головы повязку*). Ты какъ въ чалмѣ. Вчера одинъ прїѣзжій спрашивалъ на кухнѣ, какой ты національности. А у тебя почти совсѣмъ зажило. Остались самые пустяки (*цѣлуетъ его въ голову*). А ты безъ меня опять не сдѣлаешь чикъ-чикъ?

Треплевъ. Нѣтъ, мама. То была минута безумнаго отчаянія, когда я не могъ владѣть собою. Больше это не повторится (*цѣлуетъ ей руку*). У тебя золотыя руки. Помню, очень давно, когда ты еще служила на казенной сценѣ,— я тогда былъ маленькимъ,— у насъ во дворѣ была драка, сильно побили жилицу-прачку. Помнишь? Ее подняли безъ чувствъ... ты все ходила къ ней, носила лѣкарства, мыла въ корытѣ ея дѣтей. Неужели не помнишь?

Аркадина. Нѣтъ (*накладываетъ новую повязку*).

Треплевъ. Двѣ балерины жили тогда въ томъ же домѣ, гдѣ мы... Ходили къ тебѣ кофе пить...

Аркадина. Это помню.

Треплевъ. Богомольныя онѣ такія были (*пауза*). Въ послѣднее время, вотъ въ эти дни, я люблю тебя такъ же нѣжно и беззавѣтно, какъ въ дѣтствѣ. Кромѣ тебя, теперь у меня никого не осталось. Только зачѣмъ, зачѣмъ ты поддаешься вліянію этого человѣка?

Аркадина. Ты не понимаешь его, Константинъ. Это благороднѣйшая личность...



Треплевъ. Однако, когда ему доложили, что я собираюсь вызвать его на дуэль, благородство не помѣшало ему сыграть труса. Увѣжаетъ. Позорное бѣгство!

Аркадина. Какой вздоръ! Я сама прошу его уѣхать отсюда.

Треплевъ. Благороднѣйшая личность! Вотъ мы съ тобою почти ссоримся изъ-за него, а онъ теперь гдѣ-нибудь въ гостиной или въ саду смѣется надъ нами... развиваетъ Нину, старается окончательно убѣдить ее, что онъ гений.

Аркадина. Для тебя наслажденіе говорить мнѣ неприятности. Я уважаю этого человѣка и прошу при мнѣ не выражаться о немъ дурно.

Треплевъ. А я не уважаю. Ты хочешь, чтобы я тоже считалъ его гениемъ, но, прости, я лгать не умѣю, отъ его произведеній мнѣ претить.

Аркадина. Это зависть. Людямъ не талантливымъ, но съ претензіями, ничего больше не остается, какъ порицать настоящіе таланты. Нечего сказать, утѣшеніе!

Треплевъ (*иронически*). Настоящіе таланты! (*мнѣно*). Я талантливѣе васъ всѣхъ, коли на то пошло! (*срываетъ съ головы повязку*). Вы, рутинеры, захватили первенство въ искусствѣ и считаете законнымъ и настоящимъ лишь то, что дѣлаете вы сами, а остальное вы гнетете и душите! Не признаю я васъ! Не признаю ни тебя, ни его!

Аркадина. Декаденты!..

Треплевъ. Отправляйся въ свой милый театръ и играй тамъ въ жалкихъ, бездарныхъ пьесахъ!

Аркадина. Никогда я не играла въ такихъ пьесахъ. Оставь меня! Ты и жалкаго водевиля написать не въ состояніи. Кіевскій мѣщанинъ! Приживаль!

Треплевъ. Скрыга!

Аркадина. Оборвышь!

(*Треплевъ садится и тихо плачетъ*).

Аркадина. Ничтожество! (*пройдясь въ волнении*). Не плачь.

Не нужно плакать... (*плачетъ*). Не надо... (*цѣлуетъ его въ лобъ, въ щеки, въ голову*). Милое мое дитя, прости... Прости свою грѣшную мать. Прости меня несчастную.

Треплевъ (*обнимаетъ ее*). Если бы ты знала! Я все потерялъ. Она меня не любитъ, я уже не могу писать... пропали всѣ надежды...

Аркадина. Не отчаивайся... Все обойдется. Онъ сейчасъ уѣдетъ, она опять тебя полюбитъ (*утираетъ ему слезы*). Будетъ. Мы уже помирились.

Треплевъ (*цѣлуетъ ей руки*). Да, мама.

Аркадина (*нѣжно*). Помиришь и съ нимъ. Не надо дуэли... Вѣдь не надо?

Треплевъ. Хорошо... Только, мама, позволь мнѣ не встрѣчаться съ нимъ. Мнѣ это тяжело... выше силъ... (*входитъ Тригоринъ*). Вотъ... Я выйду... (*быстро убираетъ въ шкафъ мѣкарства*). А повязку уже докторъ сдѣлаетъ...

Тригоринъ (*ищетъ въ книжкѣ*). Страница 121... строки 11 и 12... Вотъ... (*читаетъ*). «Если тебѣ когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее».

(*Треплевъ подбираетъ съ полу повязку и уходитъ*).

Аркадина (*поглядѣвъ на часы*). Скоро лошадей подадутъ.

Тригоринъ (*про себя*). Если тебѣ когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее.

Аркадина. У тебя, надѣюсь, все уже уложено?

Тригоринъ (*нетерпливо*). Да, да... (*въ раздумь*). Отчего въ этомъ призывѣ чистой души послышалась мнѣ печаль и мое сердце такъ болѣзненно сжалось?.. Если тебѣ когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее (*Аркадиной*). Останемся еще на одинъ день!

(*Аркадина отрицательно качаетъ головой*).

Тригоринъ. Останемся!

Аркадина. Милый, я знаю, что удерживаетъ тебя здѣсь. Но имѣй надъ собою власть. Ты немного опьянѣлъ, отрезвись.

Тригоринъ. Будь ты тоже трезва, будь умна, разсудительна, умоляю тебя, взгляни на все это, какъ истинный другъ... (*жметъ ей руку*). Ты способна на жертвы... Будь моимъ другомъ, отпусти меня...

Ариадина (*въ сильномъ волненіи*). Ты такъ увлеченъ?

Тригоринъ. Меня манить къ ней! Быть-можетъ, это именно то, что мнѣ нужно.

Ариадина. Любовь провинціальной дѣвочки? О, какъ ты мало себя знаешь!

Тригоринъ. Иногда люди спать на ходу, такъ вотъ я говорю съ тобою, а самъ будто сплю и вижу ее во снѣ... Мною овладѣли сладкія, дивныя мечты... Отпусти...

Ариадина (*дрожя*). Нѣтъ, нѣтъ... Я обыкновенная женщина, со мною нельзя говорить такъ... Не мучай меня, Борисъ... Мнѣ страшно...

Тригоринъ. Если захочешь, ты можешь быть необыкновенною. Любовь юная, прелестная, поэтическая, уносящая въ міръ грѣзь, — на землѣ только она одна можетъ дать счастье! Такой любви я не испыталъ еще... Въ молодости было некогда, я обивалъ пороги редакцій, боролся съ нуждой... Теперь вотъ она, эта любовь, пришла, наконецъ, манить... Какой же смыслъ бѣжать отъ нея?

Ариадина (*съ тѣвномъ*). Ты сошелъ съ ума!

Тригоринъ. И пускай.

Ариадина. Вы всѣ сговорились сегодня мучить меня! (*плачетъ*).

Тригоринъ (*беретъ себя за голову*). Не понимаетъ! Не хочетъ понять!

Ариадина. Неужели я уже такъ стара и безобразна, что со мною можно, не стѣсняясь, говорить о другихъ женщинахъ? (*обнимаетъ его и целуетъ*). О, ты безумѣлъ! Мой прекрасный, дивный... Ты, послѣдняя страница моей жизни! (*становится на колѣни*). Моя радость, моя гордость, мое блаженство... (*обнимаетъ его колѣни*). Если ты покинешь

меня, хотя на одинъ часъ, то я не переживу, сойду съ ума, мой изумительный, великолѣпный, мой повелитель...

Тригоринъ. Сюда могутъ войти *(помогаетъ ей встать)*.

Аркадина. Пусть, я не стыжусь моей любви къ тебѣ *(цѣлуетъ ему руки)*. Сокровище мое, отчаянная голова, ты хочешь безумствовать, но я не хочу, не пушу... *(смѣется)*. Ты мой... ты мой... И этотъ лобъ мой, и глаза мои, и эти прекрасные шелковистые волосы тоже мои... Ты весь мой. Ты такой талантливый, умный, лучший изъ всѣхъ теперешнихъ писателей, ты единственная надежда Россіи... У тебя столько искренности, простоты, свѣжести, здравого юмора... Ты можешь однимъ штрихомъ передать главное, чтó характерно для лица или пейзажа, люди у тебя, какъ живые. О, тебя нельзя читать безъ восторга! Ты думаешь, это емиамъ? Я льщу? Ну, посмотри мнѣ въ глаза... посмотри... Похожа я на лгунью? Вотъ и видишь, я одна умѣю цѣнить тебя; одна говорю тебѣ правду, мой милый, чудный... Поѣдешь? Да? Ты меня не покинешь?..

Тригоринъ. У меня нѣтъ своей воли... У меня никогда не было своей воли... Вялый, рыхлый, всегда покорный—неужели это можетъ нравиться женщинѣ? Бери меня, увози, но только не отпускай отъ себя ни на шагъ...

Аркадина *(про себя)*. Теперь онъ мой *(развязно, какъ ни въ чемъ не бывало)*. Впрочемъ, если хочешь, можешь остаться. Я уѣду сама, а ты приѣдешь потомъ, черезъ недѣлю. Въ самомъ дѣлѣ, куда тебѣ спѣшить?

Тригоринъ. Нѣтъ, ужъ поѣдемъ вмѣстѣ.

Аркадина. Какъ хочешь. Вмѣстѣ, такъ вмѣстѣ... *(пауза)*.

*(Тригоринъ записываетъ въ книжку)*.

Аркадина. Что ты?

Тригоринъ. Утромъ слышалъ хорошее выраженіе: «Дѣвичій боръ...» Пригодится *(потягивается)*. Значить, ѣхать? Опять вагоны, станціи, буфеты, отбивныя котлеты, разговоры...

Шамраевъ (*входитъ*). Имѣю честь съ прискорбіемъ заявить, что лошади поданы. Пора уже, многоуважаемая, ѣхать на станцію; поѣздъ приходитъ въ два и пять минутъ. Такъ вы же, Ирина Николаевна, сдѣлайте милость, не забудьте навести справочку: гдѣ теперь актеръ Суздальцевъ? Живъ ли? Здоровъ ли? Вмѣстѣ пивали когда-то... Въ «Ограбленной почтѣ» игралъ неподражаемо... Съ нимъ тогда, помню, въ Елисаветградѣ служилъ трагикъ Измайловъ, тоже личность замѣчательная... Не торопитесь, многоуважаемая, пять минутъ еще можно. Разъ въ одной мелодрамѣ они играли заговорщиковъ, и, когда ихъ вдругъ накрыли, то надо было сказать: «Мы попали въ западню», а Измайловъ—«Мы попали въ запендю»... (*хохочетъ*). Запендю!.. (*пока онъ говоритъ, Яковъ хлопочетъ около чемодановъ, горничная приноситъ Аркадиной шляпу, манто, зонтикъ, перчатки; всѣ помогаютъ Аркадиной одѣться. Изъ лѣвой двери выльцдываетъ поваръ, который немного погодя входитъ нерышительно. Входитъ Полина Андреевна, потомъ Соринъ и Медвѣденко*).

Полина Андреевна (*съ корзиночкой*). Вотъ вамъ сливъ на дорогу... Очень сладкія. Можетъ, захотите полакомиться...

Аркадина. Вы очень добры, Полина Андреевна.

Полина Андреевна. Прощайте, моя дорогая! Если чтѣ было не такъ, то простите. (*плачетъ*).

Аркадина (*обнимаетъ ее*). Все было хорошо, все было хорошо. Только вотъ плакать не нужно.

Полина Андреевна. Время наше уходитъ!

Аркадина. Что же дѣлать!

Соринъ (*въ пальто съ пелериной, въ шляпъ, съ палкой, выходитъ изъ лѣвой двери; проходитъ черезъ комнату*). Сестра, пора, какъ бы не опоздать, въ концѣ концовъ. Я иду садиться (*уходитъ*).

Медвѣденко. А я пойду пѣшкомъ на станцію... провожать. Я живо... (*уходитъ*).

Аркадина. До свиданья, мои дорогие... Если будем живы и здоровы, лѣтомъ опять увидимся... (*горничная, Яковъ и поваръ цѣлуютъ у нея руку*). Не забывайте меня (*подаетъ повару рубль*). Вотъ вамъ рубль на троихъ.

Поваръ. Покорнѣйше благодаримъ, барыня. Счастливой вамъ дороги! Много вами довольны!

Яковъ. Дай Богъ часъ добрый!

Шамраевъ. Письмецомъ бы осчастливил! Прощайте, Борисъ Алексѣевичъ!

Аркадина. Гдѣ Константинъ? Скажите ему, что я уѣзжаю. Надо проститься. Ну, не поминайте лихомъ (*Якову*). Я дала рубль повару. Это на троихъ.

(*Всѣ уходятъ вправо. Сцена пуста. За сценой шумъ, какой бываетъ, когда провожаютъ. Горничная возвращается, чтобы взять со стола корзину со сливами, и опять уходитъ*).

Тригоринъ (*возвращаясь*). Я забылъ свою трость. Она, кажется, тамъ не террасѣ (*идетъ и у лѣвой двери встречается съ Ниной, которая входитъ*). Это вы? Мы уѣзжаемъ...

Нина. Я чувствовала, что мы еще увидимся (*возбужденно*). Борисъ Алексѣевичъ, я рѣшила безповоротно, жребій брошенъ, я поступаю на сцену. Завтра меня уже не будетъ здѣсь, я уйду отъ отца, покидаю все, начинаю новую жизнь... Я уѣзжаю, какъ и вы... въ Москву. Мы увидимся тамъ.

Тригоринъ (*оглянувшись*). Остановитесь въ «Славянскомъ Базарѣ...» Дайте мнѣ тотчасъ же знать... Молчановка, домъ Грохольскаго... Я тороплюсь... (*пауза*).

Нина. Еще одну минуту...

Тригоринъ (*втолмося*). Вы такъ прекрасны... О, какое счастье думать, что мы скоро увидимся! (*она склоняется къ нему на грудь*). Я опять увижу эти чудные глаза, невыразимо прекрасную, вѣжную улыбку... эти кроткія черты,

выраженіе ангельской чистоты.. Дорогая моя... (*продолжительный поцѣлуй*).

*Занавѣсъ.*

Между третьимъ и четвертымъ дѣйствіемъ проходитъ два года.

## ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Одна изъ гостиныхъ въ домѣ Сорина, обращенная Константиномъ Треплевымъ въ рабочій кабинетъ. Направо и налѣво двери, ведущія во внутренніе покои. Прямо стеклянная дверь на террасу. Кромѣ обычной гостиной мебели, въ правомъ углу письменный столъ, возлѣ лѣвой двери турецкій диванъ, шкафъ съ книгами, книги на окнахъ, на стульяхъ.—Вечеръ. Горитъ одна лампа подѣ колпакомъ. Полу-мракъ. Слышно, какъ шумятъ деревья и воетъ вѣтеръ въ трубахъ.

Стучитъ сторожъ. Медвѣденко и Маша входятъ.

Маша (*окликаетъ*). Константинъ Гаврилычъ! Константинъ Гаврилычъ! (*осматриваясь*). Нѣтъ никого. Старикъ каждую минуту все спрашиваетъ, гдѣ Костя, гдѣ Костя... Жить безъ него не можетъ...

Медвѣденко. Боится одиночества (*прислушивается*). Какал ужасная погода! Это уже вторые сутки.

Маша (*припускаетъ огня въ лампу*). На озерѣ волны. Громадныя.

Медвѣденко. Въ саду темно. Чудо бы сказать, чтобы сломали въ саду тотъ театръ. Стоитъ голый, безобразный, какъ скелетъ, и занавѣска отъ вѣтра хлопаетъ. Когда я вчера вечеромъ проходилъ мимо, то мнѣ показалось, будто кто въ немъ плакалъ.

Маша. Ну, вотъ... (*пауза*).

Медвѣденко. Поѣдемъ, Маша, домой!

Маша (*качаетъ отрицательно головой*). Я здѣсь останусь ночевать.

Медвѣденко (*умоляюще*). Маша, поѣдемъ! Нашъ ребенокъ, небось, голодень.

Маша. Пустяки. Его Матрена покормить (*пауза*).

Медвѣденко. Жалко. Уже третью ночь безъ матери.

Маша. Скучный ты сталъ. Прежде, бывало, хоть пофилософствуешь, а теперь все ребенокъ, домой, ребенокъ, домой—и больше отъ тебя ничего не услышишь.

Медвѣденко. Поѣдемъ, Маша!

Маша. Поѣзжай самъ.

Медвѣденко. Твой отецъ не дастъ мнѣ лошади.

Маша. Дастъ. Ты попроси онъ и дастъ.

Медвѣденко. Пожалуй, попрошу. Значить, ты завтра приѣдешь?

Маша (*нюхаетъ табакъ*). Ну, завтра. Пристадъ...  
(*Входятъ Треплевъ и Полина Андреевна; Треплевъ принесъ подушки и одеяло, а Полина Андреевна постельное бѣлье; кладутъ на турецкій диванъ, затѣмъ Треплевъ идетъ къ своему столу и садится*).

Маша. Зачѣмъ это, мама?

Полина Андреевна Петръ Николаевичъ просилъ постлать ему у Кости.

Маша. Давайте я... (*постылаетъ постель*).

Полина Андреевна (*вздохнувъ*). Старый, что малый... (*подходитъ къ письменному столу и, облокотившись, смотритъ въ рукопись; пауза*).

Медвѣденко. Такъ я пойду. Прощай, Маша (*цѣлуетъ у жены руку*). Прощайте, мамаша (*хочетъ поцѣловать руку у тещи*).

Полина Андреевна (*досадливо*). Ну! Иди съ Богомъ.

Медвѣденко. Прощайте, Константинъ Гаврилычъ.

(*Треплевъ молча подаетъ руку; Медвѣденко уходитъ*).

Полина Андреевна (*глядя въ рукопись*). Никто не думалъ и не гадалъ, что изъ васъ, Костя, выйдетъ настоящій писатель. А вотъ, слава Богу, и деньги стали вамъ присы-



затъ изъ журналовъ (*проводитъ рукой по его волосамъ*). И красивый сталъ... Милый Костя, хорошій, будьте поласково съ моей Машенькой!..

Маша (*постылая*). Оставьте его, мама.

Полина Андреевна (*Треплеву*). Она славненькая (*пауза*). Женщинѣ, Костя, ничего не нужно, только взгляни на нее ласково. По-себѣ знаю.

(*Треплевъ встаетъ изъ-за стола и молча уходитъ*).

Маша. Вотъ и разсердили. Надо было приставать!

Полина Андреевна. Жалко мнѣ тебя, Машенька.

Маша. Очень нужно!

Полина Андреевна. Сердце мое за тебя переболѣло. Я вѣдь все вижу, все понимаю.

Маша. Все глупости. Безнадежная любовь — это только въ романахъ. Пустяки. Не нужно только распускать себя и все чего-то ждать, ждать у моря погоды... Разъ въ сердцѣ завелась любовь, надо ее вонъ. Вотъ обѣщали перевести мужа въ другой уѣздъ. Какъ переѣдемъ туда, — все забуду... съ корнемъ изъ сердца вырву.

(*Черезъ двѣ комнаты играютъ меланхолическій вальсъ*).

Полина Андреевна. Костя играетъ. Значить, тоскуеть.

Маша (*отълаетъ безшумно два-три тура вальса*). Главное, мама, передъ глазами не видѣть. Только бы дали моему Семену переводъ, а тамъ, повѣрьте, въ одинъ мѣсяцъ забуду. Пустяки все это.

(*Открывается лѣвая дверь, Дорнъ и Медвѣденко катятъ въ креслѣ Сорина*).

Медвѣденко. У меня теперь въ домѣ шестеро. А мукѣ семь гривенъ пудъ.

Дорнъ. Вотъ тутъ и вертись.

Медвѣденко. Вамъ хорошо смѣяться. Денегъ у васъ куры не клюютъ.

Дорнъ. Денегъ? За тридцать лѣтъ практики, мой другъ, безпокойной практики, когда я не принадлежалъ себѣ ни

днемъ, ни ночью. мнѣ удалось скопить только двѣ тысячи, да и тѣ я прожилъ недавно за границей. У меня ничего нѣтъ.

**Маша** (*мужу*). Ты не уѣхаль?

**Медвѣденко** (*виновато*). Что жъ? Когда не дають лошади!

**Маша** (*съ горькою досадою, вполголоса*). Глаза бы мои тебя не видѣли!

(*Кресло останавливается въ лѣвой половинѣ комнаты; Полина Андреевна, Маша и Дорнъ садятся возлѣ, Медвѣденко, опечаленный, отходитъ въ сторону*).

**Дорнъ**. Сколько у васъ перемѣнъ, однако! Изъ гостиной сдѣлали кабинетъ.

**Маша**. Здѣсь Константину Гаврилычу удобнѣ работать. Онъ можетъ, когда угодно, выходить въ садъ и тамъ думать.

(*Стучитъ сторожъ*).

**Соринъ**. Гдѣ сестра?

**Дорнъ**. Поѣхала на станцію встрѣчать Тригорина. Сейчасъ вернется.

**Соринъ**. Если вы нашли нужнымъ выписать сюда сестру, значить, я опасно боленъ (*помолчавъ*). Вотъ исторія, я опасно боленъ, а между тѣмъ мнѣ не дають никакихъ лѣкарствъ.

**Дорнъ**. А чего вы хотите? Валеріановыхъ капель? Соды? Хины?

**Соринъ**. Ну, начинается философія. О, что за наказаніе! (*кинувъ головой на диванъ*). Это для меня послано?

**Полина Андреевна**. Для васъ, Петръ Николаевичъ.

**Соринъ**. Благодарю васъ.

**Дорнъ** (*напѣваетъ*). «Мѣсяцъ плыветъ по ночнымъ небесамъ»...

**Соринъ**. Вотъ хочу дать Костѣ сюжетъ для повѣсти. Она должна называться такъ: «Человѣкъ, который хотѣлъ».

«L'homme qui a voulu». Въ молодости когда-то хотѣлъ я сдѣлаться литераторомъ — и не сдѣлался; хотѣлъ красиво говорить — и говорилъ отвратительно (*дразнитъ себя*): «и все и все такое, того, не того»... и, бывало, резюме везешь, везешь, даже въ потъ ударить; хотѣлъ жениться — и не женился; хотѣлъ всегда жить въ городѣ — и вотъ кончаю свою жизнь въ деревнѣ и все.

Дорнъ. Хотѣлъ стать дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ — и сталъ.

Соринъ (*смѣется*). Къ этому я не стремился. Это вышло само собою.

Дорнъ. Выразить недовольство жизнью въ шестьдесятъ два года, сѣгласитесь, — это не великодушно.

Соринъ. Какой упрямецъ. Поймите, жить хочется!

Дорнъ. Это легкомысліе. По законамъ природы всякая жизнь должна имѣть конецъ.

Соринъ. Вы разсуждаете, какъ сытый человѣкъ. Вы сыты и потому равнодушны къ жизни, вамъ все равно. Но умирать и вамъ будетъ страшно.

Дорнъ. Страхъ смерти — животный страхъ... Надо подавлять его. Сознательно бояться смерти только вѣрующіе въ вѣчную жизнь, которымъ страшно бываетъ своихъ грѣховъ. А вы, во-первыхъ, невѣрующій, во-вторыхъ — какіе у васъ грѣхи? Вы 25 лѣтъ прослужили по судебному вѣдомству — только всего.

Соринъ (*смѣется*). 28...

(*Входитъ Треплевъ и садится на скамеечку у ногъ Сорина.*

*Маша все время не отрываеъ отъ него глазъ.*

Дорнъ. Мы мѣшаемъ Константину Гавриловичу работать.

Треплевъ. Нѣтъ, ничего.

(*Пауза.*)

Мевѣденко. Позвольте васъ спросить, докторъ, какой городъ за границей вамъ больше понравился?

Дорнъ. Генуя.

Треплевъ. Почему Генуя?

Дорнъ. Тамъ превосходная уличная толпа. Когда вечеромъ выходишь изъ отеля, то вся улица бываетъ запержена народомъ. Движешься потомъ въ толпѣ безъ всякой цѣли, туда-сюда, по ломаной линіи, живешь съ нею вмѣстѣ, сливаешься съ нею психически и начинаешь вѣрить, что въ самомъ дѣлѣ возможна одна міровая душа, въ родѣ той, которую когда-то въ вашей пьесѣ играла Нина Зарѣчная. Кстати, гдѣ теперь Зарѣчная? Гдѣ она и какъ?

Треплевъ. Должно быть, здорова.

Дорнъ. Мнѣ говорили, будто она повела какую-то особенную жизнь. Въ чемъ дѣло?

Треплевъ. Это, докторъ, длинная исторія.

Дорнъ. А вы покороче (*пауза*).

Треплевъ. Она убѣжала изъ дому и сошлась съ Тригорнымъ. Это вамъ извѣстно?

Дорнъ. Знаю.

Треплевъ. Былъ у нея ребенокъ. Ребенокъ умеръ. Тригоридъ разлюбилъ ее и вернулся къ своимъ прежнимъ привязанностямъ, какъ и слѣдовало ожидать. Впрочемъ, онъ никогда не покидалъ прежнихъ, а, по безхарактерности, какъ-то ухитрился и тутъ и тамъ. Насколько я могъ понять изъ того, что мнѣ извѣстно, личная жизнь Нины не удалась совершенно.

Дорнъ. А сцена?

Треплевъ. Кажется, еще хуже. Дебютировала она подъ Москвой въ дачномъ театрѣ, потомъ уѣхала въ провинцію. Тогда я не упустилъ ее изъ виду и нѣкоторое время куда она, туда и я. Бралась она все за большія роли, но играла грубо, безвкусно, съ завываніями, съ рѣзкими жестами. Бывали моменты, когда она талантливо вскрикивала, талантливо умирала, но это были только моменты.

Дорнъ. Значить, все-таки есть талантъ?

Треплевъ. Понять было трудно. Должно быть, есть. Я ее

видѣлъ, но она не хотѣла меня видѣть, и прислуга не пу-  
скала меня къ ней въ номеръ. Я понималъ ея настроеніе  
и не настаивалъ на свиданіи (*пауза*). Что же вамъ еще  
сказать? Потому я, когда уже вернулся домой, получалъ  
отъ нея письма. Письма умныя, теплыя, интересныя; она  
не жаловалась, но я чувствовалъ, что она глубоко несчастна;  
что ни строчка, то больной, натянутый нервъ. И вообра-  
женіе немного разстроено. Она подписывалась Чайкой. Въ  
«Русалкѣ» мельникъ говоритъ, что онъ воронъ, такъ она  
въ письмахъ все повторяла, что она чайка. Теперь она  
здѣсь.

Дорнъ. То-есть какъ, здѣсь?

Треплевъ. Въ городѣ, на постояломъ дворѣ. Уже дней  
пять, какъ живеть тамъ въ номерѣ. Я было поѣхалъ къ  
ней, и вотъ Марья Ильинишна ѣдила, но она никого не  
принимаетъ. Семенъ Семеновичъ увѣряетъ, будто вчера  
послѣ обѣда видѣлъ ее въ полѣ, въ двухъ верстахъ от-  
сюда.

Медвѣденко. Да, я видѣлъ. Шла въ ту сторону, къ го-  
роду. Я поклонился, спросилъ, отчего не идетъ къ намъ  
въ гости. Она сказала, что придетъ.

Треплевъ. Не придетъ она (*пауза*). Отецъ и мачеха не  
хотятъ ее знать. Вездѣ разставили сторожей, чтобы даже  
близко не допускать ее къ усадьбѣ (*отходитъ съ докто-  
ромъ къ письменному столу*). Какъ легко, докторъ, быть  
философомъ на бумагѣ, и какъ это трудно на дѣлѣ!

Соринъ. Прелестная была дѣвушка.

Дорнъ. Что-съ?

Соринъ. Прелестная, говорю, была дѣвушка. Дѣйстви-  
тельный статскій совѣтникъ Соринъ былъ даже въ нее влюбленъ  
нѣкоторое время.

Дорнъ. Старый ловелась.

(*Слышенъ смѣхъ Шамраева*).

Полина Андреевна. Кажется, наши пріѣхали со станціи...

Треплевъ. Да, я слышу маму.

*(Входятъ Аркадина, Тригоринъ, за ними Шамраевъ).*

Шамраевъ *(входя)*. Мы всё старѣемъ, вывѣтриваемся, подъ вліяніемъ стихій, а вы, многоуважаемая, все еще молоды... Свѣтлая кофточка, живость... грація...

Аркадина. Вы опять хотите сгладить меня, скучный человекъ!

Тригоринъ *(Сорину)*. Здравствуйте, Петръ Николаевичъ! Что это вы все хвораете? Не хорошо! *(увидѣвъ Машу, радостно)* Марья Ильинична!

Маша. Узнали? *(жметъ ему руку)*.

Тригоринъ. Замужемъ?

Маша. Давно.

Тригоринъ. Счастливы? *(раскланивается съ Дорномъ и съ Медвѣденкомъ, потомъ нерышительно подходитъ къ Треплеву)*. Ирина Николаевна говорила, что вы уже забыли старое и перестали гнѣваться.

*(Треплевъ протягиваетъ ему руку)*.

Аркадина *(сыну)*. Вотъ Борисъ Алексѣевичъ привезъ журналъ съ твоимъ новымъ рассказомъ.

Треплевъ *(принимая книгу, Тригорину)*. Благодарю васъ. Вы очень любезны *(салятся)*.

Тригоринъ. Вамъ шлютъ поклонъ ваши почитатели... Въ Петербургѣ и въ Москвѣ вообще заинтересованы вами и меня все спрашиваютъ про васъ. Спрашиваютъ: какой онъ, сколько лѣтъ, брюнетъ или блондинъ. Думаютъ всё почему-то, что вы уже не молоды. И никто не знаетъ вашей настоящей фамиліи, такъ какъ вы печаетесь подъ псевдонимомъ. Вы таинственны, какъ Желѣзная маска.

Треплевъ. Надолго къ намъ?

Тригоринъ. Нѣтъ, завтра же думаю въ Москву. Надо. Топлюсь кончить повѣсть, и затѣмъ еще общалъ дать что-нибудь въ сборникъ. Однимъ словомъ—старая исторія. *(Пока они разговариваютъ, Аркадина и Полина Андреевна)*

*ставятъ среди комнаты ломберный столъ и раскрываютъ его; Шамраевъ зажигаетъ свѣчи, ставитъ стулья. Достаютъ изъ шкапа лото).*

Тригоринъ. Погода встрѣтила меня неласково. Вѣтеръ жестокий. Завтра утромъ, если утихнетъ, отправлюсь на озеро удить рыбу. Кстати надо осмотрѣть садъ и то мѣсто, гдѣ—помните?—играли вашу пьесу. У меня созрѣлъ мотивъ, надо только возобновить въ памяти мѣсто дѣйствій.

Маша (*отцу*). Папа, позволь мужу взять лошадь! Ему нужно домой.

Шамраевъ (*бразнитъ*). Лошадь... домой... (*строго*). Сама видѣла: сейчасъ посылали на станцію. Не гонять же опять.

Маша. Но вѣдь есть другія лошади... (*видя, что отецъ молчитъ, машетъ рукой*). Съ вами связываться...

Медвѣденно. Я, Маша, пѣшкомъ пойду. Право...

Полина Андреевна (*вздыхнувъ*). Пѣшкомъ, въ такую погоду... (*садится за ломберный столъ*). Пожалуйте, господа.

Медвѣденно. Вѣдь всего только шесть верстъ... Прощай... (*цѣлуетъ жену руку*). Прощайте, мамаша (*теща нехоты протягиваетъ ему для поцѣлуя руку*). Я бы никого не беспокоилъ, но ребеночекъ... (*кланяется всѣмъ*). Прощайте... (*уходитъ; походка виноватая*).

Шамраевъ. Небось, дойдетъ. Не генераль.

Полина Андреевна (*стучитъ по столу*). Пожалуйте, господа. Не будемъ терять времени, а то скоро ужинать позовутъ.

(*Шамраевъ, Маша и Дорнъ садятся за столъ*).

Аркадина (*Тригорину*). Когда наступаютъ длинные осенніе вечера, здѣсь играютъ въ лото. Вотъ взгляните: старинное лото, въ которое еще играла съ нами покойная мать, когда мы были дѣтьми. Не хотите ли до ужина сыграть съ нами партію? (*садится съ Тригоринимъ за столъ*). Игра скучная, но если привыкнуть къ ней, то ничего (*сдаетъ всѣмъ по три карты*).

Треплевъ *(перелистывая журналъ)*. Свою повѣсть прочелъ, а моей даже не разрѣзалъ *(кладетъ журналъ на письменный столъ, потомъ направляется къ лѣвой двери; проходя мимо матери, цѣлуетъ ее въ голову)*.

Аркадина. А ты, Костя?

Треплевъ. Прости, что-то не хочется... Я пройдуся *(уходитъ)*.

Аркадина. Ставка—гривенникъ. Поставьте за меня, докторъ.

Дорнъ. Слушаю-сь.

Маша. Всѣ поставили? Я начинаю... Двадцать два!

Аркадина. Есть.

Маша. Три!..

Дорнъ. Такъ-сь.

Маша. Поставили три? Восемь! Восемьдесятъ одинъ! Десять!

Шамраевъ. Не спиши.

Аркадина. Какъ меня въ Харьковѣ принимали, батюшка мой, до сихъ поръ голова кружится!

Маша. Тридцать четыре!

*(За сценой играютъ меланхолическій вальсъ)*.

Аркадина. Студенты овацію устроили... Три корзины, два вѣнка и вотъ... *(снимаетъ съ груди брошь и бросаетъ на столъ)*...

Шамраевъ. Да, это вещь...

Маша. Пятьдесятъ!..

Дорнъ. Ровно пятьдесятъ?

Аркадина. На мнѣ былъ удивительный туалетъ... Что-что, а ужъ одѣться я не дура.

Полина Андреевна. Костя играетъ. Тоскуетъ бѣдный.

Шамраевъ. Въ газетахъ бранятъ его очень.

Маша. Семьдесятъ семь!

Аркадина. Охота обращать вниманіе.

Тригоринъ. Ему не везетъ. Все никакъ не можетъ попасть



въ свой настоящій тонъ. Что-то странное, неопредѣленное, порой даже похожее на бредъ. Ни одного живого лица.

Маша. Одиннадцать!

Аркадина (*оглянувшись на Сорина*). Петруша, тебѣ скучно? (*пауза*). Спать.

Дорнъ. Спать дѣйствительный статскій совѣтникъ.

Маша. Семь! Девяносто!

Тригоринъ. Если бы я жилъ въ такой усадьбѣ, у озера, то развѣ я сталъ бы писать? Я поборолъ бы въ себѣ эту страсть и только и дѣлалъ бы, что удилъ рыбу.

Маша. Двадцать восемь!

Тригоринъ. Поймать ерша или окуня — это такое блаженство!

Дорнъ. А я вѣрю въ Константина Гаврилыча. Что-то есть. Что-то есть! Онъ мыслить образами, рассказы его красочны, ярки, и я ихъ сильно чувствую. Жаль только, что онъ не имѣетъ опредѣленныхъ задачъ. Производитъ впечатлѣніе, и больше ничего, а вѣдь на одномъ впечатлѣніи далеко не уйдешь. Ирина Николаевна, вы рады что у васъ сынъ писатель?

Аркадина. Представьте, я еще не читала. Все некогда.

Маша. Двадцать шесть!

(*Треплевъ тихо входитъ и идетъ къ своему столу*).

Шамраевъ (*Тригорину*). А у насъ, Борисъ Алексѣевичъ, осталась ваша вещь.

Тригоринъ. Какая?

Шамраевъ. Какъ-то Константинъ Гаврилычъ застрѣлилъ чайку, и вы поручили мнѣ заказать изъ нея чучело.

Тригоринъ. Не помню (*раздумывая*). Не помню!

Маша. Шестьдесятъ шесть! Одинъ!

Треплевъ (*распахиваетъ окно, прислушивается*). Какъ темно! Не понимаю, отчего я испытываю такое безпокойство.

Аркадина. Костя, закрой окно, а то дуетъ.

(*Треплевъ закрываетъ окно*).

Маша. Восемьдесятъ восемь!

Тригоринъ. У меня партія, господа.

Аркадина (*весело*). Bravo! bravo!

Шамраевъ. Bravo!

Аркадина. Этому человѣку всегда и вездѣ везеть (*встаетъ*). А теперь пойдете закусить чего-нибудь. Наша знаменитость не обѣдала сегодня. Послѣ ужина будемъ продолжать (*сыну*). Костя, оставь свои рукописи, пойдемъ ѣсть.

Треплевъ. Не хочу, мама, я сытъ.

Аркадина. Какъ знаешь (*будитъ Сорина*). Петруша, ужинать! (*беретъ Шамраева подъ руку*). Я расскажу вамъ, какъ меня принимали въ Харьковѣ...

(*Полина Андреевна тушитъ на столѣ свѣчи, потомъ она и Дорнъ катятъ кресло. Всѣ уходятъ въ лѣвую дверь; на сценѣ остается одинъ Треплевъ за письменнымъ столомъ*).

Треплевъ (*собирается писать; пробѣгаетъ то, что уже написано*). Я такъ много говорилъ о новыхъ формахъ, а теперь чувствую, что самъ мало-по-малу сползаю къ рутинѣ (*читаетъ*). «Афиша на заборѣ гласила... Блѣдное лицо, обрамленное темными волосами»... Гласила, обрамленное... Это бездарно (*зачеркиваетъ*). Начну съ того, какъ героя разбудилъ шумъ дождя, а остальное все вонъ. Описание луннаго вечера длинно и изысканно. Тригоринъ выработалъ себѣ приемы, ему легко... У него на плитинѣ блеститъ горлышко разбитой бутылки и чернеетъ тѣнь отъ мельничнаго колеса — вотъ и лунная ночь готова, а у меня и трепещущій свѣтъ, и тихое мерцаніе звѣздъ, и далекіе звуки рояля, замирающіе въ тихомъ ароматномъ воздухѣ... Это мучительно (*пауза*). Да, я все больше и больше прихожу къ убѣжденію, что дѣло не въ старыхъ и не въ новыхъ формахъ, а въ томъ, что человѣкъ пишетъ, не думая ни о какихъ формахъ, пишетъ, потому что это свободно льется изъ его души (*кто-то стучитъ въ окно, ближайшее къ столу*). Что такое? (*глядитъ въ*

окно). Ничего не видно... (*отворяетъ стеклянную дверь и смотритъ въ садъ*). Кто-то пробѣжалъ внизъ по ступенямъ (*окликаетъ*). Кто здѣсь? (*уходитъ; слышно, какъ онъ быстро идетъ по террасѣ; черезъ полминуты возвращается съ Ниной Зарьчонкой*). Нина! Нина!

(*Нина кладетъ ему голову на грудь и сдержанно рыдаетъ*).

Треплевъ (*растроганный*). Нина! Нина! Это вы... вы... Я точно предчувствовалъ, весь день душа моя томилась ужасно (*снимаетъ съ нея шляпу и тальму*). О, моя добрая, моя ненаглядная, она пришла! Не будемъ плакать, не будемъ.

Нина. Здѣсь есть кто-то.

Треплевъ. Никого.

Нина. Заприте двери, а то войдутъ.

Треплевъ. Никто не войдетъ.

Нина. Я знаю, Ирина Николаевна здѣсь. Заприте двери...

Треплевъ (*затираетъ правую дверь на ключъ, подходитъ къ лѣвой*). Тутъ нѣтъ замка. Я заставлю кресломъ (*ставитъ у двери кресло*). Не бойтесь, никто не войдетъ.

Нина (*пристально глядитъ ему въ лицо*). Дайте, я посмотрю на васъ (*оглядываясь*). Тепло, хорошо... Здѣсь тогда была гостиная. Я сильно измѣнилась?

Треплевъ. Да... Вы похудѣли и у васъ глаза стали больше. Нина, какъ-то странно, что я вижу васъ. Отчего вы не пускали меня къ себѣ? Отчего вы до сихъ поръ не приходили? Я знаю, вы здѣсь живете уже почти недѣлю... Я каждый день ходилъ къ вамъ по нѣскольбу разъ, стоялъ у васъ подъ окномъ, какъ нищій.

Нина. Я боялась, что вы меня ненавидите. Мнѣ каждую ночь все снится, что вы смотрите на меня и не узнаете. Если бы вы знали! Съ самаго прїѣзда я все ходила тутъ... около озера. Около вашего дома была много разъ и не рѣшалась войти. Давайте сядемъ (*салятся*). Сядемъ и бу-

демь говорить, говорить. Хорошо здѣсь, тепло, уютно... Слышите — вѣтеръ? У Тургенева есть мѣсто: «Хорошо тому, кто въ такія ночи сидитъ подь кровомъ дома, у кого есть теплый уголь». Я—чайка... Нѣтъ, не то (*треть себя лобъ*). О чемъ я? Да... Тургеневъ... «И да поможетъ Господь всѣмъ безпріютнымъ скитальцамъ»... Ничего (*рыдаеть*).

Треплевъ. Нина, вы опять... Нина!

Нина. Ничего, мнѣ легче отъ этого... Я уже два года не плакала, Вчера поздно вечеромъ я пошла посмотрѣть въ саду, цѣль ли нашъ театръ. А онъ до сихъ поръ стоитъ. Я заплакала въ первый разъ послѣ двухъ лѣтъ и у меня отлегло, стало яснѣе на душѣ. Видите, я уже не плачу (*береть ея за руку*). Итакъ, вы стали уже писателемъ... Вы писатель, я — актриса... Попали и мы съ вами въ круговоротъ... Жила я радостно, по-дѣтски—проснешься утромъ и запоешь; любила васъ, мечтала о славѣ, а теперь? Завтра рано утромъ ѣхать въ Елецъ въ третьемъ классѣ... съ мужиками, а въ Ельцѣ образованные купцы будутъ приста- вать съ любезностями. Груба жизнь!

Треплевъ. Зачѣмъ въ Елецъ?

Нина. Взяла ангажементъ на всю зиму. Пора ѣхать.

Треплевъ. Нина, я проклиналъ васъ, ненавидѣлъ, рвалъ ваши письма и фотографіи, но каждую минуту я сознавалъ, что душа моя привязана къ вамъ навѣки. Разлюбить васъ я не въ силахъ, Нина. Съ тѣхъ поръ, какъ я потерялъ васъ и какъ началъ печататься, жизнь для меня невыносима, — я страдаю... Молодость мою вдругъ какъ оторвало, и мнѣ кажется, что я уже прожилъ на свѣтѣ девяносто лѣтъ. Я зову васъ, цѣлую землю, по которой вы ходили; куда бы я ни смотрѣлъ, всюду мнѣ представляется ваше лицо, эта ласковая улыбка, которая свѣтила мнѣ въ лучшіе годы мсей жизни...

Нина (*растерянно*). Зачѣмъ онъ такъ говоритъ, зачѣмъ онъ такъ говоритъ?

Треплевъ. Я одинокъ, не согрѣть ничьей привязанностью, мнѣ холодно, какъ въ подземельѣ, и, что бы я ни писалъ, все это сухо, чѣрство, мрачно. Оставайтесь здѣсь, Нина, умоляю васъ, или позвольте мнѣ уѣхать съ вами!

*(Нина быстро надѣваетъ шляпу и талъму).*

Треплевъ. Нина, зачѣмъ? Бога ради, Нина... *(смотритъ, какъ она одѣвается; пауза).*

Нина. Лошади мои стоятъ у калитки. Не провожайте, я сама дойду... *(сквозь слезы).* Дайте воды...

Треплевъ *(даетъ ей напитокъ)*. Вы куда теперь?

Нина. Въ городъ *(пауза)*. Ирина Николаевна здѣсь?

Треплевъ. Да... Въ четвергъ дядѣ было не хорошо, мы ей телеграфировали, чтобы она пріѣхала.

Нина. Зачѣмъ вы говорите, что цѣловали землю, по которой я ходила? Меня надо убить *(склоняется къ столу)*. Я такъ утомилась! Отдохнуть бы... отдохнуть! *(поднимаетъ голову)*. Я — чайка... Не то. Я — актриса. Ну, да! *(улышавъ смѣхъ Аркадиной и Тригорина, прислушивается, потомъ бѣжитъ къ лѣвой двери и смотритъ въ замочную скважину)*. И онъ здѣсь... *(возвращаясь къ Треплеву)*. Ну, да... Ничего... Да... Онъ не вѣрилъ въ театръ, все смѣялся надъ мои мечтами, и мало-по-малу я тоже перестала вѣрить и пала дуломъ... А тутъ заботы любви, ревность, постоянный страхъ за маленькаго... Я стала мелочною, ничтожною, играла безсмысленно... Я не знала, что дѣлать съ руками, не умѣла стоять на сценѣ, не владѣла голосомъ. Вы не понимаете этого состоянія, когда чувствуешь, что играешь ужасно. Я — чайка. Нѣтъ, не то... Помните, вы подстрѣлили чайку? Случайно пришелъ человѣкъ, увидѣлъ и отъ нечего дѣлать погубилъ... Сюжетъ для небольшого разсказа... Это не то... *(третъ себѣ лобъ)*. О чемъ я?.. Я говорю о сценѣ. Теперь ужъ я не такъ... Я уже настоящая актриса, я играю съ наслажденіемъ, съ востор-

гомъ, пьянью на сценѣ и чувствую себя прекрасной. А теперь, пока живу здѣсь, я все хожу пѣшкомъ, все хожу и думаю, думаю и чувствую, какъ съ каждымъ днемъ растуть мои душевныя силы... Я теперь знаю, понимаю, Костя, что въ нашемъ дѣлѣ — все равно, играемъ мы на сценѣ или пишемъ — главное не слава, не блескъ, не то, о чемъ я мечтала, а умѣнье терпѣть. Умѣй нести свой крестъ и вѣруй. Я вѣрую и мнѣ не такъ больно, и, когда я думаю о своемъ призваніи, то не боюсь жизни.

Треплевъ (*печально*). Вы нашли свою дорогу, вы знаете, куда идете, а я все еще ношусь въ хаосъ грезъ и образовъ, не зная, для чего и кому это нужно. Я не вѣрую и не знаю, въ чемъ мое призваніе.

Нина (*прислушиваясь*). Тсс... Я пойду. Прощайте. Когда я стану большою актрисой, прѣзжайте взглянуть на меня. Общаєте? А теперь... (*жметъ ему руку*). Уже поздно. Я сле на ногахъ стою... я истощена, мнѣ хочется ѣсть...

Треплевъ. Оставайтесь, я дамъ вамъ поужинать...

Нина. Нѣтъ, нѣтъ... Не провожайте, я сама дойду... Лошади мои близко... Значить, она привезла его съ собою? Что жъ, все равно. Когда увидите Тригорина, то не говорите ему ничего... Я люблю его. Я люблю его даже сильнѣе, чѣмъ прежде... Сюжетъ для небольшого рассказа... Люблю, люблю страстно, до отчаянія люблю. Хорошо было прежде, Костя! Помните? Какая ясная, теплая, радостная, чистая жизнь, какія чувства, — чувства, похожія на нѣжныя, изящныя цвѣты... Помните?.. (*читаетъ*). «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатыя олени, гуси, пауки, молчаливыя рыбы, обитавшія въ водѣ, морскія звѣзды и тѣ, которыхъ нельзя было видѣть глазомъ, — словомъ, всѣ жизни, всѣ жизни, всѣ жизни, свершивъ печальный кругъ, угасли. Уже тысячи вѣковъ, какъ земля не носитъ на себѣ ни одного живого существа, и эта бѣдная луна напрасно зажигаетъ свой фонарь. На лугу уже не просыпаются съ крикомъ

журавли, и майскихъ жуковъ не бываетъ слышно въ липовыхъ рощахъ»...

*(Обнимаетъ порывисто Треплева и убѣгаетъ въ стеклянную дверь).*

Треплевъ *(посль паузы)*. Не хорошо, если кто-нибудь встрѣтитъ ее въ саду и потомъ скажетъ мамѣ. Это можетъ огорчить маму...

*(Въ продолженіе двухъ минутъ молча рветъ въ свои рукописи и бросаетъ подъ столъ, потомъ отпираетъ правую дверь и уходитъ).*

Дорнь *(стараясь открыть лѣвую дверь)*. Странно. Дверь какъ будто заперта... *(входитъ и ставитъ на мѣсто кресло)*. Скачка съ препятствіями.

*(Входятъ Аркадина, Полина Андреевна, за ними Яковъ съ бутылками и Маша, потомъ Шамраевъ и Тригоринъ).*

Аркадина. Красное вино и пиво для Бориса Алексѣевича ставьте сюда, на столъ. Мы будемъ играть и пить. Давайте садиться, господа.

Полина Андреевна *(Якову)*. Сейчасъ же подавай и чай *(зажигаетъ свѣчи, садится за ломберный столъ)*.

Шамраевъ *(подводитъ Тригорина къ шкапу)*. Вотъ вещь, о которой я давеча говорилъ. *(достаетъ изъ шкапа чучело чайки)*. Вашъ заказъ.

Тригоринъ *(глядя на чайку)*. Не помню! *(подумавъ)* Не помню!

*(Направо за сценой выстрѣлъ; всѣ вздрагиваютъ).*

Аркадина *(испуганно)*. Что такое?

Дорнь. Ничего. Это, должно-быть, въ моей походной аптекѣ что-нибудь лопнуло. Не безпокойтесь *(уходитъ въ правую дверь, черезъ полминуты возвращается)*. Такъ и есть. Лопнула склянка съ берберомъ *(напѣваетъ)*. «Я вновь предъ тобою стою очарованъ»...

Аркадина *(сядая за столъ)*. Фу, я испугалась. Это мнѣ

напомнило, какъ... (*закрываетъ лицо руками*). Даже въ глазахъ потемнѣло...

Дорнъ (*перелистывая журналъ Тригорину*). Тутъ мѣсяца два назадъ была напечатана одна статья... письмо изъ Америки, и я хотѣлъ васъ спросить, между прочимъ... (*беретъ Тригорина за талию и отводитъ къ рампѣ*)... такъ какъ я очень интересуюсь этимъ вопросомъ... (*тономъ ниже, вполголоса*). Уведите отсюда куда-нибудь Ирину Николаевну. Дѣло въ томъ, что Константинъ Гавриловичъ застрѣлся...

*Занавѣсъ.*



# ДЯДЯ ВАНЯ.

Сцены изъ деревенской жизни въ четырехъ  
дѣйствiяхъ.

### ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

**Серебряковъ, Александръ Владиміровичъ**, отставной профессоръ.

**Елена Андреевна**, его жена, 27-ми лѣтъ.

**Софья Александровна (Соня)**, его дочь отъ перваго брака.

**Войницкая, Марія Васильевна**, вдова тайнаго совѣтника, мать первой жены профессора.

**Войницкій, Иванъ Петровичъ**, ея сынъ.

**Астровъ, Михаилъ Львовичъ**, врачъ.

**Телѣгинъ, Илья Ильичъ**, обѣднвшій помѣщикъ.

**Марина**, старая няня.

**Работникъ.**

Дѣйствіе происходитъ въ усадьбѣ Серебрякова.

## ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Садъ. Видна часть дома съ террасой. На аллеѣ подь старымъ тополемъ столъ, сервированный для чая. Скамьи, стулья; на одной изъ скамей лежитъ гитара. Недалеко отъ стола качели.—Третій часъ дня  
Пасмурно.

---

Марина (*сырая, малоподвижная старушка, сидитъ у самовара, вяжетъ чулокъ*) и Астровъ (*ходитъ возмъ*).

Марина (*наливаетъ стаканъ*). Кушай, батюшка.

Астровъ (*несотя принимаетъ стаканъ*). Что-то не хочется.

Марина. Можетъ, водочки выпьешь?

Астровъ. Нѣтъ. Я не каждый день водку пью. Къ тому же душно (*пауза*). Нянька, сколько прошло, какъ мы знакомы?

Марина (*раздумывая*). Сколько? Дай Богъ память... Ты пріѣхалъ сюда, въ эти края... когда?.. еще жива была Вѣра Петровна, Сонечкина мать. Ты при ней къ намъ двѣ зимы ѣздилъ. Ну, значить, лѣтъ одиннадцать прошло (*подумавъ*). А, можетъ, и больше..

Астровъ. Сильно я измѣнился съ тѣхъ поръ?

Марина. Сильно. Тогда ты молодой былъ, красивый, а теперь постарѣлъ. И красота уже не та. Тоже сказать — и водочку пьешь.

Астровъ. Да... Въ десять лѣтъ другимъ человѣкомъ сталъ. А какая причина? Заработался, нянька. Отъ утра до ночи все на ногахъ, покою не знаю, а ночью лежишь подъ одеяломъ и боишься, какъ бы къ больному не потащили. За все время, пока мы съ тобою знакомы, у меня ни одного дня не было свободнаго. Какъ не постарѣть? Да и сама-по-себѣ жизнь скучна, глупа, грязна... Затягиваетъ эта жизнь. Кругомъ тебя одни чудаки, сплошь одни чудаки; а поживешь съ ними года два-три и мало-по-малу самъ, незаметно для себя, становишься чудакомъ. Неизбѣжная участь (*закручивая свои длиннѣе усы*). Ишь, громадные усы выросли... Глупые усы. Я сталъ чудакомъ, нянька... Поглупѣть-то я еще не поглупѣлъ, Богъ милостивъ, мозги на своемъ мѣстѣ, но чувства какъ-то притупились. Ничего я не хочу, ничего мнѣ не нужно, никого я не люблю... Вотъ развѣ тебя только люблю (*цѣлуетъ ее въ голову*). У меня въ дѣтствѣ была такая же нянька.

Марина. Можетъ, ты кушать хочешь?

Астровъ. Нѣтъ. Въ Великому посту на третьей недѣлѣ поѣхалъ я въ Малицкое на эпидемію... Сыпной тифъ... Въ избахъ народъ въ повалку... Грязь, вонь, дымъ, телята на полу, съ больными вмѣстѣ... Поросята тутъ же... Возился я цѣлый день, не присѣлъ, маковой росинки во рту не было, а пріѣхалъ домой, не дають отдохнуть—привезли съ желѣзной дороги стрѣлочника; положилъ я его на столъ, чтобы ему операцію дѣлать, а онъ возьми и умри у меня подъ хлороформомъ. И когда вотъ не нужно, чувства проснулись во мнѣ, и защемило мою совѣсть, точно это я умышленно убилъ его... Сълъ я, закрылъ глаза—вотъ такъ, и думаю: тѣ, которые будутъ жить черезъ сто-двѣсти лѣтъ послѣ насъ и для которыхъ мы теперь пробиваемъ дорогу, помянутъ ли насъ добрымъ словомъ? Нянька, вѣдь не помянуть!

Марина. Люди не помянутъ, зато Богъ помянетъ.

Астровъ. Вотъ спасибо. Хорошо ты сказала.

*(Входитъ Войницкій).*

Войницкій *(выходитъ изъ дому; онъ выспался послѣ завтрака и имѣетъ помятый видъ; садится на скамью, поправляетъ свой щегольской галстукъ)*. Да... *(пауза)* Да...

Астровъ. Выспался?

Войницкій. Да... Очень *(зѣваетъ)*. Съ тѣхъ поръ, какъ здѣсь живетъ профессоръ со своею супругой, жизнь *(выбилась изъ колеи)*... Сплю не во время, за завтракомъ и обѣдомъ ѣмъ разные кабулы, пью вина... не здорово все это! Прежде минуты свободной не было, я и Соня работали— мое почтеніе, а теперь работаетъ одна Соня, а я сплю, ѣмъ, пью... Не хорошо!

Марина *(покачавъ головой)*. Порядок! Профессоръ встаетъ въ 12 часовъ, а самоваръ кипитъ съ утра, все его дожидается. Безъ нихъ обѣдали всегда въ первомъ часу, какъ вездѣ у людей, а при нихъ въ седьмомъ. Ночью профессоръ читаетъ и пишетъ, и вдругъ часу во второмъ звонокъ... Что такое, батюшки? Чаю! Буди для него народъ, ставь самоваръ... Порядок!

Астровъ. И долго они еще здѣсь проживутъ?

Войницкій *(свиститъ)*. Сто лѣтъ. Профессоръ рѣшилъ поселиться здѣсь.

Марина. Вотъ и теперь. Самоваръ уже два часа на столѣ, а они гулять пошли.

Войницкій. Идутъ, идутъ... Не волнуйся.

*(Слышны голоса; изъ глубины сада, возвращаясь съ прогулки, идутъ Серебряковъ, Елена Андреевна, Соня и Тельгинъ).*

Серебряковъ. Прекрасно, прекрасно... Чудесные виды.

Тельгинъ. Замѣчательные, ваше превосходительство.

Соня. Мы завтра поѣдемъ въ лѣсничество папа. Хочешь?

Войницкій. Господа, чай пить!

Серебряковъ. Друзья мои, пришлите мнѣ чай въ кабинетъ, будьте добры! Мнѣ сегодня нужно еще кое-что сдѣлать.

Соня. А въ лѣсничествѣ тебѣ непременно понравится...  
(Елена Андреевна, Серебряковъ и Соня уходятъ въ домъ;  
Телѣгинъ идетъ къ столу и садится возлѣ Марины).

Войницкій. Жарко, душно, а нашъ великій ученый въ пальто, въ калошахъ, съ зонтикомъ и въ перчаткахъ.

Астровъ. (Стало-быть, бережетъ себя.)

Войницкій. А какъ она хороша! Какъ хороша! Во всю свою жизнь не видѣлъ женщины красивѣе.

Телѣгинъ. Ёду ли я по полю, Марина Тимоѣевна, гуляю ли въ тѣнистомъ саду, смотрю ли на этотъ столъ, я испытываю неизъяснимое блаженство! Погода очаровательная, птички поютъ, живемъ мы всѣ въ мирѣ и согласіи, — Чего еще намъ? (принимая стаканъ). Чувствительно вамъ благодаренъ!

Войницкій (мечтательно). Глаза... Чудная женщина!

Астровъ. Расскажи-ка что-нибудь, Иванъ Петровичъ.

Войницкій (вяло). Что тебѣ рассказать?

Астровъ. Новаго нѣтъ ли чего?

Войницкій. Ничего. Все старо. Я тотъ же, что и былъ, пожалуй, сталъ хуже, такъ какъ облѣнился, ничего не дѣлаю и только ворчу, какъ старый хрѣнь. Моя старая галка, тапан, все еще лепечетъ про женскую эмансипацію; однимъ глазомъ смотритъ въ могилу, а другимъ ищетъ въ своихъ умныхъ книжкахъ зарю новой жизни.

Астровъ. А профессоръ?

Войницкій. А профессоръ попрежнему отъ утра до глубокой ночи сидитъ у себя въ кабинетѣ и пишетъ. «Напрягши умъ, наморщивши чело, все оды пишемъ, пишемъ, и ни себѣ, ни имъ похвалъ нигдѣ не слышимъ». Бѣдная бумага! Онъ бы лучше свою автобіографію написалъ. Какой это превосходный сюжетъ! Отставной профессоръ, понимаешь ли, старый сухарь, ученацъ вобла... Подагра, ревматизмъ, мигрень, отъ ревности и зависти вспухла печенка... Живеть эта вобла въ имѣньѣ своей первой жены, живеть по-

неволя, потому что жить въ городѣ ему не по карману. Вѣчно жалуется на свои несчастья, хотя, въ сущности, самъ необыкновенно счастливъ (*нервно*). Ты только подумай, какое счастье! Сынъ простого дьячка, бурсакъ, добился ученыхъ степеней и кафедры, сталъ его превосходительствомъ, зятемъ сенатора и проч. и проч. Все это неважно, впрочемъ. Но ты возьми вотъ что. Человѣкъ ровно двадцать пять лѣтъ читаетъ и пишетъ объ искусствѣ, ровно ничего не понимая въ искусствѣ. Двадцать пять лѣтъ онъ пережевываетъ чужія мысли о реализмѣ, натурализмѣ и всякомъ другомъ вздорѣ; двадцать пять лѣтъ читаетъ и пишетъ о томъ, что умнымъ давно уже извѣстно, а для глупыхъ неинтересно,—значить, двадцать пять лѣтъ переливаетъ изъ пустого въ порожнее. И въ то же время какое самомнѣніе! Какія претензіи! Онъ вышелъ въ отставку, и его не знаетъ ни одна живая душа, онъ совершенно неизвѣстенъ; значить, двадцать пять лѣтъ онъ занималъ чужое мѣсто. А посмотри: шагаетъ, какъ полубогъ!

**Астровъ.** Ну, ты, кажется, заидуешь.

**Войницкій.** Да, завидую! А какой успѣхъ у женщинъ! Ни одинъ Донъ-Жуанъ не знаетъ такого полного успѣха! Его первая жена, моя сестра, прекрасное, кроткое созданіе, чистая, какъ вотъ это голубое небо, благородная, великодушная, имѣвшая поклонниковъ больше чѣмъ онъ учениковъ,—любила его такъ, какъ могутъ любить одни только чистые ангелы такихъ же чистыхъ и прекрасныхъ, какъ они сами. Моя мать, его теща, до сихъ поръ обожаетъ его, и до сихъ поръ онъ внушаетъ ей священный ужасъ. Его вторая жена, красавица, умница—вы ее только-что видѣли—вышла за него, когда уже онъ былъ старъ, отдала ему молодость, красоту, свободу, свой блескъ. За что? Почему?

**Астровъ.** Она вѣрна профессору?

**Войницкій.** Къ сожалѣнію, да.

**Астровъ.** Почему же къ сожалѣнію?

Войницкій. Потому что эта вѣрность фальшива отъ начала до конца. Въ ней много риторики, но нѣтъ логики. Измѣнить старому мужу, котораго терпѣть не можешь,—это безнравственно; стараться же заглушить въ себѣ бѣдную молодость и живое чувство,—это не безнравственно.

Телѣгинь (*плачущимъ голосомъ*). Ваня, я не люблю, когда ты это говоришь. Ну, вотъ, право... Кто измѣняетъ женѣ или мужу, тотъ, значить, невѣрный человѣкъ, тотъ можетъ измѣнить и отечеству!

Войницкій (*съ досадой*). Заткни фонтанъ, Вафля!

Телѣгинь. Позволь, Ваня. Жена моя бѣжала отъ меня на другой день послѣ свадьбы съ любимымъ человѣкомъ по причинѣ моей непривлекательной наружности. Послѣ того я своего долга не нарушала. Я до сихъ поръ ее люблю и вѣренъ ей, помогаю, чѣмъ могу, и отдалъ свое имущество на воспитаніе дѣточекъ, которыхъ она прижила съ любимымъ человѣкомъ. Счастья я лишился, но у меня осталась гордость. А она? Молодость уже прошла, красота подъ влияніемъ законовъ природы поблекла, любимый человѣкъ скончался... Что же у нея осталось?

(*Входятъ Соня и Елена Андреевна; немного погодя входитъ Марія Васильевна съ книгой; она садится и читаетъ; ей даютъ чаю и она пьетъ не глядя.*)

Соня (*торопливо, нянь*). Тамъ, нянечка, мужики пришли. Поди, поговори съ ними, а чай я сама... (*наливаетъ чай*).  
(*Няня уходитъ. Елена Андреевна беретъ свою чашку и пьетъ, сидя на качеляхъ.*)

Астровъ (*Еленѣ Андреевнѣ*). Я вѣдь къ вашему мужу. Вы писали, что онъ очень боленъ, ревматизмъ и еще что-то, а оказывается, онъ здоровехонекъ.

Елена Андреевна. Вчера вечеромъ онъ хандрить, жаловался на боли въ ногахъ, а сегодня ничего...

Астровъ. А я-то, сломя голову, скакалъ тридцать верстъ.



Ну, да ничего, не впервой. Зато уж останусь у васъ до завтра и, по крайней мѣрѣ, выплусь *quantum satis*.

Соня. И прекрасно. Это такая рѣдкость, что вы у насъ ночуете. Вы, небось, не обѣдали?

Астровъ. Нѣтъ-съ, не обѣдалъ.

Соня. Такъ вотъ кстати и пообедаете. Мы теперь обѣдаемъ въ седьмомъ часу (*тѣтъ*). Холодный чай!

Телѣгинъ. Въ самоварѣ уже значительно понизилась температура.

Елена Андреевна. Ничего, Иванъ Ивановичъ, мы и холодный выпьемъ.

Телѣгинъ. Виновать-съ... Не Иванъ Ивановичъ, а Илья Ильичъ-съ... Илья Ильичъ Телѣгинъ, или, какъ нѣкоторые зовутъ меня по причинѣ моего рябого лица, Вафля. Я когда-то крестилъ Сонечку, и его превосходительство, вашъ супругъ, знаетъ меня очень хорошо. Я теперь у васъ живу-съ, въ этомъ имѣннн-съ... Если изволили замѣтить, я каждый день съ вами обѣдаю.

Соня. Илья Ильичъ нашъ помощникъ, правая рука (*тѣжно*). Давайте, крестненькій, я вамъ еще налью.

Марія Васильевна. Ахъ!

Соня. Что съ вами, бабушка?

Марія Васильевна. Забыла я сказать Александру... потеряла память... сегодня получила я письмо изъ Харькова отъ Павла Алексѣевича... Прислалъ свою новую брошюру...

Астровъ. Интересно?

Марія Васильевна. Интересно, но какъ-то странно. Опровергаетъ то, что семь лѣтъ назадъ самъ же защищалъ. Это ужасно!

Войницкій. Ничего нѣтъ ужаснаго. Пейте, мама, чай.

Марія Васильевна. Но я хочу говорить!

Войницкій. Но мы уже пятьдесятъ лѣтъ говоримъ и говоримъ, и читаемъ брошюры. Пора бы ужъ и кончить.

Марія Васильевна. Тебѣ почему-то неприятно слушать,

когда я говорю. Прости, Жань, но въ послѣдній годъ ты такъ измѣнился, что я тебя совершенно не узнаю... Ты былъ человѣкомъ опредѣленныхъ убѣжденій, свѣтлою личностью...

Войницкій. О, да! Я былъ свѣтлою личностью, отъ которой никому не было свѣтло... *(пауза)*. Я былъ свѣтлою личностью... Нельзя сострить ядовитѣй! Теперь мнѣ 47 лѣтъ. До прошлаго года я такъ же, какъ вы, нарочно старался отуманивать свои глаза вашею этою схоластикой, чтобы не видѣть настоящей жизни, — и думалъ, что дѣлаю хорошо. А теперь, если бы вы знали! Я ночи не сплю съ досады, отъ злости, что такъ глупо проворонилъ время, когда могъ бы имѣть все, въ чемъ отказывается мнѣ теперь моя старость!

Соня. Дядя Ваня, скучно!

Марія Васильевна *(сыну)*. Ты точно обвиняешь въ чемъ-то свои прежнія убѣжденія... Но виноваты не они, а ты самъ. Ты забывалъ, что убѣжденія сами-по-себѣ ничто, мертвая буква... Нужно было дѣло дѣлать.

Войницкій. Дѣло? Не всякій способенъ быть пишущимъ *perpetuum mobile*, какъ вашъ герръ профессоръ.

Марія Васильевна. Что ты хочешь этимъ сказать?

Соня *(умоляюще)*. Бабушка! Дядя Ваня! Умоляю васъ!

Войницкій. Я молчу. Молчу и извиняюсь.

*(Пауза)*.

Елена Андреевна. А хорошая сегодня погода... Не жарко...

*(Пауза)*.

Войницкій. Въ такую погоду хорошо повѣситься...  
*(Телькинъ настраиваетъ гитару. Марина ходитъ около дома и кличетъ куръ)*.

Марина. Ципъ, ципъ, ципъ...

Соня. Нянечка, зачѣмъ мужики приходили?

Марина. Все то же, оять все насчетъ пустоши. Ципъ ципъ, цапъ...

Соня. Кого ты это?

Марина. Пеструшка ушла съ цыплятами... Вороны бы не потаскали... (*уходитъ*).

(*Тельникъ играетъ польку; всѣ молча слушаютъ; входитъ работникъ*).

Работникъ. Господинъ докторъ здѣсь? (*Астрову*). Пожалуйста, Михаилъ Львовичъ, за вами пріѣхали.

Астровъ. Откуда?

Работникъ. Съ фабрики.

Астровъ (*съ досадой*). Покорно благодарю. Что-жь, надо ѣхать... (*мищеть глазами фуражку*). Досадно, чортъ подери...

Соня. Какъ это неприятно, право... Съ фабрики пріѣзжайте обѣдать.

Астровъ. Нѣтъ, ужъ поздно будетъ. Гдѣ ужъ... Куда ужъ... (*работнику*). Вотъ что, притащи-ка мнѣ, любезный, рюмку водки, въ самомъ дѣлѣ (*работникъ уходитъ*). Гдѣ ужъ... куда ужъ... (*нашелъ фуражку*). У Островскаго въ какой-то пьесѣ есть человѣкъ съ большими усами и малыми способностями... Такъ это я. Ну, честь имѣю, господа... (*Елена Андреевна*). Если когда-нибудь заглянете ко мнѣ, вотъ вмѣстѣ съ Софьей Александровной, то буду искренно радъ. У меня небольшое имѣньишко, всего десятинъ тридцать, но, если интересуетесь, образцовый садъ и питомникъ, какого не найдете за тысячу верстъ кругомъ. Рядомъ со мною казенное лѣсничество... Лѣсничій тамъ старъ, болѣетъ всегда, такъ что, въ сущности, я завѣдую всѣми дѣлами.

Елена Андреевна. Мнѣ уже говорили, что вы очень любите лѣса. Конечно, можно принести большую пользу, но развѣ это не мѣшаетъ вашему настоящему призванію? Вѣдь вы докторъ.

Астровъ. Одному Богу извѣстно, въ чемъ наше настоящее призваніе.

Елена Андреевна. И интересно?

Астровъ. Да, дѣло интересное.

Войницкій (съ ироніей). Очень!

Елена Андреевна (*Астрову*). Вы еще молодой человекъ, вамъ на видъ... ну, 36—37 лѣтъ... и, должно быть, не такъ интересно, какъ вы говорите. Все лѣсъ и лѣсъ. Я думаю, однообразно.

Соня. Нѣтъ, это чрезвычайно интересно. Михаилъ Львовичъ каждый годъ сажаетъ новые лѣса, и ему уже прислали бронзовую медаль и дипломъ. Онъ хлопочетъ, чтобы не истребляли старыхъ. Если вы выслушаете его, то согласитесь съ нимъ вполне. Онъ говоритъ, что лѣса украшаютъ землю, что они учатъ человекъ понимать прекрасное и внушаютъ ему величавое настроеніе. Лѣса смягчаютъ суровый климатъ. Въ странахъ, гдѣ мягкій климатъ, меньше тратится силъ на борьбу съ природой и потому тамъ мягче и нѣжнѣе человекъ; тамъ люди красивы, гибки, легко возбудимы, рѣчь ихъ изящна, движенія граціозны. У нихъ процвѣтаютъ науки и искусства, философія ихъ не мрачна, отношенія къ женщинѣ полны изящнаго благородства...

Войницкій (*смѣясь*). Bravo, bravo!.. Все это мило, но не убѣдительно, такъ что (*Астрову*) позволъ мнѣ, мой другъ, продолжать топить печи дровами и строить сараи изъ дерева.

Астровъ. Ты можешь топить печи торфомъ, а сараи строить изъ камня. Ну, я допускаю, руби лѣса изъ нужды, но зачѣмъ истреблять ихъ? Русскіе лѣса трещатъ подъ топоромъ, гибнутъ миллиарды деревьевъ, опустошаются жилища звѣрей и птицъ, мелѣютъ и сохнутъ рѣчки, исчезаютъ безвозвратно чудные пейзажи, и все оттого, что у лѣнливаго человекъ не хватаетъ смысла нагнуться и поднять съ земли гопливо (*Еленѣ Андреевнѣ*). Не правда ли, сударыня? Надо быть безразсуднымъ варваромъ, чтобы жечь въ своей печкѣ эту красоту, разрушать то, чего мы не можемъ создать.

Человѣкъ одаренъ разумомъ и творческою силой, чтобы преумножать то, что ему дано, но до сихъ поръ онъ не творилъ, а разрушалъ. Лѣсовъ все меньше и меньше, рѣки сохнутъ, дичь перевелась, климатъ испорченъ и съ каждымъ днемъ земля становится все бѣднѣе и безобразнѣе (*Войницкому*). Вотъ ты глядишь на меня съ ироніей и все, что я говорю, тебѣ кажется не серьезнымъ и... и, быть-можетъ, это въ самомъ дѣлѣ чудачество, но, когда я прохожу мимо крестьянскихъ лѣсовъ, которые я спасъ отъ порубки, или когда я слышу, какъ шумить мой молодой лѣсъ, посаженный моими руками, я сознаю, что климатъ немножко и въ моей власти, и что, если черезъ тысячу лѣтъ человѣкъ будетъ счастливъ, то въ этомъ немножко буду виновать и я. Когда я сажаю березку и потомъ вижу, какъ она зеленѣетъ и качается отъ вѣтра, душа моя наполняется гордостью, и я... (*увидѣвъ работника, который принесть на подносье рюмку водки*). Однако... (*пьетъ*) мнѣ пора. Все это, вѣроятно, чудачество, въ концѣ концовъ. Честь имѣю кланяться! (*идетъ къ дому*).

Соня (*беретъ его подъ руку и идетъ вмѣстѣ*). Когда же вы пріѣдете къ намъ?

Астровъ. Не знаю...

Соня. Опять черезъ мѣсяць?..

(*Астровъ и Соня уходятъ въ домъ; Марія Васильевна и Тельминъ остаются возлѣ стола; Елена Андреевна и Войницкій идутъ къ террасѣ*).

Елена Андреевна. А вы, Иванъ Петровичъ, опять вели себя невозможно. Нужно было вамъ раздражать Марію Васильевну, говорить о *perpetuum mobile*! И сегодня за завтракомъ вы опять спорили съ Александромъ. Какъ это мелко!

Войницкій. Но если я его ненавижу!

Елена Андреевна. Ненавидѣть Александра не за что, онъ такой же, какъ всѣ. Не хуже васъ.

Войницкій. Если бы вы могли видѣть свое лицо, свои движенія... Какая вамъ лѣнь жить! Ахъ, какая лѣнь!

Елена Андреевна. Ахъ, и лѣнь, и скучно! Всѣ бранять моего мужа, всѣ смотрять на меня съ сожалѣніемъ: несчастная, у нея старый мужъ! Это участіе ко мнѣ—о, какъ я его понимаю! Вотъ какъ сказалъ сейчасъ Астровъ: всѣ вы безразсудно губите лѣса и скоро на землѣ ничего не останется. Точно такъ вы безразсудно губите человѣка и скоро, благодаря вамъ, на землѣ не останется ни вѣрности, ни чистоты, ни способности жертвовать собою. Почему вы не можете видѣть равнодушно женщину, если она не ваша? Потому что,—правъ этотъ докторъ,—во всѣхъ васъ сидитъ бѣсъ разрушенія. Вамъ не жаль ни лѣсовъ, ни птицъ, ни женщинъ, ни другъ друга...

Войницкій. Не люблю я этой философіи! (*пауза*).

Елена Андреевна. У этого доктора утомленное, нервное лицо. Интересное лицо. Сонѣ, очевидно, онъ нравится, она влюблена въ него, и я ее понимаю. При мнѣ онъ былъ здѣсь уже три раза, но я застѣнчива и ни разу не поговорила съ нимъ, какъ слѣдуетъ, не обласкала его. Онъ подумалъ, что я зла. Вѣроятно, Иванъ Петровичъ, оттого мы съ вами такіе друзья, что оба мы нудные, скучные люди! Нудные! Не смотрите на меня такъ, я этого не люблю.

Войницкій. Могу ли я смотрѣть на васъ иначе, если я люблю васъ? Вы мое счастье, жизнь, моя молодость! Я знаю, шансы мои на взаимность ничтожны, равны нулю, но мнѣ ничего не нужно, позвольте мнѣ только глядѣть на васъ, слышать вашъ голосъ...

Елена Андреевна. Тихе, васъ могутъ услышать! (*идутъ въ домъ*).

Войницкій (*идя за нею*). Позвольте мнѣ говорить о своей любви, не гоните меня прочь, и это одно будетъ для меня величайшимъ счастьемъ...

Елена Андреевна. Это мучительно... (оба уходятъ съ дома).  
(Тельминъ бьетъ по струнамъ и играетъ полку; Марія  
Васильевна что-то записываетъ на поляхъ брошюры).

Занавѣсъ.

## ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

Столовая въ домѣ Серебрякова.—Ночь.—Слышно, какъ въ саду стучать сторожъ.

Серебряковъ (сидитъ въ креслѣ передъ открытымъ окномъ и дремлетъ) и Елена Андреевна (сидитъ подлѣ него и тоже дремлетъ).

Серебряковъ (очнувшись). Кто здѣсь? Соня, ты?

Елена Андреевна. Это я.

Серебряковъ. Ты, Леночка... Невыносимая боль!

Елена Андреевна. У тебя пледъ упалъ на полъ (кутаетъ ему ноги). Я, Александръ, затворю окно.

Серебряковъ. Нѣтъ, мнѣ душно... Я сейчасъ задремагъ и мнѣ снилось, будто у меня лѣвая нога чужая. Проснулся отъ мучительной боли. Нѣтъ, это не подагра, скорѣй ревматизмъ. Который теперь часъ?

Елена Андреевна. Двадцать минутъ перваго (пауза).

Серебряковъ. Утромъ поищи въ библиотекѣ Батюшкова. Кажется, онъ есть у насъ.

Елена Андреевна. А?

Серебряковъ. Поищи утромъ Батюшкова. Помнится, онъ былъ у насъ. Но отчего мнѣ такъ тяжело дышать?

Елена Андреевна. Ты усталъ. Вторую ночь не спишь.

Серебряковъ. Говорятъ, у Тургенева отъ подагры сдѣлалась грудная жаба. Боюсь, какъ бы у меня не было. Проклятая, отвратительная старость. Чортъ бы ее побралъ. Когда я постарѣлъ, я сталъ себѣ противенъ. Да и вамъ всѣмъ, должно быть, противно на меня смотрѣть.

Елена Андреевна. Ты говоришь о своей старости такимъ тономъ, какъ будто всё мы виноваты, что ты старъ.

Серебряковъ. Тебѣ же первой я противень.

*(Елена Андреевна отходитъ и садится поодаль).*

Серебряковъ. Конечно, ты права. Я не глупъ и понимаю. Ты молода, здорова, красива, жить хочешь, а я старикъ, почти трупъ. Что жъ? Развѣ я не понимаю? И, конечно, глупо, что я до сихъ поръ живъ. Но погодите, скоро я освобожу васъ всѣхъ. Недолго мнѣ еще придется тянуть.

Елена Андреевна. Я изнемогаю... Бога ради молчи.

Серебряковъ. Выходить такъ, что, благодаря мнѣ, всё изнемогли, скучаютъ, губятъ свою молодость, одинъ только я наслаждаюсь жизнью и доволенъ. Ну, да, конечно!

Елена Андреевна. Замолчи! Ты меня замучилъ!

Серебряковъ. Я всѣхъ замучилъ. Конечно.

Елена Андреевна *(сквозь слезы)*. Невыносимо! Скажи, что ты хочешь отъ меня?

Серебряковъ. Ничего.

Елена Андреевна. Ну, такъ замолчи. Я прошу.

Серебряковъ. Странное дѣло, заговорить Иванъ Петровичъ, или эта старая идиотка, Марья Васильевна, — и ничего, всё слушаютъ, но скажи я хоть одно слово, какъ всё начинаютъ чувствовать себя несчастными. Даже голосъ мой противень. Ну, допустимъ, я противень, я эгоистъ, я деспотъ, — но неужели я даже въ старости не имѣю нѣкакого права на эгоизмъ? Неужели я не заслужилъ? Неужели же, я спрашиваю, я не имѣю права на покойную старость, на вниманіе къ себѣ людей?

Елена Андреевна. Никто не оспариваетъ у тебя твоихъ правъ *(окно хлопаетъ отъ вѣтра)*. Вѣтеръ поднялся, я закрою окно *(закрываетъ)*. Сейчасъ будетъ дождь. Никто у тебя твоихъ правъ не оспариваетъ.

*(Пауза; сторожъ въ саду стучитъ и поетъ тѣсно).*

Серебряковъ. Всю жизнь-работать для науки, привыкнуть



къ своему кабинету, къ аудиторіи, къ почтеннымъ товарищамъ—и вдругъ, ни съ того, ни съ сего, очутиться въ этомъ слепѣ, каждый день видѣть тутъ глупыхъ людей, слушать ничтожные разговоры... Я хочу жить, я люблю успѣхъ, люблю извѣстность, шумъ, а тутъ—какъ въ ссылкѣ. Каждую минуту тосковать о прошломъ, слѣдить за успѣхами другихъ, бояться смерти... Не могу! Нѣтъ силъ! А тутъ еще не хотятъ простить мнѣ моей старости!

Елена Андреевна. Погоди, имѣй терпѣніе: черезъ пять-шесть лѣтъ и я буду стара.

*(Входитъ Соня).*

Соня. Папа, ты самъ приказалъ послать за докторомъ Астровымъ, а когда онъ пріѣхалъ, ты отказываешься принять его. Это не деликатно. Только напрасно побеспокоили человѣка...

Серебряковъ. На что мнѣ твой Астровъ? Онъ столько же понимаетъ въ медицинѣ, какъ я въ астрономіи.

Соня. Не выписывать же сюда для твоей подагры цѣлый медицинскій факультетъ.

Серебряковъ. Съ этимъ юродивымъ я и разговаривать не стану.

Соня. Это какъ угодно *(садится)*. Мнѣ все равно.

Серебряковъ. Который теперь часъ?

Елена Андреевна. Первый.

Серебряковъ. Душно... Соня, дай мнѣ со стола капли!

Соня. Сейчас *(подаетъ капли)*.

Серебряковъ *(раздраженно)*. Ахъ, да не эти! Ни о чемъ нельзя попросить!

Соня. Пожалуйста, не капризничай. Можетъ-быть, это нѣкоторымъ и нравится, но меня избавь, сдѣлай милость! Я этого не люблю. И мнѣ некогда, мнѣ нужно завтра рано вставать, у меня сѣнокось.

*(Входитъ Войницкій въ халатъ и со свѣчой).*

Войницкій. На дворѣ гроза собирается *(молнія)*. Вона.

какъ! Нелёпе и Соня, идите спать, я пришелъ васъ смѣнить.

Серебряковъ (*испуганно*). Нѣтъ, нѣтъ! Не оставляйте меня съ нимъ! Нѣтъ. Онъ меня заговоритъ!

Войницкій. Но надо же дать имъ покой! Онъ уже другую ночь не спятъ.

Серебряковъ. Пусть идутъ спать, но и ты уходи. Благодарю. Умоляю тебя. Во имя нашей прежней дружбы, не протестуй. Постъ поговоримъ.

Войницкій (*съ улыбкой*). Прженей нашей дружбы... Прженей...

Соня. Замолчи, дядя Ваня.

Серебряковъ (*женъ*). Дорогая моя, не оставяй меня съ нимъ! Онъ меня заговоритъ.

Войницкій. Это становится даже смѣшно.

(*Входитъ Марина со свѣчей*).

Соня. Ты бы ложилаь, нянечка. Уже поздно.

Марина. Самоваръ со стола не убранъ. Не очень-то ляжешь.

Серебряковъ. Всѣ не спятъ, изнемогають, одинъ только я блаженствую.

Марина (*подходитъ къ Серебрякову, нѣжно*). Что, батюшка? Больно? У меня у самой ноги гудуть, такъ и гудуть (*поправляетъ пледъ*). Это у васъ давняя болѣзнь. Вѣра Петровна, покойница, Сонечкина мать, бывало, ночи не спитъ, убивается... Очень ужъ она васъ любила... (*пауза*). Старые, что малые, хочется, чтобы пожалѣлъ кто, а старыхъ-то никому не жалко (*цѣлуетъ Серебрякова въ плечо*). Пойдемъ, батюшка, въ постель... Пойдемъ, свѣтикъ... Я тебя липовымъ чаемъ напою, ножки твои согрѣю... Богу за тебя помолюсь...

Серебряковъ (*растроганный*). Пойдемъ, Марина.

Марина. У самой-то у меня ноги такъ и гудуть, такъ и гудуть! (*ведетъ его вмѣстѣ съ Соней*). Вѣра Петровна,

бывало, все убивается, все плачетъ... Ты, Сонюшка, тогда была еще мала, глупа... Иди, иди, батюшка... (*Серебряковъ, Соня и Марина уходятъ*).

Елена Андреевна. Я замучилась съ нимъ. Едва на ногахъ стою.

Войницкій. Вы съ нимъ, а я съ самимъ собою. Вотъ уже третью ночь не сплю.

Елена Андреевна. Неблагополучно въ этомъ домѣ. Ваша мать ненавидитъ все, кромѣ своихъ брошюръ и профессора; профессоръ раздраженъ, мнѣ не вѣрить, васъ боится; Соня злится на отца, злится на меня и не говоритъ со мною вотъ уже двѣ недѣли; вы ненавидите мужа и открыто презираете свою мать; я раздражена и сегодня разъ двадцать принималась плакать... Неблагополучно въ этомъ домѣ.

Войницкій. Оставимъ философію!

Елена Андреевна. Вы, Иванъ Петровичъ, образованы и умны и, кажется, должны бы понимать, что міръ погибаетъ не отъ разбойниковъ, не отъ пожаровъ, а отъ ненависти, вражды, отъ всѣхъ этихъ мелкихъ дразгъ... Ваше бы дѣло не ворчать, а мирить всѣхъ.

Войницкій. Сначала помирите меня съ самимъ собою! Дорогая моя... (*припадаетъ къ ея рукѣ*).

Елена Андреевна. Оставьте! (*отнимаетъ руку*). Уходите!

Войницкій. Сейчасъ пройдетъ дождь и все въ природѣ освѣжится и легко вздохнетъ. Одного только меня не освѣжить гроза. Днемъ и ночью, точно домовою, душитъ меня мысль, что жизнь моя потеряна безвозвратно. Прошлое нѣтъ, оно глупо израсходовано на пустыки, а настоящее ужасно по своей нелѣпости. Вотъ вамъ моя жизнь и моя любовь: куда мнѣ ихъ дѣвать, что мнѣ съ ними дѣлать? Чувство мое гибнетъ даромъ, какъ лучъ солнца, попавшій въ яму, и самъ я гибну.

Елена Андреевна. Когда вы мнѣ говорите о своей любви, а какъ-то тупѣю и не знаю, что говорить. Простите, я

ничего. не могу сказать вамъ (*хочетъ идти*). Спокойной ночи.

Войницкій (*загораживая ей дорогу*). И если бы вы знали, какъ я страдаю отъ мысли, что рядомъ со мною въ этомъ же домѣ гибнетъ другая жизнь — ваша! Чего вы ждете? Какая проклятая философія мѣшаетъ вамъ? Поймите же, поймите...

Елена Андреевна (*пристально смотритъ на него*). Иванъ Петровичъ, вы пьяны!

Войницкій. Можетъ-быть, можетъ-быть...

Елена Андреевна. Гдѣ докторъ?

Войницкій. Онъ тамъ... у меня ночуетъ. Можетъ-быть, можетъ-быть... Все можетъ быть!

Елена Андреевна. И сегодня пили? Къ чему это?

Войницкій. Все-таки на жизнь похоже... Не мѣшайте мнѣ, Hélène!

Елена Андреевна. Раньше вы никогда не пили и никогда вы такъ много не говорили... Идите спать! Мнѣ съ вами скучно.

Войницкій (*припадая къ ея рукамъ*). Дорогая моя... чудная!

Елена Андреевна (*съ досадой*). Оставьте меня. Это, наконецъ, противно (*уходитъ*).

Войницкій (*одинъ*). Ушла... (*пауза*). Десять лѣтъ тому назадъ я встрѣчалъ ее у покойной сестры. Тогда ей было 17, а мнѣ 37 лѣтъ. Отчего я тогда не влюбился въ нее и не сдѣлалъ ей предложенія? Вѣдь это было такъ возможно! И была бы она теперь моею женой... Да... Теперь оба мы проснулись бы отъ грозы; она испугалась бы грома, а я держалъ бы ее въ своихъ объятіяхъ и шепталъ: «не бойся, я здѣсь». О, чудныя мысли, какъ хорошо, я даже смѣюсь... но, Боже мой, мысли путаются въ головѣ... Зачѣмъ я старъ? Зачѣмъ она меня не понимаетъ? Ея риторика, лѣнивая мораль, вздорныя, лѣнивыя мысли о погибели міра — все это мнѣ глубоко ненавистно (*пауза*). О, какъ я обмануть!

Я обожалъ этого профессора, этого жалкаго подагрика, я работалъ на него, какъ волъ! Я и Соня выжимали изъ этого имѣнія послѣдніе соки; мы, точно кулаки, торговали постнымъ масломъ, горохомъ, творогомъ, сами не доѣдали куска; чтобы изъ грошей и копеекъ собирать тысячи и посылать ему. Я гордился имъ и его наукой, я жилъ, я дышалъ имъ! Все, что онъ писалъ и изрекалъ, казалось мнѣ гениальнымъ... Боже, а теперь? Вотъ онъ въ отставкѣ, и теперь виденъ весь итогъ его жизни: послѣ него не останется ни одной страницы труда, онъ совершенно неизвѣстенъ, онъ ничто! Мыльный пузырь! И я обмануть... вижу,— глупо обмануть... (*входитъ Астровъ въ сюртукъ, безъ жилета и безъ галстука; онъ навеселя; за нимъ Телгинъ съ гитарой*).

Астровъ. Играй!

Телгинъ. Всѣ спать-съ!

Астровъ. Играй!

(*Телгинъ тихо наигрываетъ*).

Астровъ (*Войницкому*). Ты одинъ здѣсь? Дамъ нѣтъ? (*подбоченясь, тихо поетъ*). «Ходи хата, ходи печь, хозяину негдѣ лечь»... А меня гроза разбудила. Важный дождикъ. Который теперь часъ?

Войницкій. А чортъ его знаетъ.

Астровъ. Мнѣ какъ будто бы послышался голосъ Елены Андреевны.

Войницкій. Сейчасъ она была здѣсь.

Астровъ. Роскошная женщина (*осматриваетъ склянки на столѣ*). Лѣкарства. Какихъ только тутъ нѣтъ рецептовъ! И харьковскіе, и московскіе, и тульскіе... Всѣмъ городамъ надоѣлъ своею подагрой. Онъ боленъ, или притворяется?

Войницкій. Боленъ (*пауза*).

Астровъ. Что ты сегодня такой печальный? Профессора жаль, что ли?

Войницкій. Оставь меня.

Астровъ. А то, можетъ-быть, въ профессоршу влюбленъ? Войницкій. Она мой другъ.

Астровъ. Уже?

Войницкій. Что значить это «уже»?

Астровъ. Женщина можетъ быть другомъ мужчины лишь въ такой послѣдовательности: сначала пріятель, потомъ любовница, а затѣмъ ужь другъ.

Войницкій. Пошляческая философія.

Астровъ. Какъ? Да... Надо сознаться,—становлюсь пошлякомъ. Видишь, я и пьянъ. Обыкновенно, я напиваюсь такъ одинъ разъ въ мѣсяцъ. Когда бываю въ такомъ состояніи, то становлюсь нахальнымъ и наглымъ до крайности. Мнѣ тогда все ни почемъ! Я берусь за самыя трудныя операціи и дѣлаю ихъ прекрасно; я рисую самыя широкіе планы будущаго; въ это время я уже не кажусь себѣ чужакомъ и вѣрю, что приношу человѣчеству громадную пользу... громадную! И въ это время у меня своя собственная философская система, и всѣ вы, братцы, представляетесь мнѣ такими букашками... микробами (*Телѣгину*). Вафля, играй!

Телѣгинъ. Дружочекъ, я радъ бы для тебя всею душой, но пойми же,—въ домъ спать!

Астровъ. Играй!

(*Телѣгинъ тихо наирывааетъ*).

Астровъ. Выпить бы надо. Пойдемъ, тамъ, кажется, у насъ еще коньякъ остался. А какъ разсвѣтетъ, ко мнѣ поѣдемъ. Идешь? У меня есть фельдшеръ, который никогда не скажетъ «идеть», а «идѣть». Мошенникъ страшный. Такъ идѣть? (*увидѣвъ входящую Соню*). Извините, я безъ галстука (*быстро уходитъ; Телѣгинъ идетъ за нимъ*).

Соня. А ты, дядя Ваня, опять напился съ докторомъ. Подружились ясные соколы. Ну, тотъ ужь всегда такой, а ты-то съ чего? Въ твои годы это совсѣмъ не къ лицу.

Войницкій. Годы тутъ не при чемъ. Когда нѣтъ настоящей жизни, то живутъ миражами. Все-таки лучше, чѣмъ ничего.

Соня. Съно у насъ все скошено, идутъ каждый день дожди, все гниеть, а ты занимаешься миражами. Ты совсѣмъ забросилъ хозяйство... Я работаю одна, совсѣмъ изъ силъ выбилась... (*истуганно*). Дядя, у тебя на глазахъ слезы!

Войницкій. Какія слезы? Ничего нѣтъ... вздоръ... Ты сейчасъ взглянула на меня, какъ покойная твоя мать. Милая моя... (*жадно цѣлуетъ ея руки и лицо*). Сестра моя... милая сестра моя... гдѣ она теперь? Если бы она знала! Ахъ, если бы она знала!

Соня. Что? Дядя, что знала?

Войницкій. Тяжело, не хорошо... Ничего... Послѣ... Ничего... Я уйду... (*уходитъ*).

Соня (*стучитъ въ дверь*). Михаилъ Львовичъ! Вы не спите? На минутку!

Астровъ (*за дверью*). Сейчасъ! (*немного погодя входитъ: онъ уже въ жилеткѣ и галстукѣ*). Что прикажете?

Соня. Сами вы пейте, если это вамъ не противно, но, умоляю, не давайте пить дядѣ. Ему вредно.

Астровъ. Хорошо. Мы не будемъ больше пить (*пауза*). Я сейчасъ уѣду къ себѣ. Рѣшено и подписано. Пока запрягутъ, будетъ уже разсвѣтъ.

Соня. Дождь идетъ. Погодите до утра.

Астровъ. Гроза идетъ мимо, только краемъ захватить. Поѣду. И, пожалуйста, больше не приглашайте меня къ вашему отцу. Я ему говорю—подагра, а онъ—ревматизмъ; я прошу лежать, онъ сидитъ. А сегодня такъ и вовсе не сталъ говорить со мною.

Соня. Избалованъ (*ищетъ въ буфетѣ*). Хотите закусить?

Астровъ. Пожалуй, дайте.

Соня. Я люблю по ночамъ закусывать. Въ буфетѣ, кажется, что-то есть. Онъ въ жизни, говорятъ, имѣлъ большой успѣхъ у женщинъ, и его дамы избаловали. Вотъ берите сыръ (*оба стоятъ у буфета и пьютъ*).

Астровъ. Я сегодня ничего не ѣлъ, только пилъ. У вашего отца тяжелый характеръ (*достаетъ изъ буфета бутылку*). Можно? (*выпиваетъ рюмку*). Здѣсь никого нѣтъ и можно говорить прямо. Знаете, мнѣ кажется, что въ нашемъ домѣ я не выжилъ бы одного мѣсяца, задохнулся бы въ этомъ воздухѣ... Вашъ отецъ, который весь ушелъ въ свою подагру и въ книги, дядя Ваня со своею хандрой, ваша бабушка, наконецъ, ваша мачеха...

Соня. Что мачеха?

Астровъ. Въ человѣкѣ должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Она прекрасна, спора нѣтъ, но... вѣдь она только ѣсть, спать, гуляетъ, чаруетъ всѣхъ насъ своею красотой—и больше ничего. У нея нѣтъ никакихъ обязанностей, на нее работаютъ другіе... Вѣдь такъ? А праздная жизнь не можетъ быть чистою (*пауза*). Впрочемъ, быть-можетъ, я отношусь слишкомъ строго. Я не удовлетворенъ жизнью, какъ вашъ дядя Ваня, и оба мы становимся брюзгами.

Соня. А вы недовольны жизнью?

Астровъ. Вообще жизнь люблю, но нашу жизнь, уѣздную, русскую, обывательскую, терпѣть не могу и презираю ее всѣми силами моей души. А что касается моей собственной, личной жизни, то, ей-Богу, въ ней нѣтъ рѣшительно ничего хорошаго. Знаете, когда идешь темною ночью по лѣсу, и если въ это время вдали свѣтитъ огонекъ, то не замѣчаешь ни утомленія, ни потемокъ, ни колючихъ вѣтокъ, которыя бьютъ тебя по лицу... Я работаю,—вамъ это извѣстно,—какъ никто въ уѣздѣ, судьба бьетъ меня не переставая, порой страдаю я невыносимо, но у меня вдали нѣтъ огонька. Я для себя уже ничего не жду, не люблю людей... Давно уже никого не люблю.

Соня. Никого?

Астровъ. Никого. Нѣкоторую нѣжность я чувствую только къ вашей нянѣ—по старой памяти. Мужики однообразны



очень, не развиты, грязно живутъ, а съ интеллигенціей трудно ладить. Она утомляетъ. Всѣ они, наши добрые знакомые, мелко мыслятъ, мелко чувствуютъ и не видятъ дальше своего носа—просто-на-просто глупы. А тѣ, которые поумнѣе и покрупнѣе, истеричны, заѣдены анализомъ, рефлексомъ... Эти ноютъ, ненавистничаютъ, болѣзненно клеветуютъ, подходятъ къ человѣку бокомъ, смотрятъ на него искоса и рѣшаютъ: «О, это психопатъ!» или: «Это фразеръ!» А когда не знаютъ, какой ярлыкъ прилѣпить къ моему лбу, то говорятъ:—«Это странный человѣкъ, странный!». Я люблю дѣсь—это странно; я не ѣмъ мяса — это тоже странно. Непосредственнаго, чистаго, свободнаго отношенія къ природѣ и къ людямъ уже нѣтъ... Нѣтъ и нѣтъ! (*хочетъ выйти*).

Соня (*мнѣшаетъ ему*). Нѣтъ, прошу васъ, умоляю, не пейте больше.

Астровъ. Отчего?

Соня. Это такъ не идетъ къ вамъ! Вы изящны, у васъ такой нѣжный голосъ... Даже больше, вы, какъ никто изъ всѣхъ, кого я знаю,—вы прекрасны. Зачѣмъ же вы хотите походить на обыкновенныхъ людей, которые пьютъ и играютъ въ карты? О, не дѣлайте этого, умоляю васъ! Вы говорите всегда, что люди не творятъ, а только разрушаютъ то, что имъ дано свыше. Зачѣмъ же, зачѣмъ вы разрушаете самого себя? Не надо, не надо, умоляю, заклинаю васъ.

Астровъ (*протягиваетъ ей руку*). Не буду больше пить.

Соня. Дайте мнѣ слово.

Астровъ. Честное слово.

Соня (*крепко пожимаетъ руку*). Благодарю!

Астровъ. Баста! Я отрезвѣлъ. Видите, я уже совсѣмъ трезвъ и такимъ останусь до конца дней моихъ (*смотритъ на часы*). Итакъ, будемъ продолжать. Я говорю: мое время уже ушло, поздно мнѣ... Постарѣлъ, заработался, испоплился, притупились всѣ чувства, и, кажется, я уже не

могъ бы привязаться къ человѣку. Я никого не люблю и... уже не полюблю. Что меня еще захватываетъ, такъ это красота. Неравнодушенья я къ ней. Мнѣ кажется, что если бы вотъ Елена Андреевна захотѣла, то могла бы вскружить мнѣ голову въ одинъ день... Но вѣдь это не любовь, не привязанность... (*закрываетъ рукой глаза и вздрагиваетъ*).

Соня. Что съ вами?

Астровъ. Такъ... Въ Великомъ посту у меня больной умеръ подъ хлороформомъ.

Соня. Объ этомъ пора забыть (*пауза*). Скажите мнѣ, Михайль Львовичъ... Если бы у меня была подруга, или младшая сестра, и если бы вы узнали, что она... ну, положимъ, любить васъ, то какъ бы вы отнеслись къ этому?

Астровъ (*пожавъ плечами*). Не знаю. Должно быть, никакъ. Я даль бы ей понять, что полюбить ее не могу... да и не тѣмъ моя голова занята. Какъ ни какъ, а если вѣхать, то уже пора. Прощайте, голубушка, а то мы такъ до утра не кончимъ (*пожимаетъ руку*). Я пройду черезъ гостиную, если позволите, а то боюсь, какъ бы вашъ дядя меня не задержалъ (*уходитъ*).

Соня (*одна*). Онъ ничего не сказалъ мнѣ... Душа и сердце его все еще скрыты отъ меня, но отчего же я чувствую себя такою счастливою? (*смѣется отъ счастья*). Я ему сказала: вы изящны, благородны, у васъ такой нѣжный голосъ... Развѣ это вышло некстати? Голосъ его дрожить, ласкаеть... вотъ я чувствую его въ воздухѣ. А когда я сказала ему про младшую сестру, онъ не понялъ... (*ломая руки*). О, какъ это ужасно, что я не красива! Какъ ужасно! А я знаю, что я не красива, знаю, знаю... Въ прошлое воскресенье, когда выходили изъ церкви, я слышала, какъ говорили про меня, и одна женщина сказала: «она добрая, великодушная, но жаль, что она такъ не красива»... Не красива...

(*Входитъ Елена Андреевна*).

Елена Андреевна (*открываетъ окна*). Прогля гроза. Какой хорошей воздухъ! (*пауза*). Гдѣ докторъ?

Соня. Ушелъ (*пауза*).

Елена Андреевна. Софи!

Соня. Что?

Елена Андреевна. До какихъ поръ вы будете дуться на меня? Другъ другу мы не сдѣлали никакого зла. Зачѣмъ же намъ быть врагами? Полноте...

Соня. Я сама хотѣла... (*обнимаетъ ее*). Довольно сердиться.

Елена Андреевна. И отлично (*объ взволнованнн*).

Соня. Папа легъ?

Елена Андреевна. Нѣтъ, сидитъ въ гостиной... Не говоримъ мы другъ съ другомъ по цѣлымъ недѣлямъ и Богъ знаетъ, изъ-за чего... (*увидѣвъ, что буфетъ открытъ*). Что это?

Соня. Михаилъ Львовичъ ужиналъ.

Елена Андреевна. И вино есть... Давайте выпьемъ брудершафтъ.

Соня. Давайте.

Елена Андреевна. Изъ одной рюмочки... (*наливаетъ*). Этакъ лучше. Ну, значить—ты?

Соня. Ты. (*Пьютъ и цѣлуются*). Я давно уже хотѣла мнриться, да все какъ-то совѣстно было... (*плачетъ*).

Елена Андреевна. Что же ты плачешь?

Соня. Ничего, это я такъ.

Елена Андреевна. Ну, будетъ, будетъ... (*плачетъ*). Чудачка, и я заплакала... (*пауза*). Ты на меня сердита за то, что я будто вышла за твоего отца по расчету... Если вѣришь клятвамъ, то клянусь тебѣ,—я выходила за него по любви. Я увлеклась имъ, какъ ученымъ и извѣстнымъ человекомъ. Любовь была не настоящая, искусственная, но вѣдь мнѣ казалось тогда, что она настоящая. Я не виновата. А ты съ самой нашей свадьбы не переставала казнить меня своими умными подозрительными глазами.

Соня. Ну, миръ, миръ! Забудемъ.

Елена Андреевна. Не надо смотрѣть такъ — тебѣ это не идетъ. Надо всё въ вѣрить, иначе жить нельзя (*пауза*).

Соня. Скажи мнѣ по совѣсти, какъ другъ... Ты счастлива?

Елена Андреевна. Нѣтъ.

Соня. Я это знала. Еще одинъ вопросъ. Скажи откровенно, — ты хотѣла бы, чтобы у тебя былъ молодой мужъ?

Елена Андреевна. Какая ты еще дѣвочка. Конечно, хотѣла бы (*смѣется*). Ну, спроси еще что-нибудь, спроси...

Соня. Тебѣ докторъ нравится?

Елена Андреевна. Да, очень.

Соня (*смѣется*). У меня глупое лицо... да? Вотъ онъ ушелъ, а я все слышу его голосъ и шаги, а посмотрю на темное окно, — тамъ мнѣ представляется его лицо. Дай мнѣ высказаться... Но я не могу говорить такъ громко, мнѣ стыдно. Пойдемъ ко мнѣ въ комнату, тамъ поговоримъ. Я тебѣ кажусь глупою? Сознайся... Скажи мнѣ про него что-нибудь...

Елена Андреевна. Что же?

Соня. Онъ умный... Онъ все умѣетъ, все можетъ... Онъ и дѣлаетъ, и сажаетъ дѣсь...

Елена Андреевна. Не въ дѣлѣ и не въ медицинѣ дѣло... Милая моя, пойми, это талантъ! А ты знаешь, что значитъ талантъ? Смѣлость, свободная голова, широкій размахъ... Посадить деревцо и уже загадываетъ, что будетъ отъ этого черезъ тысячу лѣтъ, уже мерещится ему счастье челоуѣства. Такіе люди рѣдки, ихъ нужно любить... Онъ пьетъ, бываетъ грубоватъ, — но что за бѣда? Талантливый челоуѣкъ въ Россіи не можетъ быть чистенькимъ. Сама подумай, что за жизнь у этого доктора! Непролазная грязь на дорогахъ, морозы, метели, разстоянія громадныя, народъ грубый, дикій, кругомъ нужда, болѣзни, а при такой обстановкѣ тому, кто работаетъ и борется изо-дня-въ-день, трудно

сохранить себя къ сорока годамъ чистенькимъ и трезвымъ... (*цѣлуетъ ее*). Я отъ души тебѣ желаю, ты стоишь счастья... (*встаетъ*). А я нудная, эпизодическое лицо... И въ музыкѣ, и въ домѣ мужа, во всѣхъ романахъ—вездѣ, однимъ словомъ, я была только эпизодическимъ лицомъ. Собственно говоря, Соня, если вдуматься, то я очень, очень несчастна! (*ходитъ въ волненіи по сценѣ*). Нѣтъ мнѣ счастья на этомъ свѣтѣ. Нѣтъ! Что ты смѣешься?

Соня (*смѣется, закрывъ лицо*). Я такъ счастлива... счастлива!

Елена Андреевна. Мнѣ хочѣтся играть... Я сыграла бы теперь что-нибудь.

Соня. Сыграй (*обнимаетъ ее*). Я не могу спать... Сыграй!

Елена Андреевна. Сейчасъ. Твой отецъ не спитъ. Когда онъ боленъ, его раздражаетъ музыка. Поди спроси. Если онъ ничего, то сыграю. Поди.

Соня. Сейчасъ (*уходитъ*).

(*Въ саду стучитъ сторожъ*).

Елена Андреевна. Давно уже я не играла. Буду играть и плакать, плакать, какъ дура (*въ окно*). Это ты стучишь Ефимъ?

Голосъ сторожа. Я!

Елена Андреевна. Не стучи, баринъ нездоровъ.

Голосъ сторожа. Сейчасъ уйду! (*подсвистываетъ*). Эй, вы, Жучка, Мальчикъ! Жучка! (*пауза*).

Соня (*вернувшись*). Нельзя!

*Занавѣсъ.*

---

## ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

Гостиная въ домѣ Серебрякова. Три двери: направо, налѣво и посрединѣ.—День.

Войницкій, Соня (сидятъ) и Елена Андреевна (ходитъ по сценѣ, о чемъ-то думая).

Войницкій. Герръ профессоръ изволилъ выразить желаніе, чтобы сегодня всё мы собрались вотъ въ этой гостиной къ часу дня (*смотритъ на часы*). Безъ четверти часъ. Хочетъ о чемъ-то повѣдать міру.

Елена Андреевна. Вѣроятно, какое-нибудь дѣло.

Войницкій. Никакихъ у него нѣтъ дѣлъ. Пишетъ чепуху, брюзжитъ и ревнуетъ, больше ничего.

Соня (*тономъ упрека*). Дядя!

Войницкій. Ну, ну, виноватъ (*указываетъ на Елену Андреевну*). Полюбуйтесь: ходитъ и отъ лѣни шатается. Очень мило! Очень!

Елена Андреевна. Вы цѣлый день жужжите, все жужжите—какъ не надоѣсть! (*съ тоской*). Я умираю отъ скуки, не знаю, чтò мнѣ дѣлать.

Соня (*пожимая плечами*). Мало ли дѣла? Только бы захотѣла.

Елена Андреевна. Напримѣръ?

Соня. Хозяйствомъ занимайся, учи, лѣчи. Мало ли? Вотъ когда тебя и папы здѣсь не было, мы съ дядей Ваней сами ѣздили на базаръ мукой торговать.

Елена Андреевна. Не умѣю. Да и неинтересно. Это только въ идейныхъ романахъ учать и лѣчать мужиковъ, а какъ я, ни съ того, ни съ сего, возьму вдругъ и пойду ихъ лѣчить или учить?

Соня. А вотъ я такъ не понимаю, какъ это не идти и не учить. Погоди и ты привыкнешь (*обнимаетъ ее*). Не ску-

чай, родная (*смысь*). Ты скучаешь, не находишь себѣ мѣста, а скука и праздность заразительны. Смотри: дядя Ваня ничего не дѣлаетъ и только ходитъ за тобою, какъ тѣнь, я оставила свои дѣла и прибѣжала къ тебѣ, чтобы поговорить. Облѣнилась, не могу! Докторъ Михаилъ Львовичъ прежде бывалъ у насъ очень рѣдко, разъ въ мѣсяцъ, упростить его было трудно, а теперь онъ ѣздитъ сюда каждый день, бросилъ и свои дѣла, и медицину. Ты колдунья, должно быть.

Войницкій. Что томитесь? (*живо*). Ну, дорогая моя, роскошь, будьте умницей! Въ вашихъ жилахъ течетъ русалочья кровь, будьте же русалкой! Дайте себѣ волю хоть разъ въ жизни, влюбитесь поскорѣе въ какого-нибудь водяного по самыя уши — и бултыхъ съ головой въ омутъ, чтобы герръ профессоръ и всѣ мы только руками развели!

Елена Андреевна (*съ интеломъ*). Оставьте меня въ покоѣ! Какъ это жестоко! (*хочетъ уйти*).

Войницкій (*не пускаетъ ея*). Ну, ну, моя радость, простите... Извиняюсь (*цѣлуетъ руку*). Миръ.

Елена Андреевна. У ангела не хватило бы терпѣнія, согласитесь.

Войницкій. Въ знакъ мира и согласія я принесу сейчасъ букетъ розъ; еще утромъ для васъ приготовилъ... Осеннія розы—преlestныя, грустныя розы... (*уходитъ*).

Соня. Осеннія розы—преlestныя, грустныя розы... (*объемотряетъ въ окно*).

Елена Андреевна. Вотъ уже и сентябрь. Какъ-то мы проживемъ здѣсь зиму! (*пауза*). Гдѣ докторъ?

Соня. Въ комнатѣ у дяди Вани. Что-то пишеть. Я рада, что дядя Ваня ушелъ, мнѣ нужно поговорить съ тобою.

Елена Андреевна. О чемъ?

Соня. О чемъ? (*кладетъ ей голову на грудь*).

Елена Андреевна. Ну, полно, полно... (*приглаживаетъ ей волосы*). Полно.

Соня. Я не красива.

Елена Андреевна. У тебя прекрасные волосы.

Соня. Нѣтъ! (*охлаждается, чтобы взглянуть на себя въ зеркало*). Нѣтъ! Когда женщина не красива, то ей говорятъ: «у васъ прекрасные глаза, у васъ прекрасные волосы»... Я его люблю уже шесть лѣтъ, люблю больше, чѣмъ свою мать; я каждую минуту слышу его, чувствую пожатіе его руки; и я смотрю на дверь, жду, мнѣ все кажется, что онъ сейчасъ войдетъ. И вотъ, ты видишь, я все прихожу къ тебѣ, чтобы поговорить о немъ. Теперь онъ бываетъ здѣсь каждый день, но не смотритъ на меня, не видитъ... Это такое страданіе! У меня нѣтъ никакой надежды, нѣтъ, нѣтъ! (*съ отчаяніемъ*). О, Боже, пошли мнѣ силы... Я всю ночь молилась... Я часто подхожу къ нему, сама заговариваю съ нимъ, смотрю ему въ глаза... У меня уже нѣтъ гордости, нѣтъ силъ владѣть собою... Не удержалась и вчера призналась дядѣ Ванѣ, что люблю... И вся прислуга знаетъ, что я его люблю. Всѣ знаютъ.

Елена Андреевна. А онъ?

Соня. Нѣтъ. Онъ меня не замѣчаетъ.

Елена Андреевна (*съ раздумьемъ*). Странный онъ человѣкъ... Знаешь что? Позволь, я поговорю съ нимъ... Я осторожно, намеками... (*пауза*). Право, до какихъ же поръ быть въ неизвѣстности... Позволь!

(*Соня утвердительно киваетъ головой*).

Елена Андреевна. И прекрасно. Любить или не любить— это не трудно узнать. Ты не смущайся, голубка, не безпокойся, — я допрошу его осторожно, онъ и не замѣтитъ. Намъ только узнать: да, или нѣтъ? (*пауза*). Если нѣтъ, то пусть не бываетъ здѣсь. Такъ?

(*Соня утвердительно киваетъ головой*).

Елена Андреевна. Легче, когда не видишь. Откладывать въ долгій ящикъ не будемъ, допросимъ его теперь же. Онъ



собирался показать мнѣ какіе-то чертежи... Поди скажи, что я желаю его видѣть.

Соня (*въ сильномъ волненіи*). Ты мнѣ скажешь всю правду?

Елена Андреевна. Да, конечно. Мнѣ кажется, что правда, какая бы она ни была, все-таки не такъ страшна, какъ неизвѣстность. Положись на меня, голубка.

Соня. Да, да... Я скажу, что ты хочешь видѣть его чертежи... (*идетъ и останавливается возлѣ двери*). Нѣтъ, неизвѣстность лучше... Все-таки надежда...

Елена Андреевна. Что ты?

Соня. Ничего (*уходитъ*).

Елена Андреевна (*одна*). Нѣтъ ничего хуже, когда знаешь чужую тайну и не можешь помочь (*раздумывая*). Онъ не влюбленъ въ нее—это ясно, но отчего бы ему не жениться на ней? Она не красива, но для деревенскаго доктора, въ его годы, это была бы прекрасная жена. Умница, такая добрая, чистая... Нѣтъ, это не то, не то... (*пауза*). Я понимаю эту бѣдную дѣвочку. Среди отчаянной скуки, когда вмѣсто людей кругомъ бродятъ какія-то сѣрыя пятна, слышатся однѣ пошлости, когда только и знаютъ, что ѣдятъ, пьютъ, спятъ, иногда приѣзжаетъ онъ, не похожій на другихъ, красивый, интересный, увлекательный, точно среди потемокъ восходитъ мѣсяцъ ясный... Поддаться обаянію такого человѣка, забыться... Кажется, я сама увлеклась немножко. Да, мнѣ безъ него скучно, я вотъ улыбаюсь когда думаю о немъ... Этотъ дядя Ваня говоритъ, будто въ мопхѣ жилахъ течетъ русалочья кровь. «Дайте себѣ волю хоть разъ въ жизни».. Что жъ? Можетъ-быть, такъ и нужно... Улетѣть бы вольною птицейъ отъ всѣхъ васъ, отъ вашихъ сонныхъ фізіономій, отъ разговоровъ, забыть, что всѣ вы существуете на свѣтѣ... Но я труслива, застѣнчива... Меня замучить совѣсть... Вотъ онъ бываетъ здѣсь каждый день, я угадываю, зачѣмъ онъ здѣсь, и уже чувствую себя виноватою, готова пасть передъ Соней на колѣни, извиняться, плакать...

Астровъ (*входитъ съ картограммой*). Добрый день! (*пожимаетъ руку*). Вы хотѣли видѣть мою живопись?

Елена Андреевна. Вчера вы обѣщали показать мнѣ свои работы... Вы свободны?

Астровъ. О, конечно (*растягиваетъ на ломберномъ столѣ картограмму и укрѣпляетъ ее кнопками*). Вы гдѣ родились?

Елена Андреевна (*помогая ему*). Въ Петербургѣ.

Астровъ. А получили образование?

Елена Андреевна. Въ консерваторіи.

Астровъ. Для васъ, пожалуй, это неинтересно.

Елена Андреевна. Почему? Я, правда, деревни не знаю, но я много читала.

Астровъ. Здѣсь въ домѣ есть мой собственный столъ... Въ комнатѣ у Ивана Петровича. Когда я утомлюсь совершенно, до полного огупѣнія, то все бросаю и бѣгу сюда, и вотъ забавляюсь этой штукой часъ-другой... Иванъ Петровичъ и Софья Александровна щелкаютъ на счетахъ, а я сижу подлѣ нихъ за своимъ столомъ и мажу — и мнѣ тепло, покойно, и сверчокъ кричитъ. Но это удовольствіе я позволяю себѣ не часто, разъ въ мѣсяць... (*показывая на картограмму*). Теперь смотрите сюда. Картина нашего уѣзда, какимъ онъ былъ 50 лѣтъ назадъ. Темно- и свѣтло-зеленая краска означаетъ лѣса; половина всей площади занята лѣсомъ. Гдѣ по зелени положена красная сѣтка, тамъ водились лоси, козы... Я показываю тутъ и флору, и фауну. На этомъ озерѣ жили лебеди, гуси, утки, и, какъ говорятъ старики, птицы всякой была сила, видимо-невидимо: носилась она тучей. Кромѣ селъ и деревень, видите, тамъ и сямъ разбросаны разные выселки, хуторочки, раскольничьи скиты, водяныя мельницы... Рогатаго скота и лошадей было много. По голубой краскѣ видно. Напримѣръ, въ этой волости голубая краска легла густо; тутъ были цѣлыя табуны, и на каждый дворъ приходилось по

три лошади (*пауза*). Теперь посмотримъ ниже. То, что было 25 лѣтъ назадъ. Тутъ ужъ подъ лѣсомъ только одна треть всей площади. Козъ уже нѣтъ, но лоси есть. Зеленая и голубая краски уже блѣднѣе. И такъ далѣе, и такъ далѣе. Переходимъ къ третьей части: картина уѣзда въ настоящемъ. Зеленая краска лежитъ кое-гдѣ, но не сплошь, а пятнами; исчезли и лоси, и лебеди, и глухари... Отъ прежнихъ выселковъ, хуторковъ, скитовъ, мельницъ и слѣда нѣтъ. Въ общемъ, картина постепеннаго и несомнѣннаго вырожденія, которому, повидимому, остается еще какихъ-нибудь 10—15 лѣтъ, чтобы стать полнымъ. Вы скажете, что тутъ культурныя влiянія, что старая жизнь естественно должна была уступить мѣсто новой. Да, я понимаю, если бы на мѣстѣ этихъ истребленныхъ лѣсовъ пролегли шоссе, желѣзныя дороги, если бы тутъ были заводы, фабрики, школы,—народъ сталъ бы здоровѣе, богаче, умнѣе, но вѣдь тутъ ничего подобнаго! Въ уѣздѣ тѣ же болота, комары, то же бездорожье, нищета, тифъ, дифтеритъ, пожары... Тутъ мы имѣемъ дѣло съ вырожденіемъ вслѣдствіе не-посильной борьбы за существованіе; это вырожденіе отъ косности, отъ невѣжества, отъ полнѣйшаго отсутствія самосознанія, когда озябшій, голодный, больной человекъ, чтобы спасти остатки жизни, чтобы сберечь своихъ дѣтей, инстинктивно, безсознательно хватается за все, чѣмъ только можно утолить голодь, согрѣться, разрушаетъ все, не думая о завтрашнемъ днѣ... Разрушено уже почти все, но вза-мѣнъ не создано еще ничего (*холодно*). Я по лицу вижу, что это вамъ неинтересно.

Елена Андреевна. Но я въ этомъ такъ мало понимаю...

Астровъ. И понимать тутъ нечего, просто неинтересно.

Елена Андреевна. Откровенно говоря, мысли мои не тѣмъ заняты. Простите. Мнѣ нужно сдѣлать вамъ маленькій до-просъ, и я смущена, не знаю, какъ начать.

Астровъ. Допросъ?

Елена Андреевна. Да, допросъ, но... довольно невинный. Сядемъ! (*салятся*). Дѣло касается одной молодой особы. Мы будемъ говорить, какъ честные люди, какъ пріятели, безъ обиняковъ. Поговоримъ и забудемъ, о чемъ была рѣчь. Да?

Астровъ. Да.

Елена Андреевна. Дѣло касается моей падчерицы Сони. Она вамъ нравится?

Астровъ. Да, я ее уважаю.

Елена Андреевна. Она вамъ нравится, какъ женщина?

Астровъ (*не сразу*). Нѣтъ.

Елена Андреевна. Еще два-три слова—и конецъ. Вы ничего не замѣчали?

Астровъ. Ничего.

Елена Андреевна (*беретъ его за руку*). Вы не любите ея, по глазамъ вижу... Она страдаетъ... Поймите это и... перестаньте бывать здѣсь.

Астровъ (*встаетъ*). Время мое уже ушло... Да и некогда... (*пожавъ плечами*). Когда мнѣ? (*онъ смущенъ*).

Елена Андреевна. Фу, какой неприятный разговоръ! Я такъ волнуюсь, точно протащила на себѣ тысячу пудовъ. Ну, слава Богу, кончили. Забудемъ, будто не говорили вовсе, и... и уѣзжайте. Вы умный человекъ, поймете... (*пауза*). Я даже красная вся стала.

Астровъ. Если бы вы сказали мѣсяць-два назадъ, то я, пожалуй, еще подумалъ бы, но теперь... (*пожимаетъ плечами*). А если она страдаетъ, то, конечно... Только одного не понимаю: зачѣмъ вамъ понадобился этотъ допросъ? (*глядитъ ей въ глаза и грозитъ пальцемъ*). Вы—хитрая!

Елена Андреевна. Что это значить?

Астровъ (*смѣясь*). Хитрая! Положимъ, Соня страдаетъ, я охотно допускаю, но къ чему этотъ вашъ допросъ? (*мишя ей говорить, живо*). Позвольте, не дѣлайте удивленного лица, вы отлично знаете, зачѣмъ я бываю здѣсь каждый

день... Зачѣмъ и ради кого бываю, это вы отлично знаете. Хищница милая, не смотрите на меня такъ, я старый воробей...

Елена Андреевна (*въ недоумѣніи*). Хищница? Ничего не понимаю..

Астровъ. Красивый, пушистый хорекъ.. Вамъ нужны жертвы! Вотъ я уже цѣлый мѣсяцъ ничего не дѣлаю, бросилъ все, жадно ищу васъ — и это вамъ ужасно нравится, ужасно... Ну, что жъ? Я побѣжденъ, вы это знали и безъ допроса (*скрестивъ руки и нагнувъ голову*). Покоряюсь. На-те, вѣшайте!

Елена Андреевна. Вы съ ума сошли!

Астровъ (*смѣется сквозь зубы*). Вы застѣнчивы...

Елена Андреевна. О, я лучше и выше, чѣмъ вы думаете! Клянусь вамъ! (*хочетъ уйти*).

Астровъ (*загораживая ей дорогу*). Я сегодня уѣду, бывать здѣсь не буду, но... (*беретъ ее за руку, оглядывается*) гдѣ мы будемъ видѣться? Говорите скорѣе: гдѣ? Сюда могутъ войти, говорите скорѣе... (*страстно*). Какая чудная, роскошная.. Одинъ поцѣлуй... Мнѣ поцѣловать только ваши ароматные волосы...

Елена Андреевна. Клянусь вамъ...

Астровъ (*мѣшая ей говорить*). Зачѣмъ клясться? Не надо клясться. Не надо лишнихъ словъ... О, какая красивая! Какія руки! (*цѣлуетъ руки*).

Елена Андреевна. Но довольно, наконецъ... уходите... (*отнимаетъ руки*). Вы забылись.

Астровъ. Говорите же, говорите, гдѣ мы завтра увидимся? (*беретъ ее за талию*). Ты видишь, это неизбежно, намъ надо видѣться (*цѣлуетъ ее; въ это время входитъ Войницкій съ букетомъ розъ и останавливается у двери*).

Елена Андреевна (*не видя Войницкаго*). Пощадите... оставьте меня... (*кладетъ Астрову голову на грудь*). Нѣтъ! (*хочетъ уйти*).

Астровъ (*удерживая ее за талию*). Пріѣзжай завтра въ лѣсничество... часамъ къ двумъ... Да? Да? Ты пріѣдешь?

Елена Андреевна (*увидѣвъ Войницкаго*). Пустите! (*въ сильномъ смущеніи отходитъ къ окну*). Это ужасно.

Войницкій (*кладетъ букетъ на стулъ; волнуясь, вытираетъ платкомъ лицо и за воротникомъ*). Ничего... Да... Ничего...

Астровъ (*будуруя*). Сегодня, многоуважаемый Иванъ Петровичъ, погода не дурна. Утромъ было пасмурно, словно какъ бы на дождь, а теперь солнце. Говоря по совѣсти, осень выдалась прекрасная... и озими ничего себѣ (*свертываетъ картограмму въ трубку*). Вотъ только что: дни коротки стали... (*уходитъ*).

Елена Андреевна (*быстро подходитъ къ Войницкому*). Вы постараетесь, вы употребите все ваше вліяніе, чтобы я и мужъ уѣхали отсюда сегодня же! Слышите? Сегодня же!

Войницкій (*вытирая лицо*). А? Ну, да... хорошо... Я, Hélène, все видѣлъ, все...

Елена Андреевна (*нервно*). Слышите? Я должна уѣхать отсюда сегодня же!

(*Входятъ Серебряковъ, Соня, Телѣгинъ и Марина*).

Телѣгинъ. Я самъ, ваше превосходительство, что-то не совсѣмъ здоровъ. Вотъ уже два дня хвораю. Голова что-то того...

Серебряковъ. Гдѣ же остальные? Не люблю я этого дома. Какой-то лабиринтъ. Двадцать шесть громадныхъ комнатъ, разбредутся всѣ и никого никогда не найдешь (*звонитъ*). Пригласите сюда Марью Васильевну и Елену Андреевну!

Елена Андреевна. Я здѣсь.

Серебряковъ. Прошу, господа, садитесь.

Соня (*подойдя къ Еленѣ Андреевнѣ, нетерпливо*). Что онъ сказалъ?

Елена Андреевна. Послѣ.

Соня. Ты дрожишь? Ты взволнована? (*пытливо всматри-*

*вается въ ея лицо*). Я понимаю... Онъ сказалъ, что уже больше не будетъ бывать здѣсь... да? (*пауза*). Скажи: да? (*Елена Андреевна утвердительно киваетъ головою*).

Серебряковъ (*Тельмину*). Съ нездоровьемъ еще можно мириться, куда ни шло, но чего я не могу переварить, такъ это строя деревенской жизни. У меня такое чувство, какъ будто я съ земли свалился на какую-то чужую планету. Садитесь, господа, прошу васъ. Соня! (*Соня не слышитъ его, она стоитъ, печально опустивъ голову*). Соня! (*пауза*). Не слышитъ (*Маринѣ*). И ты, няня, садись (*няня садится и вяжетъ чулокъ*). Прошу, господа. Повѣсьте, такъ сказать, ваши уши на гвоздь вниманія (*смѣется*).

Войницкій (*волнуясь*). Я, быть-можетъ, не нуженъ? Могу уйти?

Серебряковъ. Нѣтъ, ты здѣсь нужнѣе всѣхъ.

Войницкій. Что вамъ отъ меня угодно?

Серебряковъ. Вамъ... Что же ты сердиться? (*пауза*). Если я въ чемъ виноватъ передъ тобою, то извини, пожалуйста.

Войницкій. Оставь этотъ тонъ. Приступимъ къ дѣлу... Что тебѣ нужно?

(*Входитъ Марія Васильевна*).

Серебряковъ. Вотъ и папап. Я начинаю, господа (*пауза*). Я пригласилъ васъ, господа, чтобы объявить вамъ, что къ намъ ѣдетъ ревизоръ. Впрочемъ, шутки въ сторону. Дѣло серьезное. Я, господа, собралъ васъ, чтобы попросить у васъ помощи и совѣта, и, зная всегдашнюю вашу любезность, надѣюсь, что получу ихъ. Человѣкъ я ученый, книжный и всегда былъ чуждъ практической жизни. Обойтись безъ указаній свѣдущихъ людей я не могу и прошу тебя, Иванъ Петровичъ, вотъ васъ, Илья Ильичъ, васъ, папап... Дѣло въ томъ, что папет omnes ипа пох, то-есть всѣ мы подъ Богомъ ходимъ; я старъ, боленъ и потому нахожу своевременнымъ регулировать свои имущественныя отношенія постольку, поскольку они касаются моей семьи.

Жизнь моя уже кончена, о себѣ я не думаю, но у меня молодая жена, дочь-дѣвушка (*пауза*). Продолжать жить въ деревнѣ мнѣ невозможно. Мы для деревни не созданы. Жить же въ городѣ на тѣ средства, какія мы получаемъ отъ этого имѣнія, невозможно. Если продать, положимъ, лѣсъ, то это мѣра экстраординарная, которою нельзя пользоваться ежегодно. Нужно изыскать такія мѣры, которыя гарантировали бы намъ постоянную, болѣе или менѣе опредѣленную цифру дохода. Я придумалъ одну такую мѣру и имѣю честь предложить ее на ваше обсужденіе. Минуты детали, изложу ее въ общихъ чертахъ. Наше имѣніе даетъ въ среднемъ размѣрѣ не болѣе двухъ процентовъ. Я предлагаю продать его. Если вырученные деньги мы обратимъ въ процентныя бумаги, то будемъ получать отъ четырехъ до пяти процентовъ, и я думаю, что будетъ даже излишекъ въ нѣсколько тысячъ, который намъ позволитъ купить въ Финляндіи небольшую дачу.

Войницкій. Постой... Мнѣ кажется, что мнѣ измѣняетъ мой слухъ. Повтори, что ты сказалъ.

Серебряковъ. Деньги обратить въ процентныя бумаги и на излишекъ, какой останется, купить дачу въ Финляндіи.

Войницкій. Не Финляндія... Ты еще что-то другое сказалъ.

Серебряковъ. Я предлагаю продать имѣніе.

Войницкій. Вотъ это самое. Ты продашь имѣніе, превосходно, богатая идея... А куда прикажешь дѣваться мнѣ со старухой-матерью и вотъ съ Соней?

Серебряковъ. Все это своевременно мы обсудимъ. Не сразу же.

Войницкій. Постой. Очевидно, до сихъ поръ у меня не было ни капли здраваго смысла. До сихъ поръ я имѣлъ глупость думать, что это имѣніе принадлежитъ Сонѣ. Мой покойный отецъ купилъ это имѣніе въ приданое для моей сестры. До сихъ поръ я былъ наивенъ, понималъ законы



не по-турецки и думалъ, что имѣніе отъ сестры перешло къ Сонѣ.

Серебряковъ. Да, имѣніе принадлежитъ Сонѣ. Кто спорить? Безъ согласія Сони я не рѣшусь продать его. Къ тому же я предполагаю сдѣлать это для блага Сони.

Войницкій. Это непостижимо, непостижимо! Или я съ ума сошелъ, или... или...

Марія Васильевна. Жанъ, не противорѣчь Александру. Вѣрь, онъ лучше насъ знаетъ, что хорошо и что дурно.

Войницкій. Нѣтъ, дайте мнѣ воды (*пьетъ воду*). Говорите, что хотите, что хотите!

Серебряковъ. Я не понимаю, отчего ты волнуешься. Я не говорю, что мой проектъ идеаленъ. Если всѣ найдутъ его негоднымъ, то я не буду настаивать (*пауза*).

Телѣгинъ (*въ смущеніи*). Я, ваше превосходительство, питаю къ наукѣ не только благоговѣніе, но и родственныя чувства. Брата моего Григорія Ильича жены братъ, можетъ, изволите знать, Константинъ Трофимовичъ Лакедемоновъ, былъ магистромъ...

Войницкій. Постой, Вафля, мы о дѣлѣ... Погоди, послѣ. (*Серебрякову*). Вотъ спроси ты у него. Это имѣніе куплено у его дяди.

Серебряковъ. Ахъ, зачѣмъ мнѣ спрашивать? Къ чему?

Войницкій. Это имѣніе было куплено по тогдашнему времени за девяносто пять тысячъ. Отецъ уплатилъ только семьдесятъ и осталось долгу двадцать пять тысячъ. Теперь слушайте... Имѣніе это не было бы куплено, если бы я не отказался отъ наслѣдства въ пользу сестры, которую горячо любилъ. Мало того, я десять лѣтъ работалъ, какъ волъ, и выплатилъ весь долгъ...

Серебряковъ. Я жалѣю, что началъ этотъ разговоръ.

Войницкій. Имѣніе чисто отъ долговъ и не разстроено только благодаря моимъ личнымъ усиліямъ. И вотъ, когда я сталъ старъ, меня хотятъ выгнать отсюда въ шею!

Серебряковъ. Я не понимаю, чего ты добиваешься!

Войницкій. Двадцать пять лѣтъ я управлялъ этимъ имѣніемъ, работалъ, высылалъ тебѣ деньги, какъ самый добросовѣстный приказчикъ, и за все время ты ни разу не поблагодарилъ меня. Все время—и въ молодости, и теперь—я получалъ отъ тебя жалованья пятьсотъ рублей въ годъ—нищенскія деньги!—и ты ни разу не догадался прибавить мнѣ хоть одинъ рубль!

Серебряковъ. Иванъ Петровичъ, почему же я зналъ? Я человекъ не практическій и ничего не понимаю. Ты могъ бы самъ прибавить себѣ, сколько угодно.

Войницкій. Зачѣмъ я не кралъ? Отчего вы всѣ не презираете меня за то, что я не кралъ? Это было бы справедливо и теперь я не былъ бы нищимъ!

Марія Васильевна (*строю*). Жанъ!

Телѣгинъ (*волнуясь*). Ваня, дружочекъ, не надо, не надо... я дрожу... Зачѣмъ портить хорошія отношенія? (*цѣлуетъ ея*). Не надо.

Войницкій. Двадцать пять лѣтъ я вотъ съ этою матерью, какъ крокъ, сидѣлъ въ четырехъ стѣнахъ... Всѣ наши мысли и чувства принадлежали тебѣ одному. Днемъ мы говорили о тебѣ, о твоихъ работахъ, гордились тобою, съ благоговѣніемъ произносили твое имя; ночи мы губили на то, что читали журналы и книги, которыя я теперь глубоко презираю!

Телѣгинъ. Не надо, Ваня не надо... Не могу...

Серебряковъ (*тѣсно*). Не понимаю, что тебѣ нужно?

Войницкій. Ты для насъ былъ существомъ высшаго порядка, а твои статьи мы знали наизусть... Но теперь у меня открылись глаза! Я все вижу! Пишешь ты объ искусствѣ, но ничего не понимаешь въ искусствѣ! Всѣ твои работы, которыя я любилъ, не стоять гроша мѣднаго! Ты морочилъ насъ!

Серебряковъ. Господа! Да уймите же его, наконецъ! Я уйду!

Елена Андреевна. Иванъ Петровичъ, я требую, чтобы вы замолчали! Слышите?

Войницкій. Не замолчу! (*запораживая Серебрякову дорогу*). Постой, я не кончилъ! Ты погубилъ мою жизнь! Я не жилъ, не жилъ! По твоей милости я истребилъ, уничтожилъ лучшіе годы своей жизни! Ты мой злѣйшій врагъ!

Телѣгинъ. Я не могу... не могу... Я уйду... (*съ сильною волнею уходитъ*).

Серебряковъ. Что ты хочешь отъ меня? И какое ты имѣешь право говорить со мною такимъ тономъ? Ничтожество! Если имѣніе твое, то бери его, я не нуждаюсь въ немъ!

Елена Андреевна. Я сію же минуту уѣзжаю изъ этого ада! (*кричитъ*). Я не могу дольше выносить!

Войницкій. Пропала жизнь! Я талантливъ, умень, смѣлъ... Если бы я жилъ нормально, то изъ меня могъ бы выйти Шопенгауэръ, Достоевскій... Я зарпортовался! Я съ ума схожу... Матушка, я въ отчаяніи! Матушка!

Марія Васильевна (*строю*). Слушайся Александра!

Соня (*становится передъ няней на колѣни и прижимается къ ней*). Няечка! Няечка!

Войницкій. Матушка! Что мнѣ дѣлать? Не нужно, не говорите! Я самъ знаю, что мнѣ дѣлать! (*Серебрякову*). Будешь ты меня помнить! (*уходитъ въ среднюю дверь*).

(*Марія Васильевна идетъ за нимъ*).

Серебряковъ. Господа, что же это такое, наконецъ? Уберите отъ меня этого сумасшедшаго! Не могу я жить съ нимъ подъ одною крышей! Живетъ тутъ (*указываетъ на среднюю дверь*), почти рядомъ со мною... Пусть перебирается въ деревню, во флигель, или я переберусь отсюда, но оставаться съ нимъ въ одномъ домѣ я не могу...

Елена Андреевна (*мужу*). Мы сегодня уѣдемъ отсюда! Необходимо распорядиться сію же минуту.

Серебряковъ. Ничтожнѣйшій человекъ!

Соня (*стоя на коленяхъ, оборачивается къ отцу; нервно, сквозь слезы*). Надо быть милосерднымъ, папа! Я и дядя Вапя такъ несчастны! (*сдерживая отчаяннiе*). Надо быть милосерднымъ! Вспомни, когда ты былъ помоложе, дядя Ваня и бабушка по ночамъ переводили для тебя книги, переписывали твои бумаги... всѣ ночи, всѣ ночи! Я и дядя Ваня работали безъ отдыха, боялись потратить на себя копейку и все посылали тебѣ... Мы не ѣли даромъ хлѣба! Я говорю не то, не то я говорю, но ты долженъ понять насъ, папа. Надо быть милосерднымъ!

Елена Андреевна (*взволнованная, мужу*). Александръ, ради Бога объяснись съ нимъ... Умоляю.

Серебряковъ. Хорошо, я объяснюсь съ нимъ... Я ни въ чемъ его не обвиняю, я не сержусь, но, согласитесь, поведенiе его по меньшей мѣрѣ странно. Извольте, я пойду къ нему (*уходитъ въ среднюю дверь*).

Елена Андреевна. Будь съ нимъ помягче, успокой его... (*уходитъ за нимъ*).

Соня (*прижимаясь къ нянѣ*). Нянечка! Нянечка!

Марина. Ничего, дѣточка. Погочутъ гусаки — и перестануть... Погочутъ—и перестануть...

Соня. Нянечка!

Марина (*кладетъ ее по голову*). Дрожишь, словно въ морозъ! Ну, ну, сиротка, Богъ милостивъ. Липоваго чайку, или малинки, оно и пройдетъ... Не горюй, сиротка... (*глядя на среднюю дверь съ сердцемъ*). Ишь расходились, гусаки, чтобъ вамъ пусто!

(*За сценой выстрѣлъ; слышно, какъ вскрикиваетъ Елена Андреевна; Соня вздрагиваетъ*).

Марина. У, чтобъ тебя!

Серебряковъ (*вбѣгаетъ, пошатываясь отъ испуга*). Удержите его! Удержите! Онъ сошелъ съ ума!

(*Елена Андреевна и Войницкiй борются въ дверяхъ*).

Елена Андреевна (*стараясь отнять у него револьверъ*).  
Отдайте! Отдайте, вамъ говорятъ!

Войницкій. Пустите, Hélène! Пустите меня! (*освободившись, вбѣгаетъ и ищетъ глазами Серебрякова*). Гдѣ онъ? А, вотъ онъ! (*стрѣляетъ въ него*). Бацъ! (*пауза*). Не попалъ? Опять промахъ?! (*съ швомъ*). А, чортъ, чортъ... чортъ бы побралъ... (*бьетъ револьверомъ объ полъ и въ невозможности садится на стулъ. Серебряковъ ошеломленъ; Елена Андреевна прислонилась къ стѣнѣ, ей дурно*).

Елена Андреевна. Увезите меня отсюда! Увезите, убейте, но... я не могу здѣсь оставаться, не могу!

Войницкій (*въ отчаяніи*). О, что я дѣлаю! Что я дѣлаю!

Соня (*тихо*). Нянечка! Нянечка!

*Занавѣсъ.*

## ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Комната Ивана Петровича; тутъ его спальня, тутъ же и контора имѣнія. У окна большой столъ съ приходо-расходными книгами и бумагами всякаго рода, конторка, шкапы, вѣсы. Столъ поменьше для Астрова; на этомъ столѣ принадлежности для рисованія, краски; возлѣ папка. Клѣтка со скворцомъ. На стѣнѣ карта Африки, видимо, никому здѣсь не нужная. Громадный диванъ, обитый клеенкой. На лѣво—дверь, ведущая въ покои; направо—дверь въ сѣни; подлѣ правой двери положень половикъ, чтобы не нагрязли мужики.—Осенній вечеръ. Тишина.

(Телѣгинъ и Марина сидятъ другъ противъ друга и мотають чулочную шерсть).

Телѣгинъ. Вы скорѣе, Марина Тимоѣевна, а то сейчасъ позовутъ прощаться. Уже приказали лошадей подавать.

Марина (*старается мотать быстрѣе*). Немного осталось.

Телѣгинъ. Въ Харьковъ увѣзжаютъ. Тамъ жить будутъ.

Марина. И лучше.

Телѣгинь. Напужались... Елена Андреевна «одного часа, говорить, не желаю жить здѣсь... уѣдемъ, да уѣдемъ... Поживемъ, говорить, въ Харьковѣ, оглядимся и тогда за вещами пришлемъ...» Налегкѣ уѣзжаютъ. Значить, Марина Тимоеевна, не судьба имъ жить тутъ. Не судьба... Фатальное предопредѣленіе.

Марина. И лучше. Давеча подняли шумъ, пальбу—срамъ одинъ!

Телѣгинь. Да, сюжетъ, достойный кисти Айвазовскаго.

Марина. Глаза бы мои не глядѣли (*пауза*). Опять заживемъ, какъ было, по-старому. Утромъ въ восьмомъ часу чай, въ первомъ часу обѣдъ, вечеромъ—ужинать садиться; все своимъ порядкомъ, какъ у людей... по-христіански (*со вздохомъ*). Давно уже я, грѣшница, лапши не ѣла.

Телѣгинь. Да, давненько у насъ лапши не готовили (*пауза*). Давненько... Сегодня утромъ, Марина Тимоеевна, иду я деревней, а лавочникъ мнѣ вслѣдъ: «Эй, ты, приживалъ!» И такъ мнѣ горько стало!

Марина. А ты безъ вниманія, батюшка. Всѣ мы у Бога приживалы. Какъ ты, какъ Соня, какъ Иванъ Петровичъ—никто безъ дѣла ни сидитъ, всѣ трудимся! Всѣ... Гдѣ Соня?

Телѣгинь. Въ саду. Съ докторомъ все ходитъ, Ивана Петровича ищетъ. Боятся, какъ бы онъ на себя рукъ не наложилъ.

Марина. А гдѣ его pistolеть?

Телѣгинь (*шепотомъ*). Я въ погребѣ спряталъ!

Марина (*съ усмѣшкой*). Грѣхи!

(*Входятъ со двора Войницкій и Астровъ*).

Войницкій. Оставьте меня (*Маринѣ и Телѣгину*). Уйдите отсюда, оставьте меня одного хоть на одинъ часъ! Я не терплю опеки.

Телѣгинь. Сію минуту, Ваня (*уходитъ на цыпочкахъ*).

Марина. Гусакъ: го-го-го! (*собираетъ шерсть и уходитъ*).

Войницкій. Оставь меня!

Астровъ. Съ большимъ удовольствіемъ, мнѣ давно уже нужно уѣхать отсюда, но, повторяю, я не уѣду, пока ты не возвратишь того, что взял у меня.

Войницкій. Я у тебя ничего не бралъ.

Астровъ. Seriously говорю—не задерживай. Мнѣ давно уже пора ѣхать.

Войницкій. Ничего я у тебя не бралъ (*оба садятся*).

Астровъ. Да? Что жъ, погожу еще немного, а потомъ извини, придется употребить насиліе. Свяжемъ тебя и обыщемъ. Говорю это совершенно серьезно.

Войницкій. Какъ угодно (*пауза*). Разыграть такого дурака: стрѣлять два раза и ни разу не попасть! Этого я себѣ никогда не прощу!

Астровъ. Пришла охота стрѣлять, ну, и палилъ бы въ лобъ себѣ самому.

Войницкій (*пожавъ плечами*). Странно. Я покушался на убійство, а меня не арестовываютъ, не отдаютъ подъ судъ. Значить, считают меня сумасшедшимъ (*злой смѣхъ*). Я—сумасшедшій, а не сумасшедшіе тѣ, которые подъ личиной профессора, ученаго мага, прячутъ свою бездарность, тупость, свое вопіющее безсердечіе. Не сумасшедшія тѣ, которыя выходятъ за стариковъ и потомъ у всѣхъ на глазахъ обманываютъ ихъ. Я видѣлъ, видѣлъ, какъ ты обнималъ ее!

Астровъ. Да-съ, обнималъ-съ, а тебѣ вотъ (*дѣлаетъ носъ*).

Войницкій (*глядя на дверь*). Нѣтъ, сумасшедшая земля, которая еще держитъ васъ!

Астровъ. Ну, и глупо.

Войницкій. Что жъ, я—сумасшедшій, невмѣняемъ, я имѣю право говорить глупости.

Астровъ. Стара штука. Ты не сумасшедшій, а просто чудакъ. Шутъ гороховый. Прежде и я всякаго чудака считалъ большимъ, ненормальнымъ, а теперь я такого мнѣнія,

что нормальное состояніе человѣка—это быть чудакомъ Ты вполне нормаленъ.

Войницкій (*закрываетъ лицо руками*). Стыдно! Если бы ты зналъ, какъ мнѣ стыдно! Это острое чувство стыда не можетъ сравниться ни съ какою болью (*съ тоской*). Невыносимо! (*склоняется къ столу*). Что мнѣ дѣлать? Что мнѣ дѣлать?

Астровъ. Ничего.

Войницкій. Дай мнѣ чего-нибудь! О, Боже мой... Мнѣ 47 лѣтъ; если, положимъ, я проживу до 60-ти, то мнѣ остается еще тринадцать. Долго! Какъ я проживу эти тринадцать лѣтъ? Что буду дѣлать, чѣмъ наполню ихъ? О, понимаешь... (*судорожно жметъ Астрову руку*) понимаешь, если бы можно было прожить остатокъ жизни какъ-нибудь по-новому. Проснуться бы въ ясное, тихое утро и почувствовать, что жить ты началъ снова, что все прошлое забыто, разсѣялось, какъ дымъ (*плачетъ*). Начать новую жизнь... Подскажи мнѣ, какъ начать... съ чего начать...

Астровъ (*съ досадою*). Э, ну тебя! Какая еще тамъ новая жизнь! Наше положеніе, твое и мое, безнадежно.

Войницкій. Да?

Астровъ. Я убѣжденъ въ этомъ.

Войницкій. Дай мнѣ чего-нибудь... (*показывая на сердце*). Жжетъ здѣсь.

Астровъ (*кричитъ сердито*). Перестань! (*смячившись*). Тѣ, которые будутъ жить черезъ сто, двѣсти лѣтъ послѣ насъ и которые будутъ презирать насъ за то, что мы прожили свои жизни такъ глупо и такъ безвкусно,—тѣ, быть-можетъ, найдутъ средство, какъ быть счастливыми, а мы... У насъ съ тобою только одна надежда и есть. Надежда, что когда мы будемъ почивать въ своихъ гробахъ, то насъ посѣтятъ видѣнія, быть-можетъ, даже пріятныя (*вздохнувъ*). Да, братъ. Во всемъ уѣздѣ было только два порядочныхъ, интеллигентныхъ человѣка: я да ты. Но въ какія-нибудь



десять лѣтъ жизнь обывательская, жизнь презрѣнная затушила насъ; она своими гнилыми испареніями отравила нашу кровь, и мы стали такими же пошляками, какъ всѣ *(живо)*. Но ты мнѣ зубовъ не заговаривай, однако. Ты отдай то, что взялъ у меня.

Войницкій. Я у тебя ничего не бралъ.

Астровъ. Ты взялъ у меня изъ дорожной аптеки баночку съ морфіемъ *(пауза)*. Послушай, если тебѣ, во что бы то ни стало, хочется покончить съ собою, то ступай въ лѣсъ и застрѣлись тамъ. Морфій же отдай, а то пойдутъ разговоры, догадки, подумаютъ, что это я тебѣ далъ... Съ меня же довольно и того, что мнѣ придется вскрывать тебя... Ты думаешь, это интересно? *(входитъ Соня)*.

Войницкій. Оставь меня.

Астровъ *(Сонѣ)*. Софья Александровна, вашъ дядя утащилъ изъ моей аптеки баночку съ морфіемъ и не отдаетъ. Скажите ему, что это... не умно, наконецъ. Да и некогда мнѣ. Мнѣ пора ѣхать.

Соня. Дядя Ваня, ты взялъ морфій? *(пауза)*.

Астровъ. Онъ взялъ. Я въ этомъ увѣренъ.

Соня. Отдай. Зачѣмъ ты насъ пугаешь? *(нѣжно)*. Отдай, дядя Ваня! Я, быть-можетъ, несчастна не меньше твоего, однакоже не прихожу въ отчаяніе. Я терплю и буду терпѣть, пока жизнь моя не окончится сама собою... Терпи и ты *(пауза)*. Отдай! *(цѣлуетъ ему руки)*. Дорогой, славный дядя, милый, отдай! *(плачетъ)*. Ты добрый, ты пожалѣешь насъ и отдашь. Терпи, дядя! Терпи!

Войницкій. *(достаетъ изъ стола баночку и подаетъ ее Астрову)*. На, возьми! *(Сонѣ)*. Но надо скорѣе работать, скорѣе дѣлать что-нибудь, а то не могу... не могу...

Соня. Да, да, работать. Какъ только проводимъ нашихъ, сядемъ работать... *(нервно перебираетъ на столѣ бумаги)*. У насъ все залущено.

Астровъ (*кладетъ баночку въ аптеку и затягиваетъ ремни*). Теперь можно и въ путь.

Елена Андреевна (*входитъ*). Иванъ Петровичъ, вы здѣсь? Мы сейчасъ уѣзжаемъ. Идите къ Александру, онъ хочетъ что-то сказать вамъ.

Соня. Иди, дядя Ваня (*беретъ Войницкаго подъ руку*). Пойдемъ. Папа и ты должны помириться. Это необходимо.  
(*Соня и Войницкій уходятъ*).

Елена Андреевна. Я уѣзжаю (*подаетъ Астрову руку*). Прощайте.

Астровъ. Уже?

Елена Андреевна. Лошади уже поданы.

Астровъ. Прощайте.

Елена Андреевна. Сегодня вы обѣщали мнѣ, что уѣдете отсюда.

Астровъ. Я помню. Сейчасъ уѣду (*пауза*). Испугались? (*беретъ ее за руку*). Развѣ это такъ страшно?

Елена Андреевна. Да.

Астровъ. А то остались бы! А? Завтра въ лѣсничество...

Елена Андреевна. Нѣтъ... Уже рѣшено... И потому я гляжу на васъ такъ храбро, что уже рѣшенъ отъѣздъ... Я объ одномъ васъ прошу: думайте обо мнѣ лучше. Мнѣ хочется, чтобы вы меня уважали.

Астровъ. Э! (*жестъ нетерпѣнія*). Оставайтесь, прошу васъ. Сознайтесь, дѣлать вамъ на этомъ свѣтѣ нечего, цѣли жизни у васъ никакой, занять вамъ своего вниманія нечѣмъ, и, рано или поздно, все равно поддадитесь чувству,—это неизбежно. Такъ ужъ лучше это не въ Харьковѣ и не гдѣ-нибудь въ Курскѣ, а здѣсь, на лонѣ природы... Поэтично, по крайней мѣрѣ, даже осень красива... Здѣсь есть лѣсничество, полуразрушенныя усадьбы во вкусѣ Тургенева...

Елена Андреевна. Какой вы смѣшной... Я сердита на васъ, но все же... буду вспоминать о васъ съ удовольствіемъ. Вы интересный, оригинальный человѣкъ. Больше мы съ вами

уже никогда не увидимся, а потому—зачѣмъ скрывать? Я даже увлеклась вами немножко. Ну, давайте пожмемъ другъ другу руки и разойдемся друзьями. Не поминайте лихомъ.

Астровъ (*пожмалъ руку*). Да, увѣжайте... (*съ раздумьемъ*). Какъ будто бы вы и хорошій, душевный человѣкъ, но какъ будто бы и что-то странное во всемъ вашемъ существѣ. Вотъ вы пріѣхали сюда съ мужемъ, и всѣ, которые здѣсь работали, копошились, создавали что-то, должны были побросать свои дѣла и все лѣто заниматься только подагрой вашего мужа и вами. Оба — онъ и вы — заразили всѣхъ насъ вашею праздностью. Я увлекся, цѣлый мѣсяць ничего не дѣлалъ, а въ это время люди болѣли, въ лѣсахъ моихъ, лѣсныхъ поросляхъ, мужики пасли свой скоть... Итакъ, куда бы ни ступили вы и вашъ мужъ, всюду вы вносите разрушеніе... Я шучу, конечно, но все же... странно, и я убѣжденъ, что если бы вы остались, то опустошеніе произошло бы громадное. И я бы погнѣбъ, да и вамъ бы... не одобровать. Ну, увѣжайте. *Finita la comedia!*

Елена Андреевна (*береть съ его стола карандашъ и быстро прячетъ*). Этотъ карандашъ я беру себѣ на память.

Астровъ Какъ-то странно... Были знакомы и вдругъ почему-то... никогда уже больше не увидимся. Такъ и все на свѣтѣ... Пока здѣсь никого нѣтъ, пока дядя Ваня не вошелъ съ букетомъ, позвольте мнѣ... поцѣловать васъ... На прощанье... Да? (*цѣлуетъ ее въ щеку*). Ну, вотъ... и прекрасно.

Елена Андреевна. Желая вамъ всего хорошаго (*оглянувшись*). Куда ни шло, разъ въ жизни! (*обнимаетъ его порывисто, и оба тотчасъ же быстро отходятъ другъ отъ друга*). Надо увѣжать.

Астровъ. Увѣжайте поскорѣе. Если лошади поданы, то отправляйтесь.

Елена Андреевна. Сюда идутъ, кажется (*оба прислушиваются*).

Астровъ. Finita!

(*Входятъ Серебряковъ, Войницкій, Марія Васильевна съ книгой, Телъгинъ и Соня*).

Серебряковъ (*Войницкому*). Кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ. Послѣ того, что случилось, въ эти нѣсколько часовъ я такъ много пережилъ и столько передумалъ, что, кажется, могъ бы написать въ назиданіе потомству цѣлый трактатъ о томъ, какъ надо жить. Я охотно принимаю твои извиненія и самъ прошу извинить меня. Прощай! (*цѣлуется съ Войницкимъ три раза*).

Войницкій. Ты будешь аккуратно получать то же, что получалъ и раньше. Все будетъ по-старому.

(*Елена Андреевна обнимаетъ Соню*).

Серебряновъ (*цѣлуется у Маріи Васильевны руку*). Матап...

Марія Васильевна (*цѣлуя его*). Александръ, снимитесь опять и пришлите мнѣ вашу фотографію. Вы знаете, какъ вы мнѣ дороги.

Телъгинъ. Прощайте, ваше превосходительство! Насъ не забывайте!

Серебряновъ (*поцѣловавъ дочь*). Прощай... Всѣ прощайте! (*подавая руку Астрову*). Благодарю васъ за пріятное общество... Я уважаю вашъ образъ мыслей, ваши увлеченія, порывы, но позвольте старику внести въ мой прощальный привѣтъ только одно замѣчаніе: надо, господа, дѣло дѣлать! Надо дѣло дѣлать! (*общій поклонъ*). Всего хорошаго! (*уходитъ; за нимъ идутъ Марія Васильевна и Соня*).

Войницкій (*крепко цѣлуется руку у Елены Андреевны*). Прощайте... Простите... Никогда больше не увидимся.

Елена Андреевна (*растроганная*). Прощайте, голубчикъ (*цѣлуется его въ голову и уходитъ*).

Астровъ (*Телъгину*). Скажи тамъ, Вафля, чтобы заодно кстати подавали и мнѣ лошадей.

Телъгинъ. Слушаю, дружочекъ (*уходитъ*).

(*Остаются только Астровъ и Войницкій*).

Астровъ (утираетъ со стола краски и прячетъ ихъ въ чемоданъ). Чтò же ты не идешь проводить?

Войницкій. Пусть уѣзжаютъ, а я... я не могу. Мнѣ тяжело. Надо поскорѣй занять себя чѣмъ-нибудь... Работать, работать! (рвется въ бумагахъ на столъ).

(Пауза; слышны звонки).

Астровъ. Уѣхали. Профессоръ радъ, небось. Его теперь сюда и калачомъ не заманишь.

Марина (входитъ). Уѣхали (садится въ кресло и вязетъ чулокъ).

Соня (входитъ). Уѣхали (утираетъ глаза). Дай Богъ благополучно (дядъ). Ну, дядя Ваня, давай дѣлать что-нибудь.

Войницкій. Работать, работать...

Соня. Давно, давно уже мы не сидѣли вмѣстѣ за этимъ столомъ (зажигаетъ на столъ лампу). Чернилъ, кажется, нѣтъ... (беретъ чернильницу, идетъ къ шкапу и наливаетъ чернилъ). А мнѣ грустно, что они уѣхали.

Марія Васильевна (медленно входитъ). Уѣхали! (садится и погружается въ чтеніе).

Соня (садится за столъ и перелистываетъ конторскую книгу). Напишемъ, дядя Ваня, прежде всего счета. У насъ страшно запущено. Сегодня опять прислали за счетомъ. Пиши. Ты пиши одинъ счетъ, я—другой...

Войницкій (пишетъ). «Счетъ... господину...» (оба пишутъ молча).

Марина (зѣваетъ). Баньки захотѣлось...

Астровъ. Тишина. Перья скрипятъ, сверчокъ кричитъ. Тепло, уютно... Не хочется уѣзжать отсюда (слышны бубенчики). Вотъ подають лошадей... Остается, стало-быть, проститься съ вами, друзья мои, проститься со своимъ столомъ и—айда! (укладываетъ картограммы въ папку).

Марина. И чего засуетился? Сидѣлъ бы.

Астровъ. Нельзя.

Войницкій (*пишетъ*). «И стараго долга осталось два семьдесятъ пять»...

(*Входитъ работникъ*).

Работникъ. Михайль Львовичъ, лошади поданы.

Астровъ. Слышалъ (*подаетъ ему аптечку, чемоданъ и папку*). Вотъ, возьми это. Гляди, чтобы не помять папку.

Работникъ. Слушаю (*уходитъ*).

Астровъ. Ну-съ... (*идетъ проститься*).

Соня. Когда же мы увидимся?

Астровъ. Не раньше лѣта, должно-быть. Зимой едва ли... Само собою, если случится что, то дайте знать—пріѣду (*пожимаетъ руки*). Спасибо за хлѣбъ, за соль, за ласку... однимъ словомъ, за все (*идетъ къ нянѣ и цѣлуетъ ее въ шюлову*). Прощай, старая.

Марина. Такъ и уѣдешь безъ чаю?

Астровъ. Не хочу, нянька.

Марина. Можетъ, водочки выпьешь?

Астровъ (*неръшительно*). Пожалуй...

(*Марина уходитъ*).

Астровъ (*послѣ паузы*). Моя пристяжная что-то захромала. Вчера еще замѣтилъ, когда Петрушка водилъ поить.

Войницкій. Перековать надо.

Астровъ. Придется въ Рождественномъ заѣхать къ кузнецу. Не миновать (*подходитъ къ картѣ Африки и смотритъ на нее*). А, должно-быть, въ этой самой Африкѣ теперь жарыща—страшное дѣло!

Войницкій. Да, вѣроятно.

Марина (*возвращается съ подносомъ, на которомъ рюмка водки и кусочекъ хлѣба*). Кушай.

(*Астровъ пьетъ водку*).

Марина. На здоровье, батюшка (*низко кланяется*). А ты бы хлѣбцемъ закусь.

Астровъ. Нѣтъ, я и такъ... Затѣмъ, всего хорошаго! (*Маринѣ*). Не провожай меня, нянька. Не надо.

*(Онъ уходитъ; Соня идетъ за нимъ со свѣчей, чтобы про-  
водить его; Марина садится въ свое кресло).*

Войницкій *(пишетъ)*. «2-го февраля масла постнаго 20 фунтовъ... 16-го февраля опять масла постнаго 20 фунтовъ... Гречневой крупы...» *(пауза)*.

*(Слышны бубенчики).*

Марина. Уѣхалъ.

*(Пауза).*

Соня *(возвращается, ставитъ свѣчу на столъ)*. Уѣхалъ...

Войницкій *(сосчиталъ на счетахъ и записываетъ)*. Итого... пятнадцать... двадцать пять...

*(Соня садится и пишетъ).*

Марина *(зѣваетъ)*. Охъ, грѣхи наши...

*(Телгинъ входитъ на цыпочкахъ, садится у двери и тихо настраиваетъ итару).*

Войницкій *(Соня, проведя рукой по ея волосамъ)*. Дитя мое, какъ мнѣ тяжело! О, если бъ ты знала, какъ мнѣ тяжело!

Соня. Чтò же дѣлать, надо жить! *(пауза)*. Мы, дядя Ваня, будемъ жить. Проживемъ длинный - длинный рядъ дней, долгихъ вечеровъ; будемъ терпѣливо сносить испытанія, какія пошлетъ намъ судьба; будемъ трудиться для другихъ и теперь, и въ старости, не зная покоя, а когда наступитъ нашъ часъ, мы покорно умремъ и тамъ за гробомъ мы скажемъ, что мы страдали, что мы плакали, что намъ было горько, и Богъ сжалятся надъ нами, и мы съ тобою, дядя, милый дядя, увидимъ жизнь свѣтлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся и на теперешнія наши несчастья оглянемся съ умиленіемъ, съ улыбкой — и отдохнемъ. Я вѣрую, дядя, я вѣрую горячо, страстно... *(становится передъ нимъ на колѣни и кладетъ голову на его руки; утомленнымъ голосомъ)*. Мы отдохнемъ!

*(Телгинъ тихо играетъ на итарѣ).*

**Соня.** Мы отдохнем! Мы услышимъ ангеловъ, мы увидимъ все небо въ алмазахъ, мы увидимъ, какъ все зло земное, всѣ наши страданія потонуть въ милосердіи, которое наполнить собою весь міръ, и наша жизнь станетъ тихою, нѣжною, сладкою, какъ ласка. Я вѣрую, вѣрую... *(вытираетъ ему платкомъ слезы)*. Бѣдный, бѣдный дядя Ваня, ты плачешь... *(сквозь слезы)*. Ты не зналъ въ своей жизни радостей, но погоди, дядя Ваня, погоди... Мы отдохнемъ... *(обнимаетъ его)*. Мы отдохнемъ!

*(Стучитъ сторожъ).*

*(Тельгинъ тихо наигрываетъ; Марія Васильевна пишетъ на поляхъ брошюры; Марина вяжетъ чулокъ).*

**Соня.** Мы отдохнемъ!

*Занавѣсь медленно опускается.*





# СВАДЪБА.

Сцена въ одномъ дѣйстви.

## ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА.

Евдокимъ Захаровичъ Жигаловъ, отставной коллежскій регистраторъ.  
Настасья Тимофеевна, его жена.

Дашенька, ихъ дочь.

Эпаминондъ Максимовичъ Апломбовъ, ея женихъ.

Федоръ Яковлевичъ Ревуновъ-Карауловъ, капитанъ 2-го ранга въ от-  
ставкѣ.

Андрей Андреевичъ Юнинъ, агентъ страхового общества.

Анна Мартыновна Зиѣюкина, акушерка 30 лѣтъ, въ ярко-пунцовомъ  
платьѣ.

Иванъ Михайловичъ Ять, телеграфистъ.

Харлампій Спиридоновичъ Дымба, грекъ кондитеръ.

Дмитрій Степановичъ Мозговой, матросъ изъ Добровольнаго флота.

Шафера, кавалеры, лакеи и проч.

Дѣйствіе происходитъ въ одной изъ залъ кухмистра Андропова.

---

*Ярко освещенная зала. Большой столъ, накрытый для ужина. Около стола хлопочутъ лакеи во фракахъ. За сценой музыка играетъ послѣднюю фигуру кадрили.*

**Змѣюкина, Ять и шаферъ** (*идутъ черезъ сцену*).

**Змѣюкина.** Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ!

**Ять** (*идя за ней*). Сжалтесы! Сжалтесы!

**Змѣюкина.** Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ!

**Шаферъ** (*стѣша за ними*). Господа, такъ нельзя! Куда же вы? А гран-ронъ? Гран-ронъ силь-ву-пле! (*уходятъ*).

*Входятъ Настасья Тимофеевна и Апломбовъ.*

**Настасья Тимофеевна.** Чѣмъ тревожить меня разными словами, вы бы лучше шли танцовать.

**Апломбовъ.** Я не Спиноза какой-нибудь, чтобъ выдѣлывать ногами кренделя. Я человекъ положительный и съ характеромъ, и не вижу никакого развлечения въ пустыхъ удовольствіяхъ. Но дѣло не въ танцахъ. Простите, тапан, но я многого не понимаю въ вашихъ поступкахъ. Напримеръ, кромѣ предметовъ домашней необходимости, вы обѣщали также дать мнѣ за вашей дочерью два выигрышныхъ билета. Гдѣ они?

**Настасья Тимофеевна.** Голова у меня что-то разболѣлась... Должно, къ непогодѣ... Быть оттепели!

**Апломбовъ.** Вы мнѣ зубовъ не заговаривайте. Сегодня же я узналъ, что ваши билеты въ залогъ. Извините, папаша, но такъ поступаютъ одни только эксплуататоры. Я вѣдь это не изъ эгоистичизма—мнѣ ваши билеты не нужны, но я изъ принципа, и надувать себя никому не позволю. Я вашу дочь осчастливилъ и, если вы мнѣ не отдадите сегодня билетовъ, то я вашу дочь съ кашей съѣмъ. Я человекъ благородный!

**Настасья Тимофеевна** (*оглядывая столъ и считая приборы*). Разъ, два, три, четыре, пять...

**Лакей.** Поваръ спрашиваетъ, какъ прикажете подавать мороженое: съ ромомъ, съ мадерой, или безъ никого?

**Апломбовъ.** Съ ромомъ. Да скажи хозяину, что вина мало. Скажи, чтобъ еще го-сотерну поставилъ. (*Настасья Тимофеевна*) Вы также общались и уговоръ такой былъ, что сегодня за ужиномъ будетъ генералъ. А гдѣ онъ, спрашивается?

**Настасья Тимофеевна.** Это, батюшка, не я виновата.

**Апломбовъ.** Кто же?

**Настасья Тимофеевна.** Андрей Андреичъ виноватъ... Вчерась онъ былъ и общалъ привестъ самаго настоящаго генерала. (*вздыхаетъ*) Должно, не нашелъ нигдѣ, а то привелъ бы... Нешто намъ жалко? Для родного дитя мы ничего не пожалѣемъ. Генералъ, такъ генералъ...

**Апломбовъ.** Но дальше... Всѣмъ, въ томъ числѣ и вамъ, папаша, извѣстно, что за Дашенькой, пока я не сдѣлалъ ей предложенія, ухаживалъ этотъ телеграфистъ Ять. Зачѣмъ вы его пригласили? Развѣ вы не знали, что мнѣ это неприятно?

**Настасья Тимофеевна.** Охъ, какъ тебя? Эпаминондъ Максимычъ, еще и дня нѣтъ, какъ женился, а ужъ замучилъ ты и меня, и Дашеньку своими разговорами. А что будетъ черезъ годъ? Нудный ты, ухъ нудный!

**Апломбовъ.** Не нравится правду слушать? Ага! То-то! А

вы. поступайте благородно. Я отъ васъ хочу только одного: будьте благородны!

*Черезъ залу изъ одной двери въ другую проходятъ пары танцующихъ grand-rond. Въ передней паръ шаферъ съ Дашенькой, въ задней Ять со Змбюкиной. Последняя пара отстаеъ и остается въ залъ. Жигаловъ и Дымба входятъ и идутъ къ столу.*

Шаферъ (кричитъ). Променадъ! Мсье, променадъ! (за сценой) Променадъ!

(Пары уходятъ).

Ять (Змбюкиной). Сжальтесь! Сжальтесь, очаровательная Анна Мартыновна!

Змбюкина. Ахъ, какой вы... Я уже вамъ сказала, что я сегодня не въ голосъ.

Ять. Умоляю васъ, спойте! Одну только ноту! Сжальтесь! Одну только ноту!

Змбюкина. Надоѣли... (садится и машетъ стеромъ).

Ять. Нѣтъ, вы просто безжалостны! У. такого жестокаго созданія, позвольте вамъ выразиться, и такой чудный, чудный голосъ! Съ такимъ голосомъ, извините за выраженіе, не акушерствомъ заниматься, а концерты пѣть въ публичныхъ собраніяхъ! Напримѣръ, какъ божественно выходитъ у васъ вотъ эта фіоритура... вотъ эта... (напѣваетъ) «Я васъ любилъ, любовь еще напрасно...» Чудно!

Змбюкина (напѣваетъ). «Я васъ любилъ, любовь еще быть можетъ...» Это?

Ять. Вотъ это самое! Чудно!

Змбюкина. Нѣтъ, я не въ голосъ сегодня... Натѣ, махайте на меня вѣеромъ... Жарко! (Анломбову) Эпаминондъ Максимычъ, что это вы въ меланхоліи? Развѣ жениху можно такъ? Какъ вамъ не стыдно, противный? Ну, о чемъ вы задумались?

**Апломбовъ.** Женитьба шагъ серьезный! Надо все обдумать всесторонне, обстоятельно.

**Змѣюкина.** Какіе вы всё противные скептики! Возлѣ васъ и задыхаюсь... Дайте мнѣ атмосферы! Слышите? Дайте мнѣ атмосферы! (*наливаетъ*).

**Ять.** Чудно! Чудно!

**Змѣюкина.** Махайте на меня, махайте, а то я чувствую, у меня сейчасъ будетъ разрывъ сердца. Скажите, пожалуйста, отчего мнѣ такъ душно?

**Ять.** Это оттого, что вы вспотѣли-сь...

**Змѣюкина.** Фу, какъ вы вульгарны! Не смѣйте такъ выражаться!

**Ять.** Виноваты! Конечно, вы привыкли, извините за выраженіе, къ аристократическому обществу и...

**Змѣюкина.** Ахъ, оставьте меня въ покоѣ! Дайте мнѣ поэзіи, восторговъ! Махайте, махайте...

**Жигаловъ** (*Дымбъ*). Повторимъ, что ли? (*наливаетъ*) Пить во всякую минуту можно. Главное дѣйствіе, Харлампій Спиридонычъ, чтобъ дѣло свое не забывать. Пей, да дѣло разумѣй... А ежели насчетъ выпить, то почему не выпить? Выпить можно... За ваше здорovie! (*пьютъ*) А тигры у васъ въ Греціи есть?

**Дымба.** Есть.

**Жигаловъ.** А львы?

**Дымба.** И львы есть. Это въ Россіи ничего нѣту, а въ Греціи все есть. Тамъ у меня и отецъ, и дядя, и братья, а тутъ ничего нѣту.

**Жигаловъ.** Гм... А кашалоты въ Греціи есть?

**Дымба.** Все есть.

**Настасья Тимофеевна** (*мужу*). Что жъ зря-то пить и закусывать? Пора бы ужъ всѣмъ садиться. Не тыкай вилокъ въ омары... Это для генерала поставлено. Можетъ, еще прійдетъ...

**Жигаловъ.** А омары въ Греціи есть?

**Дымба.** Есть... Тамъ все есть.

**Жигаловъ.** Гм... А коллежскіе регистраторы есть?

**Змѣюкина.** Воображаю, какая въ Греци атмосфера!

**Жигаловъ.** И должно быть, жульничества много. Греки вѣдь все равно, что армяне или цыганы. Продаетъ тебѣ губку, или золотую рыбку, а самъ такъ и норовить, чтобъ содрать съ тебя лишнее. Повторимъ, что ли?

**Настасья Тимофеевна.** Что жъ зря повторять? Всѣмъ бы ужъ пора садиться. Двѣнадцатый часъ...

**Жигаловъ.** Садитесь, такъ садитесь. Господа, покорнѣйше прошу! Пожалуйте! (*кричитъ*) Ужинать! Молодые люди!

**Настасья Тимофеевна.** Дорогие гости, милости просимъ! Садитесь!

**Змѣюкина** (*сидясь за столъ*). Дайте мнѣ повзпн! А онъ мятежный ищетъ бури, какъ будто въ буряхъ есть покой. Дайте мнѣ бурю!

**Ять** (*съ сторону*). Замѣчательная женщина! Влюбленъ! По уши влюбленъ!

*Входятъ Дашенька, Мозговой, шафера, кавалеры, барышни и проч. Въ шумно усаживаются за столъ; минутная пауза; музыка играетъ маршъ.*

**Мозговой** (*вставая*). Господа! Я долженъ сказать вамъ слѣдующее... У насъ приготовлено очень много тостовъ и рѣчей. Не будемъ дожидаться и начнемъ сейчасъ же. Господа, предлагаю выпить тостъ за новобрачныхъ!

*Музыка играетъ тушъ. Ура. Чоканье.*

**Мозговой.** Горько!

**Всѣ.** Горько! Горько! (*Апломбовъ и Дашенька цѣлуются*).

**Ять.** Чудно! Чудно! Я долженъ вамъ выразиться, господа, и отдать должную справедливость, что эта зала и вообще помѣщеніе великолѣпны! Превосходно, очаровательно! Только знаете, чего не хватаетъ для полного торжества? Электри-

ческаго освѣщенія, извините за выраженіе! Во всѣхъ странахъ уже введено электрическое освѣщеніе, и одна только Россія отстала.

**Жигаловъ** (*глубокомысленно*). Электричество... Гм... А по моему взгляду, электрическое освѣщеніе—одно только жульничество... Всунуть туда уголекъ, да и думаютъ глаза отвести! Нѣтъ, братъ, ужь если ты даешь освѣщеніе, то ты давай не уголекъ, а что-нибудь существенное; атакое что нибудь особенное, чтобъ было за что взяться! Ты давай огня—понимаешь?—огня, который натуральный, а не умственный!

**Ять**. Ежели бы вы видѣли электрическую батарею, изъ чего она составлена, то иначе бы разсуждали.

**Жигаловъ**. И не желаю видѣть. Жульничество. Народъ простой надуваютъ... Соки послѣдніе выжимаютъ... Знаемъ ихъ, этихъ самыхъ... А вы, господинъ молодой человекъ, чѣмъ за жульничество заступаться, лучше бы выжили и другимъ налили. Да право!

**Апломбовъ**. Я съ вами, папаша, вполне согласенъ. Къ чему заводить ученые разговоры? Я не прочь и самъ поговорить о всевозможныхъ открытіяхъ въ научномъ смыслѣ, но вѣдь на это есть другое время! (*Дашенькѣ*) Ты какого мнѣнія, машеръ?

**Дашенька**. Они хотятъ свою образованность показать и всегда говорятъ о непонятномъ.

**Настасья Тимофеевна**. Слава Богу, прожили вѣкъ безъ образованія и вотъ ужь третью дочку за хорошаго человека выдаемъ. А ежели мы по вашему выходимъ необразованные, такъ зачѣмъ вы къ намъ ходите? Шли бы къ своимъ образованнымъ!

**Ять**. Я, Настасья Тимофеевна, всегда уважалъ ваше семейство, а ежели я насчетъ электрическаго освѣщенія, такъ это еще не значитъ, что я изъ гордости. Даже вотъ выпить могу. Я всегда отъ всѣхъ чувствъ желалъ Дарья Евдоки-



мовнѣ хорошаго жениха. Въ наше время, Настасья Тимофеевна, трудно выйти за хорошаго человѣка. Нынче каждый норовитъ вступить въ бракъ изъ-за интереса, изъ-за денегъ...

**Апломбовъ.** Это намекъ!

**Ять** (*стремитъ*). И никакого тутъ нѣтъ намека.. Я не говорю о присутствующихъ... Это я такъ... вообще... Помилуйте! Всѣ знаютъ, что вы изъ-за любви... Приданное пустяшное.

**Настасья Тимофеевна.** Нѣтъ, не пустяшное! Ты говори, сударь, да не заговаривайся. Кромѣ того, что тысячу рублей чистыми деньгами, мы три салона даемъ, постель и всю мебель. Подикась, найди въ другомъ мѣстѣ такое приданое!

**Ять.** Я ничего... Мебель, дѣйствительно, хорошая и... и салоны, конечно, но я въ томъ смыслѣ, что вотъ они обижаются, что я намекнулъ.

**Настасья Тимофеевна.** А вы не намекайте. Мы васъ по вашимъ родителямъ почитаемъ и на свадьбу пригласили, а вы разные слова. А ежели вы знали, что Эпаминондъ Максимычъ изъ интересу женится, то что же вы раньше молчали? (*слезливо*) Я ее, можетъ, вскормила, вспоила, взлелѣяла... берегла пуще алмаза изумруднаго, дѣточку мою...

**Апломбовъ.** И вы повѣрили? Покоривъше васъ благодарю! Очень вамъ благодаренъ! (*Ять*). А вы, г. Ять, хоть и знакомый мнѣ, а я вамъ не позволю строить въ чужомъ домѣ такія безобразія! Позвольте вамъ выйти вонъ!

**Ять.** То-есть какъ?

**Апломбовъ.** Желаю, чтобы и вы были такимъ же честнымъ человѣкомъ, какъ я! Однимъ словомъ, позвольте вамъ выйти вонъ! (*Музыка играетъ тушь*).

**Кавалеры** (*Апломбову*). Да оставь! Будетъ тебѣ! Ну стоять ли? Садись! Оставь!

**Ять.** Я ничего... Я вѣдь... Не понимаю даже... Извольте, я уйду... Только вы отдайте мнѣ сначала пять рублей,

что вы брали у меня въ прошломъ году на жилетку пике, извините за выраженіе. Выпью вотъ еще и... и уйду, только вы сначала долгъ отдайте.

**Кавалеры.** Ну будетъ, будетъ! Довольно! Стоитъ ли изъ-за пустяковъ?

**Шаферъ (кричитъ).** За здоровье родителей невѣсты Евдокима Захарыча и Настасьи Тимофеевны!

*Музыка играетъ тушъ. Ура.*

**Жигаловъ (растроганный кланяется во все стороны).** Благодарю васъ! Дорогіе гости! Очень вамъ благодаренъ, что вы насъ не забыли и пожаловали, не побрезгали!.. И не подумайте, чтобъ я былъ выжига какой, или жульничество съ моей стороны, а просто изъ чувствъ! Отъ прямоты души! Для хорошихъ людей ничего не пожалѣю! Благодаримъ покорно! (*цѣлуется*).

**Дашенька (матери).** Мамаша, что же вы плачете? Я такъ счастлива!

**Апломбовъ.** Мамап взволнована предстоящей разлукой. Но я посовѣтоваль бы ей лучше вспомнить нашъ недавній разговоръ.

**Ять.** Не плачьте, Настасья Тимофеевна! Вы подумайте: что такое слезы человѣческія? Малодушная психіатрія и больше ничего!

**Жигаловъ.** А рыжики въ Греціи есть?

**Дымба.** Есть. Тамъ все есть.

**Жигаловъ.** А вотъ груздей небось нѣту.

**Дымба.** И грузди есть. Все есть.

**Мозговой.** Харлампій Спиридонычъ, ваша очередь читать рѣчь! Господа, пусть говорятъ рѣчь!

**Всѣ (Дымбѣ).** Рѣчь! рѣчь! Ваша очередь!

**Дымба.** Зацѣмъ? Я не понимаю которое... Сто такое?

**Змѣюкина.** Нѣтъ, нѣтъ! Не смѣйте отказываться! Ваша очередь! Вставайте!

**Дымба** (*встаетъ, смущенно*). Я могу говорить такое... Которая Россія и которая Греція. Теперь которые люди въ Россіи и которые въ Греціи... И которые по морю плаваютъ каравія, по русскому значить корабли, а по землѣ разныя которыя желѣзныя дороги. Я хорошо понимаю... Мы греки, вы русскіе и мнѣ ничего не надо... Я могу говорить такое... которая Россія и которая Греція. (*Входитъ Нюнинъ*).

**Нюнинъ**. Пойдите, господа, не ѣшьте! Погодите! Настасья Тимофеевна, на минуточку! Пожалуйста сюда! (*ведетъ Настасью Тимофеевну въ сторону, запыхавшись*) Послушайте... Сейчасъ прійдетъ генераль... Наконецъ, нашель-таки... Просто замучился... Генераль настоящій, солидный такой, старый, лѣтъ, пожалуй, восемьдесятъ, а то и девяносто...

**Настасья Тимофеевна**. Когда же онъ прійдетъ?

**Нюнинъ**. Сію минуту. Будете всю жизнь мнѣ благодарны. Не генераль, а малина, Буланже! Не пѣхота какая-нибудь, не инфантерія, а флотскій! По чину онъ капитанъ второго ранга, а по ихнему, морскому, это все равно, что генераль-майоръ, или въ гражданской—дѣйствительный статскій совѣтникъ. Рѣшительно все равно. Даже выше.

**Настасья Тимофеевна**. А ты меня не обманываешь, Андрюшенька?

**Нюнинъ**. Ну вотъ, мошенникъ я, что ли? Будьте покойны!

**Настасья Тимофеевна** (*вздыхая*). Не хочется зря деньги тратить, Андрюшенька...

**Нюнинъ**. Будьте покойны! Не генераль, а картина! (*Возвѣщая голосъ*). Я и говорю: «Совсѣмъ, говорю, забыли насъ, ваше превосходительство! Не хорошо, ваше превосходительство, старыхъ знакомыхъ забывать! Настасья, говорю, Тимофеевна на васъ въ большой претензіи!» (*идетъ къ столу и садится*) А онъ и говорить:—«Помилуй, мой другъ, какъ же я пойду, если я съ женихомъ не знакомъ?» Э, полноте, ваше превосходительство, что за церемоніи? Женихъ, го-

ворю, человѣкъ прекраснѣйшій, душа нараспашку. Служить, говорю, оцѣнщикомъ въ ссудной кассѣ, но вы не подумайте, ваше превосходительство, что это какой-нибудь замухрышка, или червонный валетъ. Въ ссудныхъ кассахъ, говорю, нынче и благородныя дамы служатъ». Похлопалъ онъ меня по плечу, выкурили мы съ нимъ по гаванской сигарѣ и вотъ теперь онъ ѣдетъ... Погодите, господа, не ѣшьте...

**Апломбовъ.** А когда онъ пріѣдетъ?

**Нюнинъ.** Ою минуту. Когда я уходилъ отъ него, онъ уже калоши надѣвалъ. Погодите, господа, не ѣшьте.

**Апломбовъ.** Такъ надо приказать, чтобъ маршъ играли...

**Нюнинъ** (*кричитъ*). Эй, музыканты! Маршъ!

*Музыка минуту играетъ маршъ.*

**Лакей** (*докладываетъ*). Господинъ Ревуновъ-Карауловъ!  
(*Жигаловъ, Настасья Тимофеевна и Нюнинъ бѣгутъ навстрѣчу. Входитъ Ревуновъ-Карауловъ*).

**Настасья Тимофеевна** (*кланяясь*). Милости просимъ, ваше превосходительство! Очень пріятно!

**Ревуновъ.** Весьма!

**Жигаловъ.** Мы, ваше превосходительство, люди не знатные, не высокіе, люди простые, но не подумайте, что съ нашей стороны какое-нибудь жульничество. Для хорошихъ людей у насъ первое мѣсто, мы ничего не пожалѣемъ. Милости просимъ!

**Ревуновъ.** Весьма радъ!

**Нюнинъ.** Позвольте представить, ваше превосходительство! Новобрачный Эпаминондъ Максимычъ Апломбовъ, со своей новорожд... то-есть съ новобрачной супругой! Иванъ Михайлычъ Ять, служащій на телеграфѣ! Иностранецъ греческаго званія по кондитерской части Харлампій Спиридонычъ Дымба! Осипъ Лукичъ Бабельмандебскій! И прочіе, и прочіе... Остальные всѣ — чепуха. Садитесь, ваше превосходительство!

**Ревуновъ.** Весьма! Виновать, господа, и хочу сказать Андрюшѣ два слова. (*Отводитъ Нюнина въ сторону*) Я, братецъ, немножко сконфужень... Зачѣмъ ты зовешь меня вашимъ превосходительствомъ? Вѣдь я не генералъ! Капитанъ 2-го ранга—это даже ниже полковника.

**Нюнинъ** (*говоритъ ему въ ухо, какъ глухому*). Знаю, но, Федоръ Яковлевичъ, будьте добры, позвольте намъ называть васъ вашимъ превосходительствомъ! Семья здѣсь, знаете ли, патриархальная, уважаетъ старшихъ, любитъ чиновочитаніе...

**Ревуновъ.** Да, если такъ, то конечно... (*Идя къ столу*).  
Весьма!

**Настасья Тимофеевна.** Садитесь, ваше превосходительство! Будьте такіе добрые! Кушайте, ваше превосходительство! Только извините, у себя тамъ вы привыкли къ деликатности, а у насъ просто!

**Ревуновъ** (*не расстлывавъ*). Что-съ? Гм... Да-съ. (*Пауза*). Да-съ... Въ старину люди всегда жили просто и были довольны. Я человекъ, который въ чинахъ, и то живу просто... Сегодня Андрюша приходитъ ко мнѣ и зоветъ меня сюда на свадьбу. Какъ же, говорю, я пойду, если я не знакомъ? Это не ловко! А онъ говоритъ: «люди они простые, патриархальные, всякому гостю рады...» Ну, конечно, если такъ... то отчего же? Очень радъ. Дома мнѣ одинокому скучно, а если мое присутствіе на свадьбѣ можетъ доставить кому-нибудь удовольствіе, то сдѣлай, говорю, одолженіе...

**Жигаловъ.** Значить отъ души, ваше превосходительство? Уважаю! Самъ я человекъ простой, безъ всякаго жудничества, и уважаю такихъ. Кушайте, ваше превосходительство!

**Апломбовъ.** Вы давно въ отставкѣ, ваше превосходительство?

**Ревуновъ.** А? Да, да... такъ... Это вѣрно. Да-съ... Но позвольте, что же это, однако? Селедка горькая... и хлѣбъ горькій. Невозможно ѣсть!

**Всѣ.** Горько! Горько!

*(Апломбовъ и Дашенька цѣлуются).*

**Ревуновъ.** Хе-хе-хе... Ваше здоровье. *(пауза)* Да-съ... Въ старину все просто было и всѣ были довольны... Я люблю простоту... Я вѣдь старый, въ отставку вышелъ въ 1865 году... Мнѣ семьдесятъ два года... Да. Конечно, не безъ того, и прежде любили при случаѣ показать пышность, но... *(увидѣвъ Мозгового)* Вы того... матросъ, стало быть?

**Мозговой.** Точно такъ.

**Ревуновъ.** Ага... Такъ... Да... Морская служба всегда была трудная. Есть надъ чѣмъ задуматься и голову поломать. Всякое незначительное слово имѣетъ, такъ сказать, свой особый смыслъ! Напримѣръ: марсовые по вантамъ на фокъ и гротъ! Что это значить? Матросъ небось понимаетъ! Хе-хе. Тонкость, что твоя математика!

**Нюнинъ.** За здоровье его превосходительства Федора Яковлевича Ревунова-Караулова! *(Музыка играетъ тушь. Ура).*

**Ять.** Вотъ вы, ваше превосходительство, изволили сейчасъ выразиться насчетъ трудностей флотской службы. А развѣ телеграфная легче? Теперь, ваше превосходительство, никто не можетъ поступить на телеграфную службу, если не умѣетъ читать и писать по-французски и по-нѣмецки. Но самое трудное у насъ, это передача телеграммъ. Ужасно трудно! Извольте послушать. *(Стучитъ вилкой по столу, подражая телеграфному станку).*

**Ревуновъ.** Что же это значить?

**Ять.** Это значить: я уважаю васъ, ваше превосходительство, за добродѣтели. Вы думаете, легко? А вотъ еще. *(стучитъ).*

**Ревуновъ.** Вы погромче... Не слышу...

**Ять.** А это значить: мадамъ, какъ я счастливъ, что держу васъ въ своихъ объятіяхъ!

**Ревуновъ.** Вы про какую это мадамъ? Да... (*Мозговому*). А вотъ, если идя полнымъ вѣтромъ и надо... и надо поставить брамсели и бомъ-брамсели! Тутъ ужъ надо командовать: салинговые къ вантамъ на брамсели и бомъ-брамсели... и въ это время, какъ на реяхъ отдають паруса, внизу становятся на брамъ и бомъ-брамъ шкоты, фалы и брасы...

**Шаферъ (вставая).** Милостивые государи и милостивыя госуд...

**Ревуновъ (перебивая).** Да-съ... Мало ли разныхъ командъ... Да... Брамъ и бомъ-брамъ-шкоты тянуть пшелъ фалы!! Хорошо? Но что это значить и какой смыслъ? А очень просто! Тянуть, знаете ли, брамъ и бомъ-брамъ-шкоты и поднимають фалы... всѣ вдругъ! причемъ уравнивають бомъ-брамъ-шкоты и бомъ-брамъ-фалы при подъемѣ, а въ это время, глядя по надобности, потравливають брасы сихъ парусовъ, а когда ужъ, стало быть, шкоты натянuty фалы всѣ до мѣста подняты, то брамъ и бомъ-брамъ-барсы вытягиваются и реи брасопяты соответственно паправленію вѣтра...

**Юнинъ (Ревунову).** Федоръ Яковлевичъ, хозяйка просить васъ поговорить о чемъ-нибудь другомъ. Это непонятно гостямъ и скучно...

**Ревуновъ.** Что? Кому скучно? (*Мозговому*) Молодой человекъ! А вотъ ежели корабль лежитъ бейдевиндъ правымъ галсомъ подъ всѣми парусами и надо сдѣлать черезъ фордевиндъ. Какъ надо командовать? А вотъ какъ: свистать всѣхъ на верхъ, поворотъ черезъ фордевиндъ!.. Хе-хе...

**Юнинъ.** Федоръ Яковлевичъ, довольно! Кушайте.

**Ревуновъ.** Какъ только всѣ выбѣжали, сейчасъ командуютъ: По мѣстамъ стоять, поворотъ черезъ фордевиндъ! Эхъ, жизнь! Командуешь, а самъ смотришь, какъ матросы, какъ молнія, разбѣгаются по мѣстамъ и разносятъ брамы

и брасы. Этакъ не вытерпишь и крикнешь: молодцы ребята! (*поперхнулся и кашляетъ*).

**Шаферъ** (*спышитъ воспользоваться наступившей паузой*). Въ сегодняшній, такъ сказать, день, въ который мы, собравшись всѣ въ кучу для чествованія нашего любимаго...

**Ревуновъ** (*перебивая*). Да-съ! И вѣдь все это надо помнить! Напримѣръ: фока-шкотъ, грота-шкотъ раздернуть!..

**Шаферъ** (*обиженно*). Что жъ онъ перебиваетъ? Этакъ мы ни одной рѣчи не скажемъ!

**Настасья Тимофеевна**. Мы люди темные, ваше превосходительство, ничего этого самаго не понимаемъ, а вы лучше расскажите намъ что-нибудь касающее...

**Ревуновъ**. (*не размышлявъ*). Я уже ѣлъ, благодарю. Вы говорите: гуся? Благодарю... Да. Старину вспомнилъ... А вѣдь пріятно, молодой человекъ! Плынешь себѣ по морю, горя не знаячи, и... (*дрогнувшимъ голосомъ*) помните этотъ восторгъ, когда дѣлаютъ поворотъ о верштагъ! Какой морякъ не зажжется при воспоминаніи объ этомъ маневрѣ?! Вѣдь какъ только раздалась команда: свистать всѣхъ наверхъ, поворотъ о вершлагъ—словно электрическая искра пробѣжала по всѣмъ. Начиная отъ командира и до послѣдняго матроса—всѣ встрепенулись...

**Змѣюкина**. Скучно! Скучно! (*общій ропотъ*).

**Ревуновъ**. (*не размышлявъ*). Благодарю, я ѣлъ. (*Съ увлеченіемъ*). Все приготовилось и впилося глазами въ старшаго офицера... На фоковые и гротовые брасы на правую на крюсельные брасы на лѣвую, на контро-брасъ на лѣвую, командуетъ старшій офицеръ. Все моментально исполняется... Фока-шкотъ, кливеръ-шкотъ раздернуть... право на борты! (*Встаетъ*). Корабль покотился къ вѣтру и, наконецъ, паруса начинаютъ заполаскивать. Старшій офицеръ:—на брасахъ, на брасахъ не зѣвать, а самъ впился глазами въ гротъ-марсель и, когда, наконецъ, и этотъ парусъ заполоскалъ, т. е. моментъ поворота наступилъ, раздается громовая команда:



грото-марса буллель отдай, пшелъ брасы! Тутъ все летить, трещить — столпотвореніе вавилонское! — все исполняется безъ ошибки. Поворотъ удался!

Настасья Тимофеевна (*встѣхнувъ*). Генераль, а безобразите... Постыдились бы на старости лѣтъ!

Ревуновъ. Котлетъ? Нѣтъ не ѣлъ... благодарю васъ.

Настасья Тимофеевна (*громко*). Я говорю, постыдились бы на старости лѣтъ! Генераль, а безобразите!

Нюнинъ (*смущенно*). Господа, ну вотъ... стоять ли? Право...

Ревуновъ. Во-первыхъ, я не генераль, а капитанъ 2-го ранга, что по военной табели о рангахъ соотвѣтствуетъ подполковнику.

Настасья Тимофеевна. Ежели не генераль, то за что же вы деньги взяли? И мы вамъ не за то деньги платили, чтобъ вы безобразили!

Ревуновъ (*съ недоумѣніи*). Какія деньги?

Настасья Тимофеевна. Извѣстно, какія. Небось получили черезъ Андрея Андреевича четвертную... (*Нюнину*) А тебѣ, Андрюшенька, грѣхъ! Я тебя не просила такого нанимать!

Нюнинъ. Ну вотъ... Оставьте! Стоить ли?

Ревуновъ. Наняли... заплатили... Что такое?

Апломбовъ. Позвольте, однако... Вы вѣдь получили отъ Андрея Андреевича 25 рублей?

Ревуновъ. Какіе 25 рублей? (*Сообразивъ*). Вотъ оно что! Теперь я все понимаю... Какая гадость! Какая гадость!

Апломбовъ. Вѣдь вы получили деньги?

Ревуновъ. Никакихъ я денегъ не получалъ! Подите прочь! (*Выходитъ изъ-за стола*). Какая гадость! Какая низость! Оскорбить такъ стараго человѣка, моряка, заслуженнаго офицера!.. Будь это порядочное общество, я могъ бы звать на дуэль, а теперь что я могу сдѣлать? (*Растерянно*). Гдѣ дверь? Въ какую сторону идти? Человѣкъ, выведи меня! Человѣкъ! (*Идетъ*). Какая низость! Какая гадость! (*Уходитъ*).

**Настасья Тимофеевна.** Андрюшенька, гдѣ же 25 рублей?

**Нюнинъ.** Ну, стоитъ ли говорить о такихъ пустякахъ? Велика важности! Тутъ всѣ радуются, а вы чортъ знаетъ о чемъ... (*Кричитъ*). За здоровье молодыхъ! Музыка, маршъ! Музыка! (*Музыка играетъ маршъ*). За здоровье молодыхъ!

**Змѣюкина.** Мнѣ душно! Дайте мнѣ атмосферы! Возлѣ васъ я задыхаюсь!

**Ять** (*во восторгъ*). Чудная! Чудная! (*Шумъ*).

**Шаферъ** (*стараясь перекричать*). Милостивые государи и милостивыя государыни! Въ сегодняшній, такъ сказать, день...

З А Н А В Ъ С Ъ .

---

# ЮБИЛЕЙ.

Шутка въ одномъ дѣйстви.

### ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Шипучинъ, Андрей Андреевичъ, Предсѣдатель правленія N—скаго Общества Взаимнаго Кредита, нестарый человекъ, съ моноклемъ.

Татьяна Алексѣевна, его жена, 25 лѣтъ.

Хиринъ, Кузьма Николаевичъ, бухгалтеръ банка, старикъ.

Мерчуткина, Настасья Федоровна, старуха въ салонѣ.

Члены банка.

Служащіе въ банкѣ.

Дѣйствіе происходитъ въ N—скомъ Банкѣ Взаимнаго Кредита.

---

*Кабинетъ председателя правленія. Налъво дверь, ведущая въ контору банка. Два письменныхъ стола. Обстановка съ претензіей на изысканную роскошь: бархатная мебель, цветы, статуи, ковры, телефонъ. Полдень.*

**Хиринъ** (одинъ; онъ въ валенкахъ).

Хиринъ (кричитъ въ дверь). Пошлите взять въ аптеку валеріановыхъ капель на 15 копеекъ, да велите принести въ директорскій кабинетъ свѣжей воды! Сто разъ вамъ говорить! (Идетъ къ столу). Совсѣмъ замучился. Пишу уже четвергья сутки и глазъ не смыкаю; отъ утра до вечера пишу здѣсь, а отъ вечера до утра—дома. (Кашляетъ). А тутъ еще воспаленіе во всемъ тѣлѣ. Знобъ, жаръ, кашель, ноги ломить и въ глазахъ этакія... междометія. (Садится). Нашъ кривляка, этотъ мерзавецъ, председатель правленія, сегодня на общемъ собраніи будетъ читать докладъ: «Нашъ банкъ въ настоящемъ и въ будущемъ». Какой Гамбетта, подумаешь.... (Пишетъ). Два... одинъ... одинъ... шесть... ноль... семь... Затѣмъ, шесть... ноль... одинъ... шесть... Ему хочется пыль пустить, а я вотъ сяди и работай для него, какъ каторжный!.. Онъ въ этотъ докладъ одной только поэзіи напустилъ и больше ничего, а я вотъ день деньской на счетахъ щелкаю, чортъ бы его душу дралъ!.. (Щелкаетъ на счетахъ). Терпѣть не могу! (Пишетъ). Значить, одинъ...

три... семь... два... одинъ... ноль... Обѣщаль наградить за труды. Если сегодня все обойдется благополучно и удастся очки втереть публикѣ, то обѣщаль золотой жетонъ и триста наградныхъ... Увидимъ. (*Пишетъ*). Ну, а если труды мои пропадутъ даромъ, то, братъ, не взыщи... Я человекъ вспыльчивый... Я, братъ, подъ горячую руку могу и преступленіе совершить... Да!

*За сценой шумъ и аплодисменты. Голосъ Шипучина: «Благодарю! благодарю! Тронуть!» Входитъ Шипучинъ. Онъ во фракъ и бѣломъ галстукъ; въ рукахъ только что поднесенный ему альбомъ.*

Шипучинъ (*стоя въ дверяхъ и обращаясь въ контору*). Этотъ вашъ подарокъ, дорогіе сослуживцы, я буду хранить до самой смерти, какъ воспоминаніе о счастливѣйшихъ дняхъ моей жизни! Да, милостивые государи! Еще разъ благодарю! (*Посылаетъ воздушный поцѣлуй и идетъ къ Хирину*). Мой дорогой, мой почтеннѣйшій Кузьма Николаевичъ!

*Все время, пока онъ на сценѣ, служащіе изрѣдка входятъ съ бумагами для подписи и уходятъ.*

Хиринъ (*вставая*). Честь имѣю поздравить васъ, Андрей Андреечъ, съ пятнадцатилѣтней годовщиной нашего банка и желаю, чтобъ...

Шипучинъ (*крѣпко пожимаетъ руку*). Благодарю, мой дорогой! Благодарю! Для сегодняшняго знаменитаго дня, ради юбилея, полагаю, можно и поцѣловаться!.. (*Цѣлуются*). Очень, очень радъ! Спасибо вамъ за службу... за все, за все спасибо! Если мною, пока я имѣю честь быть председателемъ правленія этого банка, сдѣлано что-нибудь полезное, то этимъ я обязанъ прежде всего своимъ сослуживцамъ. (*Вдыхаетъ*). Да, батенька, 15 лѣтъ! 15 лѣтъ, не будь я Шипучинъ! (*Живо*). Ну, что мой докладъ? Подвигается?

Хиринъ. Да. Осталось всего страницъ пять.

**Шипучинъ.** Прекрасно. Значитъ, къ тремъ часамъ будетъ готовъ?

**Хиринъ.** Если никто не помѣшаетъ, то кончу. Пустяки осталось.

**Шипучинъ.** Великолѣпно. Великолѣпно, не будь я Шипучинъ! Общее собраніе будетъ въ четыре. Пожалуйста, голубчикъ. Дайте-ка мнѣ первую половину, я проштудирую... Дайте скорѣе... (*Беретъ докладъ*). На этотъ докладъ я возлагаю громадныя надежды... Это мое profession de foi, или, лучше сказать, мой фейерверкъ... Фейерверкъ, не будь я Шипучинъ! (*Садится и про себя читаетъ докладъ*). Усталъ я однако адски... Ночью у меня былъ припадочекъ падагры, все утро провелъ въ хлопотахъ и побѣгушкахъ, потому эти волненія, оваціи, эта ажитація... усталъ!

**Хиринъ** (*пишетъ*). Два... ноль... ноль... три... девять... два... ноль... Отъ цифръ въ глазахъ зелено... Три... одинъ... шесть... четыре... одинъ... пять... (*Щелкаетъ на счетахъ*).

**Шипучинъ.** Тоже неприятность... Сегодня утромъ была у меня ваша супруга и опять жаловалась на васъ. Говорила, что вчера вечеромъ вы за нею и за свояченицей съ ножомъ гонялись. Кузьма Николаичъ, на что это похоже? Ай-ай!

**Хиринъ** (*сурово*). Осмѣлюсь ради юбилея, Андрей Андреичъ, обратиться къ вамъ съ просьбой. Прошу васъ, хотя бы изъ уваженія къ моимъ каторжнымъ трудамъ, не вмѣшивайтесь въ мою семейную жизнь. Прошу!

**Шипучинъ** (*вздыхаетъ*). Невозможный у васъ характеръ, Кузьма Николаичъ! Человѣкъ вы прекрасный, почтенный, а съ женщинами держите себя, какъ какой-нибудь Джэкъ. Право. Не понимаю, за что вы ихъ такъ ненавидите?

**Хиринъ.** А я вотъ не понимаю: за что вы ихъ такъ любите? (*Пауза*).

**Шипучинъ.** Служащіе поднесли сейчасъ альбомъ, а члены банка, какъ я слышалъ, хотятъ поднести мнѣ адресъ и серебряный жбанъ... (*Играя моноклемъ*). Хорошо, не будь

я Шипучинъ! Это не лишнее... Для репутаціи банка необходима нѣкоторая помпа, чортъ возьми! Вы свой чело-вѣкъ, вамъ все, конечно, извѣстно... Адресъ сочинялъ я самъ, серебряный жбанъ купилъ тоже я самъ... Ну, и переплетъ для адреса 45 рублей, но безъ этого нельзя. Сами бы они не догадались. *(Оглядывается)*. Обстановочка-то какова! Что за обстановка! Вотъ говорятъ, что я мелочень, что мнѣ нужно, чтобы только замки у дверей были почищены, чтобы служащіе носили модные галстуки, да у подъѣзда стоялъ толстый швейцаръ. Ну, нѣтъ, судари мои. Замки у дверей и толстый швейцаръ—не мелочь. Дома у себя я могу быть мѣщаниномъ, ѣсть и спать по-свински, пить запоемъ...

Хиринъ. Прошу, пожалуйста, безъ намековъ!

Шипучинъ. Ахъ, никто не намекаетъ! Какой у васъ невозможный характеръ... Такъ вотъ я и говорю: дома у себя я могу быть мѣщаниномъ, парвенд и слушаться своихъ привычекъ, но здѣсь все должно быть en grand. Здѣсь банкъ! Здѣсь каждая деталь должна импонировать, такъ сказать, и имѣть торжественный видъ. *(Поднимаетъ съ пола бумажку и бросаетъ ее въ каминъ)*. Заслуга моя именно въ томъ, что я высоко поднялъ репутацію банка!.. Великое дѣло—тонъ! Великое, не будь я Шипучинъ. *(Оглядываетъ Хирина)*. Дорогой мой, каждую минуту сюда можетъ явиться депутація отъ членовъ банка, а вы въ валенкахъ, въ этомъ шарфѣ... въ какомъ-то пиджакѣ дикаго цвѣта... Могли бы надѣть фракъ, ну, наконецъ, черный сюртукъ...

Хиринъ. Для меня здоровье дороже вашихъ членовъ банка. У меня воспаленіе всего тѣла.

Шипучинъ *(волнуясь)*. Но согласитесь, что это безпорядокъ! Вы нарушаете ансамбль!

Хиринъ. Если прійдетъ депутація, то я спрятаться могу. Не велика бѣда... *(Пишетъ)*. Семь... одинъ... семь... два... одинъ... пять... ноль. Я и самъ безпорядковъ не люблю...



Семь... два... девять... (*Щелкаетъ на счетахъ*). Терпѣть не могу безпорядковъ! Вотъ хорошо бы вы сдѣлали, если бы не приглашали сегодня на юбилейный обѣдъ дамъ...

**Шипучинъ.** Пустяки какіе...

**Хиринъ.** Я знаю, вы для шику напустите ихъ сегодня полную залу, но, глядите, онѣ вамъ все дѣло испортятъ. Отъ нихъ всякій вредъ и безпорядокъ.

**Шипучинъ.** Напротивъ, женское общество возвышаетъ!

**Хиринъ.** Да... Ваша супруга, кажется, образованная, а въ понедѣльникъ на прошлой недѣлѣ такое выпалила, что я потомъ дня два только руками разводилъ. Вдругъ при постороннихъ спрашиваетъ:—«Правда ли, что у насъ въ банкѣ мужъ накупилъ акцій Дряжско-Пряжскаго банка, которыя упали на биржѣ? Ахъ, мой мужъ такъ беспокоится!» Это при постороннихъ-то! И зачѣмъ вы откровенничаете съ ними, не понимаю! Хотите, чтобы онѣ васъ подъ уголовщину подвели?

**Шипучинъ.** Ну, довольно, довольно! Для юбилея это все слишкомъ мрачно. Кстати, вы мнѣ напомнили. (*Смотритъ на часы*). Сейчасъ должна пріѣхать моя супружница. Въ сущности слѣдовало бы съѣздить на вокзаль, встрѣтить ее обѣдняжку, но нѣтъ времени и... и усталъ. Признаться, я не радъ ей! То-есть я радъ, но для меня было бы пріятнѣе, если бы она еще денька два пожила у своей матери. Она потребуеть, чтобы я сегодня провелъ весь вечеръ съ нею, а, между тѣмъ, у насъ сегодня предполагается послѣ обѣда маленькая экскурсія... (*вздраиваетъ*). Однако, у меня уже начинается нервная дрожь. Нервы такъ напряжены, что достаточно, кажется, малѣйшаго пустяка, чтобы я заплакался! Нѣтъ, надо быть крѣпкимъ, не будь я Шипучинъ!

*Входитъ Татьяна Алексѣевна, въ ватерпруфъ и съ дорожной сумочкой черезъ плечо.*

**Шипучинъ.** Ба! Легка на поминѣ!

Татьяна Алексѣевна. Милый! (*Бьжистъ къ мужу, продолжительный поцѣлуй*).

Шипучинъ. А мы только что о тебѣ говорили!.. (*Смотритъ на часы*).

Татьяна Алексѣевна (*затылавшись*). Соскучился? Здоровь? А я еще дома не была, съ вокзала прямо сюда. Нужно тебѣ рассказать многое, многое... не могу утерпѣть... Раздѣваться я не буду, я на минутку. (*Хирину*). Здравствуйте, Кузьма Николаичъ! (*Мужу*). Дома у насъ все благополучно?

Шипучинъ. Все. А ты за эту недѣлю пополнила, похорошѣла... Ну, какъ съѣздила?

Татьяна Алексѣевна. Превосходно. Кланяются тебѣ мама и Катя. Василий Андреичъ велѣлъ тебя поцѣловать (*цѣлуетъ*). Тетя прислала тебѣ банку варенья и всѣ сердятся, что ты не пишешь. Зина велѣла тебя поцѣловать (*цѣлуетъ*). Ахъ, если бъ ты зналъ, что было! Что было! Мнѣ даже страшно рассказывать! Ахъ что было! Но я вижу по глазамъ, что ты мнѣ не радъ!

Шипучинъ. Напротивъ... Милая... (*Цѣлуетъ*).

Хиринъ (*сердито кашляетъ*).

Татьяна Алексѣевна (*вздыхаетъ*). Ахъ, бѣдная Катя, бѣдная Катя! Мнѣ ее такъ жаль, такъ жаль!

Шипучинъ. У насъ, милая, сегодня юбилей, всякую минуту можетъ явиться сюда депутація отъ членовъ банка, а ты не одѣта.

Татьяна Алексѣевна. Правда, юбилей! Поздравляю, господи... Желаю вамъ... Значить, сегодня собраніе, обѣдъ... Это я люблю. А помнишь, тотъ прекрасный адресъ, который ты такъ долго сочинялъ для членовъ банка? Его сегодня будутъ тебѣ читать?

Хиринъ (*сердито кашляетъ*).

Шипучинъ (*смущенно*). Милая, объ этомъ не говорятъ... Право, ѣхала бы домой.

Татьяна Алексѣвна. Сейчасъ, сейчасъ. Въ одну минуту расскажу и уѣду. Я тебѣ все съ самаго начала. Ну-съ... Когда ты меня проводилъ, я, помнишь, сѣла рядомъ съ той полной дамой и стала читать. Въ вагонѣ я не люблю разговаривать. Три станціи все читала и ни съ кѣмъ ни одного слова... Ну, наступилъ вечеръ и такія, знаешь, пошли все мрачныя мысли! Напротивъ сидѣлъ молодой человекъ, ничего себѣ такъ, не дурненькій, брюнетъ... Ну, разговорились... Подошелъ морякъ, потомъ студентъ какой-то... (*Смѣется*). Я сказала имъ, что я не замужемъ... Какъ они за мной ухаживали! Болтали мы до самой полночи, брюнетъ рассказывалъ ужасно смѣшные анекдоты, а морякъ все пѣлъ. У меня грудь заболѣла отъ смѣха. А когда морякъ— ахъ, эти моряки! когда морякъ узналъ нечаянно, что меня зовутъ Татьяной, то знаешь, что онъ пѣлъ? (*Поетъ басомъ*). Онѣгиня, я скрывать не стану, безумно я люблю Татьяну!.. (*Хохочетъ*).

Хиринъ (*сердито кашляетъ*).

Шипучинъ. Однако, Танюша, мы мѣшаемъ Кузьмѣ Николаичу. Поѣзжай домой, милая... Послѣ...

Татьяна Алексѣвна. Ничего, ничего, пусть и онъ послушаетъ, это очень интересно. Я сейчасъ кончу. На станцію выѣхалъ за мной Сережа. Подвернулся тутъ какой-то молодой человекъ, податной инспекторъ, кажется... ничего себѣ, славненькій, особенно глаза... Сережа представилъ его и мы поѣхали втроемъ... Погода была чудная...

За сценой голоса:—«Нельзя! Нельзя! Что вамъ угодно?»

*Входитъ Мерчуткина.*

Мерчуткина (*въ дверяхъ, отмахиваясь*). Чего хватаете-то?— Вотъ еще! Мнѣ самого нужно!.. (*Входитъ, Шипучину*) Честь имѣю, ваше превосходительство... Жена губернскаго секретаря, Настасья Ѳедоровна Мерчуткина-съ.

Шипучинъ. Что вамъ угодно?

**Мерчуткина.** Изволите ли видѣть, ваше превосходительство, мужь мой, губернской секретарь Мерчуткинъ, былъ боленъ пять мѣсяцевъ, и пока онъ лежалъ дома и лѣчился, ему безъ всякой причины отставку дали, ваше превосходительство, а когда я пошла за его жалованьемъ, то они, изволите ли видѣть, взяли и вычли изъ его жалованья 24 руб. 36 коп. За что? спрашиваю. «А онъ, говорятъ, изъ товарищеской кассы бралъ и за него другіе ручались». Какъ же такъ? Нешто онъ могъ безъ моего согласія брать? Такъ нельзя, ваше превосходительство! Я женщина бѣдная, только и кормлюсь жильцами... Я слабая, незащитная... Отъ всѣхъ обиду терплю и ни отъ кого добраго слова не слышу.

**Шипучинъ.** Позвольте... (*Беретъ отъ нея прошеніе и читаетъ его стоя.*)

**Татьяна Алексѣвна (Хирину).** Но нужно сначала... На прошлой недѣлѣ вдругъ я получаю отъ мамы письмо. Пишетъ, что сестрѣ Катѣ сдѣлалъ предложеніе нѣкій Гренди-левскій. Прекрасный, скромный молодой человекъ, но безъ всякихъ средствъ и никакого опредѣленнаго положенія. И на бѣду, представьте себѣ, Катя увлеклась имъ. Что тутъ дѣлать? Мама пишетъ, чтобы я не медля пріѣхала и повлияла на Катю...

**Хиринъ (сурово).** Позвольте, вы меня сбили! Вы—мама да Катя, а я вотъ сбился и ничего не понимаю.

**Татьяна Алексѣвна.** Экая важность! А вы слушайте, когда съ вами дама говоритъ! Отчего вы сегодня такой сердитый? Влюблены? (*Смѣется.*)

**Шипучинъ (Мерчуткиной).** Позвольте однако, какъ же это? Я ничего не понимаю...

**Татьяна Алексѣвна.** Влюблены? Ага! Покраснѣлъ!

**Шипучинъ (женѣ).** Танюша, поди, милая, на минутку въ контору. Я сейчасъ.

**Татьяна Алексѣвна.** Хорошо. (*Уходитъ.*)

**Шипучинъ.** Я ничего не понимаю. Очевидно, вы, сударыня, не туда попали. Ваша просьба по существу совсѣмъ къ намъ не относится. Вы потрудитесь обратиться въ то вѣдомство, гдѣ служилъ вашъ мужъ.

**Мерчуткина.** Я, батюшка, въ пяти мѣстахъ уже была, нигдѣ даже прошенія не приняли. Я ужъ и голову потеряла, да спасибо зятю Борису Матвѣичу, надоумилъ къ вамъ сходить. «Вы, говорить, мамаша, обратитесь къ г. Шипучину; они вліятельный человекъ, все могутъ»... Помогите, ваше превосходительство!

**Шипучинъ.** Мы, госпожа Мерчуткина, ничего не можемъ для васъ сдѣлать. Поймите вы: вашъ мужъ, насколько я могу судить, служилъ по военно-медицинскому вѣдомству, а наше учрежденіе совершенно частное, коммерческое, у насъ банкъ. Какъ не понять этого!

**Мерчуткина.** Ваше превосходительство, а что мужъ мой боленъ былъ, у меня докторское свидѣтельство есть. Вотъ оно, извольте поглядѣть...

**Шипучинъ** (*раздраженно*). Прекрасно, я вѣрю вамъ, но повторяю, это къ намъ не относится.

(*За сценой слытъ Татьяна Алексѣевна; потомъ мужской слытъ*).

**Шипучинъ** (*взглянувъ на дверь*). Она тамъ мѣшаетъ служащимъ. (*Мерчуткиной*) Странно и даже смѣшно. Неужели вашъ мужъ не знаетъ, куда вамъ обращаться?

**Мерчуткина.** Онъ, ваше превосходительство, у меня ничего не знаетъ. Зарядилъ одно: «не твое дѣло! пошла вонъ!» да и все тутъ...

**Шипучинъ.** Повторяю, сударыня: вашъ мужъ служилъ по военно-медицинскому вѣдомству, а здѣсь банкъ, учрежденіе частное, коммерческое...

**Мерчуткина.** Такъ, такъ, такъ... Понимаю, батюшка. Въ такомъ случаѣ, ваше превосходительство, прикажите выдать мнѣ хоть 15 рублей! Я согласна не все сразу.

Шипучинъ (*вздыхаетъ*). Уфъ!

Хиринъ. Андрей Андреичъ, этакъ я никогда доклада не кончу!

Шипучинъ. Сейчасъ. (*Мерчуткиной*) Вамъ не втолкуешь. Да поймите же, что обращаться къ намъ съ подобной просьбой такъ же странно, какъ подавать прошеніе о разводѣ, напримѣръ, въ аптеку, или въ пробирную палатку.

*Стукъ въ дверь. Голосъ Татьяны Алексеевны: „Андрей, можно войти?“*

Шипучинъ (*кричитъ*). Погоди, милая, сейчасъ! (*Мерчуткиной*) Вамъ не доплатили, но мы-то тутъ при чемъ? И къ тому же, сударыня, у насъ сегодня юбилей, мы заняты... и можетъ сюда войти кто-нибудь сейчасъ... Извините...

Мерчуткина. Ваше превосходительство, пожалѣйте меня сироту! Я женщина слабая, беззащитная... Замучилась до смерти... И съ жильцами судись, и за мужа хлопочи, и по хозяйству бѣгай, а тутъ еще зять безъ мѣста.

Шипучинъ. Госпожа Мерчуткина, я... Нѣтъ, извините, я не могу съ вами говорить! У меня даже голова закружилась... Вы и намъ мѣшаете, и время понапрасну теряете... (*Вздыхаетъ, въ сторону*). Вотъ пробка, не будь я Шипучинъ! (*Хирину*) Кузьма Николаичъ, объясните вы, пожалуйста, господжѣ Мерчуткиной... (*Машетъ рукой и уходитъ въ правленіе*).

Хиринъ (*подходитъ къ Мерчуткиной. Сурово*). Что вамъ угодно?

Мерчуткина. Я женщина слабая, беззащитная... На видъ, можетъ, я крѣпкая, а ежели разобрать, такъ во мнѣ ни одной жилочки нѣтъ здоровой! Еле на ногахъ стою и аппетита рѣшилась. Кофей сегодня пила и безъ всякаго удовольствія.

Хиринъ. Я васъ спрашиваю, что вамъ угодно?

Мерчуткина. Прикажите, батюшка, выдать мнѣ 15 рублей, а остальные хоть черезъ мѣсяць.

**Хиринъ.** Но вѣдь вамъ, кажется, было сказано русскимъ языкомъ: здѣсь банкъ!

**Мерчуткина.** Такъ, такъ... А если нужно, я могу медицинское свидѣтельство представить.

**Хиринъ.** У васъ на плечахъ голова, или что?

**Мерчуткина.** Миленкій, вѣдь я по закону прошу. Мнѣ чужого не нужно.

**Хиринъ.** Я васъ, мадамъ, спрашиваю: у васъ голова на плечахъ, или что? Ну, чортъ меня подери совсѣмъ, мнѣ некогда съ вами разговаривать! Я занятъ. (*Указываетъ на дверь.*) Прошу!

**Мерчуткина** (*удивленная.*) А деньги какъ же?..

**Хиринъ.** Однимъ словомъ, у васъ на плечахъ не голова, а вотъ что... (*Стучитъ пальцемъ по столу, потомъ себѣ по лбу.*)

**Мерчуткина** (*обидѣвшись.*) Что? Ну, нечего, нечего... Своей женѣ постукай... Я губернская секретарша... Со мной не очень!

**Хиринъ** (*встываетъ, вполголоса.*) Вонъ отсюда!

**Мерчуткина.** Но, но, но... Не очень!

**Хиринъ** (*вполголоса.*) Ежели ты не уйдешь сію секунду, то я за дворникомъ пошлю! Вонъ! (*Топочетъ ногами.*)

**Мерчуткина.** Нечего, нечего! Не боюсь! Видали мы такихъ... Скважина!

**Хиринъ.** Кажется, во всю свою жизнь не видалъ противнѣе... Уфъ! Даже въ голову ударило... (*Тяжело дышетъ.*) Я тебѣ еще разъ говорю... Слышишь? Ежели ты, старая кикимора, не уйдешь отсюда, то я тебя въ порошокъ сотру! У меня такой характеръ, что я могу изъ тебя на весь вѣкъ калѣку сдѣлать! Я могу преступленіе совершить!

**Мерчуткина.** Собака лаетъ, вѣтеръ носить. Не испугалась. Видали мы такихъ.

**Хиринъ** (*въ отчаяніи.*) Видѣть ея не могу! Мнѣ дурно!

Я не могу! (*Идетъ къ столу и садится*). Напустили бабъ полонъ банкъ, не могу я доклада писать! Не могу!

**Мерчуткина.** Я не чужое прошу, а свое, по закону. Ишь, срамникъ! Въ присутственномъ мѣстѣ въ валенкахъ сидить... Мужикъ... (*Входятъ Шипучинъ и Татьяна Алексѣвна*).

**Татьяна Алексѣвна** (*входя за мужемъ*). Поѣхали мы на вечеръ къ Бережницкимъ. На Катѣ было голубенькое фуляровое платье съ легкимъ кружевомъ и съ открытой шейкой... Ей очень къ лицу высокая прическа, и я ее сама причесала... Какъ одѣлась и причесалась, ну просто очарованіе!

**Шипучинъ** (*уже съ миренью*) Да, да... очарованіе... Сейчасъ могутъ прійти сюда.

**Мерчуткина.** Ваше превосходительство!..

**Шипучинъ** (*умыло*). Что еще? Что вамъ угодно?

**Мерчуткина.** Ваше превосходительство!.. (*Указываетъ на Хирину*). Вотъ этотъ, вотъ самый... вотъ этотъ постучалъ себѣ пальцемъ по лбу, а потомъ по столу... Вы велѣли ему мое дѣло разобрать, а онъ насмѣхается и всякія слова. Я женщина слабая, беззащитная...

**Шипучинъ.** Хорошо, сударыня, я разберу... прійму мѣры... Уходите... послѣ!.. (*Въ сторону*). У меня подагра начинается!..

**Хиринъ** (*подходитъ къ Шипучину, тихо*). Андрей Андреичъ, прикажите послать за швейцаромъ, пусть ее въ три шеи погонить! Вѣдь это что такое?

**Шипучинъ** (*истуанно*). Нѣтъ, нѣтъ! Она визгъ подниметь, а въ этомъ домѣ много квартиръ.

**Мерчуткина.** Ваше превосходительство!..

**Хиринъ** (*плачущимъ голосомъ*). Но вѣдь мнѣ докладъ надо писать! Я не успѣю!.. (*Возвращается къ столу*). Я не могу!

**Мерчуткина.** Ваше превосходительство, когда же я получу? Мнѣ нынче деньги надобны.

**Шипучинъ** (*въ сторону, съ негодованіемъ*). За-мѣ-ча-тель-но



подлая баба! *(ей мико)* Сударыня, я уже вамъ говорилъ. Здѣсь банкъ, учрежденіе частное, коммерческое...

**Мерчуткина.** Сдѣлайте милость, ваше превосходительство, будьте отцомъ роднымъ... Ежели медицинскаго свидѣтельства мало, то я могу и изъ участка удостовѣреніе представить. Прикажите выдать мнѣ деньги!

**Шипучинъ** *(тяжело вздыхаетъ)*. Уфъ!

Татьяна Алексѣевна *(Мерчуткиной)*. Бабушка, вамъ же говорить, что вы мѣшаете. Какая вы право.

**Мерчуткина.** Красавица, матушка, за меня похлопотать не кому. Одно только званіе, что пью и ѣмъ, а кофей нынѣ пила безъ всякаго удовольствія.

**Шипучинъ** *(въ изнеможеніи Мерчуткиной)*. Сколько вы хотите получить?

**Мерчуткина.** 24 рубля 36 копѣекъ.

**Шипучинъ.** Хорошо!.. *(достаетъ изъ бумажника 25 руб. и подаетъ ей)*. Вотъ вамъ 25 рублей. Берите и... уходите!

**Хиринъ** *(сердито кашляетъ)*.

**Мерчуткина.** Покорнѣйше благодарю, ваше превосходительство... *(Прячетъ деньги)*.

Татьяна Алексѣевна *(сидясь около мужа)*. Однако мнѣ пора домой... *(посмотрѣвъ на часы)* Но я еще не кончила... Въ одну минуточку кончу и уйду... Что было! Ахъ, что было! И такъ поѣхали мы на вечеръ къ Бережницкимъ... Ничего себѣ, весело было, но не особенно... Былъ, конечно, и Катинъ вздыхатель Грендилевскій... Ну, я съ Катей поговорила, поплакала, повліяла на нее, она тутъ же на вечерѣ объяснилась съ Грендилевскимъ и отказала ему. Ну, думаю, все устроилось, какъ нельзя лучше: маму успокоила, Катю спасла и теперь сама могу быть спокойна... Что же ты думаешь? Передъ самымъ ужиномъ идемъ мы съ Катей по аллеѣ и вдругъ... *(волнуясь)* И вдругъ слышимъ выстрѣлъ... Нѣтъ, я не могу говорить объ этомъ хладнокровно! *(обмахивается платкомъ)* Нѣтъ, не могу!

Шипучинъ (*вздыхаетъ*). Уфъ!

Татьяна Алексѣевна (*плачетъ*). Бѣжимъ къ бесѣдѣ, а тамъ... тамъ лежитъ бѣдный Грендлевскій... съ пистоле- томъ въ рукѣ...

Шипучинъ. Нѣтъ, я этого не вынесу! Я не вынесу! (*Мерчуткиной*) Вамъ что еще нужно?

Мерчуткина. Ваше превосходительство, нельзя ли моему мужу опять поступить на мѣсто?

Татьяна Алексѣевна (*плача*). Выстрѣлилъ себѣ прямо въ сердце... вотъ тутъ... Катя упала безъ чувствъ, бѣдняжка... А онъ самъ страшно испугался, лежитъ и... и просить послать за докторомъ. Скоро пріѣхать докторъ и... и спасъ несчастнаго...

Мерчуткина. Ваше превосходительство, нельзя ли моему мужу опять поступить на мѣсто?

Шипучинъ. Нѣтъ, я не вынесу! (*плачетъ*) Не вынесу! (*протягиваетъ къ Хирину обѣ руки, въ отчаяніи*). Прогоните ее! Прогоните, умоляю васъ!

Хиринъ (*подходя къ Татьянѣ Алексѣевнѣ*). Вонъ отсюда!

Шипучинъ. Не ее, а вотъ эту... вотъ эту ужасную... (*указываетъ на Мерчуткину*) вотъ эту!

Хиринъ (*не попявъ его, Татьянѣ Алексѣевнѣ*). Вонъ отсюда! (*топочетъ ногами*). Вонъ пошла!

Татьяна Алексѣевна. Что? Что вы? Съ ума сошли?

Шипучинъ. Это ужасно! Я несчастный человѣкъ! Гоните ее! Гоните!

Хиринъ. (*Татьянѣ Алексѣевнѣ*). Вонъ! Искалѣчу! Иско- веркаю! Преступленіе совершу!

Татьяна Алексѣевна (*бѣжитъ отъ него, онъ за ней*). Да какъ вы смѣете! Вы нахалы! (*кричитъ*) Андрей! Спаси! Андрей! (*взвизгиваетъ*).

Шипучинъ (*бѣжитъ за ними*). Перестаньте! Умоляю васъ! Тише! Пощадите меня!

Хиринъ (*гонится за Мерчуткиной*). Вонъ отсюда! Ловите! Бейте! Рѣжьте ее!

Шипучинъ (*кричитъ*). Перестаньте! Прошу васъ! Умоляю! Мерчуткина. Батюшки... батюшки!.. (*взвизгиваетъ*) Батюшки!..

Татьяна Алексѣевна (*кричитъ*). Спасите! Спасите!.. Ахъ, ахъ... дурно! Дурно! (*вскакиваетъ на стулъ, потомъ падаетъ на диванъ и стонетъ, какъ въ обморокъ*).

Хиринъ (*гонится за Мерчуткиной*). Бейте ее! Лупите! Рѣжьте!

Мерчуткина. Ахъ, ахъ... батюшки, въ глазахъ темно! Ахъ! (*Падаетъ безъ чувствъ на руки Шипучина*).

*Стукъ въ дверь и голосъ за сценой:—«Депутація!».*

Шипучинъ. Депутація... репутація... оккупация...

Хиринъ (*топочетъ ногами*). Вонъ, чортъ бы меня драгъ! (*Засучиваетъ рукава*) Дайте мнѣ ее! Преступленіе могу совершить!

*Входитъ депутація изъ пяти чело­вѣкъ; всѣ во фракахъ. У одного въ рукахъ адресъ въ бархатномъ переплетѣ, у друго­го—жбанъ. Въ дверь изъ правленія смотрятъ служащіе. Татьяна Алексѣевна на диванѣ, Мерчуткина на рукахъ у Шипучина, обѣ тихо стонутъ.*

Членъ банка (*громко читаетъ*). «Многоуважаемый и дорогой Андрей Андреевичъ! Бросая ретроспективный взглядъ на прошлое нашего финансоваго учрежденія и пробѣгая умственнымъ взоромъ исторію его постепеннаго развитія, мы получаемъ въ высшей степени отрадное впечатлѣніе. Правда, въ первое время его существованія, небольшіе размеры основнаго капитала, отсутствіе какихъ-либо серьезныхъ операцій, а также неопредѣленность цѣлей ставили ребромъ Гамлетовскій вопросъ: «быть, или не быть?» и въ одно время даже раздавались голоса въ пользу закрытія банка. Но вотъ, во главѣ учрежденія становитесь вы.

Ваши знанія, енергія и присущій вамъ тактъ были причиною необычайнаго успѣха и рѣдкаго процвѣтанія. Репутація банка... *(кашляетъ)* репутация банка...

Меркутинна *(стонетъ)*. Охъ! Охъ!

Татьяна Алексѣвна *(стонетъ)*. Воды! Воды!

Членъ банка *(продолжаетъ)*. Репутація... *(кашляетъ)* репутация банка поднята вами на такую высоту, что наше учрежденіе можетъ нынѣ соперничать съ лучшими заграничными учрежденіями...

Шипучинъ. Депутація... репутация... оккупация... шли два пріятеля вечернею порой и дѣльный разговоръ вели между собой... Не говори, что молодость сгубила, что ревностью истерзана моей.

Членъ банка *(продолжаетъ въ смущеніи)*. Затѣмъ, бросая объективный взглядъ на настоящее, мы, многоуважаемый и дорогой Андрей Андреевичъ... *(пониживъ тонъ)* Въ такомъ случаѣ мы послѣ... Мы лучше послѣ... *(Уходятъ въ смущеніи)*.

З а н а в ѣ с ѣ .



# ТРИ СЕСТРЫ.

Драма въ четырехъ дѣйствіяхъ.

## ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Прозоровъ Андрей Сергѣевичъ.

Наталья Ивановна, его невѣста, потомъ жена.

Ольга  
Маша } его сестры.  
Ирина }

Кулыгинъ Федоръ Ильичъ, учитель гимназія, мужъ Машы.

Вершининъ Александръ Игнатьевичъ, подполковникъ, батарейный командиръ.

Тузенбахъ Николай Львовичъ, баронъ, поручикъ.

Соленый Василій Васильевичъ, штабсъ-капитанъ.

Чебутыкинъ Иванъ Романовичъ, военный докторъ.

Федотикъ Алексѣй Петровичъ, подпоручикъ.

Родэ Владиміръ Карловичъ, подпоручикъ.

Ферапонтъ, сторожъ изъ земской управы, старикъ.

Анеиса, нянька, старуха 80 лѣтъ.

Дѣйствіе происходитъ въ губернскомъ городѣ.

## ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

*Въ домъ Прозоровыхъ. Гостиная съ колоннами, за которыми виденъ большой залъ. Полдень; на дворъ солнечно, весело. Въ залъ накрываютъ столъ для завтрака. Ольга въ синемъ форменномъ платьѣ учительницы женской гимназіи, все время поправляетъ ученическія тетрадки, стоя и на ходу; Маша въ черномъ платьѣ, со шляпкой на колѣняхъ сидитъ и читаетъ книжку, Ирина въ бѣломъ платьѣ стоитъ задумавшись.*

**Ольга.** — Отецъ умеръ ровно годъ назадъ, какъ разъ въ этотъ день, пятого мая, въ твои именины, Ирина. Было очень холодно, тогда шелъ снѣгъ. Мнѣ казалось, я не переживу, ты лежала въ обморокѣ, какъ мертвая. Но вотъ прошелъ годъ и мы вспоминаемъ объ этомъ легко, ты уже въ бѣломъ платьѣ, лицо твое сіяетъ. (*часы бьютъ двѣнадцать*). И тогда также били часы. (*пауза*) Помню, когда отца несли, то играла музыка, на кладбищѣ стрѣляли. Онъ былъ генералъ, командовалъ бригадой, между тѣмъ народу шло мало. Впрочемъ, былъ дождь тогда. Сильный дождь и снѣгъ.

**Ирина.** — Зачѣмъ вспоминать!

*За колоннами, въ залъ около стола показываются баронъ Тузенбахъ, Чебутыкинъ и Солсый.*

**Ольга.** — Сегодня тепло, можно окна держать настежь, а березы еще не распускались. Отецъ получилъ бригаду и выѣхалъ съ нами изъ Москвы одиннадцать лѣтъ назадъ и, я отлично помню, въ началѣ мая, вотъ въ эту пору въ Москвѣ уже все въ цвѣту, тепло, все залито солнцемъ. Одиннадцать лѣтъ прошло, а я помню тамъ все, какъ будто выѣхали вчера. Боже мой! Сегодня утромъ проснулась, увидѣла массу свѣта, увидѣла весну, и радость заволновалась въ моей душѣ, захотѣлось на родину страстно.

**Чебутыкинъ.** — Чорта съ два!

**Тузенбахъ.** — Конечно, вздоръ.

**Маша** (*задумавшись надъ книжкой, тихо насвистываетъ тѣсно*).

**Ольга.** — Не свисти, Маша. Какъ это ты можешь! (*пауза*). Оттого, что я каждый день въ гимназiи и потомъ даю уроки до вечера, у меня постоянно болитъ голова и такія мысли, точно я уже состарилась. И въ самомъ дѣлѣ, за эти четыре года, пока служу въ гимназiи, я чувствую, какъ изъ меня выходятъ каждый день по каплямъ и силы, и молодость. И только растеть и крѣпнеть одна мечта...

**Ирина.** — Уѣхать въ Москву. Продать домъ, покончить все здѣсь и въ Москву...

**Ольга.** — Да! Скорѣе въ Москву.

*Чебутыкинъ и Тузенбахъ смѣются.*

**Ирина.** — Братъ, вѣроятно, будетъ профессоромъ, онъ все равно не станетъ жить здѣсь. Только вотъ остановка за бѣдной Машей.

**Ольга.** — Маша будетъ прѣзжать въ Москву на все лѣто, каждый годъ.

**Маша** (*тихо насвистываетъ тѣсно*).

**Ирина.** — Богъ дастъ, все устроится, (*глядя въ окно*) Хорошая погода сегодня. Я не знаю, отчего у меня на душѣ такъ свѣтло! Сегодня утромъ вспомнила, что я именинница,



и вдруг почувствовала радость, и вспомнила дѣтство, когда еще была жива мама. И какія чудныя мысли волновали меня, какія мысли!

Ольга.—Сегодня ты вся сіяешь, кажешься необыкновенно красивой. И Маша тоже красива. Андрей былъ бы хорошъ, только онъ располнѣлъ очень, это къ нему не идетъ. А я постарѣла, похудѣла сильно, оттого, должно быть, что сержусь въ гимназіи на дѣвочекъ. Вотъ сегодня я свободна, я дома, и у меня не болитъ голова, я чувствую себя моложе, чѣмъ вчера. Мнѣ двадцать восемь лѣтъ, только... Все хорошо, все отъ Бога, но мнѣ кажется, если бы я вышла замужъ и цѣлый день сидѣла дома, то это было бы лучше. *(пауза)* Я бы любила мужа.

Тузенбахъ *(Соленому)*.—Такой вы вздоръ говорите, надоѣло васъ слушать. *(входя въ гостиную)* Забылъ сказать. Сегодня у васъ съ визитомъ будетъ нашъ новый батарейный командиръ Вершининъ. *(садится у піанино)*.

Ольга.—Ну, что-жъ! Очень рада.

Ирина.—Онъ старый?

Тузенбахъ.—Нѣтъ, ничего. Самое большее, лѣтъ сорокъ, сорокъ пять. *(тихо наирываетъ)* Повидимому, славный малый. Не глупъ, это—несомнѣнно. Только говорить много.

Ирина.—Интересный человѣкъ?

Тузенбахъ.—Да, ничего себѣ, только жена, теща и двѣ дѣвочки. Притомъ женатъ во второй разъ. Онъ дѣлаетъ визиты и вездѣ говорить, что у него жена и двѣ дѣвочки. И здѣсь скажетъ. Жена какая-то полоумная, съ длинной дѣвической косой, говорить однѣ высокопарныя вещи, философствуетъ и часто покушается на самоубійство, очевидно, чтобы насолить мужу. Я бы давно ушелъ отъ такой, но онъ терпитъ и только жалуется.

Соленый *(входя изъ залы въ гостиную съ Чебутыкинымъ)*.—Одной рукой я поднимаю только полтора пуда, а двумя пять, даже шесть пудовъ. Изъ этого я заключаю,

что два человѣка сильнѣе одного не вдвое, а втрое, даже больше...

**Чебутыкинъ** (*читаетъ на ходу газету*).—При выпаденіи волосъ... два золотника нафталина на полбутылки спирта... растворить и употреблять ежедневно... (*записываетъ въ книжку*) Запишемъ-съ! (*Соленому*) Такъ вотъ, я говорю вамъ, пробочка втыкается въ бутылочку, и сквозь нее проходитъ стеклянная трубочка... Потомъ вы берете щепоточку самыхъ простыхъ, обыкновеннѣйшихъ квасцовъ...

**Ирина.**—Иванъ Романычъ, милый Иванъ Романычъ!

**Чебутыкинъ.**—Что, дѣвочка моя, радость моя?

**Ирина.**—Скажите мнѣ, отчего я сегодня такъ счастлива? Точно я на парусахъ, надо мной широкое голубое небо и носятся большія бѣлыя птицы. Отчего это? Отчего?

**Чебутыкинъ** (*цѣлуетъ ей объ руки, нѣжно*). — Птица моя бѣлая...

**Ирина.**— Когда я сегодня проснулась, встала и умылась, то мнѣ вдругъ стало казаться, что для меня все ясно на этомъ свѣтѣ, и я знаю, какъ надо жить. Милый Иванъ Романычъ, я знаю все. Человѣкъ долженъ трудиться, работать въ потѣ лица, кто бы онъ ни былъ, и въ этомъ одномъ заключается смыслъ и цѣль его жизни, его счастье, его восторги. Какъ хорошо быть рабочимъ, который встаетъ чуть свѣтъ и бьетъ на улицѣ камни, или пастухомъ, или учителемъ, который учитъ дѣтей, или машинистомъ на желѣзной дорогѣ... Боже мой, не то что человѣкомъ, лучше быть волкомъ, лучше быть простою лошадю, только бы работать, чѣмъ молодой женщиной, которая встаетъ въ двѣнадцать часовъ дня, потомъ пьетъ въ постели кофе, потомъ два часа одѣвается... о, какъ это ужасно! Въ жаркую погоду такъ иногда хочется пить, какъ мнѣ захотѣлось работать. И если я не буду рано вставать и трудиться, то откажите мнѣ въ вашей дружбѣ, Иванъ Романычъ.

**Чебутыкинъ** (*нѣжно*).—Откажу, откажу...

**Ольга.** — Отецъ приучилъ насъ вставать въ семь часовъ. Теперь Ирина просыпается въ семь и, по крайней мѣрѣ, до девяти лежитъ и о чемъ-то думаетъ. А лицо серьезное! (*смѣется*).

**Ирина.** — Ты привыкла видѣть меня дѣвочкой и тебѣ странно, когда у меня серьезное лицо. Мнѣ двадцать лѣтъ!

**Тузенбахъ.**—Тоска по трудѣ, о Боже мой, какъ она мнѣ понятна! Я не работалъ ни разу въ жизни. Родился я въ Петербургѣ, холодномъ и праздномъ, въ семьѣ, которая никогда не знала труда и никакихъ заботъ. Помню, когда я привѣзжалъ домой изъ корпуса, то лакей стаскивалъ съ меня сапоги, я капризничалъ въ это время, а моя мать смотрѣла на меня съ благоговѣніемъ и удивлялась, когда другіе на меня смотрѣли иначе. Меня оберегали отъ труда. Только едва ли удалось обречь, едва ли! Пришло время, надвигается на всѣхъ насъ громада, готовится здоровая, сильная буря, которая идетъ, уже близка и скоро сдуетъ съ нашего общества лѣнь, равнодушіе, предубѣжденіе къ труду, гнилую скуку. Я буду работать, а черезъ какіе-нибудь 25—30 лѣтъ работать будетъ уже каждый человѣкъ. Каждый!

**Чебутыкинъ.**—Я не буду работать.

**Тузенбахъ.**—Вы не въ счетъ.

**Соленый.**—Черезъ двадцать пять лѣтъ васъ уже не будетъ на свѣтѣ, слава Богу. Года черезъ два-три вы умрете отъ кондрашки, или я вспылю и всажу вамъ пулю въ лобъ, ангелъ мой. (*вынимаетъ изъ кармана флаконъ съ духами и опрыскиваетъ себя грудь, руки.*)

**Чебутыкинъ** (*смѣется*). — А я въ самомъ дѣлѣ никогда ничего не дѣлалъ. Какъ вышелъ изъ университета, такъ не ударилъ пальцемъ о палецъ, даже ни одной книжки не прочелъ, а читалъ только однѣ газеты... (*вынимаетъ изъ кармана другую газету*) Вотъ... Знаю по газетамъ, что былъ, положимъ, Добролюбовъ, а что онъ тамъ писалъ— не знаю... Богъ его знаетъ... (*слышно, какъ стучатъ въ*

*поль из нижняго этажа*). Вотъ... Зовутъ меня внизъ, кто-то ко мнѣ пришелъ. Сейчасъ приду... погодите... *(торопливо уходитъ, расчесывая бороду)*.

Ирина. — Это онъ что-то выдумалъ.

Тузенбахъ. — Да. Ушелъ съ торжественной фізіономіей, очевидно, принесетъ вамъ сейчасъ подарокъ.

Ирина. — Какъ это неприятно!

Ольга. — Да, это ужасно. Онъ всегда дѣлаетъ глупости.

Маша. — У лукоморья дубъ зеленый, златая цѣпь на дубѣ томъ... Златая цѣпь на дубѣ томъ... *(встаетъ и напѣваетъ тихо)*.

Ольга. — Ты сегодня не веселая, Маша.

Маша *(напѣвая, надѣваетъ шляпу)*.

Ольга. — Куда ты?

Маша. — Домой.

Ирина. — Странно...

Тузенбахъ. — Уходить съ именины!

Маша. — Все равно... Приду вечеромъ. Прощай, моя хорошая... *(цѣлуетъ Ирину)* Желаю тебѣ еще разъ, будь здорова, будь счастлива. Въ прежнее время, когда былъ живъ отецъ, къ намъ на именины приходило всякій разъ по тридцать-сорокъ офицеровъ, было шумно, а сегодня только полтора человѣка и тихо, какъ въ пустынь... Я уйду... Сегодня я въ мерлехлюндіи, невесело мнѣ, и ты не слушай меня. *(смыкаетъ сквозь слезы)* Послѣ поговоримъ, а пока прощай, моя милая, пойду куда-нибудь.

Ирина *(недовольная)*. — Ну, какая ты...

Ольга *(со слезами)*. — Я понимаю тебя, Маша.

Соленый. — Если философствуетъ мужчина, то это будетъ философистика, или тамъ софистика; если же философствуетъ женщина, или двѣ женщины, то ужъ это будетъ — потяни меня за палець.

Маша. — Что вы хотите этимъ сказать, ужасно страшный человѣкъ?

Соленый.—Ничего. Онъ ахнуть не успѣлъ, какъ на него медвѣдь наскѣлъ. (*пауза*).

Маша (*Ольга, сердито*).—Не реви!

*Входятъ Анеиса и Ферাপонтъ съ тортомъ.*

Анеиса.—Сюда, батюшка мой. Входи, ноги у тебя чистыя. (*Иринъ*) Изъ земской управы, отъ Протопопова, Михаила Иваныча... Пирогъ.

Ирина.—Спасибо. Поблагодари. (*принимаетъ тортъ*).

Ферапонтъ.—Чего?

Ирина (*громче*).—Поблагодари!

Ольга.—Няечка, дай ему пирога. Ферাপонтъ, иди, тамъ тебѣ пирога дадутъ.

Ферапонтъ.—Чего?

Анеиса.—Пойдемъ, батюшка Ферাপонтъ Спиридонычъ. Пойдемъ... (*уходитъ съ Ферапонтотомъ*).

Маша.—Не люблю я Протопопова, этого Михаила Потапыча, или Иваныча. Его не слѣдуетъ приглашать.

Ирина.—Я не приглашала.

Маша.—И прекрасно.

*Входитъ Чебутыкинъ, за нимъ солдатъ съ серебрянымъ самоваромъ; гулъ изумленія и недовольства.*

Ольга (*закрываетъ лицо руками*).—Самоваръ! Это ужасно! (*уходитъ въ залу къ столу*).

Ирина.—Голубчикъ, Иванъ Романычъ, что вы дѣлаете!

Тузенбахъ (*сметая*).—Я говорилъ вамъ.

Маша.—Иванъ Романычъ, у васъ просто стыда нѣтъ!

Чебутыкинъ.—Милыя мои, хорошія мои, вы у меня единственные, вы для меня самое дорогое, что только есть на свѣтѣ. Мнѣ скоро шестьдесятъ, я старикъ, одинокій, ничтожный старикъ... Ничего во мнѣ нѣтъ хорошаго, кромѣ этой любви къ вамъ, и если бы не вы, то я бы давно уже не жилъ на свѣтѣ... (*Иринъ*) Милая, дѣточка моя, я зналъ васъ со дня вашего рожденія... носилъ на рукахъ... я любилъ покойницу маму...

**Ирина.**— Но зачѣмъ такіе дорогіе подарки!

**Чебутыкинъ** (*сквозь слезы, сердито*). — Дорогіе подарки... Ну васъ совсѣмъ! (*Денщику*) Неси самоваръ туда... (*бранишь*) Дорогіе подарки... (*Денщикъ уноситъ самоваръ въ залъ*).

**Анеиса** (*проходя черезъ гостиную*). — Милыя, полковникъ незнакомый. Ужъ пальто снялъ, дѣточки, сюда идетъ. Ари-нушка, ты же будь ласковая, вѣжливенькая... (*уходя*) И заѣзтракать уже давно пора... Господи...

**Тузенбахъ.**—Вершининъ, должно быть.

*Входитъ Вершининъ.*

**Тузенбахъ.**—Подполковникъ Вершининъ!

**Вершининъ** (*Машъ и Ирину*). — Честь имѣю представиться: Вершининъ. Очень, очень радъ, что, наконецъ, я у васъ. Какія вы стали! Ай! ай!

**Ирина.**—Садитесь, пожалуйста. Намъ очень пріятно.

**Вершининъ** (*весело*).—Какъ я радъ, какъ я радъ! Но вѣдь васъ три сестры. Я помню—три дѣвочки. Лицъ ужъ не помню, но что у вашего отца, полковника Прозорова, были три маленькихъ дѣвочки, я отлично помню и видѣлъ собственными глазами. Какъ идетъ время! Ой, ой, какъ идетъ время!

**Тузенбахъ.**—Александръ Игнатьевичъ изъ Москвы.

**Ирина.**—Изъ Москвы? Вы изъ Москвы?

**Вершининъ.**—Да, оттуда. Вашъ покойный отецъ былъ тамъ батарейнымъ командиромъ, а я въ той же бригадѣ офицеромъ. (*Машъ*) Вотъ ваше лицо немножко помню, кажется.

**Маша.**—А я васъ—нѣтъ!

**Ирина.**—Оля! Оля! (*кричитъ въ залу*) Оля, иди же!

**Ольга** (*входитъ изъ залы въ гостиную*).

**Ирина.**—Подполковникъ Вершининъ, оказывается, изъ Москвы.

Вершининъ.—Вы, стало быть, Ольга Сергѣевна, старшая...  
А вы Марія... А вы Ирина—младшая...

Ольга.—Вы изъ Москвы?

Вершининъ.—Да. Учился въ Москвѣ и началъ службу въ Москвѣ, долго служилъ тамъ, наконецъ, получилъ здѣсь батарею—перешелъ сюда, какъ видите. Я васъ не помню собственно, помню только, что васъ было три сестры. Вашъ отецъ сохранился у меня въ памяти, вотъ закрою глаза и вижу, какъ живого. Я у васъ бывалъ въ Москвѣ...

Ольга.—Мнѣ казалось, я всѣхъ помню, и вдругъ...

Вершининъ.—Меня зовутъ Александромъ Игнатьевичемъ...

Ирина.—Александръ Игнатьевичъ, вы изъ Москвы... Вотъ неожиданность!

Ольга.—Вѣдь мы туда переѣзжаемъ.

Ирина.—Думаемъ, къ осени уже будемъ тамъ. Нашъ родной городъ, мы родились тамъ... На Старой Басманной улицѣ... *(Объ смѣются отъ радости)*.

Маша.—Неожиданно земляка увидѣли. *(живо)* Теперь вспомнила! Помнишь, Оля, у насъ говорили: «влюбленный майоръ». Вы были тогда поручикомъ и въ кого-то были влюблены, и васъ всѣ дразнили почему-то майоромъ...

Вершининъ *(смѣется)*.—Вотъ, вотъ... Влюбленный майоръ, это такъ...

Маша.—У васъ были тогда только усы... О, какъ вы постарѣли! *(сквозь слезы)* Какъ вы постарѣли!

Вершининъ.—Да, когда меня звали влюбленнымъ майоромъ, я былъ еще молодъ, былъ влюбленъ. Теперь не то.

Ольга.—Но у васъ еще ни одного сѣдого волоса. Вы постарѣли, но еще не стары.

Вершининъ.—Однако, уже сорокъ третій годъ. Вы давно изъ Москвы?

Ирина.—Одиннадцать лѣтъ. Ну, что ты, Маша, плачешь, чудачка... *(сквозь слезы)*. И я заплачу...

Маша.—Я ничего. А на какой вы улицѣ жили?

Вершининъ.—На Старой Басманной.

Ольга.—И мы тамъ тоже...

Вершининъ.—Одно время я жилъ на Нѣмецкой улицѣ. Съ Нѣмецкой улицы я хаживалъ въ Красныя казармы. Тамъ по пути угрюмый мостъ, подъ мостомъ вода шумить. Одинокому становится грустно на душѣ. *(пауза)* А здѣсь какая широкая, какая богатая рѣка! Чудесная рѣка!

Ольга.—Да, но только холодно. Здѣсь холодно и комары...

Вершининъ.—Что вы! Здѣсь такой здоровый, хорошій, славянскій климатъ. Лѣсъ, рѣка... и здѣсь тоже березы. Милыя, скромныя березы, я люблю ихъ больше всѣхъ деревьевъ. Хорошо здѣсь жить. Только странно, вокзалъ желѣзной дороги въ двадцати верстахъ... И никто не знаетъ, почему это такъ.

Соленый.—А я знаю, почему это такъ. *(естъ глядятъ на него)* Потому что, если бы вокзалъ былъ близко, то не былъ бы далеко, а если онъ далеко, то, значить, не близко.

*Неловкое молчаніе.*

Тузенбахъ.—Шутникъ, Василій Васильичъ.

Ольга.—Теперь и я вспомнила васъ. Помню.

Вершининъ.—Я вашу матушку зналъ.

Чебутынинъ.—Хорошая была, царство ей небесное.

Ирина.—Мама въ Москвѣ погребена.

Ольга.—Въ Ново-Дѣвичьемъ...

Маша.—Представьте, я ужъ начинаю забывать ея лицо. Такъ и о насъ не будутъ помнить. Забудутъ.

Вершининъ.—Да. Забудутъ. Такова ужъ судьба наша, ничего не подѣлаешь. То, что кажется намъ серьезнымъ, значительнымъ, очень важнымъ,—придетъ время, —будетъ забыто, или будетъ казаться неважнымъ. *(пауза)* И интересно, мы теперь совсѣмъ не можемъ знать, что собственно будетъ считаться высокимъ, важнымъ, и что жалкимъ, смѣшнымъ. Развѣ открытіе Колерника, или, положимъ, Колумба не казалось въ первое время ненужнымъ, смѣшнымъ,



а какой-нибудь пустой вздоръ, написанный чудакомъ, не казался истиной? И можетъ статься, что наша теперешняя жизнь, съ которой мы такъ миримся, будетъ современемъ казаться странной, неудобной, неумной, недостаточно чистой, быть-можетъ, даже грѣшной...

Тузенбахъ.—Кто знаетъ? А, быть-можетъ, нашу жизнь назовутъ высокой и вспомнятъ о ней съ уваженіемъ. Теперь нѣтъ пытокъ, нѣтъ казней, нашествій, но вмѣстѣ съ тѣмъ сколько страданій!

Соленый (*тонкимъ голосомъ*).—Ципъ, ципъ, ципъ... Барона кашей не корми, а только дай ему пофилософствовать.

Тузенбахъ.—Василій Васильичъ, прошу васъ оставить меня въ покоѣ... (*садится на другое мѣсто*). Это скучно, наконецъ.

Соленый (*тонкимъ голосомъ*).—Ципъ, ципъ, ципъ...

Тузенбахъ (*Вершинину*).—Страданія, которыя наблюдаются теперь,—ихъ такъ много!—говорятъ все-таки объ известномъ нравственномъ подъемѣ, котораго уже достигло общество...

Вершининъ.—Да, да, конечно.

Чебутыкинъ.—Вы только-что сказали, баронъ, нашу жизнь назовутъ высокой; но люди все же низенькіе... (*встаетъ*). Смотрите, какой я низенькій. Это для моего утѣшенія надо говорить, что жизнь моя высокая, понятная вещь.

*За сценой игра на скрипкѣ.*

Маша.—Это Андрей играетъ, нашъ братъ.

Ирина.—Онъ у насъ ученый. Должно-быть, будетъ профессоромъ. Папа былъ военнымъ, а его сынъ избралъ себѣ ученую карьеру.

Маша.—По желанію папы.

Ольга.—Мы сегодня его задразнили. Онъ, кажется, влюбленъ немножко.

Ирина.—Въ одну здѣшнюю барышню. Сегодня она будетъ у насъ, по всей вѣроятности.

Маша.—Ахъ, какъ она одѣвается! Не то, чтобы некрасиво, не модно, а просто жалко. Какая-то странная, яркая, желтоватая юбка съ этакой пошленькой бахромой и красная кофточка. И щеки такія вымытыя, вымытыя! Андрей не влюбленъ — я не допускаю, все-таки у него вкусъ есть, а просто онъ такъ, дразнить насъ, дурачится. Я вчера слышала, она выходитъ за Протопопова, предсѣдателя здѣшней управы. И прекрасно... *(въ боковую дверь)* Андрей, поди сюда! Милый, на минутку!

*Входитъ Андрей.*

Ольга.—Это мой братъ, Андрей Сергѣичъ.

Вершининъ.—Вершининъ.

Андрей.—Прозоровъ. *(утираетъ вспотѣвшее лицо)* Вы къ намъ батарейнымъ командиромъ?

Ольга.—Можешь представить, Александръ Игнатьичъ изъ Москвы.

Андрей.—Да? Ну, поздравляю, теперь мои сестрицы не дадутъ вамъ покою.

Вершининъ.—Я уже успѣлъ надѣсть вашимъ сестрамъ.

Ирина.—Посмотрите, какую рамочку для портрета подарилъ мнѣ сегодня Андрей! *(показываетъ рамочку)* Это онъ самъ сдѣлалъ.

Вершининъ *(глядя на рамочку и не зная, что сказать)*.— Да... вещь...

Ирина.—И вотъ ту рамочку, что надъ пианино, онъ тоже сдѣлалъ.

Андрей *(махнетъ рукой и отходитъ)*.

Ольга.—Онъ у насъ и ученый, и на скрипкѣ играетъ, и выпиливаетъ разныя штучки, однимъ словомъ, мастеръ на всѣ руки. Андрей, не уходи! У него манера—всегда уходить. Поди сюда!

*Маша и Ирина берутъ его подъ руки и со смѣхомъ ведутъ назадъ.*

Маша.—Иди, иди!

Андрей.—Оставьте, пожалуйста.

Маша.—Какой смѣшной! Александра Игнатьевича называли когда-то влюбленнымъ маіоромъ, и онъ нисколько не сердился.

Вершининъ.—Нисколько!

Маша.—А я хочу тебя назвать: влюбленный скрипачъ!

Ирина.—Или влюбленный профессоръ!..

Ольга.—Онъ влюбленъ! Андрюша влюбленъ!

Ирина (*аплодируя*).—Браво, браво! Бисъ! Андрюшка влюбленъ!

Чебутыкинъ (*подходитъ сзади къ Андрею и беретъ его обѣими руками за талию*).—Для любви одной природа насъ на свѣтъ произвела! (*хохочетъ; онъ все время съ газетой.*)

Андрей.—Ну, довольно, довольно... (*утираетъ лицо*). Я всю ночь не спалъ и теперь немножко не въ себѣ, какъ говорится. До четырехъ часовъ читалъ, потомъ легъ, но ничего не вышло. Думалъ о томъ, о семъ, а тутъ ранній разсвѣтъ, солнце такъ и лѣзетъ въ спальню. Хочу за лѣто, пока буду здѣсь, перевести одну книжку съ англійскаго.

Вершининъ.—А вы читаете по-англійски?

Андрей.—Да. Отецъ, царство ему небесное, угнеталъ насъ воспитаніемъ. Это смѣшно и глупо, но въ этомъ все-таки надо сознаться, послѣ его смерти я сталъ полнѣть и вотъ располнѣлъ въ одинъ годъ, точно мое тѣло освободилось отъ гнета. Благодаря отцу, я и сестры знаемъ французскій, нѣмецкій и англійскій языки, а Ирина знаетъ еще по-итальянски. Но чего это стоило!

Маша.—Въ этомъ городѣ знать три языка ненужная роскошь. Даже и не роскошь, а какой-то ненужный придатокъ, въ родѣ шестого пальца. Мы знаемъ много лишняго.

Вершининъ.—Вотъ-те на! (*сѣтается*) Знаете много лишняго! Мнѣ кажется, нѣтъ и не можетъ быть такого скучнаго и унылаго города, въ которомъ былъ бы ненуженъ умный, образованный человѣкъ. Допустимъ, что среди ста

тысячъ населенія этого города, конечно, отсталого и грубаго, такихъ, какъ вы, только три. Само собою разумѣется, вамъ не побѣдить окружающей васъ темной массы; въ теченіе вашей жизни, мало-по-малу, вы должны будете уступить и затеряться въ стотысячной толпѣ, васъ заглушитъ жизнь, но все же вы не исчезнете, не останетесь безъ вліянія; такихъ, какъ вы, послѣ васъ явится уже, быть-можетъ, шесть, потомъ двѣнадцать и такъ далѣе, пока наконецъ такіа, какъ вы, не станутъ большинствомъ. Черезъ двѣсти, триста лѣтъ жизнь на землѣ будетъ невообразимо прекрасной, изумительной. Человѣку нужна такая жизнь, и если ея нѣтъ пока, то онъ долженъ предчувствовать ее, ждать, мечтать, готовиться къ ней, онъ долженъ для этого видѣть и знать больше, чѣмъ видѣли и знали его дѣдъ и отецъ. *(смыется)* А вы жалуетесь, что знаете много лишняго.

Маша *(снимаетъ шляпу)*.—Я остаюсь завтракать.

Ирина *(со вздохомъ)*.—Право, все это слѣдовало бы записать...

*Андрея нѣтъ, онъ незаметно ушелъ.*

Тузенбахъ.—Черезъ много лѣтъ, вы говорите, жизнь на землѣ будетъ прекрасной, изумительной. Это правда. Но, чтобы участвовать въ ней теперь, хотя издали, нужно приготовляться къ ней, нужно работать...

Вершининъ *(встаетъ)*.—Да. Сколько, однако, у васъ цвѣтовъ! *(оглядываясь)* И квартира чудесная. Завидую! А я всю жизнь мою болтался по квартиркамъ съ двумя стульями, съ однимъ диваномъ, и съ печами, которыя всегда дымятъ. У меня въ жизни не хватало именно вотъ такихъ цвѣтовъ... *(протираетъ руки)* Эхъ! Ну, да что!

Тузенбахъ.—Да, нужно работать. Вы, небось, думаете: расчувствовался нѣмецъ. Но я, честное слово, русскій и по-нѣмецки даже не говорю. Отецъ у меня православный... *(пауза)*.

Вершининъ (*ходить по сценѣ*).—Я часто думаю: что, если бы начать жизнь снова, притомъ сознательно? Если бы одна жизнь, которая уже прожита, была, какъ говорится, начерно, другая—начисто! Тогда каждый изъ насъ, я думаю, постарался бы прежде всего не повторять самого себя, по крайней мѣрѣ создалъ бы для себя иную обстановку жизни, устроилъ бы себѣ такую квартиру съ цвѣтами, съ массою свѣта... У меня жена, двое дѣвочекъ, притомъ жена дама нездоровая и такъ далѣе, и такъ далѣе, ну, а если бы начинать жизнь сначала, то я не женился бы... Нѣтъ, нѣтъ!

*Входитъ Кулыгинъ въ форменномъ фракѣ.*

Кулыгинъ (*подходить къ Ирину*).—Дорогая сестра, позволь мнѣ поздравить тебя съ днемъ твоего ангела и пожелать искренно, отъ души, здоровья и всего того, что можно пожелать дѣвушкамъ твоимъ лѣтъ. И потомъ поднести тебѣ въ подарокъ вотъ эту книжку. (*подаетъ книжку*) Исторія нашей гимназіи за пятьдесятъ лѣтъ, написанная мною. Пустышная книжка, написана отъ нечего дѣлать, но ты все-таки прочти. Здравствуйте, господа! (*Вершинину*) Кулыгинъ, учитель здѣшней гимназіи. Надворный совѣтникъ. (*Ирину*) Въ этой книжкѣ ты найдешь списокъ всѣхъ, кончившихъ курсъ въ нашей гимназіи за эти пятьдесятъ лѣтъ. *Feci, quod potui, faciant meliora potentes* (*цѣлуетъ Машу*).

Ирина.—Но вѣдь на Пасху ты уже подарилъ мнѣ такую книжку.

Кулыгинъ (*сметается*). Не можетъ быть! Въ такомъ случаѣ отдай назадъ, или вотъ лучше отдай полковнику. Возьмите, полковникъ. Когда-нибудь прочтете отъ скуки.

Вершининъ.—Благодарю васъ (*собирается уйти*). Я чрезвычайно радъ, что познакомился...

Ольга.—Вы уходите? Нѣтъ, нѣтъ!

Ирина.—Вы останетесь у насъ завтракать. Пожалуйста.

Ольга.—Прощу васъ!

Вершининъ (*кланяется*).—Я, кажется, попалъ на именины. Простите, я не зналъ, не поздравилъ васъ... (*уходитъ съ Ольгой въ залу*).

Кулыгинъ.—Сегодня, господа, воскресный день, день отдыха, будемъ же отдыхать, будемъ веселиться каждый сообразно со своимъ возрастомъ и положеніемъ. Ковры надо будетъ убрать на лѣто и спрятать до зимы... Персидскимъ порошкомъ, или нафталиномъ... Римляне были здоровы, потому что умѣли трудиться, умѣли и отдыхать, у нихъ была *mens sana in corpore sano*. Жизнь ихъ текла по извѣстнымъ формамъ. Нашъ директоръ говоритъ: главное во всякой жизни — это ея форма... Чтò теряетъ свою форму, то кончается—и въ нашей обыденной жизни то же самое. (*беретъ Машу за талію, смѣясь*) Маша меня любить. Моя жена меня любить. И оконныя занавѣски тоже туда съ коврами... Сегодня я веселъ, въ отличномъ настроеніи духа. Маша, въ четыре часа сегодня мы у директора. Устраивается прогулка педагоговъ и ихъ семействъ.

Маша.—Не пойду я.

Кулыгинъ (*огорченный*).—Милая Маша, почему?

Маша.—Послѣ объ этомъ... (*сердито*) Хорошо, я пойду, только отстань, пожалуйста... (*отходитъ*).

Кулыгинъ.—А затѣмъ вечеръ проведемъ у директора. Несмотря на свое болѣзненное состояніе, этотъ человѣкъ старается прежде всего быть общественнымъ. Превосходная, свѣтлая личность. Великолѣпный человѣкъ. Вчера, послѣ совѣта, онъ мнѣ говоритъ: «Усталъ, Федоръ Ильичъ! Усталъ!» (*смотритъ на стѣнные часы, потомъ на свои*) Ваши часы спѣшать на семь минутъ. Да, говоритъ, усталъ!

*За сценой игра на скрипкѣ.*

Ольга.—Господа, милости просимъ, пожалуйста завтракать! Пирогъ!

Кулыгинъ.—Ахъ, милая моя Ольга, милая моя! Я вчера работалъ съ утра до одиннадцати часовъ вечера, усталъ и

сегодня чувствую себя счастливымъ (*уходитъ въ залу къ столу*). Милая моя...

Чебутыкинъ (*кладетъ газету въ карманъ, причесываетъ бороду*).—Пирогъ? Великолѣпно!

Маша (*Чебутыкину строго*).—Только смотрите: ничего не пить сегодня. Слышите? Вамъ вредно пить.

Чебутыкинъ.—Эва! У меня ужъ прошло. Два года, какъ запоя не было. (*нетерпливо*) Э, матушка, да не все ли равно!

Маша.—Все-таки не смѣйте пить. Не смѣйте. (*сердито, но такъ, чтобы не слышалъ мужъ*) Опять, чортъ, подери, скучать цѣлый вечеръ у директора!

Тузенбахъ.—Я бы не пошелъ на вашемъ мѣстѣ... Очень просто.

Чебутыкинъ.—Не ходите, дуся моя.

Маша.—Да, не ходите... Эта жизнь проклятая, невыносимая... (*идетъ въ залу*).

Чебутыкинъ (*идетъ къ ней*).—Ну-у!

Соленый (*проходя въ залу*).—Ципъ, ципъ, ципъ...

Тузенбахъ.—Довольно, Василий Васильичъ. Будетъ!

Соленый.—Ципъ, ципъ, ципъ...

Кулыгинъ (*весело*).—Ваше здоровье, полковникъ! Я педагогъ, и здѣсь въ домѣ свой человекъ, Машинъ мужъ... Она добрая, очень добрая...

Вершининъ.—Я выпью вотъ этой темной водки... (*пьетъ*) Ваше здоровье! (*Ольга*) Мнѣ у васъ такъ хорошо!..

*Въ гостиной остаются только Ирина и Тузенбахъ.*

Ирина.—Маша сегодня не въ духѣ. Она вышла замужъ восемнадцати лѣтъ, когда онъ казался ей самымъ умнымъ человекомъ. А теперь не то. Онъ самый добрый, но не самый умный.

Ольга (*нетерпливо*).—Андрей, иди же, наконецъ!

Андрей (*за сценой*).—Сейчасъ (*входитъ и идетъ къ столу*).

Тузенбахъ.—О чемъ вы думаете?

Ирина.—Такъ. Я не люблю и боюсь этого вашего Соленаго. Онъ говоритъ однѣ глупости...

Тузенбахъ.—Странный онъ человѣкъ. Мнѣ и жаль его, и досадно, но больше жаль. Мнѣ кажется, онъ застѣнчивъ... Когда мы вдвоемъ съ нимъ, то онъ бываетъ очень уменъ и ласковъ, а въ обществѣ онъ грубый человѣкъ, бреттеръ. Не ходите, пусть пока сядутъ за столъ. Дайте мнѣ побыть около васъ. О чемъ вы думаете? (*пауза*) Вамъ двадцать лѣтъ, мнѣ еще нѣтъ тридцати. Сколько лѣтъ намъ осталось впереди, длинный, длинный рядъ дней, полныхъ моею любовью къ вамъ...

Ирина.—Николай Львовичъ, не говорите мнѣ о любви.

Тузенбахъ (*не слушая*).—У меня страстная жажда жизни, борьбы, труда, и эта жажда въ душѣ слилась съ любовью къ вамъ, Ирина, и, какъ нарочно, вы прекрасны, и жизнь мнѣ кажется такой прекрасной! О чемъ вы думаете?

Ирина.—Вы говорите: прекрасна жизнь. Да, но если она только кажется такой! У насъ, трехъ сестеръ, жизнь не была еще прекрасной, она заглушала насъ, какъ сорная трава... Текуть у меня слезы. Это не нужно... (*быстро вытираетъ лицо, улыбается*). Работать нужно, работать. Оттого намъ невесело и смотримъ мы на жизнь такъ мрачно, что не знаемъ труда. Мы родились отъ людей, презиравшихъ трудъ...

*Наташя Ивановна входитъ; она въ розовомъ платьѣ, съ зеленымъ поясомъ.*

Наташа.—Тамъ уже завтракать садятся... Я опоздала... (*мелькомъ глядитъ въ зеркало, поправляется*). Кажется, причесана ничего себѣ... (*увидѣвъ Ирину*) Милая Ирина Сергѣевна, поздравляю васъ! (*цѣлуетъ крѣпко и продолжительно*) У васъ много гостей, мнѣ, право, совѣстно... Здравствуйте, бароны!



Ольга (*входя въ гостиную*). — Ну, вотъ и Наталья Ивановна. Здравствуйте, моя милая! (*цѣлуются*).

Наташа.—Съ именинницей. У васъ такое большое общество, я смущена ужасно...

Ольга.—Полно, у насъ все свои. (*стоиломаса испуганно*)  
На васъ зеленый поясъ! Милая, это не хорошо!

Наташа.—Развѣ есть примѣта?

Ольга.—Нѣтъ, просто не идетъ... и какъ-то странно...

Наташа (*плачушимъ голосомъ*).—Да? Но вѣдь это не зеленый, а скорѣе матовый (*идетъ за Ольгой въ залу*).

*Въ залу садятся завтракать; въ гостиной ни души.*

Кулыгинъ.—Желаю тебѣ, Ирина, жениха хорошаго. Пора тебѣ ужъ выходить.

Чебутыкинъ.—Наталья Ивановна, и вамъ женишка желаю.

Кулыгинъ.—У Натальи Ивановны уже есть женишокъ.

Маша (*стучитъ вилкой по тарелкѣ*). — Выпью рюмочку винца! Эхъ-ма, жизнь малиновая, гдѣ наша не пропадала!

Кулыгинъ.—Ты ведешь себя на три съ минусомъ.

Вершининъ.—А наливка вкусная. На чемъ это настоено?

Соленый.—На тараканахъ.

Ирина (*плачушимъ голосомъ*).—Фу! Фу! Какое отвращеніе!..

Ольга.—Заужиномъ будетъ жареная индѣйка и сладкій пирогъ съ яблоками. Слава Богу, сегодня цѣлый день я дома, вечеромъ—дома... Господа, вечеромъ приходите.

Вершининъ.—Позвольте и мнѣ придти вечеромъ!

Ирина. Пожалуйста.

Наташа.—У нихъ попросту.

Чебутыкинъ.—Для любви одной природа насъ на свѣтъ произвела. (*смѣется*).

Андрей (*сердито*). — Перестаньте, господа! Не надоѣло вамъ.

*Федотикъ и Родѣ входятъ съ большой корзиной цвѣтѣвъ.*

Федотикъ.—Однако, уже завтракаютъ.

Родэ (*громко и картавя*).—Завтракають? Да, уже завтракають...

Федотикъ.—Погоди минутку! (*снимаетъ фотографію*) Разъ! Погоди еще немного... (*снимаетъ другую фотографію*) Два! Теперь готово! (*берутъ корзину и идутъ въ залу, идъ изъ встрѣчаютъ съ шумомъ*).

Родэ (*громко*).—Поздравляю, желаю всего, всего! Погода сегодня очаровательная, одно великолѣпіе. Сегодня все утро гулялъ съ гимназистами. Я преподаю въ гимназіи гимнастику...

Федотикъ.—Можете двигаться, Ирина Сергѣевна, можете! (*снимая фотографію*) Вы сегодня интересны (*вынимаетъ изъ кармана волчокъ*). Вотъ, между прочимъ, волчокъ... Удивительный звукъ...

Ирина.—Какая прелесть!

Маша.—У лукоморья дубъ зеленый, золотая цѣпь на дубѣ томъ... Золотая цѣпь на дубѣ томъ... (*плаксиво*) Ну, зачѣмъ я это говорю? Привязалась ко мнѣ эта фраза съ самаго утра...

Кулыгинъ.—Тринадцать за столомъ!

Родэ (*громко*).—Господа, неужели вы придаете значеніе предразсудкамъ? (*смѣхъ*).

Кулыгинъ.—Если тринадцать за столомъ, то, значить, есть тутъ влюбленные. Ужъ не вы ли, Иванъ Романовичъ, чего добраго... (*смѣхъ*).

Чебутыкинъ.—Я старый грѣшникъ, а вотъ отчего Наталья Ивановна сконфузилась, рѣшительно понять не могу. *Громкій смѣхъ; Наташа выбѣгаетъ изъ залы въ гостиную, за ней Андрей.*

Андрей.—Полно, не обращайтесь вниманія! Погодите... постройте, прошу васъ...

Наташа.—Мнѣ стыдно... Я не знаю, что со мной дѣлается, а они поднимаютъ меня на смѣхъ. То, что я сей-

часть вышла изъ-за стола, неприлично, но я не могу... не могу... (*закрываетъ лицо руками*).

Андрей.—Дорогая моя, прошу васъ, умоляю, не волнуйтесь. Увѣряю васъ, они шутятъ, они отъ добраго сердца. Дорогая моя, моя хорошая, они всѣ добрые, сердечные люди, и любятъ меня и васъ. Идите сюда къ окну, насъ здѣсь не видно имъ... (*оглядывается*).

Наташа.—Я такъ не привыкла бывать въ обществѣ!..

Андрей.—О, молодость, чудная, прекрасная молодость! Моя дорогая, моя хорошая, не волнуйтесь такъ!.. Вѣрьте мнѣ, вѣрьте... Мнѣ такъ хорошо, душа полна любви, восторга... О, насъ не видятъ! Не видятъ! За что, за что я полюбилъ васъ, когда полюбилъ — о, ничего не понимаю. Дорогая моя, хорошая, чистая, будьте моей женой! Я васъ люблю, люблю... какъ никого никогда... (*Поцѣлуй*).

*Два офицера входятъ и, увидѣвъ цѣлующуюся пару, останавливаются въ изумленіи.*

З а н а в ѣ с ь.

## ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

Декорація перваго акта.

*Восемь часовъ вечера. За сценой на улицѣ едва слышно играютъ на гармоникѣ. Нѣтъ огня. Входитъ Наталья Ивановна въ капотъ, со свѣчей; она идетъ и останавливается у двери, которая ведетъ въ комнату Андрея.*

Наташа.—Ты, Андрюша, что дѣлаешь? Читаешь? Ничего. я такъ только... (*идетъ, открываетъ другую дверь и, заглянувъ въ нее, затворяетъ*) Огня нѣтъ ли...

Андрей (*входитъ съ книгой въ рукѣ*).—Ты что, Наташа?

Наташа.—Смотрю, огня нѣтъ ли... Теперь масляница, прислуга сама не своя, гляди да и гляди, чтобъ чего не вы-

шло. Вчера въ полночь прохожу черезъ столовую, а тамъ свѣча горитъ. Кто зажегъ, такъ и не добилась толку (*стопитъ свѣчу*). Который часъ?

Андрей (*взглянувъ на часы*).—Девятаго четверть.

Наташа.—А Ольги и Ирины до сихъ поръ еще нѣтъ. Не пришли. Все трудятся бѣдняжки. Ольга на педагогическомъ совѣтѣ, Ирина на телеграфѣ... (*вздыхаетъ*). Сегодня утромъ говорю твоей сестрѣ: «Побереги, говорю, себя, Ирина, голубчикъ». И не слушаетъ. Четверть девятаго, говоришь? Я боюсь, Бобикъ нашъ совсѣмъ нездоровъ. Отчего онъ холодный такой? Вчера у него былъ жаръ, а сегодня холодный весь... Я такъ боюсь!

Андрей.—Ничего, Наташа. Мальчикъ здоровъ.

Наташа.—Но все-таки лучше пускай дѣта. Я боюсь. И сегодня въ десятомъ часу, говорили, ряженные у насъ будутъ, лучше бы они не приходили, Андрюша.

Андрей.—Право, я не знаю. Ихъ вѣдь звали.

Наташа.—Сегодня мальчишечка проснулся утромъ и глядитъ на меня, и вдругъ улыбнулся; значить, узналъ. «Бобикъ, говорю, здравствуй! Здравствуй, милый!» А онъ смѣется. Дѣти понимаютъ, отлично понимаютъ. Такъ, значить, Андрюша, я скажу, чтобы ряженныхъ не принимали.

Андрей (*неръшительно*).—Да вѣдь это какъ сестры. Онѣ тутъ хозяйки.

Наташа.—И онѣ тоже, я имъ скажу. Онѣ добрыя... (*идетъ*) Къ ужину я велѣла простокваши. Докторъ говоритъ, тебѣ нужно одну простоквашу ѣсть, иначе не похудѣешь. (*останавливается*) Бобикъ холодный. Я боюсь, ему холодно въ его комнатѣ, пожалуй. Надо бы хоть до теплой погоды помѣстить его въ другой комнатѣ. Напримѣръ, у Ирины комната, какъ разъ для ребенка: и сухо, и цѣлый день солнце. Надо: ей сказать, она пока можетъ съ Ольгой въ одной комнатѣ... Все равно днемъ дома не бываетъ, только ночуетъ... (*пауза*) Андрюшанчикъ, отчего ты молчишь?

андрей.—Такъ, задумался... Да и нечего говорить...

Наташа.—Да... Что-то я хотѣла тебѣ сказать... Ахъ, да. Тамъ изъ управы Фералонтъ пришелъ, тебя спрашиваетъ.

Андрей (*зываетъ*).—Позови его.

*Наташа уходитъ; Андрей, нагнувшись къ забытой ею свѣчѣ, читаетъ книгу. Входитъ Фералонтъ; онъ въ старомъ трепаномъ пальто, съ поднятымъ воротникомъ, уши повязаны.*

Андрей.—Здравствуй, душа моя. Что скажешь?

Фералонтъ.—Предсѣдатель прислалъ книжку и бумагу какую-то. Вотъ... (*подаетъ книгу и пакетъ*).

Андрей.—Спасибо. Хорошо. Отчего же ты пришелъ такъ не рано? Въ девятый часъ уже.

Фералонтъ.—Чего?

Андрей (*громче*). Я говорю, поздно пришелъ, уже девятый часъ.

Фералонтъ.—Такъ точно. Я пришелъ къ вамъ, еще свѣтло было, да не пускали все. Баринъ, говорятъ, занятъ. Ну, что-жъ. Занятъ, такъ занятъ, слѣзть мнѣ некуда. (*думая, что Андрей спрашиваетъ его о чемъ-то*) Чего?

Андрей.—Ничего. (*разматривая книгу*) Завтра пятница, у насъ нѣтъ присутствія, но я все равно приду... займусь. Дома скучно... (*пауза*) Милый дѣдъ, какъ странно мѣняется, какъ обманываетъ жизнь! Сегодня отъ скуки, отъ нечего дѣлать, я взялъ въ руки вотъ эту книгу — старыя университетскія лекціи, и мнѣ стало смѣшно... Боже мой, я секретарь земской управы, той управы, гдѣ предсѣдательствуетъ Протопоповъ, я секретарь, и самое большее, на что я могу надѣяться, это—быть членомъ земской управы! Мнѣ быть членомъ здѣшней земской управы, мнѣ, которому снится каждую ночь, что я профессоръ московскаго университета, знаменитый ученый, которымъ гордится русская земля!

Фералонтъ.—Не могу знать... Слышу-то плохо...

Андрей.—Если бы ты слышал какъ слѣдуетъ, то я, быть-можетъ, и не говорилъ бы съ тобой. Миѣ нужно говорить съ кѣмъ-нибудь, а жена меня не понимаетъ, сестерь я боюсь почему-то, боюсь, что онѣ засмѣютъ меня, застыдятъ... Я не пью, трактировъ не люблю, но съ какимъ удовольствіемъ я посидѣлъ бы теперъ въ Москвѣ у Тѣстова, или въ Большомъ Московскомъ, голубчикъ мой.

Ферапонтъ.—А въ Москвѣ, въ управѣ давеча рассказывалъ подрядчикъ, какіе-то купцы ѣли блины; одинъ, который съѣлъ сорокъ блиновъ, будто померъ. Не то сорокъ, не то пятьдесятъ. Не упомяну.

Андрей.—Сидишь въ Москвѣ, въ громадной залѣ ресторана, никого не знаешь и тебя никто не знаетъ, и въ то же время не чувствуешь себя чужимъ. А здѣсь ты всѣхъ знаешь и тебя всѣ знаютъ, но чужой, чужой... Чужой и одинокій.

Ферапонтъ.—Чего? (*пауза*) И тотъ же подрядчикъ сказывалъ—можетъ, и вретъ, будто поперекъ всей Москвы канатъ протянуть.

Андрей.—Для чего?

Ферапонтъ.—Не могу знать. Подрядчикъ говорилъ.

Андрей.—Чепуха. (*читаетъ книгу*) Ты былъ когда-нибудь въ Москвѣ?

Ферапонтъ (*послѣ паузы*).—Не былъ. Не привелъ Богъ. (*пауза*) Миѣ идти?

Андрей.—Можешь идти. Будь здоровъ. (*Ферапонтъ уходитъ*) Будь здоровъ. (*читая*) Завтра утромъ придешь, возьмешь тутъ бумаги... Ступай... (*пауза*) Онъ ушелъ. (*звонокъ*) Да, дѣла... (*потыкивается и не спыша уходитъ къ себѣ*).

*За сценой поетъ нянька, укачивая ребенка. Входятъ Маша и Вершининъ. Пока они потомъ бесѣдуютъ, горничная зажигаетъ лампу и свѣчи.*

Маша.—Не знаю. (*пауза*) Не знаю. Конечно, много зна-

читать привычка. После смерти отца, например, мы долго не могли привыкнуть к тому, что у нас уже нет денщиков. Но и помимо привычки, мне кажется, говорить во мне просто справедливость. Может быть, в других местах и не так, но в нашем городе самые порядочные, самые благородные и воспитанные люди—это военные.

**Вершининъ.**—Мне пить хочется. Я бы выпил чаю.

**Маша** (*взглянув на часы*).—Скоро дадут. Меня выдали замуж, когда мне было восемнадцать лет, и я своего мужа боялась, потому что он был учителем, а я тогда едва кончила курс. Он казался мне тогда ужасно ученым, умным и важным. А теперь уже не то, к сожалению.

**Вершининъ.**—Так... да.

**Маша.**—Про мужа я не говорю, к нему я привыкла, но между штатскими вообще так много людей грубых, не любезных, не воспитанных. Меня волнует, оскорбляет грубость, я страдаю, когда вижу, что человек недостаточно тонок, недостаточно мягок, любезен. Когда мне случается быть среди учителей, товарищей мужа, то я просто страдаю.

**Вершининъ.**—Да-с... Но мне кажется, все равно, что штатский, что военный, одинаково интересно, по крайней мере, в этом городе. Все равно! Если послушать здешнего интеллигента, штатского или военного, то с женой он замучился, с домом замучился, с имением замучился, с лошадьми замучился... Русскому человеку в высшей степени свойственен возвышенный образ мыслей, но скажите, почему в жизни он хватается так невысоко? Почему?

**Маша.**—Почему?

**Вершининъ.**—Почему он с детьми замучился, с женой замучился? А почему жена и дети с ним замучились?

**Маша.**—Вы сегодня немножко не въ духѣ.

**Вершининъ.**—Можетъ быть. Я сегодня не обѣдалъ, ничего не ѣлъ съ утра. У меня дочь больна немножко, а когда болѣютъ мои дѣвочки, то мною овладѣваетъ тревога, меня мучаетъ совѣсть за то, что у нихъ такая мать. О, если бы вы видѣли ее сегодня! Что за ничтожество. Мы начали браниться съ семи часовъ утра, а въ девять я хлопнулъ дверью и ушелъ. *(пауза)* Я никогда не говорю объ этомъ, и странно, жалуясь только вамъ одной. *(цѣлуетъ руку)* Не сердитесь на меня. Кромѣ васъ одной, у меня нѣтъ никого, никого... *(пауза)*.

**Маша.**—Какой шумъ въ печкѣ. У насъ не задолго до смерти отца гудѣло въ трубѣ. Вотъ точно такъ.

**Вершининъ.**—Вы съ предрасудками?

**Маша.**—Да.

**Вершининъ.**—Странно это. *(цѣлуетъ руку)* Вы великолѣпная, чудная женщина. Великолѣпная, чудная! Здѣсь темно, но я вижу блескъ вашихъ глазъ.

**Маша** *(садится на другой стулъ)*.—Здѣсь свѣтлѣй...

**Вершининъ.**—Я люблю, люблю, люблю... Люблю ваши глаза, ваши движенія, которыя мнѣ снятся... Великолѣпная, чудная женщина!

**Маша** *(тихо смѣясь)*. Когда вы говорите со мной такъ, то я почему-то смѣюсь, хотя мнѣ страшно. Не повторяйте, прошу васъ... *(втолмоса)* А, впрочемъ, говорите, мнѣ все равно... *(закрываетъ лицо руками)* Мнѣ все равно. Сюда идуть, говорите о чемъ-нибудь другомъ...

*Ирина и Тузенбахъ входятъ черезъ залу.*

**Тузенбахъ.**—У меня тройная фамилія. Меня зовутъ баронъ Тузенбахъ-Кроне-Альтшауеръ, но я русскій, православный, какъ вы. Нѣмецкаго у меня осталось мало, развѣ только терпѣливость, упрямство, съ какимъ я надѣдаю вамъ. Я провожаю васъ каждый вечеръ.

**Ирина.**—Какъ я устала!



**Тузенбахъ.**—И каждый день буду приходить на телеграфъ и провожать васъ домой, буду десять-двадцать лѣтъ, пока вы не прогоните... (*увидѣвъ Машу и Вершинина, радостно*) Это вы? Здравствуйте.

**Ирина.**—Вотъ я и дома, наконецъ. (*Маша*) Сейчасъ приходитъ одна дама, телеграфируетъ своему брату въ Саратовъ, что у ней сегодня сынъ умеръ, и никакъ не можетъ вспомнить адреса. Такъ и послала безъ адреса, просто въ Саратовъ. Плачетъ. И я ей нагрубилa ни съ того, ни съ сего. «Мнѣ, говорю, некогда». Такъ глупо вышло. Сегодня у насъ ряженые?

**Маша.**—Да.

**Ирина** (*садится въ кресло*).—Отдохнуть. Устала.

**Тузенбахъ** (*съ улыбкой*).—Когда вы приходите съ должности, то кажетесь такой молоденькой, несчастненькой... (*пауза*).

**Ирина.**—Устала. Нѣтъ, не люблю я телеграфа, не люблю.

**Маша.**—Ты похудѣла... (*насмѣивается*) И помолодѣла, и на мальчишку стала похожа лицомъ.

**Тузенбахъ.**—Это отъ прически.

**Ирина.**—Надо поискать другую должность, а эта не по мнѣ. Чего я такъ хотѣла; о чемъ мечтала, того-то именно въ ней и нѣтъ. Трудъ безъ поэзіи, безъ мыслей... (*стучь въ полъ*) Докторъ стучить. (*Тузенбаху*) Милый, постучите. Я не могу... устала...

**Тузенбахъ** (*стучитъ въ полъ*).

**Ирина.**—Сейчасъ придетъ. Надо бы принять какія-нибудь мѣры. Вчера докторъ и нашъ Андрей были въ клубѣ и опять проигрались. Говорятъ, Андрей двѣсти рублей проигралъ.

**Маша** (*равнодушно*).—Что-жъ теперь дѣлать!

**Ирина.**—Двѣ недѣли назадъ проигралъ, въ декабрѣ проигралъ. Скорѣе бы все проигралъ, быть-можетъ, уѣхали бы изъ этого города. Господи Боже мой, мнѣ Москва снится

каждую ночь, я совѣмъ какъ помѣшанная. *(смыется)* Мы переѣзжаемъ туда въ июнѣ, а до юня осталось еще... февраль, мартъ, апрѣль, май... почти полгода!

Маша.—Надо только, чтобы Наташа не узнала какъ-нибудь о проигрышѣ.

Ирина.—Ей, я думаю, все равно.

*Чебутыкинъ, только-что вставшій съ постели, — онъ отдыхалъ послѣ объѣда, — входитъ въ залу и причесываетъ бороду, потомъ садится тамъ за столъ и вынимаетъ изъ кармана газету.*

Маша.—Вотъ пришелъ... Онъ заплатилъ за квартиру?

Ирина *(смыется)*.—Нѣтъ. За восемь мѣсяцевъ ни копейки. Очевидно, забылъ.

Маша *(смыется)*.—Какъ онъ важно сидитъ! *(все смыются; пауза)*.

Ирина.—Что вы молчите, Александръ Игнатьичъ?

Вершининъ.—Не знаю. Чаю хочется. Полжизни за стаканъ чаю! Съ утра ничего не ѣлъ...

Чебутыкинъ.—Ирина Сергѣевна!

Ирина.—Что вамъ?

Чебутыкинъ.—Пожалуйте сюда. Venez ici. *(Ирина идетъ и садится за столъ)* Я безъ васъ не могу. *(Ирина раскладываетъ пасьянсъ)*.

Вершининъ.—Что-жъ? Если не дадутъ чаю, то давайте хоть пофилософствуемъ.

Тузенбахъ.—Давайте. О чемъ?

Вершининъ.—О чемъ? Давайте помечтаемъ... наприимѣръ, о той жизни, какая будетъ послѣ насъ, лѣтъ черезъ двѣсти-триста.

Тузенбахъ.—Что-жъ? Послѣ насъ будутъ летать на воздушныхъ шарахъ, измѣнятся пиджаки, откроютъ, быть-можетъ, шестое чувство и разовьютъ его, но жизнь останется все та же, жизнь трудная, полная тайнъ и счастливая. И черезъ тысячу лѣтъ человѣкъ будетъ такъ же вздыхать:

«ахъ, тяжело жить!» — и вмѣстѣ съ тѣмъ точно такъ же, какъ теперь, онъ будетъ бояться и не хотѣть смерти.

Вершининъ (*подумавъ*). — Какъ вамъ сказать? Мнѣ кажется, все на землѣ должно измѣниться мало-по-малу, и уже мѣняется на нашихъ глазахъ. Черезъ 7 вѣсти-триста, наконецъ, тысячу лѣтъ, — дѣло не въ срокѣ, — настанетъ новая счастливая жизнь. Участвовать въ этой жизни мы не будемъ, конечно, но мы для нея живемъ теперь, работаемъ, ну, страдаемъ, мы творимъ ее — и въ этомъ одномъ цѣль нашего бытія и, если хотите, наше счастье.

Маша (*тихо смѣется*).

Тузенбахъ. — Что вы?

Маша. — Не знаю. Сегодня весь день смѣюсь съ утра.

Вершининъ. — Я кончилъ тамъ же, гдѣ и вы, въ академіи я не былъ; читаю я много, но выбирать книгъ не умѣю и читаю, быть можетъ, совсѣмъ не то, что нужно, а между тѣмъ, чѣмъ больше живу, тѣмъ больше хочу знать. Мои волосы сѣдѣютъ, я почти старикъ уже, но знаю мало, ахъ какъ мало! Но все же, мнѣ кажется, самое главное и настоящее я знаю, крѣпко знаю. И какъ бы мнѣ хотѣлось доказать вамъ, что счастья нѣтъ, не должно быть и не будетъ для насъ... Мы должны только работать и работать, а счастье это удѣлъ нашихъ далекихъ потомковъ. (*пауза*) Не я, то хоть потомки потомковъ моихъ.

*Федотикъ и Родэ показываются въ залъ; они садятся и напѣваютъ тихо, наигрывая на гитарѣ.*

Тузенбахъ. — По вашему, даже не мечтать о счастьѣ! Но если я счастливъ!

Вершининъ. — Нѣтъ.

Тузенбахъ (*всплеснувъ руками и смѣясь*). — Очевидно, мы не понимаемъ другъ друга. Ну, какъ мнѣ убѣдить васъ?

Маша (*тихо смѣется*).

Тузенбахъ (*показывая ей палецъ*). — Смѣйтесь! (*Вершинину*). Не то что черезъ двѣсти или триста, но и черезъ миллионъ

лѣтъ жизнь останется такою же, какъ и была; она не мѣняется, остается постоянною, слѣдуя своимъ собственнымъ законамъ, до которыхъ намъ нѣтъ дѣла или, по крайней мѣрѣ, которыхъ вы никогда не узнаете. Перелетныя птицы, журавли, напримѣръ, летятъ и летятъ, и какія бы мысли, высокія или малыя, не бродили въ ихъ головахъ, все же будутъ летѣть и не знать, зачѣмъ и куда. Они летятъ и будутъ летѣть, какіе бы философы не завелись среди нихъ; и пускай философствуютъ, какъ хотятъ, лишь бы летѣли..

**Маша.**—Все-таки смыслъ?

**Тузенбахъ.**—Смыслъ... Вотъ снѣгъ идетъ. Какой смыслъ?  
(пауза).

**Маша.**—Мнѣ кажется, человѣкъ долженъ быть вѣрующимъ, или долженъ искать вѣры, иначе жизнь его пуста, пуста... Жить и не знать, для чего журавли летятъ, для чего дѣти рождаются, для чего звѣзды на небѣ... Или знать, для чего живешь, или же все пустяки, тринь-трава. (пауза).

**Вершининъ.**—Все-таки жалко, что молодость прошла...

**Маша.**—У Гоголя сказано: скучно жить на этомъ свѣтѣ, господа!

**Тузенбахъ.**—А я скажу: трудно съ вами спорить, господа! Ну васъ совсѣмъ..

**Чебутыкинъ** (*читая газету*).—Бальзакъ вѣнчался въ Бердичевѣ.

**Ирина** (*напѣваетъ тихо*).

**Чебутыкинъ.**—Даже запишу себѣ это въ книжку. (*записываетъ*) Бальзакъ вѣнчался въ Бердичевѣ. (*читаетъ газету*).

**Ирина** (*раскладываетъ пасьянсъ, задумчиво*).— Бальзакъ вѣнчался въ Бердичевѣ.

**Тузенбахъ.**—Жребій брошенъ. Вы знаете, Марія Сергѣевна, я подалъ въ отставку.

**Маша.**—Слышала. И ничего я не вижу въ этомъ хорошаго. Не люблю я штатскихъ.

Тузенбахъ.—Все равно... *(встаетъ)* Я не красивъ, какой я военный? Ну, да все равно, впрочемъ... Буду работать. Хоть одинъ день въ моей жизни поработать такъ, чтобы придти вечеромъ домой, въ утомленіи повалиться въ постель и уснуть тотчасъ же. *(уходя въ залу)* Рабочіе, должно быть, спать крѣпко!

Федотинъ *(Ирина)*.—Сейчасъ на Московской у Пыжикова купилъ для васъ цвѣтныя карандаши. И вотъ этотъ ножичекъ...

Ирина.—Вы привыкли обращаться со мной, какъ съ маленькой, но вѣдь я уже выросла... *(беретъ карандаши и ножичекъ, радостно)* Какая прелесть!

Федотинъ.—А для себя я купилъ ножикъ... вотъ поглядите... ножъ, еще другой ножъ, третій, это въ ухахъковырять, это ножнички, это ногти чистить...

Родэ *(громко)*.—Докторъ, сколько вамъ лѣтъ?

Чебутыкинъ.—Мнѣ? Тридцать два... *(смѣетъ)*.

Федотинъ.—Я сейчасъ покажу вамъ другой пасьянсъ... *(Раскладываетъ пасьянсъ)*.

*Подаютъ самоваръ; Анюса около самовара; немного погодя приходитъ Наташа и тоже суетится около стола; приходитъ Соленый и, поздоровавшись, садится за столъ.*

Вершининъ.—Однако, какой вѣтеръ!

Маша.—Да. Надоѣла зима. Я уже и забыла, какое лѣто.

Ирина.—Выйдетъ пасьянсъ, я вижу. Будемъ въ Москвѣ.

Федотинъ.—Нѣтъ, не выйдетъ. Видите, осьмерка легла на двойку пикъ. *(смѣется)* Значитъ, вы не будете въ Москвѣ.

Чебутыкинъ *(читаетъ газету)*.—Цицикаръ. Здѣсь свирѣпствуетъ оспа.

Анюса *(подходя къ Машѣ)*.—Маша, чай кушать, матушка. *(Вершинину)* Пожалуйте, ваше высокоблагородіе... простите, батюшка, забыла имя, отчество...

Маша.—Принеси сюда, няня. Туда не пойду.

Ирина.—Няня!

Анеиса.—Иду-у!

Наташа (*Соленому*).—Грудныя дѣти прекрасно понимаютъ. «Здравствуй, говорю, Бобикъ. Здравствуй милый!» Онъ взглянулъ на меня какъ-то особенно. Вы думаете, во мнѣ говорить только мать, но нѣтъ, нѣтъ, увѣряю васъ! Это необыкновенный ребенокъ.

Соленый.—Если бы этотъ ребенокъ былъ мой, то я жарилъ бы его на сковородкѣ и съѣлъ бы. (*идетъ со стуломъ въ гостиную и садится въ уголъ*).

Наташа (*закрываетъ лицо руками*).—Грубый, невоспитанный человекъ!

Маша.—Счастливы тотъ, кто не замѣчаетъ, лѣто теперъ или зима. Мнѣ кажется, если бы я была въ Москвѣ, то относилась бы равнодушно къ погодѣ...

Вершининъ.—На-дняхъ я читалъ дневникъ одного французскаго министра, писанный въ тюрьмѣ. Министръ былъ осужденъ за Панаму. Съ какимъ упоеніемъ, восторгомъ упоминаетъ онъ о птицахъ, которыхъ видитъ въ тюремномъ окнѣ и которыхъ не замѣчалъ раньше, когда былъ министромъ. Теперь, конечно, когда онъ выпущенъ на свободу, онъ уже попрежнему не замѣчаетъ птицъ. Также и вы не будете замѣчать Москвы, когда будете жить въ ней. Счастья у насъ нѣтъ и не бываетъ, мы только желаемъ его.

Тузенбахъ (*беретъ со стола коробку*)—Гдѣ же конфекты?

Ирина.—Соленый съѣлъ.

Тузенбахъ.—Всѣ?

Анеиса (*подавая чай*).—Вамъ письмо, батюшка.

Вершининъ.—Мнѣ? (*беретъ письмо*). Отъ дочери. (*читаетъ*) Да, конечно... Я, извините, Марія Сергѣевна, уйду потихоньку. Чаю не буду пить. (*встаетъ взволнованный*) Вѣчно эти исторіи...

Маша.—Что такое? Не секретъ?

Вершининъ (*тихо*).—Жена опять отравилась. Надо идти.

Я пройду незамѣтно. Ужасно неприятно все это. (*цѣлуетъ Машу руку*) Милая моя, славная, хорошая женщина... Я здѣсь пройду потихоньку... (*уходитъ*)

Анеиса.—Куда же онъ? А я чай подала... Экой какой.

Маша (*разсердившись*).—Отстань! Пристаешь тутъ, покоя отъ тебя нѣтъ... (*идетъ съ чашкой къ столу*) Надоѣла ты мнѣ, старая!

Анеиса.—Что-жъ ты обижаешься? Милая!

Голосъ Андрея.—Анеиса!

Анеиса (*дразнить*).—Анеиса! Сидитъ тамъ... (*уходитъ*)

Маша (*въ залъ у стола сердито*).—Дайте же мнѣ сѣсть! (*жмется на столъ карты*) Разсѣлись тутъ съ картами. Пейте чай!

Ирина.—Ты, Машка, злая.

Маша.—Разъ я злая, не говорите со мной. Не трогайте меня!

Чебутыкинъ (*смѣясь*).—Не трогайте ея, не трогайте...

Маша.—Вамъ шестьдесятъ лѣтъ, а вы, какъ мальчишка, всегда городите чортъ знаетъ что.

Наташа (*вздыхаетъ*).—Милая Маша, къ чему употреблять въ разговорѣ такія выраженія? При твоей прекрасной наружности въ приличномъ свѣтскомъ обществѣ ты, я тебѣ прямо скажу, была бы просто очаровательна, если бы не эти твои слова. Je vous prie, pardonnez moi, Marie, mais vous avez des manières un peu grossières.

Тузенбахъ (*сдерживая смѣхъ*).—Дайте мнѣ... дайте мнѣ... Тамъ, кажется, коньякъ...

Наташа.—Il paraît, que mon Бобикъ déjà ne dort pas, проснулся. Онъ у меня сегодня нездоровъ. Я пойду къ нему, простите... (*уходитъ*).

Ирина.—А куда ушелъ Александръ Игнатьичъ?

Маша.—Домой. У него опять съ женой что-то необычайное.

Тузенбахъ (*идетъ къ Соленому, въ рукахъ графинчикъ съ*

*коньякомъ*).—Все вы сидите одинъ, о чемъ-то думаете—и не поймешь, о чемъ. Ну, давайте мириться. Давайте выпьемъ коньяку. (*пьютъ*) Сегодня мнѣ придется играть на пианино всю ночь, вѣроятно, играть всякій вадорь... Куда ни шло!

Соленый.—Почему мириться? Я съ вами не ссорился...

Тузенбахъ.—Всегда вы возбуждаете такое чувство, какъ будто между нами что-то произошло. У васъ характеръ странный, надо сознаться.

Соленый (*декламируя*).—Я страненъ, не страненъ кто-жь! Не сердись, Алеко!

Тузенбахъ.—И при чемъ тутъ Алеко... (*пауза*)...

Соленый.—Когда я вдвоемъ съ кѣмъ-нибудь, то ничего, я какъ всѣ, но въ обществѣ я унылъ, застѣнчивъ и... говорю всякій вадорь. Но все-таки я честнѣе и благороднѣе очень, очень многихъ. И могу это доказать.

Тузенбахъ.—Я часто сержусь на васъ, вы постоянно придираетесь ко мнѣ, когда мы бываемъ въ обществѣ, но все же вы мнѣ симпатичны почему-то. Куда ни шло, нальюсь сегодня. Выпьемъ!

Соленый.—Выпьемъ. (*пьютъ*) Я противъ васъ, баронъ, никогда ничего не имѣлъ. Но у меня характеръ Лермонтова. (*тихо*) Я даже немножко похожъ на Лермонтова... какъ говорятъ... (*достаетъ изъ кармана флаконъ съ духами и льетъ на руки*).

Тузенбахъ.—подаю въ отставку. Баста! Пять лѣтъ все раздумываль и, наконецъ, рѣшилъ. Буду работать.

Соленый (*декламируя*).—Не сердись, Алеко... Забудь, забудь мечтанія свои...

*Пока они говорятъ, Андрей входитъ съ книгой тихо и садится у свѣчи.*

Тузенбахъ.—Буду работать.

Чебутыкинъ (*идя въ гостиную съ Ириной*).—И угощеніе



было тоже настоящее кавказское: супъ съ лукомъ, а на жаркое—чехартма, мясное.

Солений.—Черемша вовсе не мясо, а растение въ родѣ нашего лука.

Чебутыкинъ.—Нѣтъ-съ, ангель мой. Чехартма не лукъ, а жаркое изъ баранины.

Солений.—А я вамъ говорю, черемша—лукъ.

Чебутыкинъ.—А я вамъ говорю, чехартма—баранина.

Селений.—А я вамъ говорю, черемша—лукъ.

Чебутыкинъ.—Что же я буду съ вами спорить! Вы никогда не были на Кавказѣ и не ѣли чехартмы.

Солений.—Не ѣлъ, потому что терпѣть не могу. Отъ черемши такой же запахъ, какъ отъ чеснока.

Андрей (*умоляюще*).—Довольно, господа! Прошу: васъ!

Тузенбахъ.—Когда придутъ ряженые?

Ирина.—Обѣщали къ девяти; значитъ, сейчасъ.

Тузенбахъ (*обнимаетъ Андрея*).—Ахъ вы сѣни; мои сѣни, сѣни новыя мои...

Андрей (*пляшетъ и поетъ*).—Сѣни новыя, кленовыя...

Чебутыкинъ (*пляшетъ*).—Рѣшетчатые-я! (*смѣхъ*)

Тузенбахъ (*цѣлуетъ Андрея*).—Чортъ возьми, давайте выпьемъ. Андрюша, давайте выпьемъ на ты. И я съ тобой, Андрюша, въ Москву, въ университетъ.

Солений.—Въ какой? Въ Москвѣ два университета.

Андрей.—Въ Москвѣ одинъ университетъ.

Солений.—А я вамъ говорю—два.

Андрей.—Пускай хоть три. Тѣмъ лучше.

Солений.—Въ Москвѣ два университета! (*рпотъ и шиканье*) Въ Москвѣ два университета: старый и новый. А если вамъ неудобно слушать, если мои слова раздражаютъ васъ, то я могу не говорить. Я даже могу уйти въ другую комнату.... (*уходитъ въ одну изъ дверей*)

Тузенбахъ.—Браво, браво! (*смѣется*) Господа, начинайте,

я сажусь играть! Смѣшной этотъ Соленый... (*садится за пианино, играетъ вальсъ*).

Маша (*танцуетъ вальсъ одна*).—Баронъ пьянъ, баронъ пьянъ, баронъ пьянъ!

*Входитъ Наташа.*

Наташа (*Чебутыкину*).—Иванъ Романычъ! (*говорить о чемъ-то Чебутыкину, потомъ тихо уходитъ; Чебутыкинъ трогаетъ Тузенбаха за плечо и шепчетъ ему о чемъ-то*).

Ирина.—Что такое?

Чебутыкинъ.—Намъ пора уходить. Будьте здоровы.

Тузенбахъ.—Спокойной ночи. Пора уходить.

Ирина.—Позвольте... А ряженые?..

Андрей (*сконфуженный*).—Ряженныхъ не будетъ. Видишь ли, моя милая, Наташа говоритъ, что Бобикъ не совсѣмъ здоровъ, и потому... Однимъ словомъ, я не знаю мнѣ рѣшительно все равно.

Ирина (*пожимая плечами*).—Бобикъ нездоровъ!

Маша.—Гдѣ наша не пропадала! Гонять, стало быть, надо уходить. (*Иринѣ*) Не Бобикъ боленъ, а она сама... Вотъ! (*стучитъ пальцемъ по лбу*) Мѣщанка!

(*Андрей уходитъ въ правую дверь къ себѣ, Чебутыкинъ идетъ за нимъ; въ залъ прощаются*).

Федотикъ.—Какая жалость! Я рассчитывалъ провести вечерокъ, но если боленъ ребеночекъ, то, конечно... Я завтра принесу ему игрушекъ...

Родэ (*громко*).—Я сегодня нарочно выспался послѣ обѣда, думалъ, что всю ночь буду танцовать. Вѣдь теперь только девять часовъ!

Маша.—Выйдемъ на улицу, тамъ потолкуемъ. Рѣшимъ, что и какъ.

*Слышно: «Прощайте! Будьте здоровы!» Слышенъ веселый смѣхъ Тузенбаха. Всѣ уходятъ. Анюсиа и горничная убираютъ со стола, тушатъ огни. Слышно, какъ поетъ нянька. Андрей въ пальто и шляпѣ и Чебутыкинъ тихо входятъ.*

**Чебутыкинъ.**—Жениться я не успѣлъ, потому что жизнь промелькнула, какъ молнія, да и потому, что безумно любилъ твою матушку, которая была замужемъ...

**Андрей.**—Жениться не нужно. Не нужно, потому что скучно.

**Чебутыкинъ.**—Такъ-то оно такъ, да одиночество. Какъ тамъ ни философствуй, а одиночество страшная штука, голубчикъ мой... Хотя въ сущности... конечно, рѣшительно все равно!

**Андрей.**—Пойдемте скорѣй.

**Чебутыкинъ.**—Что же спѣшить? Успѣемъ.

**Андрей.**—Я боюсь, жена бы не остановила.

**Чебутыкинъ.**—А!

**Андрей.**—Сегодня я играть не стану, только такъ посижу. Нездоровится... Что мнѣ дѣлать, Иванъ Романычъ, отъ одышки?

**Чебутыкинъ.**—Что спрашивать! Не помню, голубчикъ. Не знаю.

**Андрей.**—Пройдемъ кухней. (*уходятъ*).

*Звонокъ, потомъ опять звонокъ; слышны голоса, смѣхъ.*

**Ирина** (*входитъ*).—Что тамъ?

**Анеиса** (*шепотомъ*).—Ряженые! (*звонокъ*).

**Ирина.**—Скажи, нянечка, дома нѣтъ никого. Пусть извинятъ.

*Анеиса уходитъ. Ирина въ раздумь ходитъ по комнатѣ; она взволнована. Входитъ Соленый.*

**Соленый** (*въ недоумѣннн*).—Никого нѣтъ... А гдѣ же всѣ?

**Ирина.**—Ушли домой.

**Соленый.**—Странно. Вы однѣ тутъ?

**Ирина.**—Одна. (*пауза*) Прощайте.

**Соленый.**—Давеча я вель себя недостаточно сдержанно, нетактично. Но вы не такая, какъ всѣ, вы высоки и чисты, вамъ видна правда... Только вы одна можете понять меня. Я люблю, глубоко, бесконечно люблю...

**Ирина.**—Прощайте! Уходите.

**Соленый.**—Я не могу жить безъ васъ. (*идя за ней*) О, мое блаженство! (*сквозь слезы*) О, счастье! Роскошные, чудные, изумительные глаза, какихъ я не видѣлъ ни у одной женщины...

**Ирина** (*холодно*).—Перестаньте, Василій Васильичъ!

**Соленый.**—Первый разъ я говорю о любви къ вамъ, и точно я не на землѣ, а на другой планетѣ. (*треть себя лобъ*) Ну, да все равно. Насильно милъ не будешь, конечно... Но счастливыхъ соперниковъ у меня не должно быть... Не должно... Клянусь вамъ всѣмъ святымъ, соперника я убью... О, чудная!

*Наташа проходитъ со свѣчей.*

**Наташа** (*заглядываетъ въ одну дверь, въ другую и проходитъ мимо двери, ведущей въ комнату мужа*).—Тутъ Андрей. Пусть читаетъ. Вы простите, Василій Васильичъ, я не знала, что вы здѣсь, я по-домашнему.

**Соленый.**—Мнѣ все равно. Прощайте! (*уходитъ*).

**Наташа.**—А ты устала, милая, бѣдная моя дѣвочка! (*цѣлуетъ Ирину*) Ложилась бы спать пораньше.

**Ирина.**—Бобикъ спитъ?

**Наташа.**—Спитъ. Но беспокойно спитъ. Кстати, милая, я хотѣла тебѣ сказать, да все то тебя нѣтъ, то мнѣ некогда... Бобику въ теперешней дѣтской, мнѣ кажется, холодно и сыро. А твоя комната такая хорошая для ребенка. Милая, родная, переберись пока къ Оль!

**Ирина** (*не понимая*).—Куда?

*Слышно, къ дому подгѣзжаетъ тройка съ бубенчиками.*

**Наташа.**—Ты съ Олей будешь въ одной комнатѣ, пока что, а твою комнату Бобику. Онъ такой милашка, сегодня я говорю ему: «Бобикъ, ты мой! Мой!» А онъ на меня смотритъ своими глазеночками. (*звонокъ*) Должно быть, Ольга. Какъ она поздно!

*Горничная подходитъ къ Наташѣ и шепчетъ ей на ухо.*

Наташа.—Протопоповъ? Какой чудакъ. Приѣхаль Протопоповъ, зоветь меня покататься съ нимъ на тройкѣ. (*смыется*) Какіе страшные эти мужчины... (*звонокъ*) Кто-то тамъ пришелъ. Поѣхать развѣ на четверть часика прокатиться... (*ворничной*) Скажи, сейчасъ. (*звонокъ*) Звонягъ... тамъ Ольга, должно быть. (*уходитъ*).

*Горничная убѣгаетъ; Ирина сидитъ задумавшись; входятъ Кулыгинъ, Ольга, за ними Вершининъ.*

Кулыгинъ.—Вотъ тебѣ и разъ. А говорили, что у нихъ будетъ вечеръ.

Вершининъ.—Странно, я ушелъ недавно, полчаса назадъ, и ждали ряженныхъ...

Ирина.—Всѣ ушли.

Кулыгинъ.—И Маша ушла? Куда она ушла? А зачѣмъ Протопоповъ внизу ждетъ на тройкѣ? Кого онъ ждетъ?

Ирина.—Не задавайте вопросовъ... Я устала.

Кулыгинъ.—Ну, капризница...

Ольга.—Совѣтъ только что кончился. Я замучилась. Наша начальница больна, теперь я вмѣсто нея. Голова, голова болитъ, голова... (*садится*) Андрей проигралъ вчера въ карты двѣсти рублей... Весь городъ говорить объ этомъ...

Кулыгинъ.—Да, и я усталъ на совѣтѣ. (*садится*).

Вершининъ.—Жена моя сейчасъ вздумала поугагать меня, едва не отравилась. Все обошлось и я радъ, отдыхаю теперь... Стало быть, надо уходить? Что-жъ, позвольте пожелать всего хорошаго. Федоръ Ильичъ, поѣдьте со мной куда-нибудь! Я дома не могу оставаться, совѣмъ не могу... Поѣдьте!

Кулыгинъ.—Усталъ. Не поѣду. (*встаетъ*) Усталъ. Жена демой пошла?

Ирина. Должно быть.

Кулыгинъ (*цѣлуетъ Ирину руку*). — Прощай. Завтра и послѣзавтра цѣлый день отдыхать. Всего хорошаго! (*идетъ*) Чаю очень хочется. Разсчитывалъ провести вечеръ въ

пріятномъ обществѣ и—о, fallacem hominum spem!.. Вивительный падежъ при восклицаніи...

Вершининъ,—Значить, одинъ поѣду. (*уходитъ съ Кулинына, посвистывая*).

Ольга.—Голова болить, голова... Андрей проигралъ... весь городъ говорить... Пойду лягу. (*идетъ*) Завтра я свободна... О, Боже мой, какъ это пріятно! Завтра свободна, послѣ завтра свободна... Голова болить, голова... (*уходитъ*).

Ирина (*одна*).—Всѣ ушли. Никого нѣтъ.

*На улицѣ гармоника, нянька поетъ тѣсно.*

Наташа (*въ шубѣ и шапкѣ идетъ черезъ залу; за ней горничная*).—Черезъ полчаса я буду дома. Только проѣдусь немножко. (*уходитъ*).

Ирина (*оставшись одна, тоскуетъ*). — Въ Москву! Въ Москву! Въ Москву!

З а н а в ѣ с ь.

### ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

*Комната Ольги и Ирины. Налѣво и направо постели, загороженные ширмами. Третій часъ ночи. За сценой бьютъ въ набатъ по случаю пожара, начавшагося уже давно. Видно, что въ домъ еще не ложились спать. На диванѣ лежитъ Маша, одѣтая, какъ обыкновенно, въ черное платье. Входятъ Ольга и Анеиса.*

Анеиса.—Сидятъ теперь внизу подъ лѣстницей... Я говорю—«пожалуйте наверхъ, нешто, говорю, можно такъ»,—плачутъ. «Папаша, говорятъ, не знаемъ гдѣ. Не дай Богъ, говорятъ, сгорѣлъ». Выдумали! И на дворѣ какія-то... тоже раздѣтыя.

Ольга (*вынимаетъ изъ шкапа платье*). Вотъ это сѣренькое возьми... И вотъ это... Кофточку тоже... И эту юбку

бери, нянечка... Что же это такое, Боже мой! Кирсановскій переулочекъ весь сгорѣлъ, очевидно... Это возьми... Это возьми... (*кидаетъ ей на руки платье*). Вершинины бѣдные напугались... Ихъ домъ едва не сгорѣлъ. Пусть у насъ переночуютъ... домой ихъ нельзя пускать... У бѣднаго Ѳедотика все сгорѣло, ничего не осталось...

Анеиса.—Ферапонта позвала бы, Олюшка, а то не донесу...

Ольга (*звонитъ*). — Не дозвонишься... (*въ дверь*) Подите сюда, кто тамъ есть! (*въ открытую дверь видно окно, красное отъ зарева; слышно, какъ мимо дома проѣзжаетъ пожарная команда*) Какой это ужасъ. И какъ надоѣло!

*Входитъ Ферапонтъ.*

Ольга.—Вотъ возьми снеси внизъ... Тамъ подъ лѣстницей стоять барышни Колотилины... отдай имъ. И это отдай...

Ферапонтъ.—Слушаю. Въ двѣнадцатомъ году Москва тоже горѣла. Господи ты Боже мой! Французы удивлялись.

Ольга.—Иди, ступай...

Ферапонтъ.—Слушаю. (*уходитъ*).

Ольга.—Нянечка, милая, все отдавай. Ничего намъ не надо, все отдавай, нянечка... Я устала, едва на ногахъ стою... Вершининыхъ нельзя отпускать домой... Дѣвочки лягутъ въ гостиной, а Александра Игнатьича внизъ къ барону... Ѳедотика тоже къ барону, или пусть у насъ въ залѣ... Докторъ, какъ нарочно, пьянъ, ужасно пьянъ, и къ нему никого нельзя. И жену Вершинина тоже въ гостиной.

Анеиса..—(*утомленно*) Олюшка милая, не гони ты меня! Не гони!

Ольга.—Глупости ты говоришь, няня. Никто тебя не гонить.

Анеиса (*кладетъ ей голову на грудь*).—Родная моя, золотая моя, я тружусь, я работаю... Слаба стану, всё скажутъ: пошла! А куда я пойду? Куда? Восемьдесятъ лѣтъ. Восемьдесятъ второй годъ...

**Ольга.**—Ты посиди, нянечка... Устала ты, бѣдная... (*усаживаетъ ее*) Отдохни, моя хорошая. Поблѣднѣла какъ!

*Наташа входитъ.*

**Наташа.**—Тамъ говорить, поскорѣе нужно составить общество для помощи погорѣльцамъ. Что-жъ? Прекрасная мысль. Вообще нужно поскорѣе помогать бѣднымъ людямъ, это обязанность богатыхъ. Бобикъ и Софочка спятъ себѣ, спятъ, какъ ни въ чемъ не бывало. У насъ такъ много народу вездѣ, куда ни пойдешь, полною домъ. Теперь въ городѣ инфлюэнца, боюсь, какъ бы не захватили дѣти.

**Ольга** (*не слушая ея*).—Въ этой комнатѣ не видно пожара, тутъ покойно...

**Наташа.**—Да... Я, должно быть, растрепанная. (*передъ зеркаломъ*). Говорятъ, я пополнѣла... и не правда! Ничуть! А Маша спитъ, утомилась, бѣдная... (*Анѳисъ холодно*) При мнѣ не смѣй сидѣть! Встань! Ступай отсюда! (*Анѳиса уходитъ; пауза*) И зачѣмъ ты держишь эту старуху, не понимаю!

**Ольга** (*оторопѣвъ*).—Извини, я тоже не понимаю...

**Наташа.**—Ни къ чему она тутъ. Она крестьянка, должна въ деревнѣ жить... Что за баловство! Я люблю въ домѣ порядокъ! Лишнихъ не должно быть въ домѣ. (*гладитъ ее по щеку*). Ты, бѣдняжка, устала! Устала наша начальница! А когда моя Софочка вырастетъ и поступитъ въ гимназію, я буду тебя бояться.

**Ольга.**—Не буду я начальницей.

**Наташа.**—Тебя выберутъ, Олечка. Это рѣшено.

**Ольга.**—Я откажусь. Не могу... Это мнѣ не по силамъ... (*пьетъ воду*) Ты сейчасъ такъ грубо обошлась съ няней... Прости, я не въ состояніи переносить... въ глазахъ потемнѣло...

**Наташа** (*взволнованно*).—Прости, Оля, прости... Я не хотѣла тебя огорчать.

*Маша встаетъ, беретъ подушку и уходитъ, сердитая.*



...Ольга. — Пойми, милая... мы воспитаны, быть - может, странно, но я не переношу этого. Подобное отношеніе угнетает меня, я заболѣваю... я просто падаю духомъ!

Наташа.—Прости, прости... (*цѣлуетъ ее*).

Ольга.—Всякая, даже малѣйшая грубость, неделикатно сказанное слово волнуетъ меня...

Наташа.—Я часто говорю лишнее, это правда, но согласиись, моя милая, она могла бы жить въ деревнѣ.

Ольга.—Она уже тридцать лѣтъ у насъ.

Наташа.—Но вѣдь теперь она не можетъ работать! Или я не понимаю, или же ты не хочешь меня понять. Она не способна къ труду, она только спитъ или сидитъ.

Ольга.—И пускай сидитъ.

Наташа (*удивленно*).—Какъ пускай сидитъ? Но вѣдь она же прислуга. (*сквозь слезы*) Я тебя не понимаю, Оля. У меня нянька есть, кормилица есть, у насъ горничная, кухарка... для чего же намъ еще эта старуха? Для чего?

*За сценой бьютъ въ набатъ.*

Ольга.—Въ эту ночь я постарѣла на десять лѣтъ.

Наташа.—Намъ нужно уговориться, Оля. Ты въ гимназіи, я—дома, у тебя учење, у меня—хозяйство. И если я говорю что насчетъ прислуги, то знаю, что говорю; я знаю, что го-во-рю... И чтобъ завтра же не было здѣсь этой старой воровки, старой хрычевки... (*стучитъ ногами*) этой вѣдьмы!.. Не смѣть меня раздражать! Не смѣть! (*спохватившись*) Право, если ты не переберешься внизъ, то мы всегда будемъ ссориться. Это ужасно.

*Входитъ Кулыгинъ.*

Кулыгинъ.—Гдѣ Маша? Пора бы уже домой. Пожаръ, говорятъ, стихаетъ. (*потягивается*) Сгорѣлъ только одинъ кварталъ, а вѣдь быть вѣтеръ, вначалѣ казалось, что горить весь городъ. (*садится*) Утомился. Олечка моя милая... Я часто думаю: если бы не Маша, то я на тебѣ бы же-

нился, Олечка. Ты очень хорошая... Замучился. (*прислушивается*).

Ольга.— Что?

Кулыгинъ.—Какъ нарочно, у доктора запой, пьянъ онъ ужасно. Какъ нарочно! (*встаетъ*) Вотъ онъ идетъ сюда, кажется... Слышите? Да, сюда... (*сметается*) Экій какой, право... Я спрячусь. (*идетъ къ шкапу и становится въ углу*) Этакій разбойникъ.

Ольга.—Два года не пилъ, а тутъ вдругъ взять и напился... (*уходитъ съ Наташей въ глубину комнаты*).

*Чебутыкинъ входитъ; не шатаясь, какъ трезвый, проходитъ по комнатъ, останавливается, смотритъ, потомъ подходитъ къ рукомоинику и начинаетъ мыть руки.*

Чебутыкинъ (*урюмо*). — Чортъ бы всѣхъ побралъ... по-дралъ... Думаютъ, что я докторъ, умѣю лѣчить всякія болѣзни, а я не знаю рѣшительно ничего, все позабылъ, что зналъ, ничего не помню, рѣшительно ничего. (*Ольга и Наташа, незамѣтно для него, уходятъ*) Чортъ бы побралъ. Въ прошлую среду лѣчилъ на Засыпи женщину—умерла, и я виноватъ, что она умерла. Да... Кое-что я зналъ лѣтъ двадцать пять назадъ, а теперь ничего не помню. Ничего. Можетъ-быть, я и не человѣкъ, а только вотъ дѣлаю видъ, что у меня и руки, и ноги, и голова; можетъ-быть, я и не существую вовсе, а только кажется мнѣ, что я хожу, ѣмъ, сплю. (*плачетъ*) О, если бы не существовать! (*перестаетъ плакать, урюмо*) Чортъ знаетъ... Третьяго дня разговоръ въ клубѣ; говорятъ, Шекспиръ, Вольтеръ... Я не читалъ, совѣмъ не читалъ, а на лицѣ своемъ показалъ, будто читалъ. И другіе тоже, какъ я. Пошлость! Низость! И та женщина, что уморилъ въ среду, вспомнилась... и все вспомнилось и стало на душѣ криво, гадко, мерзко... пошелъ, запилъ...

*Ирина, Вершининъ и Тузенбахъ входятъ; на Тузенбахъ итатское платье, новое и модное.*

**Ирина.**—Здѣсь посидимъ. Сюда никто не войдетъ.

**Вершининъ.**—Если бы не солдаты, то сгорѣлъ бы весь городъ. Молодцы! (*потираетъ отъ удовольствія руки*) Золотой народъ! Ахъ, что за молодцы!

**Кулыгинъ** (*подходя къ нимъ*).—Который часъ, господа?

**Тузенбахъ.**—Уже четвертый часъ. Свѣтаетъ.

**Ирина.**—Всѣ сидятъ въ залѣ, никто не уходитъ. И вашъ этотъ Соленый сидитъ... (*Чебутыкину*) Вы бы, докторъ, шли спать.

**Чебутыкинъ.** — Ничего-съ... Благодарю-съ. (*причесываетъ бороду*).

**Кулыгинъ** (*смѣется*). — Назюзюкался, Иванъ Романычъ! (*хлопаетъ по плечу*) Молодецъ! In vino veritas, говорили древнѣе.

**Тузенбахъ.** — Меня все просятъ устроить концертъ въ пользу погорѣльцевъ.

**Ирина.**—Ну, кто тамъ...

**Тузенбахъ.**—Можно бы устроить, если захотѣть. Марья Сергѣевна, по-моему, играетъ на рояли чудесно.

**Кулыгинъ.**—Чудесно играетъ!

**Ирина.**—Она уже забыла. Три года не играла... или четыре.

**Тузенбахъ.**—Здѣсь въ городѣ рѣшительно никто не понимаетъ музыки, ни одна душа, но я, я понимаю и честнымъ словомъ увѣряю васъ, что Марія Сергѣевна играетъ великолѣпно, почти талантливо.

**Кулыгинъ.**—Вы правы, баронъ. Я ее очень люблю, Машу. Она славная.

**Тузенбахъ.**—Умѣть играть такъ роскошно и въ то же время сознавать, что тебя никто, никто не понимаетъ!

**Кулыгинъ** (*вздыхаетъ*).—Да... Но прилично ли ей участвовать въ концертѣ? (*пауза*) Я вѣдь, господа, ничего не знаю. Можетъ-быть, это и хорошо будетъ. Долженъ признаться, нашъ директоръ хорошій человекъ, даже очень хо-

рошій, умнѣйшій, но у него такіе взгляды... Конечно, не его дѣло, но все-таки, если хотите, то я, пожалуй, поговорю съ нимъ.

**Чебутыкинъ** (*береть въ руки фарфоровыя часы и разсматриваетъ ихъ*).

**Вершининъ**.—На пожарѣ я загрязнился весь, ни на что не похожъ. (*пауза*) Вчера я мелькомъ слышалъ, будто нашу бригаду хотятъ перевести куда-то далеко. Одни говорятъ въ Царство Польское, другіе—будто въ Читу.

**Тузенбахъ**.—Я тоже слышалъ. Что-жь? Городъ тогда со-всѣмъ опустѣеть.

**Ирина**.—И мы уѣдемъ!

**Чебутыкинъ** (*роняетъ часы, которые разбиваются*).—Вдребезги!

*Пауза; всѣ огорчены и сконфужены.*

**Кулыгинъ** (*подбирая осколки*).—Разбить такую дорогую вещь,—ахъ, Иванъ Романычъ, Иванъ Романычъ! Ноль съ минусомъ вамъ за поведеніе!

**Ирина**.—Это часы покойной мамы.

**Чебутыкинъ**.—Можетъ-быть... Мамы, такъ мамы. Можетъ, я не разбивалъ, а только кажется, что разбилъ. Можетъ-быть, намъ только кажется, что мы существуемъ, а на самомъ дѣлѣ насъ нѣтъ. Ничего я не знаю, никто ничего не знаетъ. (*у двери*) Что смотрите? У Наташи романчикъ съ Протопоповымъ, а вы не видите... Вы вотъ сидите тутъ и ничего не видите, а у Наташи романчикъ съ Протопоповымъ... (*поетъ*) Не угодно ль этотъ финикъ вамъ принять... (*уходитъ*).

**Вершининъ**.—Да... (*сметая*). Какъ все это въ сущности странно! (*пауза*) Когда начался пожаръ, я побѣжалъ скорѣй домой; подхожу, смотрю—домъ нашъ цѣлъ и невредимъ и вѣдь опасности, но мои двѣ дѣвочки стоятъ у порога въ одномъ бѣльѣ, матери нѣтъ, суетится народъ, бѣгаютъ ло-

шади, собаки, и у дѣвочекъ на лицахъ тревога, ужась, мольба, не знаю что; сердце у меня сжалось, когда я увидѣлъ эти лица. Боже мой, думаю, что придется пережить еще этимъ дѣвочкамъ въ теченіе долгой жизни! Я хватаю ихъ, бѣгу и все думаю одно: что имъ придется пережить еще на этомъ свѣтѣ! (*набатъ; пауза*) Прихожу сюда, а мать здѣсь, кричитъ, сердится.

*Маша входитъ съ подушкой и садится на диванъ.*

**Вершининъ.**—И когда мои дѣвочки стояли у порога въ одномъ бѣльѣ, и улица была красной отъ огня, былъ страшный шумъ, то я подумалъ, что нѣчто похожее происходило много лѣтъ назадъ, когда набѣгалъ неожиданно врагъ, грабилъ, зажигалъ... Между тѣмъ, въ сущности, какая разница между тѣмъ, что есть и что было! А пройдетъ еще немного времени, какихъ-нибудь двѣсти-триста лѣтъ, и на нашу теперешнюю жизнь такъ же будутъ смотрѣть и со страхомъ, и съ насмѣшкой, все нынѣшнее будетъ казаться и угловатымъ, и тяжелымъ, и очень неудобнымъ, и страннымъ. О, навѣрное, какая это будетъ жизнь, какая жизни! (*смѣется*) Простите, я опять зафилософствовался. Позвольте продолжать, господа. Мнѣ ужасно хочется философствовать, такое у меня теперь настроеніе. (*пауза*) Точно спятъ всѣ. Такъ я говорю: какая это будетъ жизнь! Вы можете себѣ только представить... Вотъ такихъ, какъ вы, въ городѣ теперь только три, но въ слѣдующихъ поколѣніяхъ будетъ больше, все больше и больше, и придетъ время, когда все измѣнится по-вашему, жить будутъ по-вашему, а потомъ и вы устарѣете, народятся люди, которые будутъ лучше васъ... (*смѣется*) Сегодня у меня какое-то особенное настроеніе. Хочется жить чертовски... (*поетъ*) Люви всѣ возрасты покорны, ея дорывы благотворны... (*смѣется.*)

**Маша.**—Трамъ-тамъ-тамъ...

**Вершининъ.**—Тамъ-тамъ...

**Маша.**—Тра-ра-ра?

Вершининъ.—Тра-та-та. (*сѣется*)

*Входитъ Федотикъ.*

Федотикъ (*танцуетъ*).—Погорѣлъ, погорѣлъ! Весь дочиста! (*сѣтъ*.)

Ирина.—Что-жь за шутки. Все сгорѣло?

Федотикъ (*сѣется*).—Все дочиста. Ничего не осталось. И гитара сгорѣла, и фотографія сгорѣла, и всѣ мои письма... И хотѣлъ подарить вамъ записную книжечку—тоже сгорѣла.

*Входитъ Соленый.*

Ирина.—Нѣтъ, пожалуйста, уходите, Василій Васильичъ. Сюда нельзя.

Соленый.—Почему же это барону можно, а мнѣ нельзя?

Вершининъ.—Надо уходить, въ самомъ дѣлѣ. Какъ пожаръ?

Соленый.—Говорятъ, стихаетъ. Нѣтъ, мнѣ положительно странно, почему это барону можно, а мнѣ нельзя? (*вынимаетъ флаконъ съ духами и прыскается*.)

Вершининъ.—Трамъ-тамъ-тамъ.

Маша.—Трамъ-тамъ.

Вершининъ (*сѣется, Соленому*).—Пойдемте въ залу.

Соленый.—Хорошо-съ, такъ и запишемъ. Мысль эту можно бѣ болѣе пояснить, да боюсь, какъ бы гусей не раздражить... (*глядя на Тузенбаха*) Ципъ, ципъ, ципъ... (*уходитъ съ Вершининымъ и Федотикомъ*.)

Ирина.—Какъ накурить этотъ Соленый... (*въ недоумѣннѣ*) Баронъ спитъ! Баронъ! Баронъ!

Тузенбахъ (*очнувшись*).—Усталъ я, однако... Кирпичный заводъ... Это я не брежу, а въ самомъ дѣлѣ, скоро поѣду на кирпичный заводъ, начну работать... Уже былъ разговоръ. (*Иринѣ нѣжно*) Вы такая блѣдная, прекрасная, обаятельная... Мнѣ кажется, ваша блѣдность проясняетъ темный воздухъ, какъ свѣтъ... Вы печальны, вы недовольны жизнью... О, поѣдемте со мной, поѣдемте работать вмѣстѣ!

**Маша.**—Николай Львовичъ, уходите отсюда.

**Тузенбахъ** (*смѣясь*).—Вы здѣсь? Я не вижу. (*цѣлуетъ Ирину руку*). Прощайте, я пойду... Я гляжу на васъ теперь и вспоминается мнѣ, какъ когда-то давно, въ день вашихъ именинъ, вы, бодрая, веселая, говорили о радостяхъ труда... И какая мнѣ тогда мерещилась счастливая жизнь! Гдѣ она? (*цѣлуетъ руку*) У васъ слезы на глазахъ. Ложитесь спать, ужъ свѣтаетъ... начинается утро... Если бы мнѣ было позволено отдать за васъ жизнь свою!

**Маша.**—Николай Львовичъ, уходите! Ну, что право...

**Тузенбахъ.**—Ухожу... (*уходитъ*).

**Маша** (*ложась*).—Ты спишь, Федоръ?

**Кулыгинъ.**—А?

**Маша.**—Шелъ бы домой.

**Кулыгинъ.**—Милая моя Маша, дорогая моя Маша...

**Ирина.**—Она утомилась. Даль бы ей отдохнуть, Федя.

**Кулыгинъ.**—Сейчасъ уйду... Жена моя хорошая, славная... Люблю тебя, мою единственную...

**Маша** (*сердито*).—Амо, amas, amat, amamus, amatis, amant.

**Кулыгинъ** (*смѣется*).—Нѣтъ, право, она удивительная. Женатъ я на тебѣ семь лѣтъ, а кажется, что вѣнчались только вчера. Честное слово. Нѣтъ, право, ты удивительная женщина. Я доволенъ, я доволенъ, я доволенъ!

**Маша.**—Надоѣло, надоѣло, надоѣло... (*встаетъ и говоритъ сидя*). И вотъ не выходитъ у меня изъ головы... Просто возмутительно. Сидить гвоздемъ въ головѣ, не могу молчать. Я про Андрея.. Заложилъ онъ этотъ домъ въ банкъ и всѣ деньги забрала его жена, а вѣдь домъ принадлежитъ не ему одному, а намъ четверымъ! Онъ долженъ это знать, если онъ порядочный человѣкъ.

**Кулыгинъ.**—Охота тебѣ, Маша! На что тебѣ? Андриюша кругомъ долженъ, ну, и Богъ съ нимъ.

**Маша.**—Это во всякомъ случаѣ возмутительно. (*ложится*).

Кулыгинъ.—Мы съ тобой не бѣдны. Я работаю, хожу въ гимназію, потомъ уроки даю... Я честный человѣкъ, Простой... *Omnia mea mecum porto*, какъ говорится.

Маша.—Мнѣ ничего не нужно, но меня возмущаетъ несправедливость. (*пауза*) Ступай, Федоръ.

Кулыгинъ (*цѣлуетъ ее*).—Ты устала, отдохни съ полчасика, а я тамъ посижу, подожду. Спи... (*идетъ*). Я доволенъ, я доволенъ, я доволенъ. (*уходитъ*).

Ирина.—Въ самомъ дѣлѣ, какъ измѣльчалъ нашъ Андрей, какъ онъ выдохся и постарѣлъ около этой женщины! Когда-то готовился въ профессора, а вчера хвалился, что попалъ, наконецъ, въ члены земской управы. Онъ членъ управы, а Протопоповъ предсѣдатель... Весь городъ говоритъ, смѣется, и только онъ одинъ ничего не знаетъ и не видитъ... И вотъ всѣ побѣжали на пожаръ, а онъ сидитъ у себя въ комнатахъ и никакого вниманія. Только на скрипкѣ играетъ. (*нервно*) О, ужасно, ужасно, ужасно! (*плачетъ*) Я не могу, не могу переносить больше!.. Не могу, не могу!..

*Ольга входитъ, убираетъ около своего столика.*

Ирина (*громко рыдаетъ*).—Выбросьте меня, выбросьте, я больше не могу!..

Ольга (*испугавшись*).—Что ты, что ты? Милая!

Ирина (*рыдая*).—Куда? Куда все ушло? Гдѣ оно? О, Боже мой, Боже мой! Я все забыла, забыла... у меня перепуталось въ головѣ... Я не помню, какъ по-итальянски окно, или вотъ потолокъ... Все забываю, каждый день забываю, а жизнь уходитъ и никогда не вернется, никогда, никогда мы не уѣдемъ въ Москву... Я вижу, что не уѣдемъ....

Ольга.—Милая, милая...

Ирина (*сдерживаясь*).—О, я несчастная... Не могу я работать, не стану работать. Довольно, довольно! Была телеграфисткой, теперь служу въ городской управѣ и ненавижу, и презираю все, что только мнѣ даютъ дѣлать... Мнѣ уже двадцать четвертый годъ, работаю уже давно, и мозгъ вы-



сохъ, похудѣла, подурнѣла, постарѣла, и ничего, ничего, никакого удовлетворенія, а время идетъ и все кажется, что уходишь отъ настоящей прекрасной жизни, уходишь все дальше и дальше, въ какую-то пропасть. Я въ отчаяніи, и какъ я жива, какъ не убила себя до сихъ поръ, не понимаю...

**Ольга.**— Не плачь, моя дѣвочка, не плачь... Я страдаю.

**Ирина.**— Я не плачу, не плачу... Довольно... Ну, вотъ я уже не плачу. Довольно... Довольно!

**Ольга.**— Милая, говорю тебѣ, какъ сестра, какъ другъ, если хочешь моего совѣта, выходи за барона!

**Ирина** (*тихо плачетъ*).

**Ольга.**— Вѣдь ты его уважаешь, высоко цѣнишь... Онъ, правда, некрасивый, но онъ такой порядочный, чистый... Вѣдь замужъ выходятъ не изъ любви, а для того, чтобы исполнить свой долгъ. Я, по крайней мѣрѣ, такъ думаю, и я бы вышла безъ любви. Кто бы ни посваталъ, все равно бы пошла, лишь бы порядочный человѣкъ. Даже за старика бы пошла...

**Ирина.**— Я все ждала, переселимся въ Москву, тамъ мнѣ встрѣтится мой настоящій, я мечтала о немъ, любила... Но оказалось, все вздоръ, все вздоръ...

**Ольга** (*обнимаетъ сестру*).— Милая моя, прекрасная сестра, я все понимаю; когда баронъ Николай Львовичъ оставилъ военную службу и пришелъ къ намъ въ пиджакъ, то показался мнѣ такимъ некрасивымъ, что я даже заплакала... Онъ спрашиваетъ: «что вы плачете?» Какъ я ему скажу! Но если бы Богъ привелъ ему жениться на тебѣ, то я была бы счастлива. Тутъ вѣдь другое, совсѣмъ другое.

*Наташа со свѣчей проходитъ черезъ сцену изъ правой двери въ лѣвую молча.*

**Маша** (*садится*).— Она ходитъ такъ, какъ будто она подохла.

Ольга.—Ты, Маша, глупая. Самая глупая въ нашей семьѣ, это ты. Извини, пожалуйста. (*пауза*).

Маша.—Мнѣ хочется баяться, милыя сестры. Томится душа моя. Покаяюсь вамъ и ужъ больше никому, никогда... Скажу сію минуту. (*тихо*) Это моя тайна, но вы все должны знать... Не могу молчать... (*пауза*) Я люблю, люблю... Люблю этого человѣка... Вы его только что видѣли... Ну, да что тамъ. Однимъ словомъ, люблю Вершинина...

Ольга (*идетъ къ себѣ за ширмы*). — Оставь это. Я все равно не слышу.

Маша.—Что же дѣлать! (*беретъ за голову*) Онъ казался мнѣ сначала страннымъ, потомъ я жалѣла его... потомъ полюбила... полюбила съ его голосомъ, его словами, несчастьями, двумя дѣвочками...

Ольга (*за ширмой*).—Я не слышу все равно. Какія бы ты глупости ни говорила, я все равно не слышу.

Маша.—Э, глупая ты, Оля. Люблю — такая, значить, судьба моя. Значить, доля моя такая... И онъ меня любить... Это все страшно. Да? Не хорошо это? (*тянется Ирину за руку, привлекаетъ къ себѣ*) О, моя милая... Какъ-то мы проживемъ нашу жизнь, что изъ насъ будетъ... Когда читаешь романъ какой-нибудь, то кажется, что все это старо, и все такъ понятно, а какъ сама полюбишь, то и видно тебѣ, что никто ничего не знаетъ и каждый долженъ рѣшать самъ за себя... Милыя мои, сестры мои... Призналась вамъ, теперь буду молчать... Буду теперь, какъ гоголевскій сумасшедшій... молчаніе... молчаніе...

*Андрей, за нимъ ФерAPONтъ.*

Андрей (*сердито*).—Что тебѣ нужно? Я не понимаю.

ФерAPONтъ (*въ дверяхъ, нетерпливо*). — Я, Андрей Сергѣевичъ, ужъ говорилъ разъ десять.

Андрей.—Во-первыхъ, я тебѣ не Андрей Сергѣевичъ, а ваше высокоблагородіе!

**Ферапонть.**—Пожарные, ваше высокородіе, просятъ, позвольте на рѣку садомъ проѣхать. А то кругомъ ѣздютъ, ѣздютъ—чистое наказаніе.

**Андрей.**—Хорошо. Скажи, хорошо. (*Ферапонть уходитъ*)  
Надоѣли. Гдѣ Ольга? (*Ольга выходитъ изъ-за ширмы*) Я пришелъ къ тебѣ, дай мнѣ ключъ отъ шкапа, я затерялъ свой. У тебя есть такой маленькій ключикъ.

**Ольга** (*подаетъ ему молча ключъ, Ирина идетъ къ себѣ за ширму; пауза*).

**Андрей.**—А какой громадный пожаръ! Теперь стало утихать. Чортъ знаетъ, разозлилъ меня этотъ Ферапонть, я сказалъ ему глупость... Ваше высокоблагородіе... (*пауза*)  
Что же ты молчишь, Оля? (*пауза*) Пора уже оставить эти глупости и не дуться такъ, здорово-живешь... Ты, Маня, здѣсь, Ирина здѣсь, ну вотъ прекрасно—объяснимся начистоту, разъ навсегда. Что вы имѣете противъ меня? Что?

**Ольга.**—Оставь, Андрюша. Завтра объяснимся. (*волнуясь*)  
Какая мучительная ночь!

**Андрей** (*онъ очень смущенъ.*)—Не волнуйся. Я совершенно хладнокровно васъ спрашиваю: что вы имѣете противъ меня? Говорите прямо.

**Голось Вершинина.**—Трамъ-тамъ-тамъ!

**Маша** (*встаетъ громко*). — Тра-та-га! (*Ольга*). Прощай, Оля, Господь съ тобой. (*идетъ за ширму, цѣлуетъ Ирину*) Спи покойно... Прощай, Андрей. Уходи, онѣ утомлены... завтра объяснишься... (*уходитъ*).

**Ольга.**—Въ самомъ дѣлѣ, Андрюша, отложимъ до завтра... (*идетъ къ себѣ за ширму*) Спать пора.

**Андрей.**—Только скажу и уйду. Сейчасъ... Во-первыхъ, вы имѣете что-то противъ Наташи, моей жены, и это я замѣчаю съ самага дня моей свадьбы. Наташа прекрасный, честный человекъ, прямой и благородный—вотъ мое мнѣніе. Свою жену я люблю и уважаю, понимаете, уважаю и требую, чтобы ее уважали также и другіе. Повторяю, она чест-

ный, благородный человекъ, а всё ваши неудовольствія, простите, это просто капризы... (*пауза*) Во-вторыхъ, вы какъ будто сердитесь за то, что я не профессоръ, не занимаюсь наукой. Но я служу въ земствѣ, я членъ земской управы и это свое служеніе считаю такимъ же святымъ и высокимъ, какъ служеніе наукѣ. Я членъ земской управы и горжусь этимъ, если желаете знать... (*пауза*) Въ-третьихъ... Я еще имѣю сказать... Я заложилъ домъ, не испросивъ у васъ позволенія... Въ этомъ я виноватъ, да, и прошу меня извинить. Меня побудили къ этому долги... тридцать пять тысячъ... Я уже не играю въ карты, давно бросилъ, но главное, что могу сказать въ свое оправданіе, это то, что вы дѣвушки, вы получаете пенсію, я же не имѣлъ... заработка, такъ сказать... (*пауза*).

Кулыгинъ (*въ дверь*).—Маши здѣсь нѣтъ? (*встревоженно*) Гдѣ же она? Это странно... (*уходитъ*).

Андрей.—Не слушаютъ. Наташа превосходный, честный человекъ. (*ходитъ по сценѣ молча, потомъ останавливается*) Когда я женился, я думалъ, что мы будемъ счастливы... всё счастливы... Но Боже мой... (*плачетъ*) Милыя мои сестры, дорогія сестры, не вѣрьте мнѣ, не вѣрьте... (*уходитъ*).

Кулыгинъ (*въ дверь встревоженно*). — Гдѣ Маша? Здѣсь Маши нѣтъ? Удивительное дѣло. (*уходитъ*).

*Набатъ, сцена густая.*

Ирина (*за ширмами*).—Оля! Кто это стучитъ въ полъ?

Ольга.—Это докторъ Иванъ Романычъ. Онъ пьянъ.

Ирина.—Какая безпокойная ночь! (*пауза*) Оля! (*выглядываетъ изъ-за ширмы*) Слышала? Бригаду берутъ отъ насъ, переводятъ куда-то далеко.

Ольга.—Это слухи только.

Ирина.—Останемся мы тогда одни... Оля!

Ольга.—Ну?

Ирина.—Милая, дорогая, я уважаю, я цѣню барона, онъ

прекрасный человекъ, я выйду за него, согласна, только поѣдемъ въ Москву! Умоляю тебя, поѣдемъ! Лучше Москвы ничего нѣтъ на свѣтѣ! Поѣдемъ, Оля! Поѣдемъ!

З а н а в ѣ с ь .

### ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

*Старый садъ при домѣ Прозоровыхъ. Длинная еловая аллея, въ концѣ которой видна рѣка. На той сторонѣ рѣки— лѣсъ. Направо терраса дома; здѣсь на столѣ бутылки и стаканы; видно, что только-что пили шампанское. Дѣвятинадцать часовъ дня. Съ улицы къ рѣкѣ черезъ садъ ходятъ изрядка прохожіе; быстро проходятъ человекъ пять солдатъ. Чебутыкинъ въ благодушномъ настроеніи, которое не покидаетъ его въ теченіе всего акта, сидитъ въ креслѣ, въ саду, ждетъ, когда его позовутъ; онъ въ фуражкѣ и съ палкой. Ирина, Кулыгинъ съ орденомъ на шеѣ, безъ усовъ, и Тузенбахъ, стоя на террасѣ, провожаютъ Федотика и Родэ, которые сходятъ внизъ; оба офицера въ походной формѣ.*

Тузенбахъ (*цѣлуется съ Федотикомъ*).—Вы хорошій, мы жили такъ дружно. (*цѣлуется съ Родэ*) Еще разъ... Прощайте, дорогой мой!

Ирина.—До свиданья!

Федотикъ.—Не до свиданья, а прощайте, мы больше уже никогда не увидимся!

Кулыгинъ.—Кто знаетъ! (*вытираетъ глаза, улыбается*) Вотъ и я заплакалъ.

Ирина.—Когда-нибудь встрѣтятся.

Федотикъ.—Лѣтъ черезъ десять — пятнадцать? Но тогда мы едва узнаемъ другъ друга, холодно поздороваемся... (*снимаетъ фотографію*) Стойте... Еще въ послѣдній разъ

Родэ (*обнимаетъ Тузенбаха*).— Не увидимся больше... (*цѣлуетъ руку Ирину*) Спасибо за все, за все!

**Федотикъ** (*съ досадой*).—Да постой!

**Тузенбахъ**.—Дастъ Богъ, увидимся. Пишите же намъ. Непремѣнно пишите.

**Родэ** (*окидываетъ взглядомъ садъ*).—Прощайте, деревья!  
(*кричитъ*) Гопъ-гопъ! (*пауза*) Прощай, эх!

**Кулыгинъ**.—Чего добраго, женитесь тамъ, въ Польшѣ... Жена полька обниметъ и скажетъ: «кохане!» (*сметется*).

**Федотикъ** (*взглянувъ на часы*).—Осталось меньше часа. Изъ нашей батареи только Соленый пойдетъ на баржѣ, мы же со строевой частью. Сегодня уйдутъ три батареи дивизионно, завтра опять три—и въ городѣ наступитъ тишина и спокойствіе.

**Тузенбахъ**.—И скучища страшная.

**Родэ**.—А Марія Сергѣевна гдѣ?

**Кулыгинъ**.—Маша въ саду.

**Федотикъ**.—Съ ней проститься.

**Родэ**.—Прощайте, надо уходить, а то я заплачу... (*обнимаетъ быстро Тузенбаха и Кулыгина, цѣлуетъ руку Ирины*) Прекрасно мы здѣсь пожили...

**Федотикъ** (*Кулыгину*).—Это вамъ на память... книжка съ карандашикомъ... Мы здѣсь пойдемъ къ рѣкѣ... (*отходятъ, оба оглядываются*).

**Родэ** (*кричитъ*).—Гопъ-гопъ!

**Кулыгинъ** (*кричитъ*).—Прощайте!

*Въ глубинѣ сцены Федотикъ и Родэ встрѣчаются съ Машей и прощаются съ нею; она уходитъ съ ними.*

**Ирина**.—Ушли... (*садится на нижнюю ступень террасы*).

**Чебутыкинъ**.—А со мной забыли проститься.

**Ирина**.—Вы же чего?

**Чебутыкинъ**.—Да и я какъ-то забылъ. Впрочемъ, скоро увижусь съ ними, ухожу завтра. Да... Еще одинъ денекъ остался. Черезъ годъ дадутъ мнѣ отставку, опять приѣду сюда и буду доживать свой вѣкъ около васъ. Мнѣ до пенсіи только одинъ годочекъ остался... (*кладетъ въ карманъ*

*газету, вынимаетъ другую*). Приѣду сюда къ вамъ и измѣню жизнь кореннымъ образомъ. Стану такимъ тихонькимъ, благо... благоугоднымъ, приличненькимъ...

Ирина.—А вамъ надо бы измѣнить жизнь, голубчикъ. Надо бы какъ-нибудь.

Чебутыкинъ.—Да. Чувствую. *(тихо напѣваетъ)* Тарара... бумбѣя... сижу на тумбѣ я...

Кулыгинъ.—Неисправимъ Иванъ Романычъ! Неисправимъ!

Чебутыкинъ.—Да вотъ къ вамъ бы на выучку. Тогда бы исправился.

Ирина.—Федоръ сбрилъ себѣ усы. Видѣть не могу!

Кулыгинъ.—А что?

Чебутыкинъ.—Я бы сказалъ, на что теперь похожа ваша физиономія, да не могу.

Кулыгинъ.—Что-жъ! Такъ принято, это *modus vivendi*. Директоръ у насъ съ выбритыми усами, и я тоже, какъ сталъ инспекторомъ, побрился. Никому не нравится, а для меня все равно. Я доволенъ. Съ усами я, или безъ усовъ, и я одинаково доволенъ... *(садится)*.

*Въ глубинѣ сцены Андрей провозитъ въ колясочкѣ спящаго ребенка.*

Ирина.—Иванъ Романычъ, голубчикъ, родной мой, я страшно обезпокоена. Вы вчера были на бульварѣ, скажите, что произошло тамъ?

Чебутыкинъ.—Что произошло? Ничего. Пустяки *(читаетъ газету)*. Все равно!

Кулыгинъ.—Такъ рассказываютъ, будто Соленый и баронъ встрѣтились вчера на бульварѣ около театра...

Түзенбахъ.—Перестаньте! Ну, что право... *(махаетъ рукой и уходитъ въ домъ)*.

Кулыгинъ.—Около театра... Соленый сталъ придирается къ барону, а тотъ не стерпѣлъ, сказалъ что-то обидное...

Чебутыкинъ.—Не знаю. Чепуха все.

Нулыгинъ.—Въ какой-то семинаріи учитель написалъ на сочиненіи «чепуха», а ученикъ прочелъ «реникса»—думалъ что по-латыни написано. (*смѣется*) Смѣшно удивительно. Говорятъ, будто Соленый влюбленъ въ Ирину и будто возненавидѣлъ барона... Это понятно. Ирина очень хорошая дѣвушка. Она даже похожа на Машу, такая же задумчивая. Только у тебя, Ирина, характеръ мягче. Хотя и у Маши, впрочемъ, тоже очень хорошій характеръ. Я ее люблю, Машу.

*Въ глубинѣ сада за сценой: «Ау! Гонъ, гонъ!»*

Ирина (*вздрагиваетъ*).—Меня какъ-то все пугаетъ сегодня. (*пауза*) У меня уже все готово, я послѣ обѣда отправляю свои вещи. Мы съ барономъ завтра вѣнчаемся, завтра же уѣзжаемъ на кирпичный заводъ и послѣзавтра я уже въ школъ, начинается новая жизнь. Какъ-то мнѣ поможетъ Богъ! Когда я держала экзаменъ на учительницу, то даже плакала отъ радости, отъ благодати... (*пауза*) Сейчасъ придетъ подвода за вещами...

Нулыгинъ.—Такъ-то оно такъ, только какъ-то все это не серьезно. Одиѣ только идеи, а серьезнаго мало. Впрочемъ, отъ души тебѣ желаю.

Чебутыкинъ (*въ умилени*).—Славная моя, хорошая... Золотая моя... Далеко вы ушли, не догонишь васъ. Остался я позади, точно перелетная птица, которая состарилась, не можетъ летѣть. Летите, мои милыя, летите съ Богомъ! (*пауза*) Напрасно, Федоръ Ильичъ, вы усы себѣ сбрили.

Нулыгинъ.—Будетъ вамъ! (*вдыхаетъ*) Вотъ сегодня уйдутъ военные, и все опять пойдетъ по старому. Что бы тамъ ни говорили, Маша хорошая, честная женщина, я ее очень люблю и благодарю свою судьбу. Судьба у людей разная... Тутъ въ акцизѣ служить нѣкто Козыревъ. Онъ учился со мной, его уволили изъ пятаго класса гимназіи за то, что никакъ не могъ понять *ut consecutivum*. Теперь онъ ужасно



бѣдствуетъ, боленъ и я, когда встрѣчаюсь, то говорю ему: «Здравствуй, ut consecutivum» — Да, говорить, именно consecutivum..., а самъ кашляетъ. А мнѣ вотъ всю мою жизнь везетъ, я счастливъ, вотъ имѣю даже Станислава второй степени, и самъ теперь преподаю другимъ это ut consecutivum. Конечно, я умный человѣкъ, умнѣе очень многихъ, но счастье не въ этомъ...

*Въ домъ играютъ на рояли «Молитву Дѣвы».*

Ирина.—А завтра вечеромъ я уже не буду слышать этой «Молитвы Дѣвы», не буду встрѣчаться съ Протопоповымъ... (пауза) А Протопоповъ сидитъ тамъ въ гостиной; и сегодня пришелъ...

Кулыгинъ.—Начальница еще не пріѣхала?

Ирина.—Нѣтъ. За ней послали. Если бъ только вы знали, какъ мнѣ трудно жить здѣсь одной, безъ Оли... Она живетъ въ гимназіи; она начальница, цѣлый день занята дѣломъ, а я одна, мнѣ скучно, нечего дѣлать, и ненавистна комната, въ которой живу... Я такъ и рѣшила: если мнѣ не суждено быть въ Москвѣ, то такъ тому и быть. Значитъ, судьба. Ничего не подѣлаешь. Все въ Божьей волѣ, это правда Николай Львовичъ сдѣлалъ мнѣ предложеніе... Что-жь? Подумала и рѣшила. Онъ хорошій человѣкъ, удивительно даже, такой хорошій... И у меня вдругъ точно крылья выросли на душѣ, я повеселѣла, стало мнѣ легко и опять захотѣлось работать, работать... Только вотъ вчера произошло что-то, какая-то тайна нависла надо мной...

Чебутыкинъ.—Реникса. Чепуха.

Наташа (въ окно).—Начальница!

Кулыгинъ.—Пріѣхала начальница. Пойдемъ.

*(Уходитъ съ Ириной въ домъ).*

Чебутыкинъ (*читаетъ газету и тихо напѣваетъ*). Тара-ра... бумбѣя... сижу на тумбѣ я...

*Маша подходит; въ глубинѣ Андрей провозитъ колясочку*

Маша.—Сидить себѣ здѣсь, посиживаетъ...

Чебутыкинъ.—А что?

Маша (*садится*).—Ничего... (*пауза*) Вы любите мою мать?

Чебутыкинъ.—Очень.

Маша.—А она васъ?

Чебутыкинъ (*послѣ паузы*).—Этого я уже не помню.

Маша.—Мой здѣсь? Такъ когда-то наша кухарка Марѳа говорила про своего городского: мой. Мой здѣсь?

Чебутыкинъ.—Нѣтъ еще.

Маша.—Когда берешь счастье урывочками, по кусочкамъ, потомъ его теряешь, какъ я, то мало-по-малу грубѣешь, становишься злющей. (*указываетъ себѣ на грудь*) Вотъ тутъ у меня кипить... (*глядя на брата Андрея, который провозитъ колясочку*) Вотъ Андрей нашъ, братецъ... Всѣ надежды пропали. Тысячи народа поднимали колоколъ, потрачено было много труда и денегъ, а онъ вдругъ упалъ и разбился. Вдругъ, ни съ того, ни съ сего. Такъ и Андрей...

Андрей.—И когда, наконецъ, въ домѣ успокоятся. Такой шумъ.

Чебутыкинъ.—Скоро. (*смотритъ на часы*) У меня часы старинные, съ боемъ... (*заводитъ часы, они бьютъ*) Первая, вторая и пятая батарея уйдутъ ровно въ часъ. (*пауза*) А я завтра.

Андрей.—Навсегда?

Чебутыкинъ.—Не знаю. Можетъ, черезъ годъ вернусь. Хотя, чортъ его знаетъ... все равно...

*Слышно, какъ гдѣ-то далеко играютъ на арфѣ и скрипкѣ.*

Андрей.—Опустѣетъ городъ. Точно его колпакомъ накроютъ. (*пауза*) Что-то произошло вчера около театра; всѣ говорятъ, а я не знаю.

Чебутыкинъ.—Ничего. Глупости. Соленый сталь придирается къ барону, а тотъ вспылить и оскорбилъ его, и вышло такъ въ концѣ концовъ, что Соленый обязанъ былъ

вызвать его на дуэль. (*смотритъ на часы*) Пора бы, кажется, ужь... Въ половинѣ перваго, въ казенной роцѣ, вотъ въ той, что отсюда видать за рѣкой.. Пифъ-пафъ. (*смется*) Соленый воображаетъ, что онъ Лермонтовъ, и даже стихи пишетъ. Вотъ шутки шутками, а ужь у него третья дуэль.

Маша.—У кого?

Чебутыкинъ.—У Соленаго.

Маша.—А у барона?

Чебутыкинъ.—Что у барона? (*пауза*).

Маша.—Въ головѣ у меня перепуталось... Все-таки, я говорю, не слѣдуетъ имъ позволять. Онъ можетъ ранить барона или даже убить.

Чебутыкинъ.—Баронъ хорошій человекъ, но однимъ барономъ больше, однимъ меньше—не все ли равно? Пускай! Все равно! (*за садомъ крикъ: «Ау! Гонъ-гонъ!»*) Подождешь. Это Скворцовъ кричить, секунданта. Въ лодкѣ сидить. (*пауза*).

Андрей.—По-моему, и участвовать на дуэли, и присутствовать на ней, хотя бы въ качествѣ врача, просто безнравственно.

Чебутыкинъ.—Это только кажется... Насъ нѣтъ, ничего нѣтъ на свѣтѣ, мы не существуемъ, а только кажется, что существуемъ... И не все ли равно!

Маша.—Такъ вотъ цѣлый день говорятъ, говорятъ... (*идетъ*) Живешь въ такомъ климатѣ, того гляди снѣгъ пойдетъ, а тутъ еще эти разговоры... (*останавливаясь*) Я не пойду въ домъ, я не могу туда ходить... Когда придетъ Вершининъ, скажете мнѣ... (*идетъ по аллеѣ*) А уже летятъ перелетныя птицы... (*глядитъ вверхъ*) Лебеди, или гуси... Милые мои, счастливые мои... (*уходитъ*).

Андрей.—Опустѣетъ нашъ домъ. Уѣдутъ офицеры, уѣдете вы, сестра замужъ выйдетъ и останусь въ домѣ я одинъ.

Чебутыкинъ.—А жена?

*Феранонтъ входитъ съ бумагами.*

**Андрей.**— Жена есть жена. Она честная, порядочная, ну, добрая, но въ ней есть при всемъ томъ нѣчто принижющее ея до мелкаго, слѣпое, этакого шаршаваго животнаго. Во всякомъ случаѣ, она не человѣкъ. Говорю вамъ, какъ другу, единственному человѣку, которому могу открыть свою душу. Я люблю Наташу, это такъ, но иногда она кажется мнѣ удивительно пошлой и тогда я теряюсь, не понимаю, за что, отчего я такъ люблю ея, или, по крайней мѣрѣ, любилъ...

**Чебутыкинъ (встаетъ).**— Я, братъ, завтра уѣзжаю, можетъ, никогда не увидимся, такъ вотъ тебѣ мой совѣтъ. Знаешь, надѣнь шапку, возьми въ руки палку и уходи... уходи и иди, иди безъ оглядки. И чѣмъ дальше уйдешь, тѣмъ лучше.

*Соленый проходитъ въ глубинѣ сцены съ двумя офицерами; увидевъ Чебутыкина, онъ поворачиваетъ къ нему; офицеры идутъ дальше.*

**Соленый.**— Докторъ, пора! Уже половина перваго. *(здоровается съ Андреемъ).*

**Чебутыкинъ.**— Сейчасъ. Надоѣли вы мнѣ всѣ. *(Андрею)* Если кто спроситъ меня, Андрюша, то скажешь, что я сейчасъ.... *(вздыхаетъ)* Охо-хо-хо!

**Соленый.**— Онъ ахнуть не успѣлъ, какъ на него медвѣдь насѣлъ. *(идетъ съ нимъ)* Что вы кричите, старикъ?

**Чебутыкинъ.**— Ну!

**Соленый.**— Какъ здоровье?

**Чебутыкинъ (сердито).**— Какъ масло коровье.

**Соленый.**— Старикъ волнуется напрасно. Я позволю себѣ немного, я только подстрѣлю его, какъ вальдшнепа. *(вынимаетъ дули и брызгаетъ на руки)* Вотъ вылилъ сегодня цѣлый флаконъ, а онъ все пахнуетъ. Онъ у меня пахнуетъ трупомъ. *(пауза)* Такъ-съ... Помните стихи? А онъ, мятежный, ищетъ бури, какъ будто въ буряхъ есть покой...

Чобутыкинъ.—Да. Онъ ахнуть не успѣлъ, какъ на него медвѣдь насѣлъ. (*Уходитъ съ Соленымъ*).

Слышны крики: «Гоня! Ау!» Андрей и Фералонтъ входятъ.

Фералонтъ.—Бумаги подписать...

Андрей (*нервно*).—Отстань отъ меня! Отстаны! Умоляю! (*уходитъ съ колясочкой*).

Фералонтъ.—На то вѣдь и бумаги, чтобъ ихъ подписывать. (*уходитъ въ глубину сцены*).

Входятъ Ирина и Тузенбахъ въ соломенной шляпѣ, Кулакинъ проходитъ черезъ сцену, крича: «Ау, Маша, ау!»

Тузенбахъ.—Это, кажется, единственный человѣкъ въ городѣ, который радъ, что уходятъ военные.

Ирина.—Это понятно. (*пауза*) Нашъ городъ опустѣеть теперь.

Тузенбахъ.—Милая, я сейчасъ приду.

Ирина.—Куда ты?

Тузенбахъ.—Мнѣ нужно въ городъ, затѣмъ... проводить товарищей.

Ирина.—Неправда... Николай, отчего ты такой разсѣянный сегодня? (*пауза*) Что вчера произошло около театра?

Тузенбахъ (*нетерпливое движеніе*).—Черезъ часъ я вернусь и опять буду съ тобой. (*цѣлуетъ ей руки*) Ненаглядная моя... (*всматривается ей въ лицо*) Уже пять лѣтъ прошло, какъ я люблю тебя, и все не могу привыкнуть, и ты кажешься мнѣ все прекраснѣе. Какіе прелестные, чудные волосы! Какіе глаза! Я увезу тебя завтра, мы будемъ работать, будемъ богаты, мечты мои оживутъ. Ты будешь счастлива. Только вотъ одно, только одно: ты меня не любишь!

Ирина.—Это не въ моей власти! Я буду твоей женой, и вѣрной, и покорной, но любви нѣтъ, что же дѣлать! (*плачетъ*) Я не любила ни разу въ жизни. О, я такъ мечтала о любви, мечтаю уже давно, дни и ночи, но душа моя, какъ дорогой

рояль, который заперть и ключъ потерянь. (*пауза*) У тебя безпокойный взглядъ.

Тузенбахъ.—Я не спалъ всю ночь. Въ моей жизни нѣтъ ничего такого страшнаго, что могло бы испугать меня, и только этотъ потерянный ключъ терзаетъ мою душу, не даетъ мнѣ спать. Скажи мнѣ что-нибудь. (*пауза*) Скажи мнѣ что-нибудь...

Ирина.—Что? Что сказать? Что?

Тузенбахъ.—Что-нибудь.

Ирина.—Полно! Полно! (*пауза*).

Тузенбахъ.—Какіе пустяки, какія глупыя мелочи иногда приобрѣтаютъ въ жизни значеніе, вдругъ ни съ того, ни съ сего. По-прежнему смѣешься надъ ними, считаешь пустяками, и все же идешь и чувствуешь, что у тебя нѣтъ силъ остановиться. О, не будемъ говорить объ этомъ! Мнѣ весело. Я точно первый разъ въ жизни вижу эти ели, клены, березы, и все смотритъ на меня съ любопытствомъ и ждетъ. Какія красивыя деревья и, въ сущности, какая должна быть около нихъ красивая жизнь! (*Крикъ: «Ау! Гонъ-Гонъ!»*) Надо идти, уже пора... Вотъ дерево засохло, но все же оно вмѣстѣ съ другими качается отъ вѣтра. Такъ, мнѣ кажется, если я и умру, то все же буду участвовать въ жизни такъ или иначе. Прощай, моя милая... (*цѣлуетъ руки*) Твои бумаги, что ты мнѣ дала, лежатъ у меня на столѣ, подъ календаремъ.

Ирина.—И я съ тобой пойду.

Тузенбахъ (*тревожно*).—Нѣтъ, нѣтъ! (*быстро идетъ, на аллею останавливается*) Ирина!

Ирина.—Что?

Тузенбахъ (*не зная, что сказать*).—Я не пилъ сегодня кофе. Скажешь, чтобы мнѣ сварили... (*быстро уходитъ*).

*Ирина стоитъ задумавшись, потомъ уходитъ въ глубины сцены и садится на качели. Входитъ Андрей съ колясочкой, показывается Феропонтъ.*

**Фералонтъ.**—Андрей Сергѣичъ, бумаги-то вѣдь не мои, а казенныя. Не я ихъ выдумалъ.

**Андрей.**—О, гдѣ оно, куда ушло мое прошлое, когда я былъ молодъ, веселъ, уменъ, когда я мечталъ и мыслилъ изящно, когда настоящее и будущее мое озарялось надеждой? Отчего мы, едва начавши жить, становимся скучны, сѣры, неинтересны, лѣнны, равнодушны, бесполезны, несчастны... Городъ нашъ существуетъ уже двѣсти лѣтъ, въ немъ сто тысячъ жителей, и ни одного, который не былъ бы похожъ на другихъ, ни одного подвижника ни въ прошломъ, ни въ настоящемъ, ни одного ученаго, ни одного художника, ни мало-мальски замѣтнаго человѣка, который возбуждалъ бы зависть, или страстное желаніе подражать ему. Только ѣдятъ, пьютъ, спятъ, потомъ умираютъ... рождаются другіе и тоже ѣдятъ, пьютъ, спятъ, и, чтобы не отупѣть отъ скуки, разнообразяютъ жизнь свою гадкой сплетней, водкой, картами, сутяжничествомъ, и жены обманываютъ мужей, а мужья лгутъ, дѣлаютъ видъ, что ничего не видятъ, ничего не слышатъ, и неотразимо пошлое вліяніе гнететъ дѣтей и искра Божія гаснетъ въ нихъ, и они становятся такими же жалкими, похожими другъ на друга мертвецами, какъ ихъ отцы и матери... (*Фералонту сердито*) Что тебѣ?

**Фералонтъ.**—Чего? Бумаги подписать.

**Андрей.**—Надоѣлъ ты мнѣ.

**Фералонтъ** (*подавая бумаги*).—Сейчасъ швейцаръ изъ казенной палаты сказывалъ... Будто, говоритъ, зимой въ Петербургѣ морозъ былъ въ двѣсти градусовъ.

**Андрей.**—Настоящее противно, но зато, когда я думаю о будущемъ, то какъ хорошо! Становится такъ легко, такъ просторно; и вдали забрезжетъ свѣтъ, я вижу свободу, я вижу, какъ я и дѣти мои становимся свободны отъ праздности, отъ квасу, отъ гуся съ кашустой, отъ сна послѣ обѣда, отъ подлагаго тунеядства...

**Фералонтъ.**—Двѣ тысячи людей померзло будто. Народъ,

говорить, ужасался. Не то въ Петербургѣ; не то въ Москвѣ— не упомяну.

Андрей (*ошваченный нѣжнымъ чувствомъ*).—Милыя мои сестры, чудныя мои сестры! (*сквозь слезы*) Маша, сестра моя..

Наташа (*въ окно*). Кто здѣсь разговариваетъ такъ громко? Это ты, Андрюша? Софочку разбудишь. *P ne faut pas faire du bruit, la Sophie est dormée déjà. Vous êtes un ours.* (*разсердившись*) Если хочешь разговаривать, то отдай колясочку съ ребенкомъ кому-нибудь другому. Фералонтъ, возьми у барина колясочку!

Фералонтъ.—Слушаю. (*беретъ колясочку*).

Андрей (*сконфуженно*).—Я говорю тихо.

Наташа (*за окномъ, лаская своего мальчика*).—Бобикъ! Шалунъ Бобикъ! Дурной Бобикъ!

Андрей (*оглядывая бумаги*).—Ладно, пересмотрю и, что нужно, подпишу, а ты снесешь опять въ управу... (*уходитъ съ домъ, читая бумаги; Фералонтъ везетъ колясочку въ глубину сада*).

Наташа (*за окномъ*).—Бобикъ, какъ зовутъ твою маму? Милый, милый! А это кто? Это тетя Оля. Скажи тетѣ: здравствуй, Оля!

*Бродячіе музыканты, мужчина и двѣвушка, играютъ на скрипкѣ и арфѣ; изъ дому выходятъ Вершининъ, Ольга и Анеиса и съ минутой слушаютъ молча; подходитъ Ирина.*

Ольга.—Нашъ садъ, какъ проходной дворъ, черезъ него и ходять и ѣздить. Няня, дай этимъ музыкантамъ что-нибудь!..

Анеиса (*подаетъ музыкантамъ*).—Уходите съ Богомъ, сердечные. (*музыканты кланяются и уходятъ*.) Горькій народъ. Отъ сытости не заиграешь. (*Ирина*) Здравствуй, Ариша! (*цѣлуетъ ее*) И-и, дѣточка, вотъ живу! Вотъ живу! Въ гимназіи на казенной квартирѣ, вмѣстѣ съ Ольшккой—



опредѣлили Господь на старости лѣтъ. Отродясь я, грѣшница, такъ не жила... Квартира большая, казенная, и мнѣ пѣльная комнатка и кровать. Все казенное. Проснусь ночью и—о Господи, Матерь Божія, счастливей меня чело-вѣка нѣту!

**Вершининъ** (*взглянувъ на часы*).—Сейчасъ уходимъ, Ольга Сергѣевна. Мнѣ пора. (*пауза*) Я желаю вамъ всего, всего... Гдѣ Марія Сергѣевна?

**Ирина**.—Она гдѣ-то въ саду. Я пойду, поищу ее.

**Вершининъ**.—Будьте добры. Я тороплюсь.

**Анекса**.—Пойду и я поищу. (*кричитъ*) Машенька, ау! (*уходитъ вмѣстѣ съ Ириной въ глубину сада*) А-у, а-у!

**Вершининъ**.—Все имѣть свой конецъ. Вотъ и мы расстаемся. (*смотритъ на часы*) Городъ давалъ намъ что-то въ родѣ завтрака, пили шампанское, городской голова говорилъ рѣчь, я ѣлъ и слушалъ, а душой былъ здѣсь, у васъ... (*оглядываетъ садъ*) Привыкъ я къ вамъ.

**Ольга**.—Увидимся ли мы еще когда-нибудь?

**Вершининъ**.—Должно быть, нѣтъ. (*пауза*) Жена моя и обѣ дѣвочки проживутъ здѣсь еще мѣсяца два; пожалуйста, если что случится, или что понадобится...

**Ольга**.—Да, да, конечно. Будьте покойны. (*пауза*) Въ городъ завтра не будетъ уже ни одного военнаго, все станетъ воспоминаніемъ и, конечно, для насъ начнется новая жизнь... (*пауза*) Все дѣлается не по-нашему. Я не хотѣла быть начальницей, и все-таки сдѣлалась ею. Въ Москвѣ, значить, не быть...

**Вершининъ**.—Ну... Спасибо вамъ за все. Простите мнѣ, если что не такъ... Много, очень ужъ много я говорилъ—и за это простите, не поминайте лихомъ.

**Ольга** (*утираетъ глаза*).—Что-жъ это Маша не идетъ...

**Вершининъ**.—Что же еще вамъ сказать на прощаніе? О чемъ пофилософствовать?.. (*смететъ*) Жизнь тяжела. Она представляется многимъ изъ насъ глухой и безнадежной,

но все же, надо сознаться, она становится все яснѣе и легче и повидимому не далеко то время, когда она станетъ совсѣмъ свѣтлой. (*смотритъ на часы*) Пора мнѣ, пора! Прежде человѣчество было занято войнами, заполняя все свое существованіе походами, набѣгами, побѣдами, теперь же все это отжило, оставивъ послѣ себя громадное пустое мѣсто, которое пока нечѣмъ заполнить; человѣчество страстно ищетъ, и, конечно, найдетъ. Ахъ, только бы поскорѣе! (*пауза.*) Если бы, знаете, къ трудолюбію прибавить образованіе, а къ образованію трудолюбіе. (*смотритъ на часы*) Мнѣ, однако, пора...

Ольга.—Вотъ она идетъ.

*Маша входитъ.*

Вершининъ.—Я пришелъ проститься... (*Ольга отходитъ немного въ сторону, чтобы не помѣшать прощанію.*)

Маша (*смотря ему въ лицо*).—Прощай... (*продолжительный поцѣлуй*).

Ольга.—Будетъ, будетъ...

Маша (*сильно рыдаетъ*).

Вершининъ.—Пиши мнѣ... Не забывай! Пусти меня... пора... Ольга Сергѣевна, возьмите ее, мнѣ уже... пора... опоздалъ... (*растроганный цѣлуетъ руки Ольги, потомъ еще разъ обнимаетъ Машу и быстро уходитъ*).

Ольга.—Будетъ, Маша! Перестань, милая... (*входитъ Кулыгинъ.*)

Кулыгинъ (*въ смущеніи*).—Ничего, пусть поплачетъ, пусть... Хорошая моя Маша, добрая моя Маша... Ты моя жена, и я счастливъ, чтобы тамъ ни было... Я не жалуясь, не дѣлаю тебѣ ни одного упрека... вотъ и Оля свидѣтельница... Начнемъ жить опять по-старому и я тебѣ ни одного слова, ни намека...

Маша (*сдерживая рыданія*).—У лукоморья дубъ зеленый,

златая цѣпь на дубѣ томъ... златая цѣпь на дубѣ томъ...  
Я съ ума схожу... У лукоморья... дубъ зеленый...

Ольга.—Успокойся, Маша... Успокойся... Дай ей воды.

Маша.—Я больше не плачу...

Кулыгинь.—Она уже не плачетъ... она добрая...

*Слышенъ глухой далекій выстрѣлъ.*

Маша.—У лукоморья дубъ зеленый, златая цѣпь на дубѣ томъ... Котъ зеленый... дубъ зеленый... Я путаю... (*пьетъ воду*) Неудачная жизнь... Ничего мнѣ теперь не нужно... Я сейчасъ успокоюсь... Все равно... Что значить у лукоморья? Почему это слово у меня въ головѣ? Путаются мысли.

*Ирина входитъ.*

Ольга.—Успокойся, Маша. Ну, вотъ умница... Пойдемъ въ комнату.

Маша (*сердито*).—Не пойду я туда. (*рыдаетъ, но тотчасъ же останавливается*) Я въ домъ уже не хожу, и не пойду...

Ирина.—Давайте посидимъ вмѣстѣ, хоть помолчимъ. Вѣдь завтра я уѣзжаю... (*пауза*).

Кулыгинь.—Вчера въ третьемъ классѣ у одного мальчугана я отнялъ вотъ усы и бороду... (*надвѣваетъ усы и бороду*) Похожъ на учителя нѣмецкаго языка... (*смѣется*) Не правда ли? Смѣшные эти мальчишки.

Маша.—Въ самомъ дѣлѣ похожъ на вашего нѣмца.

Ольга (*смѣется*).—Да.

Маша (*плачетъ*):

Ирина.—Будетъ, Маша!

Кулыгинь.—Очень похожъ...

*Входитъ Наташа.*

Наташа (*горничной*).—Что? Съ Софочкой посидитъ Протопоповъ, Михайлъ Ивановичъ, а Бобика пусть покатаетъ Андрей Сергѣичъ. Столько хлопотъ съ дѣтьми... (*Иринѣ*)

Ирина, ты завтра уѣзжаешь—такая жалость. Останься еще хоть недѣлку. (*увидѣвъ Кулыгина, вскрикиваетъ; тотъ смѣется и снимаетъ усы и бороду*) Ну васъ совсѣмъ,—испугали! (*Иринь*) Я къ тебѣ привыкла и разстаться съ тобой, ты думаешь, мнѣ будетъ легко? Въ твою комнату я велю переселить Андрея съ его скрипкой—пусть тамъ пи-литъ!—а въ его комнату мы помѣстимъ Софочку. Дивный, чудный ребенокъ! Что за дѣвчурка! Сегодня она посмотрѣла на меня такими глазками и—«мама»!

Кулыгинъ.—Прекрасный ребенокъ, это вѣрно.

Наташа.—Значить, завтра я уже одна тутъ. (*вздыхаетъ*) Велю прежде всего срубить эту еловую аллею, потомъ вотъ этотъ клень. По вечерамъ онъ такой некрасивый... (*Иринь*) Милая, совсѣмъ не къ лицу тебѣ этотъ поясъ... Это безвкусца. Надо что-нибудь свѣтленькое. И тутъ вездѣ я велю понасажать цвѣточковъ, цвѣточковъ, и будетъ запахъ... (*строго*). Зачѣмъ здѣсь на скамьѣ валяется вилка? (*проходя въ домъ, горничной*) Зачѣмъ здѣсь на скамьѣ валяется вилка, я спрашиваю? (*кричитъ*) Молчать!

Кулыгинъ.—Разошлась!

*За сценой музыка играетъ маршъ; всѣ слушаютъ.*

Ольга.—Уходятъ.

*Входитъ Чебутыкинъ.*

Маша.—Уходятъ наши. Ну, что-жъ... Счастливый имъ путь! (*мужу*) Надо домой... Гдѣ моя шляпа и тальма.

Кулыгинъ.—Я въ домъ отнесъ... Принесу сейчасъ.

Ольга.—Да, теперь можно по домамъ. Пора.

Чебутыкинъ.—Ольга Сергѣевна!

Ольга.—Что? (*пауза*) Что?

Чебутыкинъ.—Ничего... Не знаю, какъ сказать вамъ... (*шепчетъ ей на ухо*).

Ольга (*въ испугъ*).—Не можетъ быть!

Чебутыкинъ.—Да... такая исторія... Утомился я, заму-

члася; больше не хочу говорить... (съ досадою) Впрочемъ, все равно!

Маша.—Что случилось?

Ольга (обнимаетъ Ирину). — Ужасный сегодня день... Я не знаю, какъ тебѣ сказать, моя дорогая...

Ирина.—Что? Говорите скорѣй: что? Бога ради! (плачетъ).

Чебутыкинъ.—Сейчасъ на дуэли убить баронъ.

Ирина (тихо плачетъ).—Я знала, я знала...

Чебутыкинъ (въ глубинѣ сцены садится на скамью).— Утомился... (вынимаетъ изъ кармана газету). Пусть поплачуть... (тихо напѣваетъ). Та-ра-ра-бумбѣя... сижу на тумбѣ я... Не все ли равно!

*Три сестры стоятъ, прижавшись другъ къ другу.*

Маша.—О, какъ играетъ музыка! Они уходятъ отъ насъ, одинъ ушелъ совсѣмъ, совсѣмъ навсегда, мы останемся однѣ, чтобы начать нашу жизнь снова. Надо жить... Надо жить...

Ирина (кладетъ голову на грудь Ольги).—Придетъ время, всѣ узнаютъ, зачѣмъ все это, для чего эти страданія, никакихъ не будетъ тайнъ, а пока надо жить... надо работать, только работать! Завтра я поѣду одна, буду учить въ школъ и всю свою жизнь отдамъ тѣмъ, кому она, быть-можетъ, нужна. Теперь осень, скоро придетъ зима, засыплетъ снѣгомъ, а я буду работать, буду работать...

Ольга (обнимаетъ обѣихъ сестеръ). — Музыка играетъ такъ весело, бодро, и хочется жить! О, Боже мой! Пройдетъ время, и мы уйдемъ навѣки, насъ забудутъ, забудутъ наши лица, голоса и сколько насъ было, но страданія наши перейдутъ въ радость для тѣхъ, кто будетъ жить послѣ насъ, счастье и миръ настанутъ на землѣ, и помянутъ добрымъ словомъ и благословятъ тѣхъ, кто живетъ теперь. О, милыя сестры, жизнь наша еще не кончена. Будемъ жить! Музыка играетъ такъ весело, такъ радостно и, кажется,

еще немного, и мы узнаемъ, зачѣмъ мы живемъ, зачѣмъ страдаемъ... Если бы знать, если бы знать!

*Музыка играетъ все тише и тише; Кулыгинъ веселый, улыбающійся, несетъ шляпу и талъму, Андрей везетъ колясочку, въ которой сидитъ Бобикъ.*

Чебутыкинъ (*тихо напѣваетъ*). — Тара... ра... бумбѣя... сажу на тумбѣ я... (*читаетъ газету*) Все равно! Все равно!

Ольга. — Если бы знать, если бы знать!

З а н а в ѣ с ь .



# Оглавленіе.

---

	стр.
Медвѣдь . . . . .	5
Предложеніе . . . . .	25
Ивановъ . . . . .	43
Лебединая пѣсня. (Калхасъ). . . . .	119
Трагикъ по неволѣ. (Изъ дачной жизни). . . . .	131
Чайка . . . . .	141
Дядя Ваня . . . . .	203
Свадьба . . . . .	259
Юбилей. . . . .	277
Три сестры. . . . .	295

---





Антонъ Чеховъ.

# РАЗСКАЗЫ.

VIII

## СОДЕРЖАНИЕ:

Бабе царство. — Попрыгунья. — Черный монахъ. — Скрипка Ротшильда. — Володя большой и Володя маленький. — Учитель словесности. — Въ усадьбѣ. — Студентъ. — Сосѣди. — Три года. — Убіѣство. — Супруга.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.  
Издание А. Ф. МАРКСА.

1881



Типографія А. Ф. Маркса. Измайл. просп., № 29.



# РАЗСКАЗЫ.



# БАВЬЕ ЦАРСТВО.

## I.

### Наканунѣ.

Вотъ толстый денежный пакетъ. Это изъ лѣсной дачи, отъ приказчика. Онъ пишетъ, что посылаетъ полторы тысячи рублей, которыя онъ отсудилъ у кого-то, выигравъ дѣло во второй инстанціи. Анна Акимовна не любила и боялась такихъ словъ, какъ отсудилъ и выигралъ дѣло. Она знала, что безъ правосудія нельзя, но почему-то, когда директоръ завода Назарычъ или приказчикъ на дачѣ, которые часто судились, выигрывали въ пользу ея какое-нибудь дѣло, то ей всякій разъ становилось жутко и какъ будто совѣстно. И теперь ей стало жутко и неловко, и захотѣлось отложить эти полторы тысячи куда-нибудь подале, чтобы не видѣть ихъ.

Она думала съ досадою: ея ровесницы,—а ей шель двадцать-шестой годъ,—теперь хлопочуть по хозяйству, утомились и крѣпко уснуть; а завтра утромъ проснутся въ праздничномъ настроеніи; многія изъ нихъ давно уже повыходили замужъ и имѣютъ дѣтей. Только она одна почему-то обязана, какъ старуха, сидѣть за этими письмами, дѣлать

на нихъ помѣтки, писать отвѣты, потомъ весь вечеръ до полуночи ничего не дѣлать и ждать, когда захочется спать, а завтра весь день будутъ ее поздравлять и просить у ней, а послѣ-завтра на заводѣ непременно случится какой-нибудь скандалъ,—побьютъ кого, или кто-нибудь умретъ отъ водки, и ее почему-то будетъ мучить совѣсть; а послѣ праздниковъ Назарычъ уволить за прогулъ человекъ двадцать, и всѣ эти двадцать будутъ безъ шапокъ жаться около ея крыльца, и ей будетъ совѣстно выйти къ нимъ, и ихъ прогонять, какъ собакъ. И всѣ знакомые будутъ говорить за глаза и писать ей въ анонимныхъ письмахъ, что она миліонерша, эксплуататорша, что она заѣдаетъ чужой вѣкъ и сосеть у рабочихъ кровь.

Вотъ въ сторонѣ лежитъ пачка прочитанныхъ и уже отложенныхъ писемъ. Это отъ просителей. Тутъ голодные, пьяные, обремененные многочисленными семействами, больные, униженные, непризнанные... Анна Акимовна уже намѣтила на каждомъ письмѣ, кому три рубля, кому пять; письма эти сегодня же пойдутъ въ контору, и завтра тамъ будетъ происходить выдача пособій; или, какъ говорятъ служащіе, кормленіе звѣрей.

Раздадутъ по мелочамъ и 470 рублей—проценты съ капитала, завѣщаннаго покойнымъ Акимомъ Иванычемъ на нищихъ и убогихъ. Будетъ безобразная толкотня. Отъ воротъ до дверей конторы потянется гусемъ длинный рядъ какихъ-то чужихъ людей со звѣриными лицами, въ лохмотьяхъ, озябшихъ, голодныхъ и уже пьяныхъ, поминающихъ хрипылыми голосами матушку-благодѣтельницу Анну Акимовну и ея родителей; задніе будутъ напирать на переднихъ, а передніе—браниться нехорошими словами. Конторщикъ, которому прискучать шумъ, брань и причитыванія, выскочитъ и дастъ кому-нибудь по уху ко всеобщему удовольствію. А свои люди, рабочіе, не получившіе къ празднику ничего, кромѣ своего жалованья, и уже истратившіе

все до копейки, будутъ стоять среди двора, смотрѣть и по-смѣиваться—одни завистливо, другіе иронически.

«Купцы, а особенно купчихи больше любятъ нищихъ, чѣмъ своихъ рабочихъ, — подумала Анна Акимовна. — Это всегда такъ».

Взглядъ ея упалъ на денежный пакетъ. Хорошо бы раздать завтра эти ненужныя, противныя деньги рабочимъ, но нельзя ничего давать рабочему даромъ, а то запросить въ другой разъ. Да и что значать эти полторы тысячи, если на заводѣ всѣхъ рабочихъ тысяча-восемьсотъ слишкомъ, не считая ихъ женъ и дѣтей? А то, пожалуй, выбрать одного изъ просителей, писавшихъ эти письма. какого-нибудь несчастнаго, давно уже потерявшаго надежду на лучшую жизнь, и отдать ему полторы тысячи. Бѣдняка ошеломятъ эти деньги, какъ громъ, и, быть-можетъ, первый разъ въ жизни онъ почувствуетъ себя счастливымъ. Эта мысль показалась Аннѣ Акимовнѣ оригинальной и забавной и развлекла ее. Она наудачу потянула изъ пачки одно письмо и прочла. Какой-то губернской секретарь Чаликовъ давно уже безъ мѣста, боленъ и проживаетъ въ домѣ Гуцина; жена въ чакоткѣ, пять малолѣтнихъ дочерей. Гуцинскій четырехъэтажный домъ, въ которомъ жилъ Чаликовъ, хорошо знала Анна Акимовна. Ахъ, нехорошій, гнилой, нездоровый домъ!

— Вотъ отдамъ этому Чаликову,—рѣшила она.—Посылать не стану, лучше сама сvezу, чтобы не было лишнихъ разговоровъ. Да,—разсуждала она, пряча въ карманъ полторы тысячи,—посмотрю и, пожалуй, дѣвочекъ куда-нибудь пристрою.

Ей стало весело, она позвонила и приказала подавать лошадей.

Когда она садилась въ сани, былъ седьмой часъ вечера. Окна во всѣхъ корпусахъ были ярко освѣщены, и оттого на громадномъ дворѣ казалось очень темно. У воротъ и далеко въ глубинѣ двора, около складовъ и рабочихъ барачковъ горѣли электрическіе фонари.

Этихъ темныхъ, угрюмыхъ корпусовъ, складовъ и барак-  
 ковъ, гдѣ жили рабочіе, Анна Акимовна не любила и боя-  
 лась. Въ главномъ корпусѣ послѣ смерти отца она была  
 только одинъ разъ. Высокіе потолки съ желѣзными балками,  
 множество громадныхъ, быстро вертящихся колесъ, привод-  
 ныхъ ремней и рычаговъ, пронзительное шипѣніе, визгъ  
 стали, дребезжанье вагонетокъ, жесткое дыханіе пара, блѣд-  
 ныя или багровыя или черныя отъ угольной пыли лица,  
 мокрыя отъ пота рубахи, блескъ стали, мѣди и огня, за-  
 пахъ масла и угля, и вѣтеръ, то очень горячій, то холод-  
 ный, произвели на нее впечатлѣніе ада. Ей казалось, будто  
 колеса, рычаги и горячіе шипящіе цилиндры стараются со-  
 рваться со своихъ связей, чтобы уничтожить людей, а люди,  
 съ озабоченными лицами, не слыша другъ друга, бѣгаютъ  
 и суетятся около машинъ, стараются остановить ихъ страш-  
 ное движеніе. Аннѣ Акимовнѣ что-то показывали и почти-  
 тельно объясняли. Она помнитъ, какъ въ кузнечномъ отдѣ-  
 леніи вытащили изъ печи кусокъ раскаленнаго желѣза, и  
 какъ одинъ старикъ съ ремешкомъ на головѣ, а другой —  
 молодой, въ синей блузѣ, съ цѣпочкой на груди и съ сер-  
 дитымъ лицомъ, должно-быть, изъ старшихъ, ударили мо-  
 лотками по куску желѣза, и какъ брызнули во всѣ стороны  
 золотыя искры, и какъ, немного погодя, гремѣли передъ  
 ней громаднымъ кускомъ листового желѣза; старикъ стоялъ  
 на вытяжку и улыбался, а молодой вытиралъ рукавомъ  
 мокрое лицо и объяснялъ ей что-то. И она еще помнитъ,  
 какъ въ другомъ отдѣленіи старикъ съ однимъ глазомъ пи-  
 лилъ кусокъ желѣза, и сыпались желѣзныя опилки, и какъ  
 рыжій, въ темныхъ очкахъ и съ дырами на рубахѣ, работ-  
 талъ у токарнаго станка, дѣлая что-то изъ куска стали;  
 стапокъ ревелъ и визжалъ и свистѣлъ, а Анну Акимовну  
 тошнило отъ этого шума, и казалось, что у нея сверлятъ  
 въ ушахъ. Она глядѣла, слушала, не понимала, благосклонно  
 улыбалась, и ей было стыдно. Кормиться и получать сотни



тысячъ отъ дѣла, котораго не понимаешь и не можешь любить,—какъ это странно!

А въ рабочихъ баракахъ она не была ни разу. Тамъ, говорятъ, сырость, клопы, развратъ, безначаліе. Удивительное дѣло: на благоустройство барачковъ уходятъ ежегодно тысячи рублей, а положеніе рабочихъ, если вѣрить анонимнымъ письмамъ, съ каждымъ годомъ становится все хуже и хуже...

«При отцѣ было больше порядка,—думала Анна Акимовна, выѣзжая со двора,—потому что онъ самъ былъ рабочій и знаетъ, что нужно. Я же ничего не знаю и дѣлаю однѣ глупости».

Ей опять стало скучно, и она была уже не рада, что поѣхала, и мысль о счастливицѣ, на котораго сваливаются съ неба полторы тысячи, уже не казалась ей оригинальной и забавной. Ёхать къ какому-то Чаликову, когда дома постепенно разрушается и падаетъ миллионное дѣло, и рабочіе въ баракахъ живутъ хуже арестантовъ,—это значитъ дѣлать глупости и обманывать свою совѣсть. По шоссе и около него черезъ поле, направляясь къ городскимъ огнямъ, шли толпами рабочіе изъ сосѣднихъ фабрикъ—ситцевой и бумажной. Въ морозномъ воздухѣ раздавались смѣхъ и веселый говоръ. Анна Акимовна поглядѣла на женщинъ и малолѣтковъ, и ей вдругъ захотѣлось простоты, грубости, тѣсноты. Она ясно представила себѣ то далекое время, когда ее звали Анюткой, и когда она, маленькая, лежала подъ однимъ одеяломъ съ матерью, а рядомъ, въ другой комнатѣ, стирала бѣлье жилица-прачка, и изъ сосѣднихъ квартиръ, сквозъ тонкія стѣны, слышались смѣхъ, брань, дѣтскій плачь, гармоника, жужжаніе токарныхъ станковъ и пивейныхъ машинъ, а отецъ, Акимъ Ивановичъ, знавшій почти всѣ ремесла, не обращая никакого вниманія на тѣсноту и шумъ, паялъ что-нибудь около печки или чертилъ или строгалъ. И ей захотѣлось стирать, гладить, бѣгать въ лавку и кабакъ, какъ это она дѣлала каждый день, когда

жила съ матерью. Ей бы рабочей быть, а не хозяйкой! Ея большой домъ съ люстрами и картинами, лакей Мишенька во фракѣ и съ бархатными усиками, благолѣпная Варварушка и льстивая Агаебюшка, и эти молодые люди обоего пола, которые почти каждый день приходятъ къ ней просить денегъ, и передъ которыми она почему-то всякій разъ чувствуетъ себя виноватой, и эти чиновники, доктора и дамы, благотворящіе на ея счетъ, льстящіе ей и презирающіе ея втайнѣ за низкое происхожденіе, — какъ все это уже прискучило и чуждо ей!

Вотъ желѣзно-дорожный переѣздъ и застава; пошли дома вперемежку съ огородами; вотъ, наконецъ, и широкая улица, гдѣ стоитъ знаменитый домъ Гущина. На улицѣ, обыкновенно тихой, теперь по случаю кануна праздника было большое движеніе. Въ трактирахъ и портерныхъ шумѣли. Если бы проѣзжалъ теперь по улицѣ кто-нибудь не здѣшній, живущій въ центрѣ города, то онъ замѣтилъ бы только грязныхъ, пьяныхъ и ругателей, но Анна Акимовна, жившая съ дѣтства въ этихъ краяхъ, узнавала теперь въ толпѣ то своего покойнаго отца, то мать, то дядю. Отецъ былъ мягкая, расплывчатая душа, немножко фантазеръ, безпечный и легкомысленный; у него не было пристрастія ни къ деньгамъ, ни къ почету, ни къ власти; онъ говорилъ, что рабочему человѣку некогда разбирать праздники и ходить въ церковь; и если бъ не жена, то онъ, пожалуй, никогда бы не говѣлъ и въ постъ ѣлъ бы скоромное. А дядя, Иванъ Ивановичъ, наоборотъ, былъ кремень; во всемъ, что относилось къ религіи, политикѣ и нравственности, онъ былъ крутъ и неумолимъ, и наблюдалъ не только за собой, но и за всѣми служащими и знакомыми. Не дай Богъ, бывало, войти къ нему въ комнату и не перекреститься! Роскошныя хоромы, въ которыхъ живетъ теперь Анна Акимовна, онъ держалъ запертыми и отпиралъ ихъ только въ большіе праздники для важныхъ гостей, а самъ жилъ въ конторѣ,

въ одной маленькой комнаткѣ, уставленной образами. Онъ тяготѣлъ къ старой вѣрѣ и постоянно принималъ у себя старообрядческихъ архіереевъ и поповъ, хотя былъ крещенъ и вѣнчанъ, и жену свою похоронилъ по обряду православной церкви. Брата Акима, своего единственнаго наслѣдника, онъ не любилъ за легкомысліе, которое называлъ простотой и глупостью, и за равнодушіе къ вѣрѣ. Онъ держалъ его въ черномъ тѣлѣ, на положеніи рабочаго, платилъ ему по 16 руб. въ мѣсяць. Акимъ говорилъ своему брату *сы* и въ прощенные дни со всѣмъ своимъ семействомъ кланялся ему въ ноги. Но года за три до своей смерти Иванъ Ивановичъ приблизилъ его къ себѣ, простилъ и приказалъ нанять для Анютки гувернантку.

Ворота подъ домомъ Гущина темныя, глубокия, вонючія; слышно, какъ около стѣнъ покашливаютъ мужчины. Оставивъ сани на улицѣ, Анна Акимовна вошла во дворъ и спросила тутъ, какъ пройти въ 46-й номеръ къ чиновнику Чаликову. Ее направили къ крайней двери направо, въ третій этажъ. И во дворѣ, и около крайней двери, даже на лѣстницѣ былъ тотъ же противный запахъ, что и подъ воротами. Въ дѣтствѣ, когда отецъ Анны Акимовны былъ простымъ рабочимъ, она жила въ такихъ домахъ, и потомъ, когда обстоятельства измѣнились, часто посѣщала ихъ въ качествѣ благотворительницы; узкая каменная лѣстница съ высокими ступенями, грязная, прерываемая въ каждомъ этажѣ площадкою; засаленный фонарь въ пролетѣ; смрадъ, на площадкахъ около дверей корыта, горшки, ломотья,—все это было знакомо ей уже давнымъ-давно... Одна дверь была открыта, и въ нее видно было, какъ на столахъ сидѣли портные-евреи въ шапкахъ и шили. На лѣстницѣ Аннѣ Акимовнѣ встрѣчались люди, но ей и въ голову не приходило, что ее могутъ обидѣть. Рабочихъ и мужиковъ, трезвыхъ и пьяныхъ, она такъ же мало боялась, какъ своихъ интеллигентныхъ знакомыхъ.

Въ квартирѣ № 46 сѣней не было, и начиналась она съ кухни. Обыкновенно въ квартирахъ фабричныхъ и мастеровыхъ пахнетъ лакомъ, смолой, кожей, дымомъ, смотря по тому, чѣмъ занимается хозяинъ; квартиры же обѣднѣвшихъ дворянъ и чиновниковъ узнаются по промозглому запаху какой-то кислоты. Этотъ противный запахъ обдалъ Анну Акимовну и теперь, едва она переступила порогъ. Въ углу за столомъ сидѣлъ спиной къ двери какой-то мужчина въ черномъ сюртукѣ, должно-быть, самъ Чаликовъ, и съ нимъ пять дѣвочекъ. Старшей, широколицей и худенькой, съ гребенкой въ волосахъ, было на видъ лѣтъ пятнадцать, а младшей, пухленькой, съ волосами какъ у ежа,—не больше трехъ. Всѣ шестеро ѣли. Около печи, съ ухватомъ въ рукѣ, стояла маленькая, очень худая, съ желтымъ лицомъ жепщина въ юбкѣ и бѣлой кофточкѣ, беременная.

— Не ожидалъ я отъ тебя, Лизочка, что ты такая непослушная,—говорилъ мужчина съ укоризной.—Ай, ай, какъ стыдно! Значить, ты хочешь, чтобы папочка тебя высѣкъ, да?

Увидѣвъ на порогѣ незнакомую даму, топчая женщина вздрогнула и оставила ухватъ.

— Василий Никитичъ!—окликнула она не сразу, глухимъ голосомъ, какъ будто не вѣря своимъ глазамъ.

Мужчина оглянулся и вскочилъ. Это былъ костлявый, узкоплечій человекъ, со впалыми висками и съ плоскою грудью. Глаза у него были маленькіе, глубокіе, съ темными кругами, носъ длинный, птичій и немножко покривившійся вправо, ротъ широкій. Борода у него двоилась, усы онъ брилъ и отъ этого походилъ больше на выѣздного лакея, чѣмъ на чиновника.

— Здѣсь живетъ господинъ Чаликовъ? — спросила Анна Акимовна.

— Точно такъ-съ, — строго отвѣтилъ Чаликовъ, но тотчасъ же узналъ Анну Акимовну и вскрикнулъ: — Госпожа Глаголева! Анна Акимовна!—и вдругъ задохнулся и всплес-

нуль руками, какъ бы отъ страшнаго испуга. — Благодарительница!

Со стономъ онъ подбѣжалъ къ ней и, мыча, какъ парализный, — на бородѣ у него была капуста, и пахло отъ него водкой, — припалъ лбомъ къ муфтѣ и какъ бы замеръ.

— Ручку! Ручку святую! — проговорилъ онъ, задыхаясь. — Сонъ! Прекрасный сонъ! Дѣти, разбудите меня!

Онъ повернулъ къ столу и сказалъ рыдающимъ голосомъ, потрясая кулаками:

— Провидѣніе услышало насъ! Пришла наша избавительница, нашъ ангелъ! Мы спасены! Дѣти, на колѣни! На колѣни!

Госпожа Чаликова и дѣвочки, кромѣ самой младшей, стали для чего-то быстро убирать со стола.

— Вы писали, что ваша жена очень больна, — сказала Анна Акимовна, и ей стало совѣстно и досадно.

«Полторы тысячи я ему не дамъ», подумала она.

— Вотъ она, моя жена! — сказалъ Чаликовъ тонкимъ женскимъ голосомъ, какъ будто слезы ударили ему въ голову. — Вотъ она, несчастная! Одною ногой въ могилѣ! Но мы, сударыня, не ропщемъ. Лучше умереть, чѣмъ такъ жить. Умирай, несчастная!

«Что онъ ломается? — подумала Анна Акимовна съ досадой. — Сейчасъ видно, что привыкъ имѣть дѣло съ купцами».

— Говорите со мной, пожалуйста, по-человѣчески, — сказала она. — Я комедій не люблю.

— Да, сударыня, пятеро осиротѣвшихъ дѣтей вокругъ гроба матери, при погребальныхъ свѣчахъ — это комедія! Эхъ! — сказалъ Чаликовъ съ горечью и отвернулся.

— Замолчи! — шепнула жена и дернула его за рукавъ. — У насъ, сударыня, не прибрано, — сказала она, обращаясь къ Аннѣ Акимовнѣ, — ужъ вы извините... Дѣло семейное, сами изволите знать. Въ тѣснотѣ, да не въ обидѣ.

«Не дамъ я имъ полторы тысячи», опять подумала Анна Акимовна.

И чтобы поскорѣе отдѣлаться отъ этихъ людей и отъ кислаго запаха, она уже достала портмонэ и рѣшила оставить рублей 25—не больше; но ей вдругъ стало совѣстно, что она ѣхала такъ далеко и безпоконла людей изъ-за пустяковъ.

— Если вы дадите мнѣ бумаги и черниль, то я сейчасъ напишу доктору, моему хорошему знакомому, чтобы онъ побывалъ у васъ,—сказала она, краснѣя.—Докторъ очень хорошій. А на лѣкарства я вамъ оставлю.

Госпожа Чаликова бросилась стирать со стола.

— Здѣсь не чисто! Куда ты? — прошипѣлъ Чаликовъ, глядя на нее со злобой.—Проводи къ жильцу! Пожалуйте, сударыня, къ жильцу, осмѣлюсь просить васъ, — обратился онъ къ Аннѣ Акимовнѣ.—Тамъ чисто.

— Осипъ Ильичъ не велѣлъ ходить въ его комнату! — сказала строго одна изъ дѣвочекъ.

Но Анну Акимовну уже повели изъ кухни черезъ узкую проходную комнату, межъ двухъ кроватей; видно было по расположенію постелей, что на одной спали двое вдоль, а на другой—трое поперекъ. Въ слѣдующей затѣмъ комнатѣ жильца, въ самомъ дѣлѣ, было чисто. Опрятная постель съ краснымъ шерстянымъ одѣяломъ, подушка въ бѣлой наволочкѣ, даже башмачокъ для часовъ, столъ, покрытый пеньковою скатертью, а на немъ чернильница молочнаго цвѣта, перья, бумага, фотографіи въ рамочкахъ, все какъ слѣдуетъ, и другой столъ, черный, на которомъ въ порядкѣ лежали часовые инструменты и разобранные часы. На стѣнахъ были развѣшаны молотки, клещи, буравчики, стамезки, плоскозубцы и т. п., и висѣло трое стѣнныхъ часовъ, которые тикали; одни часы громадные, съ толстыми гириями, какіе бываютъ въ трактирахъ.

Принимаясь за письмо, Анна Акимовна увидѣла передъ

собой на столъ портретъ отца и свой портретъ. Это ее удивило.

— Кто здѣсь у васъ живетъ?—спросила она.

— Жилецъ, сударыня, Пименовъ. Онъ у васъ на заводѣ служить.

— Да? А я думала, часовой мастеръ.

— Часами онъ занимается частнымъ образомъ, между дѣломъ. Любитель-сѣ.

Послѣ нѣкотораго молчанія, когда слышно было только, какъ тикали часы и скрипѣло перо по бумагѣ, Чаликовъ вздохнулъ и сказалъ насмѣшливо, съ негодованіемъ:

— Правда говорится: изъ благородства да изъ чиновъ шубы себѣ не сошьешь. Кокарда на лбу и благородный титулъ, а кушать нечего. По-моему, если челоуѣкъ низкаго званія помогаетъ бѣднымъ, то онъ гораздо благороднѣе какаго-нибудь Чаликова, который погрязъ въ нищетѣ и пороѣ.

Чтобы польстить Аннѣ Акимовнѣ, онъ сказалъ еще нѣсколько фразъ, обидныхъ для своего благородства, и было ясно, что онъ унижалъ себя потому, что считалъ себя выше ея. Она между тѣмъ кончила письмо и запечатала. Письмо будетъ брошено, а деньги пойдутъ не на лѣченіе,—это она знала, но все-таки положила на столъ 25 рублей и, подумавъ, прибавила еще двѣ красныхъ бумажки. Тощая желтая рука госпожи Чаликовой, похожая на куриную лапку, мелькнула у нея передъ глазами и сжала деньги въ кулачокъ.

— Это вы изволили дать на лѣкарства,—сказалъ Чаликовъ дрогнувшимъ голосомъ,—но протяните руку помощи также мнѣ... и дѣтямъ,—добавилъ онъ и всхлипнулъ,—дѣтямъ несчастнымъ! Не за себя боюсь, за дочерей боюсь! Гидры разврата боюсь!

Стараясь открыть портмонѣ, въ которомъ испортился замочекъ, Анна Акимовна сконфузилась, покраснѣла. Ей было

стыдно, что люди стоятъ передъ ней, смотрятъ ей въ руки и ждутъ и, вѣроятно, въ глубинѣ души смѣются надъ ней. Въ это время кто-то вошелъ въ кухню и застучалъ ногами, стяхивая снѣгъ.

— Жилецъ пришелъ, — сказала госпожа Чаликова.

Анна Акимовна еще больше сконфузилась. Ей не хотѣлось, чтобы кто-нибудь изъ заводскихъ засталъ ее въ этомъ смѣшномъ положеніи. Жилецъ, какъ нарочно, вошелъ въ свою комнату въ ту самую минуту, когда она, сломавши наконецъ замочекъ, подавала Чаликову нѣсколько бумажекъ, а Чаликовъ мычалъ, какъ параличный, и искалъ губами, куда бы поцѣловать ее. Въ жильцѣ она узнала рабочаго, который когда-то въ кузнечномъ отдѣленіи гремѣлъ передъ ней желѣзнымъ листомъ и давалъ ей объясненія. Очевидно, онъ пришелъ теперь прямо съ завода: лицо у него было смуглое отъ копоти, и одна щека около носа запачкана сажей. Руки совсѣмъ черныя, и блуза безъ пояса лоснилась отъ масляной грязи. Это былъ мужчина лѣтъ тридцати, средняго роста, черноволосый, плечистый и, повидимому, очень сильный. Анна Акимовна съ перваго же взгляда опредѣлила въ немъ старшаго, получающаго не меньше 35 руб. въ мѣсяцъ, строгаго, крикливаго, бьющаго рабочихъ по зубамъ, и это видно было по его манерѣ стоять, по той позѣ, какую онъ невольно вдругъ принялъ, увидѣвъ у себя въ комнатѣ даму, а главное потому, что у него были брюки на выпускъ, карманы на груди и острая, красиво подстриженная бородка. Покойный отецъ, Акимъ Ивановичъ, былъ братомъ хозяина, а все-таки боялся старшихъ, въ родѣ этого жильца, и заискивалъ у нихъ.

— Извините, мы безъ васъ распорядились тутъ, — сказала Анна Акимовна.

Рабочій смотрѣлъ на нее съ удивленіемъ, конфузливо улыбался и молчалъ.

— Вы, сударыня, погромче... — тихо сказалъ Чаликовъ. —



Господинъ Пименовъ, когда приходятъ по вечерамъ съ завода, бываютъ туги на ухо.

Но Анна Акимовна была уже рада, что ей тутъ больше нечего дѣлать, кивнула головой и быстро вышла. Пименовъ пошелъ проводить ее.

— Вы давно у насъ служите?—спросила она громко, не оборачиваясь къ нему.

— Съ девяти лѣтъ. Я еще при нашемъ дяденькѣ опредѣлился.

— Какъ, однако, давно! Вотъ дядя и отецъ знали всѣхъ служащихъ, а я почти никого не знаю. Я васъ видѣла и раньше, но не знала, что ваша фамилія Пименовъ.

Анна Акимовна чувствовала желаніе оправдаться передъ нимъ, сдѣлать видъ, что давала она сейчасъ деньги не серьезно, а шутя.

— Охъ, эта бѣдность! — вздохнула она. — Творимъ мы добрыя дѣла и въ праздники, и въ будни, а все толку нѣтъ. Миѣ кажется, что помогать такимъ, какъ этотъ Чаликовъ, бесполезно.

— Конечно, бесполезно,—согласился Пименовъ.—Сколько ни дайте, все пропьеть. А теперь всю ночь мужъ и жена будутъ отнимать другъ у дружки и драться,—добавилъ онъ и засмѣялся.

— Да, надо сознаться, наша филантропія бесполезна, скучна и смѣшна. Но, вѣдь, тоже, согласитесь, нельзя сидѣть сложа руки, надо дѣлать что-нибудь. Напримѣръ, что дѣлать съ Чаликовыми?

Она обернулась къ Пименову и остановилась, ожидая отъ него отвѣта; онъ тоже остановился и медленно и молча пожалъ плечами. Очевидно, онъ зналъ, что дѣлать съ Чаликовыми, но это было такъ грубо и нечеловѣчно, что онъ не рѣшался даже сказать. И Чаликовы были для него до такой степени не интересны и ничтожны, что черезъ мгновеніе онъ уже не помнилъ о нихъ; глядя въ глаза Аннѣ

Акимовнѣ, онъ улыбался отъ удовольствія, и выраженіе у него было такое, какъ будто ему снилось что-то очень хорошее. Анна Акимовна только теперь, стоя къ нему близко, по его лицу, особенно по глазамъ, увидала, какъ онъ утомленъ и какъ ему хочется спать.

«Вотъ ему бы дать тѣ полторы тысячи!» подумала она, но эта мысль почему-то показалась ей несообразной и оскорбительной для Пименова.

— У васъ небось все тѣло болить отъ работы, а вы меня провожаете, — сказала она, спускаясь по лѣстницѣ. — Идите домой.

Но онъ не разслышалъ. Когда выходили на улицу, онъ забѣжалъ впередъ, отстегнулъ у саней полсть и, подсаживая Анну Акимовну, сказалъ:

— Благополучно праздника встрѣтить!

## II.

### У т р о.

— Ужъ давно отзвонили! Наказаніе Господне, и къ шапочному разбору не поспѣете! Вставайте!

— Двѣ лошади бѣгутъ, бѣгутъ... — сказала Анна Акимовна и проснулась; передъ ней со свѣчой въ рукахъ стояла ея горничная, рыжая Маша. — Что? Что тебѣ?

— Обѣдня уже отошла! — говорила Маша съ отчаяньемъ. — Третій разъ бужу! По мнѣ хоть до вечера спите, но вѣдь сами приказали будить!

Анна Акимовна приподнялась на локоть и взглянула на окно. На дворѣ еще было совсѣмъ темно, и только нижній край оконной рамы бѣлѣлъ отъ снѣга. Слышался густой низкій звонъ, но это звонили не въ приходѣ, а гдѣ-то дальше. Часы на столикѣ показывали три минуты седьмого.

— Хорошо, Маша... Черезъ три минутки... — сказала

Анна Акимовна умоляющимъ голосомъ и укрылась съ головой.

Она представила себѣ снѣгъ у крыльца, сани, темное небо, толпу въ церкви и запахъ можжевельника, и ей стало жутко, но она все-таки рѣшила, что тотчасъ же встанетъ и поѣдетъ къ ранней обѣднѣ. И пока она грѣлась въ постели и боролась со сномъ, который, какъ нарочно, бываетъ удивительно сладокъ, когда не велятъ спать, и пока ей мерещился то громадный садъ на горѣ, то Гущинскій домъ, ее все время беспокоила мысль, что ей надо сію минуту вставать и ѣхать въ церковь.

Но когда она встала, было уже совсѣмъ свѣтло, и часы показывали половину десятаго. За ночь навалило много новаго снѣгу, деревья одѣлись въ бѣлое, и воздухъ былъ необыкновенно свѣтелъ, прозраченъ и нѣженъ, такъ что когда Анна Акимовна поглядѣла въ окно, то ей, прежде всего, захотѣлось вздохнуть глубоко-глубоко. А когда она умывалась, остатокъ давняго дѣтскаго чувства, — радость, что сегодня Рождество, вдругъ шевельнулась въ ея груди, и послѣ этого стало легко, свободно и чисто на душѣ, какъ будто и душа умылась или окунулась въ бѣлый снѣгъ. Вошла Маша, разряженная и крѣпко затянутая въ корсетъ, и поздравила съ праздникомъ; потомъ она долго причесывала и помогала надѣвать платье. Запахъ и ощущение новаго, пышнаго, прекраснаго платья, его легкій шумъ и запахъ свѣжихъ духовъ возбуждали Анну Акимовну.

— Вотъ и святки,—сказала она весело Машѣ.—Теперь будемъ гадать.

— Мнѣ лѣтошній годъ вышло—за старикомъ быть. Три раза такъ выходило.

— Ну, Богъ милостивъ.

— А что жъ, Анна Акимовна? Я такъ думаю, чѣмъ ни то, ни се, ни два, ни полтора, такъ ужъ лучше за ста-

рика, — сказала печально Маша и вздохнула. — Мнѣ ужъ двадцать-первый годъ пошелъ, не шутка.

Всѣмъ въ домѣ было извѣстно, что рыжая Маша была влюблена въ лакея Мишеньку, и вотъ уже три года, какъ продолжалась эта глубокая, страстная, но безнадежная любовь.

— Ну, полно пустяки говорить, — утѣшила Анна Акимовна. — Мнѣ скоро тридцать лѣтъ, а я все собираюсь за молодого.

Пока хозяйка одѣвалась, Мишенька, въ новомъ фракѣ и въ лакированныхъ ботинкахъ, ходилъ по залѣ и гостиной и ждалъ, когда она выйдетъ, чтобы поздравить ее съ праздникомъ. Онъ ходилъ всегда какъ-то особенно, мягко и нѣжно ступая; глядя при этомъ на его ноги, руки и наклонъ головы, можно было подумать, что онъ это не просто ходитъ, а учится танцевать первую фигуру кадрили. Несмотря на свои тонкіе бархатные усики и красивую, нѣсколько даже шулерскую наружность, онъ былъ степенень, разсудителень и набоженъ, какъ старикъ. Молился онъ Богу всегда съ земными поклонами и любилъ кадить у себя въ комнатѣ ладаномъ. Богатыхъ и знатныхъ онъ уважалъ и благоговѣлъ предъ ними, бѣдняковъ же и всякаго рода просителей презиралъ всею силою своей лакейски-чистоплотной души. Подъ крахмальною сорочкой у него была еще фланелевая, которую онъ носилъ зимою и лѣтомъ, крѣпко дорожа своимъ здоровьемъ; уши были заткнуты ватой.

Когда черезъ залу проходила Анна Акимовна съ Машей, онъ склонилъ голову внизъ и нѣсколько на бокъ и сказалъ своимъ пріятнымъ, медовымъ голосомъ:

— Честъ имѣю поздравить васъ, Анна Акимовна, съ высокаторжественнымъ праздникомъ Рождества Христова.

Анна Акимовна дала ему пять рублей, а бѣдная Маша обомлѣла. Его праздничный видъ, поза, голосъ и то, что

онъ сказалъ, поразили ее своею красотой и изяществомъ; продолжая идти за своею барышней, она уже ни о чемъ не думала, ничего не видѣла и только улыбалась то блаженно, то горько.

Верхній этажъ въ домѣ назывался чистой, или благородной половиной и хоромами, нижнему же, гдѣ хозяйничала тетушка Татьяна Ивановна, было присвоено названіе торговой, стариковской или просто бабьей половины. Въ первой принимали обыкновенно благородныхъ и образованныхъ, а во второй — кого попроче и личныхъ знакомыхъ тетушки. Красивая, полная, здоровая, еще молодая и свѣжая, чувствуя на себѣ роскошное платье, отъ котораго, казалось ей, во всѣ стороны шло сіяніе, Анна Акимовна спустилась въ нижній этажъ. Тутъ ее встрѣтили упреками, что она, образованная, Бога забыла, проспала обѣдню и не приходила внизъ разговляться, и всѣ всплескивали руками и искренно говорили, что она красивая, необыкновенная, и она вѣрила этому, смѣлась, цѣловалась и совала кому рубль, кому три или пять, смотря по человѣку. Ей нравилось внизу. Куда ни взглянешь, — кіоты, образа, лампады, портреты духовныхъ особъ, пахнетъ монахами, въ кухнѣ стучать ножами, и уже понесся по всѣмъ комнатамъ запахъ чего-то скоромнаго, очень вкуснаго. Желтые крашеные полы сіяютъ, и отъ дверей къ переднимъ угламъ идутъ дорожками узкіе ковры съ ярко-синими полосами, а солнце такъ и рѣжетъ въ окна.

Въ столовой сидятъ какія-то чужія старушки; въ комнатахъ Варварушки тоже старушки и съ ними глухонѣмая дѣвица, которая все стыдится чего-то и говорить: «блы, блы...» Двѣ тощенькія дѣвочки, взятыя изъ пріюта на праздники, подошли къ Аннѣ Акимовнѣ, чтобы поцѣловать ручку, и остановились передъ ней, пораженные роскошью ея платья; она замѣтила, что одна изъ дѣвочекъ косенькая, и среди легкаго праздничнаго настроенія у нея вдругъ

болѣзненно сжалось сердце отъ мысли, что эту дѣвочкой будутъ пренебрегать женихи, и она никогда не выйдетъ замужъ. Въ комнатѣ у кухарки Агаѣюшки за самоваромъ сидѣло человѣкъ пять громадныхъ мужиковъ въ новыхъ рубахахъ, но это были не рабочіе съ завода, а кухонная родня. Увидѣвъ Анну Акимовну, мужики вскочили съ мѣстъ и изъ приличія перестали жевать, хотя у всѣхъ были полные рты; въ комнату вошелъ изъ кухни поваръ Степанъ, въ бѣломъ колпакѣ и съ ножомъ въ рукѣ, и поздравилъ: пришли дворники въ валенкахъ и тоже поздравили. Выглянулъ водовозъ съ сосульками на бородѣ, но не посмѣлъ войти.

Анна Акимовна ходила по комнатамъ, а за нею весь штатъ: тетушка, Варварушка, Никандровна, швейка Марѳа Петровна, нижняя Маша. Варварушка, худая, тонкая, высокая, выше всѣхъ въ домѣ, одѣтая во все черное, пахнущая кипарисомъ и кофеемъ, въ каждой комнатѣ крестилась на образа и кланялась въ поясъ, и при взглядѣ на нее почему-то всякій разъ приходило на память, что она уже приготовила себѣ къ смертному часу саванъ, и что въ томъ же сундукѣ, гдѣ лежитъ этотъ саванъ, спрятаны также ся выигрышные билеты.

— Ты, Анютинька, будь милостива ради праздника, — сказала она, отворяя дверь въ кухню. — Прости его, ужъ Богъ съ нимъ! Ну ихъ!

Среди кухни на колѣняхъ стоялъ кучеръ Пантелей, уволенный за пьянство еще въ ноябрѣ. Это былъ добрый человѣкъ, но во хмелю онъ бывалъ бунтъ и никакъ не могъ уснуть, а все ходилъ въ корпуса и кричалъ тамъ угрожающимъ тономъ: «Мнѣ все извѣстно!» Теперь по его брыластому, опухшему лицу и по глазамъ, налитымъ кровью, видно было, что съ ноября до праздника онъ пилъ не переставая.

— Простите, Анна Акимовна! — проговорилъ онъ хрип-

лымъ голосомъ, стукнувъ лбомъ о полъ и показывая свой бычій затылокъ.

— Тебя тетушка уволила, у нея и проси.

— Что тетушка?—говорила тетушка, входя въ кухню и тяжело дыша; она была очень толста, и на ея груди могли бы помѣститься самоваръ и подносъ съ чашками. — Что тамъ еще тетушка? Ты тутъ хозяйка, ты и распорядься, а по мнѣ ихъ, подлецовъ, хоть бы вовсе не было. Ну, вставай, боровъ! — крикнула она на Пантелея, не вытерпѣвъ.—Пошелъ съ глазъ! Послѣдній разъ тебя прощаю, а случится опять грѣхъ—не проси милости!

Затѣмъ пошли въ столовую пить кофе. Но едва сѣли за столъ, какъ опрOMETRY вбѣжала нижняя Маша и проговорила съ ужасомъ: «Пѣвчіе!» — и побѣжала назадъ. Послышались сморканье, низкій басовый кашель и шумъ шаговъ, похожій на то, какъ будто въ переднюю около залы вводили подкованныхъ лошадей. На полминуты все затихло... Пѣвчіе вскрикнули внезапно и такъ громко, что всѣ вздрогнули. Пока они пѣли, пріѣхалъ богаделенскій батюшка, а съ нимъ дьяконъ и дьячокъ. Надѣвая епитрахиль, батюшка медленно разсказалъ, что ночью, когда звонили къ утрени, шель снѣгъ и было не холодно, а къ утру морозъ сталъ крѣпчать, Богъ съ нимъ, и теперъ, должно быть, градусовъ двадцать.

— Многие однако утверждаютъ, что зима для человѣка здоровѣе, чѣмъ лѣто,—сказалъ дьяконъ, но тотчасъ же придалъ своему лицу суровое выраженіе и запылъ вслѣдъ за священникомъ: «Рождество Твое, Христе Боже нашъ...»

Вскорѣ пріѣхалъ батюшка изъ чернорабочей больницы съ дьячкомъ, потомъ сестры изъ общины, дѣти изъ пріюта, и пѣніе слышалось почти непрерывно. Пѣли, закусывали и уходили.

Пришли съ поздравленіемъ служащіе на заводѣ, человѣкъ двадцать. Тутъ были одни только старшіе: механики, ихъ

помощники, модельщики, бухгалтеръ и проч.,— всѣ благообразные, въ новыхъ черныхъ сюртукахъ. Все это были молодцы, точно на подборъ, каждый зналъ себѣ цѣну, т.-е. зналъ, что, потеряй онъ сегодня мѣсто, завтра же его съ удовольствіемъ пригласятъ на другой заводъ. Повидимому, тетушку они любили, такъ какъ держали себя при ней свободно и даже курили, а бухгалтеръ, когда толпой подходили къ закускѣ, взялъ ее за широкую талію. Развязны они были отчасти и оттого, быть можетъ, что Варварушка, имѣвшая при старикахъ большую власть и слѣдившая за нравственностью служащихъ, теперь не имѣла въ домѣ никакого значенія, а, быть можетъ, и оттого, что многіе изъ нихъ еще помнили время, когда тетушка Татьяна Ивановна, которую братья держали въ строгости, была одѣта простою бабой, на манеръ Агаебюшки, и когда Анна Акимовна бѣгала по двору около корпусовъ, и всѣ звали ее Анюткой.

Служащіе кушали, говорили и посматривали съ недоумѣніемъ на Анну Акимовну: какъ она выросла, какъ похорошѣла! Но эта изящная, воспитанная гувернантками и учителями дѣвушка была уже чужая для нихъ, непонятная, и они невольно держались больше около тетушки, которая говорила имъ *ты*, угощала ихъ непрерывно и, чокаясь съ ними, уже выпила двѣ рюмки рябиновой. Анна Акимовна всегда боялась, чтобы не подумали про нее, что она гордая, выскочка или ворона въ павлиньихъ перьяхъ; и теперь, пока служащіе толпились около закуски, она не выходила изъ столовой и вмѣшивалась въ разговоръ. У своего вчерашняго знакомаго Пименова она спросила:

— Отчего у васъ въ комнатѣ такъ много часовъ?

— Я въ починку беру, — отвѣтилъ онъ. — Занимаюсь этакъ между дѣломъ, по праздникамъ, или когда не спится.

— Значить, если у меня испортятся часы, то я могу отдать вамъ ихъ въ починку? — спросила Анна Акимовна, смѣясь.



— Что жъ? Я съ удовольствіемъ,—сказаль Пименовъ, и на лицѣ его выразилось умиленіе, когда она, сама не зная зчѣмъ, отцѣпила отъ корсажа свои великолѣпные часики и подала ему; онъ молча осмотрѣлъ ихъ и возвратилъ.— Что жъ? Я съ удовольствіемъ,—повторилъ онъ.—Я уже не починаю карманныхъ часовъ. У меня зрѣніе слабое, и докторъ запретилъ мнѣ заниматься мелкой работой. Но для васъ я могу сдѣлать исключеніе.

— Доктора врутъ,—сказаль бухгалтеръ; всѣ засмѣялись.— Ты не вѣрь имъ,—продолжалъ онъ, польщенный этимъ смѣхомъ.—Въ прошломъ году, въ посту, изъ барабана зубъ выскочилъ и угораздилъ прямо въ старика Калмыкова, въ голову, такъ что мозгъ видать было, и докторъ сказалъ, что помретъ; одначе, до сихъ поръ живъ и работаетъ, только послѣ этой штуки заикаться сталъ.

— Врутъ-то, врутъ доктора, да не очень,—вздыхнула тетушка.—Петръ Андреичъ покойничекъ потерялъ глаза. Такъ же вотъ, какъ ты, день денской работаль на заводѣ около горячей печки и ослѣпъ. Глаза не любятъ жара. Ну, да что толковать?—встрепенулась она.—Пойдемъ выпьемъ! Съ праздничкомъ васъ поздравляю, голубчики мои. Ни съ кѣмъ не пью, а съ вами выпью, грѣшница. Дай Богъ!

Аннѣ Акимовнѣ казалось, что Пименовъ послѣ вчерашняго презираетъ ее, какъ филантропку, но очарованъ ею, какъ женщиной. Она смотрѣла на него и находила, что онъ держится очень мило и одѣтъ прилично. Правда, у сюртука немного рукава коротки и, кажется, талія высокая и брюки не модныя, не широкія, но зато галстукъ повязанъ со вкусомъ и небрежно, и не такъ ярко, какъ у другихъ. И, повидимому, онъ добродушный человекъ, такъ какъ покорно кушаетъ все, что кладетъ ему на тарелку тетушка. Она вспомнила, какой онъ былъ вчера черный, и какъ ему хотѣлось спать, и это воспоминаніе почему-то растрогало ее.

Когда служащіе собрались уходить, Анна Акимовна по-

дала Пименову руку, ей хотѣлось сказать ему, чтобъ онъ какъ-нибудь запросто пришелъ посидѣть, но не сумѣла: какъ-то языкъ не послушался; и чтобы не подумали, что Пименовъ ей понравился, она и товарищамъ его подала руку.

Затѣмъ пришли ученики той школы, гдѣ она была попечительницей. Всѣ они были острижены и одѣты въ однообразныя сѣрыя блузы. Учитель, — высокий, еще безусый молодой человѣкъ съ красными пятнами на лицѣ, — замѣтно волнуясь, выстроилъ учениковъ въ ряды; мальчики заплѣли стройно, но рѣзкими, неприятными голосами. Директоръ завода, Назарычъ, лысый, остроглазый старовѣръ, никогда не ладилъ съ учителями, но этого, который теперь суетливо помахивалъ рукой, онъ презиралъ и ненавидѣлъ, самъ но зная за что. Онъ обращался съ нимъ высокомерно и грубо, задерживалъ жалованье и вмѣшивался въ преподаваніе, и, чтобы окончательно выжить его, недѣли за двѣ до праздника опредѣлилъ въ школу сторожемъ дальняго родственника своей жены, пьянаго мужика, который не слушался учителя и при ученикахъ говорилъ ему дерзости.

Аннѣ Акимовнѣ все это было извѣстно, но помочь она не могла, такъ какъ сама боялась Назарыча. Теперь ей хотѣлось, по крайней мѣрѣ, обласкать учителя, сказать ему, что она имъ очень довольна, но когда послѣ пѣнія онъ сталъ сильно конфузиться и извиняться въ чемъ-то, и когда те-тушка, говоря ему *ты*, фамиллярно потащила его къ столу, ей стало скучно и неловко, и она, приказавъ дать дѣтямъ гостинцевъ, пошла къ себѣ наверхъ.

— Въ этихъ праздничныхъ порядкахъ въ сущности много жестокаго, — сказала она, немного погодя, какъ бы про себя, глядя въ окно на мальчиковъ, какъ они толпою шли отъ дома къ воротамъ и на ходу, пожимаясь отъ холода, надѣвали свои шубы и пальто. — Въ праздники хочется отдыхать, сидѣть дома съ родными, а бѣдные мальчики, учитель, слу-

жащіе обязаны почему-то идти по морозу, потому поздравлять, выражать свое почтеніе, конфузиться...

Мишенька, стоявшій тутъ же въ залѣ у дверей и слышавшій это, сказалъ:

— Не отъ насъ это пошло, не нами и кончится. Конечно, я необразованный человѣкъ, Анна Акимовна, но такъ понимаю, бѣдные должны всегда почитать богатыхъ. Сказано: Богъ шельму мѣтитъ. Въ острогахъ, въ ночлежныхъ домахъ и въ кабакахъ всегда только одни бѣдные, а порядочные люди, замѣтьте, всегда богатые. Про богатыхъ сказано: бездна бездну призываетъ.

— Вы, Миша, всегда выражаетесь какъ-то скучно и непонятно, — сказала Анна Акимовна и пошла въ другой конецъ залы.

Быль только двѣнадцатый часъ въ началѣ. Тишина громаднхъ комнатъ, нарушаемая только изрѣдка пѣніемъ, доносившимся изъ нижняго этажа, нагоняла зѣвоту. Бронза, альбомы и картины на стѣнахъ, изображавшія море съ корабликами, лугъ съ коровками и рейнскіе виды, были до такой степени не новы, что взглядъ только скользилъ по нимъ и не замѣчалъ ихъ. Праздничное настроеніе стало уже прискучать. Анна Акимовна попрежнему чувствовала себя красивою, доброю и необыкновенною, но уже ей казалось, что это никому не нужно; казалось ей, что и это дорогое платье она надѣла неизвѣстно для кого и для чего. И ее уже, какъ это бывало во всѣ праздники, стали томить одиночество и неотвязная мысль, что ея красота, здоровье, богатство — одинъ лишь обманъ, такъ какъ она лишняя на этомъ свѣтѣ, никому она не нужна, никто ее не любитъ. Она прошлась по всѣмъ комнатамъ, напѣвая и поглядывая въ окна. Остановившись въ залѣ, она не могла удержаться, чтобы не заговорить съ Мишенькой.

— Не знаю, Миша, что вы о себѣ думаете, — сказала она и вздохнула. — Право, за это даже Богъ накажетъ.

— Вы о чемъ-сь?

— Вы знаете, о чемъ. Извините, что я вмѣшиваюсь въ ваши личныя дѣла, но мнѣ кажется, вы сами изъ упрямства портите себѣ жизнь. Согласитесь, вамъ теперь какъ разъ самая пора жениться, а она дѣвушка прекрасная, достойная. Лучше ея вы никогда не найдете. Красавица, умная, кроткая, преданная... А наружность!.. Принадлежи она къ нашему, или высшему кругу, въ нее влюблялись бы за одни чудные рыжіе волосы. Посмотрите, какъ у нея волосы подходятъ къ цвѣту лица. Ахъ, Боже мой, вы ничего не понимаете и сами не знаете, что вамъ нужно,—сказала съ горечью Анна Акимовна, и слезы выступили у нея на глазахъ.—Бѣдная дѣвочка, мнѣ ее такъ жалко! Я знаю, вы хотите взять съ деньгами, но я вамъ уже говорила: я за Машей дамъ приданое.

Свою будущую супругу Мишенька рисовалъ въ воображеніи не иначе, какъ въ видѣ высокой, полной, солидной и благочестивой женщины съ походкой какъ у павы и почему-то непремѣнно съ длинною шалью на плечахъ, а Маша худа и тонка, стянута въ корсетъ, и походка у нея мелкая, а главное, она была слишкомъ соблазнительна и подчасъ сильно нравилась Мишенькѣ, но это, по его мнѣнію, годилось не для брака, а лишь для дурного поведенія. Когда Анна Акимовна пообѣщала дать приданое, то онъ нѣкоторое время колебался; но какъ-то бѣдный студентъ въ коричневомъ пальто поверхъ мундира, приходившій къ Аннѣ Акимовнѣ съ письмомъ, не могъ удержаться и, восхищенный, обнялъ Машу внизу около вѣшалокъ, и она слегка вскрикнула; Мишенька, стоя наверху на лѣстницѣ, видѣлъ это и съ той поры сталъ питать къ Машѣ брезгливое чувство. Бѣдный студентъ! Кто знаетъ, если бы ее обнялъ богатый студентъ или офицеръ, то послѣдствія были бы другія...

— Отчего же вы не хотите?—спрашивала Анна Акимовна.—Чего вамъ еще нужно?

Мишенька молчалъ и неподвижно глядѣлъ на кресло, поднимая брови.

— Вы любите другую?

Молчаніе. Вошла рыжая Мама съ письмами и визитными карточками на подносѣ. Догадавшись, что разговоръ шель о ней, она покраснѣла до слезъ.

— Почтальоны приходили, — пробормотала она. — И тамъ пришелъ какой-то чиновникъ Чаликовъ и дожидается внизу. Говорить, что вы приказали ему зачѣмъ-то притти сегодня.

— Какая наглость! — разсердилась Анна Акимовна. — Я ему ничего не приказывала. Скажите, чтобъ онъ убирался, мени дома нѣтъ!

Послышался звонокъ. Это были священники изъ своего прихода; ихъ всегда принимали въ благородной половинѣ, то-есть наверху. Вслѣдъ за попами пришли съ визитомъ директоръ завода Назарычъ и фабричный докторъ, потомъ Мишенька доложилъ объ инспекторѣ народныхъ училищъ. Приемъ визитеровъ начался.

Когда выпадали свободныя минутки, Анна Акимовна садилась въ гостиной въ глубокое кресло и, закрывъ глаза, думала о томъ, что одиночество ея вполне естественно, такъ какъ она не вышла замужъ и никогда не выйдетъ. Но въ этомъ не она виновата. Сама судьба изъ простой рабочей обстановки, гдѣ, если вѣрить воспоминаніямъ, ей было такъ удобно и по себѣ, бросила ея въ эти громадныя комнаты, гдѣ она никакъ не можетъ придумать, что съ собой дѣлать, и не можетъ понять, для чего предъ ней мелькаетъ такъ много людей; то, что происходило теперь, казалось ей ничтожнымъ, ненужнымъ, такъ какъ ни на одну минуту не давало ей счастья и не могло дать.

«Вотъ влюбиться бы, — думала она, потягиваясь, и отъ одной этой мысли у нея около сердца становилось тепло. — И отъ завода избавиться бы...» мечтала она, воображая, какъ съ ея совѣсти сваливаются всѣ эти тяжелые корпуса,

баракы, школа... Затѣмъ она вспомнила отца и подумала, что если бы онъ жилъ дольше, то, навѣрное, выдалъ бы ее за простаго человѣка, на примѣръ, за Пименова. Приказалъ бы ей выходить за него, — вотъ и все. И это было бы хорошо: заводъ тогда попалъ бы въ настоящія руки.

Она представила себѣ его курчавую голову, смѣлый профиль, тонкія, насмѣшливыя губы и силу, страшную силу въ его плечахъ, рукахъ, въ груди и то утомленіе, съ какимъ онъ сегодня разсматривалъ ея часики.

— Что жъ? — проговорила она. — И ничего бы... Я бы вышла.

— Анна Акимовна! — позвалъ ее Мишенька, неслышно войдя въ гостиную.

— Какъ вы меня испугали! — сказала она, вздрогнувъ всѣмъ тѣломъ. — Что вамъ?

— Анна Акимовна! — повторилъ онъ, прикладывая руку къ сердцу и поднимая брови. — Вы — моя госпожа и благодѣтельница, и вы одна только можете наставлять меня насчетъ брака, такъ какъ вы для меня все равно, что мать родная... Но прикажите, чтобы внизу не смѣялись и не дразнили. Проходу не даютъ!

— А какъ они васъ дразнятъ?

— Говорятъ: Машенькинъ Мишенька.

— Фуй, какой вздоръ! — возмутилась Анна Акимовна. — Какъ вы всѣ глупы! Какой вы глупый, Миша! Какъ вы надѣли мнѣ! Я васъ видѣть не хочу!

### III.

#### Обѣдъ.

Какъ и въ прошломъ году, послѣдніе пріѣхали съ визитомъ дѣйствительный статскій совѣтникъ Крылинъ и извѣстный адвокатъ Лысевичъ. Пріѣхали они, когда на дворѣ становилось уже темно. Крылинъ, старикъ за 60 лѣтъ, съ

широкимъ ротомъ и съ сѣдыми бакенами около ушей, похожій лицомъ на рысь, былъ въ мундирѣ съ аннинскою лентой и въ бѣлыхъ штанахъ. Онъ долго держалъ руку Анны Акимовны въ своихъ обѣихъ рукахъ, глядѣлъ ей пристально въ лицо, шевелилъ губами и наконецъ сказалъ съ разстановкой, въ одну ноту:

— Я уважалъ вашего дядюшку... и батюшку, и пользовался ихъ расположеніемъ. Теперь считаю приятнымъ долгомъ, какъ видите, поздравить ихъ уважаемую наследницу... несмотря на болѣзнь и на значительное разстояніе... И весьма радъ видѣть васъ въ добромъ здоровьи.

Присяжный повѣренный Лысевичъ, высокій красивый блондинъ, съ легкою просѣдью въ вискахъ и бородѣ, отличается необыкновенно изящными манерами. Онъ входитъ съ перевальцемъ, кланяется будто нехотя и, разговаривая, поводитъ плечами, и все это съ лѣтливою граціей, какъ застоявшійся, избалованный конь. Онъ сытъ, чрезвычайно здоровъ и богатъ; разъ даже выигралъ сорокъ тысячъ, но скрылъ это отъ своихъ знакомыхъ. Любитъ хорошо покушать, особенно сыры, трюфели, тертую рѣдьку съ коноплянымъ масломъ, а въ Парижѣ, по его словамъ, онъ ѣлъ жаренныя немытыя кишки. Говоритъ онъ складно, плавно, безъ запинки, и лишь изъ кокетства иной разъ позволить себѣ запнуться и щелкнуть пальцами, какъ бы подбирая слово. Во все то, что ему приходится говорить на судѣ, онъ давно уже не вѣритъ, или, быть-можетъ, и вѣритъ, но не придаетъ этому никакой цѣны, — все это давно уже извѣстно, старо, обыкновенно... Онъ вѣритъ въ одно только оригинальное и необыденное. Прописная мораль въ оригинальной формѣ вызываетъ у него слезы. Обѣ записныя книжки у него исписаны необыкновенными выраженіями, которыя онъ вычитываетъ у разныхъ авторовъ, и когда ему нужно бываетъ отыскать какое-нибудь выраженіе, то онъ нервно роется въ обѣихъ книжкахъ и обыкновенно не на-

ходить. Еще покойный Акимъ Иванычъ въ веселую минуту изъ тщеславія пригласилъ его въ повѣренные по дѣламъ завода и назначилъ ему двѣнадцать тысячъ жалованья. Всѣ заводскія дѣла заключались въ двухъ-трехъ мелкихъ взысканіяхъ, которыя Лысевичъ поручалъ своимъ помощникамъ.

Анна Акимовна знала, что на заводѣ ему нечего дѣлать, но отказать ему не могла: не хватало мужества, да и привыкла къ нему. Онъ называлъ себя ея юрисконсультъ, а свое жалованье, за которымъ онъ присылалъ аккуратно каждое первое число, — суровою прозой. Аннѣ Акимовнѣ было извѣстно, что когда послѣ смерти отца продавали ея лѣсъ на шпалы, то Лысевичъ нажилъ на этой продажѣ больше пятнадцати тысячъ и подѣлился съ Назарычемъ. Узнавши объ этомъ обманѣ, Анна Акимовна горько заплакала, но потомъ привыкла.

Поздравивъ и поцѣловавъ обѣ руки, онъ смѣрилъ ее взглядомъ и поморщился.

— Не надо! — сказалъ онъ съ искреннимъ огорченіемъ. — Я говорилъ, милая, не надо!

— Вы о чемъ, Викторъ Николаичъ?

— Я говорилъ: не надо полнѣть. Въ вашемъ роду у всѣхъ несчастная склонность къ полнотѣ. Не надо, — повторилъ онъ умоляющимъ голосомъ и поцѣловалъ руку. — Вы такая хорошая! Вы такая славная! Вотъ, ваше превосходительство, — обратился онъ къ Крылину, — рекомендую: единственная въ свѣтѣ женщина, которую я когда-либо серьезно любилъ.

— Это неудивительно. Быть въ ваши годы знакомымъ съ Анной Акимовной и не любить ея — это невозможно.

— Я ее обожаю! — продолжалъ адвокатъ совершенно искренно, но со своею обычною лѣнливою граціей. — Я люблю, но не потому, что я мужчина, а она женщина; когда я съ ней, то кажется, что она какого-то третьяго пола, а я четвер-



таго, и мы уносимся вмѣстѣ въ область тончайшихъ цвѣтовыхъ оттѣнковъ и тамъ сливаемся въ спектръ. Лучше всѣхъ опредѣляетъ подобныя отношенія *Leconte de Lisle*. У него есть одно превосходное мѣсто, удивительное мѣсто.

Лысевичъ порылся въ одной книжкѣ, потомъ въ другой и, не найдя изреченія, успокоился. Стали говорить о погодѣ, объ оперѣ, о томъ, что скоро пріѣдетъ Дузе. Анна Акимовна вспомнила, что Лысевичъ и, кажется, Крылинъ въ прошломъ году обѣдали у нея, и теперь, когда они собрались уходить, она искренно и умоляющимъ голосомъ стала доказывать имъ, что такъ какъ они уже больше никуда не поѣдутъ съ визитомъ, то должны остаться у нея пообѣдать. Послѣ нѣкотораго колебанія гости согласились.

Кромѣ обѣда, состоящаго изъ щей, поросенка, гуся съ яблочками и проч., на кухнѣ въ большіе праздники готовили еще, такъ называемый, французскій или поварской обѣдъ, на случай, если кто изъ гостей въ верхнемъ этажѣ пожелаетъ откусать. Когда въ столовой застучали посудой, Лысевичъ сталъ проявлять замѣтное возбужденіе; онъ потиралъ руки, поводилъ плечами, жмурился и съ чувствомъ рассказывалъ о томъ, какіе обѣды когда-то задавали старики и какой чудесный матлотъ изъ наливовъ умѣетъ готовить здѣшній поваръ, — не матлотъ, а откровеніе! Онъ предвкушалъ обѣдъ, уже ѣлъ его мысленно и наслаждался. Когда же Анна Акимовна повела его подъ руку въ столовую, и онъ, наконецъ, выпилъ рюмку водки и положилъ себѣ въ ротъ кусочекъ семги, то даже замурлыкалъ отъ удовольствія. Жевалъ онъ громко, противно, издавая носомъ какіе-то звуки, и глаза его при этомъ становились масляными и алчными.

Закуска была роскошная. Были, между прочимъ, свѣжіе бѣлые грибы въ сметанѣ и соусъ провансаль изъ жареныхъ устрицъ и раковыхъ шеекъ, сильно одобренный горькими пикулями. Самый обѣдъ состоялъ изъ праздничныхъ, изы-

сканныхъ блюдъ, и вина были прекрасныя. Мишенька прислуживалъ за столомъ съ упоеніемъ. Когда онъ ставилъ на столъ какое-нибудь новое кушанье и снималъ съ блестящей гастрюли крышку, или наливалъ вино, то дѣлалъ это съ важностью профессора черной магіи, и, глядя на его лицо и на походку, похожую на первую фигуру кадрили, адвокатъ нѣсколько разъ подумалъ: «Какой дуракъ!»

Послѣ третьяго блюда Лысевичъ говорилъ, обращаясь къ Аннѣ Акимовнѣ:

— Женщина *fin de siècle*, — я разумѣю молодую и, конечно, богатую, — должна быть независима, умна, изящна, интеллигентна, смѣла и немножко развратна. Развратна въ мѣру, немножко, потому что, согласитесь, сытость есть уже утомленіе. Вы, милая моя, должны не прозябать, не жить, какъ всѣ, а смаковать жизнь, а легкій развратъ есть соусъ жизни. Заройтесь въ цвѣты съ одуряющимъ ароматомъ, задыхайтесь въ мускусъ, ѣшьте гашишъ, а, главное, любите, любите и любите... На первыхъ порахъ я на вашемъ мѣстѣ завелъ бы себѣ семерыхъ мужчинъ, по числу дней въ недѣлѣ, и одного назвалъ бы Понедѣльникомъ, другого — Вторникомъ, третьяго — Средой и т. д., чтобы каждый зналъ свой день.

Этотъ разговоръ волновалъ Анну Акимовну. Она ничего не ѣла и только выпила рюмку вина.

— Дайте же мнѣ, наконецъ, сказать! — говорила она. — Для себя лично я не понимаю любви безъ семьи. Я одинока, одинока, какъ мѣсяцъ на небѣ, да еще съ ущербомъ, и, что бы вы тамъ ни говорили, я увѣрена, я чувствую, что этотъ ущербъ можно пополнить только любовью въ обыкновенномъ смыслѣ. Мнѣ кажется, что эта любовь опредѣлитъ мои обязанности, мой трудъ, освѣтитъ мое міросозерцаніе. Я хочу отъ любви мира моей душѣ, покоя, хочу подальше отъ мускуса и всѣхъ тамъ спиритизмовъ и *fin de siècle*... однимъ словомъ, — смѣшалась она, — мужъ и дѣти.

— Замужъ хотите? Что жъ, и это можно, — согласился Лысевичъ. — Вамъ все нужно испытать: и замужество, и ревность, и сладость первой измѣны, и даже дѣтей... Но торопитесь жить, торопитесь, милая, время уходитъ, не ждѣть.

— Вотъ возьму и выйду замужъ! — сказала она, сердито глядя на его сытое, довольное лицо. — Выйду самымъ обыкновеннымъ, самымъ пошлымъ образомъ и буду сѣять отъ счастья. И, можете себѣ представить, выйду за простого рабочаго человѣка, за какого-нибудь механика или чертежника.

— И это не дурно. Герцогиня Джосіана полюбила Гуин-плена, и это ей позволяется, потому что она герцогиня; вамъ тоже все позволяется, потому что вы необыкновенная. Если, милая, захотите любить негра или арапа, то не стѣснитесь, выписывайте себѣ негра. Ни въ чемъ себѣ не отказывайте. Вы должны быть такъ же смѣлы, какъ ваши желанія. Не отставайте отъ нихъ.

— Неужели меня такъ трудно понять? — спросила Анна Акимовна съ изумленіемъ, и глаза ея заблестѣли отъ слезъ. — Поймите же, у меня на рукахъ громадное дѣло, двѣ тысячи рабочихъ, за которыхъ я должна отвѣтить передъ Богомъ. Люди, которые работаютъ на меня, слѣпнутъ и глохнутъ. Мнѣ страшно жить, страшно! Я страдаю, а вы имѣете жестокость говорить мнѣ о какихъ-то неграхъ и... и улыбаетесь! — Анна Акимовна ударила кулакомъ по столу. — Продолжать жизнь, какую я теперь веду, или выйти за такого же празднаго, неумѣлаго человѣка, какъ я, было бы просто преступленіемъ. Я не могу больше такъ жить, — сказала она горячо, — не могу!

— Какъ она хороша! — проговорилъ Лысевичъ, восхищаясь ею. — Богъ мой, какъ она хороша! Но что же вы сердитесь, милая? Пусть я неправъ, но неужели вы думаете, что если вы во имя идей, которыя я, впрочемъ, глубоко

уважаю, будете скучать и отказывать себѣ въ жизненной радости, то рабочимъ станетъ отъ этого легче? Ничуть! Нѣтъ, развратъ, развратъ! — сказалъ онъ рѣшительно. — Вамъ необходимо, вы обязаны быть развратной! Обмозгуйте это, милая, обмозгуйте!

Анна Акимовна была рада, что высказалась, и повеселѣла. Ей нравилось, что она такъ хорошо говорила и такъ честно и красиво мыслить, и она была уже увѣрена, что если бы, наприимѣръ, Пименовъ полюбилъ ее, то она пошла бы за него съ удовольствіемъ.

Мишенька сталъ наливать шампанское.

— Вы меня злите, Викторъ Николаичъ, — сказала она, чокаясь съ адвокатомъ. — Миѣ досадно, что вы даете совѣты, а сами совѣтъ не знаете жизни. По вашему, если механикъ или чертежникъ, то ужъ непременно мужикъ и невѣжа. А это умѣйшіе люди! Необыкновенные люди!

— Вашъ батюшка и дядюшка... я ихъ зналъ и уважалъ, — проговорилъ съ разстановкой Крылинъ, который сидѣлъ, вытянувшись какъ истуканъ, и все время, не переставая, ѣлъ, — были люди значительнаго ума и... и высокихъ душевныхъ качествъ.

— Ладно, знаемъ мы эти качества! — пробормоталъ адвокатъ и попросилъ позволенія закурить.

Когда кончился обѣдъ, Крылина увели отдыхать. Лысевичъ докурилъ сигару и, покачиваясь отъ сытости, пошелъ за Анной Акимовной въ ея кабинетъ. Укромные уголки съ фотографіями, вѣрами на стѣнахъ и съ неизбѣжнымъ розовымъ или голубымъ фонаремъ среди потолка онъ не любилъ, какъ выраженіе вялаго, неоригинальнаго характера; къ тому же, воспоминанія о нѣкоторыхъ его романахъ, которыхъ онъ теперь стыдился, были у него связаны съ этимъ фонаремъ. Кабинетъ же Анны Акимовны съ голыми стѣнами и безвкусною мебелью ему чрезвычайно нравился. Ему было мягко и уютно сидѣть на турецкомъ диванѣ и

поглядывать на Анну Акимовну, которая обыкновенно сидѣла на коврѣ передъ каминомъ и, охвативъ колѣни руками, глядѣла на огонь и о чемъ-то думала, и въ это время ему казалось, что въ ней играетъ мужицкая, старовѣрская кровь.

Всякій разъ послѣ обѣда, когда подавали кофе и ликеры, онъ оживлялся и рассказывалъ ей разныя литературныя новости. Говорилъ онъ витіевато, вдохновенно, самъ увлекался своимъ рассказомъ, а она слушала его и всякій разъ думала, что за такое удовольствіе можно заплатить не двѣнадцать тысячъ, а втрое больше, и прощала ему все, что ей не нравилось въ немъ. Случалось, что онъ рассказывалъ ей содержаніе повѣстей и даже романовъ, и тогда два или три часа проходили незамѣтно, какъ минуты. Теперь онъ началъ какъ-то кисло, разслабленнымъ голосомъ и закрывши глаза.

— Я, милая, давно ужъ ничего не читалъ, — сказалъ онъ, когда она попросила его рассказать что-нибудь. — Впрочемъ, иногда читаю Жюль Верна.

— А я думала, что вы расскажете мнѣ что-нибудь новенькое.

— Гмъ... новенькое, — сонно пробормоталъ Лысевичъ и еще глубже забился въ уголъ дивана. — Вся новенькая литература, милая моя, для насъ съ вами не подходитъ. Конечно, она должна быть такою, какова она есть, и не признавать ея — значило бы не признавать естественнаго порядка вещей, и я признаю ее, но...

Лысевичъ, казалось, уснулъ. Но черезъ минуту опять послышался его голосъ:

— Вся новенькая литература, на манеръ осенняго вѣтра въ трубѣ, стонетъ и воетъ: «Ахъ, несчастный! ахъ, жизнь твою можно уподобить тюрьмѣ! ахъ, какъ тебѣ въ тюрьмѣ гемно и сыро! ахъ, ты непременно погибнешь, и нѣтъ тебѣ спасенія!» Это прекрасно, но я предпочелъ бы литературу, которая учитъ, какъ бѣжать изъ тюрьмы. Изъ всѣхъ совре-

менных писателей я почитываю впрочем иногда одного Мопасана. — Лысевичъ открылъ глаза. — Хорошій писатель, превосходный писатель! — Лысевичъ задвигался на диванѣ. — Удивительный художникъ! Страшный, чудовищный, сверхъестественный художникъ! — Лысевичъ всталъ съ дивана и поднялъ кверху правую руку. — Мопасанъ! — сказалъ онъ въ восторгѣ. — Милая, читайте Мопасана! Одна страница его дастъ вамъ больше, чѣмъ всѣ богатства земли! Что ни строка, то новый горизонтъ. Мягчайшія, нѣжнѣйшія движенія души смѣняются сильными, бурными ощущеніями, ваша душа точно подъ давленіемъ сорока тысячъ атмосферъ обращается въ ничтожнѣйшій кусочекъ какого-то вещества неопредѣленнаго, розоватаго цвѣта, которое, какъ мнѣ кажется, если бы можно было положить его на языкъ, дало бы терпкій, сладострастный вкусъ. Какое бѣшенство переходовъ, мотивовъ, мелодій! Вы покоитесь на ландышахъ и розахъ, и вдругъ мысль, страшная, прекрасная, неотразимая мысль неожиданно налетаетъ на васъ, какъ локомотивъ, и обдаетъ васъ горячимъ паромъ и оглушаетъ свистомъ. Читайте, читайте Мопасана! Милая, я этого требую!

Лысевичъ замахалъ руками и въ сильномъ волненіи прошелся изъ угла въ уголъ.

— Нѣтъ, это невозможно! — проговорилъ онъ, какъ бы въ отчаяніи. — Последняя его вещь истомила меня, опьянила! Но я боюсь, что вы останетесь къ ней равнодушны. Чтобы она увлекла васъ, надо ее смаковать, медленно выжимать сокъ изъ каждой строчки, пить... Надо ее пить!

Послѣ длиннаго вступленія, въ которомъ было много такихъ словъ, какъ демоническое сладострастіе, сѣтъ изъ тончайшихъ нервовъ, самумъ, кристалль и т. п., онъ наконецъ сталъ рассказывать содержаніе романа. Рассказывалъ онъ уже не такъ вычурно, но очень подробно, приводя наизусть цѣлыя описанія и разговоры; дѣйствующія лица романа восхищали его и, характеризуя ихъ, онъ становился

въ позы, мѣнялъ выраженіе лица и голосъ, какъ настоящій актеръ. Отъ восторга онъ хохоталъ то басомъ, то очень тонкимъ голоскомъ, всплескивалъ руками или хваталъ себя за голову съ такимъ выраженіемъ, какъ будто она собиралась у него лопнуть. Анна Акимовна слушала съ восхищеніемъ, хотя уже читала этотъ романъ, и въ передачѣ адвоката онъ казался ей во много разъ красивѣе и сложнѣе, чѣмъ въ книжкѣ. Онъ обращалъ ея вниманіе на разныя тонкости и подчеркивалъ счастливыя выраженія и глубокія мысли, но она видѣла только жизнь, жизнь, жизнь и самое себя, какъ будто была дѣйствующимъ лицомъ романа; у нея поднимало духъ, и она сама, тоже хохоча и всплескивая руками, думала о томъ, что такъ жить нельзя, что нѣтъ надобности жить дурно, если можно жить прекрасно; она вспоминала свои слова и мысли за обѣдомъ и гордилась ими, и когда въ воображеніи вдругъ выросталъ Пименовъ, то ей было весело и хотѣлось, чтобы онъ полюбилъ ее.

Кончивши рассказывать, Лысевичъ, изнеможенный, сѣлъ на диванъ.

— Какая вы славная! Какая хорошая!—началъ онъ, немного погодя, слабымъ голосомъ, точно больной.—Я, милая, счастливъ около васъ, но все-таки зачѣмъ мнѣ сорокъ два года, а не тридцать? Мои и ваши вкусы не совпадаютъ: вы должны быть развратны, а я давно уже пережилъ этотъ фазисъ и хочу любви тончайшей, не матеріальной, какъ солнечный лучъ, то-есть, съ точки зрѣнія женщины вашихъ лѣтъ, я уже ни къ чорту не годенъ.

Онъ, по его словамъ, любилъ Тургенева, пѣвца дѣвственной любви, чистоты, молодости и грустной русской природы, но самъ онъ любилъ дѣвственную любовь не вблизи, а по наслышкѣ, какъ нѣчто отвлеченное, существующее внѣ дѣйствительной жизни. Теперь онъ увѣрялъ себя, что Анну Акимовну онъ любитъ платонически, идеально, хотя самъ не зналъ, что это значить. Но ему было хорошо, уютно, тепло, Анна

Акимовна казалась очаровательною, оригинальною, и онъ думалъ, что пріятное самочувствіе, вызываемое въ немъ этою обстановкой, и есть именно то самое, что называется платоническою любовью.

Онъ припалъ щекою къ ея рукѣ и сказалъ тономъ, какимъ обыкновенно ласкаютъ маленькихъ дѣтей:

— Дүся моя, а за что вы меня општрафовали?

— Какъ? Когда?

— Я къ празднику не получилъ отъ васъ наградныхъ.

Раньше Аннѣ Акимовнѣ ни разу не приходилось слышать, чтобы адвокату къ праздникамъ посылались наградные, и теперь она находилась въ затрудненіи: сколько ему дать? А дать было нужно, такъ какъ онъ ждалъ, хотя смотрѣлъ на нее глазами, полными любви.

— Должно-быть, Назарычъ забылъ,—сказала она.—Но это не поздно поправить.

Вдругъ она вспомнила про вчерашнія полторы тысячи, которыя лежали у нея теперь въ спальнѣ, въ туалетномъ столикѣ. И когда она принесла эти несимпатичныя деньги и подала ихъ адвокату, и онъ съ лѣнливою граціей сунулъ ихъ въ боковой карманъ, то все это произошло какъ-то мило и естественно. Неожиданное напоминаніе о наградныхъ и эти полторы тысячи были къ лицу адвокату.

— Мерсі,—сказалъ онъ и поцѣловалъ ей палецъ.

Вошелъ Крылинъ съ заспаннымъ блаженнымъ лицомъ, но уже безъ орденовъ.

Онъ и Лысевичъ посидѣли еще немного, выпили по стакану чаю и стали собираться. Анна Акимовна была немножко смущена... Она совершенно забыла, гдѣ служить Крылинъ, и нужно ли давать ему деньги или нѣтъ, а если нужно, то теперь дать или послать въ конвертѣ.

— Гдѣ онъ служить?—спеннула она Лысевичу.

— А чортъ его знаетъ,—пробормоталъ адвокатъ, зѣвал. Она сообразила, что если Крылинъ бывалъ у дяди и



отца и уважалъ ихъ, то не даромъ: очевидно, дѣлать добрыя дѣла на ихъ счетъ, служа въ какомъ-нибудь благотворительномъ учрежденіи. Она, прощаясь, сунула ему въ руку триста рублей; онъ какъ бы изумился и минуту молча смотрѣлъ на нее оловянными глазами, но потомъ какъ бы понялъ и сказалъ:

— Но квитанцію, многоуважаемая Анна Акимовна, вы можете получить не раньше новаго года.

Лысевичъ совсѣмъ уже раскисъ и отяжелѣлъ и шатался, когда Мишенька надѣвалъ на него шубу. А спускался внизъ, онъ имѣлъ видъ совершенно разслабленнаго, и видно было, что какъ только онъ сядетъ въ сани, то уснетъ тотчасъ же.

— Ваше превосходительство, — сказалъ онъ Крылину томно, останавливаясь среди лѣстницы, — не приходилось ли вамъ испытывать такое чувство, будто какая-то невидимая сила вытягиваетъ васъ въ длину, вы все тянетесь-тянетесь и, наконецъ, обращаетесь въ тончайшую проволоку? Субъективно это выражается въ какомъ-то особенномъ сладострастномъ чувствѣ, которое ни съ чѣмъ сравнить нельзя.

Анна Акимовна, стоя наверху, видѣла, какъ оба они дали Мишенькѣ по бумажкѣ.

— Не забывайте! До свиданья! — крикнула она имъ и побѣжала къ себѣ въ спальню.

Она быстро сбросила платье, которое уже наскучило ей, надѣла капоть и побѣжала внизъ. И когда бѣжала по лѣстницѣ, то смѣялась и стучала ногами какъ мальчишка. Ей сильно хотѣлось шалить.

#### IV.

#### Вечеръ.

Тетушка въ просторной ситцевой блузѣ, Варварушка и еще какихъ-то двѣ старушки сидѣли въ столовой и ужин-

нали. Передъ ними на столѣ лежали большой кусокъ солонины, окорокъ и разныя соленыя закуски, и отъ солонины, очень жирной и вкусной на видъ, валилъ къ потолку паръ. Въ нижнемъ этажѣ виноградныхъ винъ не употребляли, но зато было много разнаго рода водокъ и наливокъ. Кухарка Агаѣюшка, полная, бѣлая, сытая, стояла у двери, скрестивши руки, и разговаривала со старухами, а кушанья подавала и принимала нижняя Маша, брюнетка съ пунцовою лентой въ волосахъ. Старухи были сыты еще съ утра и за часъ до ужина пили чай со сладкимъ сдобнымъ пирогомъ, а потому ѣли теперь черезъ силу, какъ бы по обязанности.

— Охъ, матушки! — охнула тетушка, когда въ столовую вдругъ вбѣжала Анна Акимовна и сѣла на стулъ рядомъ съ ней. — Испугала до смерти!

Въ домѣ любили, когда Анна Акимовна бывала въ духѣ и дурачилась; это всякій разъ напоминало, что старики уже умерли, а старухи въ домѣ не имѣютъ уже никакой власти, и каждый можетъ жить какъ угодно, не боясь, что съ него сурово взыщутъ. Только двѣ незнакомыя старухи покосились на Анну Акимовну съ недоумѣніемъ: она напѣвала, а за столомъ грѣхъ пѣть.

— Матушка наша, красавица, картина писаная! — начала слащаво причитывать Агаѣюшка. — Алмазъ нашъ драгоценный!.. Народу-то, народу нынче пріѣзжало нашу королеву глядѣть — Господи твоя воля! И генералы, и офицеры, и господа... Я въ окно глядѣла-глядѣла, считала-считала, да и бросила.

— А по мнѣ, они хоть бы вовсе не ѣздили, подлецы! — сказала тетушка; она съ грустью поглядѣла на племянницу и добавила: — Только время провели сиротѣ моей бѣдной.

Анна Акимовна была голодна, такъ какъ съ самаго утра ничего не ѣла. Ей налили какой-то очень горькой настойки, она вышила и закусила солониной съ горчицей и нашла,

что это необыкновенно вкусно. Потомъ нижняя Маша подала индѣйку, моченныя яблоки и крыжовникъ. И это тоже по-правилось. Но только одно было неприятно: отъ изразцовой печки вѣяло жаромъ, было душно, и у всѣхъ разгорѣлись щеки. Послѣ ужина убрали со стола скатерть и поставили тарелки съ мятными пряниками, орѣхами и изюмомъ.

— Садись и ты... чего тамъ!—сказала тетушка кухаркѣ.

Агаеюшка вздохнула и сѣла за столъ; передъ ней Маша поставила тоже рюмку для наливки, и Аннѣ Акимовнѣ стало уже казаться, что одинаково, какъ отъ печки, такъ и отъ бѣлой шеи Агаеюшки, вѣетъ жаромъ. Говорили всѣ о томъ, какъ теперь трудно стало выходить замужъ, что въ прежнее время мужчины если не на красоту, то хоть на деньги льстились, а теперь не разберешь, что имъ нужно, и прежде оставались въ дѣвушкахъ только горбатыя и хромыя, а теперь не берутъ даже красивыхъ и богатыхъ. Тетушка стала объяснять это безнравственностью и тѣмъ, что люди Бога не боятся, но вдругъ вспомнила, что ея братъ Иванъ Иванычъ и Варварушка—оба святой жизни—и Бога боялись, а все же потихоньку дѣтей рожали и отправляли въ воспитательный домъ; она спохватилась и перевела разговоръ на то, какой у нея когда-то женишокъ былъ, изъ заводскихъ, и какъ она его любила, но ее насильно братья выдали за вдовца иконописца, который, слава Богу, черезъ два года померъ. Нижняя Маша тоже подсѣла къ столу и съ таинственнымъ видомъ рассказала, что вотъ уже недѣля, какъ каждый день по утрамъ во дворѣ показывается какой-то неизвѣстный мужчина съ черными усами и въ пальто съ барашковымъ воротникомъ: войдетъ во дворъ, поглядитъ на окна большого дома и пойдетъ дальше—къ корпусамъ; мужчина ничего себѣ, видный...

Отъ всѣхъ этихъ разговоровъ Аннѣ Акимовнѣ почему-то вдругъ захотѣлось замужъ, захотѣлось сильно, до тоски;

кажется, полжизни и все состояніе отдала бы, только знать бы, что въ верхнемъ этажѣ есть человѣкъ, который для нея ближе всѣхъ на свѣтѣ, что онъ крѣпко любитъ ее и скучаетъ по ней; и мысль объ этой близости, восхитительной, невыразимой на словахъ, волновала ее душу. И инстинктъ здоровья и молодости льстилъ ей и лгалъ, что настоящая поэзія жизни не пришла, а еще впереди, и она вѣрила и, откинувшись на спинку стула (у нея распустились волосы при этомъ), стала смѣяться, а глядя на нее, смѣялись и остальные. И въ столовой долго не умолкали безпричинный смѣхъ.

Доложили, что пришла ночевать Жужелица. Это была богомолка Паша или Спиридоновна, маленькая худенькая женщина, лѣтъ пятидесяти, въ черномъ платьѣ и бѣломъ платочкѣ, остроглазая, остроносая, съ острымъ подбородкомъ; глаза у нея были хитрые, ехидные, и глядѣла она съ такимъ выраженіемъ, какъ будто всѣхъ насквозь видѣла. Губы у нея были сердечкомъ. За ехидство и ненавистничество въ купеческихъ домахъ ее прозвали Жужелицей.

Войдя въ столовую, она, ни на кого не глядя, направилась къ образамъ и заглѣла альтомъ «Рождество Твое», потомъ сгѣла «Дѣва днесъ», потомъ «Христось рождается», затѣмъ обернулась и пронизала всѣхъ взглядомъ.

— Съ праздничкомъ! — сказала она и поцѣловала въ плечо Анну Акимовну. — Насилу, насилу добралась до васъ, благодѣтели мои. — Она поцѣловала въ плечо тетушку. — Пошла я къ вамъ еще утромъ, да по дорогѣ къ добрымъ людямъ заходила отдохнуть. «Останься, да останься, Спиридоновна», — анъ, и не видала, какъ вечеръ насталь.

Такъ какъ она не употребляла мясного, то ей подали икры и семги. Она кушала, поглядывая на всѣхъ исподлобья, и водочки три рюмки выпила. Накушавшись, помолилась Богу и поклонилась Аннѣ Акимовнѣ въ ноги.

Какъ это было въ прошломъ и въ третьемъ году, стали

играть въ короли, а вся прислуга, сколько ея было въ двухъ этажахъ, столпилась въ дверяхъ, чтобы поглядѣть на игру. Аннѣ Акимовнѣ показалось, что раза два въ толпѣ бабъ и мужиковъ промелькнулъ и Мишенька съ снисходительною улыбкой. Первая вышла въ короли Жужелица, и Анна Акимовна-солдатъ платила ей дань, а потомъ тетушка стала королемъ, и Анна Акимовна попала въ мужики или «тютюки», что вызвало общій восторгъ, а Агаеюшка вышла въ принцы и застыдилась отъ удовольствія. На другомъ концѣ стола составила еще партія: обѣ Маши, Варварушка и швейка Марѳа Петровна, которую разбудили нарочно для игры въ короли, и лицо у нея было заспанное, злое.

Во время игры разговоръ шелъ о мужчинахъ, о томъ, какъ трудно теперь выйти за хорошаго человѣка, и о томъ, какая доля лучше—дѣвичья или вдовья.

— Дѣвка ты красивая, здоровая, крѣпкая,—сказала Жужелица Аннѣ Акимовнѣ.—Только я никакъ не пойму, мать, для кого ты себя бережешь.

— Что же дѣлать, если никто не беретъ?

— А, можетъ, дала обѣтъ остаться въ дѣвахъ?—продолжала Жужелица, какъ бы не слыша.—Что жъ, хорошее дѣло, оставайся... Оставайся,—повторила она, внимательно и ехидно глядя себѣ въ карты.—Тэкъ, братъ, оставайся... да... Только дѣвы, преподобныя-то эти самыя, разные бываютъ,—вздыхнула она и пошла съ короля.—Охъ, разные, мать! Однѣ, дѣйствительно, блюдутъ себя словно монашенки и ни синь пороха, а ежели какая и согрѣшитъ часомъ, то измучится вся, бѣдная, и осуждать грѣхъ. А вотъ другія дѣвушки и въ черныхъ платьяхъ ходятъ, и саваны себѣ шьютъ, а сами-то втихомолку старичковъ богатенькихъ любятъ. Да-а, канареечки мои. Иная шельма околдуетъ старика и властвуетъ надъ нимъ, голубушки мои, властвуетъ, кружитъ его, кружитъ, а какъ набрала побольше денегъ да выигрышныхъ билетовъ, такъ и заколдуетъ до смерти.

Въ отвѣтъ на эти намеки Варварушка только вздохнула и поглядѣла на образъ. На лицѣ ея изобразилось христіанское смиреніе.

— Есть у меня одна знакомая дѣвушка такая, врагиня моя лютая,—продолжала Жужелица, оглядывая всѣхъ съ торжествомъ.—Тоже все вздыхаетъ, да все на образа смотритъ, дьяволица. Когда она властвовала у одного старца, то, бывало, придешь къ ней, а она дастъ тебѣ кусокъ и прикажетъ земные поклоны класть, и сама читаетъ: «Въ рождествѣ дѣвство сохранила еси»... Въ праздникъ дастъ кусокъ, а въ будни попрекаетъ. Ну, а теперь ужъ я натѣшусь надъ ней! Натѣшусь вволю, алмазныя!

Варварушка опять взглянула на образъ и перекрестилась.

— Да, никто меня не беретъ, Спиридоновна,—сказала Анна Акимовна, чтобы перемѣнить разговоръ.— Что подѣлаешь?

— Сама виновата, мать. Все ждешь благородныхъ да образованныхъ, а шла бы за своего брата-купца.

— Купца не нужно! — сказала тетупка и встревожилась.— Спаси, Царица Небесная! Благородный деньги твои промотаетъ, да зато жалѣть тебя будетъ, дурочка. А купецъ заведетъ такія строгости, что ты въ своемъ же домѣ мѣста себѣ не найдешь. Тебѣ приласкаться къ нему хочется, а онъ купоны рѣжетъ, а сядешь съ нимъ ѣсть, онъ тебя твоимъ же кускомъ хлѣба попрекаетъ, деревенщина!.. Выходи за благороднаго.

Заговорили всѣ сразу, громко перебивая другъ друга, а тетупка стучала по столу щипцами для орѣховъ и, красная, сердитая, говорила:

— Не надо купца, не надо! А заведешь въ домѣ купца, пойду въ богадельню!

— Тш... Тише!—крикнула Жужелица; когда всѣ утихли, она прищурила одинъ глазъ и сказала: — Знаешь, что, Аннушка, ласточка моя? Выходить замужъ по-настоящему,

какъ всё, тебѣ не къ чему. Ты человѣкъ богатый, вольный, сама себѣ королева; но и въ старыхъ дѣвкахъ оставаться какъ будто, дѣтка, не годится. Найду-ка я тебѣ, знаешь, какого-нибудь завалыщенкаго и простоватенькаго человѣчка, примешь ты для видимости законъ и тогда — гуляй, Малашка! Ну, мужу сунешь тамъ тысячь пять или десять, и пусть идетъ, откуда пришелъ, а ты дома сама себѣ госпожа, — кого хочешь, того любишь, и никто не можетъ тебя осудить. И люби ты тогда своихъ благородныхъ да образованныхъ. Эхъ, не жизнь, а масляница! — Жужелица щелкнула пальцами и подсвистнула: — Гуляй, Малашка!

— А грѣхъ! — сказала тетушка.

— Ну, грѣхъ, — усмѣхнулась Жужелица. — Она образованная, понимаетъ. Человѣка зарѣзать или старика околдовать — грѣхъ, это точно, а любить милаго дружочка даже очень не грѣхъ. Да и что тамъ, право! Никакого грѣха нѣтъ! Все это богомолки выдумали, чтобы простой народъ морочить. Я вотъ тоже вездѣ говорю — грѣхъ да грѣхъ, а сама и не знаю, почему грѣхъ. — Жужелица выпила наливки и крикнула. — Гуляй, Малашка! — сказала она, обращаясь на этотъ разъ, очевидно, къ себѣ самой. — Тридцать лѣтъ, бабочки, думала все о грѣхахъ, да боялась, а теперь вижу: прозѣвала, проворобонила! Эхъ, дура я, дура! — вздохнула она. — Бабій вѣкъ — короткій вѣкъ, и каждымъ денечкомъ дорожить бы надо. Красива ты, Аннушка, очень и богата, а ужъ какъ стукнетъ тридцать-пять или сорокъ, только и вѣку твоего, пиши конецъ. Не слушай, братъ, никого, живи, гуляй до сорока, а потомъ успѣешь отмотить, — хватитъ времени поклоны бить, да саваны шить. Богу свѣчка, валай и чорту кочергу! Валай все въ одно мѣсто! Ну, такъ какъ же? Хочешь облагодѣтельствовать человѣчка?

— Хочу, — засмѣялась Анна Акимовна. — Мнѣ теперь все равно, я бы за простого пошла.

— Что жъ, и хорошо бы! Ухъ, какого бы ты тогда

себѣ молодца выбрала!—Жужелица зажмурилась и покачала головой.—Ухъ!

— Я и сама ей говорю: благородныхъ не дожدهшься, такъ шла бы ужъ не за купца, а за кого попроче,—сказала тетушка.—По крайности, взяли бы мы себѣ въ домъ хозяина. А мало-ли хорошихъ людей? Хоть нашихъ заводскихъ взять. Всѣ тверезые, степенные...

— А еще бы!—согласилась Жужелица.—Ребята славные. Хочешь, тетка, я Аннушку за Лебединскаго Василя посватаю?

— Ну, у Васи ноги длинныя,—сказала тетушка серьезно.—Сухой очень. Виду нѣтъ.

Въ толпѣ около дверей засмѣялись.

— Ну, за Пименова. Хочешь идти за Пименова?—спросила Жужелица у Анны Акимовны.

— Хорошо. Сватай за Пименова.

— Ей Богу?

— Сватай!—сказала рѣшительно Анна Акимовна и ударила по столу.—Честное слово пойду!

— Ей Богу?

Аннѣ Акимовнѣ вдругъ стало стыдно, что у нея горять щеки и что на нее всѣ смотрять, она смѣшала на столѣ карты и побѣжала изъ комнаты, и когда бѣжала по лѣстницѣ и потомъ пришла наверхъ и сѣла въ гостиной у рояля, изъ нижняго этажа доносился гулъ, будто море шумѣло; вѣроятно, говорили про нее и про Пименова и, быть-можетъ, пользуясь ея отсутствіемъ, Жужелица обижала Варварушку и ужъ, конечно, не стѣснялась въ выраженіяхъ.

Во всемъ верхнемъ этажѣ горѣла только одна лампа въ залѣ, и ея слабый свѣтъ черезъ дверь проникалъ въ темную гостиную. Былъ десятый часъ, не больше. Анна Акимовна сыграла одинъ вальсъ, потомъ другой, третій,—играла непрерывно. Она смотрѣла въ темный уголокъ за



роялю, улыбалась, мысленно звала, и ей приходило въ голову: не поѣхать ли сейчасъ въ городъ къ кому-нибудь, напримѣръ, хоть къ Лысевичу, и не рассказать ли ему, что происходитъ у нея теперь на душѣ? Ей хотѣлось говорить безъ умолку, смѣяться, дурачиться. но темный уголокъ за роялю угрюмо молчалъ и кругомъ, во всѣхъ комнатахъ верхняго этажа, было тихо, безлюдно.

Она любила чувствительные романы, но у нея былъ грубый, необработанный голосъ, и потому она только аккомпанировала, а пѣла чуть слышно, однимъ лишь дыханіемъ. Она пѣла шопотомъ романсъ за романсомъ, все больше о любви, разлукѣ, утраченныхъ надеждахъ, и воображала, какъ она протянетъ къ нему руки и скажетъ съ мольбой, со слезами: «Пименовъ, снимите съ меня эту тяжесть!» И тогда, точно грѣхи ей простятся, станеть на душѣ легко, радостно, наступитъ свободная и, быть-можетъ, счастливая жизнь. Въ тоскѣ ожиданія она склонилась къ клавишамъ и ей страстно захотѣлось, чтобы перемена въ жизни произошла сейчасъ же, немедленно, и было страшно отъ мысли, что прежняя жизнь будетъ продолжаться еще нѣкоторое время. Потомъ опять играла и пѣла чуть слышно, и кругомъ было тихо. Изъ нижняго этажа уже не доносился гулъ: должно-быть, тамъ легли спать. Давно уже прошло десять. Приближалась длинная, одинокая, скучная ночь.

Анна Акимовна прошла по всѣмъ комнатамъ, полежала на диванѣ, прочла у себя въ кабинетѣ письма, полученные вечеромъ. Было двѣнадцать писемъ поздравительныхъ и три анонимныхъ, безъ подписи. Въ одномъ какой-то простой рабочей ужаснымъ, едва разборчивымъ почеркомъ жаловался на то, что въ фабричной лавкѣ продаютъ рабочимъ горькое постное масло, отъ котораго пахнетъ керосиномъ; въ другомъ—кто-то доносилъ почтительно, что Назарычъ на послѣднихъ торгахъ, покупая желѣзо, взялъ отъ

кого-то взятку въ тысячу рублей; въ третьемъ ее бранили за безчеловѣчность.

Праздничное возбужденіе уже проходило, и чтобы поддержать его, Анна Акимовна сѣла опять за рояль и тихо заиграла одинъ изъ новыхъ вальсовъ, потомъ вспомнила, какъ умно и честно она мыслила и говорила сегодня за обѣдомъ. Поглядѣла она кругомъ на темныя окна и стѣны съ картинами, на слабый свѣтъ, который шелъ изъ залы, и вдругъ нечаянно заплакала и ей досадно стало, что она такъ одинока, что ей не съ кѣмъ поговорить, посоветоваться. Чтобы подбодрить себя, она старалась нарисовать въ воображеніи Пименова, но уже ничего не выходило.

Пробило двѣнадцать. Вошелъ Мишенька, уже не во фракѣ, а въ пиджакѣ, и молча зажегъ двѣ свѣчи; затѣмъ онъ вышелъ и черезъ минуту вернулся съ подносомъ, на которомъ была чашка съ чаемъ.

— Что вы смѣтаетесь? — спросила она, замѣтивъ на его лицѣ улыбку.

— Я внизу былъ и слышалъ, какъ вы шутили насчетъ Пименова... — сказалъ онъ и прикрылъ рукой смѣющійся ротъ. — Посадить бы его давеча обѣдать съ Викторомъ Николаевичемъ и съ генераломъ, такъ онъ померъ бы со страху. — У Мишеньки задрожали плечи отъ смѣха. — Онъ и вилки, небось, держать не умѣетъ.

Смѣхъ лакея, его слова, пиджакъ и усики произвели на Анну Акимовну впечатлѣніе нечистоты. Она закрыла глаза, чтобы не видѣть его, и, сама того не желая, вообразила Пименова обѣдающаго вмѣстѣ съ Лысевичемъ и Крылинымъ, и его робкая, неинтеллигентная фигура показалась ей жалкой, беспомощной, и она почувствовала отвращеніе. И только теперь, въ первый разъ за весь день, она поняла ясно, что все то, что она думала и говорила о Пименовѣ и о бракѣ съ простымъ рабочимъ — вздоръ, глупость и самодурство. Чтобы убѣдить себя въ противномъ, преодолѣть

отвращеніе, она хотѣла вспомнить слова, какія говорила за обѣдомъ, но уже не могла сообразить; стыдъ за свои мысли и поступки, и страхъ, что она, быть-можетъ, сказала сегодня что-нибудь лишнее, и отвращеніе къ своему малодушію смутили ее чрезвычайно. Она взяла свѣчу и быстро, какъ будто ее гналъ кто-нибудь, сошла внизъ, разбудила тамъ Спиридонову и стала увѣрять ее, что она пошутила. Потомъ пошла къ себѣ въ спальню. Рыжая Маша, дремавшая въ креслѣ около постели, вскочила и стала поправлять подушки. Лицо у нея было утомленное, заспанное, и великолѣпные волосы сбились на одну сторону.

— Вечеромъ опять приходилъ чиновникъ Чаликовъ,— сказала она, зѣвая,—да я не посмѣла докладывать. Ужъ очень пьяный. Говорить, что опять завтра придетъ.

— Что ему нужно отъ меня?—разсердилась Анна Акимовна и ударила гребенкой объ полъ.—Я не хочу его видѣть! Не хочу!

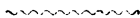
Она рѣшила, что у нея въ жизни никого уже больше не осталось, кромѣ этого Чаликова, что онъ уже не перестанетъ преслѣдовать ее и напоминать ей каждый день, какъ неинтересна и нелѣпа ея жизнь. Вѣдь она на то только и способна, чтобы помогать бѣднымъ. О, какъ это глупо!

Она легла, не раздѣваясь, и зарыдала отъ стыда и скуки. Досаднѣе и глупѣе всего казалось ей то, что сегодняшнія мечты насчетъ Пименова были честны, возвышенны, благородны, но въ то же время она чувствовала, что Лысевичъ и даже Крылинъ для нея были ближе, чѣмъ Пименовъ и всѣ рабочіе, взятые вмѣстѣ. Она думала теперь, что если бы можно было только что прожитый длинный день изобразить на картинѣ, то все дурное и пошлое, какъ, напри- мѣръ, обѣдъ, слова адвоката, игра въ короли, были бы правдой, мечты же и разговоры о Пименовѣ выдѣлялись бы изъ цѣлага, какъ фальшивое мѣсто, какъ натяжка. И она думала также, что ей уже поздно мечтать о счастья, что

все уже для нея погибло и вернуться къ той жизни, когда она спала съ матерью подъ однимъ одѣяломъ, или выдумать какую-нибудь новую, особенную жизнь уже невозможно.

Рыжая Маша стояла на колѣняхъ передъ постелью и смотрѣла на нее печально, съ недоумѣніемъ, потомъ и сама заплакала и припала лицомъ къ ея рукѣ; и безъ словъ было понятно, отчего ей такъ горько.

— Дуры мы съ тобой,—говорила Анна Акимовна, плача и смѣясь.—Дуры мы! Ахъ, какія мы дуры!



# ПОПРЫГУНЯ.

## I.

На свадьбѣ у Ольги Ивановны были всѣ ея друзья и добрые знакомые.

— Посмотрите на него: не правда ли, въ немъ что-то есть? — говорила она своимъ друзьямъ, кивая на мужа и какъ бы желая объяснить, почему это она вышла за простого, очень обыкновеннаго и ничѣмъ не замѣчательнаго человѣка.

Ея мужъ, Осипъ Степанычъ Дымовъ, былъ врачомъ и имѣлъ чинъ титулярнаго совѣтника. Служилъ онъ въ двухъ больницахъ: въ одной сверхштатнымъ ординаторомъ, а въ другой — прозекторомъ. Ежедневно отъ 9 часовъ утра до полудня онъ принималъ больныхъ и занимался у себя въ палатѣ, а послѣ полудня ѣхалъ на конкѣ въ другую больницу, гдѣ вскрывалъ умершихъ больныхъ. Частная практика его была ничтожна, рублей на пятьсотъ въ годъ. Вотъ и все. Что еще можно про него сказать? А между тѣмъ Ольга Ивановна и ея друзья и добрые знакомые были не совсѣмъ обыкновенные люди. Каждый изъ нихъ былъ чѣмъ-нибудь замѣчательнъ и немножко извѣстенъ, имѣлъ уже имя и считался знаменитостью, или же хотя и не былъ

еще знаменитъ, но зато подавалъ блестящія надежды. Артистъ изъ драматическаго театра, большой, давно признанный талантъ, изящный, умный и скромный человекъ и отличный чтецъ, учившій Ольгу Ивановну читать; пѣвецъ изъ оперы, добродушный толстякъ, со вздохомъ увѣрявшій Ольгу Ивановну, что она губить себя: если бы она не лѣнилась и взяла себя въ руки, то изъ нея вышла бы замѣчательная пѣвица; затѣмъ, нѣсколько художниковъ и во главѣ ихъ жанристъ, анималистъ и пейзажистъ Рябовскій, очень красивый бѣлокурый молодой человекъ, лѣтъ 25, имѣвшій успѣхъ на выставкахъ и продавшій свою послѣднюю картину за пятьсотъ рублей; онъ поправлялъ Ольгѣ Ивановнѣ ея этюды и говорилъ, что изъ нея, быть-можетъ, выйдетъ толкъ; затѣмъ виолончелистъ, у котораго инструментъ плакалъ, и который откровенно сознавался, что изъ всѣхъ знакомыхъ ему женщинъ умѣетъ аккомпанировать одна только Ольга Ивановна; затѣмъ литераторъ, молодой, но уже извѣстный, писавшій повѣсти, пьесы и рассказы. Еще кто? Ну, еще Василій Васильичъ, баринъ, помѣщикъ, дилетантъ-иллюстраторъ и виньетистъ, сильно чувствовавшій старый русскій стиль, былинну и эпосъ; на бумагѣ, на фарфорѣ и на законченныхъ тарелкахъ онъ производилъ буквально чудеса. Среди этой артистической, свободной и избалованной судьбою компаніи, правда, деликатной и скромной, но вспоминавшей о существованіи какихъ-то докторовъ только во время болѣзни, и для которой имя Дымовъ звучало такъ же безразлично, какъ Сидоровъ или Тарасовъ,—среди этой компаніи Дымовъ казался чужимъ, лишнимъ и маленькимъ, хотя былъ высокъ ростомъ и широкъ въ плечахъ. Казалось, что на немъ чужой фракъ и что у него приказчицкая бородка. Впрочемъ, если бы онъ былъ писателемъ или художникомъ, то сказали бы, что своей бородкой онъ напоминаетъ Зола.

Артистъ говорилъ Ольгѣ Ивановнѣ, что со своими лья-

ными волосами и въ вѣнчальномъ нарядѣ она очень похожа на стройное вишневое деревцо, когда весною оно сплошь бываетъ покрыто нѣжными бѣлыми цвѣтами.

— Нѣтъ, вы послушайте!—говорила ему Ольга Ивановна, хватая его за руку.—Какъ это могло вдругъ случиться? Вы слушайте, слушайте... Надо вамъ сказать, что отецъ служилъ вмѣстѣ съ Дымовымъ въ одной больницѣ. Когда бѣдняжка-отецъ заболѣлъ, то Дымовъ по цѣлымъ днямъ и ночамъ дежурилъ около его постели. Столько самопожертвованія! Слушайте, Рябовскій... И вы, писатель, слушайте, это очень интересно. Подойдите поближе. Сколько самопожертвованія, искренняго участія! Я тоже не спала ночи и сидѣла около отца, и вдругъ—здравствуйте, побѣдила добра молодца! Мой Дымовъ врѣзался по самыя уши. Право, судьба бываетъ такъ причудлива. Ну, послѣ смерти отца онъ иногда бывалъ у меня, встрѣчался на улицѣ и въ одинъ прекрасный вечеръ вдругъ—бац! сдѣлалъ предложеніе... какъ снѣгъ на голову... Я всю ночь проплакала и сама влюбилась адски. И вотъ, какъ видите, стала супругой. Не правда ли, въ немъ есть что-то сильное, могучее, медвѣжье? Теперь его лицо обращено къ намъ въ три четверти, плохо освѣщено, но когда онъ обернется, вы посмотрите на его лобъ. Рябовскій, что вы скажете объ этомъ лбѣ? Дымовъ, мы о тебѣ говоримъ!—крикнула она мужу.—Иди сюда. Протяни свою честную руку Рябовскому... Вотъ такъ. Будьте друзьями.

Дымовъ, добродушно и наивно улыбаясь, протянулъ Рябовскому руку и сказалъ:

— Очень радъ. Со мной кончилъ курсъ тоже нѣкто Рябовскій. Это не родственникъ вашъ?

## II.

Ольгѣ Ивановнѣ было 22 года, Дымову 31. Зажили они послѣ свадьбы превосходно. Ольга Ивановна въ гостиниой

увѣшала всѣ стѣны сплошь своими и чужими этюдами въ рамахъ и безъ рамъ, а около рояля и мебели устроила красивую тѣсоту изъ китайскихъ зонтовъ, мольбертовъ, разноцвѣтныхъ тряпочекъ, книжаловъ, бюстиковъ, фотографій... Въ столовой она оклеила стѣны лубочными картинами, повѣсила лапти и серпы, поставила въ углу косу и грабли, и получилась столовая въ русскомъ вкусѣ. Въ спальнѣ она, чтобы похоже было на пещеру, задрапировала потолокъ и стѣны темнымъ сукномъ, повѣсила надъ кроватями венеціанскій фонарь, а у дверей поставила фигуру съ аллебардой. И всѣ находили, что у молодыхъ супруговъ очень миленькій уголокъ.

Ежедневно, вставши съ постели часовъ въ одиннадцать, Ольга Ивановна играла на рояли, или же, если было солнце, писала что-нибудь масляными красками. Потомъ, въ первомъ часу, она ѣхала къ своей портнихѣ. Такъ какъ у нея и Дымова денегъ было очень немного, въ обрѣзъ, то, чтобы часто появляться въ новыхъ платьяхъ и поражать своими нарядами, ей и ея портнихѣ приходилось пускаться на хитрости. Очень часто изъ стараго перекрашеннаго платья, изъ ничего не стоящихъ кусочковъ тюля, кружевъ, плюша и шелка выходили просто чудеса, нѣчто обворожительное, не платье, а мечта. Отъ портнихи Ольга Ивановна обыкновенно ѣхала къ какой-нибудь знакомой актрисѣ, чтобы узнать театральныя новости и кстати похлопотать насчетъ билета къ первому представленію новой пьесы или къ бенефису. Отъ актрисы нужно было ѣхать въ мастерскую художника или на картинную выставку, потомъ къ кому-нибудь изъ знаменитостей—приглашать къ себѣ, или отдать визитъ, или просто поболтать. И вездѣ ее встрѣчали всею и дружелюбно и увѣряли ее, что она хорошая, милая, рѣдкая... Тѣ, которыхъ она называла знаменитыми и великими, принимали ее, какъ свою, какъ ровню, и пророчили ей въ одинъ голосъ, что при ся талантахъ, вкусѣ и умѣ, если



она не разбросается, выйдетъ большой толкъ. Она пѣла, играла на рояли, писала красками, дѣлила, участвовала въ любительскихъ спектакляхъ, (но все это не какъ-нибудь, а съ талантомъ; дѣлала ли она фонарики для иллюминаціи, рядилась ли, завязывала ли кому галстукъ—все у нея выходило необыкновенно художественно, граціозно и мило. Но ни въ чемъ ея талантливость не сказывалась такъ ярко, какъ въ ея умѣнны быстро знакомиться и коротко сходитьсѣ съ знаменитыми людьми. Стоило кому-нибудь прославиться хоть немножко и заставить о себѣ говорить, какъ она ужъ знакомилась съ нимъ, въ тотъ же день дружилась и приглашала къ себѣ. Всякое новое знакомство было для нея сущимъ праздникомъ. Она боготворила знаменитыхъ людей, гордилась ими и каждую ночь видѣла ихъ во снѣ. Она жаждала ихъ и никакъ не могла утолить своей жажды. Старые уходили и забывались, приходили на смѣну имъ новые, но и къ этимъ она скоро привыкала или разочаровывалась въ нихъ и начинала жадно искать новыхъ и новыхъ великихъ людей, находила и опять искала. Для чего?

Въ пятомъ часу она обѣдала дома съ мужемъ. Его простота, здравый смыслъ и добродушіе приводили ее въ умиленіе и восторгъ. Она то и дѣло вскакивала, порывисто обнимала его голову и осыпала ее поцѣлуями.

— Ты, Дымовъ, умный, благородный человекъ, — говорила она;—но у тебя есть одинъ очень важный недостатокъ. Ты совсѣмъ не интересуешься искусствомъ. Ты отрицаешь и музыку, и живопись.

— Я не понимаю ихъ, — говорилъ онъ кротко. — Я всю жизнь занимался естественными науками и медициной, и мнѣ некогда было интересоваться искусствами.

— Но вѣдь это ужасно, Дымовъ!

— Почему же? Твои знакомые не знаютъ естественныхъ наукъ и медицины, однакоже ты не ставишь имъ этого въ

упрекъ. У каждаго свое. Я не понимаю пейзажей и оперъ, но думаю такъ: если одни умные люди посвящаютъ имъ всю свою жизнь, а другіе умные люди платятъ за нихъ громадныя деньги, то, значить, они нужны. Я не понимаю, но не понимать не значить отрицать.

— Дай, я пожму твою честную руку!

Послѣ обѣда Ольга Ивановна ѣхала къ знакомымъ, потомъ въ театръ или на концертъ и возвращалась домой послѣ полуночи. Такъ каждый день.

По средамъ у нея бывали вечеринки. На этихъ вечеринкахъ хозяйка и гости не играли въ карты и не танцевали, а развлекали себя разными художествами. Актеръ изъ драматическаго театра читалъ, пѣвецъ пѣлъ, художники рисовали въ альбомы, которыхъ у Ольги Ивановны было множество, виолончелистъ игралъ, и сама хозяйка тоже рисовала, лѣпила, пѣла и аккомпанировала. Въ промежуткахъ между чтеніемъ, музыкой и пѣніемъ говорили и спорили о литературѣ, театрѣ и живописи. Дамъ не было, потому что Ольга Ивановна всѣхъ дамъ, кромѣ актрисъ и своей портнихи, считала скучными и пошлыми. Ни одна вечеринка не обходилась безъ того, чтобы хозяйка не вздрагивала при каждомъ звонкѣ и не говорила съ побѣднымъ выраженіемъ лица: «Это онъ!», разумѣя подъ словомъ «онъ» какую-нибудь новую приглашенную знаменитость. Дымова въ гостиной не было, и никто не вспоминалъ объ его существованіи. Но ровно въ половинѣ двѣнадцатаго отворялась дверь, ведущая въ столовую, показывался Дымовъ со своею добродушною кроткою улыбкой, и говорилъ, потирая руки:

— Пожалуйста, господа, закусить.

Всѣ шли въ столовую и всякій разъ видѣли на столѣ одно и то же: блюдо съ устрицами, кусокъ ветчины или телятины, сардины, сыръ, икру, грибы, водку и два графина съ виномъ.

— Милый мой метръ-д'отель!—говорила Ольга Ивановна, всплескивая руками отъ восторга. — Ты просто очарователенъ! Господа, посмотрите на его лобъ! Дымовъ, повернись въ профиль. Господа, посмотрите: лицо бенгальскаго тигра, а выраженіе доброе и милое, какъ у оленя. У, милый!

Гости ѣли и, глядя на Дымова, думали: «Въ самомъ дѣлѣ, славный малый», но скоро забывали о немъ и продолжали говорить о театрѣ, музыкѣ и живописи.

Молодые супруги были счастливы, и жизнь ихъ текла какъ по маслу. Впрочемъ, третья недѣля ихъ медоваго мѣсяца была проведена не совсѣмъ счастливо, даже печально. Дымовъ заразился въ больницѣ рожей, пролежалъ въ постели шесть дней и долженъ былъ остричь до-гола свои красивые черные волосы. Ольга Ивановна сидѣла около него и горько плакала, но, когда ему полегчало, она надѣла на его стриженую голову бѣленькій платокъ и стала писать съ него бедунна. И обоимъ было весело. Дня черезъ три послѣ того, какъ онъ, выздоровѣвши, сталъ опять ходить въ больницы, съ нимъ произошло новое недоразумѣніе.

— Миѣ не везетъ, мама! — сказалъ онъ однажды за обѣдомъ. — Сегодня у меня было четыре вскрытія, и я себѣ сразу два пальца порѣзалъ. И только дома я это замѣтилъ.

Ольга Ивановна испугалась. Онъ улыбнулся и сказалъ, что это пустяки и что ему часто приходится во время вскрытій дѣлать себѣ порѣзы на рукахъ.

— Я увлекаюсь, мама, и становлюсь разсѣяннымъ.

Ольга Ивановна съ тревогой ожидала трупнаго зараженія и по ночамъ молилась Богу, но все обошлось благополучно. И опять потекла мирная счастливая жизнь безъ печалей и тревогъ. Настоящее было прекрасно, а на смѣну ему приближалась весна, уже улыбавшаяся издали и общавшая тысячу радостей. Счастью не будетъ конца! Въ апрѣлѣ, въ маѣ и въ іюнѣ дача далеко за городомъ, прогулки, этюды, рыбная ловля, соловьи, а потомъ, съ іюля до самой

осени, поѣздка художниковъ на Волгу и въ этой поѣздкѣ, какъ непремѣнный членъ сосѣтѣ, будетъ принимать участие и Ольга Ивановна. Она уже сшила себѣ два дорожныхъ костюма изъ холстинки, купила на дорогу красокъ, кистей, холста и новую палитру. Почти каждый день къ ней приходилъ Рябовскій, чтобы посмотрѣть, какіе она сдѣлала успѣхи по живописи. Когда она показывала ему свою живопись, онъ засовывалъ руки глубоко въ карманы, крѣпко сжималъ губы, сопѣлъ и говорилъ:

— Такъ-съ... Это облако у васъ кричитъ: оно освѣщено не по-вечернему. Передній планъ какъ-то сжеванъ и что-то, понимаете ли, не то... А избушка у васъ подавилась чѣмъ-то и жалобно пищить... надо бы уголь этотъ потемнѣе взять. А въ общемъ недурственно... Хвалю.

И чѣмъ онъ непонятнѣе говорилъ, тѣмъ легче Ольга Ивановна его понимала.

### III.

На второй день Троицы послѣ обѣда Дымовъ купилъ закусокъ и конфетъ и поѣхалъ къ женѣ на дачу. Онъ не видѣлся съ нею уже двѣ недѣли и сильно соскучился. Сидя въ вагонѣ и потомъ отыскивая въ большой рошѣ свою дачу, онъ все время чувствовалъ голодь и утомленіе и мечталъ о томъ, какъ онъ на свободѣ поужинаетъ вмѣстѣ съ женой и потомъ завалится спать. И ему весело было смотрѣть на свой свертокъ, въ которомъ были завернуты шкра, сыръ и бѣлорыбца.

Когда онъ отыскалъ свою дачу и узналъ ее, уже заходило солнце. Старуха-горничная сказала, что барыни нѣтъ дома и что, должно-быть, онѣ скоро придутъ. На дачѣ, очень неприглядной на видъ, съ низкими потолками, оклеенными писчею бумагой, и съ неровными щелистыми полами, было только три комнаты. Въ одной стояла кровать, въ другой на стульяхъ и окнахъ валялись холсты, кисти,

засаленная бумага и мужскія пальто и шляпы, а въ третьей Дымовъ засталъ трехъ какихъ-то незнакомыхъ мужчинъ. Двое были брюнеты съ бородками, и третій совсѣмъ бритый и толстый, повидимому, — актеръ. На столѣ кипѣлъ самоваръ.

— Что вамъ угодно?—спросилъ актеръ басомъ, нелюдимо оглядывая Дымова. — Вамъ Ольгу Ивановну нужно? Погодите, она сейчасъ придетъ.

Дымовъ сѣлъ и сталъ дожидаться. Одинъ изъ брюнетовъ, сонно и вяло поглядывая на него, налилъ себѣ чаю и спросилъ:

— Можетъ, чаю хотите?

Дымову хотѣлось и пить и ѣсть, но, чтобы не портить себѣ аппетита, онъ отказался отъ чая. Скоро послышались шаги и знакомый смѣхъ; хлопнула дверь, и въ комнату вбѣжала Ольга Ивановна въ широкополой шляпѣ и съ лицомъ въ рукѣ, а вслѣдъ за нею съ большимъ зонтомъ и со складнымъ стуломъ вошелъ веселый, краснощекій Рябовскій.

— Дымовъ! — вскрикнула Ольга Ивановна и вспыхнула отъ радости.—Дымовъ!—повторила она, кладя ему на грудь голову и обѣ руки.—Это ты! Отчего ты такъ долго не пріѣзжалъ? Отчего? Отчего?

— Когда же мнѣ, мама? Я всегда занятъ, а когда бываю свободенъ, то все случается такъ, что расписание поѣздовъ не подходитъ.

— Но какъ я рада тебя видѣть! Ты мнѣ всю, всю ночь снился, и я боялась, какъ бы ты не заболѣть. Ахъ, если бъ ты зналъ, какъ ты милъ, какъ ты кстати пріѣхалъ! Ты будешь моимъ спасителемъ. Ты одинъ только можешь спасти меня! Завтра будетъ здѣсь преоригинальная свадьба,—продолжала она, смѣясь и завязывая мужу галстукъ.—Женится молодой телеграфистъ на станціи, нѣкто Чикельдѣевъ. Красивый молодой человекъ, ну, не глухой и есть въ лицѣ,

знаешь, что-то сильное, медвѣжье... Можно съ него молодого варяга писать. Мы, всѣ дачники, принимаемъ въ немъ участіе и дали ему честное слово быть у него на свадьбѣ... Человѣкъ небогатый, одинокій, робкій и, конечно, было бы грѣшно отказать ему въ участіи. Представь, постѣ обѣдни вѣнчанье, потомъ изъ церкви всѣ пѣшкомъ до квартиры невѣсты... понимаешь, роса, пѣніе птицъ, солнечныя пятна на травѣ и всѣ мы разноцвѣтными пятнами на ярко-зеленомъ фонѣ — преоригинально, во вкусѣ французскихъ экспрессионистовъ. Но, Дымовъ, въ чемъ я пойду въ церковь?—сказала Ольга Ивановна и сдѣлала плачущее лицо.— У меня здѣсь ничего нѣтъ, буквально ничего! Ни платья, ни цвѣтовъ, ни перчатокъ... Ты долженъ меня спасти. Если пріѣхалъ, то, значить, сама судьба велить тебѣ спасти меня. Возьми, мой дорогой, ключи, поѣзжай домой и возьми тамъ въ гардеробѣ мое розовое платье. Ты его помнишь, оно виситъ первое... Потомъ въ кладовой съ правой стороны на полу ты увидишь двѣ картонки. Какъ отгроишь верхнюю, такъ тамъ все тюль, тюль, тюль и разные лоскутки, а подъ ними цвѣты. Цвѣты всѣ вынь осторожно, постарайся, дуся, не помять, ихъ потомъ я выберу... И перчатки купи.

— Хорошо, — сказалъ Дымовъ. — Я завтра поѣду и пришлю.

— Когда же завтра? — спросила Ольга Ивановна и посмотрѣла на него съ удивленіемъ. — Когда же ты успѣешь завтра? Завтра отходить первый поѣздъ въ 9 часовъ, а вѣнчаніе въ 11. Нѣтъ, голубчикъ, надо сегодня, обязательно сегодня! Если завтра тебѣ нельзя будетъ пріѣхать, то пришли съ рассыльнымъ. Ну, иди же... Сейчасъ долженъ прійти пассажирскій поѣздъ. Не опоздай, дуся.

— Хорошо.

— Ахъ, какъ мнѣ жаль тебя отпускать,—сказала Ольга Ивановна, и слезы навернулись у нея на глазахъ.— И зачѣмъ я, дура, дала слово телеграфисту?

Дымовъ быстро выпилъ стаканъ чаю, взялъ баранку и, громко улыбаясь, пошелъ на станцію. А икру, сыръ и бѣлорыбицу съѣли два брѹнета, и толстый актеръ.

#### IV.

Въ тихую лунную\*юльскую ночь Ольга Ивановна стояла на палубѣ волжскаго парохода и смотрѣла то на воду, то на красивые берега. Рядомъ съ нею стоялъ Рябовскій и говорилъ ей, что черныя тѣни на водѣ — не тѣни, а сонъ, что въ виду этой колдовской воды съ фантастическимъ блескомъ, въ виду бездоннаго неба и грустныхъ, задумчивыхъ береговъ, говорящихъ о суетѣ нашей жизни и о существованіи чего-то высшаго, вѣчнаго, блаженнаго, хорошо бы забыться, умереть, стать воспоминаніемъ. Прошедшее пошло и не интересно, будущее ничтожно, а эта чудная, единственная въ жизни ночь скоро кончится, сольется съ вѣчностью—зачѣмъ же жить?

А Ольга Ивановна прислушивалась то къ голосу Рябовскаго, то къ тишинѣ ночи и думала о томъ, что она безсмертна и никогда не умретъ. Бирюзовый цвѣтъ воды, какого она раньше никогда не видала, небо, берега, черныя тѣни и безотчетная радость, наполнявшая ея душу, говорили ей, что изъ нея выйдетъ великая художница, и что гдѣ-то тамъ за далью, за лунной ночью, въ безконечномъ пространствѣ ожидаютъ ее успѣхъ, слава, любовь народа... Когда она, не мигая, долго смотрѣла вдаль, ей чудились толпы людей, огни, торжественные звуки музыки, крики восторга, сама она въ бѣломъ платьѣ и цвѣты, которые сыпались на нее со всѣхъ сторонъ. Думала она также о томъ, что рядомъ съ нею, облокотившись о бортъ, .стоитъ настоящій великій человекъ, гений, Божій избранникъ... Все, что онъ создалъ до сихъ поръ, прекрасно, ново и необыкновенно, а то, что создастъ онъ современемъ, когда съ возмужалостью окрѣпнетъ его рѣдкій талантъ, будетъ порази-

тельно, неизмѣримо высоко, и это видно по его лицу, по манерѣ выражаться и по его отношенію къ природѣ. О тѣняхъ, вечернихъ тонахъ, о лунномъ блескѣ онъ говоритъ какъ-то особенно, своимъ языкомъ, такъ что невольно чувствуется обаяніе его власти надъ природой. Самъ онъ очень красивъ, оригиналенъ, и жизнь его, независимая, свободная, чуждая всего житейскаго, похожа на жизнь птицы.

— Становится свѣжо, — сказала Ольга Ивановна и вздрогнула.

Рябовскій окуталъ ее въ свой плащъ и сказалъ печально:

— Я чувствую себя въ вашей власти. Я рабъ. Зачѣмъ вы сегодня такъ обворожительны?

Онъ все время глядѣлъ на нее, не отрываясь, и глаза его были страшны, и она боялась взглянуть на него.

— Я безумно люблю васъ...—шепталъ онъ, дыша ей на щеку.—Скажите мнѣ одно слово, и я не буду жить, брошу искусство...—бормоталъ онъ въ сильномъ волненіи. — Любите меня, любите...

— Не говорите такъ,—сказала Ольга Ивановна, закрывая глаза.—Это страшно. А Дымовъ?

— Что Дымовъ? Почему Дымовъ? Какое мнѣ дѣло до Дымова? Волга, луна, красота, моя любовь, мой восторгъ, а никакого нѣтъ Дымова... Ахъ, я ничего не знаю... Не нужно мнѣ прошлаго, мнѣ дайте одно мгновеніе... одинъ мигъ!

У Ольги Ивановны забилося сердце. Она хотѣла думать о мужѣ, но все ея прошлое со свадьбой, съ Дымовымъ и съ вечеринками, казалось ей маленькимъ, ничтожнымъ, тусклымъ, ненужнымъ и далекимъ-далекимъ... Въ самомъ дѣлѣ: чтò Дымовъ? почему Дымовъ? какое ей дѣло до Дымова? Да существуетъ ли онъ въ природѣ и не сонъ ли онъ только?

«Для него, простого и обыкновеннаго человѣка, достаточно и того счастья, которое онъ уже получилъ, — думала она, закрывая лицо руками.—Пусть осуждаютъ *тамъ*, про-



клинають, а я вотъ на зло всѣмъ возьму и погибну, возьму вотъ и погибну... Надо испытать все въ жизни. Боже, какъ жутко и какъ хорошо!»

— Ну что? Что? — бормотала художникъ, обнимая ее и жадно цѣлуя руки, которыми она слабо пыталась отстранить его отъ себя. — Ты меня любишь? Да? Да? О, какая ночь! Чудная ночь!

— Да, какая ночь! — прошептала она, глядя ему въ глаза, блестящія отъ слезъ, потомъ быстро оглянулась, обняла его и крѣпко поцѣловала въ губы.

— Къ Кинешмѣ подходимъ! — сказалъ кто-то на другоѣй сторонѣ палубы.

Послышались тяжелые шаги. Это проходилъ мимо человѣкъ изъ буфета.

— Послушайте, — сказала ему Ольга Ивановна, смѣясь и плача отъ счастья, — принесите намъ вина.

Художникъ, блѣдный отъ волненія, сѣлъ на скамью, посмотрѣлъ на Ольгу Ивановну обожающими, благодарными глазами, потомъ закрылъ глаза и сказалъ, томно улыбаясь:

— Я усталъ.

И прислонился головою къ борту.

## V.

Второго сентября день былъ теплый и тихій, но пасмурный. Рано утромъ на Волгѣ бродилъ легкій туманъ, а послѣ девяти часовъ сталъ накрапывать дождь. И не было никакой надежды, что небо прояснится. За чаемъ Рябовскій говорилъ Ольгѣ Ивановнѣ, что живопись—самое неблагоприятное и самое скучное искусство, что онъ не художникъ, что одни только дураки думаютъ, что у него есть талантъ, и вдругъ, ни съ того, ни съ сего, схватилъ ножъ и поцарапалъ имъ свой самый лучший этюдъ. Послѣ чая онъ, мрачный, сидѣлъ у окна и смотрѣлъ на Волгу. А Волга уже была безъ блеска, тусклая, матовая, холодная на видъ. Все,

все напоминало о приближеніи тоскливой, хмурой осени. И казалось, что роскошные зеленые ковры на берегахъ, алмазные отраженія лучей, прозрачную синюю даль и все щегольское и парадное природа сняла теперь съ Волги и уложила въ сундуки до будущей весны, и вороны летали около Волги и дразнили ее: «Голая! голая!» Рябовскій слушалъ ихъ карканье и думалъ о томъ, что онъ уже выдохся и потерялъ талантъ, что все на этомъ свѣтѣ условно, относительно и глупо, и что не слѣдовало бы связывать себя съ этой женщиной... Однимъ словомъ, онъ былъ не въ духѣ и хандрить.

Ольга Ивановна сидѣла за перегородкой на кровати и, перебирая пальцами свои прекрасные льняные волосы, воображала себя то въ гостиной, то въ спальнѣ, то въ кабинетѣ мужа; воображеніе уносило ее въ театръ, къ портнихѣ и къ знаменитымъ друзьямъ. Что-то они подѣлываютъ теперь? Вспоминаютъ ли о ней? Сезонъ уже начался, и пора бы подумать о вечеринкахъ. А Дымовъ? Милый Дымовъ! Какъ кротко и дѣтски-жалобно онъ проситъ ее въ своихъ письмахъ поскорѣ ѣхать домой! Каждый мѣсяцъ онъ высылалъ ей по 75 рублей, а когда она написала ему, что задолжала художникамъ сто рублей, то онъ прислалъ ей и эти сто. Какой добрый, великодушный человекъ! Путешествіе утомило Ольгу Ивановну, она скучала, и ей хотѣлось поскорѣ уйти отъ этихъ мужиковъ, отъ запаха рѣчной сырости и сбросить съ себя это чувство физической нечистоты, которое она испытывала все время, живя въ крестьянскихъ избахъ и кочуя изъ села въ село. Если бы Рябовскій не далъ честнаго слова художникамъ, что онъ проживетъ съ ними здѣсь до 20 сентября, то можно было бы уѣхать сегодня же. И какъ бы это было хорошо!

— Боже мой, — простоналъ Рябовскій, — когда же наконецъ будетъ солнце? Не могу же я солнечный пейзажъ продолжать безъ солнца!..

— А у тебя есть этюдъ при облачномъ небѣ, — сказала Ольга Ивановна, выходя изъ-за перегородки. — Помнишь, на правомъ планѣ лѣсъ, а на лѣвомъ—стадо коровъ и гуси. Теперь ты могъ бы его кончить.

— Э! — поморщился художникъ. — Кончить! Неужели вы думаете, что самъ я такъ глушь, что не знаю, что мнѣ нужно дѣлать!

— Какъ ты ко мнѣ перемѣнился! — вздохнула Ольга Ивановна.

— Ну, и прекрасно.

У Ольги Ивановны задрожало лицо, она отошла къ печкѣ и заплакала.

— Да, недоставало только слезъ. Перестаньте! У меня тысячи причинъ плакать, однакоже, я не плачу.

— Тысячи причинъ! — всхлипнула Ольга Ивановна. — Самая главная причина, что вы уже тяготитесь мной. Да! — сказала она и зарыдала. — Если говорить правду, то вы стыдитесь нашей любви. Вы все стараетесь, чтобы художники не замѣтили, хотя этого скрыть нельзя, и имъ все давно уже извѣстно.

— Ольга, я объ одномъ прошу васъ, — сказалъ художникъ умоляюще и приложивъ руку къ сердцу, — объ одномъ: не мучьте меня! Больше мнѣ отъ васъ ничего не нужно!

— Но поглянитесь, что вы меня все еще любите!

— Это мучительно! — процѣдилъ сквозь зубы художникъ и вскочилъ. — Кончится тѣмъ, что я брошусь въ Волгу или сойду съ ума! Оставьте меня!

— Ну, убейте, убейте меня! — крикнула Ольга Ивановна. — Убейте!

Она опять зарыдала и пошла за перегородку. На соломенной крышѣ избы зашуршала дождь. Рябовскій схватилъ себя за голову и прошелся изъ угла въ уголь, потомъ съ рѣшительнымъ лицомъ, какъ будто желая что-то кому-то

доказать, надѣлъ фуражку, перекинулъ черезъ плечо ружье и вышелъ изъ избы.

По уходѣ его, Ольга Ивановна долго лежала на кровати и плакала. Сначала она думала о томъ, что хорошо бы отравиться, чтобы вернувшійся Рябовскій засталъ ее мертвою, потомъ же она унеслась мыслями въ гостиную, въ кабинетъ мужа и вообразила, какъ она сидитъ неподвижно рядомъ съ Дымовымъ и наслаждается физическимъ покоемъ и чистотой, и какъ вечеромъ сидитъ въ театрѣ и слушаетъ Мазини. И тоска по цивилизаціи, по городскому шуму и извѣстнымъ людямъ защемила ее сердце. Въ избу вошла баба и стала не спѣша топить печь, чтобы готовить обѣдъ. Запахло гарью, и воздухъ посинѣлъ отъ дыма. Приходили художники въ высокихъ грязныхъ сапогахъ и съ мокрыми отъ дождя лицами, разсматривали этюды и говорили себѣ въ утѣшеніе, что Волга даже и въ дурную погоду имѣетъ свою прелесть. А дешевые часы на стѣнкѣ: тикъ-тикъ-тикъ... Озябшія мухи столпились въ переднемъ углу около сбаровъ и жужжать, и слышно, какъ подъ лавками въ толстыхъ папкахъ возятся прусаки...

Рябовскій вернулся домой, когда заходило солнце. Онъ бросилъ на столъ фуражку и, блѣдный, замученный, въ грязныхъ сапогахъ, опустился на лавку и закрылъ глаза.

— Я усталъ... — сказалъ онъ и задвигалъ бровями, силясь поднять вѣки.

Чтобы приласкаться къ нему и показать, что она не сердится, Ольга Ивановна подошла къ нему, молча поцѣловала и провела гребенкой по его бѣлокурымъ волосамъ. Ей захотѣлось причесать его.

— Что такое?—спросилъ онъ, вздрогнувъ, точно къ нему прикоснулись чѣмъ-то холоднымъ, и открылъ глаза. — Что такое? Оставьте меня въ покоѣ, пропну васъ.

Онъ отстранилъ ее руками и отошелъ, и ей показалось, что лицо его выражало отвращеніе и досаду. Въ это время

баба осторожно несла ему въ обѣихъ рукахъ тарелку со щами, и Ольга Ивановна видѣла, какъ она обмочила во щажъ свои большіе пальцы. И грязная баба съ перетянутымъ животомъ, и щи, которыя стали жадно ѣсть Рябовскій, и изба, и вся эта жизнь, которую вначалѣ она такъ любила за простоту и художественный беспорядокъ, показались ей теперь ужасными. Она вдругъ почувствовала себя оскорбленной и сказала холодно:

— Намъ нужно разстаться на нѣкоторое время, а то отъ скуки мы можемъ серьезно поссориться. Миѣ это надоѣло. Сегодня я уѣду.

— На чемъ? На палочкѣ верхомъ?

— Сегодня четвергъ, значить, въ половинѣ десятаго придетъ пароходъ.

— А? Да, да... Ну что жъ, поѣзжай... — сказалъ мягко Рябовскій, утираясь вмѣсто салфетки полотенцемъ. — Тебѣ здѣсь скучно и дѣлать нечего, и надо быть большимъ эгоистомъ, чтобы удерживать тебя. Поѣзжай, а послѣ двадцатаго увидимся.

Ольга Ивановна укладывалась весело, и даже щеки у нея разгорѣлись отъ удовольствія. Неужели это правда, — спрашивала она себя, — что скоро она будетъ писать въ гостиной, а спать въ спальнѣ и обѣдать со скатертью? У нея отлегло отъ сердца, и она уже не сердилась на художника.

— Краски и кисти я оставлю тебѣ, Рябуша, — говорила она. — Что останется, привезешь... Смотри же, безъ меня тутъ не лѣнись, не хандри, а работай. Ты у меня молодчина, Рябуша.

Въ десять часовъ Рябовскій, на прощанье, поцѣловаль ее для того, какъ она думала, чтобы не цѣловать на пароходѣ при художникахъ, и проводилъ на пристань. Подошелъ скоро пароходъ и увезъ ее.

Приѣхала она домой черезъ двое съ половиной сутокъ. Не снимая шляпы и ватерпруфа, тяжело дыша отъ волне-

нiя, она прошла въ гостиную, а оттуда въ столовую. Дымовъ безъ сюртука, въ разстегнутой жилеткѣ сидѣлъ за столомъ и точилъ ножъ о вилку; передъ нимъ на тарелкѣ лежалъ рябчикъ. Когда Ольга Ивановна входила въ квартиру, она была убѣждена, что необходимо скрыть все отъ мужа и что на это хватитъ у нея умѣнья и силы, но теперь, когда она увидѣла широкую, кроткую, счастливую улыбку и блестящiе радостные глаза, она почувствовала, что скрывать отъ этого человѣка такъ же подло, отвратительно и такъ же невозможно и не подъ силу ей, какъ оклеветать, украсть или убить, и она въ одно мгновенiе рѣшила рассказать ему все, что было. Давши ему поцѣловать себя и обнять, она опустилась передъ нимъ на колѣни и закрыла лицо.

— Что? Что, мама?—спросилъ онъ нѣжно.—Соскучилась?

Она подняла лицо, красное отъ стыда, и поглядѣла на него виновато и умоляюще, но страхъ и стыдъ помѣшали ей говорить правду.

— Ничего...—сказала она.—Это я такъ...

— Сядемъ, — сказалъ онъ, поднимая ее и усаживая за столъ. — Вотъ такъ... Кушай рябчика. Ты проголодалось, бѣдняжка.

Она жадно вдыхала въ себя родной воздухъ и ѣла рябчика, а онъ съ умиленiемъ глядѣлъ на нее и радостно смѣялся.

## VI.

Повидимому, съ середины зимы Дымовъ сталъ догадываться, что его обманываютъ. Онъ, какъ будто у него была совѣсть нечиста, не могъ уже смотрѣть женѣ прямо въ глаза, не улыбался радостно при встрѣчѣ съ нею и, чтобы меньше оставаться съ нею наединѣ, часто приводилъ къ себѣ обѣдать своего товарища Коростелева, маленькаго стриженаго человѣчка съ помятымъ лицомъ, который, когда

разговаривалъ съ Ольгой Ивановной, то отъ смущенія разстегивалъ всѣ пуговицы своего пиджака и опять ихъ застегивалъ и потомъ начиналъ правой рукой щипать свой лѣвый усъ. За обѣдомъ оба доктора говорили о томъ, что при высококомъ стояніи діафрагмы иногда бываютъ перебои сердца, или что множественные невриты въ послѣднее время наблюдаются очень часто, или что вчера Дымовъ, вскрывши трупъ съ діагностикой «злокачественная анемія», нашелъ ракъ поджелудочной железы. И казалось, что оба они вели медицинскій разговоръ только для того, чтобы дать Ольгѣ Ивановнѣ возможность молчать, т. е. не лгать. Послѣ обѣда Коростелевъ садился за рояль, а Дымовъ вздыхалъ и говорилъ ему:

— Эхъ, братъ! Ну, да что! Сыграй-ка что-нибудь печальное.

Поднявъ плечи и широко разставивъ пальцы, Коростелевъ бралъ нѣсколько аккордовъ и начиналъ пѣть теноромъ «Укажи мнѣ такую обитель, гдѣ бы русскій мужикъ не стоялъ», а Дымовъ еще разъ вздыхалъ, подпиралъ голову кулакомъ и задумывался.

Въ послѣднее время Ольга Ивановна вела себя крайне неосторожно. Каждое утро она просыпалась въ самомъ дурномъ настроеніи и съ мыслью, что она Рябовскаго уже не любитъ и что, слава Богу, все уже кончено. Но, написавшись кофе, она соображала, что Рябовскій отнялъ у нея мужа и что теперь она осталась безъ мужа и безъ Рябовскаго; потомъ она вспоминала разговоры своихъ знакомыхъ о томъ, что Рябовскій готовитъ къ выставкѣ нѣчто поразительное, смѣсь пейзажа съ жанромъ, во вкусѣ Подънова, отчего всѣ, кто бываетъ въ его мастерской, приходятъ въ восторгъ; но вѣдь это, думала она, онъ создалъ подъ ея вліяніемъ и вообще, благодаря ея вліянію, онъ сильно изменился къ лучшему. Вліяніе ея такъ благотворно и существенно, что, если она оставитъ его, то опъ, пожалуй, мо-

жетъ погибнуть. И вспоминала она также, что въ послѣдній разъ онъ приходилъ къ ней въ какомъ-то сѣромъ сюртучкѣ съ искрами и въ новомъ галстукѣ и спрашивалъ тожно: «Я красивъ?» И въ самомъ дѣлѣ, онъ, изящный, со своими длинными кудрями и съ голубыми глазами, былъ очень красивъ (или, быть-можетъ, такъ показалось) и былъ ласковъ съ ней.

Вспомнивъ про многое и сообразивъ, Ольга Ивановна одѣвалась и въ сильномъ волненіи ѣхала въ мастерскую къ Рябовскому. Она заставляла его веселымъ и восхищеннымъ своею, въ самомъ дѣлѣ, великолѣпною картиною; онъ прыгалъ, дурачился и на серьезные вопросы отвѣчалъ шутками. Ольга Ивановна ревновала Рябовскаго къ картинѣ и ненавидѣла ее, но изъ вѣжливости простаивала передъ картиною молча минутъ пять и, вздохнувъ, какъ вздыхаютъ передъ святыней, говорила тихо:

— Да, ты никогда не писалъ еще ничего подобнаго. Знаешь, даже страшно.

Потомъ она начинала умолять его, чтобы онъ любилъ ее, не бросалъ, чтобы пожалѣлъ ее бѣдную и несчастную. Она плакала, цѣловала ему руки, требовала, чтобы онъ клялся ей въ любви, доказывала ему, что безъ нея хорошаго вліянія онъ собьется съ пути и погибнетъ. И, испортивъ ему хорошее настроеніе духа и чувствуя себя униженной, она уѣзжала къ портнихѣ или къ знакомой актрисѣ хлопотать насчетъ билета.

Если она не заставляла его въ мастерской, то оставляла ему письмо, въ которомъ клялась, что, если онъ сегодня не придетъ къ ней, то она непременно отравится. Онъ трусилъ, приходилъ къ ней и оставался обѣдать. Не стѣняясь присутствіемъ мужа, онъ говорилъ ей дерзости, она отвѣчала ему тѣмъ же. Оба чувствовали, что они связываютъ другъ друга, что они деспоты и враги, и злились, и отъ злости не замѣчали, что оба они неприличны и что даже



стриженный Коростелевъ понимаетъ все. Послѣ обѣда Рябовскій спѣшилъ проститься и уйти.

— Куда вы идете?—спрашивала его Ольга Ивановна въ передней, глядя на него съ ненавистью.

Онъ, морщась и щуря глаза, называлъ какую-нибудь даму, общую знакомую, и было видно, что это онъ смѣется надъ ея ревностью и хочетъ досадить ей. Она шла къ себѣ въ спальню и леглась въ постель; отъ ревности, досады, чувства униженія и стыда она кусала подушку и начинала громко рыдать. Дымовъ оставлялъ Коростелева въ гостиной, шелъ въ спальню и, сконфуженный, растерянный, говорилъ тихо:

— Не плачь громко, мама... Зачѣмъ? Надо молчать объ этомъ... Надо не подавать вида... Знаешь, что случилось, того уже не поправишь.

Не зная, какъ усмирить въ себѣ тяжелую ревность, отъ которой даже въ вискахъ ломило, и думая, что еще можно поправить дѣло, она умывалась, пудрила заплаканное лицо и летѣла къ знакомой дамѣ. Не заставъ у нея Рябовскаго, она ѣхала къ другой, потомъ къ третьей... Сначала ей было стыдно такъ ѣздить, но потомъ она привыкла, и случалось, что въ одинъ вечеръ она объѣзжала всѣхъ знакомыхъ женщинъ, чтобы отыскать Рябовскаго, и всѣ понимали это.

Однажды она сказала Рябовскому про мужа:

— Этотъ человѣкъ гнететъ меня своимъ великодушiемъ!

Эта фраза ей такъ понравилась, что, встрѣчаясь съ художниками, которые знали объ ея романѣ съ Рябовскимъ, она всякій разъ говорила про мужа, дѣлая энергическiй жестъ рукой:

— Этотъ человѣкъ гнететъ меня своимъ великодушiемъ!

Порядокъ жизни былъ такой же, какъ въ прошломъ году. По средамъ бывали вечеринки. Артистъ читалъ, художники рисовали, виолончелистъ игралъ, пѣвецъ пѣлъ, и неизмѣнно

въ половинѣ двѣнадцатаго открывалась дверь, ведущая къ столовую, и Дымовъ, улыбаясь, говорилъ:

— Пожалуйте, господа, закусить.

Попрежнему Ольга Ивановна искала великихъ людей, находила и не удовлетворялась и опять искала. Попрежнему она каждый день возвращалась поздно ночью, но Дымовъ уже не спалъ, какъ въ прошломъ году, а сидѣлъ у себя въ кабинетѣ и что-то рабсталъ. Ложился онъ часа въ три, а вставалъ въ восемь.

Однажды вечеромъ, когда она, собираясь въ театръ, стояла передъ трюмо, въ спальню вошелъ Дымовъ во фракъ и въ бѣломъ галстукѣ. Онъ кротко улыбался и, какъ прежде, радостно смотрѣлъ женѣ прямо въ глаза. Лицо его сияло.

— Я сейчасъ диссертацию защищалъ,—сказалъ онъ, садясь и поглаживая колѣна.

— Защитилъ?—спросила Ольга Ивановна.

— Ого!—засмѣялся онъ и выткнулъ шею, чтобы увидѣть въ зеркалѣ лицо жены, которая продолжала стоять къ нему спиной и поправлять прическу. — Ого! — повторилъ онъ. — Знаешь, очень возможно, что мнѣ предложить привать-доцентуру по общей патологiи. Этимъ пахнетъ.

Видно было по его блаженному, сияющему лицу, что, если бы Ольга Ивановна раздѣлила съ нимъ его радость и торжество, то онъ простилъ бы ей все, и настоящее и будущее, и все бы забылъ, но она не понимала, чтѣ значить привать-доцентура и общая патологiя, къ тому же боялась опоздать въ театръ и ничего не сказала.

Онъ посидѣлъ двѣ минуты, виновато улыбнулся и вышелъ.

## VII.

Это былъ безпокойнѣйшій день.

У Дымова сильно болѣла голова; онъ утромъ не пилъ чаю, не пошелъ въ больницу и все время лежалъ у себя въ кабинетѣ на турецкомъ диванѣ. Ольга Ивановна, по

обыкновенію, въ первомъ часу отправилась къ Рябовскому, чтобы показать ему свой этюдъ *nature morte* и спросить его, почему онъ вчера не приходилъ. Этюдъ казался ей ничтожнымъ, и написала она его только затѣмъ, чтобы имѣть лишній предлогъ сходить къ художникѣ.

Она вошла къ нему безъ звонка, и когда въ передней снимала калоши, ей послышалось, какъ будто въ мастерской что-то тихо пробѣжало, по-женски шурша платьемъ, и когда она поспѣшила заглянуть въ мастерскую, то увидѣла только кусокъ коричневой юбки, который мелькнулъ на мгновение и исчезъ за большою картиной, занавѣшенной вмѣстѣ съ мольбертомъ до пола чернымъ коленкоромъ. Сомнѣваться нельзя было, это пряталась женщина. Какъ часто сама Ольга Ивановна находила себѣ убѣжище за этой картиной! Рябовскій, повидимому, очень смущенный, какъ бы удивился ея приходу, протянулъ къ ней обѣ руки и сказалъ, натянуто улыбаясь:

— А-а-а! Очень радъ васъ видѣть. Что скажете хорошенькаго?

Глаза у Ольги Ивановны наполнились слезами. Ей было стыдно, горько, и она за миллионъ не согласилась бы говорить въ присутствіи посторонней женщины, соперницы, лгуни, которая стояла теперь за картиной и, вѣроятно, злорадно хихикала.

— Я принесла вамъ этюдъ... — сказала она робко, топкимъ голоскомъ, и губы ея задрожали, — *nature morte*.

— А-а-а... этюдъ?

Художникъ взялъ въ руки этюдъ и, разсматривая его, какъ бы машинально прошелъ въ другую комнату.

Ольга Ивановна покорно шла за нимъ.

— *Nature morte*... первый сортъ, — бормоталъ онъ, подбирая риѣму, — курортъ... чортъ... портъ...

Изъ мастерской послышались торопливые шаги и шуршанье платья. Значить, она ушла. Ольгѣ Ивановнѣ хотѣ-

лесь громко крикнуть, ударить художника по головѣ чѣмъ-нибудь тяжелымъ и уйти, но она ничего не видѣла сквозь слезы, была подавлена своимъ стыдомъ и чувствовала себя ужъ не Ольгой Ивановной и не художницей, а маленькою козявкой.

— Я усталъ...—томно проговорилъ художникъ, глядя на этюдъ и встряхивая головой, чтобы побороть дремоту.—Это мило, конечно, но и сегодня этюдъ, и въ прошломъ году этюдъ, и черезъ мѣсяцъ будетъ этюдъ... Какъ вамъ не наскучить? Я бы на вашемъ мѣстѣ бросилъ живопись и занялся серьезно музыкой или чѣмъ-нибудь. Вѣдь вы не художница, а музыкантша. Однако, знаете, какъ я усталъ! Я сейчасъ скажу, чтобы дали чаю... А?

Онъ вышелъ изъ комнаты, и Ольга Ивановна слышала, какъ онъ что-то приказывалъ своему лакею. Чтобы не прощѣться, не объясняться, а главное не зарыдать, она, пока не вернулся Рябовскій, поскорѣ побѣжала въ переднюю, надѣла калоши и вышла на улицу. Тутъ она легко вздохнула и почувствовала себя навсегда свободной и отъ Рябовскаго, и отъ живописи, и отъ тяжелаго стыда, который такъ давилъ ее въ мастерской. Все кончено!

Она побѣжала къ портнихѣ, потомъ къ Барнаю, который только вчера пріѣхалъ, отъ Барнаи — къ нотный магазинъ, и все время она думала о томъ, какъ она напишетъ Рябовскому холодное, жесткое, полное собственного достоинства письмо, и какъ весною или лѣтомъ она побѣдетъ съ Дымовымъ въ Крымъ, освободится тамъ окончательно отъ прошлаго и начнетъ новую жизнь.

Вернувшись домой поздно вечеромъ, она, не передѣваясь, сѣла въ гостиной сочинять письмо. Рябовскій сказалъ ей, что она не художница, и она въ отместку напишетъ ему теперь, что онъ каждый годъ пишетъ все одно и то же и каждый день говорить одно и то же, что онъ застылъ, и что изъ него не выйдетъ ничего, кромѣ того, что уже вышло.

Ей хотѣлось написать также, что онъ многимъ обязанъ ея хорошему вліянію, а если онъ поступаетъ дурно, то это только потому, что ея вліяніе парализуется разными двусмысленными особами, въ родѣ той, которая сегодня пряталась за картину.

— Мама! — позвать изъ кабинета Дымовъ, не отворяя двери. — Мама!

— Что тебѣ?

— Мама, ты не входи ко мнѣ, а только подойди къ двери. — Вотъ что... Третьяго дня я заразился въ больницѣ дифтеритомъ и теперь... мнѣ нехорошо. Пошли поскорѣе за Коростелевымъ.

Ольга Ивановна всегда звала мужа, какъ всѣхъ знакомыхъ мужчинъ, не по имени, а по фамиліи; его имя Осипъ не нравилось ей, потому что напоминало гоголевскаго Осипа и каламбуръ: «Осипъ охрипъ, а Архипъ осипъ». Теперь же она вскрикнула:

— Осипъ, это не можетъ быть!

— Пошли! Мнѣ нехорошо... — сказала за дверью Дымовъ, и слышно было, какъ онъ подошелъ къ дивану и легъ. — Пошли! — глухо послышался его голосъ.

«Что же это такое? — подумала Ольга Ивановна, холодея отъ ужаса. — Вѣдь это опасно!»

Безъ всякой надобности она взяла свѣчу и пошла къ себѣ въ спальню и тутъ, соображая, что ей нужно дѣлать, печально поглядѣла на себя въ трюмо. Съ блѣднымъ, испуганнымъ лицомъ, въ жакетѣ съ высокими рукавами, съ желтыми воланами на груди и съ необыкновеннымъ направлениемъ полосъ на юбкѣ, она показала себѣ страшной и гадкой. Ей вдругъ стало до боли жаль Дымова, его безграничной любви къ ней, его молодой жизни и даже этой его осиротѣлой постели, на которой онъ давно уже не спалъ, и вспоминалась ей его обычная, кроткая, покорная улыбка. Она горько заплакала и написала Коростелеву умоляющее письмо. Было два часа ночи.

VIII.

Когда въ восьмомъ часу утра Ольга Ивановна, съ тяжелою отъ бессонницы головой, непричесанная, некрасивая и съ виноватымъ выраженіемъ вышла изъ спальни, мимо нея прошелъ въ переднюю какой-то господинъ съ черною бородой, повидимому, докторъ. Пахло лѣгкарствами. Около двери въ кабинетъ стоялъ Коростелевъ и правою рукой крутилъ лѣвый усъ.

— Къ нему, извините, я васъ не пушу, — угрюмо сказалъ онъ Ольгѣ Ивановнѣ.—Заразиться можно. Да и не къ чему вамъ, въ сущности. Онъ все равно въ бреду.

— У него настоящій дифтеритъ? — спросила шопотомъ Ольга Ивановна.

— Тѣхъ, кто на рожонъ лѣзетъ, по настоящему подь судъ отдавать надо, — пробормоталъ Коростелевъ, не отвѣчая на вопросъ Ольги Ивановны.—Знаете, отчего онъ зарылся? Во вторникъ у мальчика высасывалъ черезъ трубочку дифтеритныя пленки. А къ чему? Глупо... Такъ, сдуру...

• — Опасно? Очень?—спросила Ольга Ивановна.

— Да, говорятъ, что форма тяжелая. Надо бы за Шрекомъ послать, въ сущности.

Приходилъ маленькій, рыженькій, съ длиннымъ носомъ и съ еврейскимъ акцентомъ, потомъ высокій, сутулый, лохматый, похожій на протодьякона; потомъ молодой, очень полный, съ краснымъ лицомъ и въ очкахъ. Это врачи приходили дежурить около своего товарища. Коростелевъ, отдежуривъ свое время, не уходилъ домой, а оставался и, какъ тѣнь, бродилъ по всѣмъ комнатамъ. Горничная подавала дежурившимъ докторамъ чай и часто бѣгала въ аптеку, и некому было убрать комнаты. Было тихо и уныло.

Ольга Ивановна сидѣла у себя въ спальнѣ и думала о томъ, что это Богъ се наказываетъ за то, что она обманы-

вала мужа. Молчаливое, безропотное, непопятное существо, обезличенное своею кротостью, безхарактерное, слабое отъ излишней доброты, глухо страдало гдѣ-то тамъ у себя на диванѣ и не жаловалось. А если бы оно пожаловалось, хотя бы въ бреду, то дежурные доктора узнали бы, что виновать тутъ не одинъ только дифтеритъ. Спросили бы они Коростелева: онъ знаетъ все и не даромъ на жену своего друга смотреть такими глазами, какъ будто она-то и есть самая главная, настоящая злодѣйка, а дифтеритъ только ея сообщникъ. Она уже не помнила ни луннаго вечера на Волгѣ, ни объясненій въ любви, ни поэтической жизни въ избѣ, а помнила только, что она изъ пустой прихоти, изъ баловства, вся, съ руками и съ ногами, вымазалась во что-то грязное, липкое, отъ чего никогда ужъ не отмоешься...

«Ахъ, какъ я страшно солгала!—думала она, вспоминая о безпокойной любви, какая у нея была съ Рябовскимъ.— Будь оно все проклято!..»

Въ четыре часа она обѣдала вмѣстѣ съ Коростелевымъ. Онъ ничего не ѣлъ, пилъ только красное вино и хмурился. Она тоже ничего не ѣла. То она мысленно молилась и давала обѣтъ Богу, что если Дымовъ выздоровѣетъ, то она полюбитъ его опять и будетъ вѣрною женой. То, забывшись на минуту, она смотрѣла на Коростелева и думала: «Неужели не скучно быть простымъ, ничѣмъ не замѣчательнымъ, неизвѣстнымъ человѣкомъ, да еще съ такимъ помятымъ лицомъ и съ дурными манерами?» То ей казалось, что ее сію минуту убьетъ Богъ за то, что она, боясь заразиться, ни разу еще не была въ кабинетѣ у мужа. А въ общемъ было тупое унылое чувство и увѣренность, что жизнь уже испорчена и что ничѣмъ ея не исправишь...

Послѣ обѣда наступили потемки. Когда Ольга Ивановна вышла въ гостиную, Коростелевъ спалъ на кушеткѣ, подложивъ подъ голову шелковую подушку, шитую золотомъ. «Кхи-пуа...—храпѣлъ онъ,—кхи-пуа».

И доктора, приходившіе дежурить и уходившіе, не замѣчали этого безпорядка. То, что чужой человѣкъ спалъ въ гостиной и храпѣлъ, и этюды на стѣнахъ, и причудливая обстановка, и то, что хозяйка была непричесана и неряшливо одѣта — все это не возбуждало теперь ни малѣйшаго интереса. Одинъ изъ докторовъ нечаянно чему-то засмѣялся, и какъ-то странно и робко прозвучалъ этотъ смѣхъ, даже жутко сдѣлалось.

Когда Ольга Ивановна въ другой разъ вышла въ гостиную, Коростелевъ уже не спалъ, а сидѣлъ и курилъ.

— У него дифтеритъ носовой полости, — сказалъ онъ полголоса. — Уже и сердце не важно работаетъ. Въ сущности, плохи дѣла.

— А вы пошлите за Шрекомъ, — сказала Ольга Ивановна.

— Былъ уже. Онъ-то и замѣтилъ, что дифтеритъ перешелъ въ носъ. Э, да что Шрекъ! Въ сущности, ничего Шрекъ. Онъ Шрекъ, я Коростелевъ — и больше ничего.

Время тянулось ужасно долго. Ольга Ивановна лежала одѣтая въ неубранной съ утра постели и дремала. Ей чудилось, что вся квартира отъ полу до потолка занята громаднымъ кускомъ желѣза, и что стоить только вынести вонъ желѣзо, какъ всѣмъ станетъ весело и легко. Очнувшись, она вспомнила, что это не желѣзо, а болѣзнь Дымова.

«Nature morte, портъ... — думала она, опять впадая въ забытье, — спортъ... курортъ... А какъ Шрекъ? Шрекъ, грекъ, врекъ... крекъ. А гдѣ-то теперь мои друзья? Знаютъ ли они, что у насъ горе? Господи, спаси... избави. Шрекъ, грекъ...»

И опять желѣзо... Время тянулось длинно, а часы въ нижнемъ этажѣ били часто. И то и дѣло слышались звонки; приходили доктора... Вошла горничная съ пустымъ стаканомъ на подносѣ и спросила:

— Барыня, постель прикажете постлать?

И, не получивъ отвѣта, вышла. Пробили внизу часы, приснился дождь на Волгѣ, и опять кто-то вошелъ въ



спальню, кажется, посторонній. Ольга Ивановна вскочила и узнала Коростелева.

— Который час?—спросила она.

— Около трехъ.

— Ну что?

— Да что! Я пришелъ сказать: кончается...

Онъ всхлипнулъ, сѣлъ на кровать рядомъ съ ней и вытеръ слезы рукавомъ. Она сразу не поняла, но вся похолодѣла и стала медленно креститься.

— Кончается... — повторилъ онъ тонкимъ голоскомъ и опять всхлипнулъ.—Умираетъ, потому что пожертвовалъ собой... Какая потеря для науки!—сказалъ онъ съ горечью.— Это, если всѣхъ насъ сравнить съ нимъ, былъ великій, необыкновенный человекъ! Какія дарованія! Какія надежды онъ подавалъ намъ всѣмъ!—продолжалъ Коростелевъ, ломая руки.—Господи Боже мой, это былъ бы такой ученый, казого теперь съ огнемъ не найдешь. Оська Дымовъ, Оська Дымовъ, что ты надѣлалъ! Ай-ай, Боже мой!

Коростелевъ въ отчаяніи закрылъ обѣими руками лицо и покачалъ головой.

— А какая нравственная сила! — продолжалъ онъ, все больше и больше озлобляясь на кого-то.—Добрая, чистая, любящая душа — не человекъ, а стекло! Служилъ наукѣ и умеръ отъ науки. А работалъ, какъ волъ, день и ночь, никто его не щадилъ, и молодой ученый, будущій профессоръ, долженъ былъ искать себѣ практику и по ночамъ заниматься переводами, чтобы платить вотъ за эти... подлыя тряпки!

Коростелевъ поглядѣлъ съ ненавистью на Ольгу Ивановну, ухватился за простыню обѣими руками и сердито рванулъ, какъ будто она была виновата.

— И самъ себя не щадилъ, и его не щадили. Э, да что, въ сущности!

— Да, рѣдкій человекъ! — сказалъ кто-то басомъ въ гостиной.

Ольга Ивановна вспомнила всю свою жизнь съ нимъ, отъ начала до конца, со всѣми подробностями, и вдругъ поняла, что это былъ въ самомъ дѣлѣ необыкновенный, рѣдкій и, въ сравненіи съ тѣми, кого она знала, великій человекъ. И вспомнивъ, какъ къ нему относились ея покойный отецъ и всѣ товарищи-врачи, она поняла, что всѣ они видѣли въ немъ будущую знаменитость. Стѣны, потолокъ, лампа и коверъ на полу замигали ей насмѣшливо, какъ бы желая сказать: «Прозѣвала! прозѣвала!» Она съ плачемъ бросилась изъ спальни, шмыгнула въ гостиную мимо какого-то незнакомаго человека и вбѣжала въ кабинетъ къ мужу. Онъ лежалъ неподвижно на турецкомъ диванѣ, покрытый до пояса одѣяломъ. Лицо его страшно осунулось, похудѣло и имѣло сѣровато-желтый цвѣтъ, какого никогда не бываетъ у живыхъ; и только по лбу, по чернымъ бровямъ, да по знакомой улыбкѣ можно было узнать, что это Дымовъ. Ольга Ивановна быстро оцупала его грудь, лобъ и руки. Грудь еще была тепла, но лобъ и руки были неприятно холодны. И полуоткрытые глаза смотрѣли не на Ольгу Ивановну, а на одѣяло.

— Дымовъ!—позвала она громко.—Дымовъ!

Она хотѣла объяснить ему, что то была ошибка, что не все еще потеряно, что жизнь еще можетъ быть прекрасной и счастливой, что онъ рѣдкій, необыкновенный, великій человекъ, и что она будетъ всю жизнь благоговѣть предъ нимъ, молиться и испытывать священный страхъ...

— Дымовъ! — звала она его, трепля его за плечо и нѣвѣря тому, что онъ уже никогда не проснется. — Дымовъ, Дымовъ же!

А въ гостиной Коростелевъ говорилъ горничной:

— Да что тутъ спрашивать? Вы ступайте въ церковную сторожку и спросите, гдѣ живутъ богаделки. Онѣ и обмоютъ тѣло и уберутъ—все сдѣлаютъ, что нужно.



# ЧЕРНЫЙ МОНАХЪ.

## I.

Андрей Васильичъ Ковринъ, магистръ, утомился и разстроилъ себѣ нервы. Онъ не лѣчился, но какъ-то вскользь, за бутылкой вина, поговорилъ съ пріятелемъ докторомъ, и тотъ посовѣтовалъ ему провести весну и лѣто въ деревнѣ. Кстати же пришло длинное письмо отъ Тани Песоцкой, которая просила его пріѣхать въ Борисовку и погостить. И онъ рѣшилъ, что ему въ самомъ дѣлѣ нужно проѣхать.

Сначала — это было въ апрѣлѣ — онъ поѣхалъ къ себѣ, въ свою родовую Ковринку, и здѣсь прожилъ въ уединеніи три недѣли; потомъ, дождавшись хорошей дороги, отправился на лошадахъ къ своему бывшему опекуну и воспитателю Песоцкому, извѣстному въ Россіи садоводу. Отъ Ковринки до Борисовки, гдѣ жили Песоцкіе, считалось не больше семидесяти верстъ, и ѣхать по мягкой весенней дорогѣ въ покойной рессорной коляскѣ было истиннымъ наслажденіемъ.

Домъ у Песоцкаго былъ громадный, съ колоннами, со львами, на которыхъ облупилась штукатурка, и съ французскимъ лакеемъ у подъѣзда. Старинный паркъ, угрюмый и

строгий, разбитый на англійскій манеръ, тянулся чуть ли не на цѣлую версту отъ дома до рѣки и здѣсь оканчивался обрывистымъ, крутымъ глинистымъ берегомъ, на которомъ росли сосны съ обнажившимися корнями, похожими на мохнатыя лапы; внизу нелюдимо блестяла вода, носились съ жалобнымъ пискомъ кулики, и всегда тутъ было такое настроеніе, что хоть садись и балладу пиши. Зато около самаго дома, во дворѣ и въ фруктовомъ саду, который вмѣстѣ съ питомниками занималъ десятины тридцать, было весело и жизнерадостно даже въ дурную погоду. Такихъ удивительныхъ розъ, лилій, камелій, такихъ тюльпановъ всевозможныхъ цвѣтовъ, начиная съ ярко-бѣлаго и кончая чернымъ какъ сажа, вообще такого богатства цвѣтовъ, какъ у Песоцкаго, Коврину не случалось видѣть нигдѣ въ другомъ мѣстѣ. Весна была еще только въ началѣ, и самая настоящая роскошь цвѣтниковъ пряталась еще въ теплицахъ, но ужъ и того, что цвѣло вдоль аллей и тамъ и сямъ на клумбахъ, было достаточно, чтобы, гуляя по саду, почувствовать себя въ царствѣ нѣжныхъ красокъ, особенно въ ранніе часы, когда на каждомъ лепесткѣ сверкала роса.

То, что было декоративною частью сада и что самъ Песоцкій презрительно обзывалъ пустяками, производило на Коврина когда-то въ дѣтствѣ сказочное впечатлѣніе. Какихъ только тутъ не было причудъ, изысканныхъ уродствъ и издѣвательствъ надъ природой! Тутъ были шпалеры изъ фруктовыхъ деревьевъ, груша, имѣвшая форму пирамидальнаго тополя, шаровидные дубы и липы, зонть изъ яблони, арки, вензеля, канделябры и даже 1862 изъ сливъ—цифра, означавшая годъ, когда Песоцкій впервые занялся садоводствомъ. Попадались тутъ и красивыя стройныя деревца съ прямыми и крѣпкими, какъ у пальмъ, стволами, и, только пристально всмотрѣвшись, можно было узнать въ этихъ деревцахъ крыжовникъ или смородину. Но что больше

всего веселило въ саду и придавало ему оживленный видъ, такъ это постоянное движеніе. Отъ ранняго утра до вечера около деревьевъ, кустовъ, на аллеяхъ и клумбахъ, какъ муравьи, копошились люди съ тачками, мотыками, лейками...

Ковринъ пріѣхалъ къ Песоцкимъ вечеромъ, въ десятомъ часу. Таню и ея отца, Егора Семеныча, онъ засталъ въ большой тревогѣ. Ясное, звѣздное небо и термометръ пророчили морозъ къ утру, а между тѣмъ садовникъ Иванъ Карлычъ уѣхалъ въ городъ, и положиться было не на кого. Заужиномъ говорили только объ утренникѣ и было рѣшено, что Таня не ляжетъ спать и въ первомъ часу пройдетъ по саду и посмотритъ, все ли въ порядкѣ, а Егоръ Семенычъ встанетъ въ три часа и даже раньше.

Ковринъ просидѣлъ съ Таней весь вечеръ и послѣ полуночи отправился съ ней въ садъ. Было холодно. Во дворѣ уже сильно пахло гарью. Въ большомъ фруктовомъ саду, который назывался коммерческимъ и приносилъ Егору Семенычу ежегодно нѣсколько тысячъ чистаго дохода, стлался по землѣ черный, густой, ѣдкій дымъ и, обволакивая деревья, спасалъ отъ мороза эти тысячи. Деревья тутъ стояли въ шашечномъ порядкѣ, ряды ихъ были прямы и правильны, точно шеренги солдатъ, и эта строгая педантическая правильность и то, что всѣ деревья были одного роста и имѣли совершенно одинаковые кроны и стволы, дѣлала картину однообразной и даже скучной. Ковринъ и Таня прошли по рядамъ, гдѣ тлѣли костры изъ навоза, соломы и всякихъ отбросовъ, и изрѣдка имъ встрѣчались работники, которые бродили въ дыму, какъ тѣни. Цвѣли только вишни, сливы и нѣкоторые сорта яблонь, но весь садъ утопалъ въ дыму, и только около питомниковъ Ковринъ вздохнулъ полной грудью.

— Я еще въ дѣтствѣ чихалъ здѣсь отъ дыма, — сказалъ онъ, пожимая плечами, — но до сихъ поръ не понимаю, какъ это дымъ можетъ спасти отъ мороза.

— Дымъ замѣняетъ облака, когда ихъ нѣтъ...—отвѣтила Таня.

— А для чего нужны облака?

— Въ пасмурную и облачную погоду не бываетъ утренниковъ.

— Вотъ какъ!

Онъ засмѣялся и взялъ ее за руку. Бя широкое, очень серьезное, озябшее лицо съ тонкими черными бровями, поднятый воротникъ пальто, мѣшавшій ей свободно двигать головой, и вся она, худощавая, стройная, въ подобранномъ отъ росы платьѣ, умиляла его.

— Господи, она уже взрослая!—сказалъ онъ.—Когда я уѣзжалъ отсюда въ послѣдній разъ, пять лѣтъ назадъ, вы были еще совсѣмъ дитя. Вы были такая тощая, длинноногая, простоволосая, носили короткое платьице, и я дразнилъ васъ цаллей... Что дѣлаетъ время!

— Да, пять лѣтъ!—вздохнула Таня.—Много воды утекло съ тѣхъ поръ. Скажите, Андрюша, по совѣсти, — живо заговорила она, глядя ему въ лицо, — вы отвыкли отъ насъ? Впрочемъ, что же я спрашиваю? Вы мужчина, живете уже своею, интересною жизнью, вы величина... Отчужденіе такъ естественно! Но какъ бы ни было, Андрюша, мнѣ хочется, чтобы вы считали насъ своими. Мы имѣемъ на это право.

— Я считаю, Таня.

— Честное слово?

— Да, честное слово.

— Вы сегодня удивлялись, что у насъ такъ много вашихъ фотографій. Вѣдь вы знаете, мой отецъ обожаетъ васъ. Иногда мнѣ кажется, что васъ онъ любитъ больше, чѣмъ меня. Онъ гордится вами. Вы ученый, необыкновенный человѣкъ, вы сдѣлали себѣ блестящую карьеру, и онъ увѣренъ, что вы вышли такой оттого, что онъ воспиталъ васъ. Я не мѣшаю ему такъ думать. Пусть.

Уже начинался разсвѣтъ, и это особенно было замѣтно по той отчетливости, съ какою стали выдѣляться въ воздухѣ клубы дыма и кроны деревьевъ. Пѣли соловьи, и съ полей доносился крикъ перепеловъ.

— Однако, пора спать,—сказала Таня.—Да и холодно.— Она взяла его подъ руку. — Спасибо, Андрюша, что приѣхали. У насъ неинтересные знакомые, да и тѣхъ мало. У насъ только садъ, садъ, садъ,—и больше ничего. Штамбъ, полуштамбъ,—засмѣялась она,—апортъ, ранетъ, боровинка, окулировка, копулировка... Вся, вся наша жизнь ушла въ садъ, мнѣ даже ничего никогда не снится, кромѣ яблонь и грушъ. Конечно, это хорошо, полезно, но иногда хочется и еще чего-нибудь для разнообразія. Я помню, когда вы бывало приѣзжали къ намъ на каникулы или просто такъ, то въ домѣ становилось какъ-то свѣжѣе и свѣтлѣе, точно съ люстры и съ мебели чехлы снимали. Я была тогда дѣвочкой и все-таки понимала.

Она говорила долго и съ большимъ чувствомъ. Ему почему-то вдругъ пришло въ голову, что въ теченіе лѣта онъ можетъ привязаться къ этому маленькому, слабому, многогрѣчивому существу, увлечься и влюбиться, — въ положеніи ихъ обоихъ это такъ возможно и естественно! Эта мысль умилила и насмѣшила его; онъ нагнулся къ милому, озабоченному лицу и зашѣлъ тихо:

Онѣгинъ, я скрывать не стану,  
Безумно я люблю Татьяну...

Когда пришли домой, Егоръ Семенычъ уже всталъ. Коврину не хотѣлось спать, онъ разговорился со старикомъ и вернулся съ нимъ въ садъ. Егоръ Семенычъ былъ высокаго роста, широкъ въ плечахъ, съ большимъ животомъ и страдалъ одышкой, но всегда ходилъ такъ быстро, что за нимъ трудно было поспѣть. Видъ онъ имѣлъ крайне озабоченный, все куда-то торопился и съ такимъ выраженіемъ, какъ будто опоздай онъ хоть на одну минуту, то все погибло!

— Вотъ, братъ, исторія...— началъ онъ, останавливаясь, чтобы перевести духъ. — На поверхности земли, какъ видишь, морозъ, а подними на палкѣ термометръ сажени на двѣ повыше земли, тамъ тепло... Отчего это такъ?

— Право, не знаю,—сказалъ Ковринъ и засмѣялся.

— Гмъ... Всего знать нельзя, конечно... Какъ бы обширенъ умъ ни былъ, всего туда не помѣстишь. Ты вѣдь все больше насчетъ философіи?

— Да. Читаю психологію, занимаюсь же вообще философіей.

— И не прискучаетъ?

— Напротивъ, этимъ только я и живу.

— Ну дай Богъ... — проговорилъ Егоръ Семенычъ, въ раздумьѣ поглаживая свои сѣдые бакены. — Дай Богъ... Я за тебя очень радъ... радъ, братецъ...

Но вдругъ онъ прислушался и, сдѣлавши страшное лицо, побѣжалъ въ сторону и скоро исчезъ за деревьями, въ облакахъ дыма.

— Кто это привязалъ лошадь къ яблонѣ? — слышался его отчаянный, душу раздирающій крикъ. — Какой это мерзавецъ и каналья осмѣлился привязать лошадь къ яблонѣ? Боже мой, Боже мой! Перепортили, перемерзили, пересквернили, перепакостили! Пропалъ садъ! Погибъ садъ! Боже мой!

Когда онъ вернулся къ Коврину, лицо у него было изнеможенное, оскорбленное.

— Ну что ты подѣлаешь съ этимъ анаемскимъ народомъ? — сказалъ онъ плачущимъ голосомъ, разводя руками. — Степка возилъ ночью навозъ и привязалъ лошадь къ яблонѣ! Замоталъ, подлець, вожжищи туго-натуго, такъ что кора въ трехъ мѣстахъ потерлась. Какое! Говорю ему, а онъ—толкачъ толкачомъ и только глазами хлопаетъ! Повѣситъ мало!



Успокоившись, онъ обнялъ Коврина и поцѣловалъ въ щеку.

— Ну, дай Богъ... дай Богъ... — забормоталъ онъ. — Я очень радъ, что ты пріѣхалъ. Несказанно радъ... Спасибо.

Потомъ онъ все тою же быстрою походкой и съ озабоченнымъ лицомъ обошелъ весь садъ и показалъ своему бывшему воспитаннику всѣ оранжереи, теплицы, грунтовые сараи и свои двѣ пасѣки, которыя называлъ чудомъ нашего столѣтія.

Пока они ходили, взошло солнце и ярко освѣтило садъ. Стало тепло. Предчувствуя ясный, веселый, длинный день, Ковринъ вспомнилъ, что вѣдь это еще только начало мая и что еще впереди цѣлое лѣто, такое же ясное, веселое, длинное, и вдругъ въ груди его шевельнулось радостное молодое чувство, какое онъ испытывалъ въ дѣтствѣ; когда бѣгалъ по этому саду. И онъ самъ обнялъ старика и нѣжно поцѣловалъ его. Оба растроганные пошли въ домъ и стали пить чай изъ старинныхъ фарфоровыхъ чашекъ, со сливками, съ сытными, сдобными кренделями — и эти мелочи опять напомнили Коврину его дѣтство и юность. Прекрасное настоящее и просыпавшіяся въ немъ впечатлѣнія прошлаго сливались вмѣстѣ; отъ нихъ въ душѣ было тѣсно, но хорошо.

Онъ дождался, когда проснулась Таня, и вмѣстѣ съ нею напился кофе, погулялъ, потомъ пошелъ къ себѣ въ комнату и сѣлъ за работу. Онъ внимательно читалъ, дѣлалъ замѣтки и изрѣдка поднималъ глаза, чтобы взглянуть на открытыя окна или на свѣжіе, еще мокрые отъ росы цвѣты, стоявшіе въ вазахъ на столѣ, и опять опускалъ глаза въ книгу, и ему казалось, что въ немъ каждая жилочка дрожитъ и играетъ отъ удовольствія.

## II.

Въ деревнѣ онъ продолжалъ вести такую же нервную и безпокойную жизнь, какъ въ городѣ. Онъ много читалъ и

писалъ, учился итальянскому языку и, когда гулялъ, съ удовольствіемъ думалъ о томъ, что скоро опять сядетъ за работу. Онъ спалъ такъ мало, что всѣ удивлялись; если нечаянно уснетъ днемъ на полчаса, то уже потомъ не спитъ всю ночь и послѣ бессонной ночи, какъ ни въ чемъ не бывало, чувствуетъ себя бодро и весело.

Онъ много говорилъ, пилъ вино и курилъ дорогія сигары. Къ Песочкимъ часто, чуть ли не каждый день, пріѣзжали барышни-сосѣдки, которыя вмѣстѣ съ Таней играли на роялѣ и пѣли; иногда пріѣзжалъ молодой человѣкъ, сосѣдь, хорошо игравшій на скрипкѣ. Ковринъ слушалъ музыку и пѣніе съ жадностью и изнемогалъ отъ нихъ, и послѣднее выражалось физически тѣмъ, что у него слипались глаза и клонило голову на бокъ.

Однажды послѣ вечерняго чая онъ сидѣлъ на балконѣ и читалъ. Въ гостиной въ это время Таня—сопрано, одна изъ барышень—контральто и молодой человѣкъ на скрипкѣ разучивали извѣстную серенаду Брага. Ковринъ вслушивался въ слова — они были русскія, — и никакъ не могъ понять ихъ смысла. Наконецъ, оставивъ книгу и вслушавшись внимательно, онъ понялъ: дѣвушка, больная воображеніемъ, слышала ночью въ саду какіе-то таинственные звуки, до такой степени прекрасные и странные, что должна была признать ихъ гармоніей священной, которая намъ, смертнымъ, непонятна и потому обратно улетаетъ въ небеса. У Коврина стали слипаться глаза. Онъ всталъ и въ изнеможеніи прошелся по гостиной, потомъ по залѣ. Когда пѣніе прекратилось, онъ взялъ Таню подъ руку и вышелъ съ нею на балконъ.

— Меня сегодня съ самаго утра занимаетъ одна легенда,—сказалъ онъ.—Не помню, вычиталъ ли я ее откуда или слышалъ, но легенда какая-то странная, ни съ чѣмъ не сообразная. Начать съ того, что она не отличается ясностью. Тысячу лѣтъ тому назадъ какой-то монахъ, одѣ-

тый въ черное, шелъ по пустынѣ, гдѣ-то въ Сирии или Аравіи... За нѣсколько миль отъ того мѣста, гдѣ онъ шелъ, рыбаки видѣли другого чернаго монаха, который медленно двигался по поверхности озера. Этотъ второй монахъ былъ миражъ. Теперь забудьте всѣ законы оптики, которыхъ легенда, кажется, не признаетъ, и слушайте дальше. Отъ миража получился другой миражъ, потомъ отъ другого третій, такъ что образъ чернаго монаха сталъ безъ конца передаваться изъ одного слоя атмосферы въ другой. Его видѣли то въ Африкѣ, то въ Испаніи, то въ Индіи, то на Дальнемъ Сѣверѣ... Наконецъ, онъ вышелъ изъ предѣловъ земной атмосферы и теперь блуждаетъ по всей вселенной, все никакъ не попадая въ тѣ условія, при которыхъ онъ могъ бы померкнуть. Быть-можетъ, его видятъ теперь гдѣ-нибудь на Марсѣ или на какой-нибудь звѣздѣ Южнаго Креста. Но, милая моя, самая суть, самый гвоздь легенды заключается въ томъ, что ровно черезъ тысячу лѣтъ послѣ того, какъ монахъ шелъ по пустынѣ, миражъ опять попадетъ въ земную атмосферу и покажется людямъ. И будто бы эта тысяча лѣтъ уже на исходѣ... По смыслу легенды, чернаго монаха мы должны ждать не сегодня—завтра.

— Странный миражъ,—сказала Таня, которой не понравилась легенда.

— Но удивительнѣе всего,—засмѣялся Ковринъ,—что я никакъ не могу вспомнить, отъуда попала мнѣ въ голову эта легенда. Читалъ гдѣ? Слышалъ? Или, быть-можетъ, черныи монахъ снился мнѣ? Клянусь Богомъ, не помню. Но легенда меня занимаетъ. Я сегодня о ней цѣлый день думаю.

Отпустивъ Таню къ гостямъ, онъ вышелъ изъ дому и въ раздумьѣ прошелся около клумбъ. Уже садилось солнце. Цвѣты, оттого, что ихъ только что полили, издавали влажный, раздражающій запахъ. Въ домѣ опять зазвѣли, и издали скрипка производила впечатлѣніе человѣческаго го-

лоса. Ковринъ, напрягая мысль, чтобы вспомнить, гдѣ онъ слышалъ или читалъ легенду, направился, не сгѣша, въ паркъ и незамѣтно дошелъ до рѣки.

По тропинкѣ, бѣжавшей по крутому берегу мимо обпакженныхъ корней, онъ спустился внизъ къ водѣ, обезкокоилъ тутъ куликовъ, спугнулъ двухъ утокъ. На угрюмыхъ соснахъ кое-гдѣ еще отсвѣчивали послѣдніе лучи заходящаго солнца, но на поверхности рѣки былъ уже настоящій вечеръ. Ковринъ по лавамъ перешелъ на другую сторону. Передъ нимъ теперь лежало широкое поле, покрытое молодую, еще не цвѣтущею рожью. Ни человѣческаго жилья, ни живой души вдали, и кажется, что тропинка, если пойти по ней, приведетъ въ то самое неизвѣстное загадочное мѣсто, куда только что опустилось солнце, и гдѣ такъ широко и величаво пламенѣетъ вечерняя заря.

«Какъ здѣсь просторно, свободно, тихо!—думалъ Ковринъ, идя по тропинкѣ.—И кажется, весь міръ смотритъ на меня, притаился и ждетъ, чтобы я понялъ его...»

Но вотъ по ржи пробѣжали волны, и легкій вечерній вѣтерокъ нѣжно коснулся его непокрытой головы. Черезъ минуту опять порывъ вѣтра, но уже сильнѣе, — зашумѣла рожь, и послышался сзади глухой ропотъ сосенъ. Ковринъ остановился въ изумленіи. На горизонтѣ, точно вихрь или смерчъ, поднимался отъ земли до неба высокій черный столбъ. Контуръ у него были неясны, но въ первое же мгновеніе можно было понять, что онъ не стоялъ на мѣстѣ, а двигался съ страшною быстротой, двигался именно сюда, прямо на Коврина, и чѣмъ ближе онъ подвигался, тѣмъ становился все меньше и яснѣе. Ковринъ бросился въ сторону, въ рожь, чтобы дать ему дорогу, и едва успѣлъ это сдѣлать...

Монахъ въ черной одеждѣ, съ сѣдою головой и черными бровями, скрестивъ на груди руки, пронесся мимо... Босыя ноги его не касались земли. Уже пронесся сажени на

три, онъ оглянулся на Коврина, кивнулъ головой и улыбнулся ему ласково и въ то же время лукаво. Но какое блѣдное, страшно блѣдное, худое лицо! Опять начиная рasti, онъ пролетѣлъ черезъ рѣку, неслышно ударился о глинистый берегъ и сосны и, пройдя сквозь нихъ, исчезъ какъ дымъ.

— Ну, вотъ видите ли...— пробормоталъ Ковринъ.— Значить, въ легендѣ правда.

Не стараясь объяснить себѣ странное явленіе, довольный однимъ тѣмъ, что ему удалось такъ близко и такъ ясно видѣть не только черную одежду, но даже лицо и глаза монаха, пріятно взволнованный, онъ вернулся домой.

Въ паркѣ и въ саду покойно ходили люди, въ домѣ играли, — значить, только онъ одинъ видѣлъ монаха. Ему сильно хотѣлось рассказать обо всемъ Танѣ и Егору Семенову, но онъ сообразилъ, что они навѣрное сочтутъ его слова за бредъ, и это испугаетъ ихъ; лучше промолчать. Онъ громко смѣялся, пѣлъ, танцевалъ мазурку, ему было весело, и всѣ, гости и Таня, находили, что сегодня у него лицо какое-то особенное, лучезарное, вдохновенное, и что онъ очень интересенъ.

### III.

Послѣ ужина, когда уѣхали гости, онъ пошелъ къ себѣ въ комнату и легъ на диванъ: ему хотѣлось думать о монахѣ. Но черезъ минуту вошла Таня.

— Вотъ, Андрюша, почитайте статьи отца, — сказала она, подавая ему пачку брошюръ и оттисковъ.— Прекрасныя статьи. Онъ отлично пишетъ.

— Ну, ужъ и отлично! — говорилъ Егоръ Семеновъ, входя за ней и принужденно смѣясь; ему было совѣстно.— Не слушай, пожалуйста, не читай! Впрочемъ, если хочешь уснуть, то, пожалуй, читай: прекрасное снотворное средство.

— По моему, великолѣпныя статьи, — сказала Таня съ глубокимъ убѣжденіемъ. — Вы прочтите, Андриуша, и убѣдите папу писать почаще. Онъ могъ бы написать полный курсъ садоводства.

Егоръ Семенычъ напряженно захохоталъ, покраснѣлъ и сталъ говорить фразы, какія обыкновенно говорятъ конфузящіеся авторы. Наконецъ, онъ сталъ сдаваться.

— Въ такомъ случаѣ прочти сначала статью Гоше и вотъ эти русскія статейки, — забормоталъ онъ, перебирая дрожащими руками брошюры, — а то тебѣ будетъ непонятно. Прежде чѣмъ читать мои возраженія, надо знать, на что я возражаю. Впрочемъ ерунда... скучища. Да и спать пора, кажется.

Таня вышла. Егоръ Семенычъ подсѣлъ къ Коврину на диванъ и глубоко вздохнулъ.

— Да, братецъ ты мой... — началъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія. — Такъ-то, любезнѣйшій мой магистръ. Вотъ я и статьи пишу, и на выставкахъ участвую, и медали получаю... У Песоцкаго, говорятъ, яблоки съ голову, и Песоцкій, говорятъ, садомъ себѣ состояніе нажилъ. Однимъ словомъ, богатъ и славенъ Кочубей. Но спрашивается: къ чему все это? Садъ, дѣйствительно, прекрасный, образцовый... Это не садъ, а цѣлое учрежденіе, имѣющее высокую государственную важность, потому что это, такъ сказать, ступень въ новую эру русскаго хозяйства и русской промышленности. Но къ чему? Какая цѣль?

— Дѣло говорить само за себя.

— Я не въ томъ смыслѣ. Я хочу спросить: что будетъ съ садомъ, когда я помру? Въ томъ видѣ, въ какомъ ты видишь его теперь, онъ безъ меня не продержится и одного мѣсяца. Весь секретъ успѣха не въ томъ, что садъ великъ и рабочихъ много, а въ томъ, что я люблю дѣло — понимаешь? — люблю, быть-можетъ, больше чѣмъ самого себя. Ты посмотри на меня: я все самъ дѣлаю. Я работаю отъ

утра до ночи. Всѣ прививки я дѣлаю самъ, обрѣзку—самъ, посадки—самъ, все—самъ. Когда мнѣ помогаютъ, я ревную и раздражаюсь до грубости. Весь секретъ въ любви, то-есть въ зоркомъ хозяйскомъ глазѣ да въ хозяйскихъ рукахъ, ѣа въ томъ чувствѣ, когда поѣдешь куда-нибудь въ гости на часокъ, сидишь, а у самого сердце не на мѣстѣ, самъ не свой: боишься, какъ бы въ саду чего не случилось. А когда я умру, кто будетъ смотрѣть? Кто будетъ работать? Садовникъ? Работники? Да? Такъ вотъ что я тебѣ скажу, другъ любезный: первый врагъ въ нашемъ дѣлѣ не заяцъ, не хрущъ и не морозъ, а чужой человѣкъ.

— А Таня?—спросилъ Ковринъ, смѣясь.—Нельзя, чтобы она была вреднѣе, чѣмъ заяцъ. Она любить и понимаетъ дѣло.

— Да, она любить и понимаетъ. Если послѣ моей смерти ей достанется садъ, и она будетъ хозяйкой, то, конечно, лучшаго и желать нельзя. Ну, а если, не дай Богъ, она выйдетъ замужъ?—зашепталъ Егоръ Семенычъ и испуганно посмотрѣлъ на Коврина.—То-то вотъ и естъ! Выйдетъ замужъ, пойдутъ дѣти, тутъ уже о садѣ некогда думать. Я чего боюсь главнымъ образомъ: выйдетъ за какого-нибудь молодца, а тотъ сжадничаетъ и сдастъ садъ въ аренду торговкамъ, и все пойдетъ къ чорту въ первый же годъ! Въ нашемъ дѣлѣ бабы—бичъ Божій!

Егоръ Семенычъ вздохнулъ и помолчалъ немного.

— Можетъ, это и эгоизмъ, но откровенно говорю: не хочу, чтобы Таня шла замужъ. Боюсь! Тутъ къ намъ ѣздитъ одинъ фертъ со скрипкой и пиликаетъ; знаю, что Таня не пойдетъ за него, хорошо знаю, но видѣть его не могу! Вообще, братъ, я большой-таки чудакъ. Сознаюсь.

Егоръ Семенычъ всталъ и въ волненіи прошелся по комнатѣ, и видно было, что онъ хочетъ сказать что-то очень важное, но не рѣшается.

— Я тебя горячо люблю и буду говорить съ тобой откоро-

венно,—рѣшился онъ, наконецъ, засовывая руки въ карманы.—Къ нѣкоторымъ щекотливымъ вопросамъ я отношусь просто и говорю прямо то, что думаю, и терпѣть не могу такъ называемыхъ сокровенныхъ мыслей. Говорю прямо: ты единственный человѣкъ, за котораго я не побоялся бы выдать дочь. Ты человѣкъ умный, съ сердцемъ, и не дашь бы погибнуть моему любимому дѣлу. А главная причина — я тебя люблю какъ сына... и горжусь тобой. Если бы у васъ съ Таней наладился какъ-нибудь романъ; то—что жъ? я былъ бы очень радъ и даже счастливъ. Говорю это прямо, безъ жеманства, какъ честный человѣкъ.

Ковринъ засмѣялся. Егоръ Семеновичъ открылъ дверь, чтобы выйти, и остановился на порогѣ.

— Если бы у тебя съ Таней сынъ родился, то я бы изъ него садовода сдѣлалъ,—сказалъ онъ, подумавъ.—Впрочемъ, сіе есть мечтаніе пустое... Спокойной ночи.

Оставшись одинъ, Ковринъ легъ поудобнѣе и принялся за статьи. У одной было такое заглавіе: «О промежуточной культурѣ», у другой: «Нѣсколько словъ по поводу замѣтки г. Z. о перештыковкѣ почвы подъ новый садъ», у третьей: «Еще объ окулировкѣ спящимъ глазкомъ»—и все въ такомъ родѣ. Но какой непокойный, неровный тонъ, какой нервный, почти болѣзненный задоръ! Вотъ статья, кажется, съ самымъ мирнымъ заглавіемъ и безразличнымъ содержаніемъ: говорится въ ней о русской антоновской яблонѣ. Но начинается ее Егоръ Семенычъ съ «*audiatur altera pars*» и кончаетъ—«*sapientī sat*», а между этими изреченіями цѣлый фонтанъ разныхъ ядовитыхъ словъ по адресу «ученаго невѣжества нашихъ патентованныхъ гг. садоводовъ, наблюдающихъ природу съ высоты своихъ каедръ», или г. Гоше, «успѣхъ котораго созданъ профанами и дилетантами», и тутъ же некстати натянутое и неискреннее сожалѣніе, что мужиковъ, ворующихъ фрукты и ломающихъ при этомъ деревья, уже нельзя драть розгами.



«Дѣло красивое, милое, здоровое, но и тутъ страсти п война,—подумалъ Ковринъ.—Должно быть, вездѣ и на всѣхъ поприщахъ идейные люди нервы и отличаются повышенной чувствительностью. Вѣроятно, это такъ нужно».

Онъ вспомнилъ про Таню, которой такъ нравятся статьи Егора Семеныча. Небольшого роста, блѣдная, тощая, такъ что ключицы видно; глаза широко раскрытые, темные, умные, все куда-то вглядываются и чего-то ищутъ; походка какъ у отца, мелкая, торопливая. Она много говоритъ, любить поспорить, и при этомъ всякую даже незначительную фразу сопровождаетъ выразительною мимикой и жестикауляціей. Должно-быть, нервна въ высшей степени.

Ковринъ сталъ читать дальше, но ничего не понялъ и бросилъ. Пріятное возбужденіе, то самое, съ какимъ онъ давеча танцевалъ мазурку и слушалъ музыку, теперь томило его и вызывало въ немъ множество мыслей. Онъ поднялся и сталъ ходить по комнатѣ, думая о черномъ монахѣ. Ему пришло въ голову, что если этого страннаго, сверхъестественнаго монаха видѣлъ только онъ одинъ, то, значитъ, онъ боленъ и дошелъ уже до галлюцинацій. Это соображеніе испугало его, но не надолго.

«Но вѣдь мнѣ хорошо, и я никому не дѣлаю зла; значить, въ моихъ галлюцинаціяхъ нѣтъ ничего дурнаго», подумалъ онъ, и ему опять стало хорошо.

Онъ сѣлъ на диванъ и обнялъ голову руками, сдерживая непонятную радость, наполнявшую все его существо, потомъ опять прошелся и сѣлъ за работу. Но мысли, которыя онъ вычитывалъ изъ книги, не удовлетворяли его. Ему хотѣлось чего-то гигантскаго, необъятнаго, поражающаго. Подъ утро онъ раздѣлся и нехотя легъ въ постель: надо же было спать!

Когда послышались шаги Егора Семеныча, уходящаго въ садъ, Ковринъ позвонилъ и приказалъ лакею принести вина. Онъ съ наслажденіемъ выпилъ нѣсколько рюмокъ

лафита, потомъ укрылся съ головой; сознание его затуманилось, и онъ уснулъ.

#### IV.

Егоръ Семенычъ и Таня часто ссорились и говорили другъ другу неприятности.

Какъ-то утромъ они о чемъ-то повздорили. Таня заплакала и ушла къ себѣ въ комнату. Она не выходила ни обѣдать, ни чай пить. Егоръ Семенычъ сначала ходилъ важный, надутый, какъ бы желая дать понять, что для него интересы справедливости и порядка выше всего на свѣтѣ, но скоро не выдержалъ характера и палъ духомъ. Онъ печально бродилъ по парку и все вздыхалъ: «ахъ, Боже мой, Боже мой!» и за обѣдомъ не съѣлъ ни одной крошки. Наконецъ, виноватый, замученный совѣстью, онъ постучалъ въ запертую дверь и позвалъ робко:

— Таня! Таня?

И въ отвѣтъ ему изъ-за двери послышался слабый, изнеможенный отъ слезъ и въ то же время рѣшительный голосъ:

— Оставьте меня, прошу васъ.

Томленіе хозяевъ отражалось на всемъ домѣ; даже на людяхъ, которые работали въ саду. Ковринъ былъ погруженъ въ свою интересную работу, но подъ конецъ и ему стало скучно и неловко. Чтобы какъ-нибудь развѣять общее дурное настроеніе, онъ рѣшилъ вмѣшаться и передъ вечеромъ постучался къ Танѣ. Его впустили.

— Ай-ай, какъ стыдно!—началъ онъ шутливо, съ удивленіемъ глядя на заплаканное, покрытое красными пятнами, скорбное лицо Тани.—Неужели такъ серьезно? Ай-ай!

— Но если бы вы знали, какъ онъ меня мучить!—сказала она, и слезы, горючія, обильныя слезы брызнули изъ ея большихъ глазъ.—Онъ замучилъ меня!—продолжала она, ломая руки.—Я ему ничего не говорила... ничего... Я только сказала, что нѣтъ надобности держать... лишнихъ работни-

кого, если... если можно, когда угодно, имѣть поденщиковъ. Вѣдь... вѣдь работники уже цѣлую недѣлю ничего не дѣлаютъ... Я... я только это сказала, а онъ раскричался и наговорилъ мнѣ... много обиднаго, глубоко оскорбительнаго. За что?

— Полно, полно,—проговорилъ Ковринъ, поправляя ей прическу.—Побранились, поплакали и будетъ. Нельзя долго сердиться, это нехорошо... тѣмъ болѣе, что онъ васъ безконечно любитъ.

— Онъ мнѣ... мнѣ испортилъ всю жизнь, — продолжала Таня, всхлипывая.—Только и слышу одни оскорбленія и... и обиды. Онъ считаетъ меня лишней въ его домѣ. Что же? Онъ правъ. Я завтра уѣду отсюда, поступлю въ телеграфистки... Пусть...

— Ну, ну, ну... Не надо плакать, Таня. Не надо, милая... Вы оба вспыльчивы, раздражительны, и оба виноваты. Пойдемте, я васъ помирю.

Ковринъ говорилъ ласково и убѣдительно, а она продолжала плакать, вздрагивая плечами и сжимая руки, какъ будто ее въ самомъ дѣлѣ постигло страшное несчастье. Ему было жаль ея тѣмъ сильнѣе, что горе у нея было не серьезное, а страдала она глубоко. Какихъ пустяковъ было достаточно, чтобы сдѣлать это созданіе несчастнымъ на цѣлый день, да и пожалуй на всю жизнь! Утѣшая Таню, Ковринъ думалъ о томъ, что кромѣ этой дѣвушки и ея отца, во всемъ свѣтѣ днемъ съ огнемъ не сыщешь людей, которые любили бы его какъ своего, какъ родного; если бы не эти два человѣка, то, пожалуй, онъ, потерявшій отца и мать въ раннемъ дѣтствѣ, до самой смерти не узналъ бы, что такое искренняя ласка и та наивная, не разсуждающая любовь, какою питаютъ только къ очень близкимъ, кровнымъ людямъ. И онъ чувствовалъ, что его полубольнымъ, издерганнымъ нервамъ, какъ желѣзо магниту, отвѣчаютъ нервы этой плачущей, вздрагивающей дѣвушки. Онъ никогда

бы ужъ не могъ полюбить здоровую, крѣпкую, краснощеую женщину, но блѣдная, слабая, несчастная Таня ему нравилась.

И онъ охотно гладилъ ее по волосамъ и плечамъ, пожималъ ей руки и утиралъ слезы... Наконецъ, она перестала плакать. Она еще долго жаловалась на отца и на свою тяжелую, невыносимую жизнь въ этомъ домѣ, умоляя Коврина войти въ ея положеніе; потомъ стала мало-по-малу улыбаться и вздыхать, что Богъ послалъ ей такой дурной характеръ, въ концѣ-концовъ, громко разсмѣявшись, назвала себя дурой и выбѣжала изъ комнаты.

Когда немного погодя Ковринъ вышелъ въ садъ, Егоръ Семенычъ и Таня уже какъ ни въ чемъ не бывало гуляли рядышкомъ по аллеѣ и оба ѣли ржаной хлѣбъ съ солью, такъ какъ оба были голодны.

## V.

Довольный, что ему такъ удалась роль миротворца, Ковринъ пошелъ въ паркъ. Сидя на скамьѣ и размышляя, онъ слышалъ стукъ экипажей и женскій смѣхъ — это пріѣхали гости. Когда вечернія тѣни стали ложиться въ саду, неясно послышались звуки скрипки, поющіе голоса, и это напомнило ему про чернаго монаха. Гдѣ-то, въ какой странѣ или на какой планетѣ носится теперь эта оптическая несообразность?

Едва онъ вспомнилъ легенду и нарисовалъ въ своемъ воображеніи то темное привидѣніе, которое видѣлъ на ржаномъ полѣ, какъ изъ-за сосны, какъ разъ напротивъ, вышелъ неслышно, безъ малѣйшаго шороха, человѣкъ средняго роста съ непокрытою сѣдою головой, весь въ темномъ и босой; похожій на нищаго, и на его блѣдномъ, точно мертвомъ лицѣ рѣзко выдѣлялись черныя брови. Привѣтливо кивалъ головой, этотъ нищій или странникъ безшумно подошелъ къ скамьѣ и сѣлъ, и Ковринъ узналъ въ немъ чернаго монаха.

Минуту оба смотрѣли другъ на друга — Ковринъ съ изумленіемъ, а монахъ ласково и, какъ и тогда, немножко лукаво, съ выраженіемъ себѣ-на-умѣ.

— Но вѣдь ты миражъ, — проговорилъ Ковринъ. — Зачѣмъ же ты здѣсь и сидишь на одномъ мѣстѣ? Это не вяжется съ легендой.

— Это все равно, — отвѣтилъ монахъ не сразу, тихимъ голосомъ, обращаясь къ нему лицомъ. — Легенда, миражъ и я — все это продуктъ твоего возбужденнаго воображенія. Я — призракъ.

— Значитъ, ты не существуешь? — спросилъ Ковринъ.

— Думай, какъ хочешь, — сказалъ монахъ и слабо улыбнулся. — Я существую въ твоёмъ воображеніи, а воображеніе твое есть часть природы, значитъ, я существую и въ природѣ.

— У тебя очень старое, умное и въ высшей степени выразительное лицо, точно ты въ самомъ дѣлѣ прожилъ больше тысячи лѣтъ, — сказалъ Ковринъ. — Я не зналъ, что мое воображеніе способно создавать такіе феномены. Но что ты смотришь на меня съ такимъ восторгомъ? Я тебѣ нравлюсь?

— Да. Ты одинъ изъ тѣхъ немногихъ, которые по справедливости называются избранниками Божиими. Ты служишь вѣчной правдѣ. Твои мысли, намѣренія, твоя удивительная наука и вся твоя жизнь носятъ на себѣ божественную, небесную печать, такъ какъ посвящены они разумному и прекрасному, то-есть тому, что вѣчно.

— Ты сказалъ: вѣчной правдѣ... Но развѣ людямъ до ступня и нужна вѣчная правда, если нѣтъ вѣчной жизни?

— Вѣчная жизнь есть, — сказалъ монахъ.

— Ты вѣришь въ безсмертіе людей?

— Да, конечно. Васъ, людей, ожидаетъ великая, блестящая будущность. И чѣмъ больше на землѣ такихъ, какъ ты, тѣмъ скорѣе осуществится это будущее. Безъ васъ, служителей высшему началу, живущихъ сознательно и свободно,

человѣчество было бы ничтожно; развиваясь естественнымъ порядкомъ, оно долго бы еще ждало конца своей земной исторіи. Вы же на нѣсколько тысячъ лѣтъ раньше введете его въ царство вѣчной правды—и въ этомъ ваша высокая заслуга. Вы воплощаете собой благословеніе Божіе, которое почилло на людяхъ.

— А какая цѣль вѣчной жизни?—спросилъ Ковринъ.

— Какъ и всякой жизни—наслажденіе. Истинное наслажденіе въ познаніи, а вѣчная жизнь представить безчисленные и неисчерпаемые источники для познанія, и въ этомъ смыслъ сказано: въ дому Отца Моего обители многи суть.

— Если бы ты зналъ, какъ пріятно слушать тебя!—сказалъ Ковринъ, потирая отъ удовольствія руки.

— Очень радъ.

— Но я знаю: когда ты уйдешь, меня будетъ беспокоить вопросъ о твоей сущности. Ты призракъ, галлюцинація. Значить, я психически боленъ, ненормаленъ?

— Хотя бы и такъ. Что смущаться? Ты боленъ, потому что работалъ черезъ силу и утомился, а это значить, что свое здоровье ты принесъ въ жертву идеѣ, и близко время, когда ты отдашь ей и самую жизнь. Чего лучше? Это—то, къ чему стремятся всѣ вообще одаренныя свыше благородныя натуры.

— Если я знаю, что я психически боленъ, то могу ли я вѣрить себѣ?

— А почему ты знаешь, что гениальные люди, которымъ вѣрить весь свѣтъ, тоже не видѣли призраковъ? Говорятъ же теперь ученые, что гений сродни умопомѣшательству. Другъ мой, здоровы и нормальны только заурядные, стадные люди. Соображенія насчетъ нервнаго вѣка, переутомленія, вырожденія и т. п. могутъ серьезно волновать только тѣхъ, кто цѣль жизни видитъ въ настоящемъ, то-есть стадныхъ людей.

— Римляне говорили: *mens sana in corpore sano*.

— Не все то правда, что говорили римляне или греки. Повышенное настроеніе, возбужденіе, экстазь—все то, что отличаетъ пророковъ, поэтовъ, мучениковъ за идею отъ обыкновенныхъ людей, противно животной сторонѣ человѣка, то-есть его физическому здоровью. Повторяю: если хочешь быть здоровъ и нормаленъ, иди въ стадо.

— Странно, ты повторяешь то, что часто мнѣ самому приходитъ въ голову,—сказалъ Ковринъ.—Ты какъ будто подсмотрѣлъ и подслушалъ мои сокровенныя мысли. Но давай говорить не обо мнѣ. Что ты разумѣешь подъ вѣчною правдой?

Монахъ не отвѣтилъ. Ковринъ взглянулъ на него и не разглядѣлъ лица: черты его туманились и расплывались. Затѣмъ у монаха стали исчезать голова, руки; туловище его смѣшалось со скамьей и съ вечерними сумерками, и онъ исчезъ совсѣмъ.

— Галлюцинація кончилась! — сказалъ Ковринъ и засмѣялся.—А жаль.

Онъ пошелъ назадъ къ дому веселый и счастливый. То немного, что сказалъ ему чернѣйшій монахъ, льстило не самолюбію, а всей душѣ, всему существу его. Быть избранникомъ, служить вѣчной правдѣ, стоять въ ряду тѣхъ, которые на нѣсколько тысячъ лѣтъ раньше сдѣлаютъ человѣчество достойнымъ царствія Божія, то-есть избавятъ людей отъ нѣсколькихъ лишнихъ тысячъ лѣтъ борьбы, грѣха и страданій, отдать идею все — молодость, силы, здоровье, быть готовымъ умереть для общаго блага,—какой высокій, какой счастливый удѣлъ! У него пронеслось въ памяти его прошлое, чистое, цѣломудренное, полное труда, онъ вспомнилъ то, чему учился и чему самъ училъ другихъ, и рѣшилъ, что въ словахъ монаха не было преувеличенія.

Навстрѣчу по парку шла Таня. На ней было уже другое платье.

— Вы здѣсь?—сказала она.—А мы васъ ищемъ, ищемъ...

По что съ вами?—удивилась она, взглянувъ на его восторженное, сіяющее лицо, и на глаза, полные слезъ. — Какой вы странный. Андрюша.

— Я доволенъ, Таня,—сказалъ Ковринъ, кладя ей руки на плечи.—Я больше, чѣмъ доволенъ, я счастливъ! Таня, милая Таня, вы чрезвычайно симпатичное существо. Милая Таня, я такъ радъ, такъ радъ!

Онъ горячо поцѣловалъ ей обѣ руки и продолжалъ:

— Я только что пережилъ свѣтлыя, чудныя, неземныя минуты. Но я не могу рассказать вамъ всего, потому что вы назовете меня сумасшедшимъ, или не повѣрите мнѣ. Будемъ говорить о васъ. Милая, славная Таня! Я васъ люблю и уже привыкъ любить. Ваша близость, встрѣчи наши по десяти разъ на день стали потребностью моей души. Не знаю, какъ я буду обходиться безъ васъ, когда уѣду къ себѣ.

— Ну!—засмѣялась Таня.—Вы забудете про насъ черезъ два дня. Мы люди маленькіе, а вы великій человѣкъ.

— Нѣтъ, будемъ говорить серьезно!—сказалъ онъ. — Я возьму васъ съ собой, Таня. Да? Вы поѣдете со мной? Вы хотите быть моею?

— Ну!—сказала Таня и хотѣла опять засмѣяться, но смѣха не вышло, и красныя пятна выступили у нея на лицѣ.

Она стала часто дышать и быстро-быстро пошла, но не къ дому, а дальше въ паркѣ.

— Я не думала объ этомъ... не думала!—говорила она какъ бы въ отчаяніи сжимая руки.

А Ковринъ шелъ за ней и говорилъ все съ тѣмъ же сіяющимъ, восторженнымъ лицомъ:

— Я хочу любви, которая захватила бы меня всего, и эту любовь только вы, Таня, можете дать мнѣ. Я счастливъ! Счастливъ!

Она была ошеломена, согнулась, съежилась и точно со-



старилась сразу на десять лѣтъ, а онъ находилъ ея прелестною и громко выражалъ свой восторгъ:

— Какъ она хороша!

## VI.

Узнавъ отъ Коврина, что не только романъ наладился, но что даже будетъ свадьба, Егоръ Семенычъ долго ходилъ изъ угла въ уголъ, стараясь скрыть волненіе. Руки у него стали трястись, шея надулась и побагровѣла, онъ велѣлъ заложить бѣгвые дрожки и уѣхалъ куда-то. Таня, видѣвшая, какъ онъ хлестнулъ по лошади и какъ глубоко, почти на уши, надвинулъ фуражку, поняла его настроеніе, заперлась у себя и проплакала весь день.

Въ оранжереяхъ уже поспѣли персики и сливы; упаковка и отправка въ Москву этого нѣжнаго и прихотливаго груза требовала много вниманія, труда и хлопотъ. Благодаря тому, что лѣто было очень жаркое и сухое, понадобилось поливать каждое дерево, на что ушло много времени и рабочей силы, и появилась во множествѣ гусеница, которую работники и даже Егоръ Семенычъ и Таня, къ великому омерзѣнію Коврина, давили прямо пальцами. При всемъ томъ нужно уже было принимать заказы къ осени на фрукты и деревья и вести большую переписку. И въ самое горячее время, когда, казалось, ни у кого не было свободной минуты, наступили полевые работы, которыя отняли у сада больше половины рабочихъ; Егоръ Семенычъ, сильно загорѣвшій, замученный, злой, скакалъ то въ садъ, то въ поле и кричалъ, что его разрываютъ на части, и что онъ пуститъ себя пулю въ лобъ.

А тутъ еще возня съ приданымъ, которому Песоцкіе придавали не малое значеніе; отъ звяканья ножницъ, стука швейныхъ машинъ, угара утюговъ и отъ капризовъ модистки, нервной, обидчивой дамы, у всѣхъ въ домѣ кружились головы. И какъ нарочно, каждый день пріѣзжали гости,

которыхъ надо было забавлять, кормить и даже оставлять почевать. Но вся эта каторга прошла незамѣтно, какъ въ туманѣ. Таня чувствовала себя такъ, какъ будто любовь и счастье захватили ее врасплохъ, хотя съ четырнадцати лѣтъ была увѣрена почему-то, что Ковринъ женится именно на ней. Она изумлялась, недоумѣвала, не вѣрила себѣ... То вдругъ нахлынетъ такая радость, что хочется улетѣть подъ облака и тамъ молиться Богу, а то вдругъ вспомнится, что въ августѣ придется расставаться съ роднымъ гнѣздомъ и оставлять отца, или, Богъ вѣсть откуда, придетъ мысль, что она ничтожна, мелка и недостойна такого великаго человека, какъ Ковринъ,—и она уходитъ къ себѣ, запирается на ключъ и горько плачетъ въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ. Когда бывають гости, вдругъ ей покажется, что Ковринъ необыкновенно красивъ и что въ него влюблены всѣ женщины и завидуютъ ей, и душа ея наполняется восторгомъ и гордостью, какъ будто она побѣдила весь свѣтъ, но стоитъ ему привѣтливо улыбнуться какою-нибудь барышнѣ, какъ она ужъ дрожить отъ ревности, уходитъ къ себѣ—и опять слезы. Эти новыя ощущенія завладѣли ею совершенно, она помогала отцу машинально и не замѣчала ни персиковъ, ни гусеницъ, ни рабочихъ, ни того, какъ быстро бѣжало время.

Съ Егоромъ Семенычемъ происходило почти то же самое. Онъ работалъ съ утра до ночи, все сгѣшилъ куда-то, выходилъ изъ себя, раздражался, но все это въ какомъ-то волшебномъ полуснѣ. Въ немъ уже сидѣло какъ будто бы два человѣка: одинъ былъ настоящій Егоръ Семенычъ, который, слушая садовника Ивана Карлыча, докладывавшаго ему о безпорядкахъ, возмущался и въ отчаяніи хваталъ себя за голову, и другой не настоящій, точно полупьяный, который вдругъ на полусловѣ прерывалъ дѣловой разговоръ, трогалъ садовника за плечо и начиналъ бормотать:

— Что ни говори, а кровь много значить. Его мать была

удивительная, благороднѣйшая, умнѣйшая женщина. Было наслажденіемъ смотрѣть на ея доброе, ясное, чистое лицо какъ у ангела. Она прекрасно рисовала, писала стихи, говорила на пяти иностранныхъ языкахъ, гѣла... Бѣдняжка, царство ей небесное, скончалась отъ чахотки.

Не настоящій Егоръ Семенычъ вздыхалъ и, помолчавъ, продолжалъ:

— Когда онъ былъ мальчикомъ и росъ у меня, то у него было такое же ангельское лицо, ясное и доброе. У него и взглядъ, и движенія, и разговоръ нѣжны и изящны, какъ у матери. А умъ? Онъ всегда поражалъ насъ своимъ умомъ. Да и то сказать, не даромъ онъ магистръ! Не даромъ! А погоди, Иванъ Карлычъ, каковъ онъ будетъ лѣтъ черезъ десять! Рукой не достанешь!

Но тутъ настоящій Егоръ Семенычъ, спохватившись, дѣлалъ страшное лицо, хваталъ себя за голову и кричалъ:

— Черти! Пересквернили, перепоганили, перемерзли! Пропалъ садъ! Погибъ садъ!

А Ковринъ работалъ съ прежнимъ усердіемъ и не замѣчалъ сутолоки. Любовь только подлила масла въ огонь. Послѣ каждаго свиданія съ Таней, онъ, счастливый, восторженный, шелъ къ себѣ и съ тою же страстностью, съ какою онъ только что цѣловалъ Таню и объяснялся ей въ любви, брался за книгу или за свою руконись. То, что говорилъ чернѣй монахъ объ избранникахъ Божіихъ, вѣчной правдѣ, о блестящей будущности человѣчества и проч., придавало его работѣ особенное, необыкновенное значеніе и наполняло его душу гордостью, сознаніемъ собственной высоты. Разъ или два въ недѣлю, въ паркѣ или въ домѣ, онъ встрѣчался съ чернымъ монахомъ и подолгу бесѣдовалъ съ нимъ, но это не пугало, а, напротивъ, восхищало его, такъ какъ онъ былъ уже крѣпко убѣжденъ, что подобныя видѣнія посѣщаютъ только избранныхъ, выдающихся людей, посвятившихъ себя служенію идеѣ.

Однажды монахъ явился во время обѣда и сѣлъ въ столовой у окна. Ковринъ обрадовался и очень ловко завелъ разговоръ съ Егоромъ Семенычемъ и съ Таней о томъ, что могло быть интересно для монаха; черный гость слушалъ и привѣтливо кивалъ головой, а Егоръ Семенычъ и Таня тоже слушали и весело улыбались, не подозрѣвая, что Ковринъ говоритъ не съ ними, а со своей галлюцинаціей.

Незамѣтно подошелъ Успенскій постъ, а за нимъ скоро и день свадьбы, которую, по настойчивому желанію Егора Семеныча, отпраздновали «съ трескомъ», то-есть съ безтолковою гульбой, продолжавшеюся двое сутокъ. Съѣли и выпили тысячи на три, но отъ плохой наемной музыки, крикливыхъ тостовъ и лакейской бѣготни, отъ шума и тѣсноты не поняли вкуса ни въ дорогихъ винахъ, ни въ удивительныхъ закускахъ, выписанныхъ изъ Москвы.

## VII.

Какъ-то въ одну изъ длинныхъ зимнихъ ночей Ковринъ лежалъ въ постели и читалъ французскій романъ. Бѣдняжка Таня, у которой по вечерамъ болѣла голова отъ непривычки жить въ городѣ, давно уже спала и изрѣдка въ бреду произносила какія-то безсвязныя фразы.

Пробило три часа. Ковринъ потушилъ свѣчу и легъ; долго лежалъ съ закрытыми глазами, но уснуть не могъ оттого, какъ казалось ему, что въ спальнѣ было очень жарко и бредила Таня. Въ половинѣ пятого онъ опять зажегъ свѣчу и въ это время увидѣлъ чернаго монаха, который сидѣлъ въ креслѣ около постели.

— Здравствуй, — сказалъ монахъ и, помолчавъ немного, спросилъ:—о чемъ ты теперь думаешь?

— О славѣ, — отвѣтилъ Ковринъ.—Во французскомъ романѣ, который я сейчасъ читалъ, изображенъ человекъ,

молодой ученый, который дѣлаетъ глупости и чахнетъ отъ тоски по славѣ. Мнѣ эта тоска непонятна.

— Потому что ты уменъ. Ты къ славѣ относишься безразлично, какъ къ игрушкѣ, которая тебя не занимаетъ.

— Да, это правда.

— Извѣстность не улыбается тебѣ. Что лестнаго или забавнаго, или поучительнаго въ томъ, что твое имя вырѣжутъ на могильномъ памятникѣ и потомъ время сотретъ эту надпись вмѣстѣ съ позолотой? Да и къ счастью, васъ слишкомъ много; чтобы слабая человѣческая память могла удержать ваши имена.

— Понятно, — согласился Ковринъ. — Да и зачѣмъ ихъ помнить? Но давай поговоримъ о чемъ-нибудь другомъ. Напримѣръ, о счастьѣ. Что такое счастье?

Когда часы били пять, онъ сидѣлъ на кровати, свѣсивъ ноги на коверъ, и говорилъ, обращаясь къ монаху:

— Въ древности одинъ счастливый человѣкъ въ концѣ концовъ испугался своего счастья—такъ оно было велико!— и, чтобы умилостивить боговъ, принесъ имъ въ жертву свой любимый перстень. Знаешь? И меня, какъ Поликрата, начинаетъ немножко беспокоить мое счастье. Мнѣ кажется страннымъ, что отъ утра до ночи я испытываю одну только радость, она наполняетъ всего меня и заглушаетъ всѣ остальные чувства. Я не знаю, что такое грусть, печаль или скука. Вотъ я не сплю, у меня бессонница, но мнѣ не скучно. Серьезно говорю: я начинаю недоумѣвать.

— Но почему?—изумился монахъ.—Развѣ радость сверхъестественное чувство? Развѣ она не должна быть нормальнымъ состояніемъ человѣка? Чѣмъ выше человѣкъ по умственному и нравственному развитію, чѣмъ онъ свободнѣе, тѣмъ большее удовольствіе доставляетъ ему жизнь. Сократъ, Діогенъ и Маркъ Аврелій испытывали радость, а не печаль. И апостоль говоритъ: постоянно радуйтесь. Радуйся же и будь счастливъ.

— А вдругъ прогнѣваются боги?—пошутилъ Ковринъ и засмѣялся.—Если они отнимутъ у меня комфортъ и заставить меня зябнуть и голодать, то это едва ли придется мнѣ по вкусу.

Таня между тѣмъ проснулась и съ изумленіемъ и ужасомъ смотрѣла на мужа. Онъ говорилъ, обращаясь къ креслу, жестикулировалъ и смѣялся; глаза его блестя и въ смѣхѣ было что-то странное.

— Андрюша, съ кѣмъ ты говоришь?—спросила она, хватая его за руку, которую онъ протянулъ къ монаху.— Андрюша! Съ кѣмъ?

— А? Съ кѣмъ?—смутился Ковринъ.— Вотъ съ нимъ... Вотъ онъ сидитъ,—сказалъ онъ, указывая на чернаго монаха.

— Никого здѣсь нѣтъ... никого! Андрюша, ты боленъ!

Таня обняла мужа и прижалась къ нему, какъ бы защищая его отъ видѣній, и закрыла ему глаза рукой.

— Ты боленъ! — зарыдала она, дрожа всѣмъ тѣломъ.— Прости меня, милый, дорогой, но я давно уже замѣтила, что душа у тебя разстроена чѣмъ-то... Ты психически боленъ, Андрюша...

Дрожь ея сообщилась и ему. Онъ взглянулъ еще разъ на кресло, которое уже было пусто, почувствовалъ вдругъ слабость въ рукахъ и ногахъ, испугался и сталъ одѣваться.

— Это ничего, Таня, ничего...—бормоталъ онъ, дрожа.— Въ самомъ дѣлѣ я немножко нездоровъ... пора уже сознаться въ этомъ.

— Я уже давно замѣчала... и папа замѣтилъ,—говорила она, стараясь сдержать рыданія.— Ты самъ съ собой говоришь, какъ-то странно улыбаешься... не спишь. О, Боже мой, Боже мой, спаси насъ!—проговорила она въ ужасѣ.— Но ты не бойся, Андрюша, не бойся, Бога ради не бойся..

Она тоже стала одѣваться. Только теперь, глядя на нее, Ковринъ понялъ всю опасность своего положенія, понялъ,

что значать черныи монахъ и бесѣды съ нимъ. Для него теперь было ясно, что онъ сумасшедшій.

Оба, сами не зная зачѣмъ, одѣлись и пошли въ залу: она впереди, онъ — за ней. Тутъ ужъ, разбуженный рыданіями, въ халатѣ и со свѣчой въ рукахъ стоялъ Егоръ Семенычъ, который гостилъ у нихъ.

— Ты не бойся, Андриуша,—говорила Таня, дрожа какъ въ лихорадкѣ,— не бойся... Папа, это все пройдетъ... все пройдетъ...

Ковринъ отъ волненія не могъ говорить. Онъ хотѣлъ сказать тестю шутивымъ тономъ:

— Поздравьте, я, кажется, сошелъ съ ума,—но пошевелилъ только губами и горько улыбнулся.

Въ девять часовъ утра на него надѣли пальто и шубу, укутали его шалью и повезли въ каретѣ къ доктору. Онъ сталъ лѣчиться.

### VIII.

Опять наступило лѣто, и докторъ приказалъ ѣхать въ деревню. Ковринъ уже выздоровѣлъ, пересталъ видѣть чернаго монаха и ему оставалось только подкрѣпить свои физическія силы. Живя у тестя въ деревнѣ, онъ пилъ много молока, работалъ только два часа въ сутки, не пилъ вина и не курилъ.

Подъ Ильинъ день вечеромъ въ домѣ служили всеобщую. Когда дьячокъ подалъ священнику кадило, то въ старомъ громадномъ залѣ запахло точно кладбищемъ, и Коврину стало скучно. Онъ вышелъ въ садъ. Не замѣчая роскошныхъ цвѣтовъ, онъ погулялъ по саду, посидѣлъ на скамьѣ, потомъ прошелся по парку; дойдя до рѣчки, онъ спустился внизъ и тутъ постоялъ въ раздумьѣ, глядя на воду. Угрюмыя сосны съ мохнатыми корнями, которыя въ прошломъ году видѣли его здѣсь такимъ молодымъ, радостнымъ и бодрымъ, теперь не шептались, а стояли неподвижныя и

нѣмья, точно не узнавали его. И въ самомъ дѣлѣ, голова у него острижена, длинныхъ красивыхъ волосъ уже нѣтъ, походка вялая, лицо, сравнительно съ прошлымъ лѣтомъ, пополнило и поблѣднѣло.

По лавамъ онъ перешелъ на тотъ берегъ. Тамъ, гдѣ въ прошломъ году была рожь, теперь лежалъ въ рядахъ скошенный овесъ. Солнце уже зашло, и на горизонтѣ пылало широкое красное зарево, предвѣщавшее на завтра вѣтреную погоду. Было тихо. Всмотриваясь по тому направленію, гдѣ въ прошломъ году показался впервые черный монахъ, Ковринъ постоялъ минутъ двадцать, пока не начала тускнуть вечерняя заря...

Когда онъ вялый, неудовлетворенный, вернулся домой, всенощная уже кончилась. Егоръ Семенычъ и Таня сидѣли на ступеняхъ террасы и пили чай. Они о чемъ-то говорили; но, увидѣвъ Коврина, вдругъ замолчали, и онъ заключилъ по ихъ лицамъ, что разговоръ у нихъ шелъ о немъ.

— Тебѣ, кажется, пора уже молоко пить,—сказала Таня мужу.

— Нѣтъ, не пора... — отвѣтилъ онъ, сядя на самую нижнюю ступень.—Пей сама. Я не хочу.

Таня тревожно переглянулась съ отцомъ и сказала виноватымъ голосомъ:

— Ты самъ замѣчаешь, что молоко тебѣ полезно.

— Да, очень полезно!—усмѣхнулся Ковринъ.—Поздравляю васъ: послѣ пятницы во мнѣ прибавился еще одинъ фунтъ вѣсу.—Онъ крѣпко сжалъ руками голову и проговорилъ съ тоской:—Зачѣмъ, зачѣмъ вы меня лѣчили? Бромистые препараты, праздность, теплыя ванны, надзоръ, малодушный страхъ за каждый глотокъ, за каждый шагъ—все это въ концѣ концовъ доведетъ меня до идиотизма. Я сходилъ съ ума, у меня была манія величія, но зато я былъ веселъ, бодръ и даже счастливъ, я былъ интересенъ и оригиналенъ. Теперь я сталъ разсудительнѣе и солиднѣе, но зато я та-



гой, какъ всё: я—посредственность, мнѣ скучно жить... О, какъ вы жестоко поступили со мной! Я видѣлъ галлюцинаціи, но кому это мѣшало? Я спрашиваю: кому это мѣшало?

— Богъ знаетъ, что ты говоришь! — вздохнулъ Егоръ Семенычъ.—Даже слушать скучно.

— А вы не слушайте.

Присутствіе людей, особенно Егора Семеныча, теперь ужъ раздражало Коврина, онъ отвѣчалъ ему сухо, холодно и даже грубо и иначе не смотрѣлъ на него, какъ насмѣшливо и съ ненавистью, а Егоръ Семенычъ смущался и виновато покашливалъ, хотя вины за собой никакой не чувствовалъ. Не понимая, отчего такъ рѣзко измѣнились ихъ мнѣнія, благодушныя отношенія, Таня жалась къ отцу и съ тревогой заглядывала ему въ глаза; она хотѣла понять и не могла, и для нея ясно было только, что отношенія съ каждымъ днемъ становятся все хуже и хуже, что отецъ въ послѣднее время сильно постарѣлъ, а мужъ сталъ раздражителемъ, капризнымъ, придирчивымъ и неинтереснымъ. Она уже не могла смѣяться и пѣть, за обѣдомъ ничего не ѣла, не спала по цѣлымъ ночамъ, ожидая чего-то ужаснаго, и такъ измучилась, что однажды пролежала въ обморокъъ отъ обѣда до вечера. Во время всеобщей ей показалось, что отецъ плакалъ, и теперь, когда они втроемъ сидѣли на террасѣ, она дѣлала надъ собой усилія, чтобы не думать объ этомъ.

— Какъ счастливы Будда и Магометъ или Шекспиръ, что добрые родственники и доктора не лѣчили ихъ отъ экстаза и вдохновенія!—сказалъ Ковринъ.—Если бы Магометъ принималъ отъ нервовъ бромистый калий, работалъ только два часа въ сутки и пилъ молоко, то послѣ этого замѣчательнаго человѣка осталось бы такъ же мало, какъ послѣ его собаки. Доктора и добрые родственники въ концѣ концовъ сдѣлаютъ то, что человѣчество отупѣетъ, посредственность будетъ считаться гениемъ и цивилизація погиб-

нетъ. Если бы вы знали,—сказалъ Ковринъ съ досадой,—какъ я вамъ благодаренъ!

Онъ почувствовалъ сильное раздраженіе и, чтобы не сказать лишняго, быстро всталъ и пошелъ въ домъ. Было тихо, и въ открытыя окна несся изъ сада аромать табака и ялаппы. Въ громадномъ темномъ залѣ на полу и на рояли зелеными пятнами лежалъ лунный свѣтъ. Коврину припомнились восторги прошлаго лѣта, когда такъ же пахло ялаппой и въ окнахъ свѣтилась луна. Чтобы вернуть прошлогоднее настроеніе, онъ быстро пошелъ къ себѣ въ кабинетъ, закурилъ крѣпкую сигару и приказалъ лакею принести вина. Но отъ сигары во рту стало горько и противно, а вино оказалось не такого вкуса, какъ въ прошломъ году. И что значить отвыкнуть! Отъ сигары и двухъ глотковъ вина у него закружилась голова и началось сердцебіеніе, такъ что понадобилось принимать бромистый калий.

Передъ тѣмъ, какъ ложиться спать, Таня говорила ему:

— Отецъ обожаетъ тебя. Ты на него сердишься за что-то, и это убиваетъ его. Посмотри: онъ старѣетъ не по днямъ, а по часамъ. Умоляю тебя, Андрюша, Бога ради, ради своего покойнаго отца, ради моего покоя, будь съ нимъ ласковъ!

— Не могу и не хочу.

— Но почему?—спросила Таня, начиная дрожать всѣмъ тѣломъ.—Объясни мнѣ, почему?

— Потому, что онъ мнѣ не симпатиченъ, вотъ и все,—небрежно сказалъ Ковринъ и пожалъ плечами,—но не будемъ говорить о немъ: онъ твой отецъ.

— Не могу, не могу понять!—проговорила Таня, сжимая себѣ виски и глядя въ одну точку.—Что-то непостижимое, ужасное происходитъ у насъ въ домѣ. Ты измѣнился, сталъ на себя не похожъ... Ты, умный, необыкновенный человѣкъ, раздражаешься изъ-за пустяковъ, вмѣшиваешься въ дразги...

Такия мелочи волнують тебя, что иной разъ, просто удивляешься и не вѣришь: ты ли это? Ну, ну, не сердись, не сердись, — продолжала она, пугаясь своихъ словъ и цѣлуя ему руки. — Ты умный, добрый, благородный. Ты будешь справедливъ къ отцу. Онъ такой добрый!

— Онъ не добрый, а добродушный. Водевильные дядюшки, въ родѣ твоего отца, съ сытыми добродушными физиономіями, необыкновенно хлѣбосольные и тудакватые, когда-то умиляли меня и смѣшили и въ повѣстяхъ, и въ водевиляхъ, и въ жизни, теперь же они мнѣ противны. Это эгонсты до мозга костей. Противнѣе всего мнѣ ихъ сытость и этотъ желудочный, чисто бычій или кабаній оптимизмъ.

Таня сѣла на постель и положила голову на подушку.

— Это пытка, — проговорила она, и по ея голосу видно было, что она уже крайне утомлена и что ей тяжело говорить. — Съ самой зимы ни одной покойной минуты... Вѣдь это ужасно, Боже мой! Я страдаю...

— Да, конечно, я — Иродъ, а ты и твой папенька — египетскіе младенцы. Конечно!

Его лицо показалось Танѣ некрасивымъ и неприятнымъ. Ненависть и насмѣшливое выраженіе не шли къ нему. Да и раньше она замѣчала, что на его лицѣ уже чего-то недостаетъ, какъ будто съ тѣхъ поръ, какъ онъ остригся, измѣнилось и лицо. Ей захотѣлось сказать ему что-нибудь обидное, но тотчасъ же она поймала себя на неприязненномъ чувствѣ, испугалась и пошла изъ спальни.

## IX.

Ковринъ получилъ самостоятельную кафедру. Вступительная лекція была назначена на второе декабря, и объ этомъ было вывѣшено объявленіе въ университетскомъ коридорѣ. Но въ назначенный день онъ извѣстилъ инспектора сту-

дентовъ телеграммой, что читать лекціи не будетъ по болѣзни.

У него шла горломъ кровь. Онъ плевалъ кровью, но случалось раза два въ мѣсяць, что она текла обильно, и тогда онъ чрезвычайно слабѣлъ и впадалъ въ сонливое состояніе. Эта болѣзнь не особенно пугала его, такъ какъ ему было извѣстно, что его покойная мать жила точно съ такою же болѣзнью десять лѣтъ, даже больше; и доктора увѣряли, что это не опасно, и совѣтовали только не волноваться, вести правильную жизнь и поменьше говорить.

Въ январѣ лекція опять не состоялась по той же причинѣ, а въ февралѣ было уже поздно начинать курсъ. Пришлось отложить до будущаго года.

Жилъ онъ уже не съ Таней, а съ другой женщиной, которая была на два года старше его и ухаживала за нимъ, какъ за ребенкомъ. Настроеніе у него было мирное, покорное: онъ охотно подчинялся, и когда Варвара Николаевна—такъ звали его подругу—собралась везти его въ Крымъ, то онъ согласился, хотя предчувствовалъ, что изъ этой поѣздки не выйдетъ ничего хорошаго.

Они приѣхали въ Севастополь вечеромъ и остановились въ гостиницѣ, чтобы отдохнуть и завтра ѣхать въ Ялту. Обоихъ утомила дорога. Варвара Николаевна напилась чаю, легла спать и скоро уснула. Но Ковринъ не ложился. Еще дома, за часъ до отъѣзда на вокзалъ, онъ получилъ отъ Тани письмо и не рѣшился его распечатать, и теперь оно лежало у него въ боковомъ карманѣ, и мысль о немъ неприятно волновала его. Искренно, въ глубинѣ души, свою женитьбу на Танѣ онъ считалъ теперь ошибкой, былъ доволенъ, что окончательно разошелся съ ней, и воспоминаніе объ этой женщинѣ, которая въ концѣ концовъ обратилась въ ходячія живыя мощи, и въ которой, какъ кажется, все уже умерло, кромѣ большихъ, пристально вглядывающихся,

умныхъ глазъ, воспоминаніе о ней возбуждало въ немъ одну только жалость и досаду на себя. Почеркъ на конвертѣ напомнилъ ему, какъ онъ года два назадъ былъ несправедливъ и жестокъ, какъ вымещалъ на ни въ чемъ неповинныхъ людяхъ свою душевную пустоту, скуку, одиночество и недовольство жизнью. Кстати же онъ вспомнилъ какъ однажды онъ рвалъ на мелкіе клочки свою диссертацию и всѣ статьи, написанныя за время болѣзни, и какъ бросалъ въ окно, и клочки, летая по вѣтру, цѣплялись за деревья и цвѣты; въ каждой строчкѣ видѣлъ онъ странныя, ни на чемъ не основанныя претензіи, легкомысленный задоръ, дерзость, манію величія, и это производило на него такое впечатлѣніе, какъ будто онъ читалъ описаніе своихъ пороковъ; но когда послѣдняя тетрадка была разорвана и полетѣла въ окно, ему почему-то вдругъ стало досадно и горько, онъ пошелъ къ женѣ и наговорилъ ей много неприятнаго. Боже мой, какъ онъ изводилъ ее! Однажды, желая причинить ей боль, онъ сказалъ ей, что ея отецъ игралъ въ ихъ романѣ непривлекательную роль, такъ какъ просилъ его жениться на ней; Егоръ Семенычъ нечаянно подслушалъ это, вбѣжалъ въ комнату и съ отчаянія не могъ выговорить ни одного слова, и только топтался на одномъ мѣстѣ и какъ-то странно мычалъ, точно у него отнялся языкъ, а Таня, глядя на отца, вскрикнула раздрающимъ голосомъ и упала въ обморокъ. Это было безобразно.

Все это приходило на память при взглядѣ на знакомый почеркъ. Коврицъ вышелъ на балконъ; была тихая теплая погода и пахло моремъ. Чудесная бухта отражала въ себѣ луну и огни и имѣла цвѣтъ, которому трудно подобрать названіе. Это было нѣжное и мягкое сочетаніе синяго съ зеленымъ; мѣстами вода походила цвѣтомъ на синій купоросъ, а мѣстами, казалось, лунный свѣтъ сгустился и вмѣсто воды наполнялъ бухту, а въ общемъ какое согласіе цвѣтовъ, какое мирное, покойное и высокое настроеніе!

Въ нижнемъ этажѣ, подъ балкономъ, окна, вѣроятно, были открыты, потому что отчетливо слышались женскіе голоса и смѣхъ. Повидимому, тамъ была вечеринка.

Ковринъ сдѣлалъ надъ собою усиліе, распечаталъ письмо и, войдя къ себѣ въ номеръ, прочелъ:

«Сейчасъ умеръ мой отецъ. Этимъ я обязана тебѣ, такъ какъ ты убилъ его. Нашъ садъ погибаетъ, въ немъ хозяйничаютъ уже чужіе, то-есть происходитъ то самое, чего такъ боялся бѣдный отецъ. Этимъ я обязана тоже тебѣ. Я ненавижу тебя всюю моею душой и желаю, чтобы ты скорѣе погибъ. О, какъ я страдаю! Мою душу жжетъ невыносимая боль... Будь ты проклятъ. Я приняла тебя за необыкновеннаго человѣка, за генія, я полюбила тебя, но ты оказался сумасшедшимъ...»

Ковринъ не могъ дальше читать, изорвалъ письмо и бросилъ. Имъ овладѣло безпокойство, похожее на страхъ. За ширмами спала Варвара Николаевна, и слышно было, какъ она дышала; изъ нижняго этажа доносились женскіе голоса и смѣхъ, но у него было такое чувство, какъ будто во всей гостиницѣ кромѣ него не было ни одной живой души. Оттого, что несчастная, убитая горемъ Таня въ своемъ письмѣ проклинала его и желала его гибели, ему было жутко, и онъ мелькомъ взглядывалъ на дверь, какъ бы боясь, чтобы не вошла въ номеръ и не распорядилась имъ опять та невѣдомая сила, которая въ какіе-нибудь два года произвела столько разрушеній въ его жизни и въ жизни близкихъ.

Онъ уже по опыту зналъ, что когда разгуляются нервы, то лучшее средство отъ нихъ—это работа. Надо сѣсть за столъ и заставить себя, во что бы то ни стало, сосредоточиться на одной какой-нибудь мысли. Онъ досталъ изъ своего краснаго портфеля тетрадку, на которой былъ набросанъ конспектъ небольшой комплятивной работы, придуманной имъ на случай, если въ Крыму покажется скучно безъ дѣла. Онъ сѣлъ за столъ и занялся этимъ конспектомъ, и

ему казалось, что къ нему возвращается его мирное, покорное, безразличное настроеніе. Тетрадка съ конспектомъ навела даже на размышленіе о суетѣ мірской. Онъ думалъ о томъ, какъ много беретъ жизнь за тѣ ничтожныя или весьма обыкновенныя блага, какія она можетъ дать человѣку. Напримѣръ, чтобы получить подъ сорокъ лѣтъ каѳедру, быть обыкновеннымъ профессоромъ, излагать вялымъ, скучнымъ, тяжелымъ языкомъ обыкновенныя и притомъ чужія мысли, — однимъ словомъ, для того, чтобы достигнуть положенія посредственнаго ученаго, ему, Коврину, нужно было учиться пятнадцать лѣтъ, работать дни и ночи, перенести тяжелую психическую болѣзнь, пережить неудачный бракъ и продѣлать много всякихъ глупостей и несправедливостей, о которыхъ пріятно было бы не помнить. Ковринъ теперь ясно сознавалъ, что онъ—посредственность, и охотно мирился съ этимъ, такъ какъ, по его мнѣнію, каждый человѣкъ долженъ быть доволенъ тѣмъ, что онъ есть.

Конспектъ совсѣмъ было успокоилъ его, но разорванное письмо бѣлѣло на полу и мѣшало ему сосредоточиться. Онъ всталъ изъ-за стола, подобралъ клочки письма и бросилъ въ окно, но подулъ съ моря легкій вѣтеръ, и клочки рассыпались по подоконнику. Опять имъ овладѣло безпокойство, похожее на страхъ, и стало казаться, что во всей гостиницѣ кромѣ него нѣтъ ни одной души... Онъ вышелъ на балконъ. Бухта, какъ живая, глядѣла на него множествомъ голубыхъ, синихъ, бирюзовыхъ и огненныхъ глазъ и манила къ себѣ. Въ самомъ дѣлѣ, было жарко и душно и не мѣшало бы выкупаться.

Вдругъ въ нижнемъ этажѣ подъ балкономъ заиграла скрипка, и заплѣли два нѣжныхъ женскихъ голоса. Это было что-то знакомое. Въ романсѣ, который нѣли внизу, говорилось о какой-то дѣвушкѣ, больной воображеніемъ, которая слышала ночью въ саду таинственные звуки и рѣшила, что это гармонія священная, намъ, смертнымъ, непонятная...

У Коврина захватило дыханіе, и сердце сжалось отъ грусти, и чудесная, сладкая радость, о которой онъ давно уже забылъ, задрожала въ его груди.

Черный высокій столбъ, похожій на вихрь или смерчъ, показался на томъ берегу бухты. Онъ съ страшною быстротою двигался черезъ бухту по направленію къ гостиницѣ, становясь все меньше и темнѣе, и Ковринъ едва успѣлъ посторониться, чтобы дать дорогу... Монахъ съ непокрытою сѣдою головою и съ черными бровями, босой, скрестивши на груди руки, пронесся мимо и остановился среди комнаты.

— Отчего ты не повѣрилъ мнѣ?—спросилъ онъ съ укоризной, глядя ласково на Коврина.—Если бы ты повѣрилъ мнѣ тогда, что ты геній, то эти два года ты провелъ бы не такъ печально и скудно.

Ковринъ уже вѣрилъ тому, что онъ избранникъ Божій и геній, онъ живо припомнилъ всѣ свои прежніе разговоры съ чернымъ монахомъ и хотѣлъ говорить, но кровь текла у него изъ горла прямо на грудь, и онъ, не зная, что дѣлать, водилъ руками по груди, и манжетки стали мокрыми отъ крови. Онъ хотѣлъ позвать Варвару Николаевну, которая спала за ширмами, сдѣлать усиліе и проговорить:

— Таня!

Онъ упалъ на полъ и, поднимаясь па руки, опять позвалъ:

— Таня!

Онъ звалъ Таню, звалъ большой садъ съ роскошными цвѣтами, обрызганными росой, звалъ паркъ, сосны съ мохнатыми корнями, ржаное поле, свою чудесную науку, свою молодость, смѣлость, радость, звалъ жизнь, которая была такъ прекрасна. Онъ видѣлъ на полу около своего лица большую лужу крови и не могъ уже отъ слабости выговорить ни одного слова, но невыразимое, безграничное счастье



наполняло все его существо. Внизу подъ балкономъ играли серенаду, а черный монахъ шепталъ ему, что онъ гений, и что онъ умираетъ потому только, что его слабое человѣческое тѣло уже потеряло равновѣсіе и не можетъ больше служить оболочкой для гения.

Когда Варвара Николаевна проснулась и вышла изъ-за ширмъ, Ковринъ былъ уже мертвъ и на лицѣ его застыла блаженная улыбка.

*Ке. Голубинъ.*



## СКРИПКА РОТШИЛЬДА.

---

Городокъ былъ маленькій, хуже деревни, и жили въ немъ почти одни только старики, которые умирали такъ рѣдко, что даже досадно. Въ больницу же и въ тюремный замокъ гробовъ требовалось очень мало. Однимъ словомъ, дѣла были скверныя. Если бы Яковъ Ивановъ былъ гробовщикомъ въ губернскомъ городѣ, то, навѣрное, онъ имѣлъ бы собственный домъ и звали бы его Яковомъ Матвѣичемъ; здѣсь же въ городишкѣ звали его просто Яковомъ, уличное прозвище у него было почему-то—Бронза, а жилъ онъ бѣдно, какъ простой мужикъ, въ небольшой старой избѣ, гдѣ была одна только комната, и въ этой комнатѣ помѣщались онъ, Марѳа, печь, двухспальная кровать, гробы, верстакъ и все хозяйство.

Яковъ дѣлалъ гробы хорошіе, прочныя. Для мужиковъ и мѣщанъ онъ дѣлалъ ихъ на свой ростъ и ни разу не ошибся, такъ какъ выше и крѣпче его не было людей нигдѣ, даже въ тюремномъ замкѣ, хотя ему было уже семьдесятъ лѣтъ. Для благородныхъ же и для женщинъ дѣлалъ по мѣркѣ и употреблялъ для этого желѣзныя аршинъ. Заказы на дѣтскіе гробики принималъ онъ очень неохотно и дѣлалъ ихъ прямо безъ мѣрки, съ презрѣніемъ, и всякій разъ, получая деньги за работу, говорилъ:

— Признаться, не люблю заниматься чепухой.

Кромѣ мастерства, небольшой доходъ приносила ему также игра на скрипкѣ. Въ городкѣ на свадьбахъ игралъ обыкновенно жидовскій оркестръ, которымъ управлялъ лудильщикъ Моисей Ильичъ Шахкесь, бравшій себѣ больше половины дохода. Такъ какъ Яковъ очень хорошо игралъ на скрипкѣ, особенно русскія пѣсни, то Шахкесь иногда приглашалъ его въ оркестръ съ платою по пятьдесятъ копеекъ въ день, не считая подарковъ отъ гостей. Когда Бронза сидѣлъ въ оркестрѣ, то у него прежде всего потѣло и багровѣло лицо; было жарко, пахло чеснокомъ до духоты, скрипка взвизгивала, у праваго уха хрипѣлъ контрабасъ, у лѣваго—плакала флейта, на которой игралъ рыжий тощій жидъ съ цѣлою сѣтью красныхъ и синихъ жилокъ на лицѣ, носившій фамилію извѣстнаго богача Ротшильда. И этотъ проклятый жидъ даже самое веселое умудрялся играть жалобно. Безъ всякой видимой причины Яковъ мало-по-малу прониклся ненавистью и презрѣніемъ къ жидамъ, а особенно къ Ротшильдъ; онъ начиналъ придираться, бранить его нехорошими словами и разъ даже хотѣлъ побить его, и Ротшильдъ обидѣлся и проговорилъ, глядя на него свирѣпо:

— Если бы я не уважалъ васъ за талантъ, то вы бы давно полетѣли у меня въ окошке.

Потомъ заплакалъ. Поэтому Бронзу приглашали въ оркестръ не часто, только въ случаѣ крайней необходимости, когда недоставало кого-нибудь изъ евреевъ.

Яковъ никогда не бывалъ въ хорошемъ расположеніи духа, такъ какъ ему постоянно приходилось терпѣть страшные убытки. Напримѣръ, въ воскресенья и праздники грѣшно было работать, понедѣльникъ—тяжелый день, и такимъ образомъ въ году набиралось около двухсотъ дней, когда поневолѣ приходилось сидѣть сложа руки. А вѣдь это какой убытокъ! Если кто-нибудь въ городѣ игралъ свадьбу безъ музыки или Шахкесь не приглашалъ Якова, то это тоже

былъ убытокъ. Поллицейскій надзиратель былъ два года боленъ и чахнулъ, и Яковъ съ нетерпѣніемъ ждалъ, когда онъ умретъ, но надзиратель уѣхалъ въ губернскій городъ лѣчиться и взялъ да тамъ и умеръ. Вотъ вамъ и убытокъ, по меньшей мѣрѣ рублей на десять, такъ какъ гробъ пришлось бы дѣлать дорогой, съ газетомъ. Мысли объ убыткахъ донимали Якова особенно по ночамъ; онъ клалъ рядомъ съ собой на постели скрипку и, когда всякая чепуха лѣзла въ голову, трогалъ струны, скрипка въ темнотѣ издавала звукъ, и ему становилось легче.

Шестого мая прошлаго года Марѳа вдругъ занемогла. Старуха тяжело дышала, пила много воды и пошатывалась, но все-таки утромъ сама истопила печь и даже ходила по воду. Къ вечеру же слегла. Яковъ весь день игралъ на скрипкѣ; когда же совсѣмъ стемнѣло, взялъ книжку, въ которую каждый день записывалъ свои убытки, и отъ скуки сталъ подводить годовой итогъ. Получилось больше тысячи рублей. Это такъ потрясло его, что онъ хватилъ счетами о полъ и затопалъ ногами. Потомъ поднялъ счеты и опять долго щелкалъ и глубоко, напряженно вздыхалъ. Лицо у него было багрово и мокро отъ пота. Онъ думалъ о томъ, что если бы эту пропащую тысячу рублей положить въ банкъ, то въ годъ проценту накопилось бы самое малое — сорокъ рублей. Значитъ, и эти сорокъ рублей тоже убытокъ. Однимъ словомъ, куда ни повернись, вездѣ только убытки и больше ничего.

— Яковъ!—позвала Марѳа неожиданно.—Я умираю!

Онъ оглянулся на жену. Лицо у нея было розовое отъ жара, необыкновенно ясное и радостное. Бронза, привыкшій всегда видѣть ея лицо блѣднымъ, робкимъ и несчастнымъ, теперь смутился. Похоже было на то, какъ будто она въ самомъ дѣлѣ умирала и была рада, что наконецъ уходитъ навѣки изъ этой избы, отъ гробовъ, отъ Якова... И она глядѣла въ потолокъ и шевелила губами, и выраженіе

у нея было счастливое, точно она видѣла смерть, свою избавительницу, и шепталась съ ней.

Быль уже разсвѣтъ, въ окно видно было, какъ горѣла утренняя заря. Глядя на старуху, Яковъ почему-то вспомнилъ, что за всю жизнь онъ, кажется, ни разу не приласкалъ ее, не пожалѣлъ, ни разу не догадался купить ей платочекъ, или принести со свадьбы чего-нибудь сладенькаго, а только кричалъ на нее, бранилъ за убытки, бросался на нее съ кулаками; правда, онъ никогда не билъ ее, но все-таки пугалъ, и она всякій разъ цѣпенѣла отъ страха. Да, онъ не велѣлъ ей пить чай, потому что и безъ того расходы большіе, и она пила только горячую воду. И онъ понялъ, отчего у нея теперь такое странное, радостное лицо, и ему стало жутко.

Дождавшись утра, онъ взялъ у сосѣда лошадь и повезъ Марѳу въ больницу. Тутъ больныхъ было немного и потому пришлось ему ждать недолго, часа три. Къ его великому удовольствію, въ этотъ разъ принималъ больныхъ не докторъ, который самъ былъ боленъ, а фельдшеръ Максимъ Николаичъ, старикъ, про котораго всѣ въ городѣ говорили, что хотя онъ и пьющій и дерется, но понимаетъ больше, чѣмъ докторъ.

— Здравія желаемъ,—сказалъ Яковъ, вводя старуху въ приемную.—Извините, все беспокоимъ васъ, Максимъ Николаичъ, своими пустяжными дѣлами. Вотъ, изволите видѣть, захворалъ мой прѣдметъ. Подруга жизни, какъ это говорятся, извините за выраженіе...

Нахмуривъ сѣдыя брови и поглаживая бакены, фельдшеръ сталъ оглядывать старуху, а она сидѣла на табуретѣ сгорбившись и тощая, остроносая, съ открытымъ ртомъ походила въ профиль на птицу, которой хочется пить.

— М-да... Такъ...—медленно проговорилъ фельдшеръ и вздохнулъ.—Инфлуэнца, а можетъ и горячка. Теперь по го-

роду тифъ ходить. Что жъ? Старушка пожила, слава Богу... Сколько ей?

— Да безъ года семьдесятъ, Максимъ Николаичъ.

— Что жъ? Пожила старушка. Пора и честь знать.

— Оно, конечно, справедливо изволили замѣтить, Максимъ Николаичъ, — сказалъ Яковъ, улыбаясь изъ вѣжливости, — и чувствительно васъ благодаримъ за вашу пріятность, но позвольте вамъ выразиться, всякому насѣкомому жить хочется.

— Мало ли чего! — сказалъ фельдшеръ такимъ тономъ, какъ будто отъ него зависѣло жить старухѣ или умереть. — Ну, такъ вотъ, любезный, будешь прикладывать ей на голову холодный компрессъ и давай вотъ эти порошки по два въ день. А за симъ досвиданція, бонжуръ.

По выраженію его лица Яковъ видѣлъ, что дѣло плохо и что ужъ никакими порошками не поможешь; для него теперь ясно было, что Марѳа помретъ очень скоро, не сегодня—завтра. Онъ слегка толкнулъ фельдшера подъ локоть, подмигнулъ глазомъ и сказалъ вполголоса:

— Ей бы, Максимъ Николаичъ, банки поставить.

— Некогда, некогда, любезный. Бери свою старуху и уходи съ Богомъ. Досвиданція.

— Сдѣлайте такую милость, — взмолился Яковъ. — Сами изволите знать, если бъ у нея, скажемъ, животъ болѣлъ, или какая внутренность, ну, тогда порошки и капли, а то вѣдь въ ней простуда! При простудѣ первое дѣло — кровь гнать, Максимъ Николаичъ.

А фельдшеръ уже вызвалъ слѣдующаго больного, и въ пріемную входила баба съ мальчикомъ.

— Ступай, ступай... — сказалъ онъ Якову, хмурился. — Исчеготъ тѣнь наводить.

— Въ такомъ случаѣ поставьте ей хоть пьивки! Заставьте вѣчно Бога молить!

Фельдшеръ вспылить и крикнуть:

— Поговори мнѣ еще! Длубина...

Яковъ тоже вспылить и побагровѣлъ весь, но не сказалъ ни слова, а взялъ подѣ руку Марѳу и повелъ ее изъ приемной. Только когда ужъ сѣдѣлись въ телѣгу, онъ сурово и насмѣшливо поглядѣлъ на больницу и сказалъ:

— Насажали васъ тутъ артистовъ! Богатому небось поставилъ бы банки, а для бѣднаго человѣка и одной пѣявки пожалѣлъ. Ироды!

Когда прѣехали домой, Марѳа, войдя въ избу, минутъ десять простояла, держась за печку. Ей казалось, что если она ляжетъ, то Яковъ будетъ говорить объ убыткахъ и бранить ее за то, что она все лежитъ и не хочетъ работать. А Яковъ глядѣлъ на нее со скукой и вспоминалъ, что завтра Іоанна Богослова, послѣ завтра Николая чудотворца, а потомъ воскресенье, потомъ понедѣльникъ—тяжелый день. Четыре дня нельзя будетъ работать, а навѣрно Марѳа умретъ въ какой-нибудь изъ этихъ дней; значитъ, гробъ надо дѣлать сегодня. Онъ взялъ свой желѣзный аршинъ, подошелъ къ старухѣ и снялъ съ нея мѣрку. Потомъ она легла, а онъ перекрестился и сталъ дѣлать гробъ.

Когда работа была кончена, Бронза надѣлъ очки и записалъ въ свою книжку:

«Марѣ Ивановой гробъ—2 р. 40 к.».

И вздохнулъ. Старуха все время лежала молча съ закрытыми глазами. Но вечеромъ, когда стемнѣло, она вдругъ позвала старика.

— Помнишь, Яковъ?—спросила она, глядя на него радостно.—Помнишь, пятьдесятъ лѣтъ назадъ намъ Богъ далъ ребеночка съ бѣлокурыми волосиками? Мы съ тобой тогда все на рѣчкѣ сидѣли и пѣсни пѣли... подѣ вербой.—И, горько усмѣхнувшись, она добавила:—Умерла дѣвочка.

Яковъ напрягъ память, но никакъ не могъ вспомнить ни ребеночка, ни вербы.

— Это тебѣ мерещится,—сказалъ онъ.

Приходилъ батюшка, приобщалъ и соборовалъ. Потомъ Марѳа стала бормотать что-то непонятное и къ утру скончалась.

Старухи-сосѣдки обмыли, одѣли и въ гробъ положили. Чтобы не платить лишняго дьячку, Яковъ самъ читалъ псалтырь, и за могилку съ него ничего не взяли, такъ какъ кладбищенскій сторожъ былъ ему кумъ. Четыре мужика несли до кладбища гробъ, но не за деньги, а изъ уваженія. Шли за гробомъ старухи, нищіе, двое юродивыхъ, встрѣчный народъ набожно крестился... И Яковъ былъ очень доволенъ, что все такъ честно, благопристойно и дешево и ни для кого не обидно. Прощаясь въ послѣдній разъ съ Марѳой, онъ потрогалъ рукой гробъ и подумалъ: «Хорошая работа!»

Но когда онъ возвращался съ кладбища, его взяла сильная тоска. Ему что-то нездоровилось: дыханіе было горячее и тяжкое, ослабѣли ноги, тянуло къ питью. А тутъ еще полѣзли въ голову всякія мысли. Вспомнилось опять, что за всю свою жизнь онъ ни разу не пожалѣлъ Марѳы, не приласкалъ. Пятьдесятъ-два года, пока они жили въ одной избѣ, тянулись долго-долго, но какъ-то такъ вышло, что за все это время онъ ни разу не подумалъ о ней, не обратилъ вниманія, какъ будто она была кошка или собака. А вѣдь она каждый день топила печь, варила и пекла, ходила по воду, рубила дрова, спала съ нимъ на одной кровати, а когда онъ возвращался пьяный со свадебъ, она всякій разъ съ благоговѣніемъ вѣшала его скрипку на стѣну и укладывала его спать и все это молча, съ робкимъ, заботливымъ выраженіемъ.

Навстрѣчу Якову, улыбаясь и кланяясь, шелъ Ротшильдъ.

— А я васъ ищу, дяденька!—сказалъ онъ.—Кланялись вамъ Мойсей Ильичъ и велѣли вамъ заразъ придти къ намъ.



Якову было не до того. Ему хотѣлось плакать.

— Отстань!—сказаль онъ и пошелъ дальше.

— А какъ же это можно?— встревожился Ротшильдъ, забѣгая впередъ. — Мойсей Ильичъ будутъ обижаться! Они велѣли заразы!

Якову показалось противно, что жидъ запыхался, моргаетъ и что у него такъ много рыжихъ веснушекъ. И было гадко глядѣть на его зеленый скотрукъ съ темными латками и на всю его хрупкую, деликатную фигуру.

— Что ты лѣзешь ко мнѣ, чесноккъ?—крикнулъ Яковъ.— Не приставай!

Жидъ разсердился и тоже крикнулъ:

— Но ви пожалуста потише, а то ви у меня черезъ заборъ полетите!

— Прочь съ глазъ долой!—заревѣлъ Яковъ и бросился на него съ кулаками. — Житѣя нѣтъ отъ пархатыхъ!

Ротшильдъ помертвѣлъ отъ страха, присѣлъ и замахаль руками надъ головой, какъ бы защищаясь отъ ударовъ, потомъ вскочилъ и побѣжалъ прочь что есть духу. На бѣгу онъ подпрыгиваль, всплескиваль руками, и видно было, какъ вздрагивала его длинная, тощая спина. Мальчишки обрадовались случаю и бросились за нимъ съ криками: «Жидъ! Жидъ!» Собаки тоже погнались за нимъ съ лаемъ. Кто-то захохоталь, потомъ свистнулъ, собаки залаяли громче и дружнѣе... Затѣмъ, должно-быть, собака укусила Ротшильда, такъ какъ послышался отчаянный, болѣзненный крикъ.

Яковъ погулялъ по выгону, потомъ пошелъ по краю города, куда глаза глядятъ, и мальчишки кричали: «Бронза идетъ! Бронза идетъ!» А вотъ и рѣка. Тутъ съ пискомъ носились кулики, крикали утки. Солнце сильно припекало, и отъ воды шло такое сверканье, что было больно смотрѣть. Яковъ прошелся по тропинкѣ вдоль берега и видѣлъ, какъ изъ купальни вышла полная краснощекая дама,

и подумалъ про нее: «Ишь ты, выдра!» Недалеко отъ купальни мальчишки ловили на мясо раковъ; увидѣвъ его, они стали кричать со злобой: «Бронза! Бронза!» А вотъ широкая старая верба съ громаднымъ дупломъ, а на ней воронья гнѣзда... И вдругъ въ памяти Якова, какъ живой, выросъ младенчикъ съ бѣлокурыми волосами и верба, про которую говорила Марѳа. Да, это и есть та самая верба—зеленая, тихая, грустная... Какъ она постарѣла, бѣдная!

Онъ сѣлъ подъ нее и сталъ вспоминать. На томъ берегу, гдѣ теперь заливной лугъ, въ ту пору стоялъ крупный березовый лѣсъ, а вонъ на той лысой горѣ, что виднѣется на горизонтѣ, тогда синѣлъ старый-старый сосновый боръ. По рѣкѣ ходили барки. А теперь все ровно и гладко, и на томъ берегу стоитъ одна только березка, молоденькая и стройная, какъ барышня, а на рѣкѣ только утки да гуси, и не похоже, чтобы здѣсь когда-нибудь ходили барки. Кажется, противъ прежняго и гусей стало меньше. Яковъ закрылъ глаза, и въ воображеніи его одно навстрѣчу другому понеслись громадныя стада бѣлыхъ гусей.

Онъ недоумѣвалъ, какъ это вышло такъ, что за послѣднія сорокъ или пятьдесятъ лѣтъ своей жизни онъ ни разу не былъ на рѣкѣ, а если, можетъ, и былъ, то не обратилъ на нее вниманія? Вѣдь рѣка порядочная, не пустячная; на ней можно было бы завести рыбныя ловли, а рыбу продавать кунцамъ, чиновникамъ и буфетчику на станціи и потомъ класть деньги въ банкъ; можно было бы плавать въ лодкѣ отъ усадьбы къ усадьбѣ и играть на скрипкѣ, и народъ всякаго званія платилъ бы деньги; можно было бы попробовать опять гонять барки — это лучше, чѣмъ гробы дѣлать; наконецъ, можно было бы разводиться гусей, бить ихъ и зимой отправлять въ Москву; небось одного пуху въ годъ набралось бы рублей на десять. Но онъ прозѣвалъ, ничего этого не сдѣлалъ. Какіе убытки! Ахъ, какіе убытки! А если бы все вмѣстѣ — и рыбу ловить, и на скрипкѣ

играть, и барки гонять, и гусей бить, то какой получился бы капитал! Но ничего этого не было даже во снѣ, жизнь прошла безъ пользы, безъ всякаго удовольствія, пропала зря, ни за понюшку табаку; впереди уже ничего не осталось, а посмотришь назадъ—тамъ ничего, кромѣ убытковъ, и такихъ страшныхъ, что даже ознобъ беретъ. И почему человѣкъ не можетъ жить такъ, чтобы не было этихъ потерь и убытковъ? Спрашивается, зачѣмъ срубили березнякъ и сосновый боръ? Зачѣмъ даромъ гуляетъ выгонъ? Зачѣмъ люди дѣлаютъ всегда именно не то, что нужно? Зачѣмъ Яковъ всю свою жизнь бранился, рычалъ, бросался съ кулаками, обижалъ свою жену и, спрашивается, для какой надобности давеча напугалъ и оскорбилъ жида? Зачѣмъ вообще люди мѣшajúть жить другъ другу? Вѣдь отъ этого какіе убытки! Какіе страшные убытки! Если бы не было ненависти и злобы, люди имѣли бы другъ отъ друга громадную пользу.

Вечерѣмъ и ночью мерещились ему младенчикъ, верба, рыба, битые гуси, и Марѳа, похожая въ профиль на птицу, которой хочется пить, и блѣдное, жалкое лицо Ротшильда, и какія-то морды надвигались со всѣхъ сторонъ и бормотали про убытки. Онъ ворочался съ боку на бокъ и разъ пять вставалъ съ постели, чтобы поиграть на скрипкѣ.

Утромъ черезъ силу поднялся и пошелъ въ больницу. Тотъ же Максимъ Николаичъ приказалъ ему прикладывать къ головѣ холодный компрессъ, далъ порошки, и по выраженію его лица и по тону, Яковъ понялъ, что дѣло плохо и что ужъ никакими порошками не поможешь. Идя потомъ домой, онъ соображалъ, что отъ смерти будетъ одна только польза: не надо ни ѣсть, ни пить, ни платить податей, ни обижать людей, а такъ какъ человѣкъ лежитъ въ могилкѣ не одинъ годъ, а сотни, тысячи лѣтъ, то, если сосчитать, польза окажется громадная. Отъ жизни человѣку—убытокъ, а отъ смерти—польза. Это соображеніе, конечно, справед-

ливо, но все-таки обидно и горько: зачѣмъ на свѣтѣ такой странный порядокъ, что жизнь, которая дается человѣку только одинъ разъ, проходить безъ пользы?

Не жалко было умирать, но какъ только дома онъ увидѣлъ скрипку, у него сжалось сердце и стало жалко. Скрипку нельзя взять съ собой въ могилу, и теперь она останется сиротой и съ нею случится то же, что съ березнякомъ и съ сосновымъ боромъ. Все на этомъ свѣтѣ пропадало и будетъ пропадать! Яковъ вышелъ изъ избы и сѣлъ у порога, прижимая къ груди скрипку. Думая о пропащей, убыточной жизни, онъ заигралъ, самъ не зная что, но вышло жалобно и трогательно, и слезы потекли у него по щекамъ. И чѣмъ крѣпче онъ думалъ, тѣмъ печальнѣе пѣла скрипка.

Скрипнула щеколда разъ-другой, и въ калиткѣ показался Ротшильдъ. Половину двора прошелъ онъ смѣло, но, увидѣвъ Якова, вдругъ остановился, весь съежился и, должно-быть, отъ страха, сталъ дѣлать руками такіе знаки, какъ будто хотѣлъ показать на пальцахъ, который теперь часъ.

— Подойди, ничего,—сказалъ ласково Яковъ и поманилъ его къ себѣ.—Подойди!

Глядя недовѣрчиво и со страхомъ, Ротшильдъ сталъ подходить и остановился отъ него на сажень.

— А вы, сдѣлайте милость, не бейте меня! — сказалъ онъ, присѣдая. — Меня Мойсей Ильичъ опять послали. Не бойся, говорятъ, поди опять до Якова и скажи, говорятъ, что безъ ихъ никакъ невозможно. Въ среду швадьба... Да-а! Господинъ Шаповаловъ выдаютъ дочку жа хорошаго целовѣка... И швадьба будетъ богатая, у-у! — добавилъ жидъ и прищурилъ одинъ глазъ.

— Не могу... — проговорилъ Яковъ, тяжело дыша. — Захворалъ, братъ.

И опять заигралъ, и слезы брызнули изъ глазъ на скрипку. Ротшильдъ внимательно слушалъ, ставши къ нему

бокомъ и скрестивъ на груди руки. Испуганное, недоумѣвающее выраженіе на его лицѣ мало-по-малу смѣнилось скорбнымъ и страдальческимъ, онъ закатилъ глаза, какъ бы испытывая мучительный восторгъ, и проговорилъ: «Ваххх!..» И слезы медленно потекли у него по щекамъ и закапали на зеленый сюртукъ.

И потомъ весь день Яковъ лежалъ и тосковалъ. Когда вечеромъ батюшка, исповѣдуя, спросилъ его, не помнитъ ли онъ за собою какого-нибудь особеннаго грѣха, то онъ, напругая слабѣющую память, вспомнилъ опять несчастное лицо Марѣи и отчаянный крикъ жида, котораго укусила собака, и сказалъ едва слышно:

— Скрипку отдайте Ротшильду.

— Хорошо,— отвѣтилъ батюшка.

И теперь въ городѣ всѣ спрашиваютъ: откуда у Ротшильда такая хорошая скрипка? Купилъ онъ ее или укралъ, или, быть-можетъ, она попала къ нему въ закладъ? Онъ давно уже оставилъ флейту и играетъ теперь только на скрипкѣ. Изъ-подъ смычка у него льются такіе же жалобные звуки, какъ въ прежнее время изъ флейты, но когда онъ старается повторить то, что игралъ Яковъ, сидя на порогѣ, то у него выходитъ нѣчто такое унылое и скорбное, что слушатели плачутъ, и самъ онъ подъ конецъ закатываетъ глаза и говоритъ: «Ваххх!..» И эта новая пѣсня такъ понравилась въ городѣ, что Ротшильда приглашаютъ къ себѣ наперерывъ купцы и чиновники и заставляютъ играть ее по десяти разъ.

## ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ И ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ.

— Пустите меня, я хочу сама править! Я сяду рядомъ съ ямщикомъ!—говорила громко Софья Львовна.—Ямщикъ, погоди, я сяду съ тобой на козлы.

Она стояла въ саняхъ, а ея мужъ Владиміръ Никитычъ и другъ дѣтства Владиміръ Михайлычъ держали ее за руки, чтобы она не упала. Тройка неслась быстро.

— Я говорилъ, не слѣдовало давать ей коньяку, — шепнулъ съ досадой Владиміръ Никитычъ своему спутнику. — Экій ты, право!

Полковникъ зналъ по опыту, что у такихъ женщинъ, какъ его жена Софья Львовна, вслѣдъ за бурною, немножко пьяною веселостью обыкновенно наступаетъ истерическій смѣхъ и потомъ плачь. Онъ боялся, что теперь, когда они пріѣдутъ домой, ему, вмѣсто того, чтобы спать, придется возиться съ компрессами и каплями.

— Тпрр!—кричала Софья Львовна.—Я хочу править!

Она была искренно весела и торжествовала. Въ послѣдніе два мѣсяца, съ самаго дня свадьбы, ее томила мысль, что она вышла за полковника Ягича по расчету и, какъ говорится, *par dépit*; сегодня же въ загородномъ ресторанѣ она убѣдилась наконецъ, что любить его страстно. Несмотря на свои пятьдесятъ-четыре года, онъ былъ такъ строенъ, ловокъ, ги-

бокъ, такъ мило каламбурилъ и поддѣвалъ цыганкамъ. Право, теперь старики въ тысячу разъ интереснѣе молодыхъ, и похоже на то, какъ будто старость и молодость помѣнялись своими ролями. Полковникъ старше ея отца на два года, но можетъ ли это обстоятельство имѣть какое-нибудь значеніе, если, говоря по совѣсти, жизненной силы, бодрости и свѣжести въ немъ неизмѣримо больше, чѣмъ въ ней самой, хотя ей только двадцать-три года?

«О, мой милый!—думала она.—Чудный!»

Въ ресторанѣ она также убѣдилась, что отъ прежняго чувства въ ея душѣ не осталось даже искры. Къ другу дѣтства Владиміру Михайлычу или, попросту, Володѣ, котораго она еще вчера любила до сумасбродства, до отчаянія, теперь она чувствовала себя совершенно равнодушной. Сегодня весь вечеръ онъ казался ей вялымъ, соннымъ, неинтереснымъ, ничтожнымъ, и его хладнокровіе, съ какимъ онъ обыкновенно уклоняется отъ платежа по рестораннымъ счетамъ, на этотъ разъ возмутило ее, и она едва удержалась, чтобы не сказать ему: «Если вы бѣдный, то сидите дома». Платилъ одинъ только полковникъ.

Оттого, быть-можетъ, что въ глазахъ у нея мелькали деревья, телеграфные столбы и сугробы, самыя разнообразныя мысли приходили ей въ голову. Она думала: по счету въ ресторанѣ уплачено сто-двадцать и цыганамъ—сто, и завтра она, если захочетъ, можетъ бросить на вѣтеръ хоть тысячу рублей, а два мѣсяца назадъ, до свадьбы, у нея не было и трехъ рублей собственныхъ, и за каждымъ пустякомъ приходилось обращаться къ отцу. Какая перемена въ жизни!

Мысли у нея путались, и она вспоминала, какъ полковникъ Ягичъ, ея теперешній мужъ, когда ей было лѣтъ десять, ухаживалъ за тетей, и всѣ въ домѣ говорили, что онъ погубилъ ее, и въ самомъ дѣлѣ тетя часто выходила къ обѣду съ заплаканными глазами и все куда-то уѣзжала,

и говорили про нее, что она, бѣдняжка, не находитъ себѣ мѣста. Онъ былъ тогда очень красивъ и имѣлъ необычайный успѣхъ у женщинъ, такъ что его зналъ весь городъ, и рассказывали про него, будто онъ каждый день ѣздилъ съ визитами къ своимъ поклонницамъ, какъ докторъ къ больнымъ. И теперь, даже несмотря на сѣдину, морщины и очки, иногда его худощавое лицо, особенно въ профиль, кажется прекраснымъ.

Отецъ Софьи Львовны былъ военнымъ докторомъ и служилъ когда-то въ одномъ полку съ Ягичемъ. Отецъ Володи тоже былъ военнымъ докторомъ и тоже служилъ когда-то въ одномъ полку съ сыномъ и съ Ягичемъ. Несмотря на любовныя приключенія, часто очень сложныя и безпокойныя, Володя учился прекрасно; онъ кончилъ курсъ въ университетѣ съ большимъ успѣхомъ и теперь избралъ своею специальностью иностранную литературу и, какъ говорятъ, пишетъ диссертацию. Живетъ онъ въ казармахъ, у своего отца, военного доктора, и не имѣетъ собственныхъ денегъ, хотя ему уже тридцать лѣтъ. Въ дѣтствѣ Софья Львовна и онъ жили въ разныхъ квартирахъ; но подъ одною крышею, и онъ часто приходилъ къ ней играть, и ихъ вмѣстѣ учили танцевать и говорить по-французски; но когда онъ выросъ и сдѣлался стройнымъ, очень красивымъ юношей, она стала стыдиться его, потому что полюбила безумно и любила до послѣдняго времени, пока не вышла за Ягича. Онъ тоже имѣлъ необыкновенный успѣхъ у женщинъ, чуть ли не съ четырнадцати лѣтъ, и дамы, которыя для него измѣняли своимъ мужьямъ, оправдывались тѣмъ, что Володя маленькій. Про него недавно кто-то рассказывалъ, будто бы онъ, когда былъ студентомъ, жилъ въ номерахъ, поближе къ университету, и всякій разъ, бывало, какъ постучишься къ нему, то слышались за дверью его шаги и затѣмъ извиненіе вполголоса: «Pardon, je ne suis pas seul». Ягичъ приходилъ отъ него въ восторгъ и благословлялъ его



на дальнѣйшее, какъ Державинъ Пушкина, и, повидимому, любилъ его. Оба они по цѣлымъ часамъ молча играли на бильярдѣ или въ пикетъ, и если Ягичъ ѣхалъ куда-нибудь на тройкѣ, то бралъ съ собою и Володю, и въ тайны своей диссертации Володя посвящалъ только одного Ягича. Въ первое время, когда полковникъ былъ помоложе, они часто попадали въ положеніе соперниковъ, но никогда не ревновали другъ къ другу. Въ обществѣ, гдѣ они бывали вмѣстѣ, Ягича прозвали Володей большимъ, а его друга — Володей маленькимъ.

Въ саняхъ, кромѣ Володи большого, Володи маленькаго и Софьи Львовны, находилась еще одна особа — Маргарита Александровна, или, какъ ее всѣ звали, Рита, кузина господи Ягичъ, дѣвушка уже за тридцать, очень блѣдная, съ черными бровями, въ *rinse-pez*, курившая папирсы безъ передышки, даже на сильномъ морозѣ; всегда у нея на груди и на-колѣняхъ былъ пепель. Она говорила въ носъ, растягивая каждое слово, была холодна, могла пить ликеры и коньякъ, сколько угодно, и не пьянѣла, и двусмысленные анекдоты рассказывала вяло, безвкусно. Дома она отъ утра до вечера читала толстые журналы, обсыная ихъ пепломъ, или кушала мороженныя яблоки.

— Соня, перестань бѣситься, — сказала она нараспѣвъ. — Право, глупо даже.

Въ виду заставы тройка понеслась тише, замелькали дома и люди, и Софья Львовна присмирѣла, прижалась къ мужу и вся отдалась своимъ мыслямъ. Володя маленькій сидѣлъ противъ. Теперь уже къ веселымъ, легкимъ мыслямъ стали примѣшиваться и мрачныя. Она думала: этому человеку, который сидитъ противъ, было извѣстно, что она его любила, и онъ, конечно, вѣрилъ разговорамъ, что она вышла за полковника *par dѣpit*. Она еще ни разу не признавалась ему въ любви и не хотѣла, чтобы онъ зналъ, и скрывала свое чувство, но по лицу его видно было, что онъ

превосходно понималъ ее—и самолюбіе ея страдало. Но въ ея положеніи унизительнѣе всего было то, что послѣ свадьбы этотъ Володя маленькій вдругъ сталъ обращать на нее вниманіе, чего раньше никогда не бывало, просиживалъ съ ней по цѣлымъ часамъ молча или болтая о пустякахъ, и теперь въ саняхъ, не разговаривая съ нею, онъ слегка наступалъ ей на ногу и пожималъ руку; очевидно, ему того только и нужно было, чтобы она вышла замужъ; и очевидно было, что онъ презираетъ ее, и что она возбуждаетъ въ немъ интересъ лишь извѣстнаго свойства, какъ дурная и непорядочная женщина. И когда въ ея душѣ торжество и любовь къ мужу мѣшались съ чувствомъ униженія и оскорбленной гордости, то ею овладѣвалъ задоръ и хотѣлось тогда сѣсть на козлы и кричать, подсвистывать...

Какъ разъ въ то самое время, когда проѣзжали мимо женскаго монастыря, раздался ударъ большого тысячепудоваго колокола. Рита перекрестилась.

— Въ этомъ монастырѣ наша Оля, — сказала Софья Львовна и тоже перекрестилась и вздрогнула.

— Зачѣмъ она пошла въ монастырь? — спросилъ полковникъ.

— *Par dépit*, — сердито отвѣтила Рита, очевидно намекая на бракъ Софьи Львовны съ Ягичемъ. — Теперь въ модѣ это *par dépit*. Вызовъ всему свѣту. Была хохотушка, отчаянная кокетка, любила только балы да кавалеровъ и вдругъ—на, поди! Удивила!

— Это неправда, — сказалъ Володя маленькій, опуская воротникъ шубы и показывая свое красивое лицо. — Тутъ не *par dépit*, а сплошной ужасъ, если хотите. Ея брата, Дмитрія, сослали въ каторжныя работы, и теперь неизвѣстно, гдѣ онъ. А мать умерла съ горя.

Онъ опять поднялъ воротникъ.

— И хорошо сдѣлала Оля, — добавилъ онъ глухо. — Жить на

положеніи воспитанницы, да еще съ такимъ золотомъ, какъ Софья Львовна—тоже подумать надо!

Софья Львовна услышала въ его голосъ презрительный тонъ и хотѣла сказать ему дерзость, но промолчала. Ею опять овладѣлъ тотъ же задоръ; она поднялась на ноги и крикнула плачущимъ голосомъ:

— Я хочу къ утренѣ! Ямщикъ, назадъ! Я хочу Олю видѣть!

Повернули назадъ. Звонъ монастырскаго колокола былъ густой, и, какъ казалось Софьѣ Львовнѣ, что-то въ немъ напоминало объ Олѣ и ея жизни. Зазвонили и въ другихъ церквахъ. Когда ямщикъ осадилъ тройку, Софья Львовна выскочила изъ саней и одна, безъ провожатаго, быстро пошла къ воротамъ.

— Скорѣй, пожалуйста! — крикнулъ ей мужъ. — Уже поздно!

Она прошла темными воротами, потомъ по аллеѣ, которая вела отъ воротъ къ главной церкви, и свѣжокъ хрустѣлъ у нея подъ ногами, и звонъ раздавался уже надъ самою головой и, казалось, проникалъ во все ея существо. Вотъ церковная дверь, три ступеньки внизъ, затѣмъ притворъ съ изображеніями святыхъ по обѣ стороны, запахло можжевелникомъ и ладаномъ, опять дверь, и темная фигурка открываетъ ее и кланяется низко-низко... Въ церкви служба еще не начиналась. Одна монашенка ходила около иконостаса и зажигала свѣчи на ставникахъ, другая зажигала паникадило. Тамъ и сямъ, ближе къ колоннамъ и боковымъ придѣламъ, стояли неподвижно черныя фигуры. «Значить, какъ онѣ стоятъ теперь, такъ ужъ не сойдутъ до самаго утра», подумала Софья Львовна, и ей показалось тутъ темно, холодно, скучно,—скучнѣе, чѣмъ на кладбищѣ. Она съ чувствомъ скуки поглядѣла на неподвижныя, застывшія фигуры, и вдругъ сердце у нея сжалось. Почему-то въ одной изъ монашенокъ, небольшого роста, съ

худенькими плечами и съ черною косынкой на головѣ она узнала Олю, хотя Оля, когда уходила въ монастырь, была полная и какъ будто повыше. Нерѣшительно, сильно волнуясь отчего-то, Софья Львовна подошла къ послушницѣ и черезъ плечо поглядѣла ей въ лицо, и узнала Олю.

— Оля! — сказала она и всплеснула руками, и ужъ не могла говорить отъ волненія.—Оля!

Монашенка тотчасъ же узнала ее, удивленно подняла брови, и ея блѣдное, недавно умытое, чистое лицо и даже, какъ показалось, ея бѣлый платочекъ, который виденъ былъ изъ-подъ косынки, просіяли отъ радости.

— Вотъ Господь чудо послалъ, — сказала она и тоже всплеснула своими худыми, блѣдными ручками.

Софья Львовна крѣпко обняла ее и поцѣловала, и боялась при этомъ, чтобы отъ нея не пахло виномъ.

— А мы сейчасъ ѣхали мимо и вспомнили про тебя,— говорила она, запыхавшись, какъ отъ быстрой ходьбы.— Какая ты блѣдная, Господи! Я... я очень рада тебя видѣть. Ну, что? Какъ? Скучаешь?

Софья Львовна оглянулась на другихъ монахинь и продолжала уже тихимъ голосомъ:

— У насъ столько перемѣнъ... Ты знаешь, я замужъ вышла за Ягича, Владимира Никитича. Ты его помнишь, навѣрное... Я очень счастлива съ нимъ.

— Ну, слава Богу. А папа твой здоровъ?

— Здоровъ. Часто про тебя вспоминаетъ. Ты же, Оля, приходи къ намъ на праздникахъ. Слышишь?

— Приду,—сказала Оля и усмѣхнулась.—Я на второй день приду.

Софья Львовна, сама не зная отчего, заплакала и минутку плакала молча, потомъ вытерла глаза и сказала:

— Рита будетъ очень жалѣть, что тебя не видѣла. Она тоже съ нами. И Володя тутъ. Они около воротъ. Какъ бы

они были рады, если бы ты повидалась съ ними! Пойдемъ къ нимъ, вѣдь служба еще не начиналась.

— Пойдемъ,—согласилась Оля.

Она перекрестилась три раза и вмѣстѣ съ Софьей Львов-ной пошла къ выходу.

— Такъ ты говоришь, Сонечка, счастлива? — спросила она, когда вышли за ворота.

— Очень.

— Ну, слава Богу.

Володя большой и Володя маленькій, увидѣвъ монашенку, вышли изъ саней и почтительно поздоровались; оба были замѣто тронуты, что у нея блѣдное лицо и черное монашеское платье, и обоемъ было приятно, что она вспомнила про нихъ и пришла поздороваться. Чтобы ей не было холодно, Софья Львовна укутала ее въ пледъ и прикрыла одною полонь своей шубы. Недавнія слезы облегчили и прояснили ей душу, и она была рада, что эта шумная, безпокойная и въ сущности нечистая ночь неожиданно кончилась такъ чисто и кротко. И чтобы удержать подольше около себя Олю, она предложила:

— Давайте ее прокатимъ! Оля, садись, мы немножко.

Мужчины ожидали, что монашенка откажется — святые на тройкахъ не ѣздятъ, — но къ ихъ удивленію она согласилась и сѣла въ сани. И когда тройка помчалась къ заставѣ, всѣ молчали и только старались, чтобы ей было удобно и тепло, и каждый думалъ о томъ, какая она была прежде и какая теперь. Лицо у нея теперь было безстрастное, мало выразительное, холодное и блѣдное, прозрачное, будто въ жилахъ ея текла вода, а не кровь. А года два-три назадъ она была полной, румяной, говорила о женихахъ, хохотала отъ малѣйшаго пустяка...

Около заставы тройка повернула назадъ; когда она мигнуть черезъ десять остановилась около монастыря, Оля вышла изъ саней. На колокольнѣ уже перезванивали.

— Спаси васъ Господи,—сказала Оля и низко, по-монашески поклонилась.

— Такъ ты же приходи, Оля.

— Приду, приду.

Она быстро пошла и скоро исчезла въ темныхъ воротахъ. И послѣ этого почему-то, когда тройка поѣхала дальше, стало грустно-грустно.. Всѣ молчали. Софья Львовна почувствовала во всемъ тѣлѣ слабость и пала духомъ; то, что она заставила монашенку сѣсть въ сани и прокатиться на тройкѣ, въ нетрезвой компаніи, казалось ей уже глупымъ, безтактнымъ и похожимъ на кощунство; вмѣстѣ съ хмелемъ у нея прошло и желаніе обманывать себя, и для нея уже ясно было, что мужа своего она не любитъ и любить не можетъ, что все вздоръ и глупость. Она вышла изъ расчета, потому что онъ, по выраженію ея институтскихъ подругъ, безумно богатъ, и потому что ей страшно было оставаться въ старыхъ дѣвахъ, какъ Рита, и потому, что надоѣлъ отецъ-докторъ и хотѣлось досадить Володѣ маленькому. Если бы она могла предположить, когда выходила, что это такъ тяжело, жутко и безобразно, то она ни за какія блага въ свѣтѣ не согласилась бы вѣнчаться. Но теперь бѣды не поправишь. Надо мириться.

Пріѣхали домой. Ложась въ теплую мягкую постель и укрываясь одѣяломъ, Софья Львовна вспомнила темный притворъ, запахъ ладана и фигуры у колоннъ, и ей было жутко отъ мысли, что эти фигуры будутъ стоять неподвижно все время, пока она будетъ спать. Утренняя будетъ длинная-длинная, потомъ часы, потомъ обѣдня, молебень...

«Но вѣдь Богъ есть, навѣрное есть, и я непременно должна умереть, значить, надо рано или поздно подумать о душѣ, о вѣчной жизни, какъ Оля. Оля теперь спасена, она рѣшила для себя всѣ вопросы... Но если Бога нѣтъ? Тогда пропала ея жизнь. То-есть какъ пропала? Почему пропала?»

А через минуту въ голову опять лѣзетъ мысль:

«Богъ есть, смерть непремѣнно придетъ, надо о душѣ подумать. Если Оля сію минуту увидитъ свою смерть, то ей не будетъ страшно. Она готова. А главное, она уже рѣшила для себя вопросъ жизни. Богъ есть... да... Но неужели нѣтъ другого выхода, какъ только идти въ монастырь? Вѣдь идти въ монастырь — значить отречься отъ жизни, погубить ее...»

Софья Львовна становилось немножко страшно; она спрятала голову подъ подушку.

— Не надо объ этомъ думать, — шептала она. — Не надо...

Ягич ходилъ въ сосѣдней комнатѣ по ковру, мягко звени шпорами, и о чемъ-то думалъ. Софья Львовна пришла мысль, что этотъ человекъ близокъ и дорогъ ей только въ одномъ: его тоже зовутъ Владиміромъ. Она съѣла на постель и позвала нѣжно:

— Володя!

— Что тебѣ? — отозвался мужъ.

— Ничего.

Она опять легла. Послышался звонъ, быть-можетъ, тотъ же самый монастырскій, припомнились ей опять притворъ и темныя фигуры, забродили въ головѣ мысли о Богѣ и неизбѣжной смерти, и она укрывась съ головой, чтобы не слышать звона; она сообразила, что прежде чѣмъ наступитъ старость и смерть, будетъ еще тянуться длинная-длинная жизнь, и изо-дня въ день придется считаться съ близостью нелюбимаго человека, который вотъ пришелъ уже въ спальню и ложится спать, и придется душить въ себѣ безнадежную любовь къ другому — молодому, обаятельному, и, какъ казалось ей, необыкновенному. Она взглянула на мужа и хотѣла пожелать ему доброй ночи, но вмѣсто этого вдругъ заплакала. Ей было досадно на себя.

— Ну, начинается музыка! — проговорилъ Ягич, дѣлая удареніе на *зы*.

Она успокоилась, но поздно, только къ десятому часу утра; она перестала плакать и дрожать всѣмъ тѣломъ, но зато у ней начиналась сильная головная боль. Ягичъ तो-ропился къ поздней обѣднѣ и въ сосѣдней комнатѣ ворчалъ на денщика, который помогалъ ему одѣваться. Онъ вошелъ въ спальню разъ, мягко звеня шпорами, и взялъ что-то, потомъ въ другой разъ—уже въ эполетахъ и орденахъ, чуть-чуть прихрамывая отъ ревматизма, и Софья Львовна показалось почему-то, что онъ ходитъ и смотритъ какъ хищникъ.

Она слышала, какъ Ягичъ позвонилъ у телефона.

— Будьте добры, соедините съ Васильевскими казармами!—сказалъ онъ; а черезъ минуту:— Васильевскія казармы? Пригласите, пожалуйста, къ телефону доктора Салимовича...—И еще черезъ минуту:— Съ кѣмъ говорю? Ты, Володя? Очень радъ. Попроси, милый, отца пріѣхать сейчасъ къ намъ, а то моя супруга сильно расклеилась послѣ вчерашняго. Нѣтъ дома, говоришь? Гм... Благодарю. Прекрасно... премного обяжешь... Merci.

Ягичъ въ третій разъ вошелъ въ спальню, нагнулся къ женѣ, перекрестилъ ее, далъ ей поцѣловать свою руку (женщины, которыя его любили, цѣловали ему руку, и онъ привыкъ къ этому) и сказалъ, что вернется къ обѣду. И вышелъ.

Въ двѣнадцатомъ часу горничная доложила, что пришли Владиміръ Михайлычъ. Софья Львовна, пошатываясь отъ усталости и головной боли, быстро надѣла свой новый удивительный капотъ сиреневаго цвѣта, съ мѣховою обшивкой, наскоро кое-какъ причесалась; она чувствовала въ своей душѣ невыразимую нѣжность и дрожала отъ радости и страха, что онъ можетъ уйти. Ей бы только взглянуть на него.

Володя маленькій пришелъ съ визитомъ, какъ слѣдуетъ, во фракѣ и въ бѣломъ галстукѣ. Когда въ гостиную во-



шла Софья Львовна, онъ поцѣловаль у нея руку и искренно пожалѣль, что она нездорова. Потомъ, когда сѣли, похваляль ея капоть.

— А меня разстроило вчерашнее свиданіе съ Олей, — сказала она. — Сначала мнѣ было жутко, но теперь я ей завидую. Она — несокрушимая скала, ее съ мѣста не сдвинешь; но неужели, Володя, у нея не было другого выхода? Неужели погребать себя заживо значить рѣшать вопросъ жизни? Вѣдь это смерть, а не жизнь.

При воспоминаніи объ Олѣ на лицѣ у Володи маленькаго показалось умиленіе.

— Вотъ вы, Володя, умный человекъ, — сказала Софья Львовна, — научите меня, чтобы я поступила точно такъ же, какъ она. Конечно я невѣрующая и въ монастырь не пошла бы, но вѣдь можно сдѣлать что-нибудь равносильное. Мнѣ не легко живется, — продолжала она, помолчавъ немного. — Научите же... Скажите мнѣ что-нибудь убѣдительное. Хоть одно слово скажите.

— Одно слово? Извольте: тарарабумбія.

— Володя, за что вы меня презираете? — спросила она живо. — Вы говорите со мной какимъ-то особеннымъ, простите, фатовскимъ языкомъ, какъ не говорятъ съ друзьями и съ порядочными женщинами. Вы имѣете успѣхъ, какъ ученый, вы любите науку, но отчего вы никогда не говорите со мной о наукѣ? Отчего? Я не достойна?

Володя маленькій досадливо поморщился и сказалъ:

— Отчего это вамъ такъ вдругъ науки захотѣлось? А, можетъ, хотите конституціи? Или, можетъ, севрюжины съ хрѣномъ?

— Ну, хорошо, я ничтожная, дрянная, безпринципная, недалекая женщина... У меня тьма, тьма ошибокъ, я психопатка, испорченная, и меня за это презирать надо. Но вѣдь вы, Володя, старше меня на десять лѣтъ, а мужъ старше меня на тридцать лѣтъ. Я росла на вашихъ гла-

захъ, и если бы вы захотѣли, то могли бы сдѣлать изъ меня все, что вамъ угодно, хоть ангела. Но вы... (голосъ у нея дрогнулъ) поступаете со мной ужасно. Ягичъ женился на мнѣ, когда уже постарѣлъ, а вы...

— Ну, полно, полно, — сказалъ Володя, садясь поближе и цѣлуя ей обѣ руки. — Предоставимъ Шопенгауэрамъ философствовать и доказывать все, что имъ угодно, а сами будемъ цѣловать эти ручки.

— Вы меня презираете и если бъ вы знали, какъ я страдаю отъ этого! — сказала она нерѣшительно, заранѣе зная, что онъ ей не повѣритъ. — А если бъ вы знали, какъ мнѣ хочется измѣниться, начать новую жизнь! Я съ восторгомъ думаю объ этомъ, — проговорила она и въ самомъ дѣлѣ прослезилась отъ восторга. — Быть хорошимъ, честнымъ, чистымъ человѣкомъ, не лгать, имѣть цѣль въ жизни.

— Ну, ну, ну, пожалуйста, не ломайтесь! Не люблю! — сказалъ Володя, и лицо его приняло капризное выраженіе. — Ей Богу точно на сценѣ. Будемъ держать себя по-человѣчески.

Чтобы онъ не разсердился и не ушелъ, она стала оправдываться и въ угоду ему насильно улыбнулась, и опять заговорила объ Олѣ и про то, какъ ей хочется рѣшить вопросъ своей жизни, стать человѣкомъ.

— Тара...ра...бумбія... — загѣлъ онъ вполголоса. — Тара...ра...бумбія!

И неожиданно взялъ ее за талію. А она, сама не зная, что дѣлаетъ, положила ему на плечи руки и минуту съ восхищеніемъ, точно въ чадѣ какомъ-то, смотрѣла на его умное, насмѣшливое лицо, лобъ, глаза, прекрасную бороду...

— Ты самъ давно знаешь, я люблю тебя, — созналась она ему и мучительно покраснѣла и почувствовала, что у нея даже губы судорожно покривились отъ стыда. — Я тебя люблю. Зачѣмъ же ты меня мучаешь?

Она закрыла глаза и крѣпко поцѣловала его въ губы, и долго, пожалуй, съ минуту, никакъ не могла кончить этого поцѣлуя, хотя знала, что это неприлично, что онъ самъ можетъ осудить ее, можетъ войти прислуга...

— О, какъ ты меня мучаешь!—повторила она.

Когда черезъ полчаса онъ, получившій то, что ему нужно было, сидѣлъ въ столовой и закусывалъ, она стояла передъ нимъ на колѣняхъ и съ жадностью смотрѣла ему въ лицо, и онъ говорилъ ей, что она похожа на собачку, которая ждетъ, чтобъ ей бросили кусочекъ ветчины. Потомъ онъ посадилъ ее къ себѣ на одно колѣно и, качая какъ ребенка, запѣлъ:

— Тара... рабумбія... Тара... рабумбія!

А когда онъ собрался уходить, она спрашивала его страстнымъ голосомъ:

— Когда? Сегодня? Гдѣ?

И она протянула къ его рту обѣ руки, какъ бы желая схватить отвѣтъ даже руками.

— Сегодня едва ли это удобно, — сказалъ онъ, подумавъ. — Вотъ развѣ завтра.

И они разстались. Передъ обѣдомъ Софья Львовна поѣхала въ монастырь къ Ольѣ, но тамъ сказали ей, что Оля гдѣ-то по покойникѣ читаетъ псалтирь. Изъ монастыря она поѣхала къ отцу и тоже не застала дома, потомъ перемѣнила извозчика и стала ѣздить по улицамъ и переулкамъ безъ всякой цѣли, и каталась такъ до вечера. И почему-то при этомъ вспоминалась ей та самая тетя съ заплаканными глазами, которая не находила себѣ мѣста.

А ночью опять катались на тройкахъ и слушали цыганъ въ загородномъ ресторанѣ. И когда опять проѣзжали мимо монастыря, Софья Львовна вспоминала про Олю, и ей становилось жутко отъ мысли, что для дѣвушекъ и женщинъ ея круга нѣтъ другого выхода, какъ не переставая кататься на тройкахъ и лгать, или же идти въ монастырь, убивать

плоть... А на другой день было свиданіе, и опять Софья Львовна ѣздила по городу одна на извозчикѣ и вспоминала про тетю.

Черезъ недѣлю Володя маленькій бросилъ ее. И послѣ этого жизнь пошла попрежнему, такая же неинтересная, тоскливая и иногда даже мучительная. Полковникъ и Володя маленькій играли подолгу на бильярдѣ и въ пикетѣ, Рита безвкусно и вяло рассказывала анекдоты, Софья Львовна все ѣздила на извозчикѣ и просила мужа, чтобы онъ покаталъ ее на тройкѣ.

Заѣзжая почти каждый день въ монастырь, она надоѣдала Ольѣ, жаловалась ей на свои невыносимыя страданія, плакала и при этомъ чувствовала, что въ келью вмѣстѣ съ нею входило что-то нечистое, жалкое, поношенное, а Оля машинально, тономъ заученнаго урока говорила ей, что все это ничего, все пройдетъ и Богъ проститъ.



## УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ.

---

### I.

Послышался стукъ лошадиныхъ копытъ о бревенчатый полъ; вывели изъ конюшни сначала вороного Графа Нулина, потомъ блага Великана, потомъ сестру его Майку. Все это были превосходныя и дорогія лошади. Старикъ Шелестовъ осѣдлалъ Великана и сказалъ, обращаясь къ своей дочери Машѣ:

— Ну, Марія Годфруа, иди садись. Опля!

Маша Шелестова была самой младшей въ семьѣ; ей было уже 18 лѣтъ, но въ семьѣ еще не отвыкли считать ее маленькой и потому всѣ звали ее Маней и Манюсей; а послѣ того, какъ въ городѣ побывалъ циркъ, который она усердно посѣщала, ее всѣ стали звать Маріей Годфруа.

— Опля!—крикнула она, садясь на Великана.

Сестра ея Варя сѣла на Майку, Никитинъ — на Графа Нулина, офицеры — на своихъ лошадей, и длинная красивая кавалькада, пестрѣя бѣлыми офицерскими кителями и черными амазонками, шагомъ потянулась со двора.

Никитинъ замѣтилъ, что, когда садились на лошадей и потомъ выѣхали на улицу, Манюся почему-то обращала вниманіе только на него одного. Она озабоченно оглядывала его и Графа Нулина и говорила:

— Вы, Сергѣй Васильичъ, держите его все время на мундшукѣ. Не давайте ему пугаться. Онъ притворяется.

И оттого ли, что ея Великанъ былъ въ большой дружбѣ съ Графомъ Нулинымъ, или выходило это случайно, она, какъ вчера и третьяго дня, ѣхала все время рядомъ съ Никитинымъ. А онъ глядѣлъ на ея маленькое стройное тѣло, сидѣвшее на бѣломъ гордомъ животномъ, на ея тонкій профиль, на цилиндръ, который вовсе не шелъ къ ней и дѣлалъ ее старѣе, чѣмъ она была, глядѣлъ съ радостью, съ умиленіемъ, съ восторгомъ, слушалъ ее, мало понималъ и думалъ:

«Даю себѣ честное слово, клянусь Богомъ, что не буду робѣть и сегодня же объяснюсь съ ней»...

Былъ седьмой часъ вечера — время, когда бѣлая акація и сирень пахнутъ такъ сильно, что, кажется, воздухъ и сами деревья стынутъ отъ своего запаха. Въ городскомъ саду уже играла музыка. Лошади звонко стучали по мостовой; со всѣхъ сторонъ слышались смѣхъ, говоръ, хлопанье калитокъ. Встрѣчные солдаты козыряли офицерамъ, гимназисты кланялись Никитину; и видимо, всѣмъ гуляющимъ, спѣшившимъ въ садъ на музыку, было очень пріятно глядѣть на кавалькаду. А какъ тепло, какъ мягки на видъ облака, разбросанныя въ беспорядкѣ по небу, какъ кротки и уютны тѣни тополей и акацій,—тѣни, которыя тянутся черезъ всю широкую улицу и захватываютъ на другой сторонѣ дома до самыхъ балконовъ и вторыхъ этажей!

Выѣхали за городъ и побѣжали рысью по большой дорогѣ. Здѣсь уже не пахло акаціей и сиренью, не слышно было музыки, но зато пахло полемъ, зеленѣли молодые рожь и пшеница, пищали суслики, каркали грачи. Куда ни взглянешь, вездѣ зелено, только кое-гдѣ чернѣютъ бахчи, да далеко влѣво на кладбищѣ бѣлѣетъ полоса отцвѣтающихъ яблонь.

Проѣхали мимо боенъ, потомъ мимо пивовареннаго за-

вода, обогнали толпу солдатъ-музыкантовъ, спѣшившихъ въ загородный садъ.

— У Полянского очень хорошая лошадь, я не спорю, — говорила Манюся Никитину, указывая глазами на офицера, ѣхавшаго рядомъ съ Варей. — Но она бракованная. Совсѣмъ ужь некстати это бѣлое пятно на лѣвой ногѣ и, поглядите, головой закидываетъ. Теперь ужь ее ничѣмъ не отучишь, такъ и будетъ закидывать, пока не издохнетъ.

Манюся была такой же страстной лошадицей, какъ и ея отецъ. Она страдала, когда видѣла у кого-нибудь хорошую лошадь, и была рада, когда находила недостатки у чужихъ лошадей. Никитинъ же ничего не понималъ въ лошадяхъ, для него было рѣшительно все равно, держать ли лошадь на поводьяхъ или на мундштукѣ, скакать ли рысью или галопомъ; онъ только чувствовалъ, что поза у него была неестественная, напряженная и что поэтому офицеры, которые умѣютъ держаться на сѣдлѣ, должны нравиться Манюсѣ больше, чѣмъ онъ. И онъ ревновалъ ее къ офицерамъ.

Когда ѣхали мимо загороднаго сада, кто-то предложилъ заѣхать и выпить сельтерской воды. Заѣхали. Въ саду росли одни только дубы; они стали распускаться только недавно, такъ что теперь сквозь молодую листву виденъ былъ весь садъ съ его эстрадой, столиками, качелями, видны были всѣ воронья гнѣзда, похожія на большія шапки. Всадники и ихъ дамы спѣшились около одного изъ столиковъ и потребовали сельтерской воды. Къ нимъ стали подходить знакомые, гулявшіе въ саду. Между прочимъ подошли военный докторъ въ высокихъ сапогахъ и капельмейстеръ, дождавшійся своихъ музыкантовъ. Должно-быть, докторъ принялъ Никитина за студента, потому что спросилъ:

— Вы изволили на каникулы пріѣхать?

— Нѣтъ, я здѣсь постоянно живу, — отвѣтилъ Никитинъ. — Я служу преподавателемъ въ гимназій.

— Неужели? — удивился доктор. — Такъ молоды и уже учительствуете?

— Гдѣ же молодѣе? Мнѣ 26 лѣтъ... Слава Тебѣ Господи.

— У васъ и борода и усы, но все же на видъ вамъ нельзя дать больше 22—23 лѣтъ. Какъ вы моложавы!

«Что за свинство! — подумалъ Никитинъ. — И этотъ считаетъ меня молокососомъ!»

Ему чрезвычайно не нравилось, когда кто-нибудь заводилъ рѣчь объ его молодости, особенно въ присутствіи женщинъ или гимназистовъ. Съ тѣхъ поръ какъ онъ пріѣхалъ въ этотъ городъ и поступилъ на службу, онъ сталъ ненавидѣть свою моложавость. Гимназисты его не боялись, старики величали молодымъ человѣкомъ, женщины охотнѣе танцовали съ нимъ, чѣмъ слушали его длинные разсужденія. И онъ дорого далъ бы за то, чтобы постарѣть теперь лѣтъ на десять.

Изъ сада поѣхали дальше, на ферму Шелестовыхъ. Здѣсь остановились около воротъ, вызвали жену приказчика Прасковью и потребовали парного молока. Молока никто не сталъ пить, всѣ переглянулись, засмѣялись и поскакали назадъ. Когда ѣхали обратно, въ загородномъ саду уже играла музыка; солнце спряталось за кладбище, и половина неба была багрова отъ зари.

Манюся опять ѣхала рядомъ съ Никитинымъ. Ему хотѣлось заговорить о томъ, какъ страстно онъ ее любитъ, но онъ боялся, что его услышатъ офицеры и Варя, и молчалъ. Манюся тоже молчала, и онъ чувствовалъ, отчего она молчитъ и почему ѣдетъ рядомъ съ нимъ, и былъ такъ счастливъ, что земля, небо, городскіе огни, черный силуэтъ пивовареннаго завода—все сливалось у него въ глазахъ во что-то очень хорошее и ласковое, и ему казалось, что его Графъ Нулинъ ѣдетъ по воздуху и хочетъ вскарабкаться на багровое небо.

Пріѣхали домой. На столѣ въ саду уже кипѣлъ само-



варь, и на одномъ краю стола со своими пріятелями, чиновниками окружного суда, сидѣлъ старикъ Шелестовъ и, по обыкновенію, что-то критиковаль.

— Это хамство! — говорилъ онъ. — Хамство и больше ничего. Да-съ, хамство-съ!

Никитину съ тѣхъ поръ, какъ онъ влюбился въ Манюсю, все нравилось у Шелестовыхъ: и домъ, и садъ при домѣ, и вечерній чай, и плетеные стулья, и старая нянька, и даже слово «хамство», которое любилъ часто произносить старикъ. Не нравилось ему только изобиліе собакъ и кошекъ, да египетскіе голуби, которые уныло стонали въ большой клѣткѣ на террасѣ. Собакъ дворовыхъ и комнатныхъ было такъ много, что за все время знакомства съ Шелестовыми онъ научился узнавать только двухъ: Мушку и Сома. Мушка была маленькая облѣзлая собачонка съ мохнатою мордой, злая и избалованная. Никитина она ненавидѣла; увидѣвъ его, она всякій разъ склоняла голову на бокъ, скалила зубы и начинала: «ррр... нга-нга-нга-нга... ррр...»

Потомъ садилась подъ стулъ. Когда же онъ пытался прогнать ее изъ-подъ своего стула, она заливалась пронзительнымъ лаемъ, а хозяева говорили:

— Не бойтесь, она не кусается. Она у насъ добрая.

Сомъ же представлялъ изъ себя огромнаго чернаго пса на длинныхъ ногахъ и съ хвостомъ, жесткимъ какъ палка. За обѣдомъ и за чаемъ онъ обыкновенно ходилъ молча подъ столомъ и стучалъ хвостомъ по сапогамъ и по ножкамъ стола. Это былъ добрый глупый песъ, но Никитинъ терпѣть его не могъ за то, что онъ имѣлъ привычку класть свою морду на колѣни обѣдающимъ и пачкать слюною брюки. Никитинъ не разъ пробовалъ бить его по большому лбу колодкой ножа, щелкалъ по носу, бранился, жаловался, но ничто не спасало его брюкъ отъ пятенъ.

Послѣ прогулки верхомъ чай, варенье, сухари и масло показались очень вкусными. Первый стаканъ всѣ выпили

съ большимъ аппетитомъ и молча, передъ вторымъ же принялись спорить. Споры всякій разъ за чаемъ и за обѣдомъ начинала Варя. Ей было уже 23 года, она была хороша собой, красивѣ Манюси, считалась самою умной и образованной въ домѣ и держала себя солидно, строго, какъ это и подобало старшей дочери, занявшей въ домѣ мѣсто покойной матери. На правахъ хозяйки она ходила при гостяхъ въ блузѣ, офицеровъ величала по фамиліи, на Манюсю глядѣла какъ на дѣвочку и говорила съ нею тономъ классной дамы. Называла она себя старою дѣвой — значить, была увѣрена, что выйдетъ замужъ.

Всякій разговоръ даже о погодѣ она непременно сводила на споръ. У нея была какая-то страсть—ловить всѣхъ на словѣ, уличать въ противорѣчіи, придираться къ фразѣ. Вы начинаете говорить съ ней о чемъ-нибудь, а она уже пристально смотритъ вамъ въ лицо и вдругъ перебиваетъ: «Позвольте, позвольте, Петровъ, третьяго дня вы говорили совсѣмъ противоположное!»

Или же она насмѣшливо улыбается и говоритъ: «Однако, я замѣчаю, вы начинаете проповѣдывать принципы третьяго отдѣленія. Поздравляю васъ».

Если вы сострили или сказали каламбуръ, тотчасъ же вы слышите ея голосъ: «Это старо!» или: «Это плоско!» Если же острить офицеръ, то она дѣлаетъ презрительную гримасу и говоритъ: «Арррмейская острота!»

И это «ррр»... выходило у нея такъ внушительно, что Мушка непременно отвѣчала ей изъ-подъ стула: «ррр... нга-нга-нга»...

Теперь за чаемъ споръ начался съ того, что Никитинъ заговорилъ о гимназическихъ экзаменахъ.

— Позвольте, Сергѣй Васильичъ,—перебила его Варя.— Вотъ вы говорите, что ученикамъ трудно. А кто виновать, позвольте васъ спросить? Напримѣръ, вы задали ученикамъ VIII класса сочиненіе на тему: «Пушкинъ, какъ

психологъ». Во-первыхъ, нельзя задавать такихъ трудныхъ темъ, а во-вторыхъ, какой же Пушкинъ психологъ? Ну, Щедринъ или, положимъ, Достоевскій — другое дѣло, а Пушкинъ великій поэтъ и больше ничего.

— Щедринъ самъ по себѣ, а Пушкинъ самъ по себѣ, — угрюмо отвѣтилъ Никитинъ.

— Я знаю, у васъ въ гимназїи не признаютъ Щедрина, но не въ этомъ дѣло. Вы скажите мнѣ, какой же Пушкинъ психологъ?

— А то развѣ не психологъ? Извольте, я приведу вамъ примѣры.

И Никитинъ продекламировалъ нѣсколько мѣстъ изъ Онѣгина, потомъ изъ Бориса Годунова.

— Никакой не вижу тутъ психологїи, — вздохнула Варя. — Психологомъ называется тотъ, кто описываетъ изгибы человѣческой души, а это прекрасные стихи и больше ничего.

— Я знаю, какой вамъ нужно психологїи! — обидѣлся Никитинъ. — Вамъ нужно, чтобы кто-нибудь пилил мнѣ тупой пилою палецъ и чтобы я оралъ во все горло — это по-вашему психологїя.

— Плоско! Однако, вы все-таки не доказали мнѣ: почему же Пушкинъ психологъ?

Когда Никитину приходилось оспаривать то, что казалось ему рутинной, узостью или чѣмъ-нибудь въ родѣ этого, то обыкновенно онъ вскакивалъ съ мѣста, хваталъ себя обѣими руками за голову и начиналъ со стономъ бѣгать изъ угла въ уголь. И теперь то же самое: онъ вскочилъ, схватилъ себя за голову и со стономъ прошелся вокругъ стола, потомъ сѣлъ поодаль.

За него вступились офицеры. Штабсъ-капитанъ Полянскій сталъ увѣрять Варю, что Пушкинъ въ самомъ дѣлѣ психологъ, и въ доказательство привелъ два стиха изъ Лермонтова; поручикъ Гернетъ сказалъ, что если бы Пуш-

кинъ не былъ психологомъ, то ему не поставили бы въ Москвѣ памятника.

— Это хамство!—доносилось съ другого конца стола. — Я такъ и губернатору сказалъ: это, ваше превосходительство, хамство!

— Я больше не спорю!—крикнулъ Никитинъ.—Это его же царствію не будетъ конца! Баста! Ахъ, да поди ты прочь, поганая собака! — крикнулъ онъ на Сома, который положилъ ему на колѣни голову и лапу.

«Ррр... нга-нга-нга»... слышалось изъ-подъ стула.

— Сознайтесь, что вы не правы! — крикнула Варя. — Сознайтесь!

Но пришли гости-барышни, и споръ прекратился самъ собой. Всѣ отправились въ залъ. Варя сѣла за рояль и стала играть танцы. Протанцовали сначала вальсъ, потомъ польку, потомъ кадрили съ grand-rond, которое провелъ по всѣмъ комнатамъ штабсъ-капитанъ Полянскій, потомъ опять стали танцовать вальсъ.

Старики во время танцевъ сидѣли въ залѣ, курили и смотрѣли на молодежь. Между ними находился и Шебадинъ, директоръ городского кредитнаго общества, славившійся своей любовью къ литературѣ и сценическому искусству. Онъ положилъ начало мѣстному «Музыкально-драматическому кружку» и самъ принималъ участіе въ спектакляхъ, играя почему-то всегда только однихъ смѣшныхъ лакеевъ или читая нараспѣвъ «Грѣшницу». Звали его въ городѣ муміей, такъ какъ онъ былъ высокъ, очень тощъ, жилистъ и имѣлъ всегда торжественное выраженіе лица и тусклые неподвижные глаза. Сценическое искусство онъ любилъ такъ искренно, что даже брилъ себѣ усы и бороду, а это еще больше дѣлало его похожимъ на мумію.

Послѣ grand-rond онъ нерѣшительно, какъ-то бокомъ подошелъ къ Никитину, кашлянулъ и сказалъ:

— Я имѣлъ удовольствіе присутствовать за чаемъ во

время спора. Вполнѣ раздѣляю ваше мнѣніе. Мы съ вами единомышленники и мнѣ было бы очень пріятно поговорить съ вами. Вы изволили читать «Гамбургскую драматургію» Лессинга?

— Нѣтъ, не читаль.

Шебадинъ ужаснулся и замахаль руками такъ, какъ будто ожегъ себѣ пальцы, и ничего не говоря, попятился отъ Никитина. Фигура Шебадина, его вопросъ и удивленіе показались Никитину смѣшными, но онъ все-таки подумаль:

«Въ самомъ дѣлѣ неловко. Я — учитель словесности, а до сихъ поръ еще не читаль Лессинга. Надо будетъ простеть».

Передъ ужиномъ всѣ, молодые и старые, сѣли играть въ «судьбу». Взяли двѣ колоды картъ: одну сдали всѣмъ поровну, другую положили на столъ рубашкой вверхъ.

— У кого на рукахъ эта карта, — началъ торжественно старикъ Шелестовъ, поднимая верхнюю карту второй колоды, — тому судьба пойти сейчасъ въ дѣтскую и поцѣловаться тамъ съ няней.

Удовольствіе поцѣловаться съ няней выпало на долю Шебадина. Всѣ гурьбой окружили его, повели въ дѣтскую и со смѣхомъ, хлопая въ ладоши, заставили поцѣловаться съ няней. Поднялся шумъ, крикъ...

— Не такъ страстно! — кричалъ Шелестовъ, плача отъ смѣха. — Не такъ страстно!

Никитину вышла судьба исповѣдывать всѣхъ. Онъ сѣлъ на стулъ среди залы. Принесли шаль и накрыли его съ головой. Первой пришла къ нему исповѣдываться Варя.

— Я знаю ваши грѣхи, — началъ Никитинъ, глядя въ потемкахъ на ея строгій профиль. — Скажите мнѣ, сударыня, съ какой это стати вы каждый день гуляете съ Полянскимъ? Охъ, не даромъ, не даромъ она съ гусаромъ!

— Это плоско, — сказала Варя и ушла.

Затѣмъ подъ шалью заблестѣли большіе неподвижныя глаза, обозначился въ потемкахъ милый профиль и запахло чѣмъ-то дорогимъ, давно знакомымъ, что напоминало Никитину комнату Манюси.

— Марія Годфруа, — сказалъ онъ и не узналъ своего голоса — такъ онъ былъ нѣженъ и мягокъ, — въ чемъ вы грѣшны?

Манюся прищурила глаза и показала ему кончикъ языка, потомъ засмѣялась и ушла. А черезъ минуту она уже стояла среди залы, хлопала въ ладоши и кричала:

— Ужинать, ужинать, ужинать!

И всѣ повадили въ столовую.

За ужиномъ Варя опять спорила и на этотъ разъ съ отцомъ. Полянскій солидно ѣлъ, пилъ красное вино и рассказывалъ Никитину, какъ онъ разъ зимою, будучи на войнѣ, всю ночь простоялъ по колѣно въ болотѣ; непріятель былъ близко, такъ что не позволялось ни говорить, ни курить, ночь была холодная, темная, дулъ пронзительный вѣтеръ. Никитинъ слушалъ и косился на Манюсю. Она глядѣла на него неподвижно, не мигая, точно задумалась о чемъ-то или забылась... Для него это было и пріятно, и мучительно.

«Зачѣмъ она на меня такъ смотритъ? — мучился онъ. — Это неловко. Могутъ замѣтить. Ахъ, какъ она еще молода, какъ наивна!»

Гости стали расходиться въ полночь. Когда Никитинъ вышелъ за ворота, во второмъ этажѣ дома хлопнуло окошко и показалась Манюся.

— Сергѣй Васильчъ! — окликнула она.

— Что прикажете?

— Вотъ что... — проговорила Манюся, видимо, придумывая, что бы сказать. — Вотъ что... Полянскій обѣщалъ притти на-дняхъ со своей фотографіей и снять всѣхъ насъ. Надо будетъ собраться.

— Хорошо.

Манюся скрылась, окно хлопнуло и тотчасъ же въ домѣ кто-то заигралъ на роялѣ.

«Ну, домъ!—думалъ Никитинъ, переходя черезъ улицу.— Домъ, въ которомъ стонуть одни только египетскіе голуби, да и тѣ потому, что иначе не умѣютъ выражать своей радости!»

Но не у однихъ только Шелестовыхъ жилось весело. Не прошелъ Никитинъ и двухсотъ шаговъ, какъ и изъ другого дома послышались звуки рояля. Прощель онъ еще немного и увидѣлъ у воротъ мужика, играющаго на бала-лайкѣ. Въ саду оркестръ грянулъ пѣнури изъ русскихъ пѣсень...

Никитинъ жилъ въ полуверстѣ отъ Шелестовыхъ, въ квартирѣ изъ восьми комнатъ, которую онъ нанималъ за триста рублей въ годъ, вмѣстѣ со своимъ товарищемъ, учителемъ географіи и исторіи Ипполитомъ Ипполитычемъ. Этотъ Ипполитъ Ипполитычъ, еще не старый человѣкъ, съ рыжею бородкой, курносый, съ лицомъ грубоватымъ и не интеллигентнымъ, какъ у мастерового, но добродушнымъ, когда вернулся домой Никитинъ, сидѣлъ у себя за столомъ и поправлялъ ученическія карты. Самымъ важнымъ и самымъ важнымъ считалось у него по географіи черченіе картъ, а по исторіи—знаніе хронологіи; по цѣлымъ ночамъ сидѣлъ онъ и синимъ карандашомъ поправлялъ карты своихъ учениковъ и ученицъ, или же составлялъ хронологическія таблички.

— Какая сегодня великолѣпная погода!—сказалъ Никитинъ, входя къ нему. — Удивляюсь вамъ, какъ это вы можете сидѣть въ комнатѣ.

Ипполитъ Ипполитычъ былъ человѣкъ не разговорчивый; онъ или молчалъ, или же говорилъ только о томъ, что всѣмъ давно уже извѣстно. Теперь онъ отвѣтилъ такъ:

— Да, прекрасная погода. Теперь май, скоро будетъ на-

стоящее лето. А лето не то, что зима. Зимой нужно печи топить, а летом и без печей тепло. Летом откроешь ночью окна и все-таки тепло, а зимой — двойные рамы и все-таки холодно.

Никитинъ посидѣлъ около стола не больше минуты и соскучился.

— Спокойной ночи!—сказалъ онъ, поднимаясь и зѣвая.— Хотѣлъ было я рассказать вамъ нѣчто романическое, меня касающееся, но вѣдь вы—географія! Начнешь вамъ о любви, а вы сейчасъ: «Въ какомъ году была битва при Калкѣ?» Ну васъ къ чорту съ вашими битвами и съ Чукотскими носами!

— Что же вы сердитесь?

— Да досадно!

И, досаждая, что онъ не объяснился еще съ Манюсей и что ему не съ кѣмъ теперь поговорить о своей любви, онъ пошелъ къ себѣ въ кабинетъ и легъ на диванъ. Въ кабинетѣ было темно и тихо. Лежа и глядя въ потемки, Никитинъ сталъ почему-то думать о томъ, какъ черезъ два или три года онъ поѣдетъ зачѣмъ-нибудь въ Петербургъ, какъ Манюся будетъ провожать его на вокзалъ и плакать; въ Петербургѣ онъ получитъ отъ нея длинное письмо, въ которомъ она будетъ умолять его скорѣе вернуться домой. И онъ напишетъ ей... Свое письмо начнетъ такъ: милая моя крыса...

— Именно, милая моя крыса,—сказалъ онъ и засмѣялся.

Ему было неудобно лежать. Онъ подложилъ руки подъ голову и задралъ лѣвую ногу на спинку дивана. Стало удобно. Между тѣмъ окно начало замѣтно блѣднѣть, на дворѣ заголосили сонные пѣтухи. Никитинъ продолжалъ думать о томъ, какъ онъ вернется изъ Петербурга, какъ встрѣтитъ его на вокзалѣ Манюся и, вскрикнувъ отъ радости, бросится ему на шею; или, еще лучше, онъ схитритъ: приѣдетъ ночью потихоньку, кухарка отворитъ ему,



потомъ на цыпочкахъ пройдетъ онъ въ спальню, безшумно раздѣнется и—бултыхъ въ постель! А она проснется и—о радости!

Воздухъ совсѣмъ побѣлѣлъ. Кабинета и окна ужъ не было. На крылечкѣ пивовареннаго завода, того самаго, мимо котораго сегодня проѣзжали, сидѣла Манюся и что-то говорила. Потомъ она взяла Никитина подъ-руку и пошла съ нимъ въ загородный садъ. Тутъ онъ увидѣлъ дубы и вороньи гнѣзда, похожія на шапки. Одно гнѣздо закачалось, выгнулось изъ него Шебалдинъ и громко крикнулъ: «Вы не читали Лессинга!»

Никитинъ вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ и открылъ глаза. Передъ диваномъ стоялъ Ипполитъ Ипполитычъ и, откинувъ назадъ голову, надѣвалъ галстукъ.

— Вставайте, пора на службу, — говорилъ онъ. — А въ одеждѣ спать нельзя. Отъ этого одежда портится. Спать надо въ постели, раздѣвшись...

И онъ, по обыкновенію, сталъ длинно и съ разстановкой говорить о томъ, что всѣмъ давно уже извѣстно.

Первый урокъ у Никитина былъ по русскому языку, во второмъ классѣ. Когда онъ ровно въ девять часовъ вошелъ въ этотъ классъ, то здѣсь, на черной доскѣ, были написаны мѣломъ двѣ большія буквы: М. Ш. Это, вѣроятно, значило: Маша Шелестова.

«Ужъ пронюхали, подлецы... — подумалъ Никитинъ. — И откуда они все знаютъ?»

Второй урокъ по словесности былъ въ пятомъ классѣ. И тутъ на доскѣ было написано М. Ш., а когда онъ, кончивъ урокъ, выходилъ изъ этого класса, сзади него раздался крикъ, точно въ театральномъ райкѣ:

— Ура-а-а! Шелестова!

Отъ спанья въ одеждѣ было не хорошо въ головѣ, тѣло изнемогало отъ лѣни. Ученики, каждый день ждавшіе роспуска передъ экзаменами, ничего не дѣлали, томились, ша-

лили отъ скуки. Никитинъ тоже томился, не замѣчалъ шалостей и то и дѣло подходилъ къ окну. Ему была видна улица, ярко освѣщенная солнцемъ. Надъ домами прозрачное голубое небо, птицы, а далеко-далеко, за зелеными садами и домами, просторная, безконечная даль съ синѣющими рощами, съ дымкомъ отъ бѣгущаго поѣзда...

Вотъ по улицѣ въ тѣни акацій, играя хлыстиками, прошли два офицера въ бѣлыхъ кителяхъ. Вотъ на линейкѣ проѣхала куча евреевъ съ сѣдыми бородами и въ картузахъ. Гувернантка гуляетъ съ директорскою внучкой... Пробѣжалъ куда-то Сомъ съ двумя дворняжками... А вотъ, въ простенькомъ сѣромъ платьѣ и въ красныхъ чулочкахъ, держа въ рукѣ «Вѣстникъ Европы», прошла Варя. Была, должно-быть, въ городской библиотекѣ...

А уроки кончатся еще не скоро—въ три часа! Послѣ же уроковъ нужно идти не домой и не къ Шелестовымъ, а къ Вольфу на урокъ. Этотъ Вольфъ, богатый еврей, принявшій лютеранство, не отдавалъ своихъ дѣтей въ гимназію, а приглашалъ къ нимъ гимназическихъ учителей, и платилъ по пяти рублей за урокъ..

«Скучно, скучно, скучно!»

Въ три часа онъ пошелъ къ Вольфу и высидѣлъ у него, какъ ему показалось, цѣлую вѣчность. Вышелъ отъ него въ пять часовъ, а въ седьмомъ уже долженъ былъ идти въ гимназію, на педагогическій совѣтъ—составлять расписание устныхъ экзаменовъ для IV и VI классовъ!

Когда, поздно вечеромъ, шелъ онъ изъ гимназіи къ Шелестовымъ, сердце у него билось и лицо горѣло. Недѣлю и мѣсяць тому назадъ всякій разъ, собираясь объяснить, онъ приготавливалъ цѣлую рѣчь съ предисловіемъ и съ заключеніемъ, теперь же у него не было наготовѣ ни одного слова, въ головѣ все перепуталось, и онъ только зналъ, что сегодня онъ *навѣрное* объяснится и что дольше ждать нѣтъ никакой возможности.

«Я приглашу ее въ садъ,—обдумываль онъ,—немножко погуляю и объяснюсь»...

Въ передней не было ни души; онъ вошелъ въ залу, потомъ въ гостиную... Тутъ тоже никого не было. Слышно было, какъ наверху, во второмъ этажѣ, съ кѣмъ-то спорила Варя и какъ въ дѣтской стучала ножницами наемная швея.

Была въ домѣ комнатка, которая носила три названія: маленькая, проходная и темная. Въ ней стоялъ большой старый шкапъ съ медикаментами, съ порохоми и охотничьими принадлежностями. Отсюда вела во второй этажъ узкая деревянная лѣстничка, на которой всегда спали кошки. Были тутъ двери: одна—въ дѣтскую, другая—въ гостиную. Когда вошелъ сюда Никитинъ, чтобы отправиться наверхъ, дверь изъ дѣтской отворилась и хлопнула такъ, что задрожали и лѣстница и шкапъ; вбѣжала Манюся въ темномъ платьѣ, съ кускомъ синей матеріи въ рукахъ, и, не замѣчая Никитина, шмыгнула къ лѣстницѣ.

— Пойдите...—остановилъ ее Никитинъ.—Здравствуйте, Годфруа... Позвольте...

Онъ запыхался, не зная что говорить; одною рукой держалъ ее за руку, а другою—за синюю матерію. А она не то испугалась, не то удивилась и глядѣла на него большими глазами.

— Позвольте...—продолжалъ Никитинъ, боясь, чтобъ она не ушла. — Мнѣ нужно вамъ кое-что сказать... Только... здѣсь неудобно. Я не могу, не въ состояніи... Понимаете ли, Годфруа, я не могу... вотъ и все...

Синяя матерія упала на полъ, и Никитинъ взялъ Манюсю за другую руку. Она поблѣднѣла, зашевелила губами, потомъ попятилась назадъ отъ Никитина и очутилась въ углу между стѣной и шкапомъ.

— Честное слово, увѣряю васъ...—сказалъ онъ тихо.— Манюся, честное слово...

Она откинула назадъ голову, а онъ поцѣловалъ ее въ губы и, чтобъ этотъ поцѣлуй продолжался дольше, онъ взялъ ее за щеки пальцами; и какъ-то такъ вышло, что самъ онъ очутился въ углу между шкапомъ и стѣной, а она обвила руками его шею и прижалась къ его подбородку головой.

Потомъ оба побѣжали въ садъ.

Садъ у Шелестовыхъ былъ большой, на четырехъ десятинахъ. Тутъ росло съ два десятка старыхъ кленовъ и липъ, была одна ель, все же остальное составляли фруктовые деревья: черешни, яблони, груши, дикій капитанъ, серебристая маслина... Много было и цвѣтовъ.

Никитинъ и Манюся молча бѣгали по аллеямъ, смѣялись, задавали изрѣдка другъ другу отрывистые вопросы, на которые не отвѣчали, а надъ садомъ свѣтилъ полумѣсяцъ, и на землѣ изъ темной травы, слабо освѣщенной этимъ полумѣсяцемъ, тянулись сонные тюльпаны и присы, точно прося, чтобы и съ ними обьяснились въ любви.

Когда Никитинъ и Манюся вернулись въ домъ, офицеры и барышни были уже въ сборѣ и танцовали мазурку. Опять Полянскій водилъ по всѣмъ комнатамъ grand-gond, опять послѣ танцевъ играли въ судьбу. Передъ ужиномъ, когда гости пошли изъ залы въ столовую, Манюся, оставшись одна съ Никитинымъ, прижалась къ нему и сказала:

— Ты самъ поговори съ папой и Варей. Мнѣ стыдно...

Послѣ ужина онъ говорилъ со старикомъ. Выслушавъ его, Шелестовъ подумалъ и сказалъ:

— Очень вамъ благодаренъ за честь, которую вы оказываете мнѣ и дочери, но позвольте мнѣ поговорить съ вами по-дружески. Буду говорить съ вами не какъ отецъ, а какъ джентльменъ съ джентльменомъ. Скажите, пожалуйста, что вамъ за охота такъ рано жениться? Это только мужики желятся рано, но тамъ, извѣстно, хамство, а вы-то съ чего? Что за удовольствіе въ такіе молодые годы надѣвать на себя кандалы?

— Я вовсе не молодъ!—обидѣлся Никитинъ.—Мнѣ 27-ой годъ.

— Папа, коноваль пришелъ!—крикнула изъ другой комнаты Варя.

И разговоръ прекратился. Домой провожали Никитина Варя, Манюся и Полянский. Когда подошли къ его калиткѣ, Варя сказала:

— Что это вашъ таинственный Митрополитъ Митрополитычъ никуда не показывается? Пусть бы къ намъ пришелъ.

Таинственный Ипполитъ Ипполитычъ, когда вошелъ къ нему Никитинъ, сидѣлъ у себя на постели и снималъ панталоны.

— Не ложитесь, голубчикъ!—сказалъ ему Никитинъ, задыхаясь.—Постойте, не ложитесь!

Ипполитъ Ипполитычъ быстро надѣлъ панталоны и спросилъ встревоженно:

— Что такое?

— Я женюсь!

Никитинъ сѣлъ рядомъ съ товарищемъ и, глядя на него удивленно, точно удивляясь самому себѣ, сказалъ:

— Представьте, женюсь! На Мангѣ Шелестовой! Сегодня предложеніе сдѣлалъ.

— Что жъ? Она дѣвушка, кажется, хорошая. Только молода очень.

— Да, молода!—вздыхнулъ Никитинъ и озабоченно пожалъ плечами.—Очень, очень молода!

— Она у меня въ гимназіи училась. Я ее знаю. По географіи училась ничего себѣ, а по исторіи — плохо. И въ классѣ была невнимательна.

Никитину вдругъ почему-то стало жаль своего товарища и захотѣлось сказать ему что-нибудь ласковое, утѣшительное.

— Голубчикъ, отчего вы не женитесь? — спросилъ

онъ.—Ипполитъ Ипполитычъ, отчего бы вамъ, напримѣръ, на Варѣ не жениться? Это чудная, превосходная дѣвушка! Правда, она очень любитъ спорить, но зато сердце... какое сердце! Она сейчасъ про васъ спрашивала. Женитесь на ней, голубчикъ! А?

Онъ отлично зналъ, что Варя не пойдетъ за этого скучнаго курносаго человѣка, но все-таки убѣждалъ его жениться на ней. Зачѣмъ?

— Женитьба—шагъ серьезный, — сказалъ Ипполитъ Ипполитычъ, подумавъ.—Надо обсудить все, взвѣсить, а такъ нельзя. Благоразуміе никогда не мѣшаетъ, а въ особенности въ женитьбѣ, когда человѣкъ, переставъ быть холостымъ, начинаетъ новую жизнь.

И онъ заговорилъ о томъ, что всѣмъ давно уже извѣстно. Никитинъ не сталъ слушать его, простился и пошелъ къ себѣ. Онъ быстро раздѣлся и быстро легъ, чтобы поскорѣе начать думать о своемъ счастьи, о Манюсѣ, о будущемъ, улыбнулся и вдругъ вспомнилъ, что онъ не читалъ еще Лессинга.

«Надо будетъ прочесть...—подумалъ онъ.—Впрочемъ, зачѣмъ мнѣ его читать? Ну его къ чорту!»

И утомленный своимъ счастьемъ, онъ тотчасъ же уснулъ и улыбался до самаго утра.

Снился ему стукъ лошадиныхъ копытъ о бревенчатый полъ; снилось, какъ изъ конюшни вывели сначала вороного Графа Нулина, потомъ бѣлаго Великана, потомъ сестру его Майку...

## II.

«Въ церкви было очень тѣсно и шумно, и разъ даже кто-то вскрикнулъ, и протоіерей, вѣнчавшій меня и Манюсю, взглянулъ черезъ очки на толпу и сказалъ сурово:

— «Не ходите по церкви и не шумите, а стойте тихо и молитесь. Надо страхъ Божій имѣть».

«Шаферами у меня были два моихъ товарища, а у Мани — штабсъ-капитанъ Полянской и поручикъ Гернетъ. Архіерейскій хоръ пѣлъ великолѣпно. Трескъ свѣчей, блескъ, наряды, офицеры, множество веселыхъ, довольныхъ лицъ и какой-то особенный, воздушный видъ у Мани, и вся вообще обстановка и слова вѣнчальныхъ молитвъ трогали меня до слезъ, наполняли торжествомъ. Я думалъ: какъ расцвѣла, какъ поэтически красиво сложилась въ послѣднее время моя жизнь! Два года назадъ я былъ еще студентомъ, жилъ въ дешевыхъ номерахъ на Неглинномъ, безъ денегъ, безъ родныхъ и, какъ казалось мнѣ тогда, безъ будущаго. Теперь же я—учитель гимназiи въ одномъ изъ лучшихъ губернскихъ городовъ, обезпеченъ, любимъ, избалованъ. Для меня вотъ, думалъ я, собралась теперь эта толпа, для меня горятъ три паникадила, реветъ протодьяконъ, стараются пѣвчіе, и для меня такъ молодо, изящно и радостно это молодое существо, которое, немного погодя, будетъ называться моею женой. Я вспомнилъ первыя встрѣчи, наши поѣздки за городъ, объясненіе въ любви и погоду, которая, какъ нарочно, все лѣто была дивно хороша; и то счастье, которое когда-то на Неглинномъ представлялось мнѣ возможнымъ только въ романахъ и повѣстяхъ, теперь я испытывалъ на самомъ дѣлѣ, казалось, бралъ его руками.

«Послѣ вѣнчанія всѣ въ безпорядкѣ толпились около меня и Мани и выражали свое искреннее удовольствіе, поздравляли и желали счастья. Бригадный генералъ, старикъ лѣтъ подъ семьдесятъ, поздравилъ одну только Манюсю и сказалъ ей старческимъ скрипучимъ голосомъ, такъ громко, что пронеслось по всей церкви:

— «Надѣюсь, милая, и послѣ свадьбы вы останетесь все такимъ же розаномъ».

«Офицеры, директоръ и всѣ учителя улыбнулись изъ приличія, и я тоже почувствовалъ на своемъ лицѣ пріятную неискреннюю улыбку. Милѣйшій Ипполитъ Ипполитычъ,

учитель исторіи и географіи, всегда говорящій то, что всѣмъ давно извѣстно, крѣпко пожалъ мнѣ руку и сказалъ съ чувствомъ:

— «До сихъ поръ вы были не женаты и жили одни, а теперь вы женаты и будете жить вдвоемъ».

«Изъ церкви поѣхали въ двухъэтажный нештукатуренный домъ, который я получаю теперь въ приданое. Кромѣ этого дома, за Маней деньгами тысячъ двадцать и еще какая-то Мелитоновская пустошь со сторожкой, гдѣ, какъ говорятъ, множество куръ и утокъ, которыя безъ надзора становятся дикими. По приѣздѣ изъ церкви, я потягивался, развалился у себя въ новомъ кабинетѣ на турецкомъ диванѣ, и курилъ; мнѣ было мягко, удобно и уютно, какъ никогда въ жизни, а въ это время гости кричали ура, и въ передней плохая музыка играла туши и всякій вздоръ. Варя, сестра Мани, вбѣжала въ кабинетъ съ бокаломъ въ рукѣ и съ какимъ-то страннымъ, напряженнымъ выраженіемъ, точно у нея ротъ былъ полонъ воды; она, повидимому, хотѣла бѣжать дальше, но вдругъ захохотала и зарыдала, и бокаль со звономъ покотился по полу. Мы подхватили ее подъ руки и увели.

— «Никто не можетъ понять!—бормотала она потомъ въ самой дальней комнатѣ, лежа на постели у кормилицы.— Никто, никто! Боже мой, никто не можетъ понять!»

«Но всѣ отлично понимали, что она старше своей сестры Мани на четыре года и все еще не замужемъ и что плакала она не изъ зависти, а изъ грустнаго сознанія, что время ея уходитъ и, быть-можетъ, даже ушло. Когда танцевали кадрили, она была уже въ залѣ, съ заплаканнымъ, сильно напудреннымъ лицомъ, и я видѣлъ, какъ штабсъ-капитанъ Полянскій держалъ передъ ней блюдечко съ мороженымъ, а она кувала ложечкой...

«Уже шестой часъ утра. Я взялся за дневникъ, чтобы описать свое полное, разнообразное счастье, и думалъ, что



напишу листовъ шесть и завтра прочту Манѣ, но, странное дѣло, у меня въ головѣ все перепуталось, стало неясно, какъ сонъ, и мнѣ припоминается рѣзко только этотъ эпизодъ съ Варей и хочется написать: бѣдная Варя! Вотъ такъ бы все сидѣлъ и писалъ: бѣдная Варя! Кстати же зашумѣли деревья: будетъ дождь; каркають вороны, и у моей Мани, которая только что уснула, почему-то грустное лицо».

Потомъ Никитинъ долго не трогалъ своего дневника. Въ первыхъ числахъ августа начались у него переэкзаменовки и приемные экзамены, а послѣ Успеньева дня — классныя занятія. Обыкновенно въ девятомъ часу утра онъ уходилъ на службу и уже въ десятомъ начиналъ тосковать по Манѣ и по своему новомъ домѣ и посматривалъ на часы. Въ низшихъ классахъ онъ заставлялъ кого-нибудь изъ мальчиковъ диктовать и, пока дѣти писали, сидѣлъ на подоконникѣ съ закрытыми глазами и мечталъ; мечталъ ли онъ о будущемъ, вспоминалъ ли о прошломъ, — все у него выходило одинаково прекрасно, похоже на сказку. Въ старшихъ классахъ читали вслухъ Гоголя или прозу Пушкина, и это нагоняло на него дремоту, въ воображеніи выросли люди, деревья, поля, верховыя лошади, и онъ говорилъ со вздохомъ, какъ бы восхищаясь авторомъ:

— Какъ хорошо!

Во время большой перемѣны Маня присылала ему завтракъ въ бѣлой, какъ снѣгъ, салфеточкѣ, и онъ съѣдалъ его медленно, съ разстановкой, чтобы продлить наслажденіе, а Ипполитъ Ипполитычъ, обыкновенно завтракавшій одною только булкой, смотрѣлъ на него съ уваженіемъ и съ завистью и говорилъ что-нибудь извѣстное, въ родѣ:

— Безъ пищи люди не могутъ существовать.

Изъ гимназій Никитинъ шелъ на частныя уроки и когда наконецъ въ шестомъ часу возвращался домой, то чувствовалъ и радость и тревогу, какъ будто не былъ дома цѣлый годъ. Онъ вбѣгалъ по лѣстницѣ, запыхавшись, находилъ

Маню, обнималъ ее, цѣловалъ и клялся, что любить ее, жить безъ нея не можетъ, увѣрялъ, что страшно соскучился, и со страхомъ спрашивалъ ее, здорова ли она и отчего у нея такое невеселое лицо. Потомъ вдвоемъ обѣдали. Послѣ обѣда онъ ложился въ кабинетѣ на диванъ и курилъ, а она садилась возлѣ и рассказывала вполголоса.

Самыми счастливыми днями у него были теперь воскресенье и праздники, когда онъ съ утра до вечера оставался дома. Въ эти дни онъ принималъ участіе въ наивной, но необыкновенно пріятной жизни, напоминавшей ему пастушескія идилліи. Онъ не переставая наблюдалъ, какъ его разумная и положительная Маня устраивала гнѣздо, и самъ тоже, желая показать, что онъ не лишній въ домѣ, дѣлалъ что-нибудь бесполезное, напримѣръ, выкатывалъ изъ сарая шарабанъ и оглядывалъ его со всѣхъ сторонъ. Манюся завела отъ трехъ коровъ настоящее молочное хозяйство, и у нея въ погребѣ и на погребицѣ было много кувшиновъ съ молокомъ и горшечковъ со сметаной, и все это она берегла для масла. Иногда ради шутки Никитинъ просилъ у нея стаканъ молока; она пугалась, такъ какъ это былъ непорядокъ, но онъ со смѣхомъ обнималъ ее и говорилъ:

— Ну, ну, я пошутилъ, золото мое! Пошутилъ!

Или же онъ посмѣивался надъ ея педантизмомъ, когда она, напримѣръ, найдя въ шкапу завалищій, твердый, какъ камень, кусочекъ колбасы или сыру, говорила съ важностью:

— Это съѣдятъ въ кухнѣ.

Онъ замѣчалъ ей, что такой маленькій кусочекъ годится только въ мышеловку, а она начинала горячо доказывать, что мужчины ничего не понимаютъ въ хозяйствѣ и что прислугу ничѣмъ не удивишь, пошли ей въ кухню хоть три пуда закусокъ, и онъ соглашался и въ восторгѣ обнималъ ее. То, что въ ея словахъ было справедливо, казалось ему необыкновеннымъ, изумительнымъ; то же, что расходилось

съ его убѣжденіями, было, по его мнѣнію, наивно и уми-  
тельно.

Иногда на него находилъ философскій стихъ, и онъ на-  
чиналъ разсуждать на какую-нибудь отвлеченную тему, а  
она слушала и смотрѣла ему въ лицо съ любопытствомъ.

— Я безконечно счастливъ съ тобой, моя радость, — го-  
ворилъ онъ, перебирая ей пальчики или распуская и опять  
заплетая ей косу. — Но на это свое счастье я не смотрю  
какъ на нѣчто такое, что свалилось на меня случайно,  
точно съ нѣба. Это счастье — явленіе вполне естественное,  
последовательное, логически вѣрное. Я вѣрю въ то, что че-  
ловѣкъ есть творецъ своего счастья, и теперь я беру именно  
то, что я самъ создалъ. Да, говорю безъ жеманства, это  
счастье создалъ я самъ и владѣю имъ по праву. Тебѣ из-  
вѣстно мое прошлое. Сиротство, бѣдность, несчастное дѣт-  
ство, тоскливая юность, — все это борьба, это путь, который  
я прокладывалъ къ счастью...

Въ октябрѣ гимназія понесла тяжелую потерю: Ипполитъ  
Ипполитычъ заболѣлъ рожей головы и скончался. Два по-  
слѣднихъ дня передъ смертью онъ былъ въ безсознатель-  
номъ состояніи и бредилъ, но и въ бреду говорилъ только  
то, что всѣмъ извѣстно:

— Волга впадаетъ въ Каспійское море... Лошади кушаютъ  
овесъ и сѣно...

Въ тотъ день, когда его хоронили, ученія въ гимназіи не  
было. Товарищи и ученики несли крышку и гробъ, и гим-  
назическій хоръ всю дорогу до кладбища пѣлъ «Святый  
Боже». Въ процессіи участвовало три священника, два дья-  
кона, вся мужская гимназія и архіерейскій хоръ въ парад-  
ныхъ кафтанахъ. И глядя на торжественныя похороны,  
встрѣчные прохожіе крестились и говорили:

— Дай Богъ всякому такъ помереть.

Вернувшись съ кладбища домой, растроганный Никитинъ  
отыскалъ въ столѣ свой дневникъ и написалъ:

«Сейчас опустили въ могилу Ипполита Ипполитовича Рыжицкаго.

«Миръ праху твоему, скромный труженикъ! Маня, Баря и всѣ женщины, бывшія на похоронахъ, искренно плакали, быть-можетъ, оттого, что знали, что этого неинтереснаго, забитаго челоуѣка не любила никогда ни одна женщина. Я хотѣлъ сказать на могилѣ товарища теплое слово, но меня предупредили, что это можетъ не понравиться директору, такъ какъ онъ не любилъ покойнаго. Послѣ свадьбы это, кажется, первый день, когда у меня не легко на душѣ»... Затѣмъ во весь учебный сезонъ не было никакихъ особенныхъ событій.

Зима была вялая, безъ морозовъ, съ мокрымъ снѣгомъ; подъ Крещенье, на примѣръ, всю ночь вѣтеръ жалобно вылъ по-осеннему, и текло съ крышъ, а утромъ во время водосвятія полиція не пускала никого на рѣку, такъ какъ, говорили, ледъ надулся и потемнѣлъ. Но, несмотря на дурную погоду, Никитину жилось такъ же счастливо, какъ и лѣтомъ. Даже еще прибавилось одно лишнее развлеченіе: онъ научился играть въ винтъ. Только одно иногда волновало и сердило его и, казалось, мѣшало ему быть вполне счастливымъ: это кошки и собаки, которыхъ онъ получилъ въ приданое. Въ комнатахъ всегда, особенно по утрамъ, пахло какъ въ звѣринцѣ, и этого запаха ничѣмъ нельзя было заглушить; кошки часто дрались съ собаками. Злую Мушку кормили по десяти разъ въ день, она попрежнему не признавала Никитина и ворчала на него:

— Ррр... нга-нга-нга...

Какъ-то Великимъ постомъ въ полночь возвращался онъ домой изъ клуба, гдѣ игралъ въ карты. Шелъ дождь, было темно и грязно. Никитинъ чувствовалъ на душѣ неприятный осадокъ и никакъ не могъ понять, отчего это: оттого ли, что онъ проигралъ въ клубѣ двѣнадцать рублей, или оттого, что одинъ изъ партнеровъ, когда расплачивался,

сказала, что у Никитина куры денег не клюют, очевидно, намекая на приданое? Двѣнадцати рублей было не жалко, и слова партнера не содержали въ себѣ ничего обиднаго, но все-таки было неприятно. Даже домой не хотѣлось.

— Фуй, какъ нехорошо! — проговорилъ онъ, останавливаясь около фонаря.

Ему пришло въ голову, что двѣнадцати рублей ему оттого не жалко, что они достались ему даромъ. Вотъ если бы онъ былъ работникомъ, то зналъ бы цѣну каждой копейкѣ и не былъ бы равнодушенъ къ выигрышу и проигрышу. Да и все счастье, рассуждалъ онъ, досталось ему даромъ, напрасну и въ сущности было для него такою же роскошью, какъ лѣкарство для здороваго; если бы онъ, подобно громадному большинству людей, былъ угнетенъ заботой о кускѣ хлѣба, боролся за существованіе, если бы у него болѣли спина и грудь отъ работы, то ужинъ, теплая уютная квартира и семейное счастье были бы потребностью, наградой и украшеніемъ его жизни; теперь же все это имѣло какое-то странное, неопредѣленное значеніе.

— Фуй, какъ нехорошо! — повторилъ онъ, отлично понимая, что эти разсужденія сами по себѣ уже дурной знакъ.

Когда онъ пришелъ домой, Маня была въ постели. Она ровно дышала и улыбалась и, повидимому, спала съ большимъ удовольствіемъ. Возлѣ нея, свернувшись клубочкомъ, лежалъ бѣлый котъ и мурлыкалъ. Пока Никитинъ зажигалъ свѣчу и закуривалъ, Маня проснулась и съ жадностью выпила стаканъ воды.

— Мармеладу наѣлась, — сказала она и засмѣялась. — Ты у нашихъ былъ? — спросила она, помолчавъ.

— Нѣтъ, не былъ.

Никитинъ уже зналъ, что штабсъ-капитанъ Полянскій, на котораго въ послѣднее время сильно рассчитывала Варя, получилъ переводъ въ одну изъ западныхъ губерній

и уже дѣлалъ въ городѣ прощальные визиты, и поэтому въ домѣ тестя было скучно.

— Вечеромъ заходила Варя, — сказала Маня, садясь. — Она ничего не говорила, но по лицу видно, какъ ей тяжело, бѣдняжкѣ. Терпѣть не могу Полянскаго. Толстый, обрюзгъ, а когда ходить или танцуетъ, щеки трясутся... Не моего романа. Но все-таки я считала его порядочнымъ человѣкомъ.

— Я и теперь считаю его порядочнымъ.

— А зачѣмъ онъ такъ дурно поступилъ съ Варей?

— Почему же дурно?—спросилъ Никитинъ, начиная чувствовать раздраженіе противъ бѣлаго кота, который потягивался, выгнувъ спину.—Насколько мнѣ извѣстно, онъ предложенія не дѣлалъ и обѣщаній никакихъ не давалъ.

— А зачѣмъ онъ часто бывалъ въ домѣ? Если не намѣренъ жениться, то не ходи.

Никитинъ потушилъ свѣчу и легъ. Но не хотѣлось ни спать, ни лежать. Ему казалось, что голова у него громадная и пустая, какъ амбаръ, и что въ ней бродятъ новыя какія-то особенныя мысли въ видѣ длинныхъ тѣней. Онъ думалъ о томъ, что кромѣ мягкаго лампаднаго свѣта, улыбающагося тихому семейному счастью, кромѣ этого мірка, въ которомъ такъ спокойно и сладко живетъ ему и вотъ этому коту, есть вѣдь еще другой міръ... И ему страшно, до тоски вдругъ захотѣлось въ этотъ другой міръ, чтобы самому работать гдѣ-нибудь на заводѣ или въ большой мастерской, говорить съ каеэдры, сочинять, печатать, шумѣть, утомляться, страдать... Ему захотѣлось чего-нибудь такого, что захватило бы его до забвенія самого себя, до равнодушія къ личному счастью, ощущенія котораго такъ однообразны. И въ воображеніи вдругъ, какъ живой, выросъ бритый Шебалинъ и проговорилъ съ ужасомъ:

— Вы не читали даже Лессинга! Какъ вы отстали! Боже, какъ вы опустились!

Маня опять стала пить воду. Онъ взглянулъ на ея шею,

полныя плечи и грудь и вспомнил слово, которое когда-то въ церкви сказалъ бригадный генералъ: розанъ.

— Розанъ,—пробормоталъ онъ и засмѣялся.

Въ отвѣтъ ему подъ кроватью заворчала сонная Мушба:

— Ррр... нга-нга-нга...

Тяжелая злоба, точно холодный молотокъ, повернулась въ его душѣ, и ему захотѣлось сказать Манѣ что-нибудь грубое и даже вскочить и ударить ее. Началось сердцебіеніе.

— Такъ значитъ,—спросилъ онъ, сдерживая себя,—если я ходилъ къ вамъ въ домъ, то непремѣнно долженъ былъ жениться на тебѣ?

— Конечно. Ты самъ это отлично понимаешь.

— Мило.

И черезъ минуту опять повторилъ:

— Мило.

Чтобы не сказать лишняго и успокоить сердце, Никитинъ пошелъ къ себѣ въ кабинетъ и легъ на диванъ безъ подушки, потомъ полежалъ на полу, на коврѣ.

«Какой вздоръ!—успокаивалъ онъ себя.—Ты—педагогъ, работаешь на благороднѣйшемъ поприщѣ... Какого же тебѣ еще нужно другого міра? Что за чепуха!»

Но тотчасъ же онъ съ увѣренностью говорилъ себѣ, что онъ вовсе не педагогъ, а чиновникъ, такой же бездарный и безличный, какъ чехъ, преподаватель греческаго языка; никогда у него не было призванія къ учительской дѣятельности, съ педагогіей онъ знакомъ не былъ и ею никогда не интересовался; обращаться съ дѣтьми не умѣетъ; значеніе того, что онъ преподавалъ, было ему неизвѣстно и, быть-можетъ, даже онъ училъ тому, что не нужно. Покойный Ипполитъ Ипполитычъ былъ откровенно тупъ, и всѣ товарищи и ученики знали, кто онъ и чего можно ждать отъ него; онъ же, Никитинъ, подобно чеху, умѣетъ скрывать свою тупость и ловко обманываетъ всѣхъ, дѣлая видъ, что у него, слава Богу, все идетъ хорошо. Эти новыя мысли

пугали Никитина, онъ отказывался отъ нихъ, называлъ ихъ глупыми и вѣрилъ, что все это отъ нервовъ, что самъ же онъ будетъ смѣяться надъ собой...

И въ самомъ дѣлѣ, подъ утро онъ уже смѣялся надъ своею нервною и пазывалъ себя бабой, но для него уже было ясно, что покой потерянъ, вѣроятно, навсегда и что въ двухъэтажномъ нештукатуренномъ домѣ счастье для него уже невозможно. Онъ догадывался, что иллюзія изсягла и уже начиналась новая, нервная, сознательная жизнь, которая не въ ладу съ покоемъ и личнымъ счастьемъ.

На другой день, въ воскресенье, онъ былъ въ гимназической церкви и видѣлся тамъ съ директоромъ и товарищами. Ему казалось, что всѣ они были заняты только тѣмъ, что тщательно скрывали свое невѣжество и недовольство жизнью, и самъ онъ, чтобы не выдать имъ своего беспокойства, пріятно улыбался и говорилъ о пустякахъ. Потому онъ ходилъ на вокзалъ и видѣлъ тамъ, какъ пришелъ и ушелъ почтовый поѣздъ, и ему пріятно было, что онъ одинъ и что ему не нужно ни съ кѣмъ разговаривать.

Дома засталъ онъ тестя и Варю, которые пришли къ нему обѣдать. Варя была съ заплаканными глазами и жаловалась на головную боль, а Шелестовъ ѣлъ очень много и говорилъ о томъ, какъ теперешніе молодые люди ненадежны и какъ мало въ нихъ джентльменства.

— Это хамство! — говорилъ онъ. — Такъ я ему прямо и скажу: это хамство, милостивый государь!

Никитинъ пріятно улыбался и помогалъ Манѣ угощать гостей, но послѣ обѣда пошелъ къ себѣ въ кабинетъ и заперся.

Мартовское солнце свѣтило ярко, и сквозь оконныя стекла падали на столъ горячіе лучи. Было еще только двадцатое число, но уже ѣздили на колесахъ, и въ саду шумѣли скворцы. Похоже было на то, что сейчасъ вотъ войдетъ Манюся, обниметъ одною рукой за шею и скажетъ, что по-



дали къ крыльцу верховыхъ лошадей или шарабанъ, и спросить, что ей надѣтъ, чтобы не озябнуть. Начинаясь весна такая же чудесная, какъ и въ прошломъ году, и обѣщала тѣ же радости... Но Никитинъ думалъ о томъ, что хорошо бы взять теперь отпускъ и уѣхать въ Москву и остановиться тамъ на Неглинномъ въ знакомыхъ номерахъ. Въ сосѣдней комнатѣ пили кофе и говорили о штабсъ-капитанѣ Полянскомъ, а онъ старался не слушать и писалъ въ своемъ дневникѣ: «Гдѣ я, Боже мой?! Меня окружаетъ пошлость и пошлость. Скучные, ничтожные люди, горшечки со сметаной, кувшины съ молокомъ, тараканы, глушья женщины... Нѣтъ ничего страшнѣе, оскорбительнѣе, тоскливѣе пошлости. Бѣжать отсюда, бѣжать сегодня же, иначе я сойду съ ума!»

## ВЪ УСАДЬВѢ.

---

Павель Ильичъ Рашевичъ ходилъ, мягко ступая по полу, покрытому малороссійскими плахтами, и бросая длинную узкую тѣнь на стѣну и потолокъ, а его гость Мейеръ, исправляющій должность судебного слѣдователя, сидѣлъ на турецкомъ диванѣ, поджавъ подъ себя одну ногу, курилъ и слушалъ. Часы уже показывали одиннадцать, и слышно было, какъ въ комнатѣ, сосѣдней съ кабинетомъ, накрывали на столъ.

— Какъ хотите-съ,—говорилъ Рашевичъ,—съ точки зрѣнія братства, равенства и прочее, свинопасъ Митька, пожалуй, такой же человѣкъ, какъ Гёте или Фридрихъ Великій; но станьте вы на научную почву, имѣйте мужество взглянуть фактамъ прямо въ лицо, и для васъ станетъ очевиднымъ, что бѣлая кость—не предразсудокъ, не бабья выдумка. Бѣлая кость, дорогой мой, имѣетъ естественно-историческое оправданіе, и отрицать ее, по-моему, такъ же странно, какъ отрицать рога у оленя. Надо считаться съ фактами! Вы — юристъ и не вкусили никакихъ другихъ наукъ, кромѣ гуманитарныхъ, и вы еще можете оболщать себя иллюзіями насчетъ равенства, братства и прочее; я же — неисправимый дарвинистъ, и для меня такія слова,

какъ порода, аристократизмъ, благородная кровь, — не пустые звуки.

Рашевичъ былъ возбужденъ и говорилъ съ чувствомъ. Глаза у него блестяли, ринсе-pez не держалось на носу, онъ нервно подергивалъ плечами, подмигивалъ, а при словѣ «дарвинистъ» молодцовато поглядѣлся въ зеркало и обѣими руками расчесалъ свою сѣдую бороду. Онъ былъ одѣтъ въ очень короткій поношенный пиджакъ и узкія брюки; быстрота движеній, молодцоватость и этотъ кургузый пиджакъ какъ-то не шли къ нему, и казалось, что его большая длинноволосая благообразная голова, напоминавшая архіерея или масти-таго поэта, была приставлена къ туловищу высокаго художаваго и манернаго юноши. Когда онъ широко разставлялъ ноги, то длинная тѣнь его походила на ножницы.

Вообще онъ любилъ поговорить, и всегда ему казалось, что онъ говоритъ нѣчто новое и оригинальное. Въ присутствіи же Мейера онъ чувствовалъ необыкновенный подъѣмъ духа и наплывъ мыслей. Слѣдователь былъ ему симпатиченъ и вдохновлялъ его своею молодостью, здоровьемъ, прекрасными манерами, солидностью, а главное — своимъ сердечнымъ отношеніемъ къ нему и къ его семьѣ. Вообще знакомые не любили Рашевича, чуждались его и, какъ было извѣстно ему, рассказывали про него, будто онъ разговорами вогналъ въ гробъ свою жену, и называли его за глаза ненавистникомъ и жабой. Одинъ только Мейеръ, человекъ новый и непредубѣжденный, бывалъ у него часто и охотно и даже гдѣ-то говорилъ, что Рашевичъ и его дочери — единственные люди въ уѣздѣ, у которыхъ онъ чувствуетъ себя тепло, какъ у родныхъ. Нравился онъ Рашевичу также и за то, что былъ молодымъ человекомъ, который могъ бы составить хорошую партію для Жени, старшей дочери.

И теперь, наслаждаясь своими мыслями и звуками собственного голоса и съ удовольствіемъ поглядывая на умѣренно полнаго, красиво подстриженнаго, приличнаго Мейера,

Рашевичъ мечталъ о томъ, какъ онъ пристроить свою Женю за хорошаго человѣка, и какъ потомъ всѣ заботы по имѣнію перейдутъ къ зятю. Неприятныя заботы! Проценты въ банкъ не внесены уже за два срока, и разныхъ недоимокъ и пеней скопилось больше двухъ тысячъ!

— Для меня не подлежитъ сомнѣнію, — продолжалъ Рашевичъ, все больше вдохновляясь, — что если какой-нибудь Ричардъ Львиное Сердце или Фридрихъ Барбаросса, положимъ, храбръ и великодушень, то эти качества передаются по наслѣдству его сыну вмѣстѣ съ извилинами и мозговыми шишками, и если эти храбрость и великодушіе охраняются въ сынѣ путемъ воспитанія и упражненія, и если онъ женится на принцессѣ, тоже великодушной и храброй, то эти качества передаются внуку и такъ далѣе, пока не становятся видовой особенностью и не переходятъ органически, такъ сказать, въ плоть и кровь. Благодаря строгому половому подбору, тому, что благородныя фамиліи инстинктивно охраняли себя отъ неравныхъ браковъ, и знатные молодые люди не женились чортъ знаетъ на комъ, высокія душевныя качества передавались изъ поколѣнія въ поколѣніе во всей ихъ чистотѣ, охранялись и съ теченіемъ времени черезъ упражненіе становились все совершеннѣе и выше. Тѣмъ, что у человѣчества есть хорошаго, мы обязаны именно природѣ, правильному естественно-историческому, цѣлесообразному ходу вещей, старательно, въ продолженіе вѣковъ обособлявшему бѣлую кость отъ черной. Да, батенька мой! Не чумазый же, не кухаркинъ сынъ, дайте намъ литературу, науку, искусства, право, понятія о чести, долгѣ... Всѣмъ этимъ человѣчество обязано исключительно бѣлой кости, и въ этомъ смыслѣ съ точки зрѣнія естественно-исторической, плохой Собакевичъ, только потому, что онъ бѣлая кость, полезнѣе и выше, чѣмъ самый лучшій купецъ, хотя бы этотъ послѣдній построилъ пятнадцать музеевъ. Какъ хотите-съ! И если я чумазому или кухаркину сыну не подаю руки и

не сажаю его съ собой за столъ, то этимъ самымъ я охраняю лучшее, что есть на землѣ, и исполняю одно изъ высшихъ предназначеній матери-природы, ведущей насъ къ совершенству...

Рашевичъ остановился, расчесывая бороду обѣими руками; остановилась на стѣнѣ и его тѣнь, похожая на ножницы.

— Возьмите вы нашу матушку-Расею, — продолжалъ онъ, заложивъ руки въ карманы и становясь то на каблуки, то на носки. — Кто ея лучшіе люди? Возьмите нашихъ первоклассныхъ художниковъ, литераторовъ, композиторовъ... Кто они? Все это, дорогой мой, были представители бѣлой кости. Пушкинъ, Гоголь, Лермонтовъ, Тургеневъ, Гончаровъ, Толстой — не дьячковскія дѣти-съ!

— Гончаровъ былъ купецъ, — сказалъ Мейеръ.

— Что же! Исключенія только подтверждаютъ правило. Да и насчетъ геніальности-то Гончарова можно еще сильно поспорить. Но оставимъ имена и вернемся къ фактамъ. Что вы, напримѣръ, скажете, сударь мой, насчетъ такого краснорѣчиваго факта: какъ только чумазый полѣзъ туда, куда его прежде не пускали — въ высшій свѣтъ, въ науку, въ литературу, въ земство, въ судъ, то, замѣтите, за высшія человѣческія права вступилась прежде всего сама природа и первая объявила войну этой ордѣ. Въ самомъ дѣлѣ, какъ только чумазый полѣзъ не въ свои сани, то сталъ киснуть, чахнуть, сходить съ ума и вырождаться, и нигдѣ вы не встрѣтите столько неврастениковъ, психическихъ галлѣкъ, чахоточныхъ и всякихъ заморышей, какъ среди этихъ голубчиковъ. Мрутъ какъ осеннія мухи. Если бы не это спасительное вырожденіе, то отъ нашей цивилизаціи давно бы уже не осталось камня на камнѣ, все слопалъ бы чумазый. Вы скажите мнѣ, сдѣлайте милость: что до сихъ поръ дало намъ это нашество? Что принесъ съ собой чумазый? — Рашевичъ сдѣлалъ таинственное, испуганное лицо

и продолжалъ:—Никогда еще наша наука и литература не находились на такомъ низкомъ уровнѣ, какъ теперь! У нынѣшнихъ, сударь мой, ни идей, ни идеаловъ, и вся ихъ дѣятельность проникнута однимъ духомъ: какъ бы побольше содрать и съ кого бы снять послѣднюю рубашку. Всѣхъ этихъ нынѣшнихъ, которые выдаютъ себя за передовыхъ и честныхъ людей, вы можете купить за рубль-цѣлковый, и современный интеллигентъ отличается именно тою особенностью, что когда вы говорите съ нимъ, то должны покрѣпче держаться за карманъ, а то вытащить бумажникъ.— Ращевичъ подмигнулъ и захохоталъ.—Ей-Богу вытащить!—проговорилъ онъ радостно тонкимъ голоскомъ. — А нравственность? Нравственность какова? — Ращевичъ оглянулся на дверь.—Теперь уже не удивляются, когда жена обкрадываетъ и покидаетъ мужа,—это что, пустяки! Нынче, батенька, двѣнадцатилѣтняя дѣвчонка норовитъ уже имѣть любовника, и всѣ эти любительскіе спектакли и литературные вечера придуманы для того только, чтобы легче было подцѣпить богатаго кулака и пойти къ нему на содержаніе... Матери продаютъ своихъ дочерей, а у мужей прямо такъ и спрашиваютъ, по какой цѣнѣ продаются ихъ жены, и можно даже поторговаться, дорогой мой...

Мейеръ, все время молчавшій и сидѣвшій неподвижно, вдругъ поднялся съ дивана и посмотрѣлъ на часы.

— Виноватъ, Павелъ Ильичъ,—сказалъ онъ, — мнѣ уже пора домой.

Но Павелъ Ильичъ, который еще не кончилъ говорить, обнялъ его и, насильно усаживая на диванъ, поклялся, что не отпуститъ его безъ ужина. И Мейеръ опять сидѣлъ и слушалъ, но уже посматривалъ на Ращевича съ недоумѣніемъ и тревогой, какъ будто только теперь начиналъ понимать его. Красныя пятна выступили у него на лицѣ. И когда наконецъ вошла горничная и сказала, что барышни просятъ ужинать, онъ легко вздохнулъ и первый вышелъ изъ кабинета.

Въ сосѣдней комнатѣ за столомъ сидѣли дочери Рашевича, Женья и Ираида, 24 и 22-хъ лѣтъ, обѣ черноглазья, очень блѣдныя, одинаковаго роста. Женья съ распущенными волосами, а Ираида съ высокою прической. Передъ тѣмъ какъ ѣсть, обѣ выпили по рюмкѣ горькой настойки, съ такимъ видомъ, какъ будто это онѣ выпили нечаянно, первый разъ въ жизни, и обѣ сконфузились и захохотали.

— Не шалите, дѣвочки,—сказалъ Рашевичъ.

Женья и Ираида между собой говорили по-французски, а съ отцомъ и гостемъ по-русски. Перебивая другъ друга и мѣшая русскую рѣчь съ французской, онѣ стали быстро рассказывать, какъ именно въ эту пору, въ августѣ, онѣ въ прежніе годы уѣзжали въ институтъ и какъ это было весело. Теперь же ѣхать некуда и приходится жить въ усадьбѣ безвыѣздно все лѣто и зиму. Какая скука!

— Не шалите, дѣвочки,—повторилъ Рашевичъ.

Ему самому хотѣлось говорить. Если при немъ говорили другіе, то онъ испытывалъ чувство, похожее на ревность.

— Такія-то дѣла, дорогой мой...—началъ онъ опять, ласково глядя на слѣдователя. — Мы по добротѣ и простотѣ и изъ страха, чтобы насъ не заподозрили въ отсталости, братаемся, извините, со всякою дрянью, проповѣдуемъ братство и равенство съ кулаками и кабатчиками; но если бы мы пожелали вдуматься, то и увидѣли бы, до какой степени преступна эта наша доброта. Мы сдѣлали то, что цивилизація виситъ уже на волоскѣ. Дорогой мой! То, что вѣками добывали наши предки, не сегодня — завтра будетъ поругано и истреблено этими новѣйшими гуннами...

Послѣ ужина всѣ пошли въ гостиную. Женья и Ираида зажгли свѣчи на роялѣ, приготовили ноты... Но отецъ все продолжалъ говорить, и неизвѣстно было, когда онъ кончить. Онѣ уже съ тоской и досадою смотрѣли на эгоиста-отца, для котораго, очевидно, удовольствіе поболтать и блеснуть своимъ умомъ было дороже и важнѣе, чѣмъ счастье

дочерей. Мейеръ—единственный молодой человекъ, который бывалъ въ ихъ домѣ, бывалъ — онѣ это знали — ради ихъ милого женскаго общества, но неугомонный старикъ завладѣлъ имъ и не отпускалъ его отъ себя ни на шагъ.

— Подобно тому, какъ западные рыцари отразили нападеніе монголовъ, такъ и мы, пока еще не поздно, должны сплотиться и ударить дружно на нашего врага, — продолжалъ Рашевичъ тономъ проповѣдника, поднимая вверхъ правую руку.—Пусть я явлюсь передъ чумазымъ не какъ Павелъ Ильичъ, а какъ грозный и сильный Ричардъ Лъвиное Сердце. Перестанемъ же деликатничать съ нимъ, довольно! Давайте мы всѣ сговоримся, что едва близко подойдетъ къ намъ чумазый, какъ мы бросимъ ему прямо въ харю слова пренебреженія: «руки прочь! сверчокъ, знай свой шестокъ!» Прямо въ харю!—продолжалъ Рашевичъ съ восторгомъ, тыча передъ собой согнутымъ пальцемъ. — Въ харю! Въ харю!

— Я не могу этого,—проговорилъ Мейеръ, отворачиваясь.

— Почему же?—живо спросилъ Рашевичъ, предчувствуя интересный и продолжительный споръ.—Почему же?

— Потому, что я самъ мѣщанинъ.

Сказавши это, Мейеръ покраснѣлъ, и даже шея у него надулась, и даже слезы заблестѣли на глазахъ.

— Мой отецъ былъ простымъ рабочимъ,—добавилъ онъ грубымъ, отрывистымъ голосомъ, — но я въ этомъ не вижу ничего дурного.

Рашевичъ страшно смутился и ошеломленный, точно пойманный на мѣстѣ преступленія, растерянно смотрѣлъ на Мейера и не зналъ, что сказать. Женья и Ираида покраснѣли и нагнулись къ нотамъ; имъ было стыдно за своего безтактнаго отца. Минута прошла въ молчаніи, и стало невыносимо совѣстно, когда вдругъ какъ-то болѣзненно, натянуто и некстати прозвучали въ воздухѣ слова:

— Да, я мѣщанинъ и горжусь этимъ.



Загѣмъ Мейеръ, неловко спотыкаясь о мебель, простился и быстро пошелъ въ переднюю, хотя еще не подавали лошадей.

— А вамъ будетъ сегодня темненько ѣхать,— бормоталъ Рашевичъ, идя за нимъ.— Луна теперь поздно восходитъ.

Оба стояли на крыльцѣ въ потемкахъ и ждали, когда подадутъ лошадей. Было прохладно.

— Звѣзда упала... — проговорилъ Мейеръ, кутаясь въ пальто.

— Въ августѣ ихъ много падаетъ.

Когда подали лошадей, Рашевичъ взглянулъ внимательно на небо и сказалъ со вздохомъ:

— Явленіе, достойное пера Фламмаріона...

Проводивъ гостя, онъ прошелся по саду, жестикулируя въ потемкахъ руками и не желая вѣрить, что только-что произошло такое странное, глупое недоразумѣніе. Ему было стыдно и досадно на себя. Во-первыхъ, съ его стороны было крайне неосторожно и безтактно поднимать этотъ проклятый разговоръ о бѣлой кости, не узнавши предварительно, съ кѣмъ онъ имѣетъ дѣло; нѣчто подобное съ нимъ уже случалось раньше; какъ-то въ вагонѣ онъ сталъ бранить нѣмцевъ, и потомъ оказалось, что всѣ его собесѣдники—нѣмцы. Во-вторыхъ, онъ чувствовалъ, что Мейеръ уже больше не прійдетъ къ нему. Эти интеллигенты, вышедшіе изъ народа, болѣзненно самолюбивы, упрямы и злопамятны.

— Не хорошо, не хорошо...— бормоталъ Рашевичъ, отплевываясь; ему было неловко и противно, какъ будто онъ поѣлъ мыла.— Ахъ, не хорошо!

Въ окно изъ сада видно было, какъ въ гостиной около рояля Жена съ распущенными волосами, очень блѣдная, испуганная, говорила о чемъ-то быстро-быстро... Иранда ходила изъ угла въ уголь, задумавшись; но вотъ и она заговорила, тоже быстро, съ негодующимъ лицомъ. Говорили обѣ разомъ. Не было слышно ни одного слова, но Рашевичъ догадывался, о чемъ онѣ говорили. Жена, вѣроятно,

роптала на то, что отец своими разговорами отвадилъ отъ дома всѣхъ порядочныхъ людей и сегодня отнялъ у нихъ единственнаго знакомаго, быть-можетъ, жениха, и теперь уже у бѣднаго молодого человѣка во всемъ уѣздѣ нѣтъ мѣста, гдѣ онъ могъ бы отдохнуть душой. А Ираида, судя по тому, что она съ отчаяніемъ поднимала вверхъ руки, говорила, вѣроятно, на тему о скучной жизни, о сгубленной молодости...

Прійди къ себѣ въ комнату, Рашевичъ сѣлъ на кровать и сталъ медленно раздѣваться. Состояніе духа было угнетенное, и томило все то же чувство, какъ будто онъ поѣлъ мыла. Было стыдно. Раздѣвшись, онъ поглядѣлъ на свои длинныя жилистыя старческія ноги и вспомнилъ, что въ уѣздѣ его прозвали жабой и что послѣ всякаго длиннаго разговора ему бывало стыдно. Какъ-то такъ, роковымъ образомъ выходило, что начиналъ онъ мягко, ласково, съ добрыми намѣреніями, называя себя старымъ студентомъ, идеалистомъ, Донъ-Кихотомъ, но незамѣтно для самого себя мало-по-малу переходилъ на брань и клевету и, что удивительнѣе всего, самымъ искреннимъ образомъ критиковалъ науку, искусства и нравы, хотя вотъ уже двадцать лѣтъ прошло, какъ не прочелъ онъ ни одной книжки, не былъ нигдѣ дальше губернскаго города и въ сущности не зналъ, что происходитъ на бѣломъ свѣтѣ. Если же онъ садился писать что-нибудь, хотя бы поздравительное письмо, то и въ письмѣ выходила брань. И все это странно потому, что на самомъ дѣлѣ онъ чувствительный, слезливый человѣкъ. Ужъ не сидитъ ли въ немъ нечистый духъ, который ненавидитъ и клеветаетъ въ немъ помимо его воли?

— Не хорошо...—вздыхалъ онъ, лежа подъ одеяломъ.—  
Не хорошо!

Дочери тоже не спали. Послышались хохотъ и крикъ, какъ будто за кѣмъ-то гнались: это съ Женей сдѣлалась истерика. Немного погода зарыдала и Ираида. По коридору нѣсколько разъ пробѣжала босая горничная...

— Экая исторія, Господи...—бормоталъ Рашевичъ, вздыхая и поворачиваясь съ боку на бокъ.—Не хорошо!

Во снѣ давилъ его кошмаръ. Приснилось ему, будто самъ онъ, голый, высокій, какъ жирафъ, стоитъ среди комнаты и говорить, тыча передъ собой пальцемъ:

— Въ харю! Въ харю! Въ харю!

Онъ проснулся въ испугѣ и прежде всего вспомнилъ, что вчера произошло недоразумѣніе, и что Мейеръ, конечно, уже больше не пріѣдетъ. Вспомнилъ онъ также, что надо проценты платить въ банкъ, дочерей замужъ выдавать, надо ѣсть, пить, а тутъ болѣзни, старость, неприятности, скоро зима, дровъ нѣтъ...

Былъ уже десятый часъ утра. Рашевичъ медленно одѣлся, напился чаю и съѣлъ два большихъ ломтя хлѣба съ масломъ. Дочери не вышли къ чаю; онъ не хотѣлъ встрѣчаться съ нимъ, и это оскорбляло его. Онъ полежалъ у себя въ кабинетѣ на диванѣ, потомъ сѣлъ за столъ и принялся писать дочерямъ письмо. Рука у него дрожала и чесались глаза. Онъ писалъ о томъ, что онъ уже старъ, никому не нуженъ и что его никто не любитъ, и просилъ дочерей забыть о немъ и, когда онъ умретъ, похоронить его въ простомъ сосновомъ гробѣ, безъ церемоній, или послать его трупъ въ Харьковъ, въ анатомическій театръ. Онъ чувствовалъ, что каждая его строчка дышитъ злобой и комедіанствомъ, но остановиться уже не могъ и все писалъ, писалъ...

— Жаба! — вдругъ послышалось изъ сосѣдней комнаты; это былъ голосъ старшей дочери, негодующій, шипящій голосъ.— Жаба!

— Жаба!—повторила какъ эхо младшая.— Жаба!



## СТУДЕНТЪ.

Погода вначалѣ была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по сосѣдству въ болотахъ что-то живое жалобно гудѣло, точно дуло въ пустую бутылку. Протянулъ одинъ вальдшнепъ, и выстрѣлъ по немъ прозвучалъ въ весеннемъ воздухѣ раскатисто и весело. Но когда стемнѣло въ лѣсу, нехотати подулъ съ востока холодный пронизывающій вѣтеръ, все смолкло. По лужамъ протянулись ледяныя иглы, и стало въ лѣсу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой.

Иванъ Великопольскій, студентъ духовной академіи, сынъ дьячка, возвращаясь съ тягц домой, шелъ все время залившимъ лугомъ по тропинкѣ. У него закоченѣли пальцы, и разгорѣлось отъ вѣтра лицо. Ему казалось, что этотъ внезапно наступившій холодъ нарушилъ во всемъ порядокъ и согласіе, что самой природѣ жутко, и оттого вечернія потемки ступились быстрѣй, чѣмъ надо. Кругомъ было пустынно и какъ-то особенно мрачно. Только на вдовыихъ огородахъ около рѣки свѣтился огонь; далеко же кругомъ и тамъ, гдѣ была деревня, версты за четыре, все сплошь утопало въ холодной вечерней мглѣ. Студентъ вспомнилъ, что, когда онъ уходилъ изъ дому, его мать, сидя въ сѣняхъ на полу, босая, чистила самоваръ, а отецъ лежалъ на печи и кашлялъ; по случаю страстной пятницы дома ничего не

варили, и мучительно хотѣлось ѣсть. И теперь, пожимаясь отъ холода, студентъ думалъ о томъ, что точно такой же вѣтеръ дулъ и при Рюригѣ, и при Іоаннѣ Грозномъ, и при Петрѣ, и что при нихъ была точно такая же лютая бѣдность, голодъ; такія же дырявыя соломенные крыши, невѣжество, тоска, такая же пустыня кругомъ, мракъ, чувство гнета,—всѣ эти ужасы были, есть и будутъ, и оттого, что пройдетъ еще тысяча лѣтъ, жизнь не станетъ лучше. И ему не хотѣлось домой.

Огороды назывались вдовыми потому, что ихъ содержали двѣ вдовы, мать и дочь. Костеръ горѣлъ жарко, съ трескомъ, освѣщая далеко кругомъ вспаханную землю. Вдова Василиса, высокая, пухлая старуха въ мужскомъ полушубкѣ, стояла возлѣ и въ раздумьѣ глядѣла на огонь; ея дочь, Лукерья, маленькая, рябая, съ глуповатымъ лицомъ, сидѣла на землѣ и мыла котель и ложки. Очевидно, только-что отуживали. Слышались мужскіе голоса; это здѣшніе работники на рѣкѣ поили лошадей.

— Вотъ вамъ и зима пришла назадъ,—сказалъ студентъ, подходя къ костру.—Здравствуйте!

Василиса вздрогнула, но тотчасъ же узнала его и улыбнулась привѣтливо.

— Не узнала, Богъ съ тобой,—сказала она.— Богатымъ быть.

Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господъ въ мамкахъ, а потомъ нянькахъ, выражалась деликатно, и съ лица ея все время не сходила мягкая, степенная улыбка; дочь же ея Лукерья, деревенская баба, забитая мужемъ, только щурилась на студента и молчала, и выраженіе у нея было странное, какъ у глухонѣмой.

— Точно такъ же въ холодную ночь грѣлся у костра апостольскій Петръ, — сказалъ студентъ, протягивая къ огню руки.—Значить, и тогда было холодно. Ахъ, какая то была

страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!

Онъ посмотрѣлъ кругомъ на потемки, судорожно встряхнулъ головой и спросилъ:

— Небось, была на двѣнадцати евангеліяхъ?

— Была,—отвѣтила Василиса.

— Если помнишь, во время тайной вечери Петръ сказалъ Иисусу: «Съ Тобою я готовъ и въ темницу, и на смерть». А Господь ему на это: «Говорю тебѣ, Петръ, не пропоеть сегодня пѣтель, то-есть пѣтухъ, какъ ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Послѣ вечери Иисусъ смертельно тосковалъ въ саду и молился, а бѣдный Петръ истомился душой, ослабѣлъ, вѣки у него отяжелѣли, и онъ никакъ не могъ побороть сна. Спалъ. Потомъ, ты слышала, Иуда въ ту же ночь поцѣловалъ Иисуса и предалъ Его мучителямъ. Его связаннаго вели къ первосвященнику и били, а Петръ, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшійся, предчувствуя, что вотъ-вотъ на землѣ произойдетъ что-то ужасное, шелъ вслѣдъ... Онъ страстно, безъ памяти любилъ Иисуса, и теперь видѣлъ издали, какъ Его били...

Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный взглядъ на студента.

— Пришли къ первосвященнику, — продолжалъ онъ, — Иисуса стали допрашивать, а работники тѣмъ временемъ развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грѣлись. Съ ними около костра стоялъ Петръ и тоже грѣлся, какъ вотъ я теперь. Одна женщина, увидѣвъ его, сказала: «И этотъ былъ съ Иисусомъ», то-есть, что и его, молъ, нужно вести къ допросу. И всѣ работники, что находились около огня, должно-быть, подозрительно и сурово поглядѣли на него, потому что онъ смутился и сказалъ: «Я не знаю Кго». Немного погодя опять кто-то узналъ въ немъ одного изъ учениковъ Иисуса и сказалъ: «И ты изъ нихъ». Но

онъ опять отрекся. И въ третій разъ кто-то обратился къ нему: «Да не тебя ли сегодня я видѣлъ съ Нимъ въ саду?» Онъ третій разъ отрекся. И послѣ этого раза тотчасъ же запѣлъ пѣтухъ, и Петръ, взглянувъ издали на Иисуса, вспомнилъ слова, которыя Онъ сказалъ ему на вечери... Вспомнилъ, очнулся, пошелъ со двора и горько-горько заплакалъ. Въ евангеліи сказано: «И исшедъ вонъ, плакася горько». Воображаю: тихій-тихий, темный-темный садъ, и въ тишинѣ едва слышатся глухія рыданія...

Студентъ вздохнулъ и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдругъ всхлинула, слезы, крупныя, избыльныя, потекли у нея по щекамъ, и она заслонила рукавомъ лицо отъ огня, какъ бы стыдясь своихъ слезъ, а Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснѣла, и выраженіе у нея стало тяжелымъ, напряженнымъ, какъ у человѣка, который сдерживаетъ сильную боль.

Работники возвращались съ рѣки, и одинъ изъ нихъ верхомъ на лошади былъ уже близко, и свѣтъ отъ костра дрожалъ на немъ. Студентъ пожелалъ вдовамъ спокойной ночи и пошелъ дальше. И опять наступили потемки, и стали зябнуть руки. Дулъ жестокой вѣтеръ, въ самомъ дѣлѣ возвращалась зима, и не было похоже, что послѣзавтра Пасха.

Теперь студентъ думалъ о Василисѣ: если она заплакала, то, значить, все, происходившее въ ту страшную ночь съ Петромъ, имѣетъ къ ней какое-то отношеніе...

Онъ оглянулся. Одинокій огонь спокойно мигалъ въ темнотѣ, и возлѣ него уже не было видно людей. Студентъ опять подумалъ, что если Василиса заплакала, а ея дочь смутилась, то, очевидно, то, о чемъ онъ только что рассказывалъ, что происходило девятнадцать вѣковъ назадъ, имѣетъ отношеніе къ настоящему—къ обѣимъ женщинамъ и, вѣроятно, къ этой пустынной деревнѣ, къ нему самому, ко всѣмъ людямъ. Если старуха заплакала, то не потому,

что онъ умѣетъ трогательно рассказывать, а потому, что Пётръ ей близокъ, и потому, что она всѣмъ своимъ существомъ заинтересована въ томъ, что происходило въ душѣ Петра.

И радость вдругъ заволновалась въ его душѣ, и онъ даже остановился на минуту, чтобы перевести духъ. Прошрое,—думалъ онъ,—связано съ настоящимъ непрерывною цѣпью событій, вытекавшихъ одно изъ другого. И ему казалось, что онъ только что видѣлъ оба конца этой цѣпи: дотронулся до одного конца, какъ дрогнуть другой.

А когда онъ переправлялся на паромѣ черезъ рѣку и потомъ, поднимаясь на гору, глядѣлъ на свою родную деревню и на западъ, гдѣ узкою полосой свѣтилась холодная багровая заря, то думалъ о томъ, что правда и красота, направлявшія человѣческую жизнь тамъ, въ саду и во дворѣ первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, повидимому, всегда составляли главное въ человѣческой жизни и вообще на землѣ; и чувство молодости, здоровья, силы, — ему было только 22 года, — и невыразимо сладкое ожиданіе счастья, невѣдомаго, таинственнаго счастья овладѣвали имъ мало-по-малу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокаго смысла.

---



## СОСЪДИ.

Петръ Михайлычъ Ивашинъ былъ сильно не въ духѣ: его сестра, дѣвушка, ушла къ Власичу, женатому человѣку. Чтобы какъ-нибудь отдѣлаться отъ тяжелаго, унылаго настроенія, какое не оставляло его ни дома, ни въ полѣ, онъ призывалъ къ себѣ на помощь чувство справедливости, свои честныя, хорошія убѣжденія—вѣдь онъ всегда стоялъ за свободную любовь! — но это не помогало, и онъ всякій разъ помимо воли приходилъ къ такому же заключенію, какъ глупая няня, то-есть, что сестра поступила дурно, а Власичъ укралъ сестру. И это было мучительно.

Мать цѣлый день не выходила изъ своей комнаты, няня говорила шопотомъ и все вздыхала, тетка каждый день собиралась уѣхать, и чемоданы ея то вносили въ переднюю, то уносили назадъ въ комнату. Въ домѣ, во дворѣ и въ саду была тишина, похожая на то, какъ будто въ домѣ былъ покойникъ. Тетка, прислуга и даже мужики, казалось Петру Михайлычу, загадочно и съ недоумѣніемъ смотрѣли на него, какъ будто хотѣли сказать: «Твою сестру оболестили, что же ты бездѣйствуешь?» И онъ упрекалъ себя въ бездѣйствіи, хотя и не зналъ, въ чемъ собственно должно было заключаться дѣйствіе.

Такъ прошло дней шесть. Въ седьмой—это было въ вос-

крененье послѣ обѣда — верховой привезъ письмо. Адресъ былъ написанъ знакомымъ женскимъ почеркомъ: «Ея Превосх. Аннѣ Николаевнѣ Ивашиной». Петру Михайлычу почему-то побазалось, что въ оболочкѣ письма и въ почеркѣ, и въ недописанномъ словѣ «Превосх.» было что-то вызывающее, задорное, либеральное. А женскій либерализмъ упрямятъ, неумолимъ, жестокъ...

«Она скорѣе согласится умереть, чѣмъ сдѣлать несчастной матери уступку, попросить у нея прощенія», — подумалъ Петръ Михайлычъ, идя къ матери съ письмомъ.

Мать лежала въ постели, одѣтая. Увидѣвъ сына, она порывисто поднялась и, поправляя сѣдые волосы, выбившіеся изъ-подъ чепца, быстро спросила:

— Что? Что?

— Прислала... — сказала сынъ, подавая ей письмо.

Имя Зины и даже слово «она» не произносилось въ домѣ; о Зинѣ говорили безлично: «прислала», «ушла»... Мать узнала почеркъ дочери, и лицо ея стало некрасивымъ, неприятнымъ, и сѣдые волосы опять выбились изъ-подъ чепца.

— Нѣтъ! — сказала она, дѣлая руками такъ, какъ будто письмо обожгло ей пальцы. — Нѣтъ, нѣтъ, никогда! Ни за что!

Мать истерически зарыдала отъ горя и стыда; ей, очевидно, хотѣлось прочесть письмо, но мѣшала гордость. Петръ Михайлычъ понималъ, что ему самому слѣдовало бы распечатать письмо и прочесть его вслухъ, но имъ вдругъ овладѣла злоба, какой онъ раньше никогда не испытывалъ; онъ выбѣжалъ на дворъ и крикнулъ верховому:

— Скажи, что отвѣта не будетъ! Не будетъ отвѣта! Такъ и скажи, скотина!

И разорвалъ письмо; потомъ слезы выступили у него на глазахъ, и, чувствуя себя жестокимъ, виноватымъ и несчастнымъ, онъ ушелъ въ поле.

Ему шелъ только двадцать-восьмой годъ, но ужъ онъ былъ толстъ, одѣвался по-стариковски во все широкое и просторное и страдалъ одышкой. Въ немъ были уже всѣ задатки помѣщика стараго холостяка. Онъ не влюблялся, о женитьбѣ не думалъ и любилъ только мать, сестру, няню, садовника Васильича; любилъ хорошо поѣсть, поспать послѣ обѣда, поговорить о политикѣ и о возвышенныхъ матерiяхъ... Въ свое время онъ кончилъ курсъ въ университетѣ, но теперь смотрѣлъ на это такъ, какъ будто отбылъ повинность, неизбѣжную для юношей въ возрастѣ отъ 18 до 25 лѣтъ; но крайней мѣрѣ, мысли, которыя теперь каждый день бродили въ его головѣ, не имѣли ничего общаго съ университетомъ и съ тѣми науками, которыя онъ проходилъ.

Въ полѣ было жарко и тихо, какъ передъ дождемъ. Въ лѣсу парило, и шелъ душистый тяжелый запахъ отъ сосенъ и лиственнаго перегноя. Петръ Михайлычъ часто останавливался и вытиралъ мокрый лобъ. Онъ осматрѣлъ свои озимыя и яровыя, обошелъ клеверное поле и раза два согналъ на опушкѣ куропатку съ цыплятами; и все время онъ думалъ о томъ, что это невыносимое состоянiе не можетъ продолжаться вѣчно и что надо его такъ или иначе кончить. Кончить какъ-нибудь глупо, дико, но непременно кончить.

«Но какъ же? Что же сдѣлать?»—спрашивалъ онъ себя и умоляюще поглядывалъ на небо и на деревья, какъ бы прося у нихъ помощи.

Но небо и деревья молчали. Честныя убѣжденiя не помогали, а здравый смыслъ подсказывалъ, что мучительный вопросъ можно рѣшить не иначе, какъ глупо, и что сегоднешняя сцена съ верховымъ не послѣдняя въ этомъ родѣ. Что еще будетъ—страшно подумать!

Когда онъ возвращался домой, уже заходило солнце. Теперь ужъ ему казалось, что вопроса никакъ нельзя рѣшить. Съ совершившимся фактомъ мириться нельзя, не мириться

тоже нельзя, а середины нѣтъ. Когда онъ, снявши шляпу и обмахиваясь платкомъ, шелъ по дорогѣ и до дома оставалось версты двѣ, сзади послышались звонки. Это былъ затѣйливый и очень удачный подборъ колокольчиковъ и бубенчиковъ, издававшихъ стеклянные звуки. Съ такимъ звономъ ѣздилъ одинъ только исправникъ Медовскій, бывший гусарскій офицеръ, промотавшійся и истасканный, больной человекъ, дальній родственникъ Петра Михайлыча. У Ивашиныхъ онъ былъ своимъ человекомъ и къ Зинѣ питалъ нѣжное отеческое чувство и восхищался ею.

— А я къ вамъ,—сказалъ онъ, обогнавъ Петра Михайлыча.—Садитесь, подвезу.

Онъ улыбался и глядѣлъ весело; очевидно, не зная еще, что Зина ушла къ Власичу; быть-можетъ, ему уже сообщали объ этомъ, но онъ не вѣрилъ. Петръ Михайлычъ почувствовалъ себя въ затруднительномъ положеніи.

— Милости просимъ, — пробормоталъ онъ, краснѣя до слезъ и не зная, какъ и что солгать. — Я очень радъ, — продолжалъ онъ, стараясь улыбнуться,—но... Зина уѣхала, а мама больна.

— Какая досада!—сказалъ исправникъ, задумчиво глядя на Петра Михайлыча. — А я собирался провести у васъ вечеръ. Куда же уѣхала Зинаида Михайловна?

— Къ Синицкимъ, а оттуда, кажется, хотѣла въ монастырь. Не знаю навѣрное.

Исправникъ поговорилъ еще немного и повернулъ назадъ. Петръ Михайлычъ шелъ домой и съ ужасомъ думалъ о томъ, какое чувство будетъ у исправника, когда онъ узнаетъ правду. И Петръ Михайлычъ вообразилъ себѣ это чувство и, испытывая его, вошелъ въ домъ.

«Помоги, Господи, помоги...» думалъ онъ.

Въ столовой за вечернимъ чаемъ сидѣла одна только тетка. По обыкновенію, на лицѣ у нея было такое выраженіе, что она хоть и слабая, беззащитная, но обидѣтъ

себя никому не позволить. Петръ Михайлычъ сѣлъ на другой конецъ стола (онъ не любилъ тетки) и сталъ молча пить чай.

— Твоя мать сегодня опять не обѣдала, — сказала тетка. — Ты бы, Петруша, обратилъ вниманіе. Морить себя будешь голодомъ, этимъ горю не пособишь.

Петру Михайлычу показалось нелѣпнымъ, что тетка вмѣшивается въ чужія дѣла и свой отъѣздъ ставитъ въ зависимость отъ того, что ушла Зина. Онъ хотѣлъ сказать ей дерзость, но сдержалъ себя. И, сдерживая себя, онъ почувствовалъ, что настала подходящая пора, чтобы дѣйствовать, и что терпѣть долѣе нѣтъ силъ. Или дѣйствовать сейчасъ же, или же упасть на полъ, кричать и биться головой о полъ. Онъ вообразилъ Власича и Зину, какъ они оба, либеральные и довольные собой, цѣлуются теперь гдѣ-нибудь подъ кленомъ, и все тяжелое и злобное, что скопилось въ немъ въ теченіе семи дней, навалилось на Власича.

«Одинъ обольстилъ и укралъ сестру, — подумалъ онъ, — другой придетъ и зарѣжетъ мать, третій подожжетъ домъ или ограбитъ... И все это подъ личиной дружбы, высокихъ идей, страданій!»

— Нѣтъ, этого не будетъ! — вдругъ крикнулъ Петръ Михайлычъ и ударилъ кулакомъ по столу.

Онъ вскочилъ и выбѣжалъ изъ столовой. Въ конюшнѣ стояла осѣдланная лошадь управляющаго. Онъ сѣлъ на нее и поскакалъ къ Власичу.

Въ душѣ у него происходила цѣлая буря. Онъ чувствовалъ потребность сдѣлать что-нибудь изъ ряда вонъ выходящее, рѣзкое, хотя бы потомъ пришлось каяться всю жизнь. Назвать Власича подлецомъ, дать ему пощечину и потомъ вызвать на дуэль? Но Власичъ не изъ тѣхъ, которые дерутся на дуэли; отъ подлеца же и пощечины онъ станетъ только несчастнѣе и глубже уйдетъ въ самого себя. Эти несчастные, безотвѣтные люди — самые несносные, самые

тяжелые люди. Имъ все проходить безнаказанно. Когда несчастный человекъ, въ отвѣтъ на заслуженный упрекъ, взглянетъ своими глубокими виноватыми глазами, болѣзненно улыбнется и покорно подставитъ голову, то, кажется, у самой справедливости не хватитъ духа поднять на него руку.

«Все равно. Я при ней ударю его хлыстомъ и наговорю ему дерзостей»; рѣшилъ Петръ Михайлычъ.

Онъ ѣхалъ своимъ лѣсомъ и пустырями и воображалъ, какъ Зина, чтобы оправдать свой поступокъ, будетъ говорить о правахъ женщины, о свободѣ личности и о томъ, что между церковнымъ и гражданскимъ бракомъ нѣтъ никакой разницы. Она по-женски будетъ спорить о томъ, чего не понимаетъ. И, вѣроятно, въ концѣ концовъ она спроситъ: «При чемъ ты тутъ? Какое ты имѣешь право вмѣшиваться?»

— Да, я не имѣю права,—пробормоталъ Петръ Михайлычъ. — Но тѣмъ лучше... Чѣмъ грубѣе, чѣмъ меньше права, тѣмъ лучше.

Было душно. Низко надъ землей стояли тучи комаровъ, и въ пустыряхъ жалобно плакали чибисы. Все предвѣщало дождь, но не было ни одного облачка. Петръ Михайлычъ переѣхалъ свою межу и поскакалъ по ровному, гладкому полю. Онъ часто ѣздилъ по этой дорогѣ и зналъ на ней каждый кустикъ, каждую ямку. То, что далеко впереди теперь, въ сумеркахъ, представлялось темнымъ утесомъ, была красная церковь; онъ могъ вообразить ее себѣ всю до мелочей, даже штукатурку на воротахъ и телятъ, котерые всегда паслись въ оградѣ. Въ верстѣ отъ церкви направо темнѣетъ роща, это графа Колтовича. А за рощей начинается уже земля Власича.

Изъ-за церкви и графской рощи надвигалась громадная черная туча, и на ней вспыхивали блѣдныя молніи.

«Вотъ оно что!—подумалъ Петръ Михайлычъ.—Помоги, Господи, помоги».

Лошадь отъ быстрой ѣзды скоро устала, и самъ Петръ Михайлычъ усталъ. Грозовая туча сердито смотрѣла на него и какъ будто совѣтовала вернуться домой. Стало немножко жутко.

«Я имъ докажу, что они не правы! — подбодрялъ онъ себя.—Они будутъ говорить, что это свободная любовь; свобода личности; но вѣдь свобода—въ воздержаніи, а не въ подчиненіи страстямъ. У нихъ развратъ, а не свобода!»

Вотъ большой графскій прудъ; отъ тучи онъ посинѣлъ и нахмурился; повѣяло отъ него сыростью и тиной. Около гати двѣ ивы, старая и молодая, нѣжно прислонились другъ къ другу. На этомъ самомъ мѣстѣ недѣли двѣ назадъ Петръ Михайлычъ и Власичъ шли пѣшкомъ и пѣли вполголоса студенческую пѣсню: «Не любить—погубить, значить, жизнь молодую...» Жалкая пѣсня!

Когда Петръ Михайлычъ ѣхалъ черезъ рощу, гремѣлъ громъ, и деревья шумѣли и гнулись отъ вѣтра. Надо было торопиться. Отъ рощи до усадьбы Власича оставалось еще проѣхать лугомъ не болѣе версты. Тутъ по обѣ стороны дороги стояли старыя березы. Онѣ были такъ же печальны и несчастны на видъ, какъ ихъ хозяинъ Власичъ, такъ же были тощи и высоко вытянулись, какъ онъ. Въ березахъ и въ травѣ зашуршала крупный дождь; вѣтеръ тотчасъ же стихъ и запахло мокрою землею и тополемъ. Вонъ показалась изгородь Власича съ желтою акаціей, которая тоже тоща и вытянулась; тамъ, гдѣ рѣшетка обвалилась, виденъ запущенный фруктовый садъ.

Петръ Михайлычъ не думалъ уже ни о пощечинѣ, ни о хлыстѣ, и не зналъ, что будетъ онъ дѣлать у Власича. Онъ струсиль. Ему было страшно за себя и за сестру, и было жутко, что онъ ее сейчасъ увидитъ. Какъ она будетъ держать себя съ братомъ? О чемъ они оба будутъ говорить? И не вернуться ли назадъ, пока не поздно? Думая такъ,

онъ по липовой аллеѣ поскакалъ къ дому, обогнулъ широкіе кусты сирени и вдругъ увидѣлъ Власича.

Власичъ безъ шляпы, въ ситцевой рубахѣ и высокихъ сапогахъ, согнувшись подъ дождемъ, шелъ отъ угла дома къ крыльцу; за нимъ работникъ несъ молотокъ и ящикъ съ гвоздями. Должно-быть, починали ставню, которая хлопала отъ вѣтра. Увидѣвъ Петра Михайлыча, Власичъ остановился.

— Это ты? — сказалъ онъ и улыбнулся. — Ну, вотъ и хорошо.

— Да, пріѣхалъ, какъ видишь... — тихо проговорилъ Петръ Михайлычъ, стряхивая съ себя дождь обѣими руками.

— Ну, вотъ и ладно. Очень радъ, — сказалъ Власичъ, но руки не подаль: очевидно, не рѣшался и ждалъ, когда ему подадутъ. — Для овсовъ хорошо! — сказалъ онъ и поглядѣлъ на небо.

— Да.

Молча вошли въ домъ. Направо изъ передней вела дверь въ другую переднюю и потомъ въ залу, а налѣво — въ маленькую комнату, гдѣ зимою жилъ приказчикъ. Петръ Михайлычъ и Власичъ вошли въ эту комнату.

— Тебя гдѣ дождь захватилъ? — спросилъ Власичъ.

— Недалеко. Почти около дома.

Петръ Михайлычъ сѣлъ на кровать. Онъ былъ радъ, что шумѣлъ дождь и что въ комнатѣ было темно. Этакъ лучше: не такъ жутко и не нужно собесѣднику въ лицо смотрѣть. Злобы у него уже не было, а были страхъ и досада на себя. Онъ чувствовалъ, что дурно началъ и что изъ этой его поѣздки не выйдетъ никакого толку.

Оба нѣкоторое время молчали и дѣлали видъ, что прислушиваются къ дождю.

— Спасибо, Петруша, — началъ Власичъ, кашлянувъ. — Я очень благодаренъ тебѣ, что ты пріѣхалъ. Это велико-



душно и благородно съ твоей стороны. Я это понимаю и, вѣрь мнѣ, цѣню высоко. Вѣрь мнѣ.

Онъ поглядѣлъ въ окно и продолжалъ, стоя среди комнаты:

— Все произошло какъ-то тайно, точно мы скрывались отъ тебя. Сознаніе, что ты, быть-можетъ, оскорбленъ нами и сердишься, всѣ эти дни лежало пятномъ на нашемъ счастьѣ. Но позволь оправдаться. Дѣйствовали мы тайно не потому, что тебѣ мало довѣряли. Во-первыхъ, все произошло внезапно, по какому-то вдохновенію, и разсуждать было некогда. Во-вторыхъ, это дѣло интимное, щекотливое... было неловко вмѣшивать третье лицо, хотя бы даже такое близкое, какъ ты. Главное же, во всемъ этомъ мы сильно рассчитывали на твое великодушіе. Ты великодушнѣйшій, благороднѣйшій человекъ. Я тебѣ безконечно благодаренъ. Если тебѣ когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приходи и возьми ее.

Власичъ говорилъ тихимъ, глухимъ басомъ, все въ одну ноту, будто гудѣлъ; онъ, видимо, волновался. Петръ Михайлычъ почувствовалъ, что наступила его очередь говорить и что слушать и молчать значило бы для него въ самомъ дѣлѣ разыгрывать изъ себя великодушнѣйшаго и благороднѣйшаго простака, а опъ не за этимъ сюда пріѣхалъ. Онъ быстро поднялся и сказалъ вполголоса, задыхаясь:

— Послушай, Григорій, ты знаешь, я любилъ тебя и лучшаго мужа для своей сестры не желалъ; но то, что произошло, ужасно! Страшно подумать!

— Почему же страшно?—спросилъ Власичъ дрогнувшимъ голосомъ.—Было бы страшно, если бы мы дурно поступили, но вѣдь этого нѣтъ!

— Послушай, Григорій, ты знаешь, я безъ предразсудковъ; но, извини за откровенность, по моему мнѣнію, вы оба поступили эгоистически. Конечно, я этого не скажу

Зигѣ, это ее огорчить, но ты долженъ знать: мать страдаетъ до такой степени, что описать трудно.

— Да, это грустно,—вздыхнулъ Власичъ.—Мы это предвидѣли, Петруша, но что же мы должны были дѣлать? Если твой поступокъ огорчаетъ кого-нибудь, то это еще не значить, что онъ дурень. Что дѣлать! Всякій твой серьезный шагъ неминуемо долженъ огорчить кого-нибудь. Если бы ты пошелъ сражаться за свободу, то это тоже заставило бы твою мать страдать. Что дѣлать! Кто выше всего ставить покой своихъ близкихъ, тотъ долженъ совершенно отказаться отъ идейной жизни.

За окномъ ярко сверкнула молнія, и этотъ блескъ какъ будто измѣнилъ теченіе мыслей у Власича. Онъ сѣлъ рядомъ съ Петромъ Михайлычемъ и заговорилъ совсѣмъ не то, что нужно.

— Я, Петруша, благоговѣю передъ твоею сестрой, — сказалъ онъ. — Когда я ѣздилъ къ тебѣ, то всякій разъ у меня бывало такое чувство, какъ будто я шелъ на богомолье, и я въ самомъ дѣлѣ молился на Зину. Теперь мое благоговѣніе растетъ съ каждымъ днемъ. Она для меня выше, чѣмъ жена! Выше! (Власичъ взмахнулъ руками). Она моя святыня. Съ тѣхъ поръ, какъ она живетъ у меня, я вхожу въ свой домъ какъ въ храмъ. Это рѣдкая, необыкновенная, благороднѣйшая женщина!

«Ну, завелъ свою шарманку!»—подумалъ Петръ Михайлычъ; слово «женщина» ему не понравилось.

— Отчего бы вамъ не жениться по-настоящему?—спросилъ онъ.—Сколько твоя жена хочетъ за разводъ?

— Семьдесятъ-пять тысячъ.

— Многовато. А если поторговаться?

— Не уступить ни копейки. Это, братъ, ужасная женщина!—вздыхнулъ Власичъ.—Я тебѣ раньше о ней никогда не говорилъ, было противно вспоминать, но вотъ пришлось къ случаю, упоминаю. Женился я на ней подъ вліяніемъ

хорошей, честной минуты. Въ нашемъ полку, если хочешь подробностей, одинъ батальонный командиръ сошелся съ восемнадцатилѣтнею дѣвицей, то-есть, попросту, обольстил ее, пожилъ съ ней мѣсяца два и бросилъ. Очутилась она, братъ, въ ужаснѣйшемъ положеніи. Къ родителямъ возвращаться совѣстно, да и не примутъ, любовникъ бросилъ,—хоть иди въ казармы и продавай себя. Товарищи по полку были возмущены. Сами тоже они не святые, но подлость ужъ очень глаза рѣзала. Батальоннаго, къ тому же, въ полку всѣ терпѣть не могли. И, чтобы подложить ему свинью, понимаешь ли, стали всѣ негодующіе прапорщики и подпоручики собирать деньги по подпискѣ въ пользу несчастной дѣвицы. Ну, вотъ, когда мы, младшіе оберъ-офицеры, собрались на совѣщаніе и когда стали выкладывать кто пять, кто десять рублей, у меня вдругъ загорѣлась голова. Обстановка показалась мнѣ слишкомъ подходящею для подвига. Я поспѣшилъ къ дѣвицѣ и въ горячихъ выраженіяхъ высказалъ ей свое сочувствіе. И пока я шелъ къ ней и потомъ говорилъ, я горячо любилъ ее, какъ униженную и оскорбленную. Да... Ну, вышло такъ, что черезъ недѣлю послѣ этого я сдѣлалъ ей предложеніе. Начальство и товарищи нашли бракъ мой несомвѣстимымъ съ достоинствомъ офицера. Это меня еще пуще воспламенило. Я, понимаешь ли, написалъ длинное письмо, въ которомъ доказалъ, что мой поступокъ долженъ быть записанъ въ исторіи полка золотыми буквами и прочее. Письмо послалъ командиру, а копіи товарищамъ. Ну, конечно, былъ возбужденъ и не обошлось безъ рѣзкостей. Меня попросили оставить полкъ. Гдѣ-то у меня спрятанъ черновикъ, я тебѣ дамъ прочесть какъ-нибудь. Написано съ большимъ чувствомъ. Ты увидишь, какія я переживалъ честныя, свѣтлыя минуты. Подалъ я въ отставку и пріѣхалъ съ женой сюда. Послѣ отца остались кое-какіе долгишки, денегъ у меня не было, а жена съ перваго же дня завела знакомства, стала щего-

лять и играть въ карты, и я вынужденъ былъ заложить имѣніе. Вела она, понимаешь ли, нехорошую жизнь, и изъ всѣхъ моихъ сосѣдей только одинъ ты не былъ ея любовникомъ. Года черезъ два далъ я ей отступного, все, что у меня было тогда, и она уѣхала въ городъ. Да... И теперь я выплачиваю ей по тысячѣ двѣсти ежегодно. Ужасная женщина! Есть, братъ, муха, которая кладетъ личинку на спину паука такимъ образомъ, что тотъ никакъ не можетъ сбросить ея; личинка прирастаетъ къ пауку и пьетъ изъ его сердца кровь. Точно такъ же вотъ приросла ко мнѣ и пьетъ изъ моего сердца кровь эта женщина. Она ненавидитъ и презираетъ меня за то, что я сдѣлалъ глупость, то-есть женился на такой женщинѣ, какъ она. Мое великодушіе кажется ей жалкимъ. «Умный человѣкъ, говоритъ, бросилъ меня, а дуракъ подобралъ». По ея мнѣнію, только жалкій идиотъ могъ поступить такъ, какъ я. И мнѣ, братъ, это невыносимо горько. Вообще, братъ, скажу въ скобкахъ, гнетъ меня судьба. Въ дугу гнетъ.

Петръ Михайлычъ слушалъ Власича и въ недоумѣніи спрашивалъ себя: чѣмъ этотъ человѣкъ могъ такъ понравиться Зинѣ? Немолодой, — ему уже 41 годъ, — тощій, сухопарый, узкогрудый, съ длиннымъ носомъ, съ просѣдью въ бородѣ. Говоритъ онъ — точно гудеть, улыбается болѣзненно и, разговаривая, некрасиво взмахиваетъ руками. Ни здоровья, ни красивыхъ мужественныхъ манеръ, ни свѣтскости, ни веселости, а такъ, съ внѣшней стороны, что-то тусклое и неопредѣленное. Одѣвается онъ безвкусно, обстановка у него унылая, поэзіи и живописи онъ не признаетъ, потому что онѣ «не отвѣчаютъ на запросы дня», то-есть онъ не понимаетъ ихъ; музыка его не трогаетъ. Хозяинъ онъ плохой. Имѣніе у него приведено въ полное разстройство и заложено; по второй закладной онъ платитъ двѣнадцать процентовъ и, кромѣ того, по векселямъ еще долженъ тысячь десять. Когда приходитъ время платить проценты

или высылать женѣ деньги, онѣ проситъ у всѣхъ займы съ такимъ выраженіемъ, какъ будто у него дома пожаръ, и въ это время, очертя голову, продаетъ онѣ весь свой зимній запасъ хвороста за пять рублей, скирду соломы за три рубля и потомъ велитъ топить свои печи садовою рѣшеткой или старыми парниковыми рамами. Луга у него потравлены свиньями, въ лѣсу по молодняку ходитъ мужицкій скотъ, а старыхъ деревьевъ съ каждой зимой становится все меньше и меньше; въ огородѣ и въ саду валяются пасѣчные колодки и ржавыя ведра. У него нѣтъ ни талантовъ, ни дарованій и нѣтъ даже обыкновенной способности жить, какъ люди живутъ. Въ практической жизни это наивный, слабый человѣкъ, котораго легко обмануть и обидѣть, и мужики не даромъ называютъ его «простоватымъ».

Онѣ либераль и считается въ уѣздѣ краснымъ, но и это выходитъ у него скучно. Въ его вольнодумствѣ нѣтъ оригинальности и паэоса; возмущается, негодуетъ и радуется онѣ какъ-то все въ одну ноту, не эффектно и вяло. Даже въ минуты сильнаго воодушевленія онѣ не поднимаетъ головы и остается сутулымъ. Но скучнѣе всего, что даже свои хорошія, честныя идеи онѣ умудряется выразить такъ, что онѣ кажутся у него банальными и отсталыми. Вспоминается что-то старое, давно читанное, когда онѣ медленно, съ глубокомысленнымъ видомъ, начинаетъ толковать про честныя, свѣтлыя минуты, про лучшіе годы, или когда восторгается молодежью, которая всегда шла и идетъ впереди общества, или порицаетъ русскихъ людей за то, что они въ тридцать лѣтъ надѣваютъ халатъ и забываютъ завѣты своей *almae matris*. Когда остаешься у него ночевать, то онѣ кладетъ на ночной столикъ Писарева или Дарвина. Если скажешь, что я это уже читалъ, то онѣ выйдетъ и принесетъ Добролюбова.

Это называлось въ уѣздѣ вольнодумствомъ, и многіе смо-

трѣли на это вольнодумство какъ на невинное и безобидное чудачество; но оно, однако, сдѣлало его глубоко несчастнымъ. Оно было для него тою личинкой, о которой онъ только что говорилъ: крѣпко приросло къ нему и пило изъ его сердца кровь. Въ прошломъ странный бракъ во вкусѣ Достоевскаго, длинныя письма и копїи, писанныя плохимъ, неразборчивымъ почеркомъ, но съ большимъ чувствомъ, безконечныя недоразумѣнія, объясненія, разочарованія, потомъ долги, вторая закладная, жалованье женѣ, ежемѣсячныя займы — и все это никому не въ пользу, ни себѣ, ни людямъ. И въ настоящемъ, какъ прежде, все онъ торопится, ищетъ подвига и суется въ чужія дѣла; попрежнему; при всякомъ удобномъ случаѣ, длинныя письма и копїи, утомительныя шаблонныя разговоры объ общинѣ или о поднятїи кустарной промышленности, или объ учрежденїи сыроварень, — разговоры, похожіе одинъ на другой; точно онъ приготовляетъ ихъ не въ живомъ мозгу, а машиннымъ способомъ. И наконецъ этотъ скандалъ съ Зиной, который неизвѣстно чѣмъ еще кончится!

А между тѣмъ сестра Зина молода, — ей только 22 года, — хороша собой, изящна, весела; она хохотушка, болтунья, спорщица, страстная музыкантша; она знаетъ толкъ въ нарядахъ, въ книгахъ и въ хорошей обстановкѣ, и у себя дома не потерпѣла бы такой комнатки, какъ эта, гдѣ пахнетъ сапогами и дешевою водкой. Она тоже либералка, но въ ся вольнодумствѣ чувствуются избытокъ силъ, тщеславїе молодой, сильной, смѣлой дѣвушки, страстная жажда быть лучше и оригинальнѣе другихъ... Какъ же могло случиться, что она полюбила Власича?

«Онъ — Донъ-Кихоть, упрямый фанатикъ, маньякъ, — думалъ Петръ Михайлычъ, — а она такая же рыхлая, слабохарактерная и покладистая, какъ я... Мы съ ней сдаемся скоро и безъ сопротивленія. Она полюбила его; но развѣ я самъ не люблю его; несмотря ни на что»...

Петръ Михайлычъ считаль Власича хорошимъ, честнымъ, но узкимъ и одностороннимъ человекомъ. Въ его волненіяхъ и страданіяхъ да и во всей его жизни онъ не видѣлъ ни ближайшихъ, ни отдаленныхъ высшихъ цѣлей, а видѣлъ только скуку и неумѣнье жить. Его самоотверженіе и все то, что Власичъ называль подвигомъ или честнымъ порывомъ, представлялись ему бесполезною тратой силъ, ненужными, холодными выстрѣлами, на которые шло очень много пороху. А то, что Власичъ фанатически вѣрилъ въ необыкновенную честность и непогрѣшимость своего мышленія, казалось ему наивнымъ и даже болѣзненнымъ; и то, что Власичъ всю свою жизнь какъ-то ухитрился перепутывать ничтожное съ высокимъ, что онъ глупо женился и считаль это подвигомъ, и потомъ сходилса съ женщинами и видѣлъ въ этомъ торжество какой-то идеи, — это было просто непонятно.

Но все-таки Петръ Михайлычъ любилъ Власича, чувствовалъ присутствіе въ немъ какой-то силы, и почему-то у него никогда не хватало духа противорѣчить ему.

Власичъ подсадь совсѣмъ близко, чтобы потолковать подъ шумокъ дождя, въ темнотѣ, и уже откашлялся, готовый рассказать что-нибудь длинное, въ родѣ исторіи своей женитьбы; но Петру Михайлычу невыносимо было слушать; его томила мысль, что сейчасъ онъ увидить сестру.

— Да, тебѣ не везло въ жизни, — сказалъ онъ мягко, — но, извини, мы съ тобой уклонились отъ главнаго. Мы не о томъ говоримъ.

— Да, да, въ самомъ дѣлѣ. Такъ вотъ вернемся къ главному, — сказалъ Власичъ и всталъ. — Я говорю тебѣ, Петруша: совѣсть наша чиста. Мы не вѣнчаны, но что бракъ нашъ вполне законенъ, — не мнѣ доказывать и не тебѣ слушать. Ты такъ же свободно мыслишь, какъ я, и, слава Богу, разногласія у насъ на этотъ счетъ не можетъ быть. Что же касается до нашего будущаго, то оно не должно

пугать тебя. Я буду работать до кроваваго пота, не спать ночей,—однимъ словомъ, я напрягу всѣ силы, чтобы Зина была счастлива. Жизнь ея будетъ прекрасной. Ты спросишь: сумѣю ли я это сдѣлать? Сумѣю, братъ! Когда человѣкъ думаетъ каждую минуту все объ одномъ и томъ же, то ему не трудно добиться, чего онъ хочетъ. Но пойдѣмъ къ Зинѣ. Надо ее обрадовать.

У Петра Михайлыча забилось сердце. Онъ всталъ и пошелъ за Власичемъ въ переднюю, а оттуда въ залу. Въ этой громадной, угрюмой комнатѣ были только фортепяны да длинный рядъ старинныхъ стульевъ съ бронзой, на которые никто никогда не садился. На фортепянѣ горѣла одна свѣча. Изъ залы молча прошли въ столовую. Тутъ тоже просторно и неуютно; посреди комнаты круглый столъ изъ двухъ половинокъ на шести толстыхъ ногахъ и только одна свѣча. Часы въ большомъ красномъ футлярѣ, похожемъ на кіотъ, показывали половину третьяго.

Власичъ отворилъ дверь въ сосѣдную комнату и сказалъ:  
— Зиночка, у насъ Петруша!

Тотчасъ же послышались торопливые шаги, и въ столовую вошла Зина, высокая, полная и очень блѣдная, какою Петръ Михайлычъ видѣлъ ее въ послѣдній разъ дома,— въ черной юбкѣ и въ красной кофточкѣ съ большою пряжкой на поясѣ. Она одною рукой обняла брата и поцѣловала его въ високъ.

— Какая гроза!—сказала она.—Григорій ушелъ куда-то, и я осталась одна на весь домъ.

Она не была смущена и смотрѣла на брата искренно и ясно, какъ дома; глядя на нее, и Петръ Михайлычъ пересталъ испытывать смущеніе.

— Но вѣдь ты не боишься грозы,—сказалъ онъ, садясь за столъ.

— Да, но здѣсь огромныя комнаты, домъ старый и весь звенить отъ грома, какъ шкапъ съ посудой. Вообще, ми-



ленькій домикъ,—продолжала она, садясь противъ брата.— Тутъ, что ни комната, то какое-нибудь пріятное воспоминаніе. Въ моей комнатѣ, можешь себѣ представить, застрѣлился дѣдушка Григорія.

— Въ августѣ будутъ деньги, ремонтирую флигель въ саду,—сказала Власичъ.

— Почему-то во время грозы вспоминается дѣдушка, — продолжала Зина. — А въ этой столовой засѣкли на-смерть какого-то человѣка.

— Это дѣйствительный фактъ, — подтвердилъ Власичъ и посмотрѣлъ большими глазами на Петра Михайлыча. — Въ сороковыхъ годахъ это имѣніе арендовалъ нѣкій Оливьеръ, французъ. Портретъ его дочери валяется у насъ теперь на чердакѣ. Очень хорошенькая. Этотъ Оливьеръ, какъ рассказывалъ мнѣ отецъ, презиралъ русскихъ за невѣжество и глумился надъ ними жестоко. Такъ, онъ требовалъ, чтобы священникъ, проходя мимо усадьбы, снималъ шапку за полверсты, и когда семейство Оливьеровъ проезжало черезъ деревню, то чтобы звонили въ церкви. Съ крѣпостными и вообще съ малыми міра сего онъ, конечно, церемонился еще меньше. Какъ-то проходилъ здѣсь по дорогѣ одинъ изъ благодушнѣйшихъ сыновъ бродячей Руси, что-то въ родѣ гоголевскаго бурсака Хомя Бруга. Попросился онъ ночевать, понравился тутъ приказчикамъ, и его оставили при конторѣ. Существуетъ много варіацій. Одни говорятъ, что бурсакъ волновалъ крестьянъ, другіе же, — будто его полюбила дочь Оливьера. Не знаю, что вѣрно, но только въ одинъ прекрасный вечеръ позвалъ его сюда Оливьеръ и сдѣлавъ ему допросъ, потомъ же приказалъ его бить. Понимаешь ли, самъ сидитъ за этимъ столомъ и бордо пьетъ, а конюхи бьютъ бурсака. Должно-быть, пыталъ. Къ утру бурсакъ умеръ отъ истязаній, и трупъ его спрятали куда-то. Говорятъ, что въ прудъ Колтовича бросили. Подняли дѣло, но французъ заплатилъ кому слѣдуетъ

и несколько тысяч и уехалъ въ Эльзась. Кстатн же подошелъ срокъ аренды, тѣмъ дѣло и кончилось.

— Какіе негоднн!—проговорила Зина и вздрогнула.

— Мой отецъ хорошо помнилъ и Оливьера, и его дочь. Говорилъ, что красавица была замѣчательная и притомъ эксцентричная. Я думаю, что бурсакъ все вмѣстѣ: и крестьянъ волновалъ, и дочь увлекъ. Можеть-быть, даже это былъ вовсе не бурсакъ, а инкогнито какой-нибудь.

Зина задумалась: исторія бурсака и красивой французки, повидимому, унесла ея воображеніе далеко. Какъ казалось Петру Михайлычу, она наружно нисколько не измѣнилась въ послѣднюю недѣлю, только стала, немножко блѣднѣе. Она глядѣла покойно и обыкновенно, какъ будто вмѣстѣ съ братомъ пріѣхала къ Власичу въ гости. Но Петръ Михайлычъ чувствовалъ, что произошла какая-то перемѣна въ немъ самомъ. Въ самомъ дѣлѣ, прежде, когда она жила дома, онъ могъ говорить съ нею рѣшительно обо всемъ, теперь же онъ былъ не въ силахъ задать даже простого вопроса: «Какъ тебѣ живется здѣсь?» Этотъ вопросъ казался неловкимъ и ненужнымъ. Должно-быть, такая же перемѣна произошла и въ ней. Она не спѣшила заводить разговоръ о матери, о домѣ, о своемъ романѣ съ Власичемъ; она не оправдывалась, не говорила, что гражданскій бракъ лучше церковнаго, не волновалась и покойно задумалась надъ исторіей Оливьера... И почему вдругъ заговорили объ Оливьерѣ?

— У васъ у обоихъ плечи мокрыя отъ дождя,—сказала Зина и радостно улыбнулась; она была тронута этимъ маленькимъ сходствомъ между братомъ и Власичемъ.

И Петръ Михайлычъ почувствовалъ всю горечь и весь ужасъ своего положенія. Онъ вспомнилъ свой опустѣвшій домъ, закрытый рояль и Зинину свѣтленькую комнату, въ которую теперь уже никто не входитъ; онъ вспомнилъ, что на аллеяхъ въ саду уже нѣтъ слѣдовъ отъ маленькихъ ногъ

и что передъ вечернимъ чаемъ уже никто съ громкимъ смѣхомъ не уходитъ купаться. То, къ чему онъ больше и больше привязывался съ самаго ранняго дѣтства, о чемъ любилъ думать, когда сидѣлъ, бывало, въ душномъ классѣ или въ аудиторіи,—ясность, чистота, радость, все, что наполняло домъ жизнью и свѣтомъ, ушло безвозвратно, исчезло и смѣшалось съ грубою, неуклюжею исторіей какого-то батальоннаго командира, великодушнаго прапорщика, развратной бабы, застрѣливагося дѣдушки... И начинать разговоръ о матери или думать, что прошлое можетъ вернуться, значило бы не понимать того, что ясно.

Глаза у Петра Михайлыча наполнились слезами, и рука, лежавшая на столѣ, задрожала. Зина угадала, о чемъ онъ думалъ, и глаза ей тоже покраснѣли и заблестѣли.

— Григорій, поди сюда!—сказала она Власичу.

Оба отошли къ окну и стали говорить о чемъ-то шопотомъ. И по тому, какъ Власичъ нагнулся къ ней и какъ она смотрѣла на него, Петръ Михайлычъ еще разъ понималъ, что все уже непоправимо кончено и что говорить ни о чемъ не нужно. Зина вышла.

— Такъ-то, братъ, — заговорилъ Власичъ послѣ нѣкотораго молчанія, потирая руки и улыбаясь. — Я давеча называлъ нашу жизнь счастьемъ, но это подчиняясь, такъ сказать, литературнымъ требованіямъ. Въ сущности же ощущенія счастья еще не было. Зина все время думала о тебѣ, о матери, и мучилась; глядя на нее, и я мучился. Она натура свободная, смѣлая; но безъ привычки, знаешь, тяжело, да и молода къ тому же. Прислуга называетъ ее барышней; кажется, пустякъ, но это ее волнуетъ. Такъ-то, братъ.

Зина принесла полную тарелку земляники. За ней вошла маленькая горничная, на видъ безотвѣтная и забитая. Она поставила на столъ кувшинъ молока и поклонилась низко-низко... Въ ней было что-то общее со старинной мебелью, такое же оцѣпенѣлое и скучное.

Дождя уже не было слышно. Петръ Михайлычъ ѣлъ зем-  
линику, а Власичъ и Зина смотрѣли на него молча. Приближа-  
лось время ненужнаго, но неизбежнаго разговора, и всѣ трое  
уже чувствовали его тяжесть. У Петра Михайлыча глаза  
опять наполнились слезами; онъ отодвинулъ отъ себя тарелку и  
сказалъ, что ему пора уже ѣхать домой, а то будетъ поздно  
и, пожалуй, опять пойдетъ дождь. Настала минута, когда  
Зина изъ приличія должна была заговорить о домашнихъ  
и о своей новой жизни.

— Что у насъ? — спросила она быстро, и ея блѣдно  
лицо задрожало. — Что мама?

— Ты маму знаешь.. — отвѣтилъ Петръ Михайлычъ,  
не глядя на нее.

— Петруша, ты долго думалъ о томъ, что произошло, —  
проговорила она, взявши брата за рукавъ, и онъ понялъ,  
какъ ей тяжело говорить. — Ты долго думалъ; скажи мнѣ,  
можно ли рассчитывать, что мама когда-нибудь примирится  
съ Григоріемъ... и вообще съ этимъ положеніемъ?

Она стояла близко къ брату, лицомъ къ лицу, и онъ изу-  
мился, что она такъ красива, и что раньше онъ точно не  
замѣчалъ этого; и то, что его сестра, похожая лицомъ на  
мать, изнѣженная, изящная, жила у Власича и съ Власи-  
чемъ, около оцѣпенѣлой горничной, около стола на шести но-  
гахъ, въ домѣ, гдѣ засѣли живого человѣка, что она сей-  
часъ не поѣдетъ съ нимъ домой, а останется тутъ ноч-  
вать, — это показалось ему невѣроятнымъ абсурдомъ.

— Ты маму знаешь... — сказалъ онъ, не отвѣчая на  
вопросъ. — По-моему, слѣдовало бы соблюсти... что-нибудь  
сдѣлать, попросить у нея прощенія, что ли...

— Но просить прощенія — значитъ дѣлать видъ, что мы  
поступили дурно. Для успокоенія мамы я готова солгать,  
но вѣдь это ни къ чему не поведетъ. Я знаю маму. Ну,  
что будетъ, то будетъ! — сказала Зина, повеселѣвшая оттого,

что самое неприятное было уже сказано.— Подождемъ пять, десять лѣтъ, потерпимъ, а тамъ что Богъ дастъ.

Она взяла брата подъ руку и, когда проходила черезъ темную переднюю, прижалась къ его плечу.

Вышли на крыльцо. Петръ Михайлычъ простился, сѣлъ на лошадь и поѣхалъ шагомъ; Зина и Власичъ пошли проводить его немного. Было тихо, тепло и чудесно пахло сѣномъ; на небѣ межъ облаковъ ярко горѣли звѣзды. Старый садъ Власича, видѣвшій на своемъ вѣку столько печальныхъ исторій, спать, окутавшись въ потемки, и почему-то было грустно проѣзжать черезъ него.

— А мы съ Зиной сегодня послѣ обѣда провели нѣсколько воистину свѣтлыхъ минутъ! — сказалъ Власичъ. — Я прочелъ ей вслухъ превосходную статью по переселенческому вопросу. Прочти, братъ! Тебѣ это необходимо! Статья замѣчательная по честности. Я не выдержалъ и написалъ въ редакцію письмо для передачи автору. Написалъ только одну строчку: «Благодарю и крѣпко жму честную руку!»

Петръ Михайлычъ хотѣлъ сказать: «Не впутывайся ты, пожалуйста, не въ свои дѣла!» — но промолчалъ.

Власичъ шель у праваго стремена, а Зина у лѣваго; оба какъ будто забыли, что нужно возвращаться домой, а было сыро и уже немного оставалось до рожи Колтовича. Петръ Михайлычъ чувствовалъ, что они ждуть отъ него чего-то, хотя сами не знаютъ чего, и ему стало невыносимо жалъ ихъ. Теперь, когда они, съ покорнымъ видомъ и задумавшись, шли около лошади, онъ былъ глубоко убѣжденъ, что они несчастны и не могутъ быть счастливы, и ихъ любовь казалась ему печальною, непоправимою ошибкой. Отъ жалости и сознанія, что онъ ничѣмъ не можетъ помочь, имъ овладѣло то состояніе душевнаго расслабленія, когда онъ, чтобы избавиться отъ тяжелаго чувства состраданія, готовъ бывалъ на всякія жертвы.

— Я къ вамъ буду ѣздить ночевать,—сказаль онъ.

Но это походило на то, какъ будто онъ дѣлаль уступку, и не удовлетворило его. Когда остановились около рощи Колтовича, чтобы проститься, онъ нагнулся къ Зинѣ, дотронулся до ея плеча и сказалъ:

— Ты, Зина, права. Ты хорошо поступила!

И, чтобы не сказать больше и не расплакаться, онъ ударить по лошади и поскакаль въ рощу. Въѣзжая въ потемки, онъ оглянулся и увидѣль, какъ Власичъ и Зина шли домой по дорогѣ,—онъ широко шагал, а она рядомъ съ нимъ торопливою подпрыгивающей походкой,—и о чемъ-то оживленно разговаривали.

«Я — старая баба, — подумаль Петръ Михайлычъ. — Ъхаль затѣмъ, чтобы рѣшить вопросъ, но еще больше запуталь его. Ну, да Богъ съ нимъ!»

На душѣ у него было тяжело. Когда кончилась роща, онъ поѣхаль шагомъ и потомъ около пруда остановиль лошадь. Хотѣлось сидѣть неподвижно и думать. Восходиль мѣсяцъ и краснымъ столбомъ отражался на другой сторонѣ пруда. Гдѣ-то глухо погромыхиваль громъ. Петръ Михайлычъ не мигаль смотрѣль на воду и воображалъ отчаяніе сестры, ея страдальческую блѣдность и сухіе глаза, съ какими она будетъ скрывать отъ людей свое униженіе. Онъ вообразиль себѣ ея беременность, смерть матери, ея роны, ужась Зины... Гордая суевѣрная старуха кончить не иначе, какъ смертью. Страшныя картины будущаго рисовались передъ нимъ на темной гладкой водѣ, и среди блѣдныхъ женскихъ фигуръ онъ видѣль самого себя, малодушнаго, слабаго, съ виноватымъ лицомъ...

Въ ста шагахъ на правомъ берегу пруда стояло неподвижно что-то темное: человекъ это или высокій пень? Петръ Михайлычъ вспомнилъ про бурсака, котораго убили и бросили въ этотъ прудъ

«Оливьеръ поступиль безчеловѣчно, но вѣдь такъ или

иначе онъ рѣшилъ вопросъ, а я вотъ ничего не рѣшилъ, а только напуталъ, — подумалъ онъ, вглядываясь въ темную фигуру, похожую на привидѣнiе. — Онъ говорилъ и дѣлалъ то, что думалъ, а я говорю и дѣлаю не то, что думаю; да и не знаю навѣрное, что собственно я думаю...»

Онъ подѣхалъ къ темной фигурѣ: это былъ старый гнiющій столбъ, уцѣлѣвшiй отъ какой-то постройки.

Изъ роши и усадьбы Колтовича сильно потянуло ландышами и медовыми травами. Петръ Михайлычъ ѣхалъ по берегу пруда и печально глядѣлъ на воду и, вспоминая свою жизнь, убѣждался, что до сихъ поръ говорилъ онъ и дѣлалъ не то, что думалъ, и люди платили ему тѣмъ же, и оттого вся жизнь представлялась ему теперь такую же темной, какъ эта вода, въ которой отражалось ночное небо и перепутались водоросли. И казалось ему, что этого нельзя поправить.

# ТРИ ГОДА.

## I.

Было еще темно, но кое-гдѣ въ домахъ уже засвѣтились огни и въ концѣ улицы изъ-за казармы стала подниматься блѣдная луна. Лаптевъ сидѣлъ у воротъ на лавочкѣ и ждалъ, когда кончится всеобщая въ церкви Петра и Павла. Онъ рассчитывалъ, что Юлія Сергѣевна, возвращаясь отъ всеобщей, будетъ проходить мимо, и тогда онъ заговоритъ съ ней и, быть-можетъ, проведетъ съ ней весь вечеръ.

Онъ сидѣлъ уже часа полтора, и воображеніе его въ это время рисовало московскую квартиру, московскихъ друзей, лакея Петра, письменный столъ; онъ съ недоумѣніемъ по-сматривалъ на темныя, неподвижныя деревья, и ему казалось страннымъ, что онъ живетъ теперь не на дачѣ въ Сокольникахъ, а въ провинціальномъ городѣ, въ домѣ, мимо котораго каждое утро и вечеръ прогоняютъ большое стадо и при этомъ поднимаютъ страшныя облака пыли и играютъ на рожкѣ. Онъ вспоминалъ длинныя московскіе разговоры, въ которыхъ самъ принималъ участіе еще такъ недавно, — разговоры о томъ, что безъ любви жить можно, что страстная любовь есть психозъ, что, наконецъ, нѣтъ никакой любви,



а есть только физическое влеченіе половъ—и все въ такомъ родѣ; онъ вспоминалъ и думалъ съ грустью, что если бы теперь его спросили, что такое любовь, то онъ не нашелся бы, что отвѣтить.

Всенощная отошла, показался народъ. Лаптевъ съ напряженіемъ всматривался въ темныя фигуры. Уже провезли архіерея въ каретѣ, уже перестали звонить, и на колокольнѣ одинъ за другимъ погасли красные и зеленые огни,—это была иллюминація по случаю храмового праздника,—а народъ все шель, не торопясь, разговаривая, останавливаясь подь окнами. Но вотъ, наконецъ, Лаптевъ услышалъ знакомый голосъ, сердце его сильно забилось, и оттого, что Юлія Сергѣевна была не одна, а съ какими-то двумя дамами, имъ овладѣло отчаяніе.

«Это ужасно, ужасно! — шепталъ онъ, ревнуя ее. — Это ужасно!»

На углу, при поворотѣ въ переулокъ, она остановилась, чтобы проститься съ дамами, и въ это время взглянула на Лаптева.

— А я къ вамъ, — сказалъ онъ. — Иду потолковать съ вашимъ батюшкой. Онъ дома?

— Вѣроятно, — отвѣтила она. — Въ клубъ ему еще рано.

Переулокъ былъ весь въ садахъ и у заборовъ росли липы, бросавшія теперь при лунѣ широкую тѣнь, такъ что заборы и ворота на одной сторонѣ совершенно утопали въ потемкахъ; слышался оттуда шопоть женскихъ голосовъ, сдержанный смѣхъ и кто-то тихо-тихо игралъ на балалайкѣ. Пахло липой и сѣномъ. Шопоть невидимокъ и этотъ запахъ раздражали Лаптева. Ему вдругъ страстно захотѣлось обнять свою спутницу, осыпать поцѣлуями ея лицо, руки, плечи, зарыдать, упасть къ ея ногамъ, рассказать, какъ онъ долго ждалъ ее. Отъ нея шель легкій, едва уловимый запахъ ладана, и это напомнило ему время, когда онъ тоже вѣровалъ въ Бога и ходилъ ко всенощной, и

когда мечталъ много о чистой, поэтической любви. И оттого, что эта дѣвушка не любила его, ему теперь казалось, что возможность того счастья, о которомъ онъ мечталъ тогда, для него утеряна навсегда.

Она съ участіемъ заговорила о здоровьѣ его сестры Нины Федоровны. Мѣсяца два назадъ у его сестры вырѣзали ракъ и теперь всѣ ждали возврата болѣзни.

— Я была у нея сегодня утромъ, — сказала Юлія Сергѣевна, — и мнѣ показалось, что за эту недѣлю она не то, чтобы похудѣла, а поблекла.

— Да, да, — согласился Лаптевъ. — Рецидива нѣтъ, но съ каждымъ днемъ, я замѣчаю, она становится все слабѣе и слабѣе и таетъ на моихъ глазахъ. Не пойму, что съ ней.

— Господи, а вѣдь какая она была здоровая, полная, краснощекая! — проговорила Юлія Сергѣевна послѣ минутнаго молчанія. — Ее здѣсь всѣ такъ и звали московкой. Какъ хотела! Она на праздникахъ наряжалась простою бабой, и это очень шло къ ней.

Докторъ Сергѣй Борисычъ былъ дома; полный, красный, въ длинномъ ниже колѣнъ сюртукѣ и, какъ казалось, коротконогій, онъ ходилъ у себя въ кабинетъ, изъ угла въ уголъ, засунувъ руки въ карманы, и напѣвалъ вполголоса: «Ру-ру-ру-ру». Съдые бакены у него были растрепаны, голова не причесана, какъ будто онъ только что всталъ съ постели. И кабинетъ его съ подушками на диванахъ, съ кипами старыхъ бумагъ по угламъ и съ большимъ грязнымъ пуделемъ подъ столомъ производилъ такое же растрепанное, шершавое впечатлѣніе, какъ онъ самъ.

— Тебя желаетъ видѣть м-сье Лаптевъ, — сказала ему дочь, входи въ кабинетъ.

— Ру-ру-ру-ру, — запѣлъ онъ громче и, повернувъ въ гостиную, подаль руку Лаптеву и спросилъ: — Что скажете хорошенькаго?

Было темно въ гостиной. Лаптевъ не садясь и держа

шляпу въ рукахъ, сталъ извиняться за беспокойство; онъ спросилъ, что дѣлать, чтобы сестра спала по ночамъ, и отчего она такъ страшно худѣетъ; и его смущала мысль, что, кажется, эти самые вопросы онъ уже задавалъ доктору сегодня во время его утренняго визита.

— Скажите, — спросилъ онъ, — не пригласить ли намъ изъ Москвы какого-нибудь специалиста по внутреннимъ болѣзнямъ? Какъ вы думаете?

Докторъ вздохнулъ, пожалъ плечами и сдѣлалъ объѣми руками неопредѣленный жестъ.

Было очевидно, что онъ обидѣлся. Это былъ чрезвычайно обидчивый, мнительный докторъ, которому всегда казалось, что ему не вѣрятъ, что его не признаютъ и недостаточно уважаютъ, что публика эксплуатируетъ его, а товарищи относятся къ нему съ недоброжелательствомъ. Онъ все смѣялся надъ собой, говорилъ, что такіе дураки, какъ онъ, созданы только для того, чтобы публика ѣздила на нихъ верхомъ.

Юлія Сергѣевна зажгла лампу. Она утомилась въ церкви, и это было замѣтно по ея блѣдному, томному лицу, по вялой походкѣ. Ей хотѣлось отдохнуть. Она сѣла на диванъ, положила руки на колѣни и задумалась. Лаптевъ зналъ, что онъ некрасивъ, и теперь ему казалось, что онъ даже ощущаетъ на тѣлѣ эту свою некрасоту. Онъ былъ невысокъ ростомъ, худъ, съ румянцемъ на щекахъ, и волосы у него уже сильно порѣдѣли, такъ что зябла голова. Въ выраженіи его вовсе не было той изящной простоты, которая даже грубые, некрасивыя лица дѣлаетъ симпатичными; въ обществѣ женщинъ былъ неловокъ, излишне разговорчивъ, манеренъ. И теперь онъ почти презиралъ себя за это. Чтобы Юлія Сергѣевна не скучала въ его обществѣ, нужно было говорить. Но о чемъ? Опять о болѣзни сестры?

И онъ сталъ говорить о медицинѣ то, что о ней обыкновенно говорятъ, похвалилъ гигиену и сказалъ, что ему давно

хочется устроить въ Москвѣ ночлежный домъ, и что у него даже уже есть смѣта. По его плану рабочій, приходя вечеромъ въ ночлежный домъ, за пять-шесть копеекъ долженъ получать порцію горячихъ щей съ хлѣбомъ, теплую, сухую постель съ одѣяломъ и мѣсто для просушки платья и обуви.

Юлія Сергѣевна обыкновенно молчала въ его присутствіи, и онъ страннымъ образомъ, быть-можетъ, чутьемъ влюбленнаго, угадывалъ ея мысли и намѣренія. И теперь онъ сообразилъ, что если она послѣ всенощной не пошла къ себѣ переодѣваться и пить чай, то, значить, пойдетъ сегодня вечеромъ еще куда-нибудь въ гости.

— Но я не тороплюсь съ ночлежнымъ домомъ,—продолжалъ онъ уже съ раздраженіемъ и досадой, обращаясь къ доктору, который глядѣлъ на него какъ-то тускло и съ недоумѣніемъ, очевидно не понимая, зачѣмъ это ему понадобилось поднимать разговоръ о медицинѣ и гигиенѣ. — И, должно-быть, не скоро еще я воспользуюсь нашею смѣтой. Я боюсь, что нашъ ночлежный домъ попадетъ въ руки нашихъ московскихъ святошъ и барынь-филантропокъ, которые губятъ всякое начинаніе.

Юлія Сергѣевна поднялась и протянула Лаптеву руку.

— Виновата, — сказала она, — мнѣ пора. Поклонитесь вашей сестрѣ, пожалуйста.

— Ру-ру-ру-ру,—запѣлъ докторъ.—Ру-ру-ру-ру.

Юлія Сергѣевна вышла, и Лаптевъ немного погодя простился съ докторомъ и пошелъ домой. Когда человекъ неудовлетворенъ и чувствуетъ себя несчастнымъ, то какою пошлостью вѣетъ на него отъ этихъ липъ, тѣней, облаковъ, отъ всѣхъ этихъ красотъ природы, самодовольныхъ и равнодушныхъ! Луна стояла уже высоко, и подъ нею быстро бѣжали облака. «По какая наивная, провинціальная луна, какія тощія, жалкія облака!» — думалъ Лаптевъ. Ему было стыдно, что онъ только что говорилъ

о медицинѣ и о ночлежномъ дѣлѣ, онъ ужасался, что и завтра у него не хватитъ характера, и онъ опять будетъ пытаться увидѣть ее и говорить съ ней, и еще разъ убѣдится, что онъ для нея чужой. Послѣ-завтра—опять то же самое. Для чего? И когда и чѣмъ все это кончится?

Дома онъ пошелъ къ сестрѣ. Нина Федоровна была еще крѣпка на видъ и производила впечатлѣніе хорошо сложенной, сильной женщины, но рѣзкая блѣдность дѣлала ее похожей на мертвую, особенно когда она, какъ теперь, лежала на спинѣ, съ закрытыми глазами; возлѣ нея сидѣла ее старшая дочь, Саша, десяти лѣтъ, и читала ей что-то изъ своей хрестоматіи.

— Алеша пришелъ,—проговорила больная тихо, про себя.

Между Сашей и дядей давно уже установилось молчаливое соглашеніе: они смѣялись другъ друга. Теперь Саша закрыла свою хрестоматію и, не сказавъ ни слова, тихо вышла изъ комнаты; Лаптевъ взялъ съ комода историческій романъ и, отыскавъ страницу, какую нужно, сѣлъ и сталь читать вслухъ.

Нина Федоровна была московская уроженка. Дѣтство и юность ея и двухъ братьевъ прошли на Пятницкой улицѣ, въ родной купеческой семьѣ. Дѣтство было длинное, скучное; отецъ обходился сурово, и даже раза три наказывалъ ее розгами, а мать чѣмъ-то долго болѣла и умерла; прислуга была грязная, грубая, лицемѣрная; часто приходили въ домъ поны и монахи, тоже грубые и лицемѣрные; они пили и закусывали и грубо льстили ея отцу, котораго не любили. Мальчикамъ повсчастливилось поступить въ гимназію, а Нина такъ и осталась неученою, всю жизнь писала каракулями и читала одни только историческіе романы. Лѣтъ 17 назадъ, когда ей было 22 года, она на дачѣ въ Химкахъ познакомилась съ теперешнимъ своимъ мужемъ Панауровымъ, помѣщикомъ, влюбилась и вышла за него замужъ противъ воли отца, тайно. Панауровъ, красивый,

немножко наглый, закуривающій изъ лампадки и посвистывающій, казался ея отцу совершеннымъ ничтожествомъ и, когда потомъ зять въ своихъ письмахъ сталъ требовать приданого, старикъ написалъ дочери, что посылаетъ ей въ деревню шубы, серебро и разныя вещи, оставшіяся послѣ матери, и 30 тысячъ деньгами, но безъ родительскаго благословенія; потомъ прислалъ еще 20 тысячъ. Деньги эти и приданое были прожиты, имѣніе продано, и Панауровъ переселился съ семьей въ городъ и поступилъ на службу въ губернскае правленіе. Въ городѣ онъ завелъ себѣ другую семью, и это вызывало каждый день много разговоровъ, такъ какъ незаконная семья его жила открыто.

Нина Ѳедоровна обожала своего мужа. И теперь, слушая историческій романъ, она думала о томъ, какъ она много пережила, сколько выстрадала за все время, и что если бы кто-нибудь описалъ ея жизнь, то вышло бы очень жалостно. Такъ какъ опухоль у нея была въ груди, то она была увѣрена, что и болѣсть она отъ любви, отъ семейной жизни, и что въ постель ее уложили ревность и слезы.

Но вотъ Алексѣй Ѳедорычъ закрылъ книгу и сказалъ:

— Конецъ и Богу слава. Завтра другой начнемъ.

Нина Ѳедоровна засмѣялась. Она всегда была смѣшлива, но теперь Лаштевъ сталъ замѣчать, что у нея отъ болѣзни минутами какъ будто ослабѣвалъ разсудокъ, и она смѣялась отъ малѣйшаго пустяка и даже безъ причины.

— Безъ тебя тутъ до обѣда приходила Юлія, — сказала она. — Какъ я поглядѣла, она не очень-то вѣритъ своему папаншѣ. Пусть, говорить, васъ лечитъ мой папа, но вы все-таки потихоньку напишите святому старцу, чтобы онъ за васъ помолился. Тутъ у нихъ завелся старецъ какой-то. Юличка у меня зонтикъ свой забыла, ты ей пошли завтра, — продолжала она, помолчавъ немного. — Нѣтъ, ужъ когда конецъ, то не помогутъ ни доктора, ни старцы.

— Нина, отчего ты по ночамъ не спишь? — спросилъ Лаптевъ, чтобы переимѣнить разговоръ.

— Да такъ. Не сплю, вотъ и все. Лежу себѣ и думаю.

— О чемъ же ты думаешь, милая?

— О дѣтяхъ, о тебѣ... о своей жизни. Я вѣдь, Алеша, много пережила. Какъ начнешь вспоминать, какъ начнешь... Господи Боже мой!—Она засмѣялась.—Шутка ли пять разъ рожала, троихъ похоронила... Бывало, собираешься родить, а мой Григорій Николаичъ въ это время у другой сидитъ, послать за акушеркой или за бабкой некого, пойдешь въ сѣни или въ кухню за прислугой, а тамъ жида, лавочники, ростовщики—ждутъ, когда онъ домой вернется. Голова, бывало, кружится... Онъ не любилъ меня, хоть и не высказывалъ этого. Теперь-то я угомонилась, отлегло отъ сердца, а прежде, когда помоложе была, обидно было,—обидно, ахъ, какъ обидно, голубчикъ! Разъ,—это еще въ деревнѣ было,—застала я его въ саду съ одною дамою, и ушла я... ушла, куда глаза мои глядятъ, и не знаю, какъ очутилась на паперти, упала на колѣни: «Царица, говорю, небесная!» А на дворѣ ночь, мѣсяцъ свѣтитъ...

Она утомилась, стала задыхаться; потомъ, отдохнувши немного, взяла брата за руку и продолжала слабымъ, беззвучнымъ голосомъ:

— Какой ты, Алеша, добрый... Какой ты умный... Какой изъ тебя хорошій человекъ вышелъ!

Въ полночь Лаптевъ простился съ нею и, уходя, взялъ съ собою зонтикъ, забытый Юліей Сергѣевной. Несмотря на позднее время, въ столовой прислуга, мужская и женская, пила чай. Какой безпорядокъ! Дѣти не спали и находились тутъ же въ столовой. Говорили тихо, вполголоса, и не замѣчали, что лампа хмурится и скоро погаснетъ. Всѣ эти большіе и маленькіе люди были обезпокоены цѣлымъ рядомъ неблагопріятныхъ примѣтъ и настроеніе было угнетенное: разбилось въ передней зеркало, самоваръ

гудѣлъ каждый день и, какъ нарочно, даже теперь гудѣлъ; рассказывали, что изъ ботинки Нины Федоровны, когда она одѣвалась, выскочила мышь. И страшное значеніе всѣхъ этихъ примѣтъ было уже извѣстно дѣтямъ; старшая дѣвочка, Саша, худенькая брюнетка, сидѣла за столомъ неподвижно, и лицо у нея было испуганное, скорбное, а младшая, Лида, семи лѣтъ, полная блондинка, стояла возлѣ сестры и смотрѣла на огонь исподлобья.

Лаптевъ спустился къ себѣ въ нижній этажъ, въ комнаты съ низкими потолками, гдѣ постоянно пахло геранью и было душно. Въ гостиной у него сидѣлъ Панауровъ, мужъ Нины Федоровны, и читалъ газету. Лаптевъ кивнулъ ему головой и сѣлъ противъ. Оба сидѣли и молчали. Случалось, что такъ молча они проводили цѣлыя вечера, и это молчаніе не стѣсняло ихъ.

Пришли сверху дѣвочки прощаться. Панауровъ молча, не спѣша, нѣсколько разъ перекрестилъ обѣихъ и далъ имъ поцѣловать свою руку, онѣ сдѣлали реверансъ, затѣмъ подошли къ Лаптеву, который тоже долженъ былъ крестить ихъ и давать имъ цѣловать свою руку. Эта церемонія съ поцѣлуями и реверансами повторялась каждый вечеръ.

Когда дѣвочки вышли, Панауровъ отложилъ въ сторону газету и сказалъ:

— Скучно въ нашемъ богоспасаемомъ городѣ! Признаюсь, дорогой мой, — добавилъ онъ со вздохомъ, — я очень радъ, что вы наконецъ нашли себѣ развлеченіе.

— Вы о чемъ это? — спросилъ Лаптевъ.

— Давеча я видѣлъ, какъ вы выходили изъ дома доктора Бѣлавина. Надѣюсь, вы ходили туда не ради папаша.

— Конечно, — сказалъ Лаптевъ и покраснѣлъ.

— Ну, конечно. А, кстати сказать, другого такого одра, какъ этотъ папаша, не сыскать днемъ съ огнемъ. Вы не можете себѣ представить, что это за пачистоплотная, без-



дарная и неуклюжая скотина! У васъ тамъ, въ столицѣ, до сихъ поръ еще интересуются провинціей только съ лирической стороны, такъ сказать, со стороны пейзажа и Антона Горемыки, но, клянусь вамъ, мой другъ, никакой лирики нѣтъ, а есть только дикость, подлость, мерзость — и больше ничего. Возьмите вы здѣшнихъ жрецовъ науки, здѣшнюю, такъ сказать, интеллигенцію. Можете ли себѣ представить, здѣсь въ городѣ 28 докторовъ, всѣ они нажили себѣ состоянія и живутъ въ собственныхъ домахъ, а населеніе между тѣмъ попрежнему находится въ самомъ безпомощномъ положеніи. Вотъ понадобилось сдѣлать Нинѣ операцію, въ сущности, пустую, а вѣдь для этого пришлось выписывать хирурга изъ Москвы, — здѣсь ни одинъ не взялся. Вы не можете себѣ представить. Ничего они не знаютъ, не понимаютъ, ничѣмъ не интересуются. Спросите-ка ихъ, напимѣръ, что такое ракъ? Что? Отчего онъ происходитъ?

И Панауровъ сталъ объяснять, что такое ракъ. Онъ былъ специалистомъ по всѣмъ наукамъ и объяснялъ научно все, о чемъ бы ни зашла рѣчь. Но объяснялъ онъ все какъ-то по-своему. У него была своя собственная теорія кровообращенія, своя химія, своя астрономія. Говорилъ онъ медленно, мягко, убѣдительно и слова «вы не можете себѣ представить» произносилъ умоляющимъ голосомъ, щурилъ глаза, томно вздыхать и улыбался милостиво, какъ король, и видно было, что онъ очень доволенъ собой и совсѣмъ не думаетъ о томъ, что ему уже 50 лѣтъ.

— Мнѣ что-то ѣсть захотѣлось, — сказать Лаптевъ. — Я съ удовольствіемъ поѣлъ бы чего-нибудь соленого.

— Ну, что жъ? Это можно сейчасъ устроить.

Немного погодя Лаптевъ и его зять сидѣли наверху въ столовой и ужинали. Лаптевъ выпилъ рюмку водки и потомъ сталъ пить вино, Панауровъ же ничего не пилъ. Онъ никогда не пилъ и не игралъ въ карты и, несмотря на это,

все-таки прожил свое и женино состояніе и надѣлалъ много долговъ. Чтобы прожить такъ много въ такое короткое время, нужно имѣть не страсти, а что-то другое, какой-то особый талантъ. Панауровъ любилъ вкусно поѣсть, любилъ хорошую сервировку, музыку за обѣдомъ, спичи, поклонны лакеевъ, которымъ небрежно бросалъ на чай по десяти и даже по двадцати пяти рублей; онъ участвовалъ всегда во всѣхъ подпискахъ и лотереяхъ, посылалъ знакомымъ именинницамъ букеты, покупалъ чашки, подстаканники, запонки, галстуки, трости, духи, мундштуки, трубки, собачекъ, попугаевъ, японскія вещи, древности; ночныя сорочки у него были шелковыя, кровать изъ чернаго дерева съ перламутромъ, халатъ настоящій бухарскій и т. п., и на все это ежедневно уходило, какъ самъ онъ выражался, «прорва» денегъ.

За ужиномъ онъ все вздыхалъ и покачивалъ головой.

— Да, все на этомъ свѣтѣ имѣетъ конецъ, — тихо говорилъ онъ, щури свои темные глаза. — Вы влюбитесь и будете страдать, разлюбите, будутъ вамъ измѣнять, потому что нѣтъ женщины, которая бы не измѣняла, вы будете страдать, приходите въ отчаяніе и сами будете измѣнять. Но настанетъ время, когда все это станетъ уже воспоминаніемъ и вы будете холодно разсуждать и считать это совершенными пустяками...

А Лаптевъ, усталый, слегка пьяный, смотрѣлъ на его красивую голову, на черную, подстриженную бородку, и, казалось, понималъ, почему это женщины такъ любятъ этого избалованнаго, самоувѣреннаго и физически обаятельнаго человѣка.

Послѣ ужина Панауровъ не остался дома, а пошелъ къ себѣ на другую квартиру. Лаптевъ вышелъ проводить его. Во всемъ городѣ только одинъ Панауровъ носилъ цилиндръ, и около сѣрыхъ заборовъ, жалкихъ трехъкоконныхъ домиковъ и кустовъ краивы его изящная, щегольская фи-

гура, его цилиндръ и оранжевыя перчатки производили всякій разъ и странное, и грустное впечатлѣніе.

Простившись съ нимъ, Лаптевъ возвращался къ себѣ не спѣша. Луна свѣтила ярко, можно было разглядѣть на землѣ каждую соломинку, и Лаптеву казалось, будто лунный свѣтъ ласкаетъ его непокрытую голову, точно кто пухо́мъ проводитъ по волосамъ.

— Я люблю!—произнесъ онъ вслухъ, и ему захотѣлось вдругъ бѣжать, догнать Панаурова, обнять его, простить, подарить ему много денегъ, и потомъ бѣжать куда-нибудь въ поле, въ рощу, и все бѣжать безъ оглядки.

Дома онъ увидѣлъ на стулѣ зонтикъ, забытый Юліей Сергѣевной, схватилъ его и жадно поцѣловалъ. Зонтикъ былъ шелковый, уже не новый, перехваченный старою резинкой: ручка была изъ простой, бѣлой кости, дешевая. Лаптевъ раскрылъ его надъ собой, и ему казалось, что около него даже пахнетъ счастьемъ.

Онъ сѣлъ поудобнѣе и, не выпуская изъ рукъ зонтика, сталъ писать въ Москву, къ одному изъ своихъ друзей:

«Милый, дорогой Костя, вотъ вамъ новость: я опять люблю! Говорю *опять* потому, что лѣтъ шесть назадъ я былъ влюбленъ въ одну московскую актрису, съ которой мнѣ не удалось даже познакомиться, и въ послѣдніе полтора года жилъ съ извѣстною вамъ «особой», — женщиной немолодой и некрасивой. Ахъ, голубчикъ, какъ вообще мнѣ не везло въ любви! Я никогда не имѣлъ успѣха у женщинъ, а если говорю *опять*, то потому только, что какъ-то грустно и обидно сознаваться передъ самимъ собой, что молодость моя прошла вовсе безъ любви и что настоящимъ образомъ я люблю впервые только теперь, въ 34 года. Пусть будетъ *опять* люблю.

«Если бы вы знали, что это за дѣвушка! Красавицей ее назвать нельзя, — у нея широкое лицо, она очень худа,

но зато какое чудесное выражение доброты, какъ улыбается! Голосъ ея, когда она говоритъ, поетъ и звенитъ. Она со мной никогда не вступаетъ въ разговоръ, я не знаю, ея, но когда я бываю возлѣ, то чувствую въ ней рѣдкое, необыкновенное существо, проникнутое умомъ и высокими стремлениями. Она религіозна и вы не можете себѣ представить, до какой степени это трогаетъ меня и возвышаетъ ее въ моихъ глазахъ. По этому пункту я готовъ спорить съ вами безъ конца. Вы правы, пусть будетъ по вашему, но все же я люблю, когда она въ церкви молится. Она провинціалка, но она училась въ Москвѣ, любитъ нашу Москву, одѣвается по-московски и за это я люблю ее, люблю, люблю... Я вижу какъ вы хмуритесь и встаете, чтобы прочесть мнѣ длинную лекцію о томъ, что такое любовь, и кого можно любить, а кого нельзя и пр., и пр. Но, милый Костя, пока я не любилъ, я самъ тоже отлично зналъ, что такое любовь.

«Моя сестра благодаритъ васъ за поклонъ. Она часто вспоминаетъ, какъ когда-то возила Костю Кочегого отдавать въ приготовительный классъ, и до сихъ поръ еще называетъ васъ *бѣдный*, такъ какъ у нея сохранилось воспоминаніе о васъ, какъ о сиротѣ-мальчикѣ. И такъ, бѣдный сирота, я люблю. Пока это секретъ, ничего не говорите *тамъ* извѣстной вамъ «особѣ». Это, я думаю, само собою уладится, или, какъ говорить лакей у Толстого, *образуется...*»

Кончивъ письмо, Лаптевъ легъ въ постель. Отъ усталости сами закрывались глаза, но почему-то не спалось; казалось, что мѣшаетъ уличный шумъ. Стадо прогнало мимо и играли на рожкѣ, потомъ вскорѣ зазвонили къ ранней обѣдѣ. То тельга проѣдетъ со скрипомъ, то раздастся голосъ какой-нибудь бабы, идущей на рынокъ. И воробьи чирикали все время.

II.

Утро было веселое, праздничное. Часовъ въ десять Нину Ѳедоровну, одѣтую въ коричневое платье, причесанную, вывели подъ руки въ гостиную, и здѣсь она прошла немного и постояла у открытаго окна, и улыбка у нея была широкая, наивная, и при взглядѣ на нее вспоминался одинъ мѣстный художникъ, пьяный человѣкъ, который называлъ ея лицо ликомъ и хотѣлъ писать съ нея русскую масляницу. И у всѣхъ, — у дѣтей, у прислуги и даже у брата Алексѣя Ѳедорыча, и у нея самой, — явилась вдругъ увѣренность, что она непременно выздоровѣетъ. Дѣвочки съ визгивымъ смѣхомъ гонялись за дядей, ловили его, и въ домѣ стало шумно.

Приходили чужіе справиться насчетъ ея здоровья, приносили просфоры, говорили, что за нее сегодня почти во всѣхъ церквахъ служили молебны. Она въ своемъ городѣ была благотворительницей, ее любили. Благотворила она съ необыкновенною легкостью, такъ же, какъ братъ Алексѣй, который раздавалъ деньги очень легко, не соображая, нужно дать или нѣтъ. Нина Ѳедоровна платила за бѣдныхъ учениковъ, раздавала старухамъ чай, сахаръ, варенье, наряжала небогатыхъ невѣстъ и если ей въ руки попадала газета, то она прежде всего искала, нѣтъ ли какого-нибудь воззванія или замѣтки о чьемъ-нибудь бѣдственномъ положеніи.

Теперь у нея въ рукахъ была пачка записокъ, по которымъ разные бѣдняки, ея просители, забирали товаръ въ бакалейной лавкѣ, и которые наканунѣ прислали ей купецъ съ просьбой уплатить 82 рубли.

— Ишь ты, сколько набрали, безсовѣстные! — говорила она, едва разбирая на запискахъ свой некрасивый почеркъ. — Шутка ли? Восемьдесятъ два! Возьму вотъ и не отдамъ.

— Я сегодня заплачу, — сказалъ Лаптевъ.

— Зачѣмъ это, зачѣмъ? — встревожилась Нина Федоровна. — Довольно и того, что я каждый мѣсяць по 250 получаю отъ тебя и брата. Спаси васъ Господи, — добавила она тихо, чтобы не слышала прислуга.

— Ну, а я въ мѣсяць двѣ тысячи пятьсотъ проживаю, — сказалъ онъ. — Я тебѣ еще разъ повторяю, милая: ты имѣешь такое же право тратить, какъ я и Федоръ. Пойми это разъ навсегда. Насъ у отца трое и изъ каждаыхъ трехъ копеекъ одна принадлежитъ тебѣ.

Но Нина Федоровна не понимала и выраженіе у нея было такое, какъ будто она мысленно рѣшала какую-то очень трудную задачу. И эта непонятливость въ денежныхъ дѣлахъ всякій разъ безпокоила и смущала Лаптева. Онъ подозрѣвалъ, кромѣ того, что у нея лично есть долги, о которыхъ она стѣсняется сказать ему и которые заставляютъ ее страдать.

Послышались шаги и тяжелое дыханіе: это вверхъ по лѣстницѣ поднимался докторъ, по обыкновенію, растрепанный и нечесанный.

— Ру-ру-ру, — напѣвалъ онъ. — Ру-ру.

Чтобы не встрѣчаться съ нимъ, Лаптевъ вышелъ въ столовую, потомъ спустился къ себѣ внизъ. Для него было ясно, что сойтись съ докторомъ покороче и бывать въ его домѣ запросто — дѣло невозможное; и встрѣчаться съ этимъ «одромъ», какъ называлъ его Панауровъ, было неприятно. И оттого онъ такъ рѣдко видѣлся съ Юліей Сергѣевной. Онъ сообразилъ теперь, что отца нѣтъ дома, что если понесетъ теперь Юліи Сергѣевнѣ ея зонтикъ, то навѣрное онъ застанетъ дома ее одну, и сердце у него сжалось отъ радости. Скорѣй, скорѣй!

Онъ взялъ зонтикъ и, сильно волнуясь, полетѣлъ на крыльяхъ любви. На улицѣ было жарко. У доктора, въ громадномъ дворѣ, поросшемъ бурьяномъ и крапивой, десятка два мальчиковъ играли въ мячъ. Все это были дѣти

жильцовъ, мастеровыхъ, жившихъ въ трехъ старыхъ, неприглядныхъ флигеляхъ, которые докторъ каждый годъ собирался ремонтировать и все откладывалъ. Раздавались звонкіе, здоровые голоса. Далеко въ сторонѣ, около своего крыльца, стояла Юлія Сергѣевна, заложивъ руки назадъ, и смотрѣла на игру.

— Здравствуйте!—окликнулъ Лаптевъ.

Она оглянулась. Обыкновенно онъ видѣлъ ее равнодушною, холодною, или, какъ вчера, усталою, теперь же выраженіе у нея было живое и рѣзвое, какъ у мальчиковъ, которые играли въ мячъ.

— Посмотрите, въ Москвѣ никогда не играютъ такъ весело,—говорила она, идя къ нему навстрѣчу.—Впрочемъ, вѣдь тамъ нѣтъ такихъ большихъ дворовъ, бѣгать тамъ негдѣ. А папа только-что пошелъ къ вамъ,—добавила она, оглядываясь на дѣтей.

— Я знаю, но я не къ нему, а къ вамъ,—сказалъ Лаптевъ, любуясь ея молодостью, которой не замѣчалъ раньше и которую какъ будто лишь сегодня открылъ въ ней; ему казалось, что ея тонкую бѣлую шею съ золотою цѣпочкой онъ видѣлъ теперь только въ первый разъ.—Я къ вамъ...—повторилъ онъ.—Сестра вотъ прислала зонтикъ, вы вчера забыли.

Она протянула руку, чтобы взять зонтикъ, но онъ прижалъ его къ груди и проговорилъ страстно, неудержимо, отдаваясь опять сладкому восторгу, какой онъ испыталъ вчера ночью, сидя подъ зонтикомъ:

— Прошу васъ, подарите мнѣ его. Я сохранию на память о васъ... о нашемъ знакомствѣ. Онъ такой чудесный!

— Возьмите,—сказала она и покраснѣла.—Но чудеснаго ничего въ немъ нѣтъ.

Онъ смотрѣлъ на нее съ упоеніемъ, молча и не зная, что сказать.

— Что же это я держу васъ на жарѣ? — сказала она послѣ нѣкотораго молчанія и размѣялась. — Пойдемте въ комнаты.

— А я васъ не обезпокою?

Вошли въ сѣни. Юлія Сергѣевна побѣжала наверхъ, шумя своимъ платьемъ, бѣлымъ, съ голубыми цвѣточками.

— Меня нельзя обезпокоить, — отвѣтила она, останавливаясь на лѣстницѣ, — я вѣдь никогда ничего не дѣлаю. У меня праздникъ каждый день, отъ утра до вечера.

— Для меня то, что вы говорите, непонятно, — сказалъ онъ, подходя къ ней. — Я выросъ въ средѣ, гдѣ трудятся каждый день, всѣ безъ исключенія, и мужчины и женщины.

— А если нечего дѣлать? — спросила она.

— Надо поставить свою жизнь въ такія условія, чтобы трудъ былъ необходимъ. Безъ труда не можетъ быть чистой и радостной жизни.

Онъ опять прижалъ къ груди зонтикъ и сказалъ тихо, неожиданно для самого себя, не узнавая своего голоса:

— Если бы вы согласились быть моею женой, я бы все отдалъ. Я бы все отдалъ... Нѣтъ цѣны, нѣтъ жертвы, на какую бы я ни пошелъ.

Она вздрогнула и посмотрѣла на него съ удивленіемъ и страхомъ.

— Что вы, что вы! — проговорила она, блѣднѣя. — Это невозможно, увѣрю васъ. Извините.

Затѣмъ быстро, все такъ же шумя платьемъ, пошла выше и скрылась въ дверяхъ.

Лаштевъ понялъ, что это значитъ, и настроеніе у него перемѣнилось сразу, рѣзко, какъ будто въ душѣ внезапно погасъ свѣтъ. Испытывая стыдъ, униженіе человѣка, которымъ пренебрегли, который не нравится, противень, быть можетъ, гадокъ, отъ котораго бѣгутъ, онъ вышелъ изъ дому.



«Отдай бы все,—передразнил онъ себя, идя домой по жарѣ и вспоминая подробности объясненія. — Отдай бы все—совсѣмъ по-купечески. Очень кому нужно это твое *все!*»

Все, что онъ только-что говорилъ, казалось ему, было глупо до отвращенія. Зачѣмъ онъ солгалъ, что онъ выросъ въ средѣ, гдѣ трудятся всѣ безъ исключенія? Зачѣмъ онъ говорилъ назидательнымъ тономъ о чистой, радостной жизни? Это не умно, не интересно, фальшиво, — фальшиво по-московски. Но вотъ мало-по-малу наступило безразличное настроеніе, въ какое впадаютъ преступники послѣ суроваго приговора; онъ думалъ уже о томъ, что слава Богу теперь все уже прошло, и нѣтъ этой ужасной неизвѣстности, уже не нужно по цѣлымъ днямъ ожидать, томиться, думать все объ одномъ; теперь все ясно; нужно оставить всякія надежды на личное счастье, жить безъ желаній, безъ надеждъ, не мечтать, не ждать, а чтобы не было этой скуки, съ которой уже такъ надоѣло нянчиться, можно заняться чужими дѣлами, чужимъ счастьемъ, а тамъ незамѣтно наступить старость, жизнь придетъ къ концу—и больше ничего не нужно. Ему ужъ было все равно, онъ ничего не хотѣлъ и могъ холодно рассуждать, но въ лицѣ, особенно подъ глазами, была какая-то тяжесть, лобъ напрягся, какъ резина, — вотъ-вотъ брызнуть слезы. Чувствуя во всемъ тѣлѣ слабость, онъ легъ въ постель и минутъ черезъ пять крѣпко уснулъ.

### III.

Предложеніе, которое такъ неожиданно сдѣлалъ Лаптевъ, привело Юлію Сергѣевну въ отчаяніе.

Она знала Лаптева немного, познакомилась съ нимъ случайно; это былъ богатый человекъ, представитель извѣстной московской фирмы «Федоръ Лаптевъ и сыновья», всегда очень серьезный, повидимому, умный, озабоченный болѣзнью сестры; казалось ей, что онъ не обращалъ на нее никакого

вниманія, и сама она была къ нему совершенно равнодушна,—и вдругъ это объясненіе на лѣстницѣ, это жалкое, восхищенное лицо...

Предложеніе смутило ее и своею внезапностью, и тѣмъ, что произнесено было слово *жена*, и тѣмъ, что пришлось отвѣтить отказомъ. Она уже не помнила, что сказала Лаптеву, но продолжала еще ощущать слѣды того порывистаго, неприятнаго чувства, съ какимъ отказала ему. Онъ не нравился ей; наружность у него была приказчицкая, самъ онъ былъ не интересенъ, она не могла отвѣтить иначе, какъ отказомъ, но все же ей было неловко, какъ будто она поступила дурно.

— Боже мой, не входя въ комнаты, прямо на лѣстницѣ,—говорила она съ отчаяніемъ, обращаясь къ образку, который висѣлъ надъ ея изголовьемъ,—и не ухаживалъ раньше, а какъ-то странно, необыкновенно...

Въ одиночествѣ съ каждымъ часомъ ея тревога становилась все сильнѣе и ей одной было не подъ силу справиться съ этимъ тяжелымъ чувствомъ. Надо было, чтобы кто-нибудь выслушалъ ее и сказалъ ей, что она поступила правильно. Но поговорить было не съ кѣмъ. Матери у нея не было уже давно, отца считала она страннымъ чедовѣкомъ и не могла говорить съ нимъ серьезно. Онъ стѣснялъ ее своими капризами, чрезмѣрною обидчивостью, и неопредѣленными жестами; и стоило только завести съ нимъ разговоръ, какъ онъ тотчасъ же начиналъ говорить о себѣ самомъ. И во время молитвы она не была вполнѣ откровенной, такъ какъ не знала навѣрное, чего собственно ей нужно просить у Бога.

Подали самоваръ. Юлія Сергѣевна, очень блѣдная, уставшая, съ безпомощнымъ видомъ, вышла въ столовую, заварила чай,—это было на ея обязанности,—и налила отцу стаканъ. Сергѣй Борисычъ, въ своемъ длинномъ сюртукѣ ниже колѣнъ, красный, не причесанный, заложивъ руки въ

карманы, ходилъ по столовой, не изъ угла въ уголь, а какъ придется, точно звѣрь въ клѣткѣ. Остановится у стола, отощеетъ изъ стакана съ аппетитомъ и опять ходить, и о чемъ-то все думаетъ.

— Мнѣ сегодня Лаптевъ сдѣлалъ предложеніе,—сказала Юлія Сергѣевна и покраснѣла.

Докторъ поглядѣлъ на нее и какъ будто не понялъ.

— Лаптевъ?—спросилъ онъ.—Братъ Панауровой?

Онъ любилъ дочь; было вѣроятно, что она рано или поздно выйдетъ замужъ и оставить его, но онъ старался не думать объ этомъ. Его пугало одиночество и почему-то казалось ему, что если онъ останется въ этомъ большомъ домѣ одинъ, то съ нимъ сдѣлается апоплексическій ударъ, но объ этомъ онъ не любилъ говорить прямо.

— Что жъ, я очень радъ,—сказалъ онъ, и пожалъ плечами.—Отъ души тебя поздравляю. Теперь представляется тебѣ прекрасный случай разстаться со мной, къ великому твоему удовольствію. И я вполне тебя понимаю. Жить у старика-отца, человѣка больного, полоумнаго, въ твои годы должно быть очень тяжело. Я тебя прекрасно понимаю. И если бы я околѣлъ поскорѣй, и если бы меня черти взяли, то всѣ были бы рады. Отъ души поздравляю.

— Я ему отказала.

У доктора стало легче на душѣ, но онъ уже былъ не въ силахъ остановиться и продолжалъ:

— Я удивляюсь, я давно удивляюсь, отчего меня до сихъ поръ не посадили въ сумасшедшій домъ? Почему на мнѣ этотъ скюртукъ, а не горячечная рубаха? Я вѣрю еще въ правду, въ добро, я дуракъ идеалистъ, а развѣ въ наше время это не сумасшествіе? И какъ мнѣ отвѣчаютъ на мою правду, на мое честное отношеніе? Въ меня чуть не бросятъ камнями и вѣзять на мнѣ верхомъ. И даже близкіе родные стараются только вѣздить на моей шеѣ, чортъ бы побралъ меня, старика болвана...

— Съ вами нельзя говорить по-человѣчески! — сказала Юлія.

Она порывисто встала изъ-за стола и ушла къ себѣ, въ зильномъ гнѣвѣ, вспоминая, какъ часто отецъ бывалъ къ ней несправедливъ. Но немного погодя ей уже было жаль отца, и когда онъ уходилъ въ клубъ, она проводила его внизъ и сама заперла за нимъ дверь. А на дворѣ была погода нехорошая, безпокойная; дверь дрожала отъ напора вѣтра и въ сѣняхъ дуло со всѣхъ сторонъ, такъ что едва не погасла свѣча. У себя наверху Юлія обошла всѣ комнаты и перекрестила всѣ окна и двери; вѣтеръ завывалъ и казалось, что кто-то ходитъ по крышѣ. Никогда еще не было такъ скучно, никогда она не чувствовала себя такою одинокой.

Она спросила себя: хорошо ли она поступила, что отказала человѣку только потому, что ей не нравится его наружность? Правда, это нелюбимый человѣкъ и выйти за него значило бы проститься навсегда со своими мечтами, своими понятіями о счастьѣ и супружеской жизни, но встрѣтитъ ли она когда-нибудь того, о комъ мечтала, и полюбитъ ли? Ей уже 21 годъ. Жениховъ въ городѣ нѣтъ. Она представила себѣ всѣхъ знакомыхъ мужчинъ—чиновниковъ, педагоговъ, офицеровъ, и одни изъ нихъ были уже женаты и ихъ семейная жизнь поражала своею пустотой и скукой, другіе были неинтересны, безцвѣтны, неумны, безнравственны. Лаптевъ же, какъ бы ни было, москвичъ, кончилъ въ университетѣ, говорить по-французски; онъ живетъ въ столицѣ, гдѣ много умныхъ, благородныхъ, замѣчательныхъ людей, гдѣ шумно, прекрасные театры, музыкальные вечера, превосходныя портнихи, кондитерскія... Въ священномъ писаніи сказано, что жена должна любить своего мужа, и въ романахъ любви придается громадное значеніе, но нѣтъ ли преувеличенія въ этомъ? Развѣ безъ любви нельзя въ семейной жизни? Вѣдь говорятъ, что лю-

Бовь скоро проходить и остается одна привычка, и что самая цѣль семейной жизни не въ любви, не въ счастьѣ, а въ обязанностяхъ, напримѣръ, къ воспитаніи дѣтей, въ заботахъ по хозяйству и проч. Да и священное писаніе, быть можетъ, имѣетъ въ виду любовь къ мужу, какъ къ ближнему, уваженіе къ нему, снисхожденіе.

Ночью Юлія Сергѣевна внимательно прочла вечернія молитвы, потомъ стала на колѣни и, прижавъ руки къ груди, глядя на огонекъ лампадки, говорила съ чувствомъ:

— Вразуми, Заступница! Вразуми, Господи!

Ей въ своей жизни приходилось встрѣчать пожилыхъ дѣвушекъ, бѣдныхъ и ничтожныхъ, которыя горько расканивались и выражали сожалѣніе, что когда-то отказывали своимъ женихамъ. Не случится ли и съ ней то же самое? Не пойти ли ей въ монастырь или въ сестры милосердія?

Она раздѣлась и легла въ постель, крестясь и крестя вокругъ себя воздухъ. Вдругъ въ коридорѣ рѣзко и жалобно прозвучалъ звонокъ.

— Ахъ, Боже мой!—проговорила она, чувствуя отъ этого звонка болѣзненное раздраженіе во всемъ тѣлѣ. Она лежала и все думала о томъ, какъ эта провинціальная жизнь бѣдна событіями, однообразна и въ то же время безпокойна. То и дѣло приходится вздрагивать, чего-нибудь опасаться, сердиться или чувствовать себя виноватой, и нервы, въ концѣ-концовъ, портятся до такой степени, что страшно бываетъ выглянуть изъ-подъ одеіла.

Черезъ полчаса опять раздался звонокъ и такой же рѣзкій. Должно быть, прислуга спала и не слышала. Юлія Сергѣевна зажгла свѣчу и, дрожа, досадуя на прислугу, стала одѣваться, и когда, одѣвшись, вышла въ коридоръ, то внизу горничная уже запирала дверь.

— Думала, что баринъ, а это отъ больного пріѣзжали,— сказала она.

Юлія Сергѣевна вернулась къ себѣ. Она достала изъ

томода колоду картъ и рѣшила, что если хорошо стасовать карты и потомъ снять, и если подъ низомъ будетъ красная масть, то это значить *да*, т.-е. надо согласиться на предложеніе Лаптева, если же черная, то—*нѣтъ*. Карта оказалась пиковою десяткой.

Это ее успокоило, она уснула, но утромъ опять уже не было ни *да*, ни *нѣтъ*, и она думала о томъ, что можетъ теперь, если захочетъ, переменить свою жизнь. Мысли утомили ее, она изнемогала и чувствовала себя больной, но все же въ началѣ двѣнадцатаго часа одѣлась и пошла провѣдать Нину Федоровну. Ей хотѣлось увидѣть Лаптева: быть можетъ, теперь онъ покажется ей лучше; быть можетъ, она ошибалась до сихъ поръ...

Ей трудно было идти противъ вѣтра, она едва шла, придерживая обѣими руками шляпу, и ничего не видѣла отъ пыли.

#### IV.

Войдя къ сестрѣ и увидѣвъ неожиданно Юлію Сергѣевну, Лаптевъ опять испыталъ унижительное состояніе чловѣка, который противень. Онъ заключилъ, что если она такъ легко можетъ послѣ вчерашняго бывать у сестры и встрѣчаться съ нимъ, то, значить, она не замѣчаетъ его или считаетъ полнѣйшимъ ничтожествомъ. Но когда онъ здоровался съ ней, она, блѣдная, съ пылью подъ глазами, поглядѣла на него печально и виновато; онъ понялъ, что она тоже страдаетъ.

Ей нездоровилось. Посидѣла она очень не долго, минутъ десять, и стала прощаться. И уходя, сказала Лаптеву:

— Проводите меня домой, Алексѣй Федорычъ.

По улицѣ шли они молча, придерживая шляпы, и онъ, идя сзади, старался заслонить ее отъ вѣтра. Въ переулкѣ было тише, и тутъ оба пошли рядомъ.

— Если я вчера была неласкова, то вы простите, — на-

чала она и голосъ ея дрогнуть, какъ будто она собиралась заплакать.—Это такое мученье! Я всю ночь не спала.

— А я отлично проспалъ всю ночь, — сказалъ Лаптевъ, не глядя на нее, — но это не значить, что мнѣ хорошо. Жизнь моя разбита, я глубоко несчастливъ, и послѣ вчерашняго вашего отказа я хожу точно отравленный. Самое тяжелое было сказано вчера, сегодня съ вами я уже не чувствую стѣсненія и могу говорить прямо. Я люблю васъ больше, чѣмъ сестру, больше, чѣмъ покойную мать... Безъ сестры и безъ матери я могъ жить и жилъ, но жить безъ васъ—для меня это бессмыслица, я не могу...

И теперь, какъ обыкновенно, онъ угадывалъ ея намѣренія. Ему было понятно, что она хочетъ продолжать вчерашнее, и только для этого попросила его проводить ее и теперь вотъ ведетъ къ себѣ въ домъ. Но что она можетъ еще прибавить къ своему отказу? Что она придумала новаго? По всему, по взглядамъ, по улыбкѣ и даже по тому, какъ она, идя съ нимъ рядомъ, держала голову и плечи, онъ видѣлъ, что она, попрежнему, не любитъ его, что онъ чужой для нея. Что же она хочетъ еще сказать?

Докторъ Сергѣй Борисычъ былъ дома.

— Добро пожаловать, весьма радъ васъ видѣть, Федоръ Алексѣичъ, — сказалъ онъ, путая его имя и отчество. — Весьма радъ, весьма радъ.

Раньше онъ не бывалъ такъ привѣтливъ и Лаптевъ заключилъ, что о предложеніи его уже извѣстно доктору; и это ему не понравилось. Онъ сидѣлъ теперь въ гостиной, и эта комната производила странное впечатлѣніе своею бѣдною, мѣщанскою обстановкой, своими плохими картинами, и хотя въ ней были и кресла, и громадная лампа съ абажуромъ, она все же походила на нежилое помѣщеніе, на просторный сарай, и было очевидно, что въ этой комнатѣ могъ чувствовать себя дома только такой человѣкъ, какъ докторъ; другая комната, почти вдвое больше, назы-

валась залой и тутъ стояли одни только стулья, какъ въ танцклассѣ. И Лаптева, пока онъ сидѣлъ въ гостиной и говорилъ съ докторомъ о своей сестрѣ, стало мучить одно подозрѣніе. Не затѣмъ ли Юлія Сергѣевна была у сестры Нины и потомъ привела его сюда, чтобы объявить ему, что она принимаетъ его предложеніе? О, какъ это ужасно, но ужаснѣе всего, что его душа доступна для подобныхъ подозрѣній. Онъ представлялъ себѣ, какъ вчера вечеромъ и ночью отецъ и дочь долго совѣтовались, быть можетъ, долго спорили, и потомъ пришли къ соглашенію, что Юлія поступила легкомысленно, отказавши богатому человѣку. Въ его ушахъ звучали даже слова, какія въ подобныхъ случаяхъ говорятся родителями:

«Правда, ты не любишь его, но зато, подумай, сколько ты можешь сдѣлать добра!»

Докторъ собрался къ больнымъ. Лаптевъ хотѣлъ выйти съ нимъ вмѣстѣ, но Юлія Сергѣевна сказала:

— А вы останьтесь, прошу васъ.

Она замучилась, пала духомъ и увѣрила себя теперь, что отказывать порядочному, доброму, любящему человѣку только потому, что онъ не нравится, особенно когда съ этимъ замужествомъ представляется возможность измѣнить свою жизнь, свою невеселую, монотонную, праздную жизнь, когда молодость уходитъ и не предвидится въ будущемъ ничего болѣе свѣтлаго, отказывать при такихъ обстоятельствахъ—это безуміе, это капризь и прихоть, и за это можетъ даже наказать Богъ.

Отецъ вышелъ. Когда шаги его затихли, она вдругъ остановилась передъ Лаптевымъ и сказала рѣшительно, и при этомъ страшно поблѣднѣла:

— Я вчера долго думала, Алексѣй Федорычъ... Я принимаю ваше предложеніе.

Онъ нагнулся и поцѣловалъ ей руку, она неловко поцѣловала его холодными губами въ голову. Онъ чувствовалъ,



что въ этомъ любовномъ объясненіи нѣтъ главнаго — ея любви, и есть много лишняго, и ему хотѣлось закричать, убѣжать, тотчасъ же уѣхать въ Москву, но она стояла близко, казалась ему такою прекрасной, и страсть вдругъ овладѣла имъ, онъ сообразилъ, что разсуждать тутъ уже поздно, обнялъ ее страстно, прижалъ къ груди и, бормоча какія-то слова, называя ее *ты*, поцѣловалъ ее въ шею, потомъ въ щеку, въ голову...

Она отошла къ окну, боясь этихъ ласкъ, и уже оба сожалѣли, что объяснились, и оба въ смущеніи спрашивали себя:

«Зачѣмъ это произошло?»

— Если бы вы знали, какъ я несчастна! — проговорила она, сжимая руки.

— Что съ вами? — спросилъ онъ, подходя къ ней и тоже сжимая руки. — Дорогая моя, ради Бога, говорите — что? Но только правду, умоляю васъ, только одну правду!

— Не обращайтесь вниманія, — сказала она и насильно улыбулась. — Я обещаю вамъ, я буду вѣрною, преданною женой... Приходите сегодня вечеромъ.

Сидя потомъ у сестры и читая историческій романъ, онъ вспоминалъ все это и ему было обидно, что на его великолѣпное, чистое, широкое чувство отвѣтили такъ мелко; его не любили, но предложеніе его приняли вѣроятно только потому, что онъ богатъ, то-есть предпочли въ немъ то, что самъ онъ цѣнилъ въ себѣ меньше всего. Можно допустить, что Юлія, чистая и вѣрующая въ Бога, ни разу не подумала о деньгахъ, но вѣдь она не любила его, не любила, и очевидно, у нея былъ расчетъ, хотя, быть можетъ, и не вполне осмысленный, смутный, но все же расчетъ. Домъ доктора былъ ему противенъ своею мѣщанскою обстановкой, самъ докторъ представлялся жалкимъ, жирнымъ скрягой, какимъ-то опереточнымъ Гаспаромъ изъ *Корневильскихъ колоколовъ*, самое имя Юлія звучало уже вульгарно. Онъ воображалъ, какъ онъ и его Юлія пойдутъ

подъ вѣнецъ, въ сущности, совершенно незнакомые другъ другу, безъ капли чувства съ ся стороны, точно ихъ сваха сосватала, и для него теперь оставалось только одно утѣшеніе, такое же банальное, какъ и самый этотъ бракъ, утѣшеніе, что онъ не первый и не послѣдній, что такъ женятся и выходятъ замужъ тысячи людей и что Юлія современемъ, когда поборооче узнаеть его, то, быть-можетъ, полюбитъ.

— Ромео и Юлія! — сказалъ онъ, закрывая книгу, и засмѣялся. — Я, Нина, Ромео. Можешь меня поздравить, и сегодня сдѣлала предложеніе Юліи Бѣлавиной.

Нина Федоровна думала, что онъ шутитъ, но потомъ повѣрила и заплакала. Эта новость ей не понравилась.

— Что жъ, поздравляю, — сказала она. — Но почему же это такъ вдругъ?

— Нѣтъ, это не вдругъ. Это тянется съ марта, только ты ничего не замѣчаешь... Я влюбился еще въ мартѣ, когда познакомился съ ней вотъ тутъ, въ твоей комнатѣ.

— А я думала, что ты женишься на какой-нибудь нашей московской, — сказала Нина Федоровна, помолчавъ. — Дѣвушки изъ нашего круга будутъ попроще. Но, главное, Алеша, чтобы ты былъ счастливъ, это самое главное. Мой Григорій Николаичъ не любилъ меня и, скрыть нельзя, ты видишь, какъ мы живемъ. Конечно, каждая женщина можетъ полюбить тебя за доброту и за умъ, но вѣдь Юличка институтка и дворянка, ей мало ума и доброты. Она молода, а ты самъ, Алеша, уже не молодъ и не красивъ.

Чтобы смягчить послѣднія слова, она погладила его по щекѣ и сказала:

— Ты не красивъ, но ты славенькій.

Она разволновалась, такъ что даже на щекахъ у нея выступилъ легкій румянецъ, и съ увлеченіемъ говорила о

томъ, будетъ ли прилично, если она благословитъ Алешу образомъ; вѣдь она старшая сестра и замѣняетъ ему мать; и она все старалась убѣдить своего печальнаго брата, что надо сыграть свадьбу какъ слѣдуетъ, торжественно и весело, чтобы не осудили люди.

Затѣмъ онъ сталъ ходить къ Бѣлавинымъ, какъ женихъ, раза по три, по четыре въ день, и уже некогда ему было смѣнять Сашу и читать историческій романъ. Юлія принимала его въ своихъ двухъ комнатахъ, вдали отъ гостиной и отцовскаго кабинета, и онъ ему очень нравились. Тутъ были темныя стѣны, въ углу стоялъ кіотъ съ образами; пахло хорошими духами и лампаднымъ масломъ. Она жила въ самыхъ дальнихъ комнатахъ, кровать и туалетъ ея были заставлены ширмами и дверцы въ книжномъ шкапу задернуты изнутри зеленою занавѣскою, и ходила она у себя по коврамъ, такъ что совсѣмъ не бывало слышно ея шаговъ, — и изъ этого онъ заключилъ, что у нея скрытный характеръ и любитъ она тихую, покойную, замкнутую жизнь. Въ домѣ она была еще на положеніи несовершеннолѣтней, у нея не было собственныхъ денегъ, и случалось во время прогулокъ она конфузилась, что при ней нѣтъ ни копейки. На паряды и книги выдавалъ ей отецъ понемножку, не больше ста рублей въ годъ. Да и у самого доктора едва ли были деньги, несмотря даже на хорошую практику. Каждый вечеръ онъ игралъ въ клубѣ въ карты и всегда проигрывалъ. Кромѣ того, онъ покупалъ дома въ обществѣ взаимнаго кредита съ переводомъ долга и отдавалъ ихъ внаимы; жильцы платили ему неисправно, но онъ увѣрялъ, что эти операціи съ домами очень выгодны. Свой домъ, въ которомъ онъ жилъ съ дочерью, онъ заложилъ и на эти деньги купилъ пустошь, и уже началъ строить на ней большой двухъ-этажный домъ, чтобы заложить его.

Лаптевъ жилъ теперь какъ въ туманѣ, точно это не онъ былъ, а его двойникъ, и дѣлалъ много такое чего бы онъ

не рѣшился сдѣлать прежде. Онъ раза три ходилъ съ докторомъ въ клубъ, ужиналъ съ нимъ и самъ предложилъ ему денегъ на постройку; онъ даже побывалъ у Панаурова на его другой квартирѣ. Какъ-то Панауровъ пригласилъ его къ себѣ обѣдать, и Лаптевъ, не подумавъ, согласился. Его встрѣтила дама лѣтъ 35, высокая и худощавая, съ легкою просѣдью и съ черными бровями, повидимому, не русская. На ея лицѣ лежали бѣлые пятна отъ пудры, улыбнулась она приторно и пожала руку порывисто, такъ что зазвенѣли на бѣлыхъ рукахъ браслеты. Лаптеву казалось, что она улыбается такъ потому, что хочетъ скрыть отъ другихъ и отъ самой себя, что она несчастна. Увидѣлъ онъ и двухъ дѣвочекъ, пяти и трехъ лѣтъ, похожихъ на Сашу. За обѣдомъ подавали молочный супъ, холодную телятину съ морковью и шоколадъ—это было слащаво и невкусно, но зато на столѣ блестяли золотыя вилочки, флаконы съ соей и кайенскимъ перцемъ, необыкновенно вычурный судокъ, золотая перечница.

Только поѣвши молочнаго супу, Лаптевъ сообразилъ, какъ это, въ сущности, было некстати, что онъ пришелъ сюда обѣдать. Дама была смущена, все время улыбалась, показывая зубы, Панауровъ объяснялъ научно, что такое влюбленность и отъ чего она происходитъ.

— Мы тутъ имѣемъ дѣло съ однимъ изъ явленій электричества,—говорилъ онъ по-французски, обращаясь къ дамѣ.— Въ кожѣ каждаго человѣка заложены микроскопическія желѣзки, которыя содержатъ въ себѣ токн. Если вы встрѣчаетесь съ особою, токн которой параллельны вашимъ, то вотъ вамъ и любовь.

Когда Лаптевъ вернулся домой и сестра спросила, гдѣ онъ былъ, ему стало неловко, и онъ ничего не отвѣтилъ.

Все время до свадьбы онъ чувствовалъ себя въ ложномъ положеніи. Любовь его съ каждымъ днемъ становилась все сильнѣе и Юлія казалась ему поэтической и возвышенной,

но все же взаимной любви не было, а сущность была та, что онъ покупалъ, а она продавалась. Иногда, раздумавшись, онъ приходилъ просто въ отчаяніе и спрашивалъ себя: не бѣжать ли? Онъ уже не спалъ по цѣлымъ ночамъ и все думалъ о томъ, какъ онъ послѣ свадьбы встрѣтится въ Москвѣ съ госпожей, которую въ своихъ письмахъ къ друзьямъ называлъ «особой», и какъ его отецъ и братъ, люди тяжелые, отнесутся къ его женитьбѣ и къ Юліи. Онъ боялся, что отецъ при первой же встрѣчѣ скажетъ Юліи какую-нибудь грубость. А съ братомъ Ѳедоромъ въ послѣднее время происходило что-то странное. Онъ въ своихъ длинныхъ письмахъ писалъ о важности здоровья, о вліяніи болѣзней на психическое состояніе, о томъ, что такое религія, но ни слова о Москвѣ и о дѣлахъ. Письма эти раздражали Лаптева, и ему казалось, что характеръ брата мѣняется къ худшему.

Свадьба была въ сентябрѣ. Вѣчаніе происходило въ церкви Петра и Павла, послѣ обѣдни, и въ тотъ же день молодые уѣхали въ Москву. Когда Лаптевъ и его жена, въ черномъ платьѣ со шлейфомъ, уже по виду не дѣвушка, а настоящая дама, прощались съ Ниной Ѳедоровной, все лицо у больной покрывилось, но изъ сухихъ глазъ не вытекло ни одной слезы. Она сказала:

— Если, не дай Богъ, умру, возьмите къ себѣ моихъ дѣвочекъ.

— О, обещаю вамъ! — отвѣтила Юлія Сергѣевна, и у нея тоже стали нервно подергиваться губы и вѣки.

— Я приѣду къ тебѣ въ октябрѣ, — сказалъ Лаптевъ, растроганный. — Выздоровливай, мой дорогой.

Они уѣхали въ отдѣльномъ купѣ. Обоимъ было грустно и неловко. Она сидѣла въ углу, не снимая шляпы, и дѣлала видъ, что дремлетъ, а онъ лежалъ противъ нея на диванѣ и его безпокойли разныя мысли: объ отцѣ, объ «особой», о томъ, понравится ли Юліи его московская квартира. И,

поглядывая на жену, которая не любила его, онъ думалъ уныло: «Затѣмъ это произошло?»

## V.

Лаштевы въ Москвѣ вели оптовую торговлю галантерейнымъ товаромъ: бахромой, тесьмой, аграмантомъ, вязальной бумагой, пуговицами и проч. Валовая выручка достигала двухъ милліоновъ въ годъ; каковъ же былъ чистый доходъ, никто не зналъ, кромѣ старика. Сыновья и приказчики опредѣляли этотъ доходъ приблизительно въ триста тысячъ и говорили, что онъ былъ бы тысячъ на сто больше, если бы старикъ «не раскидывался», то-есть не отпускалъ въ кредитъ безъ разбору; за послѣднія десять лѣтъ однихъ безнадежныхъ векселей набралось почти на милліонъ, и старшій приказчикъ, когда заходила рѣчь объ этомъ, хитро подмигивалъ глазомъ и говорилъ слова, значеніе которыхъ было не для всѣхъ ясно:

— Психологическое послѣдствіе вѣка.

Главные торговые операціи производились въ городскихъ рядахъ, въ помѣщеніи, которое называлось амбаромъ. Входъ въ амбаръ былъ со двора, гдѣ всегда было сумрачно, пахло рогожами и стучали копытами по асфальту ломовыя лошади. Дверь, очень скромная на видъ, обитая желѣзомъ, вела со двора въ комнату съ побурѣвшими отъ сырости, исписанными углемъ стѣнами и освѣщенную узкимъ окномъ съ желѣзною рѣшеткой, затѣмъ направо была другая комната, побольше и почище, съ чугунною печью и двумя столами, но тоже съ осторожнымъ окномъ: это — контора, и ужъ отсюда узкая каменная лѣстница вела во второй этажъ, гдѣ находилось главное помѣщеніе. Это была довольно большая комната, но, благодаря постояннымъ сумеркамъ, низкому потолку и тѣсотѣ отъ ящиковъ, тюковъ и спящихъ людей, она производила на свѣжаго человѣка такое же невзрачное

впечатлѣніе, какъ обѣ нижнія. Наверху и также въ конторѣ на полкахъ лежалъ товаръ въ кипахъ, пачкахъ и бумажныхъ коробкахъ, въ расположеніи его не было видно ни порядка, ни красоты, и если бы тамъ и сямъ изъ бумажныхъ свертковъ сквозь дыры не выглядывали то пуццовыя нити, то кисть, то конецъ бахромы, то сразу нельзя было бы догадаться, чѣмъ здѣсь торгуютъ. И при взглядѣ на эти помятые бумажные свертки и коробки не вѣрилось, что на такихъ пустякахъ выручаютъ милліоны и что тутъ въ амбарѣ каждый день бываютъ заняты дѣломъ пятьдесятъ человѣкъ, не считая покупателей.

Когда на другой день по приѣздѣ въ Москву, въ полдень, Лаптевъ пришелъ въ амбаръ, то артельщики, запаковывая товаръ, стучали по ящикамъ такъ громко, что въ первой комнатѣ и въ конторѣ никто не слышалъ, какъ онъ вошелъ; по лѣстницѣ внизъ спускался знакомый почтальонъ съ пачкой писемъ въ рукѣ и морщился отъ стука, и тоже не замѣтилъ его. Первый, кто встрѣтилъ его наверху, былъ братъ Ѳедоръ Ѳедорычъ, похожій на него до такой степени, что ихъ считали близнецами. Это сходство постоянно напоминало Лаптеву объ его собственной наружности и теперь, видя передъ собой человѣка небольшого роста, съ румянцемъ, съ рѣдкими волосами на головѣ, съ худыми, непородистыми бедрами, такого неинтереснаго и неинтеллигентнаго на видъ, онъ спросилъ себя: «Неужели и я такой?»

— Какъ я радъ тебя видѣть!—сказалъ Ѳедоръ, цѣлуясь съ братомъ и крѣпко пожимая ему руку. — Я съ нетерпѣніемъ ожидалъ тебя каждый день, милый мой. Какъ ты написалъ, что женишься, меня стало мучить любопытство, да и соскучился, братъ. Самъ посуди, полгода не видался. Ну, что? Какъ? Плоха Нина? Очень?

— Очень плоха.

— Божья воля,—вдохнулъ Ѳедоръ.—Ну, а жена твоя?

Небось, красавица? Я ее уже люблю, вѣдь она приходится мнѣ сестреночкой. Будемъ ее вмѣстѣ баловать.

Показалась давно знакомая Лантеву широкая, сутулая спина его отца, Ѳедора Степаныча. Старикъ сидѣлъ возлѣ прилавка на табуретѣ и разговаривалъ съ покупателемъ.

— Папаша, Богъ радость послать!—крикнуть Ѳедоръ.—  
Братъ прѣхаль!

Ѳедоръ Степанычъ былъ высокаго роста и чрезвычайно крѣпкаго сложенія, такъ что, несмотря на свои восемьдесятъ лѣтъ и морщины, все еще имѣлъ видъ здороваго, сильнаго человѣка. Говорилъ онъ тяжелымъ, густымъ, гудящимъ басомъ, который выходилъ изъ его широкой груди, какъ изъ бочки. Онъ брилъ бороду, носилъ солдатскіе подстриженные усы и курилъ сигары. Такъ какъ ему всегда казалось жарко, то въ амбарѣ и дома во всякое время года онъ ходилъ въ просторномъ парусиновомъ пиджакѣ. Ему недавно снимали катаракту, онъ плохо видѣлъ и уже не занимался дѣломъ, а только разговаривалъ и пилъ чай съ вареньемъ.

Лантевъ нагнулся и поцѣловалъ его въ руку, потомъ въ губы.

— Давненько не видались, милостивый государь, — сказалъ старикъ. — Давненько. Что жъ, прикажешь съ законнымъ бракомъ поздравить? Ну, изволь, поздравляю.

И онъ поставилъ губы для поцѣлуя. Лантевъ нагнулся и поцѣловалъ.

— Что жъ, и барышню свою привезъ? — спросилъ старикъ и, не дожидаясь отвѣта, сказалъ, обращаясь къ покупателю: — Симъ извѣщаю васъ, папаша, вступаю я въ бракъ съ дѣвицей такой-то. Да. А того, чтобъ у папашы попросить благословенія и совѣта, нѣту въ правлахъ. Теперь они своимъ умомъ. Когда я женился, мнѣ больше сорока было, а я въ погахъ у отца валялся и совѣта просилъ. Пынце уже этого нѣту.



Старикъ обрадовался сыну, но считалъ неприличнымъ приласкать его и какъ-нибудь обнаружить свою радость. Его голосъ, манера говорить и «барышня» навѣяли на Лаптева то дурное настроеніе, какое онъ испытывалъ всякій разъ въ амбарѣ. Тутъ каждая мелочь напоминала ему о прошломъ, когда его сѣкли и держали на постной пицѣ; онъ зналъ, что и теперь мальчиговъ сѣкутъ и до крови разбиваютъ имъ носы и что, когда эти мальчижи вырастутъ, то сами тоже будутъ бить. И достаточно ему было пробыть въ амбарѣ минутъ пять, какъ ему начало казаться, что его сейчасъ обругаютъ или ударятъ по носу.

Федоръ похлопалъ покупателя по плечу и сказалъ брату:

— Вотъ, Алеша, рекомендую, нашъ тамбовскій кормилецъ Григорій Тимоенчъ. Можетъ служить примѣромъ для современной молодежи: уже шестой десятокъ пошелъ, а онъ грудныхъ дѣтей имѣетъ.

Приказчики засмѣялись, и покупатель, тощій старикъ съ блѣднымъ лицомъ, тоже засмѣялся.

— Природа сверхъ обыкновеннаго дѣйствія, — замѣтилъ старшій приказчикъ, стоявшій тутъ же за прилавкомъ. — Куда вошло, оттуда и выйдетъ.

Старшій приказчикъ, высокій мужчина лѣтъ 50; съ темною бородой, въ очкахъ и съ карандашомъ за ухомъ, обыкновенно выражалъ свои мысли неясно, отдаленными намеками, и по его хитрой улыбкѣ видно было при этомъ, что своимъ словамъ онъ придавалъ какой-то особенный, тонкій смыслъ. Свою рѣчь онъ любилъ затемнять книжными словами, которыя онъ понималъ по-своему, да и многія обыкновенныя слова часто употреблялъ онъ не въ томъ значеніи, какое они имѣютъ. Напримѣръ слово «кромѣ». Когда онъ выражалъ категорически какую-нибудь мысль и не хотѣлъ, чтобъ ему противорѣчили, то протягивалъ впередъ правую руку и произносилъ:

— Кромѣ!

И удивительнѣе всего было то, что его отлично понимали остальные приказчики и покупатели. Звали его Иванъ Васильчъ Початкинъ, и родомъ онъ былъ изъ Каширы. Теперь, поздравляя Лаптева, онъ выразился такъ:

— Съ вашей стороны заслуга храбрости, такъ какъ женское сердце есть Шамиль.

Другимъ важнымъ лицомъ въ амбарѣ былъ приказчикъ Макѣичевъ, полный, солидный блондинъ съ лысиной во все темя и съ бакенами. Онъ подошелъ къ Лаптеву и поздравилъ его почтительно, вполголоса:

— Честь имѣю-съ... Господь услышалъ молитвы вашего родителя-съ. Слава Богу-съ.

Затѣмъ стали подходить другіе приказчики и поздравлять съ законнымъ бракомъ. Всѣ они были одѣты по модѣ и имѣли видъ вполне порядочныхъ, воспитанныхъ людей. Говорили они на о, и произносили какъ латинское g; оттого, что почти черезъ каждыя два слова они употребляли съ, ихъ поздравленія, произносимыя скороговоркой, напримѣръ, фраза: «желаю вамъ-съ всего хорошаго-съ» слышалась такъ, будто кто хлыстомъ билъ по воздуху—«жвыссъ».

Лаптеву все это скоро наскучило и захотѣлось домой, но уйти было меловко. Изъ приличія нужно было пребыть въ амбарѣ, по крайней мѣрѣ, два часа. Онъ отошелъ въ сторону отъ прилавка и сталъ разспрашивать Макѣичева, благополучно ли прошло лѣто и нѣтъ ли чего новаго, и тотъ отвѣчалъ почтительно, не глядя ему въ глаза. Мальчикъ, стриженный, въ сѣрой блузѣ, подаль Лаптеву стаканъ чаю безъ блюдечка; немного погодя другой мальчикъ, проходя мимо, спотыкнулся о ящикъ и едва не упалъ, и солидный Макѣичевъ вдругъ сдѣлалъ страшное, злое лицо, лицо изверга, и крикнулъ на него:

— Ходи ногами!

Приказчики были рады, что молодой хозяинъ женился и, наконецъ, пріѣхалъ; они поглядывали на него съ любопыт-

ствомъ и привѣтливо, и каждый, проходя мимо, считалъ долгомъ сказать ему почтительно что-нибудь пріятное. Но Лаптевъ былъ убѣжденъ, что все это неискренно и что ему льстятъ потому, что боятся его. Онъ никакъ не могъ забыть, какъ лѣтъ пятнадцать назадъ одинъ приказчикъ, заблѣвшій психически, выбѣжалъ на улицу въ одномъ нижнемъ бѣльѣ, босой и, грозя на хозяйскія окна кулакомъ, кричалъ, что его замучили; и надъ бѣднягой, когда онъ потомъ выздоровѣлъ, долго смѣялись и припоминали ему, какъ онъ кричалъ на хозяевъ: «плантаторы!»— вмѣсто «эксплуататоры». Вообще служащимъ жилось у Лаптевыхъ очень плохо и объ этомъ давно уже говорили всѣ рады. Хуже всего было то, что по отношенію къ нимъ старіеъ Федоръ Степанычъ держался какой-то азіатской политики. Такъ, никому не было извѣстно, сколько жалованья получали его любимцы Початкинъ и Макѣичевъ; получали они по три тысячи въ годъ вмѣстѣ съ наградными, не больше, онъ же дѣлалъ видъ, что платитъ имъ по семи; наградныя выдавались каждый годъ всѣмъ приказчикамъ, но тайно, такъ что получившій мало долженъ былъ изъ самолюбія говорить, что получилъ много; ни одинъ мальчижъ не зналъ, когда его произведутъ въ приказчики; ни одинъ служащій не зналъ, доволенъ имъ хозяинъ или нѣтъ. Ничто не запрещалось приказчикамъ прямо, и потому они не знали, что дозволяется и что—нѣтъ. Имъ не запрещалось жениться, но они не женились, боясь не угодить своею женитьбой хозяину и потерять мѣсто. Имъ позволялось имѣть знакомыхъ и бывать въ гостяхъ, но въ девять часовъ вечера уже запирались ворота и каждое утро хозяинъ подозрительно оглядывалъ всѣхъ служащихъ и испытывалъ, не пахнетъ ли отъ кого водкой: «А ну-ка дыхни!»

Каждый праздникъ служащіе обязаны были ходить къ ранней обѣднѣ и становиться въ церкви такъ, чтобы ихъ всѣхъ видѣлъ хозяинъ. Посты строго соблюдались. Въ тор-

жественные дни. например, въ именины хозяйна или членовъ его семьи, приказчики должны были по подпискѣ подносить сладкій пирогъ отъ Флед или альбомъ. Жили они въ нижнемъ этажѣ дома на Пятницкой и во флигелѣ, помѣщаясь по трое и четверо въ одной комнатѣ, и за обѣдомъ ѣли изъ общей миски, хотя передъ каждымъ изъ нихъ стояла тарелка. Если кто изъ хозяевъ входилъ къ нимъ во время обѣда, то всѣ они вставали.

Лаптевъ сознавалъ, что изъ нихъ развѣ одни только испорченные стариковскимъ воспитаніемъ серьезно могли считать его благодѣтелемъ, остальные же видѣли въ немъ врага и «илантатора». Теперь постѣ полугодоваго отсутствія онъ не видѣлъ переменъ къ лучшему; и было даже еще что-то новое, не предвѣщавшее ничего хорошаго. Братъ Федоръ, бывшій раньше тихимъ, вдумчивымъ и чрезвычайно деликатнымъ, теперь съ видомъ очень занятаго и дѣловаго чловѣка, съ карандашомъ за ухомъ, бѣгалъ по амбару, похлопывалъ покупателей по плечу и бричалъ на приказчиковъ: «Друзья!» Повидимому, онъ игралъ какую-то роль, и въ этой новой роли Алексѣй не узнавалъ его.

Голосъ старика гудѣлъ непрерывно. Отъ печего дѣлать, старикъ наставлялъ покупателей, какъ надо жить и какъ вести свои дѣла, и при этомъ все ставилъ въ примѣръ самого себя. Это хвастовство, этотъ авторитетный подавляющій тонъ Лаптевъ слышалъ и 10, и 15, и 20 лѣтъ назадъ. Старикъ обожалъ себя; изъ его словъ всегда выходило такъ, что свою покойную жену и ся родню онъ осчастливилъ, дѣтей наградилъ, приказчиковъ и служащихъ облагодѣтельствовалъ и всю улицу и всѣхъ знакомыхъ заставилъ за себя вѣчно Бога молить; что онъ ни дѣлалъ, все это было очень хорошо, а если у людей плохо идутъ дѣла, то потому только, что они не хотятъ посовѣтоваться съ нимъ; безъ его совѣта не можетъ удался никакое дѣло. Въ церкви онъ всегда становился впереди всѣхъ и даже дѣлалъ замѣ-

чанія священникамъ, когда они, по его мнѣнію, не такъ служили, и думалъ, что это угодно Богу, такъ какъ Богъ его любить.

Къ двумъ часамъ въ амбарѣ всѣ уже были заняты дѣломъ, кромѣ старика, который продолжалъ гудѣть. Лаптевъ, чтобы не стоять безъ дѣла, принялъ у одной мастерицы аграмантъ и отпустилъ ее, потомъ выслушалъ покупателя, вологодскаго купца, и приказалъ приказчику заняться.

— Твердо, вѣди, азы!—слышалось со всѣхъ сторонъ (буквами въ амбарѣ означались цѣны и номера товаровъ). — Рцы, иже, твердо!

Уходя, Лаптевъ простился съ однимъ только Ѳеодоромъ.

— И завтра прѣйду съ женой на Пятницкую,—сказалъ онъ,—но, предупреждаю, если отецъ скажетъ ей хоть одно грубое слово, то я минуты тамъ не останусь.

— А ты все такой же,—вздыхнул Ѳеодоръ.—Женился, те перемѣнился. Надо, братъ, снисходить къ старику. И такъ, значить, завтра часамъ къ одиннадцати. Будемъ съ нетерпѣніемъ ждать. Такъ прѣзжай прямо съ обѣдни.

— Я въ обѣднѣ не бываю.

— Ну, это все равно. Главное, чтобы не позже одиннадцати, чтобы успѣть и Богу помолиться, и позавтракать вмѣстѣ. Кланяйся сестреночкѣ и поцѣлуй ручку. У меня предчувствіе, что я ее люблю,—добавил Ѳеодоръ вполне искренно.—Завидую, братъ!—крикнулъ онъ, когда уже Алексѣй спускался внизъ.

«И почему это онъ все жметя какъ-то застѣнчиво, будто кажется ему, что онъ голый?—думалъ Лаптевъ, идя по Никольской и стараясь понять перемѣну, какая произошла въ Ѳеодорѣ.—И языкъ какой-то новый у него: братъ, милый братъ, Богъ милости прислалъ, Богу помолимся,—точно иедринскій Гудушка».

VI.

На другой день, въ воскресенье, въ 11 часовъ, онъ уже ѣхалъ съ женой по Пятницкой, въ легкой коляскѣ, на одной лошади. Онъ боялся со стороны Федора Степаныча какой-нибудь выходки и уже заранѣе ему было непріятно. Послѣ двухъ ночей, проведенныхъ въ домѣ мужа, Юлія Сергѣевна уже считала свое замужество ошибкой, несчастіемъ и если бы ей пришлось жить съ мужемъ не въ Москвѣ, а гдѣ-нибудь въ другомъ городѣ, то, казалось ей, она не перенесла бы этого ужаса. Москва же развлекала ее; улицы, дома и церкви нравились ей очень, и если бы можно было ѣздить по Москвѣ въ этихъ прекрасныхъ саняхъ, на дорогихъ лошадяхъ, ѣздить цѣлый день, отъ утра до вечера, и при очень быстрой ѣздѣ дышать прохладнымъ осеннимъ воздухомъ, то, пожалуй, она не чувствовала бы себя такой несчастной.

Около бѣлаго, недавно оштукатуреннаго двухъэтажнаго дома кучеръ сдержалъ лошадей и сталъ поворачивать вправо. Тутъ уже ждали. Около воротъ стояли дворникъ въ новомъ кафтанѣ, въ высокихъ сапогахъ и калошахъ, и двое городскихыхъ; все пространство съ середины улицы до воротъ и потомъ по двору до крыльца было посыпано свѣжимъ пескомъ. Дворникъ снялъ шапку, городовые сдѣлали подъ козырекъ. Около крыльца встрѣтилъ Федоръ съ очень серьезнымъ лицомъ.

— Очень радъ познакомиться, сестреночка, — сказали онъ, цѣлуя Юлію руку. — Добро пожаловать.

Онъ повелъ ее подъ руку вверхъ по лѣстницѣ, потомъ по коридору сквозь толпу какихъ-то мужчинъ и женщинъ. Въ передней тоже было тѣсно, пахло ладаномъ.

— Я представляю васъ сейчасъ нашему батюшкѣ, — прошепталъ Федоръ среди гробовой торжественной тишины. — Почтенный старичокъ, *pater familias*.

Въ большой залѣ около стола, приготовленнаго для молебна, стояли, очевидно, въ ожиданіи, Ѳеодоръ Степанычъ, священникъ въ камлавкѣ и дьяконъ. Старикъ подаль Юлію руку и не сказалъ ни слова. Всѣ молчали. Юлія сконфузилась. |

Священникъ и дьяконъ начали облачаться. Принесли кадило, изъ котораго сыпались искры и шелъ запахъ ладана и угля. Зажгли свѣчи. Приказчики вошли въ залу на цыпочкахъ и стали у стѣны въ два ряда. Было тихо, даже никто не кашлянулъ.

— Благослови владыко, — началъ дьяконъ.

Молебенъ служили торжественно, ничего не пропуская, и читали два акаѳиста: Иисусу Сладчайшему и Пресвятой Богородицѣ. Пѣвчіе пѣли только нотное, очень долго. Лаптевъ замѣтилъ, какъ давеча сконфузилась его жена; пока читались акаѳисты и пѣвчіе на разные лады выводили тройное «Господи помилуй», онъ съ душевнымъ напряженіемъ ожидалъ, что вотъ-вотъ старикъ оглянется и сдѣлаетъ какое-нибудь замѣчаніе, въ родѣ «вы не умѣете креститься»; и ему было досадно: къ чему эта толпа, къ чему вся эта церемонія съ попами и пѣвчими. Это было слишкомъ по-купечески. Но когда она вмѣстѣ со старикомъ подставила голову подъ евангеліе и потомъ нѣсколько разъ опускалась на колѣни, онъ понялъ, что ей все это нравится, и успокоился.

Въ концѣ молебна, во время многолѣтія, священникъ далъ приложиться къ кресту старику и Алексѣю, но когда подошла Юлія Сергѣевна, онъ прикрылъ крестъ рукой и сдѣлалъ видъ, что желаетъ говорить. Замахали пѣвчимъ, чтобы тѣ замолчали.

— Пророкъ Самуиль, — началъ священникъ, — пришелъ въ Вилеемъ по повелѣнію Господню, и тутъ городскіе старѣйшины вопрошали его съ трепетомъ: «миръ ли входитъ твой, о прозорливче?» И рече пророкъ: «миръ, пожрети бо Господу придохъ, освятитесь и возвеселитесь днесь со

мною». Станемъ ли и мы, раба Божія Юлія, вопрошать тебя о мирѣ твоего пришествія въ домъ сей?..

Юлія раскраснѣлась отъ волненія. Кончивъ, священникъ далъ ей приложиться ко кресту и сказалъ уже совѣмъ другимъ тономъ:

— Теперь Ѳедора Ѳедорыча надо женить. Пора.

Опять зашѣли пѣвчіе, народъ задвигался и стало шумно. Растроганный старикъ съ глазами, полными слезъ, три раза поцѣловалъ Юлію, перекрестилъ ей лицо и сказалъ:

— Это вашъ домъ. Мнѣ старику ничего не нужно.

Приказчики поздравляли и говорили что-то, но пѣвчіе пѣли такъ громко, что ничего нельзя было слышать. Потомъ завтракали и пили шампанское. Она сидѣла рядомъ со старикомъ, и онъ говорилъ ей о томъ, что нехорошо жить врозь, надо жить вмѣстѣ, въ одномъ домѣ, а раздѣлы и несогласія ведутъ къ разоренію.

— Я наживалъ, а дѣти только проживаютъ, — говорилъ онъ. — Теперь вы живите со мной въ одномъ домѣ и наживайте. Мнѣ старику пора и отдохнуть.

Передъ глазами у Юліи все время мелькалъ Ѳедоръ, очень похожій на мужа, но болѣе подвижной и болѣе застѣнчивый; онъ суетился возлѣ и часто цѣловалъ ей руку.

— Мы, сестреночка, люди простые, — говорилъ онъ, и при этомъ красныя пятна выступали у него на лицѣ. — Мы живемъ просто, по-русски, по-христіански, сестреночка.

Когда возвращались домой, Лаптевъ, очень довольный, что все обошлось благополучно и сверхъ ожиданія не произошло ничего особеннаго, говорилъ женѣ:

— Ты удивляешься, что у крупнаго, широкоплечаго отца такіе малорослыя, слабогрудыя дѣти, какъ я и Ѳедоръ. Да, но это такъ понятно! Отецъ женился на моей матери, когда ему было 45 лѣтъ, а ей только 17. Она блѣднѣла и дрожала въ его присутствіи. Нина родилась первая, родилась съ сравнительно здоровой матери, и потому вышла крѣпче



и лучше насъ; я же и Федоръ были зачаты и рождены, когда мать была уже истощена постояннымъ страхомъ. Я помню, отецъ началъ учить меня или, попросту говоря, бить, когда мнѣ не было еще пяти лѣтъ. Онъ сѣкъ меня розгами, дралъ за уши, билъ по головѣ, и я, просыпаясь, каждое утро думалъ прежде всего: будутъ ли сегодня драть меня? Играть и шалить мнѣ и Федору запрещалось; мы должны были ходить къ утренѣ и къ ранней обѣднѣ, цѣловать понамъ и монахамъ руки, читать дома акаѳисты. Ты вотъ религіозна и все это любишь, а я боюсь религіи, и когда прохожу мимо церкви, то мнѣ припоминается мое дѣтство и становится жутко. Когда мнѣ было восемь лѣтъ, меня уже взяли въ амбаръ; я работалъ, какъ простой мальчикъ, и это было нездорово, потому что меня тутъ били почти каждый день. Потомъ, когда меня отдали въ гимназію, я до обѣда учился, а отъ обѣда до вечера долженъ былъ сидѣть все въ томъ же амбарѣ, и такъ до 22 лѣтъ, пока я не познакомился въ университетѣ съ Ярцевымъ, который убѣдилъ меня уйти изъ отцовскаго дома. Этотъ Ярцевъ сдѣлалъ мнѣ много добра. Знаешь что,—сказалъ Лаптевъ и засмѣялся отъ удовольствія,—давай поѣдемъ сейчасъ съ визитомъ къ Ярцеву. Это благороднѣйшій человѣкъ! Какъ онъ будетъ тронутъ!

## VII.

Въ одну изъ ноябрьскихъ субботъ въ симфоническомъ дирижировалъ Антонъ Рубинштейнъ. Было очень тѣсно и жарко. Лаптевъ стоялъ за колоннами, а его жена и Костя Кочевой сидѣли далеко впереди, въ третьемъ или четвертомъ ряду. Въ самомъ началѣ антракта мимо него совершенно неожиданно прошла «особа», Полина Николаевна Разсудина. Послѣ свадьбы онъ часто съ тревогой помышлялъ о возможной встрѣчѣ съ ней. Когда она теперь взглянула на него открыто и прямо, онъ вспомнилъ, что до сихъ поръ еще не собрался объясниться съ ней или напи-

сать по-дружески хотя двѣ-три строчки, точно прятался отъ нея; ему стало стыдно, и онъ покраснѣлъ. Она крѣпко и порывисто пожала ему руку и спросила:

— Вы Ярцева видѣли?

И не дожидаясь отвѣта, пошла дальше стремительно, широко шагая, будто кто толкалъ ее сзади.

Она была очень худа и некрасива, съ длиннымъ носомъ, и лицо у нея всегда было утомленное, замученное и казалось, что ей стоило большихъ усилій, чтобы держать глаза открытыми и не упасть. У нея были прекрасные темные глаза и умное, доброе, искреннее выраженіе, но движенія угловатыя, рѣзкія. Говорить съ ней было не легко, такъ какъ она не умѣла слушать и говорить покойно. Любить же ее было тяжело. Бывало, оставаясь съ Лаптевымъ, она долго хохотала, закрывъ лицо руками, и увѣряла, что любовь для нея не составляетъ главнаго въ жизни, жеманилась, какъ семнадцатилѣтняя дѣвушка, и, прежде чѣмъ поцѣловаться съ ней, нужно было тушить всѣ свѣчи. Ей было уже 30 лѣтъ. Она была замужемъ за педагогомъ, но давно уже не жила съ мужемъ. Средства къ жизни добывала уроками музыки и участіемъ въ квартетахъ.

Во время девятой симфоніи она опять прошла мимо, какъ бы нечаянно, но толпа мужчинъ, стоявшая густою стѣной за колоннами, не пустила ее дальше, и она остановилась. Лаптевъ увидѣлъ на ней ту же самую бархатную кофточку, въ которой она ходила на концерты въ прошломъ и третьемъ году. Перчатки у нея были новыя, вѣрѣе тоже новыя, но дешевыя. Она любила наряжаться, но не умѣла и жалѣла на это деньги, и одѣвалась дурно и неряшливо, такъ что на улицѣ обыкновенно, когда она, торопливо и широко шагая, шла на урокъ, ее легко можно было принять за молодого послушника.

Публика аплодировала и кричала bis.

— Вы проведете сегодня вечеръ со мной,—сказала По-

лина Николаевна, подходя къ Лаптеву и глядя на него сурово.—Мы отсюда поѣдемъ вмѣстѣ чай пить. Слышите? Я этого требую. Вы мнѣ многимъ обязаны и не имѣете нравственнаго права отказать мнѣ въ этомъ пустякѣ.

— Хорошо, поѣдемте,—согласился Лаптевъ.

Послѣ симфоніи начались нескончаемые вызовы. Публика вставала съ мѣстъ и выходила чрезвычайно медленно, а Лаптевъ не могъ уѣхать, не сказавшись женѣ. Надо было стоять у двери и ждать.

— Мучительно хочу чаю, — пожаловалась Разсудина.— Душа горить.

— Здѣсь можно напиться, — сказалъ Лаптевъ.— Пойдемте въ буфетъ.

— Ну, у меня нѣтъ денегъ, чтобы бросать буфетчику. Я не купчихка.

Онъ предложилъ ей руку, она отказалась, проговоривъ длинную, утомительную фразу, которую онъ слышалъ отъ нея уже много разъ, именно, что она не причисляетъ себя къ слабому прекрасному полу и не нуждается въ услугахъ господъ мужчинъ.

Разговаривая съ нею, она оглядывала публику и часто вдорвалась со знакомыми; это были ея товарки по курсамъ Герье и по консерваторіи, и ученики, и ученицы. Она пожимала имъ руки крѣпко и порывисто, будто дергала. Но вотъ она стала поводить плечами, какъ въ лихорадкѣ, и дрожать и, наконецъ, проговорила тихо, глядя на Лаптева съ ужасомъ:

— На комъ вы женились? Гдѣ у васъ были глаза, сумасшедшій вы человѣкъ? Что вы нашли въ этой глупой, ничтожной дѣвчонкѣ? Вѣдь я васъ любила за умъ, за душу, а этой фарфоровой куклѣ нужны только ваши деньги!

— Оставимъ это, Полина, — сказалъ онъ умоляющимъ голосомъ.— Все, что вы можете сказать мнѣ по поводу моей

женитьбы, я самъ уже говорилъ себѣ много разъ... Не причиняйте мнѣ лишней боли.

Показалась Юлія Сергѣевна въ черномъ платьѣ и съ большою брильянтовою брошкою, которую прислалъ ей свекоръ послѣ молебна; за нею шла ея свита: Кочевой, два знакомыхъ доктора, офицеръ и полный молодой человекъ въ студенческой формѣ, по фамиліи Кишъ.

— Поѣзжай съ Костей, — сказалъ Лаптевъ женѣ. — Я приѣду послѣ.

Юлія кивнула головой и прошла дальше. Полина Николаевна проводила ее взглядомъ, дрожа всѣмъ тѣломъ и нервно пожимаясь, и этотъ взглядъ ея былъ полонъ отвращенія, ненависти и боли.

Лаптевъ боялся ѣхать къ ней, предчувствуя неприятное объясненіе, рѣзкости и слезы, и предложилъ отправиться пить чай въ какой-нибудь ресторанъ. Но она сказала:

— Нѣтъ, нѣтъ, поѣдьте ко мнѣ. Не смѣйте говорить мнѣ о ресторанахъ.

Она не любила бывать въ ресторанахъ, потому что ресторанный воздухъ казался ей отравленнымъ табакомъ и дыханіемъ мужчинъ. Ко всѣмъ незнакомымъ мужчинамъ она относилась съ страннымъ предубѣжденіемъ, считала ихъ всѣхъ развратниками, способными броситься на нее каждую минуту. Кромѣ того, ее раздражала до головной боли трактирная музыка.

Выйдя изъ Благороднаго Собранія, наняли извозчика на Остоженку, въ Савеловскій переулокъ, гдѣ жила Разсудина. Лаптевъ всю дорогу думалъ о ней. Въ самомъ дѣлѣ, онъ былъ ей многимъ обязанъ. Познакомился онъ съ нею у своего друга Ярцева, которому она преподавала теорію музыки. Она полюбила его сильно, совершенно безкорыстно и, сойдясь съ нимъ, продолжала ходить на уроки и трудиться попрежнему до изнеможенія. Благодаря ей, онъ

сталъ понимать и любить музыку, къ которой раньше былъ почти равнодушенъ.

— Полцарства за стакашъ чаю! — проговорила она глухимъ голосомъ, закрывая ротъ муфтой, чтобы не простудиться. — Я была на пяти урокахъ, чтобы ихъ чортъ взял! Ученики такіе тупицы, такіе толкачи, я чуть не умерла отъ злости. И не знаю, когда кончится эта каторга. Замучилась. Какъ только скоплю триста рублей, брошу все и поѣду въ Крымъ. лягу на берегу и буду глотать кислородъ. Какъ я люблю море, ахъ, какъ я люблю море!

— Никуда вы не поѣдете, — сказалъ Лаптевъ. — Во-первыхъ, вы ничего не скопите, и, во-вторыхъ, вы скупы. Простите, я опять повторяю: неужели собрать эти триста рублей по грошамъ у праздныхъ людей, которые учатся у васъ музыкѣ отъ нечего дѣлать, монѣе унижительно, чѣмъ взять ихъ взаймы у вашихъ друзей?

— У меня нѣтъ друзей! — сказала она раздраженно. — И прошу васъ не говорить глупостей. У рабочаго класса, къ которому я принадлежу, есть одна привилегія: сознание своей неподкупности, право не одолжаться у купчишекъ и презирать. Нѣтъ-съ, меня не купите! Я не Юличка!

Лаптевъ не сталъ платить извозчику, зная, что это вызоветъ цѣлый потокъ словъ, много разъ уже слышанныхъ раньше. Заплатила она сама.

Она нанимала маленькую комнату съ мебелью и со столомъ въ квартирѣ одинокой дамы. Бя большой беккеровскій рояль стоялъ пога у Ярцева, на Большой Никитской, и она каждый день ходила туда играть. Въ ея комнатѣ были кресла въ чехлахъ, кровать съ бѣлымъ лѣтнимъ одѣяломъ и хозяйскіе цвѣты, на стѣнахъ висѣли олеографіи, и не было ничего, что напоминало бы о томъ, что здѣсь живетъ женщина и бывшая курсистка. Не было ни туалета, ни книгъ, ни даже письменнаго стола. Видно было, что она ложилась

спать, какъ только приходила домой, и, вставая утромъ, тотчасъ же уходила изъ дому.

Кухарка принесла самоваръ. Полина Николаевна заварилъ чай и, все еще дрожа, — въ комнатѣ было холодно, — стала бранить пѣвцовъ, которые пѣли въ девятой симфоніи. У нея закрывались глаза отъ утомленія. Она выпила одинъ стаканъ, потомъ другой, потомъ третій.

— И такъ, вы женаты, — сказала она. — Но не безпокойтесь, я киснуть не буду, я сумѣю вырвать васъ изъ своего сердца. Досадно только и горько, что вы такая же дрянь, какъ всѣ, что вамъ въ женщинѣ нужны не умъ, не интеллектъ, а тѣло, красота, молодость... Молодость! — проговорила она въ носъ, какъ будто передразнивая кого-то, и засмѣялась. — Молодость! Вамъ нужна чистота, Reinheit! Reinheit! — захохотала она, откидываясь на спинку кресла — Reinheit!

Когда она кончила хохотать, глаза у нея были заплаканные.

— Вы счастливы, по крайней мѣрѣ? — спросила она.

— Нѣтъ.

— Она васъ любитъ?

— Нѣтъ.

Лаптевъ, взволнованный, чувствуя себя несчастнымъ, всталъ и началъ ходить по комнатѣ.

— Нѣтъ, — повторилъ онъ. — Я, Полина, если хотите знать, очень несчастливъ. Что дѣлать? Сдѣлалъ глупость, теперь уже не поправишь. Надо философски относиться. Она вышла безъ любви, глупо, быть можетъ, и по расчету, но не разсуждая, и теперь, очевидно, сознаетъ свою ошибку и страдаетъ. Я вижу. Ночью мы спимъ, но днемъ она боится остаться со мной наединѣ хотя бы пять минутъ и ищетъ развлеченій, общества. Ей со мной стыдно и страшно.

— А деньги, все-таки, беретъ у васъ?

— Глупо, Полина! — крикнулъ Лаптевъ. — Она беретъ у

меня деньги потому, что для нея рѣшительно все равно, есть онѣ у нея или нѣтъ. Она честный, чистый человекъ. Вышла она за меня просто потому, что ей хотѣлось уйти отъ отца, вотъ и все.

— А вы увѣрены, что она вышла бы за васъ, если бы вы не были богаты?—спросила Разсудина.

— Ни въ чемъ я не увѣренъ,—сказалъ съ тоской Лаптевъ.—Ни въ чемъ. Я ничего не понимаю. Ради Бога, Полина, не будемъ говорить объ этомъ.

— Вы ее любите?

— Безумно.

Затѣмъ наступило молчаніе. Она пила четвертый стаканъ, а онъ ходилъ и думалъ о томъ, что жена теперь, вѣроятно, въ докторскомъ клубѣ, ужинаетъ.

— Но развѣ можно любить, не зная, за что?—спросила Разсудина и пожала плечами.—Нѣтъ, въ васъ говорить животная страсть! Вы опьянены! Вы отравлены этимъ красивымъ тѣломъ, этой Reinheit! Уйдите отъ меня, вы грязны! Ступайте къ ней!

Она махнула ему рукой, потомъ взяла его шапку и швырнула въ него. Онъ молча надѣлъ шубу и вышелъ, но она побѣжала въ сѣни и судорожно вцѣпилась ему въ руку около плеча и зарыдала.

— Перестаньте, Полина! Полно!—говорилъ онъ и никакъ не могъ разжать ей пальцевъ. — Успокойтесь, пропущу васъ!

Она закрыла глаза и поблѣднѣла, и длинный носъ ея сталъ неприятнаго воскового цвѣта, какъ у мертвой, и Лаптевъ все еще не могъ разжать ей пальцевъ. Она была въ обморокъ. Онъ осторожно поднялъ ее и положилъ на постель и просидѣлъ возлѣ нея минутъ десять, пока она очнулась. Руки у нея были холодныя, пульсъ слабый, съ переборами.

— Уходите домой,—сказала она, открывая глаза.— Уходите, а то я опять зареву. Надо взять себя въ руки.

Выйдя отъ нея, онъ отправился не въ докторскій клубъ, гдѣ ожидала его компанія, а домой. Всю дорогу онъ спрашивалъ себя съ упрекомъ: почему онъ устроилъ себѣ семью не съ этою женщиной, которая его такъ любитъ и была уже на самомъ дѣлѣ его женой и подругой? Это былъ единственный человѣкъ, который былъ къ нему привязанъ, и развѣ, кромѣ того, не было бы благодарною, достойною задачей дать счастье, пріютъ и покой этому умному, гордому и замученному трудомъ существу? Къ лицу ли ему,—спрашивалъ онъ себя,—эти претензіи на красоту, молодость, на то самое счастье, котораго не можетъ быть и которое, точно въ наказаніе или насмѣшку, вотъ уже три мѣсяца держать его въ мрачномъ, угнетенномъ состояніи? Медовый мѣсяцъ давно прошелъ, а онъ, смѣшно сказать, еще не знаетъ, что за человѣкъ его жена. Своимъ институтскимъ подругамъ и отцу она пишетъ длинныя письма на пяти листахъ, и находитъ же, о чемъ писать, а съ нимъ говорить только о погодѣ и о томъ, что пора обѣдать или ужинать. Когда она передъ сномъ долго молится Богу и потомъ цѣлуетъ свои крестики и образки, онъ, глядя на нее, думаетъ съ ненавистью: «Вотъ она молится, но о чемъ молится? О чемъ?» Онъ въ мысляхъ оскорблялъ ее и себя, говоря, что, лежа съ ней спать и принимая ее въ свои объятія, онъ беретъ то, за что платить, но это выходило ужасно; будь это здоровая, смѣлая, грѣшная женщина, но, вѣдь, тутъ молодость, религіозность, кротость, невинные, чистые глаза... Когда она была его невѣстой, ея религіозность трогала его, теперь же эта условная опредѣленность взглядовъ и убѣжденій представлялась ему заставой, изъ-за которой не видно было настоящей правды. Въ его семейной жизни уже все было мучительно. Когда жена, сидя съ нимъ рядомъ въ театрѣ, вздыхала или искренно хохотала, ему было горько,



что она наслаждается одна и не хочет подѣлиться съ нимъ своимъ восторгомъ. И замѣчательно, она подружилась со всѣми его пріятелями, и всѣ они уже знали, что она за человѣкъ, а онъ ничего не зналъ, а только хандрилъ и молча ревновалъ.

Придя домой, Лаптевъ надѣлъ халатъ и туфли и сѣлъ у себя въ кабинетѣ читать романъ. Жены дома не было. Но прошло не больше получаса, какъ въ передней позвонили и глухо раздались шаги Петра, побѣжавшаго отворять. Это была Юлія. Она вошла въ кабинетъ въ шубкѣ, съ красными отъ мороза щеками.

— На Прѣснѣ большой пожаръ, — проговорила она, запыхавшись. — Громадное зарево. Я поѣду туда съ Константиномъ Иванычемъ.

— Съ Богомъ!

Видъ здоровья, свѣжести и дѣтскаго страха въ глазахъ успокоилъ Лаптева. Онъ почиталъ еще съ полчаса и пошелъ спать.

На другой день Полина Николаевна прислала ему въ амбаръ двѣ книги, которыя когда-то брала у него, всѣ его письма и его фотографіи; при этомъ была записка, состоявшая только изъ одного слова: «Баста!»

### VIII.

Уже въ концѣ октября у Нины Ѳедоровны ясно опредѣлился рецидивъ. Она быстро худѣла и измѣнялась въ лицѣ. Несмотря на сильныя боли, она воображала, что уже выздоравливается, и каждое утро одѣвалась, какъ здоровая, и потомъ цѣлый день лежала въ постели одѣтая. И подъ конецъ она стала очень разговорчива. Лежитъ на спинѣ и рассказываетъ что-нибудь тихо, черезъ силу, тяжело дыша. Умерла она внезапно и при слѣдующихъ обстоятельствахъ.

Быль лунный, ясный вечеръ, на улицѣ катались по свѣжему снѣгу и въ комнату съ улицы доносился шумъ. Нина

Федоровна лежала въ постели на спинѣ, а Саша, которую уже некому было смѣнить, сидѣла возлѣ и дремала.

— Отчества его не помню, — рассказывала Нина Федоровна тихо, — звали его Иванъ, по фамилии Кочевой, бѣдный чиновникъ. Пьяница былъ горькій, царство небесное. Ходилъ онъ къ намъ и каждый мѣсяцъ мы выдавали ему по фунту сахару и по осьмушкѣ чаю. Ну, случалось и деньгами, конечно. Да... Затѣмъ такое происшествіе: запилъ нибко нашъ Кочевой и померъ, отъ водки сгорѣлъ. Остался послѣ него сынчикъ, мальчончекъ лѣтъ семи. Сироточка... Взяли мы его и спрятали у прикащикова, и жилъ онъ такъ цѣльный годъ, и папаша не зналъ. А какъ увидѣлъ папаша, только рукой махнулъ и ничего не сказалъ. Когда Костѣ, сироткѣ-то, пошелъ девятый годокъ, — а я въ ту пору уже невѣстой была, — повезла я его по всѣмъ гимназіямъ. Туда-сюда, нигдѣ не принимаютъ. А онъ плачетъ... «Что же ты, — говорю, — дурачокъ, плачешь?» Повезла я его на Разгуляй во вторую гимназію и тамъ, дай Богъ здоровья, приняли... И сталъ мальчишечка ходить каждый день пѣшкомъ съ Пятницкой на Разгуляй, да съ Разгуляя на Пятницкую... Алеша за него платилъ... Милости Господни, сталъ мальчикъ хорошо учиться, вникать и вышелъ изъ него толкъ... Адвокатомъ теперь въ Москвѣ, Алешинъ другъ, такой же высокой науки. Вотъ не пренебрегли человѣкомъ, приняли его въ домъ, и теперь онъ за насъ, небось, Бога молить... Да...

Нина Федоровна стала говорить все тише, съ долгими паузами, потому, помолчавъ немного, вдругъ поднялась и сѣла.

— А мнѣ не того... нехорошо какъ будто, — сказала она. — Господи помилуй. Ой, дышать не могу!

Саша знала, что мать должна скоро умереть; увидѣвъ теперь, какъ вдругъ осунулось ея лицо, она угадала, что это конецъ, и испугалась.

— Мамочка, это не надо!— зарыдала она.— Это не надо!

— Сбѣгай въ кухню, пусть за отцомъ сходятъ. Мнѣ очень даже нехорошо.

Саша бѣгала по всѣмъ комнатамъ и звала, но во всемъ домѣ не было никого изъ прислуги, и только въ столовой на сундукѣ спала Лида въ одежѣ и безъ подушки. Саша, какъ была, безъ калошъ выбѣжала на дворъ, потомъ на улицу. За воротами на лавочкѣ сидѣла няня и смотрѣла на катанье. Съ рѣки, гдѣ былъ катокъ, доносились звуки военной музыки.

— Няня, мама умираетъ!— сказала Саша, рыдая.— Надо сходить за папой!..

Няня пошла навѣрхъ въ спальню и взглянувъ на больную, сунула ей въ руки зажженную восковую свѣчу. Саша въ ужасѣ сустилась и умоляла, сама не зная кого, сходить за папой, потомъ надѣла пальто и платокъ и выбѣжала на улицу. Отъ прислуги она знала, что у отца есть еще другая жена и двѣ дѣвочки, съ которыми онъ живетъ на Базарной. Она побѣжала влѣво отъ воротъ, плача и боясь чужихъ людей, и скоро стала грузнуть въ снѣгу и зябнуть.

Встрѣтился ей извозчикъ порожнемъ, но она не наняла его: пожалуй, завезетъ ее за городъ, ограбитъ и броситъ на кладбищѣ (за чаемъ рассказывала прислуга: былъ такой случай). Она все шла и шла, задыхалась отъ утомленія и рыдала. Выйдя на Базарную, она спросила, гдѣ здѣсь живетъ господинъ Панауровъ. Какая-то незнакомая женщина долго объясняла ей и, видя, что она ничего не понимаетъ, привела ее за руку къ одноэтажному дому съ подъездомъ. Дверь была не заперта. Саша пробѣжала черезъ сѣни, потомъ коридоръ и, наконецъ, очутилась въ свѣтлой, теплой комнатѣ, гдѣ за самоваромъ сидѣлъ отецъ и съ нимъ дама и двѣ дѣвочки. Но ужъ она не могла выговорить ни одного слова и только рыдала. Панауровъ понялъ.

— Вѣроятно, мамѣ нехорошо? — спросилъ онъ. — Скажи, дѣвочка: мамѣ нехорошо?

Онъ встревожился и послалъ за извозчикомъ.

Когда прѣехали домой, Нина Федоровна сидѣла обложенная подушками, со свѣчой въ рукѣ. Лицо потемнѣло и глаза были уже закрыты. Въ спальнѣ стояли, столпившись у двери, няня, кухарка, горничная, мужикъ Прокофій и еще какіе-то незнакомые простые люди. Няня что-то приказывала шопотомъ и ее не понимали. Въ глубинѣ комнаты у окна стояла Лида, блѣдная, заспанная, и сурово глядѣла оттуда на мать.

Панауровъ взялъ у Нины Федоровны изъ рукъ свѣчу и, брезгливо морщась, швырнулъ на комодъ.

— Это ужасно! — проговорилъ онъ и плечи у него вздрогнули. — Нина, тебѣ лечь нужно, — сказалъ онъ ласково. — Ложись, милая.

Она взглянула и не узнала его... Ее положили на спину.

Когда пришли священникъ и докторъ Сергій Борисычъ, прислуга уже набожно крестилась и поминала ее.

— Вотъ она какова исторія! — сказалъ докторъ въ раздумьи, выходя въ гостиную. — А, вѣдь, еще молода, ей и сорока не было.

Слышались громкія рыданія дѣвочекъ. Панауровъ, блѣдный, съ влажными глазами, подошелъ къ доктору и сказалъ слабымъ, томнымъ голосомъ:

— Дорогой мой, окажите услугу, пошлите въ Москву телеграмму. Я рѣшительно не въ силахъ.

Докторъ добылъ чернилъ и написалъ дочери такую телеграмму: «Панаурова скончалась восемь вечера. Скажи мужу: на Дворянской продается домъ переводомъ долга, доплатить девять. Торги двѣнадцатаго. Совѣтую не упустить».

IX.

Лаптевъ жилъ въ одномъ изъ переулковъ Малой Дмитровки, не далеко отъ Старога Пимена. Кромѣ большого дома на улицу, онъ нанималъ также еще двухъэтажный флигель во дворѣ для своего друга Кочевого, помощника присяжнаго повѣреннаго, котораго всѣ Лаптевы звали просто Костей, такъ какъ онъ выросъ на ихъ глазахъ. Противъ этого флигеля стоялъ другой, тоже двухъэтажный, въ которомъ жило какое-то французское семейство, состоявшее изъ мужа, жены и пяти дочерей.

Былъ морозъ градусовъ въ двадцать. Окна заиндвѣли. Проснувшись утромъ, Костя съ озабоченнымъ лицомъ принялъ пятнадцать капель какого-то лѣкарства, потомъ, доставши изъ книжнаго шкапа двѣ гири, занялся гимнастикой. Онъ былъ высокъ, очень худъ, съ большими рыжеватыми усами; но самое замѣтное въ его наружности — это были его необыкновенно длинныя ноги.

Петръ, мужикъ среднихъ лѣтъ, въ пиджакѣ и въ ситцевыхъ брюкахъ, засунутыхъ въ высокіе сапоги, принесъ самоваръ и заварилъ чай.

— Очень нынче хорошая погода, Константинъ Ивановичъ, — сказалъ онъ.

— Да, хорошая, только вотъ, братъ, жаль, живется намъ съ тобой не ахти какъ.

Петръ вздохнулъ изъ вѣжливости.

— Что дѣвочки? — спросилъ Кочевой.

— Батюшка не пришли, Алексѣй Ѳеодорычъ сами съ ними занимаются.

Костя нашель на окнѣ необледенѣлое мѣстечко и сталъ смотрѣть въ бинокль, направляя его на окна, гдѣ жило французское семейство.

— Не видать, — сказалъ онъ.

Въ это время внизу Алексѣй Ѳеодорычъ занимался по

закону Божию съ Сашей и Лидой. Вотъ уже полтора мѣсяца, какъ онѣ жили въ Москвѣ, въ нижнемъ этажѣ флигеля, вмѣстѣ со своею гувернанткой, и къ нимъ приходили три раза въ недѣлю учитель городского училища и священникъ. Саша проходила Новый заветъ, а Лида недавно начала Ветхій. Въ послѣдній разъ Лидѣ было задано повторить до Авраама.

— Итакъ, у Адама и Евы было два сына, — сказалъ Лаптевъ. — Прекрасно. Но какъ ихъ звали? Припомни-ка!

Лида, попрежнему суровая, молчала, глядя на столъ, и только шевелила губами; а старшая Саша смотрѣла ей въ лицо и мучилась.

— Ты прекрасно знаешь, не нужно только волноваться, — сказалъ Лаптевъ. — Ну, какъ же звать сыновей Адама?

— Авель и Кавель, — прошептала Лида.

— Каинъ и Авель, — поправилъ Лаптевъ.

По щекѣ у Лиды поползла крупная слеза и капнула на книжку. Саша тоже опустила глаза и покраснѣла, готовая заплакать. Лаптевъ отъ жалости не могъ уже говорить, слезы подступили у него къ горлу; онъ всталъ изъ-за стола и закурилъ папирску. Въ это время сошелъ сверху Кочевой съ газетой въ рукахъ. Дѣвочки поднялись и, не глядя на него, сдѣлали реверансъ.

— Бога ради, Костя, займитесь вы съ ними, — обратился къ нему Лаптевъ. — Я боюсь, что самъ заплачу, и мнѣ нужно до обѣда въ амбаръ съѣздить.

— Ладно.

Алексѣй Ѳедорычъ ушелъ. Костя съ очень серьезнымъ лицомъ, нахмурясь, сѣлъ за столъ и потянулъ къ себѣ священную исторію.

— Ну-съ? — спросилъ онъ. — О чемъ вы тутъ?

— Она знаетъ о потопѣ, — сказала Саша.

— О потопѣ? Ладно, будемъ жарить о потопѣ. Валяй о потопѣ. — Костя пробѣжалъ въ книжкѣ краткое описаніе

потоп и сказалъ: — Долженъ я вамъ замѣтить, такого потопъ, какъ здѣсь описано, на самомъ дѣлѣ не было. И ни какого Ноя не было. За нѣсколько тысячъ лѣтъ до Рождества Христова было на землѣ необыкновенное наводненіе, и объ этомъ упоминается не въ одной еврейской Библии, но также въ книгахъ другихъ древнихъ народовъ, какъ-то: грековъ, халдеевъ, индусовъ. Но какое бы ни было наводненіе, оно не могло затопить всей земли. Ну, равнины залило, а горы-то небось остались. Вы эту книжку читать-то читайте, да не особенно вѣрьте.

У Лиды опять потекли слезы, она отвернулась и вдругъ зарыдала такъ громко, что Костя вздрогнулъ и поднялся съ мѣста въ сильномъ смущеніи.

— Я хочу домой,—проговорила она.—Къ папѣ и къ нянѣ.

Саша тоже заплакала. Костя ушелъ къ себѣ на верхъ и сказалъ въ телефонъ Юліи Сергѣевнѣ:

— Голубушка, дѣвочки опять плачутъ. Нѣтъ никакой возможности.

Юлія Сергѣевна прибѣжала изъ большого дома въ одномъ платьѣ и вязаномъ платкѣ, прохваченная морозомъ, и начала утѣшать дѣвочекъ.

— Вѣрьте мнѣ, вѣрьте,—говорила она умоляющимъ голосомъ, прижимая къ себѣ то одну, то другую,—вашъ папа пріѣдетъ сегодня, онъ прислалъ телеграмму. Жаль мамы, и мнѣ жаль, сердце разрывается, но что же дѣлать? Вѣдь, не пойдешь противъ Бога!

Когда онѣ перестали плакать, она укутала ихъ и повезла кататься. Сначала проѣхали по Малой Дмитровкѣ, потомъ мимо Страстного на Тверскую; около Иверской остановились, поставили по свѣчѣ и помолились, стоя на колѣняхъ. На обратномъ пути заѣхали къ Филишову и взяли постныхъ баранокъ съ макомъ.

Обѣдали Лаптевы въ третьемъ часу. Кушанья подавалъ Петръ. Этотъ Петръ днемъ бѣгалъ то въ почтамтъ, то въ

амбаръ, то въ окружной судъ для Кости, прислуживалъ; по вечерамъ онъ набивалъ папирасы, ночью бѣгалъ отворять дверь и въ пятомъ часу утра уже топилъ печи, и никто не зналъ, когда онъ спитъ. Онъ очень любилъ откупоривать сельтерскую воду, и дѣлалъ это легко, безшумно, не проливъ ни одной капли.

— Дай Богъ! — сказалъ Костя, вышивая передъ супомъ рюмку водки.

Въ первое время Костя не нравился Юліи Сергѣевнѣ; его басы, его словечки въ родѣ выставилъ, заѣхалъ въ харю, мразь, изобрази самоварчикъ, его привычка чокаться и причитывать за рюмкой, казались ей тривиальными. Но, узнавши его покороче, она стала чувствовать себя въ его присутствіи очень легко. Онъ былъ съ нею откровененъ, любилъ по вечерамъ поговорить съ нею вполголоса о чемъ-нибудь, и даже давалъ ей читать романы своего сочиненія, которые до сихъ поръ составляли тайну даже для такихъ его друзей, какъ Лаптевъ и Ярцевъ. Она читала эти романы и, чтобы не огорчить его, хвалила, и онъ былъ радъ, такъ какъ надѣялся стать рано или поздно извѣстнымъ писателемъ. Въ своихъ романахъ онъ описывалъ только деревню и помѣщицьи усадьбы, хотя деревню видѣлъ очень рѣдко, только когда бывалъ у знакомыхъ на дачѣ, а въ помѣщицъей усадьбѣ былъ разъ въ жизни, когда ѣздилъ въ Волоколамскъ по судебному дѣлу. Любовнаго элемента онъ избѣгалъ, будто стыдился, природу описывалъ часто и при этомъ любилъ употреблять такія выраженія, какъ прихотливыя очертанія горъ, причудливыя формы облаковъ или аккорды таинственныхъ созвучій... Романовъ его нигдѣ не печатали, и это объяснял онъ цензурными условіями.

Адвокатская дѣятельность нравилась ему, но все же главнымъ своимъ занятіемъ считалъ онъ не адвокатуру, а эти романы. Ему казалось, что у него тонкая, артистическая организація, и его всегда тянуло къ искусству. Самъ онъ



не пѣлъ и не игралъ ни на какомъ инструментѣ и совершенно былъ лишенъ музыкальнаго слуха, но посѣщалъ всѣ симфоническія и филармоническія собранія, устраивалъ концерты съ благотворительною цѣлью, знакомился съ пѣвцами...

Во время обѣда разговаривали.

— Удивительное дѣло, — сказала Лаптевъ, — опять меня поставилъ втупикъ мой Федоръ! Надо, говорить, узнать, когда исполнится столѣтіе нашей фирмы, чтобы хлопотать о дворянствѣ, и говорить это самымъ серьезнымъ образомъ. Что съ нимъ подѣлалось? Откровенно говоря, я начинаю беспокоиться.

Говорили о Федорѣ, о томъ, что теперь мода напускать на себя что-нибудь. Напримѣръ, Федоръ старается казаться простымъ купцомъ, хотя онъ уже не купецъ, и когда приходитъ къ нему за жалованьемъ учитель изъ школы, гдѣ старикъ Лаптевъ почитаемъ, то онъ даже мѣняетъ голосъ и походку и держится съ учителемъ какъ начальникъ.

Послѣ обѣда нечего было дѣлать, пошли въ кабинетъ. Говорили о декадентахъ, объ *Орлеанской дѣвѣ*, и Костя прочелъ цѣлый монологъ; ему казалось, что онъ очень удачно подражаетъ Ермоловой. Потомъ сѣли играть въ винтъ. Дѣвочки не уходили къ себѣ во флигель, а блѣдныя, печальныя сидѣли, объ въ одномъ креслѣ, и прислушивались къ шуму на улицѣ: не отецъ ли ѣдетъ? По вечерамъ, въ темнотѣ и при свѣчахъ, онѣ испытывали тоску. Разговоръ за винтомъ, шаги Петра, трескъ въ каминѣ раздражали ихъ и не хотѣлось смотрѣть на огонь; по вечерамъ и плакать уже не хотѣлось, но было жутко и давило подъ сердцемъ. И было не понятно, какъ это можно говорить о чемъ-нибудь и смѣяться, когда умерла мама.

— Что вы сегодня видѣли въ бинокль? — спросила Юлія Сергѣевна у Кости.

— Сегодня ничего, а вчера самъ старикъ французъ ванну принималъ.

Въ семь часовъ Юлія Сергѣевна и Костя уѣхали изъ Малый театр. Лаптевъ остался съ дѣвочками.

— А пора бы уже вашему папѣ прѣхать, — говорилъ онъ, поглядывая на часы. — Должно быть, поѣздъ опоздалъ.

Дѣвочки сидѣли въ креслѣ, молча, прижавшись другъ къ другу, какъ звѣрки, которымъ холодно, а онъ все ходилъ по комнатамъ и съ нетерпѣніемъ поглядывалъ на часы. Въ домѣ было тихо. Но вотъ уже въ концѣ девятаго часа кто-то позвонилъ. Петръ пошелъ отворять.

Услышавъ знакомый голосъ, дѣвочки вскрикнули, зарыдали и бросились въ переднюю. Панауровъ былъ въ роскошной дохѣ; и борода и усы у него побѣлѣли отъ мороза.

— Сейчасъ, сейчасъ, — бормоталъ онъ, а Саша и Лида, рыдая и смѣясь, цѣловали ему холодныя руки, шапку, доху. Красивый, томный, избалованный любовью, онъ, не сгибша, приласкалъ дѣвочекъ, потомъ вошелъ въ кабинетъ и сказалъ, потирая руки:

— А я къ вамъ не надолго, друзья мои. Завтра уѣзжаю въ Петербургъ. Мнѣ обѣщаютъ переводъ въ другой городъ. Остановился онъ въ «Дрезденѣ».

## X.

У Лаптевыхъ часто бывалъ Ярцевъ, Иванъ Гаврилычъ. Это былъ здоровый, крѣпкій человекъ, черноволосый, съ уминымъ, приятнымъ лицомъ; его считали красивымъ, но въ послѣднее время онъ сталъ полнѣть, и это портило его лицо и фигуру; портило его и то, что онъ стригъ волосы низко, почти до гола. Въ университетѣ когда-то, благодаря его хорошему росту и силѣ, студенты называли его вышибалой.

Онъ вмѣстѣ съ братьями Лаптевыми кончилъ на филологическомъ факультетѣ, потомъ поступилъ на естественный, и теперь былъ магистромъ химіи. На кафедре онъ не считывалъ и нигдѣ не былъ даже лаборантомъ; а преподавалъ физику и естественную исторію въ реальномъ училищѣ

и въ двухъ женскихъ гимназіяхъ. Отъ своихъ учениковъ, а особенно ученицъ онъ былъ въ восторгѣ и говорилъ, что подрастаетъ теперь замѣчательное поколѣніе. Кромѣ химіи, онъ занимался еще у себя дома социологіей и русскою исторіей, и свои небольшія замѣтки иногда печатали въ газетахъ и журналахъ, подписываясь буквой Я. Когда онъ говорилъ о чемъ-нибудь изъ ботаники или зоологіи, то походилъ на историка, когда же рѣшалъ какой-нибудь историческій вопросъ, то походилъ на естественника.

Своимъ челоѣкомъ у Лаптевыхъ былъ также Кишъ, прозванный вѣчнымъ студентомъ. Онъ три года былъ на медицинскомъ факультетѣ, потомъ перешелъ на математическій и сидѣлъ здѣсь на каждомъ курсѣ по два года. Отецъ его, провинціальный аптекаръ, присылалъ ему по сорока рублей въ мѣсяцъ, и еще мать, тайно отъ отца, по десяти, и этихъ денегъ ему хватало на прожитіе и даже на такую роскошь, какъ шинель съ польскимъ бобромъ, перчатки, духи и фотографія (онъ часто снимался и раздавалъ свои портреты знакомымъ). Чистенькій, немножко плѣшивый, съ золотистыми бачками около ушей, скромный, онъ всегда имѣлъ видъ челоѣка, готоваго услужить. Онъ все хлопоталъ по чужимъ дѣламъ: то носился съ подписнымъ листомъ, то съ ранняго утра мерзъ около театральнoй кассы, чтобы купить для знакомой дамы билетъ, то по чьему-нибудь порученію шелъ заказывать вѣнокъ или букетъ. Про него только и говорили: Кишъ сходить, Кишъ сдѣлаетъ, Кишъ купить. Порученія исполнялъ онъ большею частью дурно. На него сыпались попреки, часто забывали заплатить ему за покупки, но онъ всегда молчалъ и въ затруднительныхъ случаяхъ только вздыхалъ. Онъ никогда особенно не радовался, не огорчался, рассказывалъ всегда длинно и скучно, и остроты его всякій разъ вызывали смѣхъ потому только, что не были смѣшны. Такъ, однажды, съ намѣреніемъ пошутить, онъ сказалъ Петру: «Петръ, ты не

осетръ», и это вызвало общій смѣхъ, и самъ онъ долго смѣялся, довольный, что такъ удачно сострилъ. Когда хоронили какого-нибудь профессора, то онъ шелъ впереди пѣвствъ съ факельщиками.

Ярцевъ и Кишъ обыкновенно приходили вечеромъ къ чаю. Если хозяйка не уѣзжали въ театръ или на концертъ, то вечерній чай затягивался до ужина. Въ одинъ изъ февральскихъ вечеровъ въ столовой происходилъ такой разговоръ:

— Художественное произведеніе тогда лишь значительно и полезно, когда оно въ своей идеѣ содержитъ какую-нибудь серьезную общественную задачу,—говорилъ Костя, сердито глядя на Ярцева.—Если въ произведеніи протестъ противъ крѣпостного права, или авторъ вооружается противъ высшаго свѣта съ его пошлостями, то такое произведеніе значительно и полезно. Тѣ же романы и повѣсти, гдѣ ахъ да охъ, да она его полюбила, а онъ ее разлюбилъ,—такія произведенія, говорю я, ничтожны и чортъ ихъ поberi.

— Я съ вами согласна, Константинъ Ивановичъ, — сказала Юлія Сергѣевна.—Одинъ описываетъ любовное свиданіе, другой — измѣну, третій — встрѣчу послѣ разлуки. Неужели нѣтъ другихъ сюжетовъ? Вѣдь, очень много людей, больныхъ, несчастныхъ, замученныхъ нуждой, которымъ, должно быть, противно все это читать.

Лаптеву было неприятно, что его жена, молодая женщина, которой нѣтъ еще и 22 лѣтъ, такъ серьезно и холодно разсуждаетъ о любви. Онъ догадывался, почему это такъ.

— Если поэзія не рѣшаетъ вопросовъ, которые кажутся вамъ важными,—сказалъ Ярцевъ,—то обратитесь къ сочиненіямъ по техникѣ, полицейскому и финансовому праву, читайте научные фельетоны. Къ чему это нужно, чтобы въ *Ромео и Джульеттѣ*, вмѣсто любви, шла рѣчь, положимъ, о свободѣ преподаванія или о дезинфекціи тюремъ, если объ этомъ вы найдете въ спеціальныхъ статьяхъ и руководствахъ?

— Дядя, это крайности! — перебилъ Костя. — Мы говоримъ не о такихъ гигантахъ, какъ Шекспиръ или Гёте, мы говоримъ о сотнѣ талантливыхъ и посредственныхъ писателей, которые принесли бы гораздо больше пользы, если бы оставили любовь и занялись проведеніемъ въ массу знаній и гуманнхъ идей.

Кишъ, картавя и немножко въ носъ, сталъ рассказывать содержаніе повѣсти, которую онъ недавно прочелъ. Рассказывалъ онъ обстоятельно, не спѣша; прошло три минуты, потомъ пять, десять, а онъ все продолжалъ, и никто не могъ понять, о чемъ это онъ рассказываетъ, и лицо его становилось все болѣе равнодушнымъ и глаза потускнѣли.

— Кишъ, рассказывайте поскорѣе, — не выдержала Юлія Сергѣевна, — а то вѣдь это мучительно!

— Перестаньте, Кишъ! — крикнулъ на него Костя.

Засмѣялись всѣ, и самъ Кишъ.

Пришелъ Федоръ. Съ красными пятнами на лицѣ, торопясь, онъ поздоровался и увелъ брата въ кабинетъ. Въ послѣднее время онъ избѣгалъ многочисленныхъ собраній и предпочиталъ общество одного человѣка.

— Пускай молодежь тамъ хохочетъ, а мы съ тобой тутъ поговоримъ по душамъ, — сказалъ онъ, садясь въ глубокое кресло, подальше отъ лампы. — Давненько, братуха, не видались. Сколько времени ты въ амбарѣ не былъ? Пожалуй, съ недѣлю.

— Да. Нечего мнѣ у васъ тамъ дѣлать. Да и старикъ надоѣлъ, признаться.

— Конечно, безъ насъ съ тобой могутъ обойтись въ амбарѣ, но надо же имѣть какое-нибудь занятіе. Въ потѣ лица будешь ѣсть свой хлѣбъ, какъ говорится. Богъ труды любить.

Петръ принесъ на подносѣ стаканъ чаю. Федоръ выпилъ безъ сахара и еще попросилъ. Онъ пилъ много чаю и въ одинъ вечеръ могъ выпить стакановъ десять.

— Знаешь, что, братъ?—сказалъ онъ, вставая и подходя къ брату. — Не мудрствуя лукаво, баллотируйся-ка ты въ гласные, а мы помаленьку да полегоньку проведемъ тебя въ члены управы, а потомъ въ товарищи головы. Дальше-больше, человекъ ты умный, образованный, тебя замѣтятъ и пригласятъ въ Петербургъ,— земскіе и городскіе дѣятели теперь тамъ въ модѣ, братъ, и, гляди, пятидесяти лѣтъ тебѣ еще не будетъ, а ты ужь тайный совѣтникъ и лента черезъ плечо.

Лаптевъ ничего не отвѣтилъ; онъ понялъ, что всего этого — и тайнаго совѣтника, и ленты хочется самому Федору, и онъ не зналъ, что отвѣтить.

Братья сидѣли и молчали. Федоръ открылъ свои часы и долго, очень долго глядѣлъ въ нихъ съ напряженнымъ вниманіемъ, какъ будто хотѣлъ подмѣтить движеніе стрѣлки, и выраженіе его лица казалось Лаптеву страннымъ.

Позвали ужинать. Лаптевъ пошелъ въ столовую, а Федоръ остался въ кабинетѣ. Спора уже не было, а Ярцевъ говорил тономъ профессора, читающаго лекцію:

— Вслѣдствіе разности климатовъ, энергій, вкусовъ, возрастовъ, равенство среди людей физически невозможно. Но культурный человекъ можетъ сдѣлать это неравенство безвреднымъ такъ же, какъ онъ уже сдѣлалъ это съ болотами и медвѣдями. Достигъ же одинъ ученый того, что у него кошка, мышь, кобчикъ и воробей ѣли изъ одной тарелки, и воспитаніе, надо надѣяться, будетъ дѣлать то же самое съ людьми. Жизнь идетъ все впередъ и впередъ, культура дѣлаетъ громадныя успѣхи на нашихъ глазахъ, и очевидно, настанетъ время, когда, на примѣръ, нынѣшнее положеніе фабричныхъ рабочихъ будетъ представляться такимъ же абсурдомъ, какъ намъ теперь крѣпостное право, когда мѣняди дѣвокъ на собакъ.

— Это будетъ не скоро, очень не скоро,—сказалъ Костя и усмѣхнулся,—очень не скоро, когда Ротшильду покажутъ.

абсурдомъ его подвалы съ золотомъ, а до тѣхъ поръ рабочей пусть гнетъ спину и пухнетъ съ голоду. Ну, нѣтъ-съ, дядя. Не ждать нужно, а бороться. Если кошка ѣстъ съ мышью изъ одной тарелки, то вы думаете, она проникнута сознаниемъ? Какъ бы не такъ. Ее заставили силой.

— Я и Федоръ богаты, нашъ отецъ капиталистъ, миллионеръ, съ нами нужно бороться! — проговорилъ Лаптевъ и потеръ ладонью лобъ. — Бороться со мной — какъ это не укладывается въ моемъ сознаниі! Я богатъ, но что мнѣ дали до сихъ поръ деньги, что дала мнѣ эта сила? Чѣмъ я счастливѣе васъ? Дѣтство было у меня каторжное, и деньги не спасали меня отъ розогъ. Когда Нина болѣла и умирала, ей не помогли мои деньги. Когда меня не любятъ, то я не могу заставить полюбить себя, хотя бы потратилъ сто миллионъ.

— Зато вы можете много добра сдѣлать, — сказалъ Кишъ.

— Какое тамъ добро! Вы вчера просили меня за какого-то математика, который ищетъ должности. Вѣрьте, я могу сдѣлать для него такъ же мало, какъ и вы. Я могу дать денегъ, но вѣдь это не то, что онъ хочетъ. Какъ-то у одного извѣстнаго музыканта я просилъ мѣста для бѣдняка-скрипача, а онъ отвѣтилъ такъ: «Вы обратились именно ко мнѣ потому, что вы не музыкантъ». Такъ и я вамъ отвѣчу: вы обращаетесь ко мнѣ за помощью такъ увѣренно потому, что сами ни разу еще не были въ положеніи богатаго человѣка.

— Для чего тутъ сравненіе съ извѣстнымъ музыкантомъ, не понимаю! — проговорила Юлія Сергѣевна и покраснѣла. — Причемъ тутъ извѣстный музыкантъ!

Лицо ея задрожало отъ ненависти, и она опустила глаза, чтобы скрыть это чувство. И выраженіе ея лица понялъ не одинъ только мужъ, но и всѣ, сидѣвшіе за столомъ.

— Причемъ тутъ извѣстный музыкантъ! — повторила

она тихо. — Нѣтъ ничего легче, какъ помочь бѣдному человеку.

Наступило молчаніе. Петръ подалъ рябчиковъ, но никто не сталъ ѣсть ихъ, и всѣ ѣли одинъ салатъ. Лаптевъ уже не помнилъ, что онъ сказалъ, но для него было ясно, что ненавистны были не слова его, а ужъ одно то, что онъ вмѣшался въ разговоръ.

Послѣ ужина онъ пошелъ къ себѣ въ кабинетъ; напряженно, съ біеніемъ сердца, ожидая еще новыхъ униженій, онъ прислушивался къ тому, что происходило въ залѣ. Тамъ опять начался споръ; потомъ Ярцевъ сѣлъ за рояль и спѣлъ чувствительный романсъ. Это былъ мастеръ на всѣ руки: онъ и пѣлъ, и игралъ, и даже умѣлъ показывать фокусы.

— Какъ вамъ угодно, господа, а я не желаю сидѣть дома,—сказала Юлія.—Надо поѣхать куда-нибудь.

Рѣшили ѣхать за городъ и послали Киша къ купеческому клубу за тройкой. Лаптева не приглашали съ собой, потому что обыкновенно онъ не ѣздилъ за городъ и потому что у него сидѣлъ теперь братъ, но онъ понялъ это такъ, что его общество скучно для нихъ, что онъ въ этой веселой, молодой компаніи совсѣмъ лишній. И его досада, его горькое чувство были такъ сильны, что онъ едва не плакалъ; онъ даже былъ радъ, что съ нимъ поступаютъ такъ не любезно, что имъ пренебрегаютъ, что онъ глупый, скучный мужъ, золотой мѣшокъ, и ему казалось, что онъ былъ бы еще больше радъ, если бы его жена измѣнила ему въ эту ночь съ лучшимъ другомъ и потомъ созналась бы въ этомъ, глядя на него съ ненавистью... Онъ ревновалъ ее къ знакомымъ студентамъ, къ актерамъ, пѣвцамъ, къ Ярцеву, даже къ встрѣчнымъ, и теперь ему страстно хотѣлось, чтобы она въ самомъ дѣлѣ была невѣрна ему, хотѣлось застать ее съ кѣмъ-нибудь, потомъ отравиться, отдѣлаться разъ навсегда отъ этого кошмара. Федоръ



пилъ чай и громко глоталъ. Но вотъ и онъ собрался уходить.

— А у нашего старичка, должно быть, темная вода, — сказалъ онъ, надѣвая шубу. — Совсѣмъ сталъ плохо видѣть.

Лаптевъ тоже надѣлъ шубу и вышелъ. Проводивъ брата до Страстного, онъ взялъ извозчика и поѣхалъ къ Яру.

«И это называется семейнымъ счастьемъ!—смѣялся онъ надъ собой.—Это любовь!»

У него стучали зубы и онъ не зналъ, ревность это, или что другое. У Яра онъ прошелся около столовъ, послушалъ въ залѣ куплетиста; на случай встрѣчи со своими у него не было ни одной готовой фразы, и онъ заранѣе былъ увѣренъ, что при встрѣчѣ съ женой онъ только улыбнется жалко и не умно, и всѣ поймутъ, какое чувство заставило его пріѣхать сюда. Отъ электрическаго свѣта, громкой музыки, запаха пудры и отъ того, что встрѣчныя дамы смотрѣли на него, его мутило. Онъ останавливался у дверей, старался подсмотреть и подслушать, что дѣлается въ отдѣльныхъ кабинетахъ, и ему казалось, что онъ играетъ заодно съ куплетистомъ и этими дамами какую-то низкую, презрѣнную роль. Затѣмъ онъ поѣхалъ въ Стрѣльну, но и тамъ не встрѣтилъ никого изъ своихъ, и только когда, возвращаясь назадъ, опять подѣзжалъ къ Яру, его съ шумомъ обогнала тройка; пьяный ямщикъ кричалъ и слышно было, какъ хохоталъ Ярцевъ: «га-га-га!»

Вернулся Лаптевъ домой въ четвертомъ часу. Юлія Сергѣевна была уже въ постели. Замѣтивъ, что она не спитъ, онъ подошелъ къ ней и сказалъ рѣзко:

— Я понимаю ваше отвращеніе, вашу ненависть, но вы могли бы пощадить меня при постороннихъ, могли бы скрыть свое чувство.

Она сѣла на постели, спустивъ ноги. При свѣтѣ лампадки глаза у нея казались большими, черными.

— Я прошу извиненія, — проговорила она.

Отъ волненія и дрожи во всемъ тѣлѣ онъ уже не могъ выговорить ни одного слова, а стоялъ передъ ней и молчалъ. Она тоже дрожала и сидѣла съ видомъ преступницы, ожидая объясненія.

— Какъ я страдаю! — сказалъ онъ, наконецъ, и взялъ себя за голову. — Я какъ въ аду, я съ ума сошелъ!

— А мнѣ развѣ легко? — спросила она дрогнувшимъ голосомъ. — Одинъ Богъ знаетъ, каково мнѣ.

— Ты моя жена уже полгода, но въ твоей душѣ ни даже искры любви, нѣтъ никакой надежды, никакого просвѣта! Зачѣмъ ты вышла за меня? — продолжалъ Лантевъ съ отчаяніемъ. — Зачѣмъ? Какой демонъ толкалъ тебя въ мои объятія? На что ты надѣялась? Чего ты хотѣла?

А она смотрѣла на него съ ужасомъ, точно боясь, что онъ убьетъ ее.

— Я тебѣ нравился? Ты любила меня? — продолжалъ онъ, задыхаясь. — Нѣтъ! Такъ что же? Что? Говори: что? — крикнулъ онъ. — О, проклятыя деньги! Проклятыя деньги!

— Клянусь Богомъ, нѣтъ! — вскрикнула она и перекрестилась; она вся сжалась отъ оскорбленія, и онъ въ первый разъ услышалъ, какъ она плачетъ. — Клянусь Богомъ, нѣтъ! — повторила она. — Я не думала о деньгахъ, онѣ мнѣ не нужны, мнѣ просто казалось, что если я откажу тебѣ, то поступлю дурно. Я боялась испортить жизнь тебѣ и себѣ. И теперь страдаю за свою ошибку, невыносимо страдаю!

Она горько зарыдала, и онъ понялъ, какъ ей больно, и, не зная, что сказать, онъ опустилсѣ передъ ней на коверъ.

— Довольно, довольно, — бормоталъ онъ. — Оскорбилъ я тебя, потому что люблю безумно, — онъ вдругъ поцѣловалъ ее въ ногу и страстно обнялъ. — Хоть искру любви! — бор-

моталь онъ. — Ну, солги мнѣ! Солги! Не говори, что это оншибка!..

Но она продолжала плакать, и онъ чувствовалъ, что его ласки она переноситъ только какъ неизбѣжное послѣдствіе своей ошибки. И ногу, которую онъ поцѣловалъ, она поджала подъ себя, какъ птица. Ему стало жаль ея.

Она легла и укрылась съ головой, онъ раздѣлся и тоже легъ. Утромъ оба они чувствовали смущеніе и не знали, о чемъ говорить, и ему даже казалось, что она нетвердо ступаетъ на ту ногу, которую онъ поцѣловалъ.

Передъ обѣдомъ пріѣзжалъ прощаться Панауровъ. Юліи неудержимо захотѣлось домой на родину; хорошо бы уѣхать, думала она, и отдохнуть отъ семейной жизни, отъ этого смущенія и постоянного сознанія, что она поступила дурно. Рѣшено было за обѣдомъ, что она уѣдетъ съ Панауровымъ и погоститъ у отца недѣли двѣ-три, пока не соскучится.

## ХІ.

Она и Панауровъ ѣхали въ отдѣльномъ купѣ; на головѣ у него былъ картузь изъ барашковаго мѣха какой-то странной формы.

— Да, не удовлетворилъ меня Петербургъ, — говорилъ онъ съ разстановкою, вздыхая. — Обѣщаютъ много, но ничего опредѣленнаго. Да, дорогая моя. Былъ я мировымъ судьей, непремѣннымъ членомъ, предсѣдателемъ мирового съѣзда, наконецъ, совѣтникомъ губернскаго правленія; кажется, послужилъ отечеству и имѣю право на вниманіе, но вотъ вамъ: никакъ не могу добиться, чтобы меня перевели въ другой городъ...

Панауровъ закрылъ глаза и покачалъ головой.

— Меня не признаютъ, — продолжалъ онъ, какъ бы засыпая. — Конечно, я не гениальный администраторъ, но зато я порядочный, местный человѣкъ, а по нынѣшнимъ вре-

менамъ и это рѣдкость. Каюсь, иногда женщинъ я обманывалъ слегка, но по отношенію къ русскому правительству я всегда былъ джентльменомъ. Но довольно объ этомъ, — сказалъ онъ, открывая глаза, — будемъ говорить о васъ. Что это вамъ вздумалось вдругъ ѣхать къ папашгѣ?

— Такъ, съ мужемъ немножко не поладила, — сказала Юлія, глядя на его картузь.

— Да, какой-то онъ у васъ странный. Всѣ Лаптевы странные. Мужъ вашъ еще ничего, туда-сюда, но братья его Федоръ совсѣмъ дуракъ.

Панауровъ вздохнулъ и спросилъ серьезно:

— А любовникъ у васъ уже есть?

Юлія посмотрѣла на него съ удивленіемъ и усмѣхнулась.

— Богъ знаетъ, что вы говорите.

На большой станціи, часу въ одиннадцатомъ, оба вышли и поужинали. Когда поѣздъ пошелъ дальше, Панауровъ снялъ пальто и свой картузикъ и сѣлъ рядомъ съ Юліей.

— А вы очень милы, надо вамъ сказать, — началъ онъ. — Извините за трактирное сравненіе, вы напоминаете мнѣ свѣже-просоленный огурчикъ; онъ, такъ сказать, еще пахнетъ парникомъ, но уже содержитъ въ себѣ немножко соли и запахъ укропа. Изъ васъ мало-по-малу формируется великолѣпная женщина, чудесная, изящная женщина. Если бъ эта наша поѣздка происходила лѣтъ пять назадъ, — вздохнулъ онъ, — то я почелъ бы приятнымъ долгомъ поступить въ ряды вашихъ поклонниковъ, но теперь, увы, я инвалидъ.

Онъ грустно и, въ то же время, милостиво улыбулся и обнялъ ее за талію.

— Вы съ ума сошли! — сказала она, покраснѣла и испугалась такъ, что у нея похолодѣли руки и ноги. — Оставьте, Григорій Николаичъ!

— Что же вы боитесь, милая? — спросилъ онъ мягко. — Что тутъ ужаснаго? Вы просто не привыкли.

Если женщина протестовала, то для него это только значило, что онъ произвелъ впечатлѣніе и нравится. Держа Юлію за талію, онъ крѣпко поцѣловалъ ее въ щеку, потомъ въ губы, въ полной увѣренности, что доставляетъ ей большое удовольствіе. Юлія оправилась отъ страха и смущенія, и стала смѣяться. Онъ поцѣловалъ ее еще разъ и сказалъ, надѣвая свой смѣшной картузъ:

— Вотъ и все, что можетъ дать вамъ инвалидъ. Одинъ турецкій паша, добрый старичокъ, получилъ отъ кого-то въ подарокъ или, кажется, въ наслѣдство цѣлый гаремъ. Когда его молодыя, красивые жены выстроились передъ нимъ въ шеренгу, онъ обошелъ ихъ, поцѣловалъ каждую и сказалъ: «Вотъ и все, что я теперь въ состояніи дать вамъ». То же самое говорю и я.

Все это казалось ей глупымъ, необыкновеннымъ и веселило ее. Хотѣлось шалить. Ставши на диванъ и напѣвая, она достала съ полки коробку съ конфетами и крикнула, бросивъ кусочекъ шоколада:

— Ловите!

Онъ поймалъ; она бросила ему другую конфетку съ громкимъ смѣхомъ, потомъ третью, а онъ все ловить и клалъ себѣ въ ротъ, глядя на нее умоляющими глазами, и ей казалось, что въ его лицѣ, въ чертахъ и въ выраженіи много женскаго и дѣтскаго. И когда она, запыхавшись, сѣла на диванъ и продолжала смотрѣть на него со смѣхомъ, онъ двумя пальцами дотронулся до ея щеки и проговорилъ какъ бы съ досадою:

— Подлая дѣвчонка!

— Возьмите,—сказала она, подавая ему коробку.—Я не люблю сладкаго.

Онъ съѣлъ конфеты, всѣ до одной, и пустую коробку заперъ къ себѣ въ чемоданъ; онъ любилъ коробки съ картинками.

— Однако, довольно шалить, — сказалъ онъ. — Инвалиду пора бай-бай.

Онъ досталъ изъ портъ-пледъ свой бухарскій халатъ и подушку, легъ и укрылся халатомъ.

— Спокойной ночи, голубка! — тихо проговорилъ онъ и вдохнулъ такъ, какъ будто у него болѣло все тѣло.

И скоро послышался храпъ. Не чувствуя никакого стѣсненія, она тоже легла и скоро уснула.

Когда на другой день утромъ она въ своемъ родномъ городѣ вѣхала съ вокзала домой, то улицы казались ей пустынными, безлюдными, снѣгъ сѣрымъ, а дома маленькими, точно кто приплюснулъ ихъ. Встрѣтилась ей процессія: несли покойника въ открытомъ гробѣ, съ хоругвями.

«Покойника встрѣтить, говорятъ, къ счастью», — подумала она.

На окнахъ того дома, въ которомъ жила когда-то Нина Федоровна, теперь были приклеены бѣлые билетки.

Съ замираниемъ сердца она вѣхала въ свой дворъ и позвонила у двери. Ей отворила незнакомая горничная, полная, заспанная, въ теплой ватной кофтѣ. Идя по лѣстницѣ, Юлія вспомнила, какъ здѣсь объяснился ей въ любви Лаптевъ, но теперь лѣстница была немытая, вся въ слѣдахъ. Наверху, въ холодномъ коридорѣ, ожидали больные въ шубахъ. И почему-то сердце у нея сильно билось и она едва шла отъ волненія.

Докторъ, еще больше пополнѣвшій, красный, какъ кирпичъ, и съ взъерошенными волосами, пилъ чай. Увидѣвъ дочь, онъ очень обрадовался и даже прослезился; она подумала, что въ жизни этого старика она — единственная радость, и, растроганная, крѣпко обняла его и сказала, что будетъ жить у него долго, до Пасхи. Переодѣвшись у себя въ комнатѣ, она пришла въ столовую; чтобы вмѣстѣ пить чай, онъ ходилъ изъ угла въ уголь, засунувъ руки

въ карманы, и шѣль: «ру-ру-ру», — значить, былъ чѣмъ-то недоволенъ.

— Тебѣ въ Москвѣ живется очень весело, — сказали онъ. — Я за тебя очень радъ... Миѣ же, старику, ничего не нужно. Я скоро издохну и освобожу васъ всѣхъ. И надо удивляться, что у меня такая крѣпкая шкура, что я еще живъ! Изумительно!

Онъ сказалъ, что онъ старый, двужилный осель, на которомъ ѣздить всѣ. На него взвалили леченіе Нины Федоровны, заботы объ ея дѣтяхъ, ея похороны; а этотъ хлыщъ Панауровъ ничего знать не хотѣлъ и даже взялъ у него сто рублей займа и до сихъ поръ не отдаетъ.

— Возьми меня въ Москву и посади тамъ въ сумасшедшій домъ! — сказалъ докторъ. — Я сумасшедшій, я наивный ребенокъ, такъ какъ все еще вѣрю въ правду и справедливость!

Затѣмъ онъ упрекалъ ея мужа въ недалковидности: не покупаетъ домовъ, которые продаются такъ выгодно. И теперь ужъ Юліи казалось, что въ жизни этого старика она — не единственная радость. Когда онъ принималъ больныхъ и потомъ уѣхалъ на практику, она ходила по всѣмъ комнатамъ, не зная, что дѣлать и о чемъ думать. Она уже отвыкла отъ родного города и родного дома; ее не тянуло теперь ни на улицу, ни къ знакомымъ, и при воспоминаніи о прежнихъ подругахъ и о дѣвичьей жизни не становилось грустно и не было жаль прошлаго.

Вечеромъ она одѣлась понаряднѣе и пошла ко всенощной. Но въ церкви были только простые люди и ея великолѣпная пуба и шляпка не произвели никакого впечатлѣнія. И казалось ей, будто произошла какая-то перемѣна и въ церкви, и въ ней самой. Прежде она любила, когда во всенощной читали канонъ и пѣвчіе пѣли ирмосы, напримѣръ, «Отверзу уста моя», любила медленно подвигаться въ толпѣ къ священнику, стоящему среди церкви, и потомъ ощущать на

своемъ лбу святой елей, теперь же она ждала только, когда кончится служба. И, выходя изъ церкви, она уже боялась, чтобы у нея не попросили нищѣ; было бы скучно останавливаться и искать карманы, да и въ карманахъ у нея уже не было мѣдныхъ денегъ, а были только рубли.

Легла она въ постель рано, а уснула поздно. Снились ей все какіе-то портреты и похоронная процессія, которую она видѣла утромъ; открытый гробъ съ мертвецомъ внесли во дворъ и остановились у двери, потомъ долго раскачивали гробъ на полотенцахъ и со всего розмаха ударили имъ въ дверь. Юлія проснулась и вскочила въ ужасѣ. Въ самомъ дѣлѣ, внизу стучали въ дверь и проволока отъ звонка шуршала по стѣнѣ, но звонка не было слышно.

Закашлялъ докторъ. Вотъ, слышно, горничная сошла внизъ, потомъ вернулась.

— Барыня! — сказала она и постучала въ дверь. — Барыня!

— Что такое?—спросила Юлія.

— Вамъ телеграмма!

Юлія со свѣчой вышла къ ней. Позади горничной стоялъ докторъ, въ нижнемъ бѣльѣ и пальто, и тоже со свѣчой.

— Звонокъ у насъ испортился, — говорилъ онъ, зѣвая спросонокъ.—Давно бы починить надо.

Юлія распечатала телеграмму и прочла: «Шьемъ ваше здоровье. Ярцевъ, Кочевой».

— Ахъ, какіе дураки! — сказала она и захохотала; на душѣ у нея стало легко и весело.

Вернувшись къ себѣ въ комнату, она тихо умылась, одѣлась, потомъ долго укладывала свои вещи, пока не разсвѣло, а въ полдень уѣхала въ Москву.

## XII.

На Святой недѣлѣ Лаптевы были въ училищѣ живописи на картинной выставкѣ. Отправились они туда всѣмъ до-



момъ; по-московски, взявши съ собой обѣихъ дѣвочекъ, гувернантку и Костю.

Лаптевъ зналъ фамиліи всѣхъ извѣстныхъ художниковъ и не пропускалъ ни одной выставки. Иногда лѣтомъ на дачѣ онъ самъ писалъ красками пейзажи и ему казалось, что у него много вкуса и что если бѣ онъ учился, то изъ него, пожалуй, вышелъ бы хорошій художникъ. За границей онъ заходилъ иногда къ антикваріямъ и съ видомъ знатока осматривалъ древности и высказывалъ свое мнѣніе, покупалъ какую-нибудь вещь, антикварій бралъ съ него, сколько хотѣлъ, и купленная вещь лежала потомъ, забитая въ ящикъ, въ каретномъ сараѣ, пока не исчезала неизвѣстно куда. Или, зайдя въ эстампный магазинъ, онъ долго и внимательно осматривалъ картины, бронзу, дѣлалъ разныя замѣчанія и вдругъ покупалъ какую-нибудь лубочную рамочку или коробку дрянной бумаги. Дома у него были картины все большихъ размѣровъ, но плохія; хорошія же были дурно повѣшены. Случалось ему не разъ платить дорого за вещи, которыя потомъ оказывались грубою поддѣлкой. И замѣчательно, что робкій вообще въ жизни, онъ былъ чрезвычайно смѣлъ и самоувѣренъ на картинныхъ выставкахъ. Отчего?

Юлія Сергѣевна смотрѣла на картины, какъ мужъ, въ кулакъ или бинокль и удивлялась, что люди на картинахъ, какъ живые, а деревья, какъ настоящія; но она не понимала, ей казалось, что на выставкѣ много картинъ одинаковыхъ и что вся цѣль искусства именно въ томъ, чтобы на картинахъ, когда смотришь на нихъ въ кулакъ, люди и предметы выдѣлялись, какъ настоящіе.

— Это лѣсъ Шишкина, — объяснялъ ей мужъ. — Всегда онъ пишетъ одно и то же... А вотъ обрати вниманіе: такого лиловаго снѣга никогда не бываетъ... А у этого мальчика лѣвая рука короче правой.

Когда всѣ утомились, и Лаптевъ пошелъ отыскивать Костю, чтобы ѣхать домой, Юлія остановилась передъ не-

большимъ пейзажемъ и смотрѣла на него равнодушно. На переднемъ планѣ рѣчка, черезъ нее бревенчатый мостикъ, на томъ берегу тропинка, исчезающая въ темной травѣ, поле, потомъ справа кусочекъ лѣса, около него костеръ: должно быть, ночное стерегутъ. А вдали догораетъ вечерняя заря.

Юлія вообразила, какъ она сама идетъ по мостику, потомъ тропинкой, все дальше и дальше, а кругомъ тихо, кричатъ сонные дергачи, вдали мигаетъ огонь. И почему-то вдругъ ей стало казаться, что эти самыя облачка, которыя протянулись по красной части неба, и лѣсъ, и поле, она видѣла уже давно и много разъ, она почувствовала себя одинокой и захотѣлось ей идти, идти и идти по тропинкѣ; и тамъ, гдѣ была вечерняя заря, покоилось отраженіе чего-то неземного, вѣчнаго.

— Какъ это хорошо написано! — проговорила она, удивляясь, что картина стала ей вдругъ понятна. — Посмотри, Алеша! Замѣчайте, какъ тутъ тихо?

Она старалась объяснить, почему такъ нравится ей этотъ пейзажъ, но ни мужъ, ни Костя не понимали ея. Она все смотрѣла на пейзажъ съ грустною улыбкой, и то, что другіе не находили въ немъ ничего особеннаго, волновало ее; потомъ она начала снова ходить по заламъ и осматривать картины, хотѣла понять ихъ, и уже ей не казалось, что на выставкѣ много одинаковыхъ картинъ. Когда она, вернувшись домой, въ первый разъ за все время обратила вниманіе на большую картину, висѣвшую въ залѣ надъ роялемъ, то почувствовала къ ней вражду и сказала:

— Охота же имѣть такія картины!

И послѣ того, золотые карнизы, венеціанскія зеркала съ цвѣтами и картины въ родѣ той, что висѣла надъ роялемъ, а также разсужденія мужа и Кости объ искусствѣ уже возбудили въ ней чувство скуки и досады, и порой даже ненависти.

Жизнь текла обыкновенно, изо дня въ день, не обѣщая ничего особеннаго. Театральный сезонъ уже кончился, наступало теплое время. Погода все время стояла превосходная. Какъ-то утромъ Лаптевы собрались въ окружный судъ послушать Костю, который защищалъ кого-то по назначенію суда. Они замѣшкались дома и пріѣхали въ судъ, когда уже начался допросъ свидѣтелей. Обвинялся запасный рядовой, въ кражѣ со взломомъ. Было много свидѣльницъ-прачекъ; онѣ показывали, что подсудимый часто бывалъ у хозяйки, содержательницы прачешной; подѣ Воздвиженье онъ пришелъ поздно вечеромъ и сталъ просить денегъ, чтобы опохмелиться, но никто ему не далъ; тогда онъ ушелъ, но черезъ часъ вернулся и принесъ съ собой пива и мятныхъ пряниковъ для двѣушекъ. Пили и пѣли пѣсни почти до разсвѣта, а когда утромъ хватились, то замокъ у входа на чердакъ былъ сломанъ и изъ бѣлья пропало: три мужскихъ сорочекъ, юбка и двѣ простыни. Костя у каждой свидѣльницы спрашивалъ насмѣшливо: не пила ли она подѣ Воздвиженье того пива, которое принесъ подсудимый? Очевидно, онъ гнулъ къ тому, что прачки сами себя обокрали. Говорилъ онъ свою рѣчь безъ малѣйшаго волненія, сердито глядя на присяжныхъ.

Онъ объяснялъ, что такое кража со взломомъ и простая кража. Говорилъ очень подробно, убѣдительно, обнаруживая необыкновенную способность говорить долго и серьезнымъ тономъ о томъ, что давно уже всѣмъ извѣстно. И трудно было понять, чего собственно онъ хочетъ? Изъ его длинной рѣчи присяжный засѣдатель могъ сдѣлать только такой выводъ: «взломъ былъ, но кражи не было, такъ какъ бѣлье пропало сами прачки, а если кража была, то безъ взлома». Но, очевидно, онъ говорилъ именно то, что нужно, такъ какъ рѣчь его растрогала присяжныхъ и публику и очень понравилась. Когда вынесли оправдательный приговоръ, Юлія закивала головой Костѣ и нотомъ крѣпко пожала ему руку.

Въ маѣ Лаптевы переѣхали на дачу въ Сокольники. Въ это время Юлія была уже беременна.

### XIII.

Прошло больше года. Въ Сокольникахъ, не далеко отъ полотна Ярославской дороги, сидѣли на травѣ Юлія и Ярцевъ; немного въ сторонѣ лежалъ Кочевой, подложивъ руки подъ голову, и смотрѣлъ на небо. Всѣ трое уже нагулялись и ждали, когда пройдетъ дачный шестичасовой поѣздъ, чтобъ идти домой пить чай.

— Матери видать въ своихъ дѣтяхъ что-то необыкновенное, такъ ужъ природа устроила, — говорила Юлія. — Цѣлые часы мать стоитъ у постельки, смотреть, какіе у ребенка ушки, глаза, носикъ, восхищается. Если кто посторонній цѣлуетъ ея ребенка, то ей, бѣдной, кажется, что это доставляетъ ему большое удовольствіе. И ни о чемъ мать не говоритъ, только о ребенкѣ. Я знаю эту слабость матерей и слѣжу за собой, но, право, моя Оля необыкновенная. Какъ она сметритъ, когда сосетъ! Какъ смѣется! Ей только восемь мѣсяцевъ, но, ей-Богу, такихъ умныхъ глазъ я не видала даже у трехлѣтнихъ.

— Скажите, между прочимъ, — спросилъ Ярцевъ, — кого вы любите больше: мужа, или ребенка?

Юлія пожалала плечами.

— Не знаю, — сказала она. — Я никогда сильно не любила мужа, и Оля — это, въ сущности, моя первая любовь. Вы знаете, я вѣдь не по любви шла за Алексѣя. Прежде я была глупа, страдала, все думала, что погубила и его, и свою жизнь, а теперь вижу, никакой любви не нужно, все вздоръ.

— Но если не любовь, то какое же чувство привязываетъ васъ къ мужу? Отчего вы живете съ нимъ?

— Не знаю... Такъ, привычка, должно быть. Я его уважаю, мнѣ скучно, когда его долго нѣтъ, но это — не любовь.

Онъ умный, честный человекъ, и для моего счастья этого достаточно. Онъ очень добрый, простой...

— Алеша умный, Алеша добрый, — проговорилъ Костя, лѣниво поднимая голову, — но, милая моя, чтобы узнать, что онъ умный, добрый и интересный, нужно съ нимъ три пуда соли съѣсть... И какой толкъ въ его добротѣ, или въ его умѣ? Денегъ онъ вамъ отвалитъ сколько угодно, это онъ можетъ, но гдѣ нужно употребить характеръ, дать отпоръ наглцу и нахалу, тамъ онъ конфузится и падаетъ духомъ. Такіе люди, какъ вашъ любезный Алексисъ, прекрасные люди, но для борьбы они совершенно не годны. Да и вообще ни на что не годны.

Наконецъ, показался поѣздъ. Изъ трубы валилъ и поднимался надъ рощей совершенно розовый паръ и два окна въ послѣднемъ вагонѣ вдругъ блеснули отъ солнца такъ ярко, что было больно смотрѣть.

— Чай пить! — сказала Юлія Сергѣевна, поднимаясь.

Она въ послѣднее время пополнѣла и походка у нея была уже дамская, немножко лѣнивая.

— А все-таки безъ любви не хорошо, — сказалъ Ярцевъ, идя за ней. — Мы все только говоримъ и читаемъ о любви, но сами мало любимъ, а это, право, не хорошо.

— Все это пустяки, Иванъ Гаврилычъ, — сказала Юлія. — Не въ этомъ счастье.

Чай пили въ садикѣ, гдѣ цвѣли резеда, левкой, табакъ и уже распускались ранніе шпажники. Ярцевъ и Кочевой по лицу Юліи Сергѣевны видѣли, что она переживаетъ счастливое время душевнаго спокойствія и равновѣсія, что ей ничего не нужно, кромѣ того, что уже есть, и у нихъ самихъ становилось на душѣ покойно, славно. Кто бы что ни сказалъ, все выходило кстати и умно. Сосны были прекрасны, пахло смолой чудесно, какъ никогда раньше, и сливки были очень вкусны, и Саша была умная, хорошая дѣвочка...

Послѣ чаю Ярцевъ пѣлъ романсы, аккомпанируя себѣ на роялѣ, а Юлія и Кочевой сидѣли молча и слушали, и только Юлія изрѣдка вставала и тихо выходила, чтобы взглянуть на ребенка и на Лиду, которая вотъ уже два дня лежала вся въ жару и ничего не ѣла.

— «Мой другъ, мой нѣжный другъ», — пѣлъ Ярцевъ, — Нѣтъ, господа, хоть зарѣжьте, — сказалъ онъ и встряхнулъ головой, — не понимаю, почему вы противъ любви! Если бъ я не былъ занятъ пятнадцать часовъ въ сутки, то непременно бы влюбился.

Ужинать накрыли на террасѣ; было тепло и тихо, но Юлія куталась въ платокъ и жаловалась на сырость. Когда потемнѣло, ей почему-то стало не по себѣ, она все вздрагивала и упрасивала гостей посидѣть подольше; она угощала ихъ виномъ и послѣ ужина приказала подать коньяку, чтобы они не уходили. Ей не хотѣлось оставаться одной съ дѣтьми и прислугой.

— Мы, дачницы, затѣваемъ здѣсь спектакль для дѣтей, — сказала она. — Уже все есть у насъ — и театръ, и актеры, остановка только за пьесой. Прислали намъ десятка два разныхъ пьесъ, но ни одна не годится. Вотъ вы любите театръ и хорошо знаете исторію, — обратилась она къ Ярцеву, — напишите-ка намъ историческую пьесу.

— Что жъ, это можно.

Гости выпили весь коньякъ и собрались уходить. Былъ уже одиннадцатый часъ, а по-дачному это поздно.

— Какъ темно, зги не видать! — говорила Юлія, провожая ихъ за ворота. — И не знаю, какъ вы, господа, дойдете. Но, однако, холодно!

Она укуталась плотнѣе и пошла назадъ къ крыльцу.

— А мой Алексѣй, должно быть, гдѣ-нибудь въ карты играетъ! — крикнула она. — Спокойной ночи!

Послѣ свѣтлыхъ комнатъ не было ничего видно. Ярцевъ

и Кости ошунью, какъ слѣдые, добрались до подотна желѣзной дороги и перещли его.

— Ни черта не видать, — сказалъ Костя басомъ, останавливаясь, и поглядѣлъ на небо. — А звѣзды-то, звѣзды, точно новенькіе пятиалтынные! Гаврилычъ!

— А?—отозвался гдѣ-то Ярцевъ,

— Я говорю: не видать ничего. Гдѣ вы?

Ярцевъ, посвистывая, подошелъ къ нему и взялъ его подъ руку.

— Эй, дачники!—вдругъ закричалъ Костя во все горло.— Соціалиста поймали!

На-веселѣ онъ всегда былъ очень безпокоенъ, кричалъ, придирался къ городovýmъ и извозчикамъ, пѣлъ, неистово хохоталъ.

— Природа, чертъ бы тебя подралъ!—закричалъ онъ,

— Ну, ну,—упималъ его Ярцевъ.—Не надо этого. Прошу васъ,

Скоро пріятели освоились съ цотемками и стали различать силуэты высокихъ сосенъ и телеграфныхъ столбовъ. Съ московскихъ вокзаловъ доносились изрѣдка свистки и жалобно гудѣли проволоки. Самая же роца не издавала ни звука, и въ этомъ молчаніи чувствовалось что-то гордое, сильное, таинственное, и теперь ночью казалось, что верхушки сосенъ почти касаются неба. Пріятели отыскали свою прѣську и пошли по ней. Было тутъ совсѣмъ темно, и только по длинной полосѣ неба, усѣянной звѣздами, да по тому, что подъ ногами была утоптанная земля, они знали, что идутъ по аллеѣ. Шли рядомъ молча и обомъ чудилось, будто навстрѣчу имъ идутъ какіе-то люди. Хмельное настроеніе покинуло ихъ. Ярцеву пришло въ голову, что, быть можетъ, въ этой роцѣ посятся теперь души московскихъ царей, бояръ и патріарховъ, и хотѣлъ сказать это Костѣ, но удержался.

Когда вышли къ заставѣ, на небѣ чуть брезжило. Про-

долгая молчать, Ярцевъ и Кочевой или по мостовой мимо дешевыхъ дачъ, трактировъ, лѣнныхъ складовъ; подъ мостомъ соединительной вѣтви ихъ прохватила сырость, пріятная, съ запахомъ липы, и потомъ открылась широкая длинная улица и на ней ни души, ни огня... Когда дошли до Краснаго пруда, уже свѣтало.

— Москва — это городъ, которому придется еще много страдать, — сказалъ Ярцевъ, глядя на Алексѣевскій монастырь.

— Что это вамъ пришло въ голову?

— Такъ. Люблю я Москву.

И Ярцевъ, и Костя родились въ Москвѣ и обожали ея, и относились почему-то враждебно къ другимъ городамъ; они были убѣждены, что Москва—замѣчательный городъ, а Россія—замѣчательная страна. Въ Крыму, на Кавказѣ и за границей имъ было скучно, неуютно, неудобно, и свою сѣренькую московскую погоду они находили самой пріятной и здоровой. Дни, когда въ окна стучитъ холодный дождь и рано наступаютъ сумерки, и стѣны домовъ и церквей принимаютъ бурый, печальный цвѣтъ, и когда, выходя на улицу, не знаешь, что надѣтъ, — такіе дни пріятно возбуждали ихъ.

Наконецъ, около вокзала они наняли извозчика.

— Въ самомъ дѣлѣ, хорошо бы написать историческую пьесу,—сказалъ Ярцевъ,—но, знаете, безъ Ляпуновыхъ и безъ Годуновыхъ, а изъ временъ Ярослава или Мономаха... Я ненавижу русскія историческія пьесы всѣ, кромѣ монолога Пимена. Когда имѣешь дѣло съ какимъ-нибудь историческимъ источникомъ и когда читаешь даже учебникъ русской исторіи, то кажется, что въ Россіи все необыкновенно талантливо, даровито и интересно, но когда я смотрю въ театрѣ историческую пьесу, то русская жизнь начинаетъ казаться мнѣ бездарной, нездоровой, не оригинальной.

Около Дмитровки пріятель разстался и Ярцевъ поѣхалъ



дальше къ себѣ на Никитскую. Онъ дремалъ, покачивался и все думалъ о пьесѣ. Вдругъ онъ вообразилъ страшный шумъ, лязганье, крики на какомъ-то непонятномъ, точно бы калмыцкомъ языкѣ; и какая-то деревня, вся охваченная пламенемъ, и сосѣдніе лѣса, покрытые инеемъ и нѣжно-розовые отъ пожара, видны далеко кругомъ и такъ ясно, что можно различить каждую елочку; какіе-то дикіе люди, конные и пѣшіе, носятся по деревнѣ, ихъ лошади и они сами такъ же багровы, какъ зарево на небѣ.

«Это половцы»,—думаетъ Ярцевъ.

Одинъ изъ нихъ—старый, страшный, съ окровавленнымъ лицомъ, весь обожженный—привязываетъ къ сѣдлу молодую дѣвушку съ бѣлымъ русскимъ лицомъ. Старикъ о чемъ-то неистово кричитъ, а дѣвушка смотритъ печально, умно... Ярцевъ встряхнулъ головой и проснулся.

— «Мой другъ, мой нѣжный другъ»...—загѣлъ онъ.

Расплачиваясь съ извозчикомъ и потомъ поднимаясь къ себѣ по лѣстницѣ, онъ все никакъ не могъ очнуться, и видѣлъ, какъ пламя перешло на деревья, затрещалъ и задымилъ лѣсъ; громадный дикій кабанъ, обезумѣвшій отъ ужаса, неся по деревнѣ... А дѣвушка, привязанная къ сѣдлу, все смотрѣла.

Когда онъ вошелъ къ себѣ въ комнату, то было уже свѣтло. На роялѣ около раскрытыхъ нотъ догорали двѣ свѣчи. На диванѣ лежала Разсудина въ черномъ платьѣ, въ кушакѣ, съ газетой въ рукахъ и крѣпко спала. Должно быть, играла долго, ожидая, когда вернется Ярцевъ, и, не дождавшись, уснула.

«Эка, умаялась!»—подумалъ онъ.

Осторожно вынуть у нея изъ рукъ газету, онъ укрылъ ее пледомъ, потушилъ свѣчи и пошелъ къ себѣ въ спальню. Ложась, онъ думалъ объ исторической пьесѣ и изъ головы у него все не выходилъ мотивъ: «Мой другъ, мой нѣжный другъ»...

Черезъ два дня завѣзжалъ къ нему на минутку Лаптевъ сказать, что Лида заболѣла дифтеритомъ и что отъ нея заразились Юлія Сергѣевна и ребенокъ, а еще черезъ пять дней пришло извѣстіе, что Лида и Юлія выздоравливаютъ, а ребенокъ умеръ, и что Лаптевы бѣжали изъ своей сокольницкой дачи въ городъ.

#### XIV,

Лаптеву было уже непріятно оставаться подолгу дома. Жена его часто уходила во флигель, говоря, что ей нужно заняться съ дѣвочками, но онъ зналъ, что она ходить туда не заниматься, а плакать у Кости. Былъ девятый день, потомъ двадцатый, потомъ сороковой, и все нужно было ѣздить на Алексѣевское кладбище слушать панихиду и потомъ томиться цѣлыя сутки, думать только объ этомъ несчастномъ ребенкѣ и говорить женѣ въ утѣшеніе разныя пошлости. Онъ уже рѣдко бывалъ въ амбарѣ и занимался только благотворительностью, придумывая для себя разныя заботы и хлопоты, и бывалъ радъ, когда случалось изъ-за какого-нибудь пустяка проѣздить цѣлый день. Въ последнее время онъ собирался ѣхать за границу, чтобы познакомиться тамъ съ устройствомъ ночлежныхъ пріютовъ, и эта мысль теперь развлекала его.

Былъ осенній день, Юлія только что пошла во флигель плакать, а Лаптевъ лежалъ въ кабинетѣ на диванѣ и придумывалъ, куда бы уйти. Какъ разъ въ это время, Петръ доложилъ, что пришла Разсудина. Лаптевъ обрадовался очень, вскочилъ и пошелъ навстрѣчу неожиданной гостьѣ, своей бывшей подругѣ, о которой онъ уже почти сталъ забывать. Съ того вечера, какъ онъ видѣлъ ее въ послѣдній разъ, она нисколько не измѣнилась и была все такаи же.

— Полина!—сказалъ онъ, протягивая къ ней обѣ руки.—

Сколько зимъ, сколько лѣтъ! Если бъ вы знали, какъ я радъ васъ видѣть! Милости просимъ!

Разсудина, здороваясь, рванула его за руку и, не снимая пальто и шляпы, вошла въ кабинетъ и сѣла.

— Я къ вамъ на одну минуту,—сказала она.—О пустякахъ мнѣ разговаривать некогда. Извольте сѣсть и слушать. Радъ вы меня видѣть или не рады, для меня рѣшительно все равно, такъ какъ милостивое вниманіе ко мнѣ господъ мужчинъ я не ставлю ни въ грошъ. Если же я пришла къ вамъ, то потому, что была сегодня уже въ пяти мѣстахъ и вездѣ получила отказъ, между тѣмъ дѣло неотложное. Слушайте,—продолжала она, глядя ему въ глаза,—пять знакомыхъ студентовъ, люди ограниченные и безтолковые, но несомнѣнно бѣдные, не внесли платы и ихъ теперь исключаютъ. Ваше богатство налагаетъ на васъ обязанность поѣхать сейчасъ же въ университетъ и заплатить за нихъ.

— Съ удовольствіемъ, Полина.

— Вотъ вамъ ихъ фамиліи,—сказала Разсудина, подавая Лаптеву записку.—Поѣзжайте сію же минуту, а наслаждаться семейнымъ счастьемъ успеете послѣ.

Въ это время за дверью, ведущею въ гостиную, послышался какой-то шорохъ: должно быть, чесалась собака. Разсудина покраснѣла и вскочила.

— Ваша дульцинея насъ подслушиваетъ!—сказала она.— Это гадко!

Лаптеву стало обидно за Юлію.

— Ея здѣсь нѣтъ, она во флигелѣ,—сказалъ онъ.—И не говорите о ней такъ. У насъ умеръ ребенокъ, и она теперь въ ужасномъ горѣ.

— Можете успокоить ее,—усмѣхнулась Разсудина, опять сядя,—будетъ еще цѣлый десятокъ. Чтобы родить дѣтей, кому ума не доставало?

Лаптевъ вспомнилъ, что это самое или нѣчто подобное онъ слышалъ уже много разъ когда-то давно, и на него

пахнуло поэзіей минувшаго, свободой одинокой, холостой жизни, когда ему казалось, что онъ молодъ и можетъ все, что хочетъ, и когда не было любви къ женѣ и воспоминаній о ребенкѣ.

— Поѣдемте вмѣстѣ,—сказаль онъ; потягиваясь.

Когда пріѣхали въ университетъ, Разсудина осталась ждать у воротъ, а Лаптевъ пошелъ въ канцелярію; немного погодя онъ вернулся и вручилъ Разсудиной пять квитанцій.

— Вы теперь куда?—спросилъ онъ.

— Къ Ярцеву.

— И я съ вами.

— Но вѣдь вы будете мѣшать ему работать.

— Нѣтъ, увѣряю васъ!—сказаль онъ и посмотрѣль на нее умоляюще.

На ней была черная, точно траурная шляпка съ креповою отдѣлкой и очень короткое поношенное пальто, въ которомъ оттопырились карманы. Носъ у нея казался длиннѣе, чѣмъ былъ раньше, и на лицѣ не было ни кровинки, несмотря на холодъ. Лаптеву было пріятно идти за ней, повиноваться ей и слушать ея ворчаніе. Онъ шелъ и думаль про нее: какова, должно быть, внутренняя сила у этой женщины, если, будучи такою некрасивой, угловатой, безпокойной, не умѣя одѣться порядочно, всегда неряшливо причесанная и всегда какая-то нескладная, она все-таки обаятельна.

Къ Ярцеву прошли они чернымъ ходомъ, черезъ кухню; гдѣ встрѣтила ихъ кухарка, чистенькая старушка съ сѣдыми кудрями; она очень сконфузилась, сладко улыбнулась, причемъ ея маленькое лицо стало похоже на пирожное, и сказала:

— Пожалуйте-съ.

Ярцева дома не было. Разсудина сѣла за рояль и принялась за скучные, трудные экзерцисы, приказавъ Лаптеву не мѣшать ей. И онъ не развлекаль ее разговорами, а сидѣль въ сторонѣ и перелистываль «Вѣстникъ Европы».

Пронравъ два часа, — это была ея дневная порція, — она пошла чего-то въ кухню и ушла на уроки. Лаптевъ прочелъ продолженіе какого-то романа, потомъ долго сидѣлъ, не читая и не испытывая скуки и довольный, что уже опоздалъ домой къ обѣду.

— Га-га-га! — слышался смѣхъ Ярцева, и вошелъ онъ самъ, здоровый, бодрый, краснощекий, въ новенькомъ фракѣ со свѣтлыми пуговицами, — га-га-га!

Пріятели пообѣдали вмѣстѣ. Потомъ Лаптевъ легъ на диванъ, а Ярцевъ сѣлъ около и закурилъ сигарку. Наступили сумерки.

— Я, должно-быть, начинаю старѣть, — сказалъ Лаптевъ. — Съ тѣхъ поръ, какъ умерла сестра Нина, я почему-то сталъ часто подумывать о смерти.

Заговорили о смерти, о безсмертіи души, о томъ, что хорошо бы въ самомъ дѣлѣ воскреснуть и потомъ полетѣть куда-нибудь на Марсъ, быть вѣчно празднымъ и счастливымъ, а, главное, мыслить какъ-нибудь особенно, не по-земному.

— А не хочется умирать, — тихо сказалъ Ярцевъ. — Никакая философія не можетъ помирить меня со смертью, и я смотрю на нее просто какъ на гибель. Жить хочется.

— Вы любите жизнь, Гаврилычъ?

— Да, люблю.

— А вотъ я никакъ не могу понять себя въ этомъ отношеніи. У меня то мрачное настроеніе, то безразличное. Я робокъ, не увѣренъ въ себѣ, у меня трусливая совѣсть, я никакъ не могу приспособиться къ жизни, стать ея господиномъ. Иной говоритъ глупости или плутуетъ, и такъ жизнерадостно, я же, случается, сознательно дѣлаю добро и испытываю при этомъ только беспокойство или полнѣйшее равнодушіе. Все это, Гаврилычъ, объясняю я тѣмъ, что я рабъ, внукъ крѣпостного. Прежде тѣмъ мы, чумазы, вы-

бьемся на настоящую дорогу, много нашего брата ляжетъ костями!

Все это хорошо, голубчикъ, — сказали Ярцевъ и вздохнули. — Это только показываетъ лишній разъ, какъ богата, разнообразна русская жизнь. Ахъ, какъ богата! Знаете, я съ каждымъ днемъ все болѣе убѣждаюсь, что мы живемъ наканунѣ величайшаго торжества, и мнѣ хотѣлось бы дожить, самому участвовать. Хотите вѣрите, хотите нѣтъ, но, по моему, подрастаетъ теперь замѣчательное поколѣніе. Когда я занимаюсь съ дѣтьми, особенно съ дѣвочками, то испытываю наслажденіе. Чудесныя дѣти!

Ярцевъ подошелъ къ роялю и взялъ аккорды.

— Я химикъ, мыслю химически и умру химикомъ, — продолжалъ онъ. — Но я жажду, я боюсь, что умру не насытившись; и мнѣ мало одной химіи, я хватаюсь за русскую исторію, исторію искусствъ, педагогію, музыку... Какъ-то лѣтомъ ваша жена сказала, чтобы я написалъ историческую пьесу, и теперь мнѣ хочется писать, писать; такъ бы, кажется, просидѣлъ трое сутокъ, не вставая, и все писалъ бы. Образы истомили меня, въ головѣ тѣснота, и я чувствую, какъ въ мозгу моемъ бьется пульсъ. Я вовсе не хочу, чтобы изъ меня вышло что-нибудь особенное, чтобы я создалъ великое, а мнѣ просто хочется жить, мечтать, надѣяться, всюду поспѣвать... Жизнь, голубчикъ, коротка и надо прожить ее получше.

Послѣ этой дружеской бесѣды, которая кончилась только въ полночь, Лаптевъ сталъ бывать у Ярцева почти каждый день. Его тянуло къ нему. Обыкновенно онъ приходилъ передъ вечеромъ, ложился и ждалъ его прихода терпѣливо, не ощущая ни малѣйшей скуки. Ярцевъ, вернувшись со службы и пообедавъ, садился за работу, но Лаптевъ задавалъ ему какой-нибудь вопросъ, начинался разговоръ, было ужъ не до работы, а въ полночь пріятели разставались, очень довольные другъ другомъ.

Но это продолжалось не долго. Какъ-то прийдя къ Ярцеву, Лаптевъ засталъ у него одну Разсудину, которая сидѣла за роялемъ и играла свои экзерцисы. Она посмотрѣла на него холодно, почти враждебно, и спросила, не подавая ему руки:

— Скажите, пожалуйста, когда этому будетъ конецъ?

— Чему этому?—спросилъ Лаптевъ, не понимая.

— Вы ходите сюда каждый день и мѣшаете Ярцеву работать. Ярцевъ не купчишка, а ученый, каждая минута его жизни драгоцѣнна. Надо же понимать и имѣть хотя немножко деликатности!

— Если вы находите, что я мѣшаю, — сказалъ Лаптевъ кротко, смутившись, — то я прекращу свои посѣщенія.

— И прекрасно. Уходите же, а то онъ можетъ сейчасъ придти и застать васъ здѣсь.

Тонъ, какимъ это было сказано, и равнодушные глаза Разсудиной окончательно смутили его. У нея уже не было никакихъ чувствъ къ нему, кромѣ желанія, чтобы онъ поскорѣе ушелъ, — и какъ это не было похоже на прежнюю любовь! Онъ вышелъ, не пожавъ ей руки, и казалось ему, что она окликнетъ его и позоветъ назадъ, но послышались опять гаммы, и онъ, медленно спускаясь по лѣстницѣ, понимая, что онъ уже чужой для нея.

Дня черезъ три пришелъ къ нему Ярцевъ, чтобы вмѣстѣ провести вечеръ.

— А у меня новость, — сказалъ онъ и засмѣялся. — Полина Николаевна перебралась ко мнѣ совсѣмъ. — Онъ немножко смутился и продолжалъ вполголоса: — Что жѣ? Конечно, мы не влюблены другъ въ друга, но, я думаю, это... это все равно. Я радъ, что могу дать ей пріютъ и покой и возможность не работать въ случаѣ, если она заболѣетъ, ей же кажется, что оттого, что она соплась со мной, въ моей жизни будетъ больше порядка и что подъ ея вліяніемъ я сдѣлаюсь великимъ ученымъ. Такъ она думаетъ. И пускай

себѣ думаетъ. У южанъ есть поговорка: дурень думкой богачѣе. Га-га-га!

Лаптевъ молчалъ. Ярцевъ прошелся по кабинету, посмотрѣлъ на картины, которыя онъ уже видѣлъ много разъ раньше, и сказалъ, вздыхалъ:

— Да, другъ мой. Я старше васъ на три года и мнѣ уже поздно думать о настоящей любви и, въ сущности, такая женщина, какъ Полина Николаевна, для меня находка и, конечно, я проживу съ ней благополучно до самой старости, но, чортъ его знаетъ, все чего-то жалко, все чего-то хочется и все кажется мнѣ, будто я лежу въ долинѣ Дагестана и снится мнѣ балъ. Однимъ словомъ, никогда человѣкъ не бываетъ доволенъ тѣмъ, что у него есть. Онъ пошелъ въ гостиную и, какъ ни въ чемъ не бывало, прѣлъ романсы, а Лаптевъ сидѣлъ у себя въ кабинетѣ, закрывши глаза, старался понять, почему Разсудина сошлась съ Ярцевымъ. А потомъ онъ все грустилъ, что нѣтъ прочныхъ, постоянныхъ привязанностей, и ему было досадно, что Полина Николаевна сошлась съ Ярцевымъ, и досадно на себя, что чувство его къ женѣ было уже совсѣмъ не то, что раньше.

## XV.

Лаптевъ сидѣлъ въ креслѣ и читалъ, покачиваясь; Юлія была тутъ же въ кабинетѣ и тоже читала. Казалось, говорить было не о чемъ и оба съ утра молчали. Изрѣдка онъ посматривалъ на нее черезъ книгу и думалъ: женишься по страстной любви или совсѣмъ безъ любви,—не все ли равно? И то время, когда онъ ревновалъ, волновался, страдалъ, представлялось ему теперь далекимъ. Онъ успѣлъ уже побывать за границей, и теперь отдыхалъ отъ поѣздки и рассчитывалъ съ наступленіемъ весны опять поѣхать въ Англію, гдѣ ему очень понравилось.

А Юлія Сергѣевна привыкла къ своему горю, уже не



ходила во флигель плакать. Въ эту зиму она уже не ѣздила по магазинамъ, не бывала въ театрахъ и на концертахъ, а оставалась дома. Она не любила большихъ комнатъ, и всегда была или въ кабинетѣ мужа, или у себя въ комнатѣ, гдѣ у нея были кюты, полученные въ приданое; и висѣлъ на стѣнѣ тотъ самый пейзажъ, который такъ понравился ей на выставкѣ. Денегъ на себя она почти не тратила и проживала теперь такъ же мало, какъ когда-то въ домѣ отца.

Зима протекала не весело. Вездѣ въ Москвѣ играли въ карты, но если вмѣсто этого придумывали какое-нибудь другое развлеченіе, напримѣръ, пѣли, читали, рисовали, то выходило еще скучнѣе. И оттого, что въ Москвѣ было мало талантливыхъ людей и на всѣхъ вечерахъ участвовали все Одни и тѣ же пѣвцы и чтецы, само наслажденіе искусствомъ мало-по-малу пріѣлось и превратилось для многихъ въ скучную, однообразную обязанность.

Къ тому же, у Лаптевыхъ не проходило ни одного дня безъ огорченій. Старикъ Ѳедоръ Степанычъ видѣлъ очень плохо и уже не бывалъ въ амбарѣ, и глазные врачи говорили, что онъ скоро ослѣпнетъ; Ѳедоръ тоже почему-то пересталъ бывать въ амбарѣ, а сидѣлъ все время дома и что-то писалъ. Панауровъ получилъ переводъ въ другой городъ съ производствомъ въ дѣйствительные статскіе совѣтники и теперь жилъ въ «Дрезденѣ» и почти каждый день пріѣзжалъ къ Лаптеву просить денегъ. Кишъ, наконецъ, вышелъ изъ университета и, въ ожиданіи, пока Лаптевы найдутъ ему какую-нибудь должность, просиживалъ у нихъ по цѣлымъ днямъ, рассказывая длинныя, скучныя исторіи. Все это раздражало и утомляло и дѣлало будничную жизнь неприятной.

Вошелъ въ кабинетъ Петръ и доложилъ, что пришла какая-то незнакомая дама. На карточкѣ, которую онъ подалъ, было: «Жозефина Іосифовна Миланъ».

Юлія Сергѣевна лѣниво поднялась и вышла, слегка прихрамывая, такъ какъ отсидѣла ногу. Въ дверяхъ показалась дама, худая, очень блѣдная, съ темными бровями, одѣтая во все черное. Она сжала на груди руки и проговорила съ мольбой:

— Мосѣ Лаптевъ, спасите моихъ дѣтей!

Звонъ браслетовъ и лицо съ пятнами пудры Лаптеву уже были знакомы; онъ узналъ ту самую даму, у которой какъ-то передъ свадьбой ему пришлось такъ некстати побѣдять. Это была вторая жена Панаурова.

— Спасите моихъ дѣтей!—повторила она и лицо ея задрожало и стало вдругъ старымъ и жалкимъ, и глаза покраснѣли.—Только вы одинъ можете спасти насъ, и я приѣхала къ вамъ въ Москву на послѣднія деньги! Дѣти мои умрутъ съ голоду!

Она сдѣлала такое движеніе, какъ будто хотѣла стать на колѣни. Лаптевъ испугался и схватилъ ее за руки повыше локтей.

— Садитесь, садитесь...—бормоталъ онъ, усаживая ее.—  
Прошу васъ, садитесь.

— У насъ теперь нѣтъ денегъ, чтобы купить себѣ хлѣба, — сказала она. — Григорій Николаичъ увѣжаетъ на новую должность, но меня съ дѣтьми не хочетъ брать съ собой, и тѣ деньги, которыя вы, великодушный человекъ, присылали намъ, тратить только на себя. Что же намъ дѣлать? Что? Бѣдныя, несчастныя дѣти!

— Успокойтесь, прошу васъ. Я прикажу въ конторѣ, чтобы эти деньги высылали на ваше имя.

Она зарыдала, потомъ успокоилась, и онъ замѣтилъ, что отъ слезъ у нея по напудреннымъ щекамъ пошли дорожки и что у нея растутъ усы.

— Вы великодушны безъ конца, мосѣ Лаптевъ. Но будьте нашимъ ангеломъ, нашу добрую феей, уговорите Григорія Николаича, чтобы онъ не покидалъ меня, а

взять съ собой. Вѣдь я его люблю, люблю безумно, онъ моя отрада.

Лаптевъ далъ ей сто рублей и пообѣщаль поговорить съ Панауровымъ и, провожая до передней, все боялся, какъ бы она не зарыдала или не стала на колѣни.

Послѣ нея пришелъ Кишъ. Потомъ пришелъ Кюстя съ фотографическимъ аппаратомъ. Въ послѣднее время онъ увлекался фотографіей и каждый день по нѣскольку разъ снималъ всѣхъ въ домѣ; и это новое занятіе приносило ему много огорченій, и онъ даже похудѣлъ.

Передъ вечернимъ чаемъ пришелъ Федоръ. Сѣвши въ кабинетѣ въ уголь, онъ раскрылъ книгу и долго смотрѣлъ все въ одну страницу, повидимому; не читая. Потомъ долго пилъ чай; лицо у него было красное. Въ его присутствіи Лаптевъ чувствовалъ на душѣ тяжесть; даже молчаніе его было ему непріятно.

— Можешь поздравить Россію съ новымъ публицистомъ, — сказалъ Федоръ. — Впрочемъ, шутки въ сторону, разрѣшился, братъ, я одною статеечкой, проба пера, такъ сказать, и принесть тебѣ показать. Прочти, голубчикъ, и скажи свое мнѣніе. Только искренно.

Онъ вынулъ изъ кармана тетрадку и подалъ ее брату. Статья называлась такъ: «Русская душа»; написана она была скучно, безцвѣтнымъ слогомъ, какимъ пишутъ обыкновенно неталантливые, втайнѣ самолюбивые люди, и главная мысль ея была такая: интеллигентный человекъ имѣетъ право не вѣрить въ сверхъестественное, но онъ обязанъ скрывать это свое невѣріе, чтобы не производить соблазна и не колебать въ людяхъ вѣры; безъ вѣры нѣтъ идеализма, а идеализму предопредѣлено спасти Европу и указать человечеству настоящій путь.

— Но тутъ ты не пишешь, отъ чего надо спасать Европу, — сказалъ Лаптевъ.

— Это понятно само собой.

— Ничего не понятно,—сказалъ Лаптевъ и прошелся въ волненіи. — Не понятно, для чего это ты написалъ. Впрочемъ, это твоё дѣло.

— Хочу издать отдѣльною брошюрой.

— Это твоё дѣло.

Помолчали минуто. Федоръ вдохнулъ и сказалъ:

— Глубоко, безконечно жаль, что мы съ тобой разно мыслятъ. Ахъ, Алеша, Алеша, братъ мой милый! Мы съ тобой люди русскіе, православные, широкіе люди; къ лицу ли намъ съ эти нѣмецкія и жидовскія идеишки? Вѣдь мы съ тобой не прохвосты какіе-нибудь, а представители именитаго купеческаго рода.

— Какой тамъ именитый родъ? — проговорилъ Лаптевъ, сдерживая раздраженіе. — Именитый родъ! Дѣда нашего помѣщики драли и каждый послѣдній чиновничиска билъ его въ морду. Отца дралъ дѣдъ, меня и тебя дралъ отецъ. Что намъ съ тобой дать этотъ твой именитый родъ? Какіе нервы и какую кровь мы получили въ наслѣдство? Ты вотъ уже почти три года разсуждаешь, какъ дьячокъ, говоришь всякій вздоръ и вотъ написалъ,—вѣдь, это холопскій бредъ! А я, а я? Посмотри на меня... Ни гибкости, ни смѣлости, ни сильной воли; я боюсь за каждый свой шагъ, точно меня выпорютъ, я робѣю передъ ничтожествами, идіотами, скотами, стоящими неизмѣримо ниже меня умственно и нравственно; я боюсь дворниковъ, швейцаровъ, городовыхъ, жандармовъ, я всѣхъ боюсь, потому что я родился отъ затравленной матери, съ дѣтства я забитъ и запуганъ!.. Мы съ тобой хорошо сдѣлаемъ, если не будемъ имѣть дѣтей. О, если бы далъ Богъ, нами кончился бы этотъ именитый купеческій родъ!

Въ кабинетъ вошла Юлія Сергѣевна и сѣла у стола.

— Вы о чемъ-то тутъ спорили? — сказала она. — Я не помѣшала?

— Нѣтъ, сестреночка, — отвѣтилъ Федоръ, — разговоръ у

насть принципиальный. Вотъ ты говоришь: такой-сякой родъ, — обратился онъ къ брату, — однакоже, этотъ родъ создалъ миллионное дѣло. Это чего-нибудь да стоить!

— Велика важность — миллионное дѣло! Человѣкъ безъ особеннаго ума, безъ способностей случайно становится торговашомъ, потомъ богачомъ, торгуетъ изо дня въ день, безъ всякой системы, безъ цѣли, не имѣя даже жадности къ деньгамъ, торгуетъ машинально, и деньги сами идутъ къ нему, а не онъ къ нимъ. Онъ всю жизнь сидитъ у дѣла и любить его потому только, что можетъ начальствовать надъ приказчиками, издѣваться надъ покупателями. Онъ старостой въ церкви потому, что тамъ можно начальствовать надъ лѣвчими и гнуть ихъ въ дугу; онъ попечитель школы потому, что ему нравится сознавать, что учитель — его подчиненный и что онъ можетъ разыгрывать передъ нимъ начальство. Купецъ любить не торговать, а начальствовать, и вашъ амбаръ не торговое учрежденіе, а застѣнокъ! Да, для такой торговли, какъ ваша, нужны приказчики обезличенные, обездоленные, и вы сами приготовляете себѣ такихъ, заставляя ихъ съ дѣтства кланяться вамъ въ ноги за кусокъ хлѣба, и съ дѣтства вы приучаете ихъ къ мысли, что вы — ихъ благодѣтели. Небось вотъ университетскаго человѣка ты въ амбаръ къ себѣ не возьмешь!

— Университетскіе люди для нашего дѣла не годятся.

— Неправда! — крикнулъ Лаптевъ. — Ложь!

— Извини, мнѣ кажется, ты плюешь въ колодезь, изъ котораго пьешь, — сказалъ Федоръ и всталъ. — Наше дѣло тебѣ ненавистно, однакоже ты пользуешься его доходами.

— Ага, договорились! — сказалъ Лаптевъ и засмѣялся, сердито глядя на брата. — Да, не принадлежи я къ вашему именитому роду, будь у меня хоть на грошъ воли и смѣлости, я давно бы швырнулъ отъ себя эти доходы и пошелъ бы зарабатывать себѣ хлѣбъ. Но вы въ своемъ амбарѣ съ дѣтства обезличили меня! Я вашъ!

Федоръ взглянулъ на часы и сталъ торопливо прощаться. Онъ поцѣловалъ руку у Юліи и вышелъ, но, вмѣсто того, чтобы идти въ переднюю, прошелъ въ гостиную, потомъ въ спальню.

— Я забылъ расположеіе комнатъ, — сказалъ онъ въ сильномъ замѣшательствѣ. — Странный домъ. Не правда ли, странный домъ?

Когда онъ надѣвалъ шубу, то былъ будто ошеломленъ, и лицо его выражало боль. Лаптевъ уже не чувствовалъ гнѣва; онъ испугался и въ то же время ему стало жаль Федора, и та теплая, хорошая любовь къ брату, которая, казалось, погасла въ немъ въ эти три года, теперь проснулась въ его груди и онъ почувствовалъ сильное желаніе выразить эту любовь.

— Ты, Федя, приходи завтра къ намъ обѣдать, — сказалъ онъ и погладилъ его по плечу. — Придешь?

— Да, да. Но дайте мнѣ воды.

Лаптевъ самъ побѣжалъ въ столовую, взялъ въ буфетѣ, что первое попало ему подъ руки, — это была высокая пивная кружка, — налилъ воды и принесъ брату. Федоръ сталъ жадно пить, но вдругъ укусилъ кружку, послышался скрежетъ, потомъ рыданіе. Вода полилась на шубу, на свертукъ. И Лаптевъ, никогда раньше не видавшій плачущихъ мужчинъ, въ смущеніи и испугѣ, стоялъ и не зналъ, что дѣлать. Онъ растерянно смотрѣлъ, какъ Юлія и горничная сняли съ Федора шубу и повели его обратно въ комнаты, и самъ пошелъ за ними, чувствуя себя виноватымъ.

Юлія уложила Федора и опустилась передъ нимъ на колѣни.

— Это ничего, — утѣшала она. — Это у васъ нервы...

— Голубушка, мнѣ такъ тяжело! — говорилъ онъ. — Я несчастливъ, несчастливъ... но все время я скрываю, скрываю!

Онъ обнялъ ее за шею и прошепталъ ей на ухо:

— Я каждую ночь вижу сестру Нину. Она приходитъ и садится въ кресло возлѣ моей постели...

Когда часъ спуста, онъ опять надѣвалъ въ передней шубу, то уже улыбался и ему было совѣстно горничной. Лаптевъ поѣхалъ проводить его на Пятницкую.

— Ты пріѣзжай къ намъ завтра обѣдать,—говорилъ онъ дорогой, держа его подъ руку,—а на Пасху поѣдемъ вмѣстѣ за границу. Тебѣ необходимо провѣтриться, а то ты совсѣмъ закись.

— Да, да. Я поѣду, я поѣду... И сестреночку съ собой возьмемъ.

Вернувшись домой, Лаптевъ засталъ жену въ сильномъ нервномъ возбужденіи. Происшествіе съ Ѳедоромъ потрясло ее, и она никакъ не могла успокоиться. Она не плакала, но была очень блѣдна и металась въ постели и цѣпко хваталась холодными пальцами за одѣяло, за подушку, за руки мужа. Глаза у нея были большіе, испуганные.

— Не уходи отъ меня, не уходи,—говорила она мужу.— Скажи, Алеша, отчего я перестала Богу молиться? Гдѣ моя вѣра? Ахъ, зачѣмъ вы при мнѣ говорили о религіи? Вы смутили меня, ты и твои друзья. Я уже не молюсь.

Онъ клалъ ей на лобъ компрессы, согрѣвалъ ей руки, поилъ ее чаемъ, а она жалась къ нему въ страхъ...

Къ утру она утомилась и уснула, а Лаптевъ сидѣлъ возлѣ и держалъ ее за руку. Такъ ему и не удалось уснуть. Цѣлый день потомъ онъ чувствовалъ себя разбитымъ, тупымъ, ни о чемъ не думалъ и вяло бродилъ по комнатамъ.

## XVI.

Доктора сказали, что у Ѳедора душевная болѣзнь. Лаптевъ не зналъ, что дѣлается на Пятницкой, а темный амбаръ, въ которомъ уже не показывались ни старикъ, ни Ѳедоръ, производилъ на него впечатлѣніе склепа. Когда жена

говорила ему, что ему необходимо каждый день бывать и въ амбарѣ, и на Пятницкой, онъ или молчалъ, или же начиналъ съ раздраженіемъ говорить о своемъ дѣтствѣ, о томъ, что онъ не въ силахъ простить отцу своего прошлага, что Пятницкая и амбаръ ему ненавистны и проч.

Въ одно изъ воскресеній, утромъ, Юлія сама поѣхала на Пятницкую. Она застала старика Федора Степаныча въ той самой залѣ, въ которой когда-то, по случаю ея пріѣзда, служили молебень. Онъ въ своемъ парусинковомъ пиджакѣ, безъ галстука, въ туфляхъ, сидѣлъ неподвижно въ креслѣ и моргалъ слѣпными глазами.

— Это я, ваша невѣстка, — сказала она, подходя къ нему. — Я пріѣхала провѣдать васъ.

Онъ сталъ тяжело дышать отъ волненія. Она, тронутая его несчастьемъ, его одиночествомъ, поцѣловала ему руку, а онъ оцуналъ ея лицо и голову и, какъ бы убѣдившись, что это она, перекрестилъ ее.

— Спасибо, спасибо, — сказалъ онъ. — А я вотъ глаза потерялъ и ничего не вижу... Окно чуть-чуть вижу и огонь тоже, а людей и предметы не замѣчаю. Да, я слѣпну, Федоръ заболѣлъ, и безъ хозяйскаго глаза теперь плохо. Если случится какой безпорядокъ, то взыскать некому; избалуется народъ. А отчего это Федоръ заболѣлъ? Отъ простуды, что ли? А я вотъ никогда не хворалъ и никогда не лечился. Никакихъ я докторовъ не зналъ.

И старикъ, по обыкновенію, сталъ хвастать. Между тѣмъ, прислуга торопливо накрывала въ залѣ на столъ и ставила закуски и бутылки съ винами. Было поставлено бутылокъ десять и одна изъ нихъ имѣла видъ Эйфелевой башни. Подали полное блюдо горячихъ пирожковъ, отъ которыхъ пахло варенымъ рисомъ и рыбой.

— Прощу дорогую гостью закусить, — сказалъ старикъ.

Она взяла его подъ руку и подвела къ столу и налила ему водки.



— Я къ вамъ и завтра прїѣду,—сказала она,—и привезу съ собой вашихъ внучекъ, Сашу и Лиду. Онѣ будутъ жалѣть и ласкать васъ.

— Не нужно, не привозите. Онѣ незаконныя.

— Почему же незаконныя? Вѣдь отецъ и мать ихъ были повѣнчаны.

— Безъ моего позволенія. Я не благословляю ихъ и знать не хочу. Богъ съ ними.

— Странно вы говорите, Ѳедоръ Степанычъ,—сказала Юлія и вздохнула.

— Въ евангеліи сказано: дѣти должны уважать и бояться своихъ родителей.

— Ничего подобнаго. Въ евангеліи сказано, что мы должны прощать даже врагамъ своимъ.

— Въ нашемъ дѣлѣ нельзя прощать. Если будешь всѣхъ прощать, то черезъ три года въ трубу вылетишь.

— Но простить, сказать ласковое, привѣтливое слово человѣку, даже виноватому, — это выше дѣла, выше богатства!

Юліи хотѣлось смягчить старика, внушить ему чувство жалости, пробудить въ немъ раскаяніе, но все, что она говорила, онъ выслушивалъ только снисходительно, какъ взрослые слушаютъ дѣтей.

— Ѳедоръ Степанычъ,—сказала Юлія рѣшительно,— вы уже стары и скоро Богъ призоветъ васъ къ Себѣ; Онъ спроситъ васъ не о томъ, какъ вы торговали и хорошо ли шли ваши дѣла, а о томъ, были ли вы милостивы къ людямъ; не были ли вы суровы къ тѣмъ, кто слабѣе васъ, напимѣръ, къ прислугѣ, къ приказчикамъ?

— Для своихъ служащихъ я былъ всегда благодѣтель и они должны за меня вѣчно Бога молить,—сказалъ старикъ съ убѣжденіемъ; но тронутый искреннимъ тономъ

Юліи и желая доставить ей удовольствіе, онъ сказалъ:— Хорошо, привозите завтра внучекъ. Я велю имъ подарочковъ купить.

Старикъ былъ неаккуратно одѣтъ, и на груди и на коблякахъ у него былъ сигарный пепель; повидимому, никто не чистилъ ему ни сапогъ, ни платья. Рисъ въ пирожкахъ былъ недоваренъ, отъ скатерти пахло мыломъ, прислуга громко стучала ногами. И старикъ, и весь этотъ домъ на Пятницкой имѣли заброшенный видъ, и Юліи, которая это чувствовала, стало стыдно за себя и за мужа.

— Я къ вамъ непременно приѣду завтра,—сказала она.

Она прошлась по комнатамъ и приказала убрать въ спальнѣ старика и зажечь у него лампадку. Федоръ сидѣлъ у себя въ комнатѣ и смотрѣлъ въ раскрытую книгу, не читая; Юлія поговорила съ нимъ и у него тоже велѣла убрать, потомъ пошла внизъ къ приказчикамъ. Среди комнаты, гдѣ обѣдали приказчики, стояла деревянная некрашенная колонна, подпиравшая потолокъ, чтобы онъ не обрушился; потолоки здѣсь были низкіе, стѣны оклеены дешёвыми обоями, было угарно и пахло кухней. По случаю праздника, всѣ приказчики были дома и сидѣли у себя на кроватяхъ въ ожиданіи обѣда. Когда вошла Юлія, они вскочили съ мѣсть и на ея вопросы отвѣчали робко, глядя на нее исподлобья, какъ арестанты.

— Господи, какое у васъ дурное помѣщеніе!—сказала она, всплескивая руками.—И вамъ здѣсь не тѣсно?

— Въ тѣснотѣ, да не въ обидѣ,—сказалъ Магъичевъ.— Много вами довольны и возносимъ наши молитвы милосердному Богу.

— Соответствіе жизни по амбиціи личности, — сказалъ Початкинъ.

И, замѣтивъ, что Юлія не поняла Початкина, Магъичевъ поспѣшилъ пояснить:

— Мы маленькіе люди и должны жить соотвѣтственно званію.

Она осмотрѣла помѣщеніе для мальчиковъ и кухню, познакомилась съ экономкой и осталась очень недовольна.

Вернувшись домой, она сказала мужу:

— Мы должны какъ можно скорѣе перебраться на Пятницкую и жить тамъ. И ты каждый день будешь ѣздить въ амбаръ.

Потомъ оба сидѣли въ кабинетѣ рядомъ и молчали. У него было тяжело на душѣ и не хотѣлось ему ни на Пятницкую, ни въ амбаръ, но онъ угадывалъ, о чемъ думаетъ жена, и былъ не въ силахъ противорѣчить ей. Онъ погладилъ ее по щекѣ и сказалъ: ...

— У меня такое чувство, какъ будто жизнь наша уже кончилась, а начинается теперь для насъ сѣрай полужизнь. Когда я узналъ, что братъ Федоръ безнадежно боленъ, я заплакалъ; мы вмѣстѣ прожили наше дѣтство и юность, когда-то я любилъ его всею душой и вотъ тебѣ катастрофа, и мнѣ кажется, что, теряя его, я окончательно разрываю со своимъ прошлымъ. А теперь, когда ты сказала, что намъ необходимо переѣзжать на Пятницкую, въ эту тюрьму, то мнѣ стало казаться, что у меня нѣтъ уже и будущаго.

Онъ всталъ и отошелъ къ окну.

— Какъ бы то ни было, приходится проститься съ мыслями о счастьи,—сказалъ онъ, глядя на улицу.—Его нѣтъ. Его не было никогда у меня и, должно быть, его не бываетъ вовсе. Впрочемъ, разъ въ жизни я былъ счастливъ, когда сидѣлъ ночью подъ твоимъ зонтикомъ. Помнишь, какъ-то у сестры Нины ты забыла свой зонтикъ?—спросилъ онъ, обернувшись къ женѣ.—Я тогда былъ влюбленъ въ тебя и, помню, всю ночь просидѣлъ подъ этимъ зонтикомъ и испытывалъ блаженное состояніе.

Въ кабинетѣ около шкаповъ съ книгами стоялъ комодъ

изъ краснаго дерева съ бронзой, въ которомъ Лаптевъ хранилъ разныя ненужныя вещи, въ томъ числѣ зонтикъ. Онъ досталъ его и подалъ женѣ.

— Вотъ онъ.

Юлія минуту смотрѣла на зонтикъ, узнала и грустно улыбулась.

— Помню,—сказала она.—Когда ты объяснялся мнѣ въ любви, то держалъ его въ рукахъ,—и, замѣтивъ, что онъ собирается уходить, она сказала:—Если можно, пожалуйста, возвращайся пораньше. Безъ тебя мнѣ скучно.

И потомъ она ушла къ себѣ въ комнату и долго смотрѣла на зонтикъ.

## XVII.

Въ амбарѣ, несмотря на сложность дѣла и на громадный оборотъ, бухгалтера не было и изъ книгъ, которыя велъ конторщикъ, ничего нельзя было понять. Каждый день приходили въ амбаръ комиссіонеры, нѣмцы и англичане, съ которыми приказчики говорили о политикѣ и религіи; приходилъ спившійся дворянинъ, больной, жалкій человекъ, который переводилъ въ конторѣ иностранную корреспонденцію; приказчики называли его фитюлькой и поили его чаемъ съ солью. И въ общемъ вся эта торговля представлялась Лаптеву какимъ-то большимъ чудачествомъ.

Онъ каждый день бывалъ въ амбарѣ и старался заводить новые порядки; онъ запрещалъ сѣчь мальчиковъ и глумиться надъ покупателями, выходилъ изъ себя, когда приказчики, съ веселымъ смѣхомъ, отпускали куда-нибудь въ провинцію залежалый и негодный товаръ подъ видомъ свѣжаго и самаго моднаго. Теперь въ амбарѣ онъ былъ главнымъ лицомъ, но попрежнему ему не было извѣстно, какъ велико его состояніе, хорошо ли идутъ его дѣла, сколько получаютъ жалованья старшіе приказчики и т. п. Початкинъ и

Макѣичевъ считали его молодымъ и неопытнымъ, многое скрывали отъ него и каждый вечеръ о чемъ-то таинственно шептались со слѣпымъ старикомъ.

Какъ-то въ началѣ іюня Лаптевъ и Початкинъ пошли въ Бубновскій трактиръ, чтобы позавтракать и кстати поговорить о дѣлахъ. Початкинъ служилъ у Лаптевыхъ уже давно и поступилъ къ нимъ, когда ему было еще восемь лѣтъ. Онъ былъ своимъ человекомъ, ему довѣряли вполне и, когда, уходя изъ амбара, онъ забиралъ изъ кассы всю выручку и набивалъ ею карманы, то это не возбуждало никакихъ подозрѣній. Онъ былъ главнымъ въ амбарѣ и въ домѣ, а также въ церкви, гдѣ, вмѣсто старика, исполнялъ обязанности старосты. За жестокое обращеніе съ подчиненными приказчики и мальчики прозвали его Малютой Скуратовымъ.

Когда пришли въ трактиръ, онъ кивнулъ половому и сказалъ:

— Дай-ка намъ, братецъ, полдиковинки и двадцать четыре неприятности.

Половой немного погоды подаль на подносѣ полбутылки водки и нѣсколько тарелокъ съ разнообразными закусками.

— Вотъ что, любезный,—сказалъ ему Початкинъ,—дай-ка ты намъ порцію главнаго мастера клеветы и злословія съ картофельнымъ пюре.

Половой не понялъ и смутился, и хотѣлъ что-то сказать, но Початкинъ строго поглядѣлъ на него и сказалъ:

— Кромѣ!

Половой думалъ съ напряженіемъ, потомъ пошелъ совѣтоваться съ товарищами, и въ концѣ-концовъ все-таки догадался, принесъ порцію языка. Когда выпили по двѣ рюмки и закусили, Лаптевъ спросилъ:

— Скажите, Иванъ Васильичъ, правда-ли, что наши дѣла въ послѣдніе годы стали падать?

— Ни отнюдь.

— Скажите мнѣ откровенно, на чистоту, сколько мы получали и получаемъ дохода, и какъ велико наше состояніе? Нельзя же вѣдь въ потемкахъ ходить. У насъ былъ недавно счетъ амбара, но, простите, я этому счету не вѣрю; вы находите нужнымъ что-то скрывать отъ меня и говорите правду только отцу. Вы съ раннихъ лѣтъ привыкли къ политикѣ и уже не можете обходиться безъ нея. А къ чему она? Такъ вотъ, прошу васъ, будьте откровенны. Въ какомъ положеніи наши дѣла?

— Все зависимо отъ волненія кредита, — отвѣтилъ Початкинъ, подумавъ.

— Что вы разумѣете подъ волненіемъ кредита?

Початкинъ сталъ объяснять, но Лаптевъ ничего не понималъ и послалъ за Макѣичевымъ. Тотъ немедленно явился, закусиль, помолясь, и своимъ солиднымъ, густымъ баритономъ заговорилъ, прежде всего, о томъ, что приказчики обязаны денно и ноцно молить Бога за своихъ благодѣтелей.

— Прекрасно, только позвольте мнѣ не считать себя вашимъ благодѣтелемъ, — сказалъ Лаптевъ.

— Каждый человѣкъ долженъ помнить, что онъ есть, и чувствовать свое званіе. Вы, по милости Божіей, нашъ отецъ и благодѣтель, а мы ваши рабы.

— Все это, наконецъ, мнѣ надоѣло! — разсердился Лаптевъ. — Пожалуйста, теперь будьте вы моимъ благодѣтелемъ, объясните, въ какомъ положеніи наши дѣла. Не извольте считать меня мальчишкой, иначе я завтра же закрою амбаръ. Отецъ ослѣпъ, братъ въ сумасшедшемъ домѣ, племянницы мои еще молоды; это дѣло я ненавижу, я охотно бы ушелъ, но замѣнить меня некому, вы сами знаете. Бросьте же политику, ради Бога!

Пошли въ амбаръ считать. Потомъ считали вечеромъ

дома, причѣмъ помогаль самъ старикъ; посвящая сына въ свои коммерческія тайны, онъ говорилъ такимъ тономъ, какъ будто занимался не торговлей, а колдовствомъ. Оказалось, что доходъ ежегодно увеличивался приблизительно на одну десятую часть и что состояніе Лаптевыхъ считалъ однѣ только деньги и цѣнныя бумаги, равнялось шести милліонамъ рублей.

Когда въ первомъ часу ночи, послѣ счетовъ, Лаптевъ вышелъ на свѣжій воздухъ, то чувствовалъ себя подѣ обаяніемъ этихъ цифръ. Ночь была тихая, лунная, душная; бѣлыя стѣны замоскворѣцкихъ домовъ, видѣ тяжелыхъ запертыхъ воротъ, тишина и черныя тѣни производили въ общемъ впечатлѣніе какой-то крѣпости и недоставало только часового съ ружьемъ. Лаптевъ пошелъ въ садикъ и сѣлъ на скамью около забора, отдѣлявшаго отъ сосѣдняго двора, гдѣ тоже былъ садикъ. Цвѣла черемуха. Лаптевъ вспомнилъ, что эта черемуха во времена его дѣтства была такою же корявой и такого же роста, и нисколько не измѣнилась съ тѣхъ поръ. Каждый уголокъ въ саду и во дворѣ напоминалъ ему далекое прошлое. И въ дѣтствѣ такъ же, какъ теперь, сквозь рѣдкія деревья виденъ былъ весь дворъ, залитый луннымъ свѣтомъ, такъ же были таинственны и строги тѣни, такъ же среди двора лежала черная собака и открыты были настежь окна у приказчиковъ. И все это были невеселыя воспоминанія.

За заборомъ въ чужомъ дворѣ послышались легкіе шаги.

— Моя дорогая, моя милая...—прошепталъ мужской голосъ у самаго забора, такъ что Лаптевъ слышалъ даже дыханіе.

Вотъ подѣловались. Лаптевъ былъ увѣренъ, что милліоны и дѣло, къ которому у него не лежала душа, испортятъ ему жизнь и окончательно сдѣлаютъ изъ него раба; онъ представлялъ себѣ, какъ онъ мало-по-малу свыкнется со своимъ положеніемъ, мало-по-малу войдетъ въ роль главы торговой

фирмы. начнет тупѣть, стариться и, въ концѣ-концовъ, умретъ, какъ вообще умирають обыватели, дрянно, кисло, нагоняя тоску на окружающихъ. Но что же мѣшаетъ ему бросить и миллионы, и дѣло, и уйти изъ этого сада и двора, которые были ненавистны ему еще съ дѣтства?

Шопотъ и поцѣлуи за заборомъ волновали его. Онъ вышелъ на средину двора и, разстегнувши на груди рубаху, глядѣлъ на луну, и ему казалось, что онъ сейчасъ велитъ отпереть калитку, выйдетъ и уже болѣе никогда сюда не вернется; сердце сладко сжалось у него отъ предчувствія свободы, онъ радостно смѣялся и воображалъ, какая бы это могла быть чудная, поэтическая, быть можетъ, даже святая жизнь...

Но онъ все стоялъ и не уходилъ, и спрашивалъ себя: «Что же меня держитъ здѣсь?» И ему было досадно и на себя, и на эту черную собаку, которая валялась на камняхъ, а не шла въ поле, въ лѣсъ, гдѣ бы она была независима, радостна. И ему, и этой собакѣ мѣшало уйти со двора, очевидно, одно и то же: привычка къ неволѣ, къ рабскому состоянію...

На другой день въ полдень онъ поѣхалъ къ женѣ и, чтобы скучно не было, пригласилъ съ собой Ярцева. Юлія Сергѣевна жила на дачѣ въ Бутовѣ, и онъ не былъ у нея уже пять дней. Пріѣхавъ на станцію, пріятель сѣли въ коляску, и Ярцевъ всю дорогу пѣлъ и восхищаяся великолѣпною погодой. Дача находилась не далеко отъ станціи въ большомъ паркѣ. Гдѣ начиналась главная аллея, шагахъ въ двадцати отъ воротъ, подъ старымъ широкимъ топодемъ сидѣла Юлія Сергѣевна, поджидая гостей. На ней было легкое изящное платье, отдѣланное кружевами, платье свѣтлое кремоваго цвѣта, а въ рукахъ былъ все тотъ же старый знакомый зонтикъ. Ярцевъ поздоровался съ ней и пошелъ къ дачѣ, откуда слышались голоса Саши и Леды, а Лаптевъ сѣлъ рядомъ съ ней, чтобы поговорить о дѣлахъ.



— Отчего ты такъ долго не былъ?—спросила она, не выпуская его руки.—Я цѣлые дни все сижу здѣсь и смотрю: не ѣдешь ли ты. Мнѣ безъ тебя скучно!

Она встала и рукой провела по его волосамъ, и съ любопытствомъ оглядывала его лицо, плечи, шляпу.

— Ты знаешь, я люблю тебя, — сказала она и покраснѣла. — Ты мнѣ дорогъ. Вотъ ты пріѣхалъ, и вижу тебя и счастлива, не знаю какъ. Ну, давай поговоримъ. Расскажи мнѣ что-нибудь.

Она объяснялась ему въ любви, а у него было такое чувство, какъ будто онъ былъ женатъ на ней уже лѣтъ десять, и хотѣлось ему завтракать. Она обняла его за шею, щекоча шелкомъ своего платья его щеку; онъ осторожно отстранилъ ея руку, всталъ и, не сказавъ ни слова, пошелъ къ дачѣ. Навстрѣчу ему бѣжали дѣвочки.

«Какъ онѣ выросли!—думалъ онъ.—И сколько перемѣнъ за эти три года... Но вѣдь придется, быть можетъ, жить еще тринадцать, тридцать лѣтъ... Что-то еще ожидаетъ насъ въ будущемъ! Поживемъ—увидимъ».

Онъ обнялъ Сису и Лиду, которыя повисли ему на шею, и сказалъ:

— Кланяется дѣдушка... Дядя Федя скоро умретъ, дядя Костя прислалъ письмо изъ Америки и велитъ вамъ кланяться. Онъ соскучился на выставкѣ и скоро вернется. А дядя Алеша хочетъ ѣсть.

Потомъ онъ сидѣлъ на террасѣ и видѣлъ, какъ по аллеѣ тихо шла его жена, направляясь къ дачѣ. Она о чемъ-то думала и на ея лицѣ было грустное, очаровательное выраженіе, и на глазахъ блестѣли слезы. Это была уже не прежняя тонкая, хрупкая, блѣднолицая дѣвушка, а зрѣлая, красивая, сильная женщина. И Лантевъ замѣтилъ, съ какимъ восторгомъ смотрѣлъ ей навстрѣчу Ярцевъ, какъ это ея новое, прекрасное выраженіе отражалось на его лицѣ,

тоже грустномъ и восхищенномъ. Казалось, что онъ видѣлъ ее первый разъ въ жизни. И когда завтракали на террасѣ, Ярцевъ какъ-то радостно и застѣнчиво улыбался и все смотрѣлъ на Юлію, на ея красивую шею. Лаптевъ слѣдилъ за нимъ невольно и думалъ о томъ, что, быть можетъ, придется жить еще тринадцать, тридцать лѣтъ... И что придется пережить за это время? Что ожидаетъ насъ въ будущемъ?

И думалъ:

«Поживемъ—увидимъ».



# УБИИСТВО.

## I.

На станціи *Прогонной* служили всенощную. Передъ большимъ образомъ, написаннымъ ярко, на золотомъ фонѣ, стояла толпа станціонныхъ служащихъ, ихъ женъ и дѣтей, а также дровосѣковъ и пильщиковъ, работавшихъ вблизи по линіи. Всѣ стояли въ безмолвіи, очарованные блескомъ огней и воемъ метели, которая ни съ того, ни съ сего разыгралась на дворѣ, несмотря на канунъ Благовѣщенія. Служилъ старикъ священникъ изъ Веденяпина; пѣли псаломщикъ и Матвѣй Тереховъ.

Лицо Матвѣя сіяло радостью, онъ пѣлъ и при этомъ вытягивалъ шею, какъ будто хотѣлъ взлетѣть. Пѣлъ онъ теноромъ и канонъ читалъ тоже теноромъ, сладостно, убѣдительно. Когда пѣли «Архангельскій гласъ», онъ помахивалъ рукой, какъ регентъ, и, стараясь подладиться подъ глухой стариковскій басъ дьячка, выводилъ своимъ теноромъ что-то необыкновенно сложное, и по лицу его было видно, что испытывалъ онъ большое удовольствіе.

Но вотъ всенощная окончилась, всѣ тихо разошлись, и стало опять темно и пусто, и наступила та самая тишина, какая бываетъ только на станціяхъ, одиноко стоящихъ въ

полѣ или въ лѣсу, когда вѣтеръ подвываетъ и ничего не слышно больше, и когда чувствуется вся эта пустота кругомъ, вся тоска медленно текущей жизни.

Матвѣй жилъ недалеко отъ станціи, въ трактирѣ своего двоюроднаго брата. Но ему не хотѣлось домой. Онъ сидѣлъ у буфетчика за прилавкомъ и рассказывалъ вполголоса:

— У насъ на изразцовомъ заводѣ былъ свой хоръ. И долженъ я вамъ замѣтить, хотя мы и простые мастера были, но пѣли мы по-настоящему, великолѣпно. Насъ часто приглашали въ городъ и, когда тамъ викарный владыка Іоаннъ изволилъ служить въ Троицкой церкви, то архіерейскіе пѣвчіе пѣли на правомъ клиросѣ, а мы на лѣвомъ. Только въ городѣ жаловались, что мы долго поемъ: заводскіе, говорили, тянутъ. Оно правда, мы Андреево стояніе и Похвалу начинали въ седьмомъ, а кончали послѣ одиннадцати, такъ что, бывало, придешь домой на заводъ, а уже первый часъ. Хорошо было! — вздохнулъ Матвѣй. — Очень даже хорошо, Сергѣй Никанорычъ! А здѣсь, въ родительскомъ домѣ, никакой радости. Самая ближняя церковь въ пяти верстахъ, при моемъ слабомъ здоровьи и не дойдешь туда, пѣвчихъ нѣтъ. А въ семействѣ нашемъ никакого спокойствія, день-деньской шумъ, брань, нечистота, всѣ изъ одной чашки ѣдимъ, какъ мужики, а щи съ тараканами... Не даетъ Богъ здоровья, а то бы я давно ушелъ, Сергѣй Никанорычъ.

Матвѣй Тереховъ былъ еще не старъ, лѣтъ 45, но выраженіе у него было болѣзненное, лицо въ морщинахъ и жидкая, прозрачная бородка совсѣмъ уже посѣдѣла, и это старило его на много лѣтъ. Говорилъ онъ слабымъ голосомъ, осторожно и, кашляя, брался за грудь и въ это время взглядъ его становился безпокойнымъ и тревожнымъ, какъ у очень мнительныхъ людей. Онъ никогда не говорилъ опредѣленно, что у него болитъ, но любилъ длинно рассказывать, какъ однажды на заводѣ онъ поднялъ тяжелый ящикъ и надорвался, и какъ отъ этого образовалась грыжь, заста-

вившая его бросить службу на изразцовомъ заводѣ и вернуться на родину. А что значитъ грызъ, объяснить онъ не могъ.

— Признаться, не люблю я брата, — продолжалъ онъ, наливая себѣ чаю. — Онъ мнѣ старшій, грѣхъ осуждать, и боюсь Господа Бога, но не могу утерпѣть. Человѣкъ онъ надменный, суровый, ругательный, для своихъ родственниковъ и работниковъ мучитель, и на духу не бываетъ. Въ прошлое воскресенье я прошу его ласково: «Братецъ, поѣдьте въ Пахомово къ обѣднѣ!» А онъ: «Не поѣду, — тамъ, говорить, пошъ картежникъ.» И сюда не пошелъ сегодня, потому, говорить, веденяпинскій священникъ курить и водку пьетъ. Не любить духовенства! Самъ себѣ и обѣдницу служить, и часы, и вечерню, а сестрица ему вмѣсто дьячка. Онъ: Господу помолимся! А она тонкимъ голосочкомъ, какъ индюшка: Господи помилуй!.. Грѣхъ, да и только. Каждый день ему говорю: «Образумьтесь, братецъ! Покайтесь, братецъ!» — а онъ безъ вниманія.

Сергѣй Никанорычъ, буфетчикъ, налилъ пять стакановъ чаю и понесъ ихъ на подносѣ въ дамскую. Едва онъ вошелъ туда, какъ послышался крикъ:

— Какъ ты подаешь, поросячья морда? Ты не умѣешь подавать!

Это былъ голосъ начальника станціи. Послышалось робкое бормотанье, потомъ опять крикъ, сердитый и рѣзкій:

— Пошелъ вонъ!

Буфетчикъ вернулся сильно сконфуженный.

— Было время, когда угождалъ и графамъ, и князьямъ, — проговорилъ онъ тихо, — а теперь, видите, не умѣю чай подать... Обругалъ при священникѣ и дамахъ!

Буфетчикъ Сергѣй Никанорычъ когда-то имѣлъ большія деньги и держалъ буфетъ на первой классной станціи, въ губернскомъ городѣ, гдѣ перекрещивались двѣ дороги. Тогда

онъ носить фракъ и золотыя часы. Но дѣла у него шли плохо, онъ потратилъ всѣ свои деньги на роскошную сервировку, обкрадывала его прислуга и, запутавшись мало-по-малу, онъ перешелъ на другую станцію, менѣе бойкую; здѣсь отъ него ушла жена и увезла съ собой все серебро, и онъ перешелъ на третью станцію, похуже, гдѣ уже не полагалось горячихъ кушаній. Потомъ на четвертую. Часто мѣняя мѣста и спускаясь все ниже и ниже, онъ, наконецъ, попалъ на *Промиссию* и здѣсь торговалъ только чаемъ, дешевою водкой и на закуску ставилъ крутыя яйца и твердую колбасу, отъ которой пахло смолой и которую самъ же онъ въ насмѣшку называлъ музыкантской. У него была лысина во все темя, голубые глаза навыватъ и густые, пушистые бакены, которые онъ часто расчесывалъ гребенкой, глядясь въ маленькое зеркальце. Воспоминанія о прошломъ томили его постоянно, онъ никакъ не могъ привыкнуть къ музыкантской колбасѣ, къ грубости начальника станціи и къ мужикамъ, которые торговались, а по его мнѣнію торговаться въ буфетѣ было такъ же неприлично, какъ въ аптекѣ. Ему было стыдно своей бѣдности и своего униженія, и этотъ стыдъ былъ теперь главнымъ содержаніемъ его жизни.

— А весна въ этомъ году поздняя, — сказала Матвѣй, прислушиваясь. — Оно и лучше, я не люблю весны. Весной грязно очень, Сергѣй Никанорычъ. Въ книжкахъ пишутъ: весна, птицы поютъ, солнце заходитъ, а что тутъ пріятнаго? Птица и есть птица и больше ничего. Я люблю хорошее общество, чтобъ людей послушать, объ лериги поговорить или хоромъ спѣть что-нибудь пріятное, а эти тамъ соловьи да цвѣточки — Богъ съ ними!

Онъ опять началъ объ изразцовомъ заводѣ, о хорѣ, но оскорбленный Сергѣй Никанорычъ никакъ не могъ успокоиться и все пожималъ плечами и бормоталъ что-то. Матвѣй простился и пошелъ домой.

Мороза не было и уже таяло на крышахъ, но шелъ круп-

ный снѣгъ; онъ быстро кружился въ воздухѣ и бѣлыя облака его гонялись другъ за другомъ по полотну дороги. А дубовый лѣсъ, по обѣ стороны линіи, едва освѣщенный луной, которая пряталась гдѣ-то высоко за облаками, издавать суровый, протяжный шумъ. Когда сильная буря качаетъ деревья, то какъ они страшны! Матвѣй шель по шоссе вдоль линіи, пряча лицо и руки, и вѣтеръ толкалъ его въ спину. Вдругъ показалась небольшая лошаденка, облѣпленная снѣгомъ, сани скребли по голымъ камнямъ шоссе, и мужикъ съ окутанною головою, тоже весь бѣлый, хлесталъ кнутомъ. Матвѣй оглянулся, но уже не было ни саней, ни мужика, какъ будто все это ему только примерещилось, и онъ ускорилъ шаги, вдругъ испугавшись, самъ не зная чего.

Вотъ переѣздъ и темный домикъ, гдѣ живетъ сторожъ. Шлагбаумъ поднять и около намело цѣлыя горы и, какъ вѣдьмы на шабашѣ, кружатся облака снѣга. Тутъ линію пересѣкаетъ старая, когда-то большая дорога, которую до сихъ поръ еще зовутъ трактомъ. Направо, не далеко отъ переѣзда, у самой дороги, стоитъ трактиръ Терехова, бывшій постоялый дворъ. Тутъ по ночамъ всегда брезжитъ огонекъ.

Когда Матвѣй пришелъ домой, во всѣхъ комнатахъ и даже въ снѣгахъ сильно пахло ладаномъ. Братъ его Яковъ Ивановъ еще продолжалъ служить всенощную. Въ молельной, гдѣ это происходило, въ переднемъ углу стоялъ кіотъ со старинными дѣдовскими образами въ позолоченныхъ ризахъ, и обѣ стѣны направо и налево были уставлены образами стараго и новаго письма, въ кіотахъ и просто такъ. На столѣ, покрытомъ до земли скатертью, стоялъ образъ Благовѣщенія и тутъ же кипарисовый крестъ и кадильница; горѣли восковыя свѣчи. Возлѣ стола былъ аналой. Проходи мимо молельной, Матвѣй остановился и заглянулъ въ дверь. Яковъ Ивановъ въ это время читалъ у аналая; съ нимъ молилась сестра его Аглая, высокая, худощавая старуха въ

синемъ платьѣ и бѣломъ платочкѣ. Была тутъ и дочь Якова Иваныча, Дашутка, дѣвушка лѣтъ 18, некрасивая, вся въ веснушкахъ, по обыкновенію босая и въ томъ же платьѣ, въ какомъ подѣ вечеръ поила скотину.

— Слава Тебѣ, показавшему намъ свѣтъ!— провозгласилъ Яковъ Иванычъ нараспѣвъ и низко поклонился.

Аглая подперла рукой подбородокъ и заплѣла тонкимъ, визгливымъ, тягучимъ голосомъ. А вверху надъ потолокомъ тоже раздавались какіе-то неясные голоса, которые будто угрожали или предвѣщали дурное. Во второмъ этажѣ послѣ пожара, бывшаго когда-то очень давно, никто не жилъ, окна были забиты тесомъ и на полу между балокъ валялись пустыя бутылки. Теперь тамъ стучалъ и гудѣлъ вѣтеръ и казалось, что кто-то бѣгалъ, спотыкаясь о балки.

Половина нижняго этажа была занята подѣ трактиръ, въ другой помѣщалась семья Терехова, такъ что когда въ трактирѣ шумѣли пьяные проѣзжіе, то было слышно въ комнатахъ все до одного слова. Матвѣй жилъ рядомъ съ кухней, въ комнатѣ съ большою печью, гдѣ прежде, когда тутъ былъ постоянный дворъ, каждый день пекли хлѣбъ. Въ этой же комнатѣ, за печкой помѣщалась и Дашутка, у которой не было своей комнаты. Всегда тутъ по ночамъ кричалъ сверчокъ и суетились мыши.

Матвѣй зажегъ свѣчу и сталъ читать книгу, взятую имъ у станціоннаго жандарма. Пока онъ сидѣлъ надъ ней, моленіе кончилось и всѣ легли спать. Дашутка тоже легла. Она захрапѣла тотчасъ же, но скоро проснулась и сказала, зѣвая:

— Ты, дядя Матвѣй, зря бы свѣчку не жегъ.

— Это моя свѣчка, — отвѣтилъ Матвѣй. — Я ее за свои деньги купилъ.

Дашутка поворочалась немного и опять заснула. Матвѣй сидѣлъ еще долго, — ему не хотѣлось спать, — и, кончивъ



последнюю страницу, досталъ изъ сундука карандашъ и написалъ на книгѣ: «Сію книгу читалъ я, Матвѣй Тереховъ, и нахожу ее изъ всѣхъ читанныхъ мною книгъ самою лучшею, въ чемъ и приношу мою признательность унтеръ-офицеру жандармскаго управленія желѣзныхъ дорогъ Кузьмѣ Николаеву Жукову, какъ владѣльцу оной безцѣнной книги». Дѣлать подобныя надписи на чужихъ книгахъ онъ считалъ долгомъ вѣжливости.

## II.

Въ самый день Благовѣщенія, послѣ того, какъ проводили почтовый поѣздъ, Матвѣй сидѣлъ въ буфетѣ, пилъ чай съ лимономъ и говорилъ.

Слушали его буфетчикъ и жандармъ Жуковъ.

— Я, надо вамъ замѣтить,—разсказывалъ Матвѣй,—еще въ малолѣтствѣ былъ приверженъ къ леригии. Мнѣ только двѣнадцать годочковъ было, а я уже въ церкви апостола читалъ, и родители мои весьма утѣшались, и каждое лѣто мы съ покойной маменькой ходили на богомолье. Бывало, другіе ребята пѣсни поютъ или раковъ ловятъ, а я въ это время съ маменькой. Старшіе меня одобряли, да и мнѣ самому было это пріятно, что я такого хорошаго поведенія. И какъ мамсенька благословили меня на заводъ, то я между дѣломъ пѣлъ тамъ теноромъ въ нашемъ хорѣ, и не было лучшаго удовольствія. Само собой, водки я не пилъ, табаку не курилъ, соблюдалъ чистоту тѣлесную, а такое направленіе жизни, извѣстно, не нравится врагу рода человѣческаго, и захотѣлъ онъ, окаянный, погубить меня и сталъ омрачать мой разумъ, все равно, какъ теперь у брата. Самое первое, далъ я обѣтъ не кушать по понедѣльникамъ скоромнаго и не кушать мяса во всѣ дни, и вообще съ теченіемъ времени нашла на меня фантазія. Въ первую недѣлю великаго поста до субботы святыя отцы положили сухояденіе, по трудящимъ и слабымъ не грѣхъ даже чайку попить, у

меня же до самаго воскресенья ни крошки во рту не было, и потомъ во весь постъ я не разрѣшалъ себѣ масла ни отнюдь, а въ среды и пятницы такъ и вовсе ничего не кушалъ. То же и въ малые посты. Бывало, въ Петровки наши заводскіе хлебають щи изъ судака, а я въ стороночкѣ отъ нихъ сухарикъ сосу. У людей сила разная, конечно, но я объ себѣ скажу: въ постные дни мнѣ не трудно было и такъ даже, что чѣмъ больше усердія, тѣмъ легче. Хочется кушать только въ первые дни поста, а потомъ привыкаешь, становится все легче и, гляди, въ концѣ недѣли совсѣмъ ничего и въ ногахъ этакое онѣмѣніе, будто ты не на землѣ, а на облакѣ. И, кромѣ того, налагалъ я на себя всякія послушанія: вставалъ по ночамъ и поклоны билъ, камни тяжелые таскалъ съ мѣста на мѣсто, на снѣгъ выходилъ босикомъ, ну, и вериги тоже. Только вотъ по прошествіи времени исповѣдаюсь я однажды у священника и вдругъ такое мечтаніе: вѣдь священникъ этотъ, думаю, женатый, скоромникъ и табачникъ; какъ же онъ можетъ меня исповѣдать и какую онъ имѣетъ власть отпускать мнѣ грѣхи, сжали онъ грѣшнѣе, чѣмъ я? Я даже постнаго масла остерегаюсь, а онъ небось осетрину ѣлъ. Пошелъ я къ другому священнику, а этотъ, какъ на грѣхъ, толстомясый, въ шелковой рясѣ, шуршитъ будто дама, и отъ него тоже табакомъ пахнетъ. Пошелъ я говѣть въ монастырь, и тамъ мое сердце не спокойно, все кажется, будто монахи не по уставу живутъ. И послѣ этого никакъ я не могу найти службу по себѣ: въ одномъ мѣстѣ служатъ очень скоро, въ другомъ, гляди, задостойникъ не тотъ пропѣли, въ третьемъ дячокъ гниливый... Бывало, Господи прости меня грѣшнаго, стою это въ церкви, а отъ гнѣва сердце трясется. Какая ужъ тутъ молитва? И представляется мнѣ, будто народъ въ церкви не такъ крестится, не такъ слушаетъ; на кого ни погляжу, всѣ пьяницы, скоромники, табачники, блудники, картежники, одинъ только я живу по заповѣдямъ. Лукавый

бѣсъ не дремалъ, дальше-больше, пересталъ я пѣть въ хорѣ и ужъ вовсе не хожу въ церковь; такъ ужъ я объ себѣ понимаю, будто я человѣкъ праведный, а церковь по своему несовершенству для меня не подходитъ, то-есть, подобно падшему ангелу, возмечталъ я въ гордынѣ своей до невѣроятія. Послѣ этого сталъ я хлопотать, какъ бы свою церковь устроить. Нанялъ я у глухой мѣщанки комнатушечку далеко за городомъ, около кладбища, и устроилъ моленную, вотъ какъ у братца, но только у меня еще ставники были и настоящее кадило. Въ этой своей моленной я держался устава святой Аѳонской горы, то-есть каждый день обязательно утренняя у меня начиналась въ полночь, а подъ особо чтимые двенадцатые праздники всенощная у меня служилась часовъ десять, а когда и двѣнадцать. Монахи, все-таки, по уставу, во время каѳизмъ и паремій сидятъ, а я желалъ быть угоднѣе монаховъ и все, бывало, на ногахъ. Читалъ я и пѣлъ протяжно, со слезами и со воздыханіемъ, воздѣвая руки, и прямо съ молитвы, не спавши, на работу, да и работаю все съ молитвой. Ну, пошло по городу: Матвѣй святой, Матвѣй больныхъ и безумныхъ исцѣляетъ. Никого я, конечно, не исцѣлялъ, но извѣстно, какъ только заведется какой расколъ и лжеученіе, то отъ женскаго пола отбоя нѣтъ. Все равно, какъ мухи на медъ. Повадились ко мнѣ разныя бабки и старыя дѣвки, въ ноги мнѣ кланяются, руки цѣлуютъ и кричатъ, что я святой и прочее, а одна даже на моей головѣ сіяніе видѣла. Стало тѣсно въ моленной, взялъ я комнату побольше, и пошло у насъ настоящее столпотвореніе, бѣсъ забралъ меня окончательно и заслонилъ свѣтъ отъ очей моихъ своими погаными копытами. Мы всѣ въ родѣ какъ бы взбѣсились. Я читалъ, а бабки и старыя дѣвки пѣли, и этакъ, долго не ѣвши и не пивши, простоявши на ногахъ сутки или дольше, вдругъ начинается съ ними трясеніе, будто ихъ лихорадка бьетъ, потомъ этого то одна крикнетъ, то другая — и этакъ страшно! Я тоже

трясусь весь, какъ жидъ на сковородѣ, самъ не знаю, по какой такой причинѣ, и начинаютъ наши ноги прыгать. Чудно, право: не хочешь, а прыгаешь и руками болтаешь; и потомъ этого крикъ, визгъ, всѣ пляшемъ и другъ за дружкой бѣгаемъ, бѣгаемъ до упаду. И, такимъ образомъ, въ дикомъ безпамятствѣ впалъ я въ блудъ.

Жандармъ засмѣялся, но, замѣтивъ, что никто больше не смѣется, сталъ серьезень и сказалъ:

— Это молоканство. Я читалъ, на Кавказѣ всѣ такъ.

— Но не убило меня громомъ, — продолжалъ Матвѣй, перекрестясь на образъ и пошевеливъ губами. — Должно, молилась за меня на томъ свѣтѣ покойница маменька. Когда уже меня всѣ въ городѣ святымъ почитали и даже дамы и хорошіе господа стали прѣзжать ко мнѣ потихоньку за утѣшеніемъ, какъ-то пошелъ я къ нашему хозяину Осипу Варламычу прощаться, — тогда прощенный день былъ, — а онъ такъ заперъ на крючочекъ дверь и остались мы вдвоемъ, съ-глазу на-глазъ. И сталъ онъ меня отчитывать. А долженъ я вамъ замѣтить, Осипъ Варламычъ безъ образованія, но дальняго ума человѣкъ, и всѣ его почитали и боялись, потому былъ строгий, богоугодной жизни и трудолюбивый. Городскимъ головой былъ и старостой лѣтъ, можетъ, двадцать, и много добра сдѣлалъ; Ново-Московскую улицу всю покрылъ гравиліемъ, выкрасилъ соборъ и колонны расписалъ подъ малафтиль. Ну, заперъ дверь и — «давно, говоритъ, я до тебя добираюсь, такой-сякой... Ты, говоритъ, думаешь, что ты святой? Нѣтъ, ты не святой, а богоотступникъ, еретикъ и злодѣй!..» И пошелъ, и пошелъ... Не могу я вамъ выразить, какъ это онъ говорилъ, складенько да умненько, словно по писанному, и такъ трогательно. Говорилъ часа два. Пронялъ онъ меня своими словами, открылись мои глаза. Слушалъ я, слушалъ и — какъ зарыдаю! «Будь, говоритъ, обыкновеннымъ человѣкомъ, ѣшь, пей, одѣвайся и молись, какъ всѣ, а что сверхъ обыкно-

венія, то отъ бѣса. Вериги, говоритъ, твои отъ бѣса, посты твои отъ бѣса, моленная твоя отъ бѣса; все, говоритъ, это гордость». На другой день, въ чистый понедѣльникъ, привелъ меня Богъ заболѣть. Я надорвался, отвезли меня въ больницу; мучился я до чрезвычайности и горько плакалъ и трепеталъ. Думалъ, что изъ больницы мнѣ прямая дорога — въ адъ, и чуть не померъ. Промучился я на одрѣ болѣзни съ полгода, а какъ выписался, то первымъ дѣломъ отговѣлся по-настоящему и сталъ опять человѣкомъ. Отпустилъ меня Осипъ Варламычъ домой и наставлялъ: «Помни же, Матвѣй, что сверхъ обыкновенія, то отъ бѣса». И я теперь ѣмъ и пью, какъ всѣ, и молюсь какъ всѣ... Ежели теперь, случается, отъ батюшки пахнетъ табакомъ или винцомъ, то я не дерзаю осуждать, потому вѣдь и батюшка обыкновенный человѣкъ. Но какъ только говорятъ, что вотъ въ городѣ или въ деревнѣ завелся, молъ, святой, по недѣлямъ не ѣсть и свои уставы заводить, то ужъ я понимаю, чьи тутъ дѣла. Такъ вотъ, судари мои, кака была исторія въ моей жизни. Теперь и я, какъ Осипъ Варламычъ, все наставляю братца и сестрицу и укоряю ихъ, но выходитъ гласъ вопіющаго въ пустынѣ. Не даль мнѣ Богъ дара.

Разсказъ Матвѣя, повидимому, не произвелъ никакого впечатлѣнія. Сергѣй Никанорычъ ничего не сказалъ и сталъ убирать съ прилавка закуску, а жандармъ заговорилъ о томъ, какъ богатъ братъ Матвѣя, Яковъ Иванычъ.

— У него тысячь тридцать, по крайней мѣрѣ, — сказалъ онъ.

Жандармъ Жуковъ, рыжій, полнолицый (когда онъ ходилъ, у него дрожали щеки), здоровый, сытый, обыкновенно, когда не было старшихъ, сидѣлъ развалился и положивъ ногу на ногу; разговаривая, онъ покачивался и небрежно посвистывалъ, и въ это время на лицѣ его было самодовольное, сытое выраженіе, какъ будто онъ только что пообѣдалъ. Деньги у него водились и онъ всегда гово-

рилъ о нихъ съ видомъ большого знатока. Онъ занимался комиссіонерствомъ и когда нужно было кому-нибудь продать имѣніе, лошадь или подержанный экипажъ, то обращались къ нему.

— Да, тридцать тысячъ будетъ, пожалуй, — согласился Сергѣй Никанорычъ. — У вашего дѣдушки было огромное состояніе, — сказалъ онъ, обращаясь къ Матвѣю. — Огромное! Все потомъ осталось вашему отцу и вашему дядѣ. Вашъ отецъ померъ въ молодыхъ лѣтахъ и послѣ него все забралъ дядя, а потомъ, значить, Яковъ Иванычъ. Пока вы съ маменькой на богомолье ходили и на заводѣ теноромъ пѣли, тутъ безъ васъ не зѣвали.

— На вашу долю приходится тысячь пятнадцать, — сказалъ жандармъ, покачиваясь. — Трактиръ у васъ общій, значить, и капиталъ общій. Да. На вашемъ мѣстѣ я давно бы подалъ въ судъ. Я бы въ судъ подалъ само собой, а пока дѣло, одинъ на одинъ всю бы рожу ему до крови...

Якова Иваныча не любили, потому что когда кто-нибудь вѣруеть не такъ, какъ всѣ, то это неприятно волнуетъ даже людей равнодушныхъ къ вѣрѣ. Жандармъ же не любилъ его еще и за то, что онъ тоже продавалъ лошадей и подержанные экипажи.

— Вамъ не охота судиться съ братомъ, потому что у васъ своихъ денегъ много, — сказалъ буфетчикъ Матвѣю, глядя на него съ завистью. — Хорошо тому, у кого есть средства, а вотъ я, должно быть, такъ и умру въ этомъ положеніи...

Матвѣй сталъ увѣрять, что у него вовсе нѣтъ денегъ, но Сергѣй Никанорычъ уже не слушалъ; воспоминанія о прошломъ, объ оскорбленіяхъ, которыя онъ терпѣлъ каждый день, нахлынули на него; лысая голова его вспотѣла, онъ покраснѣлъ и замигалъ глазами.

— Жизнь проклятая! — сказалъ онъ съ досадой и ударилъ колбасой о полъ.

III.

Разсказывали, что постоянный дворъ былъ построенъ еще при Александрѣ I, какою-то вдовой, которая поселилась здѣсь со своимъ сыномъ; называлась она Авдотьей Тереховой. У тѣхъ, кто, бывало, проѣзжалъ мимо на почтовыхъ, особенно въ лунныя ночи, темный дворъ съ навѣсомъ и постоянно запертыя ворота своимъ видомъ вызывали чувство скуки и безотчетной тревоги, какъ будто въ этомъ дворѣ жили колдуны или разбойники; и всякій разъ, уже проѣхавъ мимо, ямщикъ оглядывался и подгонялъ лошадей. Останавливались здѣсь неохотно, такъ какъ хозяева всегда были неласковы и брали съ проѣзжихъ очень дорого. Во дворѣ было грязно даже лѣтомъ; здѣсь въ грязи лежали громадныя жирныя свиньи и бродили безъ привязи лошади, которыми барышничали Тереховы, и случалось часто, что лошади, соскучившись, выбѣгали со двора и, какъ бѣшенныя, носились по дорогѣ, пугая странницъ. Въ то время здѣсь было большое движеніе; проходили длинныя обозы съ товарами, и бывали тутъ разные случаи, въ родѣ того, напри- мѣръ, какъ лѣтъ 30 назадъ обозчики, разсердившись, затѣяли драку и убили проѣзжаго купца, и въ полуверстѣ отъ двора до сихъ поръ еще стоитъ погнувшійся крестъ; проѣзжали почтовые тройки со звонками и тяжелые барскіе дормезы, съ ревомъ и въ облакахъ пыли проходили гурты рогатаго скота.

Когда провели желѣзную дорогу, то въ первое время на этомъ мѣстѣ былъ только полустанокъ, который назывался просто разъѣздомъ, потомъ же лѣтъ черезъ десять построили теперешнюю *Прогонную*. Движеніе по старой почтовой дорогѣ почти прекратилось и по ней уже ѣздили только мѣстные помѣщики и мужики, да весной и осенью проходили толпами рабочіе. Постоялый дворъ превратился въ трактиръ; верхній этажъ обгорѣлъ, крыша стала желтой отъ ржав-

чины, навѣсь мало-по-малу обвалился, но на дворѣ въ грязи все еще валялись громадные, жирныя свиньи, розовыя, отвратительныя. Попржежнему, иногда со двора выбѣгали лошади и бѣшено, задравъ хвосты, носились по дорогѣ. Въ трактирѣ торговали чземъ, сѣномъ, овсомъ, мукой, а также водкой и пивомъ, распивочно и на выносъ; спиртные напитки продавали съ опаской, такъ какъ патента никогда не брали.

Тереховы вообще всегда отличались религіозностью, такъ что имъ даже дали прозвище — Богомолеры. Но, быть-можетъ, оттого, что они жили особнякомъ, какъ медвѣди, избѣгали людей и до всего доходили своимъ умомъ, они были склонны къ мечтаніямъ и къ колебаніямъ въ вѣрѣ, и почти каждое поколѣніе вѣровало какъ-нибудь особенно. Бабка Авдотья, которая построила постоянный дворъ, была старой вѣры, ея же сынъ и оба внука (отцы Матвѣя и Якова) ходили въ православную церковь, принимали у себя духовенство и новымъ образомъ молилась съ такимъ же благоговѣніемъ, какъ старымъ; сынъ въ старости не ѣлъ мяса и наложилъ на себя подвигъ молчанія, считая грѣхомъ всякій разговоръ, а у внуковъ была та особенность, что они понимали писаніе не просто, а все искали въ немъ скрытаго смысла, увѣряя, что въ каждомъ святомъ словѣ должна содержаться кака-нибудь тайна. Правнуку Авдотьи, Матвѣй, съ самаго дѣтства боролся съ мечтаніями и едва не погибъ, другой правнукъ, Яковъ Ивановичъ, былъ православнымъ, но послѣ смерти жены вдругъ пересталъ ходить въ церковь и молился дома. На него глядя, совратилась и сестра Аглая: сама не ходила въ церковь и Дашутку не пускала. Про Аглаю еще рассказывали, будто въ молодыхъ лѣтахъ она хаживала въ Веденяшино къ хлыстамъ и что втайнѣ она еще продолжаетъ быть хлыстовкой, а потому-де ходить въ бѣломъ платочкѣ.

Яковъ Ивановичъ былъ старше Матвѣя на десять лѣтъ.



Это былъ очень красивый старикъ, высокаго роста, съ широкою, сѣдою бородой, почти до пояса, и съ густыми бровями, придававшими его лицу суровое, даже злое выраженіе. Носилъ онъ длинную поддевку изъ хорошаго сукна или чернѣйшій романовскій полушубокъ и вообще старался одѣваться чисто и прилично; калоши носилъ даже въ сухую погоду. Въ церковь онъ не ходилъ потому, что, по его мнѣнію, въ церкви не точно исполняли уставъ, и потому, что священники пили вино въ непоказанное время и курили табакъ. Дома у себя онъ каждый день читалъ и пѣлъ вмѣстѣ съ Аглаей. Въ Веденяпинѣ въ заутрени вовсе не читали канона и вечерни не служили даже въ большіе праздники, онъ же у себя дома прочитывалъ все, что полагалось на каждый день, не пропуская ни одной строки и не торопясь, а въ свободное время читалъ вслухъ житія. И въ обыденной жизни онъ строго держался устава; такъ, если въ великомъ посту въ какой-нибудь день разрѣшалось, по уставу, вино «ради труда бдѣннаго», то онъ непремѣнно нилъ вино, даже если не хотѣлось.

Онъ читалъ, пѣлъ, кадиль и постился не для того, чтобы получить отъ Бога какія-либо блага, а для порядка. Человѣкъ не можетъ жить безъ вѣры и вѣра должна выражаться правильно, изъ года въ годъ, изо дня въ день въ извѣстномъ порядкѣ, чтобы каждое утро и каждый вечеръ человѣкъ обращался къ Богу именно съ тѣми словами и мыслями, какія приличны данному дню и часу. Нужно жить, а значитъ и молиться такъ, какъ угодно Богу, и поэтому каждый день слѣдуетъ читать и пѣть только то, что угодно Богу, то-есть что полагается по уставу; такъ, первую главу отъ Іоанна нужно читать только въ день Пасхи, а отъ Пасхи до Вознесенія нельзя пѣть «Достойно есть» и проч. Сознаніе этого порядка и его важности доставляло Якову Иванычу во время молитвы большое удовольствіе. Когда ему по необходимости приходилось нарушать этотъ порядокъ,

напримѣръ, уѣзжать въ городъ за товаромъ или въ банкъ, то его мучила совѣсть и онъ чувствовалъ себя несчастнымъ.

Братъ Матвѣй, прїѣхавшій неожиданно изъ завода и поселившійся въ трактиръ, какъ дома, съ первыхъ же дней сталъ нарушать порядокъ. Онъ не хотѣлъ молиться вмѣстѣ, ѣлъ и пилъ чай не во-время, поздно вставалъ, въ среды и пятницы пилъ молоко, будто бы по слабости здоровья; почти каждый день во время молитвы онъ входилъ въ моленную и кричалъ: «Образумьтесь, братецъ! Покайтесь, братецъ!» Отъ этихъ словъ Якова Иваныча бросало въ жаръ, а Аглая, не выдержавъ, начинала браниться. Или ночью, подкравшись, Матвѣй входилъ въ моленную и говорилъ тихо: «Братецъ, ваша молитва не угодна Богу. Потому что сказано: прежде смиришь съ братомъ твоимъ, и тогда пришедь принеси даръ твой. Вы же деньги въ ростъ даете, водочкой торгуете. Покайтесь!»

Въ словахъ Матвѣя Яковъ видѣлъ лишь обычную отговорку пустыхъ и нерадивыхъ людей, которые говорятъ о любви къ ближнему, о примиреніи съ братомъ и проч. для того только, чтобы не молиться, не постить и не читать святыхъ книгъ, и которые презрительно отзываются о наживѣ и процентахъ только потому, что не любятъ работать. Вѣдь быть бѣднымъ, ничего не копить и ничего не беречь гораздо легче, чѣмъ быть богатымъ.

А все же онъ былъ взволнованъ и уже не могъ молиться, какъ прежде. Едва онъ входилъ въ моленную и раскрывалъ книгу, какъ уже начиналъ бояться, что вотъ-вотъ войдетъ братъ и помѣшаетъ ему; и въ самомъ дѣлѣ, Матвѣй появлялся скоро и кричалъ дрожащимъ голосомъ: «Образумьтесь, братецъ! Покайтесь, братецъ!» Сестра бранилась, и Яковъ тоже выходилъ изъ себя и кричалъ: «Пошелъ вонъ изъ моего дома!» А тотъ ему: «Этотъ домъ нашъ общій».

Начиналъ Яковъ снова читать и пѣть, но уже не могъ

успокоиться и, самъ того не замѣчая, вдругъ задумывался надъ книгой; хотя слова брата считалъ онъ пустяками, но почему-то и ему въ послѣднее время тоже стало приходиться на память; что богатому трудно войти въ царство небесное, что въ третьемъ году онъ купилъ очень выгодно краденую лошадь, что еще при покойницѣ женѣ однажды какой-то пьяница умеръ у него въ трактирѣ отъ водки...

По ночамъ онъ спалъ теперь не хорошо, чутко и ему слышно было, какъ Матвѣй тоже не спалъ и все вздыхалъ, скучая по своемъ изразцовомъ заводу. И Якову ночью, пока онъ ворочался съ боку на бокъ, вспоминались и краденая лошадь, и пьяница, и евангельскія слова о верблюдѣ.

Похоже было на то, какъ будто у него опять начинались мечтанія. А какъ нарочно, каждый день, несмотря на то, что уже былъ конецъ марта, шелъ снѣгъ и лѣсъ шумѣлъ по-зимнему и не вѣрилось, что весна настанетъ когда-нибудь. Погода располагала и къ скукѣ, и къ ссорамъ, и къ ненависти, а ночью, когда вѣтеръ гудѣлъ надъ потолкомъ, казалось, что кто-то жилъ тамъ наверху, въ пустомъ этажѣ, мечтанія мало-по-малу наваливали на умъ, голова горѣла и не хотѣлось спать.

#### IV.

Утромъ въ страстной понедѣльникъ Матвѣй слышалъ изъ своей комнаты, какъ Дашутка сказала Аглаѣ:

— Дядя Матвѣй говорилъ надясь, поститься, говорилъ, не надо.

Матвѣй припомнилъ весь разговоръ, какой у него былъ наканунѣ съ Дашуткой, и ему вдругъ стало обидно.

— Дѣвушка, не грѣши! — сказалъ онъ стонущимъ голосомъ, какъ больной. — Безъ постовъ нельзя, самъ Господь нашъ постился сорокъ дней. А только я тебѣ объяснялъ, что худому человѣку и постъ не въ пользу.

— А ты только послушай заводскихъ, они научатъ

добру,—проговорила насмѣшливо Аглая, моя полъ (въ будни она обыкновенно мыла полы и при этомъ сердилась на всѣхъ).—На заводѣ, извѣстно, какой постъ. Ты вотъ спроси его, дядю-то своего, спроси про душеньку, какъ онъ съ ней, съ гадюкой, въ постные дни молоко трескалъ. Другихъ-то онъ учитъ, а самъ забылъ про гадюку. А спроси: кому онъ деньги оставилъ; кому?

Матвѣй тщательно, какъ неопрятную рану, скрывалъ ото всѣхъ, что въ тотъ самый періодъ своей жизни, когда во время моленій съ нимъ вмѣстѣ прыгали и бѣгали старухи и дѣвки, онъ вступилъ въ связь съ одною мѣщанкой и имѣлъ отъ нея ребенка. Уѣзжая домой, онъ отдалъ этой женщинѣ все, что скопилъ на заводѣ, а для себя на проѣздъ взялъ у хозяина, и теперь у него было всего нѣсколько рублей, которые онъ тратилъ на чай и свѣчи. «Душенька» потомъ извѣщала его, что ребенокъ умеръ, и спрашивала въ письмѣ, какъ поступить съ деньгами. Это письмо принесъ со станціи работникъ, Аглая перехватила и прочла, и потомъ каждый день попрекала Матвѣя «душенькой».

— Шутка, девятьсотъ рублей!—продолжала Аглая.—Отдалъ девятьсотъ рублей чужой гадюкѣ, заводской кобылѣ, чтобъ ты лопнулъ! — Она уже разошлась и кричала визливо:—Молчишь? Я бѣ тебя разорвала, лядащій! Девятьсотъ рублей, какъ копеечка! Ты бы подъ Дашутку подписалъ,—своя, не чужая,—а то послалъ бы въ Бѣлевъ Марьинымъ сиротамъ несчастнымъ. И не подавилась твоя гадюка, будь она трижды анаеема проклята, дьяволица, чтобъ ей свѣтлаго дня не дождаться!

Яковъ Иванычъ окликнулъ ее; было уже время начинать часы. Она умылась, надѣла бѣлую косыночку и пошла въ моленную къ своему любимому брату уже тихая, скромная. Когда она говорила съ Матвѣемъ или въ трактирѣ подавала мужикамъ чай, то это была тощая, остроглазая, злая старуха, въ модельной же лицо у нея было чистое, умилен-

ное, сама она какъ-то вся молодѣла, манерно присѣдала и даже складывала сердечкомъ губы.

Яковъ Иванычъ началъ читать часы тихо и заунывно, какъ онъ читалъ всегда въ великій постъ. Почитавъ немало, онъ остановился, чтобы прислушаться къ покою, какой былъ во всемъ домѣ, и потомъ продолжалъ опять читать, испытывая удовольствіе; онъ молитвенно складывалъ руки, закатывалъ глаза, покачивалъ головой, вздыхалъ. Но вдругъ послышались голоса. Къ Матвѣю пришли въ гости жандармъ и Сергѣй Никанорычъ. Яковъ Иванычъ стѣснялся читать вслухъ и пѣть, когда въ домѣ были посторонніе, и теперь, услышавъ голоса, сталъ читать шопотомъ и медленно. Въ моленной было слышно, какъ буфетчикъ говорилъ:

— Татаринъ въ Щеповѣ сдаетъ свое дѣло за полторы тысячи. Можно дать ему теперь пятьсотъ, а на остальные вексель. Такъ вотъ, Матвѣй Васильичъ, будьте столь благонадежны, одолжите мнѣ эти пятьсотъ рублей. Я вамъ два процента въ мѣсяць.

— Какія у меня деньги! — изумился Матвѣй. — Какія у меня деньги!

— Два процента въ мѣсяць, это для васъ какъ съ неба, — объяснялъ жандармъ. — А лежавши у васъ, ваши деньги только моль вѣсть и больше никакого результата.

Потомъ гости ушли и наступило молчаніе. Но едва Яковъ Иванычъ началъ опять читать вслухъ и пѣть, какъ изъ-за двери послышался голосъ:

— Братецъ, позвольте мнѣ лошади въ Веденяцино съѣздить!

Это былъ Матвѣй. И у Якова на душѣ стало опять непокойно.

— На чемъ же вы поѣдете? — спросилъ онъ, подумавъ. — На гнѣдомъ работникъ свинью повезъ, а на жеребчикѣ я самъ поѣду въ Шутейкино, вотъ какъ кончу.

— Братецъ, почему это вы можете распоряжаться лошадьми, а я нѣтъ?—спросилъ съ раздраженіемъ Матвѣй.

— Потому что я не гулять, а по дѣлу.

— Имущество у насъ общее, значить, и лошади общія, и вы это должны понимать, братецъ.

Наступило молчаніе. Яковъ не молился и ждалъ, когда отойдетъ отъ двери Матвѣй.

— Братецъ, — говорилъ Матвѣй, — я человекъ больной, не хочу я имѣнія, Богъ съ нимъ, владѣйте, но дайте хоть малую часть на пропитаніе въ моей болѣзни. Дайте, и я уйду.

Яковъ молчалъ. Ему очень хотѣлось развязаться съ Матвѣемъ, но дать ему денегъ онъ не могъ, такъ какъ всѣ деньги были при дѣлѣ; да и во всемъ роду Тереховыхъ не было еще примѣра, чтобы братья дѣлились; дѣлиться—раззориться.

Яковъ молчалъ и все ждалъ когда уйдетъ Матвѣй, и все смотрѣлъ на сестру, боясь, какъ бы она не вмѣшалась и не началась бы опять брань, какая была утромъ. Когда наконецъ Матвѣй ушелъ, онъ продолжалъ читать; но уже удовольствія не было, отъ земныхъ поклоновъ тяжелѣла голова и темнѣло въ глазахъ, и было скучно слушать свой тихій, заунывный голосъ. Когда такой упадокъ духа бывалъ у него по ночамъ, то онъ объяснялъ его тѣмъ, что не было сна, днемъ же это его пугало и ему начинало казаться, что на головѣ и на плечахъ у него сидятъ бѣсы.

Кончивъ кое-какъ часы, недовольный и сердитый, онъ поѣхалъ въ Шутейкино. Еще осенью землекопы рыли около *Прогонной* межевую канаву и прохарчили въ трактирѣ 18 рублей, и теперь нужно было застать въ Шутейкинѣ ихъ подрядчика и получить съ него эти деньги. Отъ тепла и метелей дорога испортилась, стала темною и ухабистою и мѣстами уже проваливалась; снѣгъ по бокамъ осѣлъ ниже дороги, такъ что приходилось ѣхать, какъ по узкой насыпи,

и сворачивать при встрѣчахъ было очень трудно. Небо хмурилось еще съ утра и дулъ сырой вѣтеръ...

Навстрѣчу ѣхалъ длинный обозъ: бабы везли кирпичъ. Яковъ долженъ былъ свернуть съ дороги; лошадь его вошла въ снѣгъ по брюхо, сани-одиночки накренились вправо, и самъ онъ, чтобы не свалиться, согнулся влѣво и сидѣлъ такъ все время, пока мимо него медленно подвигался обозъ; онъ слышалъ сквозь вѣтеръ, какъ скрипѣли сани и дышали тощія лошади и какъ бабы говорили про него: «Богомолловъ ѣдетъ»,— одна, поглядѣвъ съ жалостью на его лошадь, сказала быстро:

— Похоже, снѣгъ до Егорія пролежитъ. Замучились!

Яковъ сидѣлъ неудобно, согнувшись, и щурилъ глаза отъ вѣтра, а передъ нимъ все мелькали то лошади, то красный кирпичъ. И, быть можетъ, оттого, что ему было неудобно и болѣлъ бокъ, вдругъ ему стало досадно, и дѣло, по которому онъ теперь ѣхалъ, показалось ему неважнымъ и онъ сообразилъ, что можно было бы въ Шутейкино послать завтра работника. Опять почему-то, какъ въ прошлую безсонную ночь, онъ вспомнилъ слова про верблюда и затѣмъ полѣзли въ голову разныя воспоминанія то о мужикѣ, который продавалъ краденую лошадь, то о пьяницѣ, то о бабахъ, которыя приносили ему въ закладъ самовары. Конечно, каждый купецъ старается взять больше, но Яковъ почувствовалъ утомленіе оттого, что онъ торговецъ, ему захотѣлось уйти куда-нибудь подальше отъ этого порядка и стало скучно отъ мысли, что сегодня ему еще надо читать вечерню. Вѣтеръ билъ ему прямо въ лицо и шуршалъ въ воротникъ и казалось, что это онъ нашептывалъ ему всѣ эти мысли, принося ихъ съ широкаго бѣлаго поля... Глядя на это поле, знакомое ему съ дѣтства, Яковъ вспоминалъ, что точно такая же тревога и тѣ же мысли были у него въ молодые годы, когда на него находили мечтанія и колебалась вѣра.

Ему было жутко оставаться одному въ полѣ; онъ повернулъ назадъ и тихо поѣхалъ за обозомъ, а бабы смѣялись и говорили:

— Богомолвъ вернулся.

Дома, по случаю поста, ничего не варили и не ставили самовара, и день поэтому казался очень длиннымъ. Яковъ Иванычъ давно уже убралъ лошадь, отпустилъ муки на станцію и раза два принимался читать псалтирь, а до вечера все еще было далеко. Аглая вымыла уже всѣ полы и, отъ нечего дѣлать, убирала у себя въ сундукъ, крышка котораго изнутри была вся оклеена ярлыками съ бутылокъ. Матвѣй, голодный и грустный, сидѣлъ и читалъ, или же подходилъ къ голландской печкѣ и подолгу осматривалъ изразцы, которые напоминали ему заводъ. Дашутка спала, потомъ, проснувшись, пошла поить скотину. У нея, когда она доставала воду изъ колодца, оборвалась веревка и ведро упало въ воду. Работникъ сталъ искать багоръ, чтобы вытащить ведро, а Дашутка ходила за нимъ по грязному снѣгу, босая, съ красными, какъ у гусыни, ногами и повторяла: «Тамъ глыбѣ!» Она хотѣла сказать, что въ колодцѣ глубже, чѣмъ можетъ достать багоръ, но работникъ не понималъ ея и, очевидно, она надоѣла ему, такъ какъ онъ вдругъ обернулся и выбранилъ ее нехорошими словами. Яковъ Иванычъ, вышедшій въ это время на дворъ, слышалъ, какъ Дашутка отвѣтила работнику скороговоркой длиною, отборною бранью, которой она могла научиться только въ трактирѣ у пьяныхъ мужиковъ.

— Что ты, срамница? — крикнулъ онъ ей и даже испугался. — Какія это ты слова?

А она глядѣла на отца съ недоумѣніемъ, тупо, не понимая, почему нельзя произносить такихъ словъ. Онъ хотѣлъ прочесть ей наставленіе, но она показалась ему такою дикою, темною, и въ первый разъ за все время, пока она была у него, онъ сообразилъ, что у нея нѣтъ никакой вѣры.



И вся эта жизнь въ лѣсу, въ снѣгу, съ пьяными мужиками, съ бранью представилась ему такою же дикою и темной, какъ эта дѣвушка, и, вмѣсто того, чтобы читать ей наставленіе, онъ только махнулъ рукой и вернулся въ комнату.

Въ это время опять пришли къ Матвѣю жандармъ и Сергѣй Никанорычъ. Яковъ Ивановичъ вспомнилъ, что у этихъ людей тоже нѣтъ никакой вѣры и что это ихъ нисколько не беспокоитъ, и жизнь стала казаться ему странною, безумною и безпросвѣтною, какъ у собаки; онъ безъ шапки прошелся по двору, потомъ вышелъ на дорогу и ходилъ, сжавъ кулаки,—въ это время пошелъ снѣгъ хлопьями,—борода у него развѣвалась по вѣтру, онъ все встряхивалъ головой, такъ какъ что-то давило ему голову и плечи, будто сидѣли на нихъ бѣсы, и ему казалось, что это ходитъ не онъ, а какой-то звѣрь, громадный, страшный звѣрь, и что если онъ закричитъ, то голосъ его пронесется ревомъ по всему полю и лѣсу и испугаетъ всѣхъ...

## V.

Когда онъ вернулся въ домъ, жандарма уже не было, а буфетчикъ сидѣлъ въ комнатѣ Матвѣя и считалъ что-то на счетахъ. Онъ и раньше часто, почти каждый день, бывалъ въ трактирѣ; прежде ходилъ къ Якову Ивановичу, а въ послѣднее время къ Матвѣю. Онъ все считалъ на счетахъ и при этомъ лицо его напрягалось и потѣло, или просилъ денегъ, или, разглаживая бакены, рассказывалъ о томъ, какъ когда-то на первоклассной станціи онъ приготовлялъ для офицеровъ крѣпко и на парадныхъ обѣдахъ самъ разливалъ стерляжьё уху. На этомъ свѣтѣ его ничто не интересовало, кромѣ буфетовъ, и умѣлъ онъ говорить только о кушаньяхъ, сервировкахъ, винахъ. Однажды, подавая чай молодой женщинѣ, которая кормила грудью ребенка, и же-

лая сказать ей что-нибудь пріятное, онъ выразился такъ:

— Грудь матери, это—буфетъ для младенца.

Считая на счетахъ въ комнатѣ Матвѣя, онъ просилъ денегъ, говорилъ, что на *Прогонной* ему уже нельзя жить, и нѣсколько разъ повторилъ такимъ тономъ, какъ будто собирался заплакать:

— Куда же я пойду? Куда я теперь пойду, скажите на милость?

Потомъ Матвѣй пришелъ въ кухню и сталъ чистить варенный картофель, который онъ припряталъ, вѣроятно, со вчерашняго дня. Было тихо и Якову Иванычу показалось, что буфетчикъ ушелъ. Давно уже была пора начинать вечерню; онъ позвалъ Аглаю и, думая, что въ домѣ нѣтъ никого, зашѣлъ безъ стѣсненія, громко. Онъ пѣлъ и читалъ, но мысленно произносилъ другія слова: «Господи, прости! Господи, спаси!» — и одинъ за другимъ, не переставая, клалъ земные поклоны, точно желая утомить себя, и все встряхивалъ головой, такъ что Аглая смотрѣла на него съ удивленіемъ. Онъ боялся, что войдетъ Матвѣй, и былъ увѣренъ, что онъ войдетъ, и чувствовалъ противъ него злобу, которой не могъ одолѣть ни молитвой, ни частыми поклонами.

Матвѣй тихо-тихо отворилъ дверь и вошелъ въ моленную.

— Грѣхъ, какой грѣхъ! — сказалъ онъ укоризненно и вздохнулъ.—Покайтесь! Опомнитесь, братецъ!

Яковъ Иванычъ, сжавъ кулаки, не глядя на него, чтобы не ударить, быстро вышелъ изъ моленной. Такъ же, какъ давеча на дорогѣ, чувствуя себя громаднымъ, страшнымъ звѣремъ, онъ прошелъ черезъ сѣни въ сѣрую, грязную, пропитанную туманомъ и дымомъ половину, гдѣ обыкновенно мужики пили чай, и тутъ долго ходилъ изъ угла въ уголь, тяжело ступая, такъ что звенѣла посуда на полкахъ и шатались столы. Ему уже было ясно, что самъ онъ недоволенъ своею вѣрой и уже не можетъ молиться попрежнему.

Надо было каяться, надо было опомниться, образумиться, жить и молиться какъ-нибудь иначе. Но какъ молиться? А, можетъ-быть, все это только смущаетъ бѣсъ и ничего этого не нужно?.. Какъ быть? Что дѣлать? Кто можетъ научить? Какая безпомощность! Онъ остановился и, взявшись за голову, сталъ думать, но то, что близко находился Матвѣй, мѣшало ему покойно соображать. И онъ быстро пошелъ въ комнаты.

Матвѣй сидѣлъ въ кухнѣ передъ чашкой съ картофелемъ и ѣлъ. Тутъ же около печи сидѣли другъ противъ друга Аглая и Дашутка и мотали нитки. Между печью и столомъ, за которымъ сидѣлъ Матвѣй, была протянута гладильная доска; на ней стоялъ холодный утюгъ.

— Сестрица, — попросилъ Матвѣй, — позвольте мнѣ масла!

— Кто же въ такой день масло ѣсть? — спросила Аглая.

— Я, сестрица, не монахъ, а мирянинъ. А по слабости здоровья мнѣ не то что масло, даже молоко можно.

— Да, у васъ на заводѣ все можно.

Аглая достала съ полки бутылку съ постнымъ масломъ и поставила ее передъ Матвѣемъ, сердито стукнувъ, съ злорадною улыбкой, очевидно, довольная, что онъ такой грѣшникъ.

— А я тебѣ говорю, ты не можешь ѣсть масла! — крикнулъ Яковъ.

Аглая и Дашутка вздрогнули, а Матвѣй, точно не слышалъ, налилъ себѣ масла въ чашку и продолжалъ ѣсть.

— А я тебѣ говорю, ты не можешь ѣсть масла! — крикнулъ Яковъ еще громче, покраснѣвъ весь и вдругъ схватилъ чашку, поднялъ ее выше головы и изо всей силы ударилъ ѓ-земь, такъ что полетѣли черепки. — Не смѣй говорить! — крикнулъ онъ неистовымъ голосомъ, хотя Матвѣй не сказалъ ни слова. — Не смѣй! — повторилъ онъ и ударилъ кулакомъ по столу.

Матвѣй поблѣднѣлъ и всталъ.

— Братецъ!—сказалъ онъ, продолжая жевать.—Братецъ, опомнитесь!

— Вонъ изъ моего дома сію минуту!—крикнулъ Яковъ; ему были противны морщинистое лицо Матвѣя и его голось, и крошки на усахъ, и то, что онъ жуеть.—Вонъ, тебѣ говорятъ!

— Братецъ, уймитесь! Васъ обуяла гордость бѣсовская!

— Молчи! (Яковъ застучалъ ногами). Уходи, дьяволь!

— Вы, ежели желаете знать,—продолжалъ Матвѣй громко, тоже начиная сердиться,—вы богоотступникъ и еретикъ. Бѣсы окайнные заслонили отъ васъ истинный свѣтъ, ваша молитва не угодна Богу. Покайтесь, пока не поздно! Смерть грѣшника люта! Покайтесь, братецъ!

Яковъ взялъ его за плечи и потащилъ изъ-за стола, а онъ еще больше поблѣднѣлъ и, испугавшись, смутившись, забормоталъ: «Что жъ оно такое? Что жъ оно такое?»—и, упираясь, дѣлая усилія, чтобы высвободиться изъ рукъ Якова, нечаянно ухватился за его рубаху около шеи и порвалъ воротникъ, а Аглаѣ показалось, что это онъ хочетъ бить Якова, она вскрикнула, схватила бутылку съ постнымъ масломъ и изо всей силы ударила ею ненавистнаго брата прямо по темени. Матвѣй пошатнулся и лицо его въ одно мгновеніе стало спокойнымъ, равнодушнымъ; Яковъ, тяжело дыша, возбужденный и испытывая удовольствіе отъ того, что бутылка, ударившись о голову, крякнула, какъ живая, не давалъ ему упасть и нѣсколько разъ (это онъ помнилъ очень хорошо) указалъ Аглаѣ пальцемъ на утюгъ, и только когда полилась по его рукамъ кровь и послышался громкій плачь Дашутки, и когда съ шумомъ упала гладильная доска и на нее грузно повалился Матвѣй, Яковъ пересталъ чувствовать злобу и понялъ, что произошло.

— Пусть издыхаетъ, заводскій жеребецъ!—съ отвращеніемъ проговорила Аглая, не выпуская изъ рукъ утюга; бѣ-

лый, забрызганный кровью платочек сползъ у нея на плечи и сѣдые волосы распустились.—Туда ему и дорога! Все было страшно. Дашутка сидѣла на полу около печки съ нитками въ рукахъ, всхлипывала и все кланялась, про-износя съ каждымъ поклономъ: «гамъ! гамъ!» Но ничто не было такъ страшно для Якова, какъ вареный картофель въ крови, на который онъ боялся наступить, и было еще нѣчто страшное, что угнетало его, какъ тяжкій сонъ, и казалось самымъ опаснымъ и чего онъ никакъ не могъ понять въ первую минуту. Это былъ буфетчикъ Сергѣй Никанорычъ, ко-торый стоялъ на порогѣ со счетами въ рукахъ, очень блѣд-ный, и съ ужасомъ смотрѣлъ на то, что происходило въ кухнѣ. Только когда онъ повернулся и быстро пошелъ въ сѣни, а оттуда наружу, Яковъ понялъ, кто это, и пошелъ за нимъ.

Вытирая на ходу руки о снѣгъ, онъ думалъ. Промельк-нула мысль о томъ, что работникъ отпросился ночевать къ себѣ въ деревню и ушелъ уже давно; вчера рѣзали свинью, и громадные кровавые пятна были на снѣгу, на саяхъ и даже одна сторона колодезнаго сруба была обрызгана кровью, такъ что если бы теперь вся семья Якова была въ крови, то это не могло бы показаться подозрительнымъ. Скрывать убійство было бы мучительно, но то, что явится со стан-ціи жандармъ, который будетъ посвистывать и насмѣшливо улыбаться, придутъ мужики и крѣпко свяжутъ руки Якову и Аглаѣ и съ торжествомъ поведутъ ихъ въ волость, а от-туда въ городъ, и дорогой всѣ будутъ указывать на нихъ и весело говорить: «Богомолowychъ ведутъ!» — это предст-влялось Якову мучительнѣе всего и хотѣлось протянуть какъ-нибудь время, чтобы пережить этотъ срамъ не теперь, а когда-нибудь послѣ.

— Я вамъ могу одолжить тысячу рублей...—сказалъ онъ, догнавъ Сергѣя Никанорыча. — Если вы кому скажете, то отъ этого никакой пользы... а человѣка все равно не вос-кресишь, — и, едва поспѣвая за буфетчикомъ, который не

оглядывался и старался идти все скорѣе, онъ продолжалъ:— И полторы тысячи могу дать...

Онъ остановился, потому что запыхался, а Сергій Никанорычъ пошелъ дальше все такъ же быстро, вѣроятно, боясь, чтобы его также не убили. Только миновавъ переѣздъ и пройдя половину шоссе, которое вело отъ переѣзда до станціи, онъ мелькомъ оглянулся и пошелъ тише. На станціи и по линіи уже горѣли огни, красные и зеленые; вѣтеръ утихъ, но снѣгъ все еще сыпался хлопьями, и дорога опять побѣлѣла. Но вотъ почти около самой станціи Сергій Никанорычъ остановился, подумалъ минуту и рѣшительно пошелъ назадъ. Становилось темно.

— Пожалуйте полторы тысячи, Яковъ Иванычъ, — сказалъ онъ тихо, дрожа всѣмъ тѣломъ.—Я согласенъ.

## VI.

Деньги Якова Иваныча лежали въ городскомъ банкѣ и были розданы подъ вторыя закладныя; дома у себя онъ держалъ немного, только то, что нужно было для оборота. Войдя въ кухню, онъ нащупалъ жестянку со спичками и, пока синимъ огнемъ горѣла сѣра, успѣлъ разглядѣть Матвѣя, который лежалъ попрежнему на полу около стола, но уже былъ накрытъ бѣлою простыней, и были видны только его сапоги. Кричалъ сверчокъ. Аглаи и Дашутки не было въ комнатахъ: обѣ онѣ сидѣли въ чайной за прилавкомъ и молча мотали нитки. Яковъ Иванычъ съ лампочкой прошелъ къ себѣ въ комнату и вытащилъ изъ-подъ кровати сундучокъ, въ которомъ держалъ расхожія деньги. Въ этотъ разъ набралось всего четыреста двадцать однѣми мелкими бумажками и серебра на тридцать пять рублей; отъ бумажекъ шелъ нехорошій, тяжелый духъ. Забравъ деньги въ шапку, Яковъ Иванычъ вышелъ на дворъ, потомъ за ворота. Онъ шелъ и глядѣлъ по сторонамъ, но буфетчика не было.

— Гопы!—крикнулъ Яковъ.

У самого переѣзда отъ шлагбаума отдѣлилась темная фигура и нерѣшительно пошла къ нему.

— Что вы все ходите и ходите?—проговорилъ Яковъ съ досадой, узнавъ буфетчика. — Вотъ вамъ: тутъ немного не хватило до пятисотъ... Дома нѣтъ больше.

— Хорошо... Очень вамъ благодаренъ, — бормоталъ Сергѣй Никанорычъ, хватая деньги съ жадностью и запихивая ихъ въ карманы; онъ весь дрожалъ и это было замѣтно, несмотря на потемки. — А вы, Яковъ Ивановичъ, будьте покойны... Къ чему мнѣ болтать? Мое дѣло такое, я былъ да ушелъ. Какъ говорится, знать ничего не знаю, вѣдать не вѣдаю...—и тутъ же добавилъ со вздохомъ: — Жизнь проклятая!

Минуту стояли молча, не глядя другъ на друга.

— Такъ это у васъ, изъ пустяковъ, Богъ его знаетъ какъ...—сказалъ буфетчикъ, дрожа. — Сижу я, считаю себѣ и вдругъ шумъ... Гляжу въ дверь, а вы изъ-за постнаго масла... Гдѣ онъ теперь?

— Лежить тамъ въ кухнѣ.

— Вы бы его свезли куда... Что ждате?

Яковъ проводилъ его до станціи молча, потомъ вернулся домой и запрягъ лошадь, чтобы везти Матвѣя въ Лимарово. Онъ рѣшилъ, что свезетъ его въ Лимаровскій лѣсъ и оставить тамъ на дорогѣ, а потомъ будетъ говорить всѣмъ, что Матвѣй ушелъ въ Веденяпино и не возвращался, и всѣ тогда подумаютъ, что его убили прохожіе. Онъ зналъ, что этимъ никого не обманешь, но двигаться, дѣлать что-нибудь, хлопотать было не такъ мучительно, какъ сидѣть и ждать. Онъ кликнулъ Дашутку и вмѣстѣ съ ней повезъ Матвѣя. А Аглая осталась убирать въ кухнѣ.

Когда Яковъ и Дашутка возвращались назадъ, ихъ задержалъ у переѣзда опущенный шлагбаумъ. Шелъ длинный товарный поѣздъ, который тащили два локомотива, тяжело

дыша и выбрасывая изъ поддувалъ снопы багроваго огня. На переѣздѣ въ виду станціи передній локомотивъ издалъ пронзительный свистъ.

— Свистить...—проговорила Дашутка.

Поѣздъ наконецъ прошелъ и сторожъ не спѣша поднялъ шлагбаумъ.

— Это ты, Яковъ Ивановичъ?—сказалъ онъ.—Не узналъ, богатымъ быть.

А потомъ, когда пріѣхали домой, надо было спать. Аглая и Дашутка легли рядомъ, постлавши себѣ въ чайной на полу, а Яковъ расположился на прилавкѣ. Передъ тѣмъ, какъ ложиться, Богу не молились и лампадъ не зажигали. Всѣ трое не спали до самаго утра, но не промолвили ни одного слова, и казалось имъ всю ночь, что наверху въ пустомъ этажѣ кто-то ходитъ.

Черезъ два дня пріѣхали изъ города становой приставъ и слѣдователь и сдѣлали обыскъ сначала въ комнатѣ Матвѣя, потомъ во всемъ трактирѣ. Допрашивали прежде всего Якова, и онъ показалъ, что Матвѣй въ понедѣльникъ подъ вечеръ ушелъ въ Веденяпино говѣтъ и что, должно быть, дорогой его убили пальчики, работающіе теперь по линіи. А когда слѣдователь спросилъ его, почему же такъ случилось, что Матвѣя нашли на дорогѣ, а шапка его оказалась дома, — развѣ онъ пошелъ въ Веденяпино безъ шапки? И почему около него на дорогѣ на снѣгу не нашли ни одной капли крови въ то время, какъ голова у него была проломлена, и лицо, и грудь были черны отъ крови, Яковъ смутился, растерялся и отвѣтилъ:

— Не могу знать.

И произошло именно то, чего такъ боялся Яковъ: приходилъ жандармъ, урядникъ курилъ въ молельной и Аглая набросилась на него съ бранью и нагрубилась становому приставу, и когда потомъ Якова и Аглаю вели со двора.



у воротъ толпились мужики и говорили: «Богомолова всдутъ!»—и казалось, всѣ были рады.

Жандармъ на допросѣ показалъ прямо, что Матвѣя убили Яковъ и Аглая, чтобы не дѣлиться съ нимъ, и что у Матвѣя были свои деньги, и если ихъ не оказалось при обыскѣ, то, очевидно, ими воспользовались Яковъ и Аглая. И Дашутку спрашивали. Она сказала, что дядя Матвѣй и тетка Аглая каждый день бранились и чуть не дрались изъ-за денегъ, а дядя былъ богатый, такъ какъ онъ даже какой-то своей душевнѣй подарилъ девятьсотъ рублей.

Дашутка осталась въ трактирѣ одна; никто ужъ не приходилъ пить чай и водку, и она то убирала въ комнатахъ, то пила медъ и ѣла баранки; но черезъ нѣсколько дней допрашивали сторожа на переѣздѣ, и онъ сказалъ, что въ понедѣльникъ поздно вечеромъ видѣлъ, какъ Яковъ ѣхалъ съ Дашуткой изъ Лимарова. Дашутку тоже арестовали, повели въ городъ и посадили въ острогъ. Вскорости, со словъ Аглаи, стало извѣстно, что во время убійства присутствовалъ Сергѣй Никанорычъ; у него сдѣлали обыскъ и нашли деньги въ необычномъ мѣстѣ, въ валенкѣ подъ печкой, и деньги все были мелкя, однѣхъ рублевыхъ бумажекъ было триста. Онъ божился, что эти деньги онъ наторговалъ и что въ трактирѣ онъ не былъ уже болѣе года, а свидѣтели показали, что онъ былъ бѣденъ и въ послѣднее время сильно пуждался въ деньгахъ, и ходилъ въ трактиръ каждый день, чтобы взять у Матвѣя займы, и жандармъ рассказалъ, какъ въ день убійства самъ онъ два раза ходилъ съ буфетчикомъ въ трактиръ, чтобы помочь ему сдѣлать заемъ. Вспомнили кстати, что въ понедѣльникъ вечеромъ Сергѣй Никанорычъ не выходилъ къ товаро-пассажирускому поѣзду, а уходилъ куда-то. И его тоже арестовали и отправили въ городъ.

Черезъ одиннадцать мѣсяцевъ былъ судъ.

Яковъ Ивановичъ сильно постарѣлъ, похудѣлъ и говорилъ

уже тихо, какъ больной. Онъ чувствовалъ себя слабымъ, жалкимъ, ниже всѣхъ ростомъ, и было похоже на то, какъ будто отъ мученій совѣсти и мечтаній, которыя не покидали его и въ тюрьмѣ, душа его такъ же постарѣла и отощала, какъ тѣло. Когда зашла рѣчь о томъ, что онъ не ходитъ въ церковь, председатель спросилъ его:

— Вы раскольникъ?

— Не могу знать,—отвѣтилъ онъ.

Онъ не имѣлъ уже никакой вѣры, ничего не зналъ и не понималъ, а прежняя вѣра была ему теперь противна и казалась неразумной, темной. Аглая не смирилась нисколько и продолжала бранить покойнаго Матвѣя, обвиняя его во всѣхъ несчастяхъ. У Сергѣя Никанорыча на мѣстѣ бакенновъ выросла борода; на судѣ онъ потѣлъ, краснѣлъ и видимо стыдился сѣраго халата и того, что его посадили на одну скамью съ простыми мужиками. Онъ неловко оправдывался и, желая доказать, что въ трактирѣ онъ не былъ цѣлый годъ, вступалъ въ споръ съ каждымъ свидѣтелемъ, и публика смѣялась надъ нимъ. Дашутка, пока была въ тюрьмѣ, пополнѣла; на судѣ она не понимала вопросовъ, которые задавали ей, и сказала только, что когда дядю Матвѣя убивали, то она очень испугалась, а потомъ ничего.

Всѣ четверо были признаны виновными въ убійствѣ съ корыстною цѣлью. Яковъ Иванычъ былъ приговоренъ къ каторжнымъ работамъ на двадцать лѣтъ, Аглая — на тринадцать съ половиной, Сергѣй Никанорычъ — на десять, Дашутка—на шесть.

## VII.

На Дуэскомъ рейдѣ на Сахалинѣ поздно вечеромъ остановился иностранный пароходъ и потребовалъ угля. Просили командира подождать до утра, но онъ не пожелалъ ждать и одного часа, говоря, что если за ночь погода испортится, то онъ рискуетъ уйти безъ угля. Въ Татарскомъ

проливѣ погода можетъ рѣзко измѣниться въ какіе-нибудь полчаса, и тогда сахалинскіе берега становятся опасны. А уже свѣжѣло и разводило порядочную волну.

Изъ Воеводской тюрьмы, самой неприглядной и суровой изъ всѣхъ сахалинскихъ тюремъ, погнали въ рудникъ партію арестантовъ. Предстояло нагрывать углемъ баржи, затѣмъ тащить ихъ на буксирѣ парового катера къ борту парохода, который стоялъ болѣе чѣмъ въ полуверстѣ отъ берега, и тамъ должна была начаться перегрузка — мучительная работа, когда баржу бьетъ о пароходъ и рабочіе едва держатся на ногахъ отъ морской болѣзни. Каторжные, только что поднятые съ постелей, сонные, шли по берегу, спотыкаясь въ потемкахъ и звеня кандалами. Налѣво былъ едва виденъ высокій крутой берегъ, чрезвычайно мрачный, а направо была сплошная, безпросвѣтная тьма, въ которой стонало море, издавая протяжный, однообразный звукъ: «а... а... а... а...», и только когда надзиратель закуривалъ трубку и при этомъ мелькомъ освѣщался конвойный съ ружьемъ и два-три ближайшихъ арестанта съ грубыми лицами, или когда онъ подходилъ съ фонаремъ близко къ водѣ, то можно было разглядѣть бѣлые гребни переднихъ волнъ.

Въ этой партіи находился Яковъ Иванычъ, прозванный на каторгѣ Вѣникомъ за свою длинную бороду. По имени и отчеству его давно уже никто не величалъ, а звали просто Яшкой. Былъ онъ здѣсь на плохомъ счету, такъ какъ мѣсяца черезъ три по прибытіи на каторгу, чувствуя сильную, непобѣдимую тоску по родинѣ, онъ поддался искущенію и бѣжалъ, а его скоро поймали, присудили къ безсрочной каторгѣ и дали ему сорокъ плетей; потомъ его еще два раза наказывали розгами за растрату казеннаго платья, хотя это платье въ оба раза было у него украдено. Тоска по родинѣ началась у него съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ его везли въ Одессу и арестантскій поѣздъ остановился

ночью на *Пролонной*, и Яковъ, припавъ къ окну, старался увидѣть родной дворъ и ничего не увидѣлъ впотымахъ.

Не съ кѣмъ было поговорить о родной сторонѣ. Сестру Аглаю отправили на каторгу черезъ Сибирь, и было неизвѣстно, гдѣ она теперь. Дашутка была на Сахалинѣ, но ее отдали какому-то поселенцу въ сожигельницы, въ дальнее селеніе; слуховъ о ней не было никакихъ и разъ только одинъ поселенецъ, попавшій въ Воеводскую тирьму, рассказывалъ Якову, будто Дашутка имѣла уже троихъ дѣтей. Сергій Никанорычъ служилъ лакеемъ у чиновника тутъ же не далеко, въ Дуэ, но нельзя было рассчитывать повидаться съ нимъ когда-нибудь, такъ какъ онъ стыдился знакомства съ каторжными изъ простаго званія.

Партія пришла въ рудникъ и расположилась на пристани. Говорили, что нагрузки не будутъ, такъ какъ погода все портится и пароходъ будто бы собирается уходить. Видно было три огня. Одинъ изъ нихъ двигался: это — паровой катеръ ходилъ къ пароходу и теперь, кажется, уже возвращался, чтобы сообщить, будетъ работа или нѣтъ. Дрожа отъ осенняго холода и морской сырости, кутаясь въ свой короткій, рваный полушубокъ, Яковъ Ивановъ пристально, не мигая, смотрѣлъ въ ту сторону, гдѣ была родина. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ пожилъ въ одной тюрьмѣ вмѣстѣ съ людьми, пригнанными сюда съ разныхъ концовъ, — съ русскими, хохлами, татарами, грузинами, китайцами, чужкой, цыганами, евреями, и съ тѣхъ поръ, какъ прислушался къ ихъ разговорамъ, наглядѣлся на ихъ страданія, онъ опять сталъ возноситься къ Богу, и ему казалось, что онъ, наконецъ, узналъ настоящую вѣру, ту самую, которой такъ жаждалъ и такъ долго искалъ и не находилъ весь его родъ, начиная съ бабки Авдотьи. Все уже онъ зналъ и понималъ, гдѣ Богъ и какъ должно Ему служить, но было непонятно только одно, почему жребій людей такъ различенъ, почему эта простая вѣра, которую другіе получаютъ отъ Бога да-

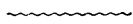
ромъ вмѣстѣ съ жизнью, досталась ему такъ дорого, что отъ всѣхъ этихъ ужасовъ и страданій, которые, очевидно, будутъ безъ перерыва продолжаться до самой его смерти, у него трясутся, какъ у пьяницы, руки и ноги? Онъ вглядывался напряженно въ потемки и ему казалось, что сквозь тысячи верстъ этой тьмы онъ видитъ родину, видитъ родную губернію, свой уѣздъ, *Прогонную*, видитъ темноту, дикость, безсердечіе и тупое, суровое, скотское равнодушіе людей, которыхъ онъ тамъ покинулъ; зрѣніе его туманилось отъ слезъ, но онъ все смотрѣлъ вдаль, гдѣ еле-еле свѣтились блѣдные огни парохода, и сердце щемило отъ тоски по родинѣ и хотѣлось жить, вернуться домой, рассказать тамъ про свою новую вѣру и спасти отъ гибели хотя бы одного человѣка и прожить безъ страданій хотя бы одинъ день.

USSR

Катеръ пришелъ, и надзиратель объявилъ громко, что нагрузки не будетъ.

— Назадъ!—скомандовалъ онъ.—Смирно!

Было слышно, какъ на пароходѣ убирали якорную цѣпь. Дулъ уже сильный, пронзительный вѣтеръ и гдѣ-то вверху на крутомъ берегу скрипѣли деревья. Вѣроятно, начинался штормъ.



## СУПРУГА.

---

— Я просилъ васъ не убирать у меня на столѣ,—говорилъ Николай Евграфычъ. — Послѣ вашихъ уборокъ никогда ничего не найдешь. Гдѣ телеграмма? Куда вы её бросили? Извольте искать. Она изъ Казани, помѣчена вчерашнимъ числомъ.

Горничная, блѣдная, очень тонкая, съ равнодушнымъ лицомъ, нашла въ корзинѣ подъ столомъ нѣсколько телеграммъ и, молча, подала ихъ доктору; но все это были городскія телеграммы, отъ пациентовъ. Потомъ искали въ гостиной и въ комнатѣ Ольги Дмитриевны.

Былъ уже первый часъ ночи. Николай Евграфычъ зналъ, что жена вернется домой не скоро, по крайней мѣрѣ часовъ въ пять. Онъ не вѣрилъ ей и, когда она долго не возвращалась, не спалъ, томился, и въ то же время презиралъ и жену и ея постель, и зеркало, и ея бонбоньерки, и эти ландыши и гиацинты, которые кто-то каждый день присылалъ ей и которые распространяли по всему дому приторный запахъ цвѣточной лавки. Въ такія ночи онъ становился мелочень, капризенъ, придиричивъ, и теперь ему казалось, что ему очень нужна телеграмма, полученная

вчера отъ брата, хотя эта телеграмма не содержала въ себѣ ничего кромѣ поздравленія съ праздникомъ.

Въ комнатѣ жены на столѣ подѣ коробкой съ почтовой бумагой, онъ нашелъ какую-то телеграмму и взглянулъ на нее мелькомъ. Она была адресована на имя тещи, для передачи Ольгѣ Дмитриевнѣ, изъ Монте-Карло, подпись: Michel... Изъ текста докторъ не понялъ ни одного слова, такъ какъ это былъ какой-то иностранный, повидимому, англійскій языкъ.

— Кто этотъ Мишель? Почему изъ Монте-Карло? Почему на имя тещи?

За время семилѣтней супружеской жизни онъ привыкъ подозрѣвать, угадывать, разбираться въ уликахъ, и ему не разъ приходило въ голову, что благодаря этой домашней практикѣ, изъ него могъ бы выйти теперь отличный сыщикъ. Прийдя въ кабинетъ и начавши соображать, онъ тотчасъ же вспомнилъ, какъ года полтора назадъ онъ былъ съ женой въ Петербургѣ и завтракалъ у Кюба съ однимъ своимъ школьнымъ товарищемъ, инженеромъ путей сообщенія, и какъ этотъ инженеръ представилъ ему и его женѣ молодого человѣка лѣтъ 22—23, котораго звали Михаиломъ Ивановичемъ; фамилія была короткая, немножко странная: Рись. Спустя два мѣсяца, докторъ видѣлъ въ альбомѣ жены фотографію этого молодого человѣка съ надписью по-французски: «на память о настоящемъ и въ надеждѣ на будущее»; потомъ онъ два раза встрѣчалъ его самаго у своей тещи... И какъ разъ это было то время, когда жена стала часто отлучаться и возвращалась домой въ четыре и пять часовъ утра, и все просила у него заграничнаго паспорта, а онъ отказывалъ ей, и у нихъ въ домѣ по цѣлымъ днямъ происходила такая война, что отъ прислуги было совѣстно.

Полгода назадъ товарищи врачи рѣшили, что у него начинается чахотка, и посовѣтовали ему бросить все и

уѣхать въ Крымъ. Узнавши объ этомъ, Ольга Дмитриевна, сдѣлала видъ, что это ее очень испугало; она стала ласкаться къ мужу и все увѣряла, что въ Крыму холодно и скучно, а лучше бы въ Ниццу, и что она поѣдетъ вмѣстѣ и будетъ тамъ ухаживать за нимъ, беречь его, покоить...

И теперь онъ понималъ, почему женѣ, такъ хочется именно въ Ниццу: ея Michel живетъ въ Монте-Карло.

Онъ взялъ англійско-русскій словарь и, переводя слова и угадывая ихъ значеніе, мало-по-малу составилъ такую фразу: «Пью здоровье моей дорогой возлюбленной, тысячу разъ цѣлую маленькую ножку. Нетерпѣливо жду пріѣзда». Онъ представилъ себѣ, какую бы смѣшную, жалкую роль онъ игралъ, если бы согласился поѣхать съ женой въ Ниццу, едва не заплакалъ отъ чувства обиды и въ сильномъ волненіи сталъ ходить по всѣмъ комнатамъ. Въ немъ возмущилась его гордость, его плебейская брезгливость. Сжимая кулаки и морщась отъ отвращенія, онъ спрашивалъ себя, какъ это онъ, сынъ деревенскаго попа, бурсакъ по воспитанію, прямой, грубый человѣкъ, по профессіи хирургъ—какъ это онъ могъ отдаться въ рабство, такъ позорно подчинить себя этому слабому, ничтожному, продажному, низкому созданію?

— Маленькая ножка!—бормоталъ онъ, комкая телеграмму.—Маленькая ножка!

Отъ того времени, когда онъ влюбился и сдѣлалъ предложеніе, и потомъ жилъ семь лѣтъ, осталось воспоминаніе только о длинныхъ душистыхъ волосахъ, массѣ мягкихъ кружевъ и о маленькой ножкѣ, въ самомъ дѣлѣ, очень маленькой и красивой; и теперь еще, казалось, отъ прежнихъ объятій сохранилось на рукахъ и лицѣ ощущеніе шелка и кружевъ—и больше ничего. Ничего больше, если не считать истерикъ, визга, попрековъ, угрозъ и лжи, наглой, измѣннической лжи... Онъ помнилъ, какъ у отца въ дере-



внѣ, бывало, со двора въ домъ нечаянно влетала птица и начинала неистово биться о стекла и опрокидывать вещи, такъ и эта женщина, изъ совершенно чуждой ему среды, влѣтъла въ его жпзнь, и произвела въ ней настоящій разгромъ. Лучшіе годы жизни протекли, какъ въ аду, надежды на счастье разбиты и осмѣяны, здоровья нѣтъ, въ комнатахъ его пошлая кокоточная обстановка, а изъ десяти тысячъ, которыя онъ зарабатываетъ ежегодно, онъ никакъ не соберется послать своей матери-попадѣй хотя бы десять рублей, и уже долженъ по вексялямъ тысячъ пятнадцать. Казалось, если бы въ его квартирѣ жила шайка разбойниковъ, то и тогда бы жизнь его не была такъ безнадежно, непоправимо разрушена, какъ при этой женщинѣ.

Онъ сталъ каплять и задыхаться. Надо было бы лечь въ постель и согрѣться, но онъ не могъ, а все ходилъ по комнатамъ, или садился за столъ, и нервно водилъ карандашомъ по бумагѣ, и писалъ машинально:

«Проба пера... Маленькая ножка»...

Къ пяти часамъ онъ ослабѣлъ и уже обвинялъ во всемъ одного себя, ему казалось теперь, что если бы Ольга Дмитриевна вышла за другого, который могъ бы имѣть на нее доброе вліяніе, то—кто знаетъ?—въ концѣ-концовъ, быть-можетъ, она стала бы доброй, честной женщиной; онъ же плохой психологъ и не знаетъ женской души, къ тому же неинтересенъ, грубъ...

— Мнѣ уже осталось немного жить,—думалъ онъ,—и трупъ и не долженъ мѣшать живымъ. Теперь въ сущности было бы странно и глупо отстаивать какія-то свои права. Я объяснюсь съ ней; пусть она уходитъ къ любимому челоуѣку... Дамъ ей разводъ, приму вину на себя...

Ольга Дмитриевна пріѣхала наконецъ и, какъ была, въ бѣлой ротондѣ, шапкѣ и въ калошахъ, вошла въ кабинетъ и упала въ кресло.

— Противный, толстый мальчишка,—сказала она, тяжело дыша, и всхлипнула.— Это даже не честно, это гадко.— Она топнула ногой.— Я не могу, не могу, не могу!

— Что такое?—спросил Николай Евграфыч, подходя къ ней.

— Меня провожалъ сейчасъ студентъ Азарбековъ и потерялъ мою сумку, а въ сумкѣ пятнадцать рублей. Я у мамы взяла.

Она плакала самымъ серьезнымъ образомъ, какъ дѣвочка, и не только платокъ, но даже перчатки у нея были мокры отъ слезъ.

— Что жъ дѣлать!—вздохнулъ докторъ.— Потерялъ, такъ и потерялъ, ну и Богъ съ нимъ. Успокойся, мнѣ нужно поговорить съ тобой.

— Я не миллионерша, чтобы таѣ манкировать деньгами. Онъ говоритъ, что отдастъ, но я не вѣрю, онъ бѣдный...

Мужъ просилъ ее успокоиться и выслушать его, а она говорила все о студентѣ и о своихъ потерянныхъ пятнадцати рубляхъ.

— Ахъ, я дамъ тебѣ завтра, двадцать пять, только замолчи, пожалуйста!—сказалъ онъ съ раздраженіемъ.

— Мнѣ надо переодѣться!—заплакала она.— Не могу же я серьезно говорить, если я въ шубѣ! Какъ странно!

Онъ снялъ съ нея шубу и калоши, и въ это время ощутилъ запахъ бѣлаго вина, того самаго, которымъ она любила запивать устрицъ (несмотря на свою воздушность, она очень много ѣла и много пила). Она пошла къ себѣ и, немного погодя, вернулась переодѣтая, напудренная, съ заплаканными глазами, съѣла и вся ушла въ свой легкій съ кружевами капотъ, и въ массѣ розовыхъ волнъ мужъ различалъ только ея распущенные волосы и маленькую ножку въ туфлѣ.

— Ты о чемъ хочешь говорить?—спросила она, покачиваясь въ креслѣ.

— Я нечаянно увидѣлъ вотъ это... — сказалъ докторъ и подалъ ей телеграмму.

Она прочла и пожала плечами.

— Что жъ?—сказала она, раскачиваясь сильнѣе.—Это обыкновенное поздравленіе съ новымъ годомъ и больше ничего. Тутъ нѣтъ секретовъ.

— Ты рассчитываешь на то, что я не знаю англійскаго языка. Да, я не знаю, но у меня есть словарь. Это телеграмма отъ Риса, онъ пьетъ здоровье своей возлюбленной и тысячу разъ цѣлуетъ тебя. Но оставимъ, оставимъ это...— продолжалъ докторъ торопливо.—Я вовсе не хочу упрекать тебя, или дѣлать сцену. Довольно уже было и сценъ, и попрековъ, пора кончить... Вотъ что я тебѣ хочу сказать: ты свободна и можешь жить, какъ хочешь.

Помолчали. Она стала тихо плакать.

— Я освобождаю тебя отъ необходимости притворяться и лгать,—продолжалъ Николай Евграфычъ.—Если любишь этого молодого человѣка, то люби; если хочешь ѣхать къ нему за границу, поѣзжай. Ты молода, здорова, а я уже калѣка, жить мнѣ осталось недолго. Однимъ словомъ... ты меня понимаешь.

Онъ былъ взволнованъ и не могъ продолжать. Ольга Дмитриевна, плача и голосомъ, какимъ говорятъ, когда жалѣютъ себя, созналась, что она любитъ Риса и ѣздила съ нимъ кататься за городъ, бывала у него въ номерѣ, и въ самомъ дѣлѣ, ей очень хочется теперь поѣхать за границу.

— Видишь, я ничего не скрываю,—сказала она со вздохомъ.—Вся душа моя на распахку. И я опять умоляю тебя, будь великодушень, дай мнѣ паспортъ!

— Повторяю: ты свободна.

Она пересѣла на другое мѣсто, поближе къ нему, чтобы взглянуть на выраженіе его лица. Она не вѣрила ему и

хотѣла теперь понять, его тайныя мысли. Она никогда никому не вѣрила, и какъ бы благородны ни были намѣренія, она всегда подозрѣвала въ нихъ мелкія, или изменныя побужденія и эгоистическія цѣли. И когда она пытливо засматривала ему въ лицо, ему показалось, что у нея въ глазахъ, какъ у кошки, блеснуль зеленый огонекъ.

— Когда же я получу паспортъ?—спросила она тихо.

Ему вдругъ захотѣлось сказать «никогда», но онъ сдержалъ себя и сказалъ:

— Когда хочешь.

— Я поѣду только на мѣсяцъ.

— Ты поѣдешь къ Рису навсегда. Я дамъ тебѣ разводъ, прийму вину на себя, и Рису можно будетъ жениться на тебѣ.

— Но я вовсе не хочу развода!—живо сказала Ольга Дмитриевна, дѣлая удивленное лицо.—Я не прошу у тебя развода! Дай мнѣ паспортъ, вотъ и все.

— Но почему же ты не хочешь развода? — спросилъ докторъ, начиная раздражаться.—Ты странная женщина. Какая ты странная! Если ты серьезно увлеклась и онъ тоже любить тебя, то въ вашемъ положеніи вы оба ничего не придумаете лучше брака. И неужели ты еще станешь выбирать между бракомъ и адюльтеромъ?

— Я понимаю васъ,—сказала она, отходя отъ него и лицо ея приняло злое, мстительное выраженіе.—Я отлично понимаю васъ. Я надоѣла вамъ, и вы просто хотите избавиться отъ меня, навязать этотъ разводъ. Благодарю васъ, я не такая дура, какъ вы думаете. Развода я не приму и отъ васъ не уйду, не уйду, не уйду! Во-первыхъ, я не желаю терять общественнаго положенія,—продолжала она быстро, какъ бы боясь, что ей помѣшаютъ говорить,—во-вторыхъ, мнѣ уже 27 лѣтъ, а Рису 23; черезъ годъ я ему надоѣмъ и онъ меня броситъ. И въ-третьихъ, если хотите

знать, я не ручаюсь, что это мое увлеченіе можетъ продолжаться долго... Вотъ вамъ! Не уйду я отъ васъ.

— Такъ я тебя выгоню изъ дому!—крикнулъ Николай Евграфычъ и затопалъ ногами. — Выгоню вонъ, низкая, гнусная женщина!

— Увидимъ-съ!—сказала она и вышла.

Уже давно разсвѣло на дворѣ, а докторъ все сидѣлъ у стола, водилъ карандашомъ по бумагѣ, и писалъ машинально:

— Милостивый государь... Маленькая ножка...

Или же онъ ходилъ и останавливался въ гостиной передъ фотографіей, снятой семь лѣтъ назадъ, вскорѣ послѣ свадьбы, и долго смотрѣлъ на нее. Это была семейная группа: теща, его жена Ольга Дмитріевна, когда ей было двадцать лѣтъ, и онъ самъ въ качествѣ молодого, счастливаго мужа. Теща, бритый, пухлый, водяночный тайный совѣтникъ, хитрый и жадный до денегъ, теща—полная дама съ мелкими и хищными чертами, какъ у хорька, безумно любящая свою дочь и во всемъ помогающая ей; если бы дочь душила человѣка, то мать не сказала бы ей ни слова, и только заслонила бы ее своимъ подоломъ. У Ольги Дмитріевны тоже мелкія и хищныя черты лица, но болѣе выразительныя и смѣлыя, чѣмъ у матери; это ужъ не хорекъ, а звѣрь покрупнѣе! А самъ Николай Евграфычъ глядитъ на этой фотографіи, такимъ простакомъ, добрымъ малымъ, человѣкомъ—рубахой; добродушная семинарская улыбка расплылась по его лицу, и онъ наивно вѣрить, что эта компанія хищниковъ, въ которую случайно втокнула его судьба, дастъ ему и поэзію, и счастье, и все то, о чемъ онъ мечталъ; когда еще студентомъ пѣлъ пѣсню: «Не любить—погубить значитъ жизнь молодую»...

И опять, съ недоумѣніемъ, спрашивалъ себя, какъ это онъ, сынъ деревенскаго попа, по воспитанію—бурсакъ, про-

стой, грубый и прямой человекъ, могъ такъ безпомощно отдаться въ руки этого ничтожнаго, лживаго, пошлаго, мелкаго, по натурѣ совершенно чуждаго ему существа.

Когда въ одиннадцатъ часовъ онъ надѣвалъ сюртукъ, чтобы ѣхать въ больницу, въ кабинетъ вошла горничная.

— Что вамъ?—спросилъ онъ.

— Барыня встали, и просятъ двадцать пять рублей, что вы давеча обѣщали.



## Оглавленіе.

	стр.
Бабы царство. . . . .	5
Попрыгунья . . . . .	53
Черный монахъ . . . . .	83
Скрипка Ротшильда . . . . .	122
Володя большой и Володя маленькій. . . . .	134
Учитель словесности . . . . .	149
Въ усадьбѣ . . . . .	178
Студентъ . . . . .	188
Сосѣди . . . . .	193
Три года . . . . .	216
Убійство . . . . .	323
Супруга. . . . .	358

~~~~~











